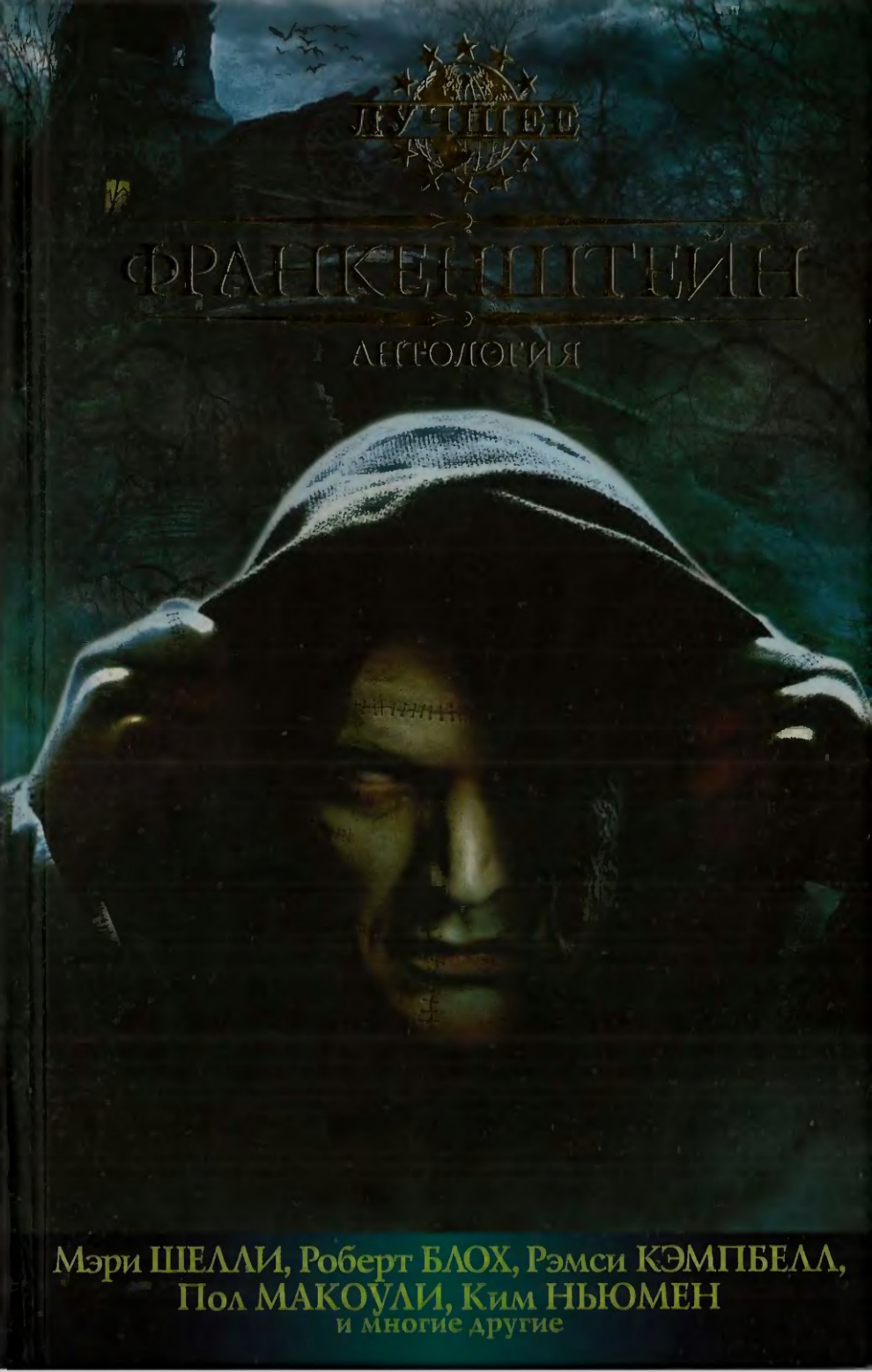

ЛУЧШЕЕ
ФРАНКЕНШТЕЙН
АНТОЛОГИЯ
Мэри ШЕЛЛИ, Роберт БЛОХ, Рэмси КЭМПБЕЛЛ,
Пол МАКОУЛИ, Ким НЬЮМЕН
и многие другие



ФРАНКЕНШТЕЙН

АНТОЛОГИЯ



Санкт-Петербург
2012

УДК 82/89
ББК 84.7 США
Ф 83

The Mammoth Book of Frankenstein
edited by Stephen Jones

First published in the UK by Robinson Publishing 1994
Collection and introductions copyright © Stephen Jones 1994

Публикуется с разрешения редактора и Dorian Literary Agency (Великобритания) при содействии Агентства Александра Корженевского (Россия)

Перевод с английского
Зинаиды Александровой, Натальи Гордеевой,
Александра Гузмана, Валерии Двининой,
Елены Королевой, Николая Кудрявцева, Татьяны Кухта,
Геннадия Любавина, Юлии Никифоровой,
Веры Полищук, Марии Савиной-Баблоян,
Инны Сергиенко, Галины Соловьевой

Оформление Александра Золотухина

© З. Александрова (наследник), Н. Гордеева,
А. Гузман, В. Двинина, Е. Королева,
Н. Кудрявцев, Т. Кухта, Г. Любавин,
Ю. Никифорова, В. Полищук,
М. Савина-Баблоян, И. Сергиенко,
Г. Соловьева, перевод, 2012
© ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2012
Издательство АЗБУКА®

ISBN 978-5-389-01559-3

Он живой!

Франкенштейн... Одно его имя пробуждает образы разоренных могил, тайных лабораторий, невероятных экспериментов и восставших мертвецов. На страницах этой антологии сумасшедший доктор и его безумные последователи опять погружаются в Тайны Жизни, научная фантастика переплетается с хоррором и самый знаменитый в мире монстр оживает вновь.

И создатель, и чудовище родились в воображении Мэри Шелли летом 1816 года во время ее пребывания в Швейцарии. Вместе со своим возлюбленным Перси Биши Шелли, доктором Джоном Полидори и лордом Байроном, который жил по соседству на берегу Женевского озера, восемнадцатилетняя Мэри решила попробовать написать страшную историю. По настоянию Перси она развила эту историю до полноценного романа, и год спустя «Франкенштейн, или Современный Прометей» был анонимно опубликован.

Произведение имело огромный успех, и к 1823 году в Лондоне было осуществлено не менее пяти различных постановок. В 1910 году состоялась первая экранизация романа, в которой Чарльз Огл изображал бесформенное создание. По крайней мере еще два фильма были выпущены до того, как на роль чудовища в фильме Джеймса Уэйла «Франкенштейн» 1931 года киностудия «Universal» утвердила в то время еще не очень известного Бориса Карлоффа. Благодаря прямоугольной голове актера, мертвенной бледности и характерным винтам в шее (а также гриму маэстро Джека Пирса) это трогательное воплощение монстра запомнилось многим.

Карлофф сыграл в двух продолжениях, но устал от этой роли. Однако «Universal» сняла еще пять серий. Лон Чейни-младший, Бела Лугоши и Гленн Стрэйндж по очереди примеряли характерный грим, пока наконец не вышел фильм «Эбботт и Кастелло встречают Франкенштейна» («Abbott and Costello meet Frankenstein»), который привел сериал к несколько запоздалому заключению.

Борис Карлофф исполнил роль создателя в фильме «Франкенштейн-1970» (1958) и в последний раз появился в образе чудовища в сериале «Шоссе 66» («Route 66») в начале 1960-х. Однако бессмертное творение Мэри Шелли продолжало жить в много-

численных малобюджетных постановках о Франкенштейне, его бесконечных отпрысках и последователях.

В 1957 году британская киностудия «Hammer Films» возродила персонажей, на этот раз в цвете, в фильме «Проклятие Франкенштейна» («The Curse of Frankenstein»). Однако вместо того, чтобы повествовать о деяниях чудовища, шесть слабо связанных между собой фильмов сосредоточены на фигуре барона в исполнении Питера Кашинга и его неудавшихся экспериментах. После этого было еще много художественных и телевизионных постановок, и образ, созданный Робертом де Ниро в фильме Кеннета Браны «Франкенштейн Мэри Шелли» («Mary Shelley's Frankenstein», 1994), наверняка не является последней интерпретацией.

Также было много литературных продолжений романа Мэри Шелли, от пап-цикла Дональда Глата «Новые приключения Франкенштейна» («The New Adventures of Frankenstein») до экранизированного в 1990 году «Освобожденного Франкенштейна» («Frankenstein Unbound») Брайана Олдиса, где Шелли и ее персонажи сосуществуют в альтернативном мире. Спустя годы для многих людей имена чудовища и его создателя стали синонимами (чему есть объяснение: можно сказать, что эти двое представляют собой ипостаси одного и того же человека).

В антологии «Франкенштейн» впервые собраны под одной обложкой стихотворение и двадцать три будоражащие истории о проклятом создании, чтобы каждый читатель смог найти что-нибудь для себя. Здесь есть классические произведения из пап-журналов, принадлежащие перу Роберта Блоха и Мэнли Уэйда Веллмана, современные шедевры Рэмси Кэмпбелла, Денниса Этчисона, Карла Эдварда Вагнера, Дэвида Шоу и Рональда Четвинда-Хейса, а также произведения, специально написанные для данной антологии Грэмом Мастертоном, Бэзилом Коппером, Джоном Браннером, Гаем Смитом, Кимом Ньюменом, Полом Макоули, Робертой Лэннес, Майклом Маршаллом Смитом, Дэниелом Фоксом, Адрианом Коулом, Нэнси Килпатрик, Брайаном Муни и Лизой Мортон.

В сборнике также представлены три крупных произведения: «Собака Франкенштейна» Питера Тримейна, «Тупик» Дэвида Кейса и в качестве бонуса полный, без каких-либо сокращений, текст шедевра Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей».

Итак, электрические бури бушуют над головой, генераторы запущены, а под простыней холодная материя ожидает пробуждения к жизни. Пора нажать на рычаг и открыть то, что человек никогда не должен был узнать...

Стивен Джонс
Лондон, Англия

МЭРИ ШЕЛЛИ

Франкенштейн, или Современный Прометей

Мэри Уолстонкрафт Шелли (1797—1851) родилась в Лондоне и была единственным ребенком в семье писателя-романиста и политического философа Уильяма Годвина и феминистки Мэри Уолстонкрафт, умершей через десять дней после рождения дочери. В 1814 году, еще будучи подростком, Мэри сбежала в Европу с английским поэтом Перси Биши Шелли и в итоге вышла за него замуж в декабре 1816 года. В том же году она написала первоначальную версию представленного ниже романа.

Перу Шелли принадлежит еще несколько романов, которым, однако, не удалось повторить успех «Франкенштейна», среди них «Вальнега» («Valperga», 1823), «Последний человек» («The Last Man», 1826) (повествующий о единственном выжившем после чумы будущего, уничтожившей все население земли), «Судьба Перкина Уорбека» («The Fortunes of Perkin Warbeck», 1830), «Лодор» («Lodore», 1835) и «Фолкнер» («Falkner», 1837). В 1844 году Шелли опубликовала путевые очерки «Прогулки по Германии и Италии» («Rambles in Germany and Italy»), благосклонно принятые публикой. Уже после смерти писательницы Ричард Гарнетт выпустил сборник ее малой прозы «Истории и рассказы» («Tales and Stories», 1891), а в 1877 году была издана повесть «Наследник Мондольфо» («The Heir of Mondolfo»).

В предисловии к изданию «Франкенштейна» 1831 года Мэри Шелли вспоминает, как у нее зародилась идея этого произведения: «Положив голову на подушки, я не заснула, но и не просто задумалась. Воображение властно завладело мной, наделяя являвшиеся картины яркостью, какой не обладают обычные сны. Глаза мои были закрыты, но каким-то внутренним взором я необычайно ясно увидела бледного адепта тайных наук, склонившегося над созданным им существом. Я увидела, как это отвратительное существо сперва лежало неподвижно, а потом, повинуясь некой силе, подало признаки жизни и неуклюже зашевелилось. Такое зрелище страшно, ибо что может быть ужаснее человеческих попыток подражать несравненным творениям Создателя?»[1]

Спустя почти двести лет роман «Франкенштейн» остается классикой научной фантастики и хоррора.

---

[1] Пер. З. Александровой.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Событие, на котором основана эта повесть, по мнению доктора Дарвина и некоторых немецких писателей-физиологов, не может считаться абсолютно невозможным. Не следует думать, что я хоть сколько-нибудь верю в подобный вымысел. Однако, взяв его за основу художественного творения, полагаю, что не просто сплела цепочку сверхъестественных ужасов. Происшествие, составляющее суть повествования, выгодно отличается от обычных рассказов о привидениях или колдовских чарах и привлекло меня новизною перипетий, им порожденных. Пусть и невозможное в действительности, оно позволяет воображению автора начертать картину человеческих страстей с большей полнотой и убедительностью, чем могут ему дать любые события реальной жизни.

Итак, я старалась оставаться верной основным законам человеческой природы, но позволила себе внести нечто новое в их сочетания. «Илиада», древнегреческие трагедии, Шекспир в «Буре» и в «Сне в летнюю ночь» и особенно Мильтон в «Потерянном Рае» — все тому следуют, и самому скромному романисту, желающему сочинить нечто занимательное, дозволено воспользоваться сим правом, а вернее правилом, породившим столько пленительных картин человеческих чувств в величайших творениях поэтов.

Случай, составляющий основу моей повести, которую я начала отчасти ради забавы, отчасти для упражнения скрытых способностей ума, был впервые упомянут в мимолетной беседе. По мере работы над нею к этим мотивам добавились и другие. Мне отнюдь не безразлично, какое впечатление может произвести на читателя нравственная сторона изображения чувств и характеров, однако тут я всего лишь стремилась избегнуть расслабляющего действия нынешних романов, показать прелесть семейных привязанностей и величие добродетели. Суждения, естественные для моего героя при его характере и тех обстоятельствах, в которых он оказывается, не всегда являются также и моими; не следует искать на этих страницах порицания какой бы то ни было из философских доктрин.

Особое значение имеет для автора то, что повесть была начата среди величавой природы, где и происходит бóльшая часть ее действия, и в обществе людей, о которых я не устану сожалеть. Лето 1816 года я провела в окрестностях Женевы. Погода стояла холодная и дождливая, по вечерам мы собирались у пылающего камина и развлекались чтением попавшихся под руку немецких историй о привидениях. Они вызывали у нас шутливое желание подражать. Я и двое моих друзей (один из которых

мог бы написать повесть более ценную для читателя, чем всё, что я смею надеяться когда-либо создать) уговорились, что каждый сочинит рассказ о некоем сверхъестественном событии.

Однако погода внезапно сделалась безоблачной. Оба моих друга, оставив меня, отправились путешествовать в Альпы и среди открывшегося перед ними великолепия забыли и думать о призраках. Предлагаемая читателю повесть оказалась единственной, которая была завершена.

Марло, сентябрь 1817 года

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

В Англию, миссис Сэвилл

Санкт-Петербург, 11 декабря 17... года

Ты порадуешься, когда услышишь, что предприятие, вызывавшее у тебя столь мрачные предчувствия, началось вполне благоприятно. Я прибыл сюда вчера и спешу прежде всего заверить мою милую сестру, что у меня все благополучно и что я все более убеждаюсь в счастливом исходе дела.

Я нахожусь теперь далеко к северу от Лондона; прохаживаясь по улицам Петербурга, я ощущаю на лице холодный северный ветер, который меня бодрит и радует. Поймешь ли ты это чувство? Ветер, доносящийся из краев, куда я стремлюсь, уже заставляет предвкушать их ледяной простор. Под этим ветром из обетованной земли мечты мои становятся живее и пламеннее. Тщетно стараюсь я убедить себя, что полюс — это обитель холода и смерти, он предстает моему воображению как царство красоты и радости. Там, Маргарет, солнце никогда не заходит; его диск, едва подымаясь над горизонтом, излучает вечное сияние. Там — ибо ты позволишь мне хоть несколько доверять бывалым мореходам — кончается власть мороза и снега и по волнам спокойного моря можно достичь страны, превосходящей красотою и чудесами все страны, доныне открытые человеком. Природа и богатства этой неизведанной страны могут оказаться столь же диковинными, как и наблюдаемые там небесные явления. Чего только не приходится ждать от страны вечного света! Там я смогу открыть секрет дивной силы, влекущей к себе магнитную стрелку, а также проверить множество астрономических наблюдений; одного такого путешествия довольно, чтобы их кажущиеся противоречия раз и навсегда получили разумное объяснение. Я смогу насытить свое жадное

любопытство зрелищем еще никому не ведомых краев и пройти по земле, где еще не ступала нога человека. Вот что влечет меня — побеждая страх перед опасностью и смертью и наполняя, перед началом трудного пути, той радостью, с какой ребенок вместе с товарищами своих игр плывет в лодочке по родной реке, на открытие неведомого. Но если даже все эти надежды не оправдаются, ты не можешь отрицать, что я окажу неоценимую услугу человечеству, если хотя бы проложу северный путь в те края, куда ныне нужно плыть долгие месяцы, или открою тайну магнита — ведь если ее вообще можно открыть, то лишь с помощью подобного путешествия.

Эти размышления развеяли тревогу, с какой я начал писать тебе, и наполнили меня возвышающим душу восторгом, ибо ничто так не успокаивает дух, как обретение твердой цели — точки, к которой устремляется наш внутренний взор. Эта экспедиция была мечтой моей юности. Я жадно зачитывался книгами о различных путешествиях, предпринятых в надежде достичь северной части Тихого оксана по полярным морям. Ты, вероятно, помнишь, что истории путешествий и открытий составляли всю библиотеку нашего доброго дядюшки Томаса. Образованием моим никто не занимался, но я рано пристрастился к чтению. Эти тома я изучал днем и ночью и все более сожалел, что отец, как я узнал еще ребенком, перед смертью строго наказал дяде не пускать меня в море.

Мечты о море поблекли, когда я впервые познакомился с творениями поэтов, восхитившими мою душу и вознесшими ее к небесам. Я сам стал поэтом и целый год прожил в Эдеме, созданном моей фантазией. Я вообразил, что и мне суждено место в храме, посвященном Гомеру и Шекспиру. Тебе известна постигшая меня неудача и то, как тяжело я пережил это разочарование. Но как раз в то время я унаследовал состояние нашего кузена, и мысли мои вновь обратились к мечтам детства.

Вот уже шесть лет, как я задумал свое нынешнее предприятие. Я до сих пор помню час, когда решил посвятить себя этой великой цели. Прежде всего я начал закалять себя. Я сопровождал китоловов в северные моря; я добровольно подвергал себя холоду, голоду, жажде и недосыпанию. Днем я часто работал больше матросов, а по ночам изучал математику, медицину и те области физических наук, которые более всего могут понадобиться мореходу. Я дважды нанимался вторым помощником капитана на гренландские китобойные суда и отлично справлялся с делом. Должен признаться, что я почувствовал гордость, когда капитан предложил мне место своего первого помощника и долго уговаривал согласиться: так высоко он оценил мою службу.

А теперь скажи, милая Маргарет: неужели я недостоин свершить нечто великое? Моя жизнь могла бы пройти в довольстве и роскоши, но всем соблазнам богатства я предпочел славу. О, если б прозвучал для меня чей-нибудь ободряющий голос! Мужество и решение мои неколебимы, но надежда и твердость временами мне изменяют. Я отправляюсь в долгий и трудный путь, где потребуется вся моя стойкость. Мне надо будет не только поддерживать бодрость в других, но иногда и в себе, когда все остальные падут духом.

Сейчас лучшее время года для путешествия по России. Здешние сани быстро несутся по снегу, этот способ передвижения приятен и, по-моему, много удобнее английской почтовой кареты. Холод не страшен, если ты закутан в меха; такой одеждой я уже обзавелся, ибо ходить по палубе — совсем не то, что часами сидеть на месте, не согревая кровь движением. Я вовсе не намерен замерзнуть на почтовом тракте между Петербургом и Архангельском.

В последний из названных мною городов я отправляюсь через две-три недели и там думаю нанять корабль, а это легко сделать, уплатив за владельца страховую сумму; хочу также набрать нужное мне число матросов из тех, кто знаком с китоловным промыслом. Я рассчитываю пуститься в плавание не раньше июня, а когда возвращусь? Ах, милая сестра, что могу я ответить на это? В случае удачи мы не увидимся много месяцев, а может, и лет. В случае неудачи ты увидишь меня скоро — или не увидишь никогда.

Прощай, милая, добрая Маргарет. Пусть Бог благословит тебя и сохранит мне жизнь, чтобы я мог еще не раз отблагодарить тебя за любовь и заботу.

Любящий брат
Р. Уолтон

ПИСЬМО ВТОРОЕ

В Англию, миссис Сэвилл

Архангельск, 28 марта 17... года

Как долго тянется время для того, кто скован морозом и льдом! Однако я сделал еще один шаг к моей цели. Я нанял корабль и набираю матросов; те, кого я уже нанял, кажутся людьми надежными и, несомненно, отважными.

Не хватает лишь одного — не хватало всегда, но сейчас я ощущаю отсутствие этого как большое зло. У меня нет друга,

Маргарет; никого, кто мог бы разделить со мною радость, если суждено счастье успеха, никого, кто поддержал бы меня, если я паду духом, кто сочувствовал бы мне и понимал с полуслова. Правда, я буду поверять мысли бумаге, но она мало пригодна для передачи чувств. Ты можешь счесть меня излишне чувствительным, милая сестра, но я с горечью ощущаю отсутствие такого друга. Возле меня нет никого с душою чуткой и вместе с тем бесстрашной, с умом развитым и восприимчивым; нет друга, который разделял бы мои стремления, сумел бы одобрить мои планы или внести в них поправки. Как много мог бы подобный друг сделать для исправления недостатков твоего бедного брата! Я излишне поспешен в действиях и слишком нетерпелив перед лицом препятствий. Но еще большим злом является то, что я учился самоучкою: первые четырнадцать лет моей жизни я гонял по полям и читал одни лишь книги о путешествиях из библиотеки нашего дядюшки Томаса. В этом возрасте я познакомился с прославленными поэтами моей страны, но слишком поздно убедился в необходимости знать другие языки, кроме родного, — когда уже не мог извлечь из этого убеждения никакой истинной пользы. Сейчас мне двадцать восемь, а ведь я невежественнее многих пятнадцатилетних школьников. Правда, я больше их размышлял и о большем мечтаю; но этим мечтам недостает того, что художники называют «соотношением», и мне очень нужен друг, имеющий достаточно чувства, чтобы не презирать меня как пустого мечтателя, и достаточно любящий, чтобы мною руководить.

Впрочем, все эти жалобы бесполезны: какого друга могу я обрести на океанских просторах или даже здесь, в Архангельске, среди купцов и моряков? Хотя и им, при всей их внешней грубости, не чужды благородные чувства. Мой помощник, например, — человек на редкость отважный и предприимчивый; он страстно жаждет славы или, вернее сказать, преуспеяния на своем поприще. Он родом англичанин и, при всех предрассудках своей нации и своего ремесла, не облагороженных просвещением, сохранил немало достойнейших качеств. Я впервые встретил его на борту китобойного судна; узнав, что у этого человека сейчас нет работы, я легко склонил его к участию в моем предприятии.

Капитан также отличный человек, выделяющийся среди всех мягкостью и кротостью обращения. Именно эти свойства, в сочетании с безупречной честностью и бесстрашием, и привлекли меня. Моя юность, проведенная в уединении, лучшие годы, прошедшие под твоей нежной женской опекой, настолько смягчили мой характер, что я испытываю неодолимое отвращение к грубости, обычно царящей на судах; я никогда не считал ее

необходимой. Услыхав о моряке, известном как сердечной добротой, так и умением заставить себя уважать и слушаться, я счел для себя большой удачей заполучить его. Я впервые услышал о нем при довольно романтических обстоятельствах, от женщины, которая обязана ему своим счастьем. Вот вкратце история этого моряка. Несколько лет назад он полюбил русскую девушку из небогатой семьи. Когда он скопил изрядную сумму наградных денег, отец девушки согласился на брак. Перед свадьбой моряк встретился со своей невестой, но она упала к его ногам, заливаясь слезами и прося пощадить ее; она призналась, что полюбила другого, а этот другой так беден, что отец никогда не даст согласия на их брак. Мой великодушный друг успокоил девушку и, справившись об имени ее возлюбленного, отступился от своих прав. На скопленные деньги он успел уже купить дом и участок, рассчитывая поселиться там навсегда,— все это, вместе с остатками наградных денег, он отдал своему сопернику на обзаведение и сам испросил у отца девушки согласия на ее брак с любимым. Отец отказался, считая, что уже связан словом с моим другом; тогда тот, видя упорство старика, уехал и не возвращался до тех пор, пока девушка не вышла за избранника своего сердца. «Какое благородство!» — воскликнешь ты. Да, он именно таков; но при этом совершенно необразован, молчалив как турок и угрюм, что, конечно, делает его поступок еще удивительнее, но вместе с тем уменьшает интерес и сочувствие, которое этот человек мог бы вызывать.

И все же, если я порой жалуюсь и мечтаю о дружеской поддержке, которая мне, быть может, не суждена, не думай, что я колеблюсь в своем решении. Оно неизменно, как сама судьба, и плавание мое отложено лишь потому, что к этому нас вынуждает погода. Зима была на редкость суровой, но весна обещает быть дружной и очень ранней, так что я, возможно, смогу отправиться в путь раньше, чем предполагал. Я ни в чем не хочу поступать опрометчиво; ты достаточно знаешь меня, чтобы быть уверенной в моей осмотрительности, когда я в ответе за безопасность других.

Не могу описать тебе своих чувств при мысли о скором отплытии. Невозможно выразить радостный и вместе тревожный трепет, с каким я готовлюсь в путь. Я отправляюсь в неведомые земли, в «края туманов и снегов», но я не намерен убивать альбатроса, поэтому не бойся за меня,— я не вернусь к тебе разбитым и больным, как Старый Мореход. Ты улыбнешься при этой аллюзии, но открою тебе один секрет. Свою страстную тягу к опасным тайнам океана я часто приписывал влиянию этого творения наиболее поэтичного из современных поэтов. В моей душе живет нечто непонятное мне самому. Я практичен и трудолюбив, я стара-

тельный и терпеливый работник, но вместе с тем во все мои планы вплетается любовь к чудесному и вера в чудесное, увлекающие меня вдаль от проторенных дорог, в неведомые моря, в неоткрытые страны, которые я намерен исследовать.

Вернусь, однако, к вещам, более близким сердцу. Увижу ли тебя вновь, когда пересеку безбрежные моря и проследую назад мимо южной оконечности Африки или Америки? Не смею ожидать такой удачи, но не хочу думать и о другом. Пиши мне при каждой возможности; быть может, письма твои дойдут до меня, когда будут всего нужнее, и поддержат во мне мужество. Люблю тебя нежно. Помни с любовью о своем брате, если больше о нем не услышишь.

Любящий тебя
Роберт Уолтон

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

В Англию, миссис Сэвилл

7 июля 17... года

Дорогая сестра!

Пишу эти торопливые строки, чтобы сообщить, что я здоров и проделал немалый путь. Это письмо придет в Англию с торговым судном, которое сейчас отправляется из Архангельска; оно счастливее меня, который, быть может, еще много лет не увидит родных берегов. Тем не менее я бодр, мои люди отважны и тверды, их не страшат плавучие льды, то и дело появляющиеся за бортом как предвестники ожидающих нас опасностей. Мы достигли уже очень высоких широт; но сейчас разгар лета, и южные ветры, быстро несущие нас к берегам, которых я так жажду достичь, хотя и холоднее, чем в Англии, но все же веют теплом, какого я здесь не ждал.

До сих пор с нами не произошло ничего настолько примечательного, чтобы об этом стоило писать. Один-два шквала и пробоина в судне — события, которые не остаются в памяти опытных моряков; буду рад, если с нами не приключится ничего худшего.

До свидания, милая Маргарет. Будь уверена, что ради тебя и себя самого я не помчусь безрассудно навстречу опасности. Я буду хладнокровен, упорен и благоразумен.

Но я все-таки добьюсь успеха. Почему бы нет? Я уже пролагаю путь в неизведанном океане; самые звезды являются сви-

детелями моего триумфа. Почему бы мне не пройти и дальше, в глубь непокоренной, но послушной стихии? Что может преградить путь отваге и воле человека?

Переполняющие меня чувства невольно рвутся наружу, а между тем пора заканчивать письмо. Да благословит Небо мою милую сестру!

Р. У.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

В Англию, миссис Сэвилл

5 августа 17... года

С нами случилось нечто до того странное, что я должен написать тебе, хотя мы, быть может, увидимся раньше, чем ты получишь это письмо.

В прошлый понедельник (31 июля) мы вошли в область льда, который почти сомкнулся вокруг корабля, едва оставляя свободный проход. Положение наше стало опасным, в особенности из-за густого тумана. Поэтому мы легли в дрейф, надеясь на перемену погоды.

Около двух часов дня туман рассеялся, и мы увидели простиравшиеся во все стороны обширные ледовые поля, которым, казалось, нет конца. У некоторых моих спутников вырвался стон, да и сам я ощутил тревогу; но тут наше внимание было привлечено странным зрелищем, заставившим нас забыть о своем положении. Примерно в полумиле мы увидели низкие сани, запряженные собаками и мчавшиеся к северу; санями управляло существо, подобное человеку, но гигантского роста. Мы следили в подзорные трубы за быстрым бегом саней, пока они не скрылись в ледяных холмах.

Это зрелище немало нас поразило. Мы полагали, что находимся на расстоянии многих сотен миль от какой бы то ни было земли, но увиденное, казалось, свидетельствовало, что земля не столь уж далека. Скованные льдом, мы не могли следовать за санями, но внимательно их рассмотрели.

Часа через два после этого события мы услышали шум волн; к ночи лед вскрылся, и корабль был освобожден. Однако мы пролежали в дрейфе до утра, опасаясь столкнуться в темноте с огромными плавучими глыбами, которые возникают при вскрытии льда. Я воспользовался этими часами, чтобы отдохнуть.

Утром, едва рассвело, я поднялся на палубу и увидел, что все матросы столпились у борта, как видно переговариваясь с кем-то, находившимся в море. Оказалось, что к кораблю на большой льдине прибило сани, похожие на виденные нами накануне. Из всей упряжки уцелела лишь одна собака, но в санях сидел человек, и матросы убеждали его подняться на борт. Он не походил на туземца с некоего неведомого острова, каким нам показался первый путник; это был европеец. Когда я вышел на палубу, боцман сказал: «Вот идет наш капитан, и он не допустит, чтобы вы погибли в море».

Увидев меня, незнакомец обратился ко мне по-английски, хотя и с иностранным акцентом. «Прежде чем я взойду на ваш корабль, — сказал он, — прошу сообщить мне, куда он направляется».

Нетрудно вообразить мое изумление, когда я услыхал подобный вопрос от погибающего, который, казалось бы, должен был считать мое судно спасительным пристанищем, самым дорогим сокровищем на свете. Я ответил, однако, что мы исследователи и направляемся к Северному полюсу.

Это, по-видимому, удовлетворило его, и он согласился взойти на борт. Великий Боже! Если бы ты только видела, Маргарет, этого несчастного, которого еще пришлось уговаривать спастись, твоему удивлению не было бы границ. Он был сильно обморожен и до крайности истощен усталостью и лишениями. Никогда я не видел человека в столь жалком состоянии. Мы сперва отнесли его в каюту, но там, без свежего воздуха, он тотчас же потерял сознание. Поэтому мы снова перенесли его на палубу и привели в чувство, растирая коньяком; несколько глотков мы влили ему в рот. Едва он подал признаки жизни, мы завернули его в одеяла и положили возле кухонной трубы. Мало-помалу он пришел в себя и съел немного супу, который сразу его подкрепил.

Прошло два дня, прежде чем незнакомец смог заговорить, и я уже опасался, что злоключения лишили его рассудка. Когда он немного оправился, я велел перенести его ко мне в каюту и сам ухаживал за ним, насколько позволяли мои обязанности. Никогда я не встречал более интересного человека; обычно взгляд его дик и почти безумен, но стоит кому-нибудь ласково обратиться к нему или оказать самую пустячную услугу, как лицо его озаряется, точно лучом, благодарной улыбкой, какой я ни у кого не видел. Однако большей частью он бывает мрачен и подавлен, а порой скрипит зубами, словно не может более выносить бремя своих страданий.

Когда мой гость немного оправился, мне стоило немалых трудов удерживать матросов, которые жаждали расспро-

сить его; я не мог допустить, чтобы донимали праздным любопытством того, чьи тело и дух явно нуждались в полном покое. Однажды мой помощник все же спросил его, как он проделал столь длинный путь по льду, да еще в таком необычном экипаже.

Лицо незнакомца тотчас омрачилось, и он ответил: «Я преследовал беглеца».

«А беглец путешествует тем же способом?»

«Да».

«В таком случае мне думается, что мы его видели: накануне того дня, когда мы вас подобрали, мы заметили на льду собачью упряжку, а в санях — человека».

Это заинтересовало незнакомца, и он задал нам множество вопросов относительно направления, каким следовал демон, как он его назвал. Немного погодя, оставшись со мной наедине, он сказал:

«Я наверняка возбудил ваше любопытство, как, впрочем, и любопытство этих славных людей, но вы слишком деликатны, чтобы меня расспрашивать».

«Разумеется, бесцеремонно и жестоко было бы докучать вам расспросами».

«Но ведь вы вызволили меня из весьма опасного положения и заботливо возвратили к жизни».

Затем он поинтересовался, не могли ли те, другие, сани погибнуть при вскрытии льда. Я ответил, что наверное этого знать нельзя, ибо лед вскрылся лишь около полуночи и путник мог к тому времени добраться до какого-либо безопасного места.

С тех пор в изнуренное тело незнакомца влились новые силы. Он непременно хотел находиться на палубе и следить за тем, не появятся ли знакомые нам сани. Однако я убедил его оставаться в каюте, ибо он слишком слаб, чтобы переносить мороз. Я пообещал, что мы сами последим за этим и немедленно сообщим ему, как только заметим что-либо необычное.

Вот что записано в моем судовом журнале об этом удивительном событии. Здоровье незнакомца поправляется, но он очень молчалив и обнаруживает тревогу, если в каюту входит кто-либо, кроме меня. Впрочем, он так кроток и вежлив в обращении, что все матросы ему сочувствуют, хотя и очень мало с ним общаются. Что до меня, то я уже люблю его как брата; его постоянная, глубокая печаль несказанно огорчает меня. В свои лучшие дни он, должно быть, был благородным созданием, если и сейчас, когда дух его сломлен, так привлекает к себе.

В одном из писем, милая Маргарет, я писал тебе, что навряд ли обрету друга на океанских просторах; и однако ж, я нашел

человека, которого был бы счастлив иметь своим лучшим другом, если б только его не сломило горе.

Я продолжу свои записи о незнакомце, когда будет что записать.

13 августа 17... года

Моя привязанность к гостю растет с каждым днем. Он возбуждает одновременно безмерное восхищение и сострадание. Да и можно ли видеть столь благородного человека, сраженного бедами, не испытывая самой острой жалости? Он так кроток и вместе с тем так мудр; он широко образован, а когда говорит, речь его поражает и беглостью, и свободой, хотя он выбирает слова с большой тщательностью.

Сейчас он вполне оправился от своего недуга и постоянно находится на палубе, видимо ожидая появления опередивших его саней. Хотя он и несчастен, но не настолько поглощен собственным горем, чтобы не проявлять живого интереса к нашим делам. Он нередко обсуждает их со мной, и я вполне ему доверился. Он внимательно выслушал все доводы в пользу моего предприятия и входит во все подробности принятых мною мер. Выказанное им участие подкупило меня, и я заговорил с ним на языке сердца; открыл все, что переполняло мою душу, и горячо заверил его, что охотно пожертвовал бы состоянием, жизнью и всеми надеждами ради успеха задуманного дела. Одна человеческая жизнь — сходная цена за те познания, к которым я стремлюсь, за власть над исконными врагами человечества. При этих словах чело моего собеседника омрачилось. Сперва я заметил, что он пытается скрыть свое волнение: он закрыл глаза руками, но когда между его пальцев заструились слезы, а из груди вырвался стон, я не мог продолжать. Я умолк — а он заговорил прерывающимся голосом: «Несчастный! И ты, значит, одержим тем же безумием? И ты отведал опьяняющего напитка? Так выслушай же меня, узнай мою повесть, и ты бросишь наземь чашу с ядом!»

Эти слова, как ты можешь себе представить, разожгли мое любопытство, но волнение, охватившее незнакомца, оказалось слишком утомительным для его истощенного тела, и понадобились долгие часы отдыха и мирных бесед, прежде чем силы его восстановились.

Справившись со своими чувствами, он, казалось, презирал себя за то, что не совладал с собой. Преодолевая мрачное отчаяние, он вновь заговорил обо мне. Он пожелал услышать историю моей юности. Рассказ о ней не занял много времени, но навел нас на размышления. Я поведал ему, как страстно хочу

иметь друга, как жажду более близкого общения с родственной душою, чем до сих пор выпало мне на долю, и убежденно заявил, что без этого дара судьбы человек не может быть счастлив.

«Я с вами согласен, — отвечал незнакомец, — мы остаемся как бы незавершенными, пока некто более мудрый и достойный, чем мы сами — а именно таким должен быть друг, — не поможет нам побороть наши слабости и пороки. Я некогда имел друга, благороднейшего из людей, и потому способен судить о дружбе. У вас есть надежды, перед вами — весь мир, и у вас нет причин отчаиваться. Но я — я утратил все и не могу начать жизнь заново».

При этих словах на лице его выразилось тяжкое, неизбывное страдание, тронувшее меня до глубины сердца. Но затем он умолк и удалился в свою каюту.

Даже сломленный духом, этот человек как никто умеет чувствовать красоту природы. Звездное небо, океан и все ландшафты окружающих нас удивительных мест еще имеют над ним силу и возвышают его над земным. Такой человек ведет как бы двойную жизнь: он может страдать и сгибаться под тяжестью пережитого, но, уходя в себя, уподобляется небесному духу; его ограждает сияние, и в этот волшебный круг нет доступа горю и злу.

Неужели ты станешь смеяться над тем, как восхищает меня этот удивительный странник? Если так, то это лишь потому, что ты его не видела. Книги и уединение возвысили твою душу и сделали тебя требовательной; но ты тем более способна оценить необыкновенные достоинства этого удивительного человека. Иногда я пытаюсь понять, какое именно качество так возвышает его над всеми, доныне мне встречавшимися. Мне кажется, что это — некая интуиция, способность быстрого, но безошибочного суждения, необычайно ясное и точное проникновение в причины вещей; добавь к этому редкий дар красноречия и голос, богатый чарующими модуляциями.

19 августа 17... года

Вчера незнакомец сказал мне: «Вы, должно быть, догадываетесь, капитан Уолтон, что я перенес неслыханные бедствия. Когда-то я решил, что память о них умрет вместе со мной, но вы заставили меня изменить решение. Так же как и я в свое время, вы стремитесь к истине и познанию, и я горячо желаю, чтобы достижение цели не обернулось для вас злою бедой, как это случилось со мною. Не знаю, принесет ли вам пользу рассказ о моих несчастьях, но, видя, как вы идете тем же путем, подвергаете себя тем же опасностям, что довели меня до нынешнего состояния, я полагаю, что из моей повести вы сумеете извлечь

мораль, и притом такую, которая послужит вам руководством в случае успеха и утешением в случае неудачи. Приготовьтесь услышать историю, которая может показаться неправдоподобной. Будь мы в более привычной обстановке, я опасался бы встретить у вас недоверие, быть может, даже насмешку, но в этих загадочных и суровых краях кажется возможным многое такое, что вызывает смех у не посвященных в тайны природы; не сомневаюсь к тому же, что мое повествование заключает в себе самом доказательства своей истинности».

Можешь вообразить, как я обрадовался его предложению, но я не мог допустить, чтобы рассказом о пережитых несчастьях он бередил свои раны. Мне не терпелось услышать обещанную повесть отчасти из любопытства, но также из сильнейшего желания помочь ему, если б это оказалось в моих силах. Все эти мысли я высказал в своем ответе.

«Благодарю вас за сострадание, — ответил он, — но оно бесполезно; предначертанное свершилось. Я жду лишь одного события — и тогда обрету покой. Я понимаю ваши чувства, — продолжал он, заметив, что я собираюсь прервать его, — но вы ошибаетесь, друг мой (если мне позволено так называть вас), — ничто не может изменить моей судьбы; выслушайте мой рассказ, и вы убедитесь, что она решена бесповоротно».

Свое повествование он пожелал начать на следующий день, в часы моего досуга. Я горячо поблагодарил его. Отныне каждый вечер, когда мне не помешают обязанности, я буду записывать услышанное, стараясь как можно точнее придерживаться его слов. Если на это не хватит времени, я буду делать хотя бы краткие заметки. Эту рукопись ты, несомненно, прочтешь с интересом, но с еще большим интересом я когда-нибудь перечту ее сам — я, видевший его и слышавший повесть из собственных его уст! Даже сейчас, приступая к записям, я будто слышу его звучный голос, вижу выразительные движения его исхудалых рук и лицо, словно озаренное внутренним светом, и на меня печально и ласково глядят его блестящие глаза. Необычной и страшной была повесть его жизни, ужасна буря, настигшая этот славный корабль и разбившая его.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Я уроженец Женевы, мои родные принадлежат к числу самых именитых граждан республики. Мои предки много лет были советниками и синдиками, отец также с честью отправлял ряд общественных должностей. За честность и усердие на об-

щественном поприще он пользовался всеобщим уважением. Молодость его была всецело посвящена служению стране, различные обстоятельства помешали ему рано жениться, и он лишь на склоне лет стал супругом и отцом.

Обстоятельства брака столь ярко рисуют характер моего отца, что я должен о них поведать. Среди его ближайших друзей был один негоциант, который вследствие многочисленных неудач превратился из богатого человека в бедняка. Этот человек, по фамилии Бофор, обладал гордым и непреклонным нравом и не мог жить в нищете и забвении там, где прежде имел богатство и почет. Поэтому, честно расплатившись с кредиторами, он переехал со своей дочерью в Люцерн, где жил в бедности и уединении. Отец мой питал к Бофору самую преданную дружбу и был немало огорчен его отъездом при столь печальных обстоятельствах. Он горько сожалел о ложной гордости, подсказавшей его другу поступок, столь недостойный их отношений. Он тотчас же принялся разыскивать Бофора, надеясь убедить друга воспользоваться его поддержкой и начать жизнь заново.

Бофор всячески постарался скрыть свое местопребывание, и отцу понадобилось целых десять месяцев, чтобы его отыскать. Обрадованный, он поспешил к его дому, находившемуся в убогой улочке вблизи Рейса. Но там он увидел отчаяние и горе. После краха Бофору удалось сохранить лишь небольшую сумму денег, достаточную, чтобы кое-как перебиться несколько месяцев; тем временем он надеялся получить работу в каком-нибудь торговом доме. Таким образом, первые месяцы прошли в бездействии. Горе его усугублялось, поскольку он имел время на размышления, и наконец так овладело им, что на исходе третьего месяца он слег и уже ничего не мог предпринять.

Дочь ухаживала за ним с нежной заботливостью, но в отчаянии видела, что их скудные запасы быстро тают, а других источников не предвиделось. Однако Каролина Бофор была натурой незаурядной, и мужество не оставило ее в несчастье. Она стала шить, плести из соломки, и ей удавалось зарабатывать жалкие гроши, едва достаточные для поддержания жизни.

Так прошло несколько месяцев. Отцу ее становилось все хуже, уход за ним занимал почти все ее время, добывать деньги стало труднее, и на десятом месяце отец скончался на ее руках, оставив дочь нищей сиротою. Последний удар сразил ее; горько рыдая, она упала на колени у гроба Бофора; в эту самую минуту в комнату вошел мой отец. Он явился к бедной девушке как добрый гений, и она отдала себя под его покровительство. Похоронив друга, он отвез ее в Женеву, поручив заботам своей родственницы. Два года спустя Каролина стала его женой.

Между моими родителями была значительная разница в возрасте, но это обстоятельство, казалось, еще прочнее скрепляло их нежный союз. Отцу моему было свойственно чувство справедливости, он не мыслил себе любви без уважения. Должно быть, в молодые годы он перестрадал, слишком поздно узнав, что предмет его любви был ее недостоин, и потому особенно ценил душевные качества, проверенные тяжкими испытаниями. В его чувстве к моей матери соединились благоговение и признательность; отнюдь не похожие на слепую старческую влюбленность, они были внушены восхищением достоинствами жены и желанием хоть немного вознаградить ее за перенесенные бедствия, что придавало удивительное благородство его отношению к ней. Все в доме подчинялось ее желаниям. Он берег ее, как садовник бережет редкостный цветок от каждого дуновения ветра, и окружал всем, что могло приносить радость ее нежной душе. Пережитые беды расстроили здоровье Каролины и поколебали даже ее душевное равновесие. За два года, предшествовавшие их браку, отец постепенно сложил с себя все свои общественные обязанности; тотчас после свадьбы они отправились в Италию, где мягкий климат, перемена обстановки и новые впечатления, столь обильные в этой стране чудес, послужили ей укрепляющим средством.

Из Италии они поехали в Германию и Францию. Я, их первенец, родился в Неаполе и первые годы жизни сопровождал родителей в их странствиях. В течение нескольких лет я был единственным ребенком. Как ни привязаны они были друг к другу, у них оставался еще неисчерпаемый запас любви, изливавшейся на меня. Нежные ласки матери, добрый взгляд и улыбки отца — таковы мои первые воспоминания. Я был их игрушкой, их божком и — еще лучше того — их ребенком, невинным и беспомощным созданием, посланным Небесами, чтобы научить добру; они держали мою судьбу в своих руках, могли сделать счастливым или несчастным, смотря по тому, как они выполнят свой долг в отношении меня. При столь глубоком понимании своих обязанностей перед существом, которому они дали жизнь, при деятельной доброте, отличавшей обоих, можно представить себе, что, хотя я в младенчестве ежечасно получал уроки терпения, милосердия и сдержанности, мной руководили так мягко, что все казалось мне удовольствием.

Долгое время я был главным предметом их забот. Моей матери очень хотелось иметь дочь, но я оставался их единственным отпрыском. Когда мне было лет пять, родители, во время поездки за пределы Италии, провели неделю на берегу озера Комо. Доброта часто приводила их в хижины бедняков. Для матери это было больше чем простым долгом, для нее стало

потребностью и страстью в память о собственных страданиях и избавлении в свою очередь являться страждущим как ангел-хранитель. Во время одной из прогулок внимание моих родителей привлекла одна особенно убогая хижина в долине, где было множество оборванных детей и все говорило о крайней нищете. Однажды, когда отец отправился в Милан, мать посетила это жилище, взяв с собой и меня. Там оказались крестьянин с женой; согбенные трудом и заботами, они делили скудные крохи между пятью голодными детьми. Одна девочка обратила на себя внимание моей матери: она казалась существом какой-то иной породы. Четверо других были черноглазые, крепкие маленькие оборвыши, а эта девочка была тоненькая и белокурая. Волосы ее были словно из чистого золота и, несмотря на убогую одежду, венчали ее как корона. У нее был чистый лоб, ясные синие глаза, а губы и все черты лица так прелестны и нежны, что всякому видевшему ее она казалась созданием особенным, сошедшим с Небес и отмеченным печатью своего небесного рождения.

Заметив, что моя мать с удивлением и восторгом смотрит на прелестную девочку, крестьянка поспешила рассказать нам ее историю. Это было не их дитя, а дочь одного миланского дворянина. Мать ее была немкой; она умерла при родах. Ребенка отдали крестьянке, чтобы выкормить грудью; тогда семья была не так бедна. Они поженились незадолго до того, и у них только что родился первенец. Отец их питомицы был одним из итальянцев, помнивших о древней славе Италии, одним из schiavi ognor frementi[1], стремившихся добиться освобождения своей родины. Это его и погубило. Был ли он казнен или все еще томился в австрийской темнице — этого никто не знал. Имущество его было конфисковано, а дочь осталась сиротою и нищей. Она росла у своей кормилицы и расцветала в их бедном доме, прекраснее, чем садовая роза среди темнолистого терновника.

Вернувшись из Милана, отец увидел в гостиной нашей виллы игравшего со мной ребенка, более прелестного, чем херувим, — существо, словно излучавшее свет, в движениях легкое, как горная серна. Ему объяснили, в чем дело. Получив его разрешение, мать уговорила крестьян отдать их питомицу ей. Они любили прелестную сиротку. Ее присутствие казалось им небесным благословением, но жестоко было бы оставить девочку в нужде, когда судьба посылала ей таких богатых покровителей. Они посоветовались с деревенским священником, и вскоре Элизабет Лавенца стала членом нашей семьи, моей сестрой и даже более — прекрасной и обожаемой подругой всех моих занятий

[1] Рабов, ежечасно ропщущих *(ит.)*.

и игр. Элизабет была общей любимицей. Я гордился горячей и почти благоговейной привязанностью, которую она внушала всем, и сам разделял ее. В день, когда она должна была переселиться в наш дом, мать шутливо сказала: «У меня есть для моего Виктора замечательный подарок, завтра он его получит». Когда наутро она представила мне Элизабет в качестве обещанного подарка, я с детской серьезностью истолковал эти слова в буквальном смысле и стал считать Элизабет своей — порученной мне, чтобы я ее защищал, любил и лелеял. Все расточаемые ей похвалы я принимал как похвалы чему-то мне принадлежащему. Мы дружески звали друг друга кузеном и кузиной. Но никакое слово не могло бы выразить мое отношение к ней — она была мне ближе сестры и должна была стать моей навеки.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Мы воспитывались вместе, разница в нашем возрасте не составляла и года; нечего и говорить, что ссоры и раздоры были нам чужды. В наших отношениях царила гармония, и самые различия в наших характерах только сближали нас. Элизабет была спокойнее и сдержаннее меня, зато я, при всей своей необузданности, обладал большим упорством в занятиях и неутолимой жаждой знаний. Ее пленяли воздушные замыслы поэтов; в величавых и роскошных пейзажах, окружавших наш швейцарский дом — в волшебных очертаниях гор, в сменах времен года, в бурях и затишье, в безмолвии зимы и в неугомонной жизни альпийского лета, — она находила неисчерпаемый источник восхищения и радости. В то время как моя подруга сосредоточенно и удовлетворенно созерцала внешнюю красоту мира, я любил исследовать причины вещей. Мир представлялся мне тайной, которую я стремился постичь. В самом раннем детстве во мне уже проявлялись любопытство, упорное стремление постичь тайные законы природы и восторженная радость познания.

С рождением второго сына — спустя семь лет после меня — родители отказались от странствий и поселились на родине. У нас был дом в Женеве и дача в Бельрив, на восточном берегу озера, примерно в одном лье от города. Мы обычно жили на даче; родители вели жизнь довольно уединенную. Мне также свойственно избегать толпы, но зато страстно привязываться к немногим. Поэтому я оставался равнодушен к школьным товарищам, однако с одним из них меня связывала самая тесная дружба. Анри Клерваль, мальчик, наделенный выдающимися та-

лантами и живым воображением, был сыном женевского негоцианта. Трудности, приключения и даже опасности влекли Анри сами по себе. Он был весьма начитан в рыцарских романах, сочинял героические поэмы и не раз начинал писать повести, полные фантастических и воинственных приключений. Он заставлял нас разыгрывать пьесы и устраивал переодевания, причем чаще всего мы изображали героев Ронсеваля, рыцарей Артурова Круглого стола и воинов, проливавших кровь за освобождение Гроба Господня из рук неверных.

Ни у кого на свете не было столь счастливого детства, как у меня. Родители мои были воплощением снисходительности и доброты. Мы видели в них не тиранов, капризно управлявших нашей судьбой, а дарителей бесчисленных радостей. Посещая другие семьи, я ясно видел, какое редкое счастье выпало мне на долю, и признательность лишь усиливала мою сыновнюю любовь.

Нрав у меня был необузданный, и страсти порой овладевали мной всецело, но так уж я был устроен, что этот пыл обращался не на детские шалости, а к познанию, причем не всего без разбора. Признаюсь, меня не привлекали ни строй различных языков, ни проблемы государственного и политического устройства. Я стремился познать тайны земли и неба, будь то внешняя оболочка вещей или внутренняя сущность природы, и тайны человеческой души; мой интерес был сосредоточен на метафизических или — в высшем смысле этого слова — физических тайнах мира.

Клерваль, в отличие от меня, интересовался нравственными проблемами. Кипучая жизнь общества, людские поступки, доблестные деяния героев — вот что его занимало; его мечтой и надеждой было стать одним из тех отважных благодетелей человеческого рода, чьи имена сохраняются в анналах истории. Святая душа Элизабет озаряла наш мирный дом подобно алтарной лампаде. Вся любовь ее была обращена на нас; ее улыбка, нежный голос и небесный взор постоянно радовали нас и живили. В ней жил умиротворяющий дух любви. Мои занятия могли бы сделать меня угрюмым, моя природная горячность — грубым, если бы присутствие Элизабет не смягчало меня, передавая мне частицу ее кротости. А Клерваль? Казалось, ничто дурное не могло найти места в благородной душе Клерваля, но даже он едва ли был бы так человечен и великодушен, так полон доброты и заботливости при всем своем стремлении к опасным приключениям, если бы она не открыла ему красоту деятельного милосердия и не поставила добро высшей целью его честолюбия.

Я с наслаждением задерживаюсь на воспоминаниях детства, когда несчастья еще не поразили мой дух и светлое стремление

служить людям не сменилось мрачными думами, сосредоточенными только на себе. Однако, рисуя картины моего детства, я повествую и о событиях, незаметно приведших к последующим бедствиям, ибо, желая вспомнить зарождение страсти, подчинившей себе впоследствии мою жизнь, я вижу, что она, подобно горной реке, родилась из едва заметных источников, чтобы затем, набирая силу, стать бурным потоком, унесшим все мои радости и надежды.

Естествознание — вот демон, правивший моей судьбой. Поэтому в своем повествовании я хочу указать на обстоятельства, которые заставили меня предпочесть его всем другим наукам. Однажды, когда мне было тринадцать лет, мы всей семьей отправились на купанье куда-то возле Тонона. Непогода на целый день заперла нас в гостинице. Там я случайно обнаружил томик сочинений Корнелия Агриппы. Я рассеянно открыл его, но теория, которую он пытался доказать, и удивительные факты, о которых он повествовал, вскоре привели меня в восхищение. Меня словно озарил новый свет; полный радости, я рассказал о своем открытии отцу. Тот небрежно взглянул на заглавный лист моей книги и сказал: «А, Корнелий Агриппа! Милый Виктор, не трать времени на подобную чепуху».

Если бы вместо этого замечания отец взял на себя труд объяснить мне, что учение Агриппы полностью опровергнуто, что его сменила новая научная система, более основательная, чем прежняя, — ибо могущество прежней было призрачным, тогда как новая оказалась реалистична и плодотворна, — я, несомненно, отшвырнул бы Агриппу и насытил свое пылкое воображение, с новым усердием обратившись к школьным занятиям. Возможно даже, что мои мысли никогда не получили бы рокового толчка, приведшего меня к гибели. Но беглый взгляд, брошенный отцом на книгу, отнюдь не убедил меня, что он знаком с ее содержанием; поэтому я с жадностью продолжил чтение. Вернувшись домой, я первым делом раздобыл все сочинения моего автора, а затем Парацельса и Альберта Великого. Я с наслаждением изучал их безумные вымыслы; они казались мне сокровищами, мало кому ведомыми, кроме меня. Я уже говорил, что всегда был одержим страстным стремлением познать тайны природы. Несмотря на неусыпный труд и удивительные открытия современных ученых, их книги всегда оставляли меня неудовлетворенным. Говорят, сэр Исаак Ньютон признался, что чувствует себя ребенком, собирающим ракушки на берегу великого и неведомого океана истины. Те его последователи во всех областях естествознания, с которыми я был знаком, даже мне, мальчишке, казались новичками, занятыми тем же делом.

Невежественный поселянин созерцал окружающие его стихии и на опыте узнавал их проявления. Но ведь и самый ученый из философов знал не многим больше. Он лишь слегка приоткрыл завесу над ликом Природы, но ее бессмертные черты оставались дивом и тайной. Он мог анатомировать трупы и давать вещам названия; но он ничего не знал даже о вторичных и ближайших причинах явлений, не говоря уже о первичной. Я увидел укрепления, преграждавшие человеку вход в цитадель природы, и в своем невежестве и нетерпении возроптал против них.

А тут были книги, проникавшие глубже, и люди, знавшие больше. Я во всем поверил им на слово и сделался их учеником. Вам может показаться странным, как могло такое случиться в восемнадцатом веке, но дело в том, что, в силу рутины, царившей в женевских школах, я по части своих любимых предметов был почти что самоучкой. Отец не имел склонности к естественным наукам, и я был предоставлен самому себе; страсть исследователя сочеталась у меня с неведением ребенка. Под руководством новых наставников я с величайшим усердием принялся за поиски философского камня и жизненного эликсира. Последний вскоре целиком завладел моим вниманием; богатство казалось мне вещью второстепенной; но какая слава ждала бы меня, если б я нашел способ избавить человека от болезней и сделать его неуязвимым для всего, кроме насильственной смерти!

Но я мечтал не только об этом. Мои любимые авторы не скупились на обещания научить заклинанию духов или дьяволов; я с жаром принялся этому учиться. И если мои заклинания неизменно оказывались тщетными, я приписывал это собственной неопытности и ошибкам, но не смел сомневаться в учености наставников или точности их слов. Итак, я посвятил некоторое время этим опровергнутым учениям, путая, как всякий невежда, множество противоречивших друг другу теорий, беспомощно барахтаясь среди разнообразных сведений, руководимый лишь пламенным воображением и детской логикой, когда неожиданный случай еще раз придал новое направление моим мыслям.

Когда мне было лет пятнадцать, мы переехали в наш загородный дом возле Бельрив и там стали свидетелями необыкновенно сильной грозы. Она пришла из-за горного хребта Юры; оглушительный гром загремел со всех сторон сразу. Пока продолжалась гроза, я наблюдал ее с любопытством и восхищением. Стоя в дверях, я внезапно увидел, как из великолепного старого дуба, росшего в каких-нибудь двадцати ярдах от дома, вырвалось пламя; когда погас его ослепительный свет, на месте дуба остался лишь обугленный пень. Подойдя к нему следующим

утром, мы увидели, что дерево разрушено необычным образом. Удар молнии не просто расколол его, но расщепил на тонкие полоски древесины. Никогда я не наблюдал столь полного разрушения.

Я и прежде был знаком с основными законами электричества. В тот день у нас гостил один известный естествоиспытатель. Случай с дубом побудил его изложить нам собственные свои соображения о природе электричества и гальванизма, которые были для меня и новы, и удивительны. Все рассказанное им отодвинуло на задний план властителей моих дум — Корнелия Агриппу, Альберта Великого и Парацельса; но свержение этих идолов одновременно отбило у меня и охоту к обычным занятиям. Я решил, что никто и никогда не сможет ничего познать до конца. Все, что так долго занимало мой ум, вдруг показалось мне не стоящим внимания. Повинуясь одному из тех капризов, которые более свойственны ранней юности, я немедленно оставил свои прежние увлечения, объявил все отрасли естествознания бесплодными и проникся величайшим презрением к этой псевдонауке, которой не суждено даже переступить порога подлинного познания. В таком настроении духа я принялся за математику и смежные с нею науки, покоящиеся на прочном фундаменте, а потому достойные внимания.

Вот как странно устроен человек и какие тонкие грани отделяют нас от благополучия или гибели. Оглядываясь назад, я вижу, что эта почти чудом свершившаяся перемена склонностей была подсказана мне моим ангелом-хранителем; то была последняя попытка добрых сил отвратить грозу, уже нависшую надо мной и готовую меня поглотить. Победа доброго начала сказалась в необыкновенном спокойствии и умиротворении, которые я обрел, отказавшись от прежних занятий, ставших для меня в последнее время мукой. Мне следовало бы тогда же почувствовать, что эти занятия для меня гибельны и что мое спасение заключается в отказе от них.

Дух добра сделал все возможное, но тщетно. Рок был слишком могуществен, и его непреложные законы предопределили мою окончательную и ужасную гибель.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Когда я достиг семнадцати лет, мои родители решили определить меня в университет города Ингольштадта. Я учился в школе в Женеве, но для завершения моего образования отец счел необходимым, чтобы я ознакомился с иными обычаями,

кроме отечественных. Уже назначен был день отъезда, но, прежде чем он наступил, в моей жизни произошло первое несчастье, словно предвещавшее все дальнейшее.

Элизабет заболела скарлатиной; она хворала тяжело, и жизнь ее была в опасности. Все пытались убедить мою мать остерегаться заразы. Сперва она послушалась наших уговоров, но, услыхав об опасности, грозившей ее любимице, не могла более сдерживать свое беспокойство. Она стала ходить за больной, ее неусыпная забота победила злой недуг — Элизабет была спасена, но для ее спасительницы эта неосторожность оказалась роковой. На третий день мать почувствовала себя плохо; возникший у нее жар сопровождался самыми тревожными симптомами, и по лицам врачей можно было прочесть, что дело идет к печальному концу. Но и на смертном одре стойкость и кротость не изменили этой лучшей из женщин. Она вложила руку Элизабет в мою. «Дети, — сказала она, — я всегда мечтала о вашем союзе. Теперь он должен служить утешением вашему отцу. Элизабет, любовь моя, тебе придется заменить меня младшим детям. О, как мне тяжело расставаться с вами! Я была счастлива и любима — каково мне покидать вас... Но это — недостойные мысли; я постараюсь примириться со смертью и утешиться надеждой на встречу с вами в ином мире».

Кончина ее была спокойной, и лицо ее даже в смерти сохранило свою кротость. Не стану описывать чувства тех, у кого беспощадная смерть отнимает любимое существо: пустоту, остающуюся в душе, и отчаяние, написанное на лице. Немало нужно времени, прежде чем рассудок убедит нас, что та, кого мы видели ежедневно и чья жизнь представлялась частью нашей собственной, могла уйти навсегда — что могло навеки угаснуть сиянье любимых глаз, могли навеки умолкнуть звуки знакомого, милого голоса. Таковы размышления первых дней; когда же ход времени подтверждает нашу утрату, тут-то и начинается истинное горе. Но у кого из нас жестокая рука не похищала близкого человека? К чему описывать горе, знакомое всем и для всех неизбежное? Наступает наконец время, когда горе перестает быть неодолимым, его уже можно обуздывать, и хотя улыбка кажется нам кощунством, мы уже не гоним ее с уст. Мать моя умерла, но у нас оставались обязанности, которые следовало выполнять; надо было жить и считать себя счастливыми, пока рядом находился хоть один человек, не сделавшийся добычей смерти.

Мой отъезд в Ингольштадт, отложенный из-за этих событий, был теперь решен снова. Но я выпросил у отца несколько недель отсрочки. Мне казалось недостойным так скоро покинуть дом скорби, где царила почти могильная тишина, и окунуться в жиз-

ненную суету. Я впервые испытал горе, но оно не испугало меня. Мне жаль было оставлять своих близких, и прежде всего хотелось хоть сколько-нибудь утешить мою дорогую Элизабет.

Правда, она скрывала свою печаль и сама старалась быть утешительницей для всех нас. Она смело взглянула в лицо жизни и мужественно взялась за свои обязанности, посвятив себя тем, кого давно звала дядей и братьями. Никогда не была она так прекрасна, как в это время, когда вновь научилась улыбаться, чтобы радовать нас. Стараясь развеять наше горе, Элизабет забывала о своем.

Наконец день моего отъезда наступил. Клерваль провел с нами последний вечер. Он пытался добиться от своего отца позволения ехать вместе со мной и поступить в тот же университет, но напрасно. Отец его был недалеким торгашом и в стремлениях сына видел лишь разорительные прихоти. Анри глубоко страдал от невозможности получить высшее образование. Он был молчалив, но, когда начинал говорить, я читал в его загоравшихся глазах сдерживаемую, но твердую решимость вырваться из плена коммерции.

Мы засиделись допоздна. Нам было трудно оторваться друг от друга и произнести слово «прощай». В конце концов оно было сказано, и мы разошлись якобы на покой; каждый убеждал себя, что ему удалось обмануть другого; когда на утренней заре я вышел к экипажу, в котором должен был уехать, все собрались снова: отец — чтобы еще раз благословить меня, Клерваль — чтобы еще пожать мне руку, моя Элизабет — чтобы повторить свои просьбы писать почаще и еще раз окинуть своего друга заботливым женским взглядом.

Я бросился на сиденье экипажа, уносившего меня от них, и предался самым грустным раздумьям. Привыкший к обществу милых сердцу людей, неизменно внимательных друг к другу, я был теперь один. В университете, куда я направлялся, мне предстояло самому искать себе друзей и самому себя защищать. Жизнь моя до тех пор была уединенной и протекала всецело в домашнем кругу; это внушило мне непобедимую неприязнь к новым лицам. Я любил своих братьев, Элизабет и Клерваля — это были «милые знакомые лица», и мне казалось, что я не смогу находиться среди чужих. Таковы были мои думы в начале пути, но вскоре я приободрился. Я страстно жаждал знаний. Дома мне часто казалось, что человеку обидно провести молодость в четырех стенах, хотелось повидать свет и найти свое место среди людей. Теперь желания мои сбывались, и сожалеть об этом было бы глупо.

Путь в Ингольштадт был долог и утомителен, и у меня оказалось довольно времени для этих и многих других размышле-

ний. Наконец моим глазам предстали высокие белые шпили города. Я вышел из экипажа, и меня провели на одинокую квартиру, предоставив провести вечер как заблагорассудится.

Наутро я вручил свои рекомендательные письма и сделал визиты нескольким главным профессорам. Случай — а вернее, злой рок, Дух Гибели, взявший надо мною полную власть, едва я скрепя сердце покинул родительский кров, — привел меня сперва к господину Кремпе, профессору естественных наук. Это был грубоватый человек, но большой знаток своего дела. Он задал мне несколько вопросов — с целью проэкзаменовать в различных областях естествознания. Я отвечал небрежно и с некоторым вызовом упомянул моих алхимиков в качестве главных авторов, которых я изучал. Профессор широко раскрыл глаза: «И вы в самом деле тратили время на изучение подобного вздора?»

Я отвечал утвердительно. «Каждая минута, — с жаром сказал господин Кремпе, — каждая минута, потраченная на эти книги, целиком и безвозвратно потеряна вами. Вы обременили свою память опровергнутыми теориями и ненужными именами. Боже! В какой же пустыне вы жили, если никто не сообщил вам, что этим басням, которые вы так жадно поглощали, тысяча лет и что они успели заплесневеть? Вот уж не ожидал в наш просвещенный научный век встретить ученика Альберта Великого и Парацельса. Придется вам, сударь, заново начать все ваши занятия».

Затем он составил список книг по естествознанию, которые рекомендовал достать, и отпустил меня, сообщив, что со следующей недели начинает читать курс общего естествознания, а его коллега Вальдман в другие дни будет читать лекции по химии.

Я возвратился к себе ничуть не обескураженный, ибо и сам, как уже говорил, давно считал бесполезными осужденные профессором книги; но я вообще не хотел больше заниматься этими предметами в каком бы то ни было виде. Господин Кремпе был приземистым человеком с резким голосом и отталкивающей внешностью, так что и сам учитель не расположил меня к своему учению. В общем, так сказать, философском смысле я уже говорил, к каким заключениям пришел в юности относительно этой науки. Мое ребяческое любопытство не удовлетворялось результатами, какие сулит современное естествознание. В моей голове царила полная путаница, объясняемая только крайней молодостью и отсутствием руководства; я прошел вспять по пути науки и открытиям моих современников предпочел грезы давно позабытых алхимиков. К тому же я презирал современное применение естественных наук. Все было иначе,

когда ученые стремились к бессмертию и власти; то были великие, хотя и бесплодные стремления; теперь же все переменилось. Нынешний ученый, казалось, ограничивался опровержением именно тех видений, на которых главным образом и был основан мой интерес к науке. От меня требовалось сменить величественные химеры на весьма убогую реальность.

Так размышлял я в первые два или три дня пребывания в Ингольштадте, которые посвятил преимущественно знакомству с городом и новыми соседями. Но в начале следующей недели я вспомнил про лекции, о которых упоминал г-н Кремпе. Не испытывая никакого желания идти слушать, как будет изрекать с кафедры свои сентенции этот самоуверенный человечек, я, однако, вспомнил, что он говорил о г-не Вальдмане, которого я еще не видел, ибо его в то время не было в городе.

Частью из любопытства, а частью от нечего делать я пришел в аудиторию, куда вскоре явился г-н Вальдман. Этот профессор мало походил на своего коллегу. Ему было на вид лет пятьдесят, а лицо его выражало величайшую доброту; на висках волосы его начинали седеть, но на затылке были совершенно черные. Роста он был небольшого, однако держался необыкновенно прямо, а такого благозвучного голоса я еще никогда не слышал. Свою лекцию он начал с обзора истории химии и сделанных в ней открытий, с благоговением называя имена наиболее выдающихся ученых. Затем он вкратце изобразил современное состояние своей науки и разъяснил основные ее термины. Показав несколько предварительных опытов, он в заключение произнес хвалу современной химии в выражениях, которые я никогда не забуду.

«Прежние представители этой науки, — сказал он, — обещали невозможное, но не свершили ничего. Нынешние обещают очень мало, они знают, что превращение металлов немыслимо, а эликсир жизни — несбыточная мечта. Но именно эти ученые, которые, казалось бы, возятся в грязи и корпят над микроскопом и тигелем, именно они и совершили истинные чудеса. Они прослеживают природу в ее сокровенных тайниках. Они подымаются в небеса; они узнали, как обращается в нашем теле кровь и из чего состоит воздух, которым мы дышим. Они приобрели новую и почти безграничную власть; они повелевают небесным громом, могут воспроизвести землетрясение и даже бросают вызов невидимому миру».

Таковы были слова профессора, вернее, слова судьбы, произнесенные на мою погибель. По мере того как он говорил, я чувствовал, что схватился наконец с достойным противником; он затрагивал одну за другой сокровенные фибры моей души, заставлял звучать струну за струною, и скоро я весь был полон

одной мыслью, одной целью. «Если столько уже сделано, — восклицала душа Франкенштейна, — я сделаю больше, много больше; идя по проложенному пути, я вступлю затем на новый, открою не изведанные еще силы и приобщу человечество к глубочайшим тайнам природы».

В ту ночь я не сомкнул глаз. Все в моей душе бурно кипело; я чувствовал, что из этого возникнет новый порядок, но не имел сил сам его создать. Сон снизошел на меня лишь на рассвете. Когда я проснулся, ночные мысли представились мне каким-то сновидением. Осталось только решение возвратиться к прежним занятиям и посвятить себя науке, к которой я имел, как мне казалось, врожденный дар. В тот же день я посетил г-на Вальдмана. В частной беседе он был еще обаятельней, чем на кафедре; некоторая торжественность, заметная в нем во время лекций, в домашней обстановке сменилась непринужденной приветливостью и добротой. Я рассказал ему о своих занятиях почти то же, что его коллеге. Профессор внимательно выслушал мою краткую повесть, улыбнулся при упоминании о Корнелии Агриппе и Парацельсе, однако без того презрения, какое обнаружил г-н Кремпе, и заметил, что «неутомимому усердию этих людей современные ученые обязаны многими основами своих знаний. Они оставили нам задачу более легкую: дать новые наименования и расположить в строгом порядке факты, впервые обнаруженные ими. Труд гениев, даже ложно направленный, почти всегда в конечном итоге служит на благо человечества». В ответ на эти замечания, высказанные без малейшей аффектации или самонадеянности, я заверил, что его лекция уничтожила мое предубеждение против современных химиков; я говорил сдержанно, со всей скромностью и почтительностью, подобающей юнцу в беседе с наставником, и ничем не выдал, стыдясь проявить свою житейскую неопытность, энтузиазма, с каким готовился взяться за дело. Я спросил его совета относительно нужных мне книг.

«Я счастлив, — сказал г-н Вальдман, — что обрел ученика, и если ваше прилежание равно вашим способностям, то я не сомневаюсь в успехе. В химии, как ни в одной другой из естественных наук, сделаны и еще будут сделаны величайшие открытия. Вот почему я избрал ее, не пренебрегая вместе с тем и другими науками. Плох тот химик, который не интересуется ничем, кроме своего предмета. Если вы желаете стать настоящим ученым, а не рядовым экспериментатором, я советую вам заняться всеми естественными науками, не забыв и о математике».

Затем он провел меня в свою лабораторию и объяснил назначение различных приборов; сказал, какие из них мне сле-

дует достать, и пообещал давать в пользование свои собственные, когда я настолько продвинусь в учении, чтобы их не испортить. Он вручил мне также список книг, о котором я просил, и я откланялся.

Так окончился этот памятный для меня день, который решил мою судьбу.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

С того дня естествознание и особенно химия в самом широком смысле слова стали почти единственным моим увлечением. Я усердно читал талантливые и обстоятельные сочинения современных ученых, слушал лекции и знакомился с университетскими профессорами, и даже в г-не Кремпе обнаружил немало здравого смысла и знаний, правда сочетавшихся с отталкивающей физиономией и манерами, но оттого не менее ценных. В лице г-на Вальдмана я обрел истинного друга. Его заботливость никогда не отдавала нравоучительностью; свои наставления он произносил с искренним добродушием, чуждым всякого педантства. Он бесчисленными способами облегчал мне путь к знанию и самые сложные понятия умел сделать легкими и доступными. Мое прилежание, поначалу неустойчивое, постепенно окрепло и вскоре сделалось столь пылким и страстным, что нередко звезды исчезали в утреннем свете, а я все еще трудился в своей лаборатории.

При таком упорстве я, разумеется, добился немалых успехов. Я поражал студентов своим усердием, а наставников — познаниями. Профессор Кремпе не раз с лукавой усмешкой спрашивал меня, как поживает Корнелий Агриппа, а г-н Вальдман выражал по поводу моих успехов самую искреннюю радость. Так прошло два года, и за это время я ни разу не побывал в Женеве, всецело предавшись трудам, которые, как я надеялся, приведут меня к научным открытиям. Только те, кто испытал это, знают неодолимую притягательность научного исследования. Во всех прочих занятиях вы лишь идете путем, которым прежде прошли другие, ничего вам не оставив, тогда как здесь вы непрерывно что-то открываете и изумляетесь. Даже человек средних способностей, упорно занимаясь одним предметом, непременно достигнет в нем глубоких познаний; поставив себе одну-единственную цель и полностью ей отдавшись, я добился таких успехов, что к концу второго года придумал некоторые усовершенствования в химической аппаратуре, завоевавшие мне в университете признание и уважение. Вот тогда-то, усвоив из

теории и практики естествознания все, что могли дать мне ингольштадтские профессора, я решил вернуться в родные места; но тут произошли события, продлившие мое пребывание в Ингольштадте.

Одним из предметов, особенно занимавших меня, было строение человеческого и вообще любого живого организма. Где, часто спрашивал я себя, таится жизненное начало? Вопрос смелый и всегда считавшийся загадкой; но мы стоим на пороге множества открытий, и единственной помехой является наша робость и леность. Размышляя над этим, я решил особенно тщательно изучать физиологию. Если бы не моя одержимость, эти занятия были бы тягостны и почти невыносимы. Для исследования причины жизни мы вынуждены сперва обращаться к смерти. Я изучил анатомию, но этого было мало: требовалось наблюдать процесс естественного распада и гниения тела. Воспитывая меня, отец принял все меры к тому, чтобы в мою душу не закрался страх перед сверхъестественным. Я не помню, чтобы когда-нибудь трепетал, слушая суеверные россказни, или страшился призраков. Боязнь темноты была мне неведома, а кладбище представлялось лишь местом упокоения мертвых тел, которые из обиталищ красоты и силы сделались добычей червей. Теперь мне предстояло изучить причины и ход этого разложения и проводить дни и ночи в склепах. Я сосредоточил свое внимание на явлениях, наиболее оскорбительных для наших чувств. Я увидел, чем становится прекрасное человеческое тело; я наблюдал, как превращается в тлен его цветущая красота; я увидел, как все, что радовало глаз и сердце, достается в пищу червям. Я исследовал причинные связи перехода от жизни к смерти и от смерти к жизни, как вдруг среди полной тьмы блеснул внезапный свет — столь ослепительный и вместе с тем ясный, что я, потрясенный открывшимися возможностями, мог только дивиться, почему после стольких гениальных людей, изучавших этот предмет, именно мне выпало открыть великую тайну.

Помните, что эта история — не бред безумца. Все, что я рассказываю, так же истинно, как солнце на небесах. Быть может, тут действительно свершилось чудо, но путь к нему был вполне обычным. Ценою многих дней и ночей нечеловеческого труда и усилий мне удалось постичь тайну зарождения жизни; более того — я узнал, как самому оживлять безжизненную материю.

Изумление, охватившее меня в первые минуты, скоро сменилось безумным восторгом. После стольких трудов достичь предела своих желаний — в этом была для меня величайшая награда. Мое открытие оказалось столь ошеломляющим, что ход

мысли, постепенно приведший меня к нему, изгладился из памяти и я видел один лишь конечный результат. Я держал в руках то, к чему стремились величайшие мудрецы от начала времен. Нельзя сказать, что все открылось мне сразу, точно по волшебству: то, что я узнал, могло служить руководством к заветной цели, но сама цель еще не была достигнута. Я был подобен арабу, погребенному вместе с мертвецами и увидавшему выход из склепа при свете единственного, слабо мерцавшего лучика.

По вашим глазам, загоревшимся удивлением и надеждой, я вижу, что вы, мой друг, жаждете узнать открытую мной тайну; этого не будет — выслушайте меня терпеливо до конца, и вы поймете, почему на этот счет я храню молчание. Я не хочу, чтобы вы, неосторожный и пылкий, каким был я сам, шли на муки и верную гибель. Пускай не наставления, а мой собственный пример покажет вам, какие опасности таит в себе познание и насколько тот, для кого мир ограничен родным городом, счастливее того, кто хочет вознестись выше поставленных природой пределов.

Получив в свои руки безмерную власть, я долго раздумывал, как употребить ее наилучшим образом. Я знал, как оживить безжизненное тело, но составить такое тело, во всей сложности нервов, мускулов и сосудов, оставалось задачей невероятно трудной. Я колебался, создать ли себе подобного или же более простой организм, но успех вскружил мне голову, и я не сомневался, что сумею вдохнуть жизнь даже в существо столь удивительное и сложное, как человек. Материалы, бывшие в моем распоряжении, казались недостаточными для этой тяжелой задачи, но я не сомневался, что сумею все преодолеть. Я заранее приготовился к множеству трудностей, к тому, что помехи будут возникать непрестанно, а результат окажется несовершенным, но, памятуя о ежедневных открытиях техники и науки, надеялся, что мои попытки хотя бы заложат основание для будущих достижений. Сложность и дерзость замысла также не казались мне доводом против него. С этими мыслями я приступил к сотворению человеческого существа. Поскольку сбор мельчайших частиц очень замедлил бы работу, я отступил от своего первоначального плана и решил создать гиганта — около восьми футов ростом и соответственно мощного сложения. Приняв это решение и затратив несколько месяцев на сбор нужных материалов, я принялся за дело.

Никому не понять сложных чувств, увлекавших меня, подобно вихрю, в эти дни опьянения успехом. Мне первому предстояло преодолеть грань жизни и смерти и озарить наш темный мир ослепительным светом. Новая порода людей благословит

меня как своего создателя; множество счастливых и совершенных существ будут обязаны мне своим рождением. Ни один отец не имеет столько прав на признательность ребенка, сколько обрету я. Раз я научился оживлять мертвую материю, рассуждал я, со временем (хотя сейчас это было для меня невозможно) я сумею также давать вторую жизнь телу, которое смерть уже обрекла на исчезновение.

Эти мысли поддерживали мой дух, покуда я с неослабным рвением отдавался работе. Щеки мои побледнели, а тело исхудало от затворнической жизни. Бывало, я терпел неудачу на самом пороге успеха, но продолжал верить, что он может прийти в любой день и час. Тайна, которой владел я один, стала смыслом моей жизни, и ей я посвятил себя всецело. Ночами, при свете месяца, я неутомимо и неустанно выслеживал природу в самых сокровенных ее тайниках. Как рассказать об ужасах этих ночных бдений, когда я рылся в могильной плесени или терзал живых тварей ради оживления мертвой материи? Сейчас при воспоминании об этом я дрожу всем телом, а глаза мои застилает туман; но в ту пору какое-то безудержное исступление влекло меня вперед. Казалось, я утратил все ощущения и видел лишь одну свою цель. То была временная одержимость — чувства воскресли во мне с новой силой, едва она миновала и я вернулся к прежнему образу жизни. Я собирал кости в склепах; я кощунственной рукой вторгался в сокровеннейшие уголки человеческого тела. Свою мастерскую я устроил в уединенной комнате, вернее, на чердаке, отделенном от всех других помещений галереей и лестницей; иные подробности этих занятий внушали мне такой ужас, что глаза мои едва не вылезали из орбит. Бойня и анатомический театр поставляли мне бóльшую часть материалов, и я часто содрогался от отвращения, но, подгоняемый все возрастающим нетерпением, все же вел дело к концу.

За этой работой, поглотившей меня целиком, прошло все лето. В тот год лето стояло прекрасное: никогда поля не приносили более обильной жатвы, а виноградники — лучшего сбора; но красоты природы меня не трогали. Та же одержимость, которая делала меня равнодушным к внешнему миру, заставила меня позабыть и друзей, оставшихся так далеко и не виденных так давно. Я понимал, что мое молчание тревожит их, и помнил слова отца: «Знаю, что, пока ты доволен собой, ты будешь вспоминать нас с любовью и писать нам часто. Прости, если я сочту твое молчание признаком того, что ты пренебрег и другими своими обязанностями».

Таким образом, я знал, что должен был думать обо мне отец, но не мог оторваться от занятий, которые, как бы ни были сами

по себе отвратительны, захватили меня целиком. Я словно отложил все, что касалось моих привязанностей, до завершения великого труда, подчинившего себе все мое существо.

Я считал тогда, что отец несправедлив ко мне, объясняя мое молчание разгульной жизнью и леностью; но теперь я убежден, что он имел основания подозревать нечто дурное. Совершенный человек всегда должен сохранять спокойствие духа, не давая страсти или мимолетным желаниям возмущать этот покой. Я полагаю, что и труд ученого не составляет исключения. Если ваши занятия ослабляют в вас привязанности или отвращают вас от простых и чистых радостей, значит, в них наверняка есть нечто не подобающее человеку. Если бы это правило всегда соблюдалось и человек никогда не жертвовал бы любовью к близким ради чего бы то ни было, Греция не попала бы в рабство, Цезарь пощадил бы свою страну, освоение Америки было бы более постепенным, а государства Мексики и Перу не подверглись бы разрушению.

Однако я принялся рассуждать в самом интересном месте моей повести, и ваш взгляд призывает меня продолжать ее.

Отец в своих письмах не упрекал меня и только подробней, чем прежде, осведомлялся о моих занятиях. Прошли зима, весна и лето, пока я был предан своим трудам, но я не любовался цветами и свежими листьями, прежде всегда меня восхищавшими, — настолько я был поглощен работой. Листья успели увянуть, прежде чем я ее завершил; и теперь я с каждым днем убеждался в полном своем успехе. Однако к восторгу примешивалась и тревога, и я больше походил на раба, томящегося в рудниках или ином гиблом месте, чем на творца, занятого любимым делом. По ночам меня лихорадило, а нервы были болезненно напряжены; я вздрагивал от шороха падающего листа и избегал людей, словно имел на совести преступление. Иногда я пугался, видя, что превращаюсь в развалину; меня поддерживало только стремление к цели; труд мой подвигался к концу, и я надеялся, что прогулки и развлечения не дадут развиться начинавшейся болезни; я обещал себе и то и другое, как только работа будет окончена.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Однажды ненастной ноябрьской ночью я узрел завершение своих трудов. С мучительным волнением я собрал все необходимое, чтобы зажечь жизнь в бесчувственном создании, лежавшем у моих ног. Был час пополуночи, дождь уныло стучал

в оконное стекло, свеча почти догорела, и вот в ее неверном свете я увидел, как открылись тусклые желтые глаза, как существо начало дышать и судорожно подергиваться.

Как описать, что я ощутил при виде этого ужасного зрелища, как изобразить несчастного, созданного мною с таким неимоверным трудом? А между тем члены его были соразмерны, и я подобрал для него красивые черты. Красивые — великий Боже! Желтая кожа слишком туго обтягивала мускулы и жилы; волосы были черные, блестящие и длинные, а зубы белые, как жемчуг; но тем страшнее был их контраст с водянистыми глазами, почти неотличимыми по цвету от самих глазниц, с сухой кожей и узкой прорезью черного рта.

Нет в жизни ничего переменчивее наших чувств. Почти два года я трудился с единственной целью — вдохнуть жизнь в бездыханное тело. Ради этого я лишил себя покоя и здоровья. Я желал этого с исступленной страстью, а теперь, когда я окончил свой труд, вся прелесть мечты исчезла и сердце мое наполнилось несказанным ужасом и отвращением. Не в силах смотреть долее на свое творение, я кинулся вон из комнаты и долго метался без сна по своей спальне. Наконец мое возбуждение сменилось усталостью, и я, одетый, бросился на постель, надеясь ненадолго забыться. Напрасно! Мне, правда, удалось заснуть, но я увидел во сне кошмар. Прекрасная и цветущая Элизабет шла по улице Ингольштадта. Я в восхищении обнял ее, однако едва успел запечатлеть поцелуй на ее губах, как они помертвели, черты ее изменились, и вот уже я держу в объятиях труп своей матери, тело ее окутано саваном, а в его складках копошатся могильные черви. В ужасе я проснулся, на лбу у меня выступил холодный пот, зубы стучали, все тело сводила судорога; и тут в мутном желтом свете луны, пробивавшемся сквозь ставни, я увидел гнусного урода, сотворенного мной. Он приподнял полог кровати, глаза его, если можно назвать их глазами, были устремлены на меня. Челюсти его двигались, и он издавал непонятные звуки, растягивая рот в улыбку.

Он, кажется, говорил, но я его не слышал; он протянул руку, словно удерживая меня, но я вырвался и побежал вниз по лестнице. Я укрылся во дворе нашего дома и там провел остаток ночи, расхаживая взад и вперед в сильнейшем волнении, настораживая слух и пугаясь каждого звука, словно возвещавшего приближение отвратительного существа, в которое я вдохнул жизнь.

На него невозможно было смотреть без содрогания. Никакая мумия, возвращенная к жизни, не могла быть ужаснее этого чудовища. Я видел свое творение неоконченным — оно и тогда было уродливо; но когда его суставы и мускулы пришли

в движение, получилось нечто более страшное, чем все вымыслы Данте.

Я провел ужасную ночь. Временами пульс мой бился так быстро и сильно, что я ощущал его в каждой артерии, а порой я готов был упасть от слабости. К ужасу примешивалась горечь разочарования; то, о чем я так долго мечтал, теперь превратилось в мучение — и как внезапна и непоправима была эта перемена!

Наконец забрезжил день, угрюмый и ненастный, и моим воспаленным от бессонницы глазам предстала ингольштадтская церковь с белым шпилем и часами, которые показывали шесть. Привратник открыл ворота двора, служившего мне в ту ночь прибежищем, я вышел на улицу и быстро зашагал, словно желая избежать встречи, которой со страхом ожидал при каждом повороте. Я не решался вернуться к себе на квартиру, что-то гнало меня вперед, хотя я насквозь промок от дождя, лившего с мрачного черного неба.

Так я шел некоторое время, стремясь усиленным физическим движением облегчить душевную муку, не отдавая себе ясного отчета, где я и что делаю. Сердце мое трепетало от мучительного страха, и я шагал неуверенной походкой, не смея оглянуться назад.

Так одинокий пешеход,
Чье сердце страх гнетет,
Назад не смотрит, и спешит,
И смотрит лишь вперед,
И знает, знает, что за ним
Ужасный враг идет[1].

Незаметно я дошел до постоялого двора, куда обычно приезжали дилижансы и кареты. Здесь я остановился, сам не зная зачем, и несколько минут смотрел на почтовую карету, показавшуюся в другом конце улицы. Когда она приблизилась, я увидел, что это швейцарский дилижанс; он остановился прямо подле меня, дверцы открылись, и появился Анри Клерваль, который, завидя меня, тотчас выскочил из экипажа. «Милый Франкенштейн, — воскликнул он, — как я рад тебя видеть! Как удачно, что ты оказался здесь к моему приезду».

Ни с чем не сравнить моего восторга при виде Клерваля; его появление напомнило мне об отце, Элизабет и счастливых днях у домашнего очага. Я сжал его руку и тотчас забыл свой ужас и свою беду — впервые за много месяцев я ощутил светлую и безмятежную радость. Я сердечно приветствовал своего друга,

[1] Сэмюэль Кольридж «Старый Мореход» *(Пер. В. Левика)*.

и мы вместе направились к моему колледжу. Клерваль рассказывал о наших общих друзьях и был особенно доволен, что ему разрешили приехать в Ингольштадт.

«Можешь себе представить, — говорил он, — как трудно было убедить отца, что не все нужные человеку знания заключены в благородном искусстве бухгалтерии; думаю, он так и не поверил мне до конца, ибо на мои неустанные просьбы каждый раз отвечал то же, что голландский учитель в „Векфилдском священнике": „Мне платят десять тысяч флоринов в год — без греческого языка; я ем-пью без всякого греческого языка". Однако его любовь ко мне все же преодолела нелюбовь к наукам, и он дал согласие на мое путешествие в страну знания».

«Я безмерно счастлив тебя видеть, но скажи мне, как поживают мои отец, братья и Элизабет?»

«Они здоровы, и все у них благополучно; их только беспокоит, что ты так редко им пишешь. Кстати, я сам хотел пробрать тебя за это. Но, дорогой мой Франкенштейн, — прибавил он, внезапно останавливаясь и вглядываясь в мое лицо, — я только сейчас заметил, что у тебя совершенно больной вид: ты худ, бледен и выглядишь так, точно не спал несколько ночей».

«Ты угадал. Я очень усердно занимался одним делом и мало отдыхал, но надеюсь, что теперь с этим покончено и я свободен».

Меня снова охватила дрожь; я не мог даже думать, не то что рассказывать, о событиях минувшей ночи. Я прибавил шагу, и мы скоро добрались до моего колледжа. Тут мне пришло в голову — и мысль эта заставила меня содрогнуться, — что существо, оставшееся у меня на квартире, могло еще быть там. Я боялся увидеть чудовище, но еще больше боялся, что его может увидеть Анри. Попросив его подождать несколько минут внизу, я быстро взбежал по лестнице. Моя рука потянулась уже к ручке двери, и только тут я опомнился. Я медлил войти, холод пронизывал меня с головы до ног. Потом я резко распахнул дверь, как делают дети, ожидая увидеть привидение; за дверью никого не было. Я со страхом вошел в комнату, но она была пуста; не оказалось ужасного гостя и в спальне. Я едва решался верить такому счастью, но, убедившись, что враг действительно исчез, радостно всплеснул руками и побежал вниз за Клервалем.

Мы поднялись ко мне, и скоро слуга принес нам завтрак. Я не мог сдерживать свою радость. Да это и не было просто радостью — все мое тело трепетало от возбуждения, пульс бился как бешеный. Я ни минуты не мог оставаться на месте: перепрыгивал через стулья, хлопал в ладоши и громко хохотал. Клерваль сперва приписывал мое оживление радости нашего свидания, но, вглядевшись внимательнее, заметил в моих глазах ди-

кие искры безумия, а мой неудержимый, истерический хохот удивил и испугал его.

«Милый Виктор, — воскликнул он, — скажи, ради бога, что случилось? Не смейся так. Ведь ты болен. Какова причина всего этого?»

«Не спрашивай! — вскричал я, закрывая глаза руками, ибо мне почудилось, что страшное существо проскользнуло в комнату. — *Он* может рассказать... О, спаси меня, спаси!» Мне показалось, что чудовище схватило меня, я стал неистово отбиваться и в судорогах упал на пол.

Бедный Клерваль! Что он должен был почувствовать! Встреча, которой мой друг ждал с таким нетерпением, обернулась горечью. Но я ничего этого не сознавал — я был без памяти, и прошло немало времени, прежде чем я пришел в себя. То было начало нервной горячки, на несколько месяцев приковавшей меня к постели. Все это время Клерваль был единственной моей сиделкой. Я узнал впоследствии, что он, щадя старость моего отца, которому долгая дорога была бы не под силу, и зная, как моя болезнь огорчит Элизабет, скрыл от них серьезность положения. Он знал, что никто не сумеет ухаживать за мной внимательнее, чем он, и, твердо надеясь на мое выздоровление, не сомневался, что поступает по отношению к ним наилучшим образом.

В действительности же я был очень болен, и ничто, кроме неустанной самоотверженной заботы моего друга, не могло вернуть меня к жизни. Мне все время мерещилось сотворенное мною чудовище, и я без умолку им бредил. Мои слова, несомненно, удивляли Анри; сперва он счел их бессмыслицей, но упорство, с каким я возвращался все к той же теме, убедило его, что причиной моей болезни явилось некое страшное и необычайное событие.

Я поправлялся очень медленно — не раз повторные вспышки недуга пугали и огорчали моего друга. Помню, когда я впервые смог с удовольствием оглядеться вокруг, я заметил, что на деревьях, заглядывавших в мое окно, вместо осенних листьев появились молодые побеги. Весна в тот год стояла волшебная, и это немало помогло выздоровлению. Я чувствовал, что и в моей груди возрождаются любовь и радость, мрачность моя исчезла, и скоро я был так же весел, как в те времена, когда еще не знал роковой страсти.

«Дорогой мой Клерваль, — воскликнул я, — ты бесконечно добр ко мне! Ты собирался всю зиму заниматься, а вместо этого просидел у постели больного. Чем смогу я отблагодарить тебя? Я горько корю себя за все, что причинил тебе, но ты меня простишь».

«Ты полностью отблагодаришь меня, если не будешь ни о чем тревожиться и постараешься поскорее поправиться; и раз ты так хорошо настроен, можно мне кое о чем поговорить с тобой?»

Я вздрогнул. Поговорить? Неужели он имел в виду то, о чем я не решался даже подумать?

«Успокойся, — сказал Клерваль, заметив, что я переменился в лице, — я не собираюсь касаться того, что тебя волнует. Я только хотел сказать, что твой отец и кузина будут очень рады получить письмо, написанное твоей рукой. Они не знают, как тяжело ты болел, и встревожены твоим долгим молчанием».

«И это все, милый Анри? Как мог ты подумать, что первая моя мысль будет не о дорогих и близких людях, таких любимых и столь достойных любви?»

«Если так, друг мой, ты, наверное, обрадуешься письму, которое уже несколько дней тебя ожидает. Кажется, оно от твоей кузины».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

И Клерваль протянул мне письмо. Оно было от моей Элизабет.

«Дорогой кузен!

Ты был болен, очень болен, и даже частые письма доброго Анри не могли меня вполне успокоить. Тебе запрещено даже держать перо, но одного слова от тебя, милый Виктор, будет довольно, чтобы рассеять наши страхи. Я уже давно с нетерпением жду каждой почты и убеждаю дядю не предпринимать поездки в Ингольштадт. Мне не хотелось бы подвергать его неудобствам, быть может даже опасностям, столь долгого пути, но как часто я сожалела, что сама не могу его проделать! Боюсь, что уход за тобой поручен какой-нибудь старой наемной сиделке, которая не умеет угадывать твоих желаний и выполнять их так любовно и внимательно, как твоя бедная кузина. Но все это уже позади, Клерваль пишет, что тебе лучше. Я горячо надеюсь, что ты скоро сам сообщишь нам об этом.

Выздоравливай — и возвращайся к нам. Тебя ждет счастливый домашний очаг и любящая семья. Отец твой бодр и здоров, и ему нужно только одно — увидеть тебя, убедиться, что ты поправился, и тогда никакие заботы не омрачат его доброго лица. А как ты порадуешься, глядя на нашего Эрнеста! Ему уже шестнадцать, и энергия бьет в нем ключом. Он хочет быть настоящим швейцарцем и вступить в иноземные войска, но мы

не в силах с ним расстаться, по крайней мере до возвращения его старшего брата. Дядя не одобряет военной службы в чужих странах, но ведь у Эрнеста никогда не было твоего прилежания. Ученье для него — тяжкое бремя; он проводит время на воздухе, то в горах, то на озере. Боюсь, что он станет бездельничать, если мы не согласимся и не разрешим ему вступить на избранный им путь.

С тех пор как ты уехал, здесь мало что изменилось, разве только подросли наши милые дети. Синее озеро и снеговые горы не меняются; мне кажется, что наш мирный дом и безмятежные сердца живут по тем же незыблемым законам. Мое время проходит в мелких хлопотах, но они меня развлекают, а наградой за труды служат довольные и добрые лица окружающих. Со времени твоего отъезда в нашей маленькой семье произошла одна перемена. Ты, вероятно, помнишь, как попала к нам в дом Жюстина Мориц? А может быть, и нет — поэтому я вкратце расскажу тебе ее историю. Мать ее, госпожа Мориц, осталась вдовой с четырьмя детьми, из которых Жюстина, любимица отца, была третьей. Но мать, по какой-то странной прихоти, невзлюбила ее и после смерти г-на Морица стала обращаться с ней очень скверно. Моя тетушка заметила это и, когда Жюстине исполнилось двенадцать, уговорила мать девочки отдать ее нам. Республиканский строй нашей страны породил более простые и здоровые нравы, чем в окружающих нас великих монархиях. Здесь менее резко выражено различие в положении общественных групп, низшие слои не находятся в такой бедности и презрении и поэтому более цивилизованны. В Женеве прислуга — это нечто иное, чем во Франции или Англии. Принятая в нашу семью, Жюстина взяла на себя обязанности служанки, но в нашей счастливой стране это положение не означает невежества или утраты человеческого достоинства.

Жюстина всегда была твоей любимицей; я помню, как ты однажды сказал, что одного ее взгляда довольно, чтобы рассеять твое дурное настроение, и объяснил это так же, как Ариосто, когда он описывает красоту Анжелики: уж очень мило ее открытое и сияющее личико. Тетя сильно к ней привязалась и дала ей лучшее образование, чем предполагала вначале. За это она была вознаграждена сторицею: Жюстина оказалась самым благодарным созданием на свете. Она не выражала свою признательность словами — этого я от нее никогда не слышала, но в ее глазах светилась благоговейная любовь к покровительнице. Хотя от природы это веселая и даже ветреная девушка, тетушку она слушалась во всем, видя в ней образец всех совершенств и стараясь подражать ее речи и манерам, поэтому до сих пор часто напоминает мне ее.

Когда моя дорогая тетушка скончалась, все мы были слишком погружены в собственное горе, чтобы замечать бедняжку Жюстину, которая во время болезни ходила за ней с величайшей заботливостью. Жюстина сама потом тяжело заболела, но ей были уготованы еще и другие испытания.

Ее братья и сестра умерли один за другим, и мать осталась бездетной, если не считать дочери, которой она в свое время пренебрегала. Мать ощутила укоры совести и стала думать, что смерть любимых детей явилась карой за ее несправедливость. Она была католичкой, и духовник, как видно, утвердил ее в этой мысли. Вот почему спустя несколько месяцев после твоего отъезда в Ингольштадт раскаявшаяся мать призвала к себе Жюстину. Бедняжка! Она плакала, расставаясь с нами; со смертью тетушки она очень переменилась: горе смягчило ее и вместо прежней живости в ней появилась подкупающая кротость. Пребывание под материнской кровлей также не могло вернуть ей веселости. Раскаяние ее матери было очень неустойчивым. Бывали дни, когда она просила Жюстину простить ей несправедливость, но чаще она обвиняла ее в смерти братьев и сестры. Постоянное раздражение привело к болезни, и от этого нрав госпожи Мориц стал еще тяжелее; однако теперь она успокоилась навеки. Она умерла в начале прошлой зимы, с наступлением холодов. Жюстина возвратилась к нам, и я нежно люблю ее. Она умна, добра и очень хороша собой; как я уже сказала, многое в ее манере держаться и говорить постоянно напоминает мне мою дорогую тетушку. Надо рассказать тебе, дорогой кузен, и о нашем милом маленьком Уильяме. Вот бы тебе посмотреть на него! Для своих лет он очень рослый; у него смеющиеся синие глаза, темные ресницы и кудрявые волосы. Когда он улыбается, на его румяных щечках появляются ямочки. У него уже было несколько маленьких «невест», но самая любимая из них — Луиза Бирон, очаровательная пятилетняя девочка.

А теперь, милый Виктор, тебе наверняка хочется узнать новости о наших женевских соседях. Хорошенькая мисс Мэнсфилд уже принимала поздравления по поводу своего предстоящего брака с молодым англичанином, Джоном Мельбурном. Ее некрасивая сестра Манон вышла осенью за богатого банкира, г-на Дювиллара. Твой школьный товарищ Луи Мануар после отъезда Клерваля потерпел несколько неудач. Теперь он, впрочем, утешился и, говорят, собирается жениться на симпатичной и бойкой француженке г-же Таверньс. Она вдова и значительно старше Мануара, но у нее еще множество поклонников.

Описывая тебе все это, дорогой кузен, я и сама немного развлеклась, но теперь, заканчивая письмо, вновь ощущаю беспокойство. Напиши нам, Виктор. Одна строчка, одно слово бу-

дет для нас радостью. Тысячу раз спасибо Анри за его доброту и заботу и за частые письма; мы благодарны ему от всей души. Прощай, милый кузен, береги себя и пиши, умоляю тебя!

Элизабет Лавенца

Женева, 18 марта 17... года»

«О милая Элизабет! — воскликнул я, прочтя письмо. — Надо сейчас же ответить им и рассеять их тревогу».

Я написал домой, после чего почувствовал сильную усталость; но выздоровление началось и пошло быстро. Спустя еще две недели я уже мог выходить.

Одной из первых моих забот по выздоровлении было представить Клерваля некоторым из университетских профессоров. При этом мне пришлось вынести немало неловких прикосновений, бередивших мою душевную рану. С той роковой ночи, когда завершились мои труды и начались мои бедствия, я проникся величайшим отвращением к самому слову «естествознание». Даже когда я вполне оправился от болезни, вид химических приборов вновь вызывал мучительные симптомы нервного расстройства. Анри заметил это и убрал подальше все мои инструменты. Он поместил меня в другую комнату, ибо видел, что мне стала неприятна моя бывшая лаборатория. Но все заботы Клерваля были сведены на нет, когда я навестил своих профессоров. Господин Вальдман причинил мне истинную муку, принявшись горячо поздравлять меня с удивительными достижениями в науках. Он вскоре заметил, что эта тема мне неприятна, но, не догадываясь об истинной причине, приписал это моей скромности и поспешил переменить разговор: вместо моих успехов он начал превозносить саму науку, с явным желанием дать мне блеснуть. Что было делать? Желая доставить мне удовольствие, он терзал меня. Казалось, он старательно демонстрирует одно за другим орудия пытки, чтобы затем предать меня медленной и мучительной смерти. Я корчился от его слов, не смея показать, как мне больно. Клерваль, неизменно внимательный к чувствам других, предложил переменить тему беседы под предлогом своей неосведомленности в ней, и мы заговорили о предметах более общих. Я мысленно поблагодарил своего друга, но ничего ему не сказал, а он ни разу не попытался выведать мою тайну. Любя и безмерно уважая его, я видел его недоумение, но не решался сообщить ему о событии, которое так часто являлось моему воображению и которое я страшился оживить в памяти, рассказывая о нем другому!

С г-ном Кремпе мне пришлось труднее: при моей тогдашней чувствительности, обостренной до крайности, его грубоватые похвалы были для меня еще мучительнее, чем доброжела-

тельность г-на Вальдмана. «Черт бы побрал этого парня! — воскликнул он. — Знаете ли, господин Клерваль, ведь он нас всех заткнул за пояс. Да-да, что вы на меня так уставились? Это сущая правда. Зеленый юнец, который еще недавно веровал в Корнелия Агриппу как в святое Евангелие, сейчас занял первое место. Если его не одернуть, он нас всех посрамит. Да-да, — продолжал он, заметив страдальческое выражение моего лица, — господин Франкенштейн у нас скромник — отличное качество в молодом человеке. Юноше положено быть скромным, господин Клерваль; в молодости я и сам был таков, да только этой скромности ненадолго хватает».

Тут г-н Кремпе принялся расхваливать себя самого и, к счастью, оставил столь неприятную для меня тему.

Клерваль никогда не сочувствовал моей склонности к естественным наукам, у него самого были совершенно иные, литературные интересы. В университет он приехал, чтобы овладеть восточными языками и таким образом подготовить себя к деятельности, о которой мечтал. Желая многого достичь, он обратил свои помыслы к Востоку, где открывался простор для его предприимчивости. Его интересовали персидский, арабский и санскрит, и он без труда убедил меня заняться тем же. Праздность всегда меня тяготила, а теперь, возненавидев прежние свои занятия и стремясь отвлечься от размышлений, я нашел большое облегчение в этих общих уроках с моим другом; в сочинениях восточных авторов я открыл много поучительного и утешающего. В отличие от Клерваля, я не вдавался в научное изучение восточных языков, ибо не ставил себе иной цели, кроме временного развлечения. Я читал лишь ради содержания и был вознагражден за труды. Грусть у них успокоительна, а радость — возвышенна, более чем у писателей любой другой страны. Когда читаешь их творения, жизнь представляется солнечным сиянием, садом роз, улыбками и капризами прекрасной противницы и любовным огнем, сжигающим ваше сердце. Как это непохоже на мужественную и героическую поэзию Греции и Рима!

За этими занятиями прошло лето; поздней осенью я предполагал возвратиться в Женеву, но задержался, потому что не хотел покинуть Клерваля в чужом городе, прежде чем он приобретет там друзей. А там пришла зима, выпал снег, дороги стали непроезжими, и мой отъезд был отложен до весны. Я крайне досадовал на это промедление, ибо мне не терпелось увидеть родные края и своих близких. Впрочем, зиму мы провели приятно; весна была необычайно поздней, но, когда пришла, ее прелесть искупила это запоздание.

Наступил май, и я ежедневно ожидал письма, которое должно было назначить день моего отъезда; тут Анри предло-

жил пешую прогулку по окрестностям Ингольштадта, чтобы я мог проститься с местами, где прожил так долго. Я с удовольствием согласился, так как любил ходить, и в родных местах Клерваль был моим постоянным спутником в подобных экскурсиях.

В этих странствиях мы провели две недели; бодрость и здоровье к тому времени вернулись ко мне, чистый воздух, путевые впечатления и общение с другом еще более укрепили меня. Мои занятия отдалили меня от людей и сделали затворником; Клерваль пробудил во мне мои лучшие качества, он заново научил меня любить природу и радостные детские лица. Незабвенный друг! Как искренне ты любил меня, как возвышал до уровня собственной высокой души! Себялюбивые устремления принизили меня, но твоя забота и привязанность отогрели мое сердце. Я снова стал тем счастливцем, который всего лишь несколько лет назад всех любил, всеми был любим и не знал печали. Когда я бывал в хорошем расположении духа, природа являлась для меня источником восхитительных ощущений. Ясное небо и зеленеющие поля наполняли меня восторгом. Весна в тот год и в самом деле была дивной; весенние цветы распускались на живых изгородях, летние готовились расцвести. Я наконец отдыхал от мыслей, угнетавших меня весь год, несмотря на все старания отогнать их.

Анри радовался моей веселости и искренне разделял мое настроение; он старался развлечь меня и одновременно выражал чувства, переполнявшие его самого. В те дни он был поистине неистощим. Иногда, подражая персидским и арабским писателям, он сочинял повести, исполненные воображения и страсти; иногда читал мои любимые стихи или заводил спор и весьма искусно его поддерживал.

Мы возвратились в колледж под вечер воскресного дня; крестьяне затевали пляски, повсюду нам встречались веселые и счастливые лица. Я и сам был в отличном расположении духа; ноги несли меня особенно легко, а сердце смеялось и ликовало.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Придя к себе, я нашел следующее письмо от отца:

«Дорогой Виктор, ты, вероятно, с нетерпением ждешь письма, которое назначит день твоего возвращения, и сперва я хотел написать тебе всего несколько строк, чтобы только указать этот день. Но такое малодушие было бы жестоко по отношению к

тебе. Каково тебе будет вместо ожидаемого радостного приема встретить здесь горе и слезы! Но как поведать тебе о нашем несчастье? Долгое отсутствие не могло сделать тебя равнодушным к нашим радостям и бедам, а я вынужден причинить горе моему долгожданному сыну. Я хотел бы подготовить тебя к ужасному известию, но это невозможно; ты уже, наверное, пробегаешь глазами страницу в поисках страшной новости.

Не стало нашего Уильяма, нашего веселого и милого ребенка, согревавшего мое сердце своей улыбкой. Виктор! Его убили!

Не буду пытаться утешить тебя, просто расскажу, как это случилось.

В прошлый четверг (седьмого мая) я, моя племянница и оба твои брата отправились на прогулку в Пленпале. Вечер был теплый и тихий, и мы зашли дальше обычного. Уже стемнело, когда мы подумали о возвращении, и тут оказалось, что Уильям и Эрнест, шедшие впереди, скрылись из виду. Поджидая их, мы сели на скамью. Вскоре появился Эрнест и спросил, не видели ли мы его брата: они играли в прятки, Уильям побежал прятаться, он никак не мог его найти, а потом долго ждал, но тот так и не показался.

Это нас очень встревожило, и мы искали его до самой ночи; Элизабет предположила, что он вернулся домой, но и там его не оказалось. Мы снова принялись искать его при свете факелов, ибо я не мог уснуть, зная, что мой мальчик заблудился и теперь зябнет от ночной росы. Элизабет также терзалась тревогой. Часов в пять я нашел свое дорогое дитя: еще накануне здоровый и цветущий, он был распростерт на траве, бледный и недвижимый, на шее его отпечатались пальцы убийцы.

Его принесли домой; горе, написанное на моем лице, все объяснило Элизабет. Она захотела видеть тело; сперва я попытался помешать ей, но она настаивала; взглянув на шею мальчика, она всплеснула руками и воскликнула: «Боже! Я погубила мое милое дитя!»

Она потеряла сознание, и ее с трудом удалось привести в чувство. Очнувшись, Элизабет снова зарыдала. Она рассказала мне, что в тот вечер Уильям непременно хотел надеть на шею драгоценный медальон с портретом матери. Вещица исчезла. Она-то, как видно, и соблазнила убийцу. Найти его пока не удается, хотя мы и прилагаем все усилия; но это ведь не воскресит моего Уильяма!

Приезжай, дорогой Виктор; ты один сумеешь утешить Элизабет. Она все время плачет, несправедливо виня себя в гибели ребенка, и слова ее разрывают мне сердце. Мы все несчастны, но именно поэтому ты захочешь вернуться и утешить нас. Бедная твоя мать! Увы, Виктор! Сейчас я благодарю Бога, что она

не дожила до этого и не увидела страшной смерти своего любимого малютки.

Приезжай, Виктор, не с мыслями о мести, но с любовью в душе, которая заживила бы нашу рану, а не растравляла ее. Войди в дом скорби, мой друг, но не с ненавистью к врагам, а с любовью к любящим тебя.

Твой убитый горем отец
Альфонс Франкенштейн
Женева, 12 мая 17... года».

Клерваль, следивший за выражением моего лица, пока я читал, с изумлением увидел, как радость при получении вестей из дому вдруг сменилась отчаянием. Я бросил письмо на стол и закрыл лицо руками.

«Дорогой Франкенштейн! — воскликнул Анри, видя мои горькие слезы. — Неужели тебе суждены постоянные несчастья? Дорогой друг, скажи, что случилось?»

Я указал ему на письмо, а сам в волнении зашагал по комнате. Прочтя о нашей беде, Клерваль тоже заплакал.

«Не могу утешать тебя, мой друг, — сказал он, — твое горе неутешно. Но что ты намерен делать?»

«Немедленно ехать в Женеву. Пойдем, Анри, закажем лошадей».

По дороге Клерваль все же пытался утешить меня. Он сочувствовал мне всей душой. «Бедный Уильям, — говорил он, — бедный, милый ребенок! Он теперь уснул подле ангельской души своей матери. Всякий, кто знал этого малютку во всей его детской прелести, оплачет его безвременную гибель. Умереть так ужасно, ощущая на своей шее руки убийцы! Каким злодеем надо быть, чтобы погубить невинного! Бедное дитя! Одним только можно утешиться: его близкие сокрушаются и плачут, но сам он уже отстрадал. Страшный миг позади, и он упокоился навеки. Его нежное тело укрыто могильным дерном, и он не чувствует боли. Ему уже не нужна жалость; сбережем ее для несчастных, которые его пережили».

Так говорил Клерваль, быстро идя со мной по улице. Слова его запечатлелись у меня в уме, и я вспоминал их впоследствии, оставшись один. Но теперь, едва подали лошадей, я поспешил сесть в экипаж и простился со своим другом.

Невеселое это было путешествие. Сперва я торопился, желая поскорее обнять моих опечаленных близких, но с приближением к родным местам мне захотелось ехать медленнее. Мне было трудно справиться с нахлынувшими на меня чувствами. Я проезжал места, знакомые с детства, но не виденные почти шесть лет. Как все должно было измениться за это время! Произошло

одно нежданное и страшное событие; но множество мелких обстоятельств могло привести и к другим переменам, не столь внезапным, но не менее важным. Страх овладел мною. Я боялся ехать дальше, смутно предчувствуя какие-то неведомые беды, которые приводили меня в ужас, хотя я и не сумел бы их назвать.

В этом тяжелом состоянии духа я пробыл два дня в Лозанне. Я смотрел на озеро: воды его были спокойны, все вокруг тихо, и снеговые вершины, эти «дворцы природы», были все те же. Их безмятежная красота понемногу успокоила меня, и я продолжал свой путь в Женеву.

Дорога шла по берегу озера, которое сужается в окрестностях моего родного города. Я уже различал черные склоны Юры и светлую вершину Монблана. Тут я расплакался как ребенок. «Милые горы! И ты, мое прекрасное озеро! Вот как вы встречаете странника! Вершины гор безоблачны, небо и озеро синеют так мирно. Что это — обещание покоя или насмешка над моими страданиями?»

Я боюсь, мой друг, наскучить вам описанием всех этих подробностей, но то были еще сравнительно счастливые дни, и мне приятно их вспоминать. О любимая родина! Кто, кроме твоих детей, поймет, с какой радостью я снова увидел твои потоки и горы и особенно твое дивное озеро!

Однако, подъезжая к дому, я вновь оказался во власти горя и страха. Спускалась ночь; когда темные горы стали едва различимы, на душе у меня сделалось еще тяжелее. Все окружающее представилось мне огромной и мрачной ареной зла, и я смутно почувствовал, что мне суждено стать несчастнейшим из смертных. Увы! Предчувствия не обманули меня, и только в одном я ошибся: все воображаемые ужасы не составляли и сотой доли того, что мне предстояло испытать на деле.

Когда я подъехал к окрестностям Женевы, уже совсем стемнело. Городские ворота были заперты, и мне пришлось заночевать в Сешероне, деревушке, расположенной в полулье от города. Небо было ясное; я не мог уснуть и решил посетить место, где был убит мой бедный Уильям. Не имея возможности пройти через город, я добрался до Пленпале в лодке по озеру. Во время этого короткого переезда я видел, как молнии чертили дивные узоры вокруг вершины Монблана. Гроза быстро приближалась. Причалив, я поднялся на небольшой холм, чтобы ее наблюдать.

Она пришла, тучи заволокли небо, упали первые редкие и крупные капли, а потом хлынул ливень.

Я пошел дальше, хотя тьма и грозовые тучи сгущались, а гром гремел над самой моей головою. Ему вторило эхо Салев, Юры и Савойских Альп, яркие вспышки молний ослепляли ме-

ня, озаряя озеро и превращая его в огромную пелену огня; потом все на миг погружалось в непроглядную тьму, пока глаз не привыкал к ней после слепящего света. Как это часто бывает в Швейцарии, гроза надвинулась со всех сторон сразу. Сильнее всего гремело к северу от города, над той частью озера, что лежит между мысом Бельрив и деревней Копе. Слабые вспышки молний освещали Юру, а к востоку от озера то скрывалась во тьме, то озарялась островерхая гора Моль.

Наблюдая грозу, прекрасную и вместе страшную, я быстро шел вперед. Величественная битва, разыгравшаяся в небе, поднята мой дух. Я сжал руки и громко воскликнул: «Уильям, мой ангел! Вот твое погребение, вот похоронный звон по тебе!» В этот миг я различил в темноте фигуру, выступившую из-за ближайших деревьев; я замер, пристально вглядываясь: ошибки быть не могло. Сверкнувшая молния осветила стоявшего, и я ясно его увидел: гигантский рост и немыслимая для обычного человека уродливость говорили, что передо мной мерзкий дьявол, которому я даровал жизнь. Что он здесь делал? Уж не он ли (я содрогнулся при одной мысли об этом) был убийцей моего брата? Едва эта догадка мелькнула в моей голове, как превратилась в уверенность; ноги у меня подкосились, и я вынужден был прислониться к дереву. Он быстро прошел мимо и затерялся во тьме. Никто из людей не способен был загубить прелестного ребенка. Убийцей мог быть только он! Я в этом не сомневался. Самая мысль об этом казалась неоспоримым доказательством. Я хотел было погнаться за чудовищем, но это было бы напрасно — уже при следующей вспышке молнии я увидел, как он карабкается на почти отвесную скалистую гору Мон-Салев, что замыкает Пленпале с юга. Скоро он добрался до вершины и исчез.

Я стоял не двигаясь. Гром стих, но дождь продолжался, и все было окутано тьмой. Я вновь мысленно переживал события, которые так старался забыть: все этапы моего открытия, появление созданного мной существа у моей постели и его исчезновение. С той ночи, когда я оживил его, прошло почти два года. Быть может, это уже не первое его преступление? Горе мне! Я выпустил в мир монстра, наслаждавшегося убийством и кровью! Разве не он убил моего брата?

Никому не понять, какие муки я претерпел в ту ночь; я провел ее под открытым небом, промок и озяб. Но я даже не замечал ненастья. Ужас и отчаяние наполняли мою душу. Существо, которое я пустил жить среди людей, наделенное силой и стремлением творить зло, подобное только что содеянному преступлению, представлялось мне моим же собственным злым началом, вампиром, вырвавшимся из гроба, чтобы уничтожать все, что мне дорого.

Рассвело, и я направился в город. Ворота были открыты, и я поспешил к отцовскому дому. Первой моей мыслью было открыть все, что мне известно об убийце, и немедленно снарядить погоню. Но, вспомнив, о чем пришлось бы рассказывать, я заколебался. В полночь среди неприступных гор мне повстречалось существо, которое я сам сотворил и наделил жизнью. Я вспомнил нервную горячку, перенесенную как раз в то время, когда я его создал, и подумал, что это заставит считать лихорадочным бредом весь мой рассказ, и без того неправдоподобный. Если бы кто-нибудь другой поведал мне подобную историю, я сам счел бы его безумцем. К тому же чудовище было способно уйти от любой погони, даже если б родные поверили мне настолько, чтобы предпринять ее. Да и к чему была бы погоня? Кто мог поймать существо, без труда взбирающееся по отвесным скалам Мон-Салев? Эти соображения убедили меня молчать.

Было около пяти утра, когда я вошел в отцовский дом. Я велел слугам никого не будить и прошел в библиотеку, чтобы там дождаться обычного часа пробуждения семьи.

Прошло шесть лет — они пролетели незаметно, как сон, не считая одной непоправимой утраты, — и вот я снова стоял на том самом месте, где в последний раз обнял отца, уезжая в Ингольштадт. Любимый и почтенный родитель! Он еще оставался у меня. Я взглянул на портрет матери, стоявший на камине. Эта картина, написанная по заказу отца, изображала Каролину Бофор, плачущую на коленях у гроба своего отца. Одежда ее была убога, щеки бледны, но она была исполнена такой красоты и достоинства, что жалость казалась едва ли уместной. Тут же стоял миниатюрный портрет Уильяма — взглянув на него, я залился слезами. В это время вошел Эрнест: он слышал, как я приехал, и поспешил мне навстречу. Он приветствовал меня с грустной радостью.

«Добро пожаловать, милый Виктор, — сказал он. — Ах, еще три месяца назад ты застал бы всех нас счастливыми. Сейчас ты приехал делить с нами безутешное горе. Все же я надеюсь, что твой приезд подбодрит отца; он тает на глазах. И ты сумеешь убедить несчастную Элизабет не упрекать себя понапрасну. Бедный Уильям! Это был наш любимец и наша гордость».

Слезы покатились из глаз моего брата, а во мне все сжалось от смертельной тоски. Прежде я лишь в воображении видел горе своих домашних; действительность оказалась не менее ужасной. Я попытался успокоить Эрнеста и стал расспрашивать его об отце и о той, которую я называл кузиной.

«Ей больше, чем нам всем, нужны утешения, — сказал Эрнест. — Она считает себя причиной гибели брата, и это ее убивает. Но теперь, когда преступник обнаружен...»

«Обнаружен? Боже! Возможно ли? Кто мог поймать его? Ведь это все равно что догнать ветер или соломинкой преградить горный поток. А кроме того, я его видел. Еще этой ночью он был на свободе».

«Не понимаю, о чем ты говоришь, — в недоумении ответил мой брат. — Нас это открытие совсем убило. Сперва никто не хотел верить. Элизабет — та не верит до сих пор, несмотря на все улики. Да и кто бы мог подумать, что Жюстина Мориц, такая добрая, преданная нашей семье, могла совершить столь чудовищное преступление?»

«Жюстина Мориц? Несчастная! Так вот кого обвиняют? Но ведь это напраслина, и никто, конечно, этому не верит, не правда ли, Эрнест?»

«Сначала не верили; но потом выяснились некоторые обстоятельства, которые поневоле заставляют поверить. Вдобавок к уликам, она ведет себя так странно, что сомнений — увы! — не остается. Сегодня ее судят, и ты все услышишь сам».

Он сообщил мне, что в то утро, когда было обнаружено убийство бедного Уильяма, Жюстина внезапно заболела и несколько дней пролежала в постели. Пока она хворала, одна из служанок взяла почистить платье, которое было на ней в ночь убийства, и нашла в кармане миниатюрный портрет моей матери, тот самый, что, по-видимому, соблазнил убийцу. Служанка немедленно показала его другой служанке, а та, ничего не сказав нам, отнесла его судье. На основании этой улики Жюстину взяли под стражу. Когда ей сказали, в чем ее обвиняют, несчастная своим крайним замешательством усилила подозрения.

Все это было очень странно, однако не поколебало моей убежденности, и я сказал:

«Вы все ошибаетесь; я знаю, кто убийца. Бедная добрая Жюстина невиновна».

В эту минуту в комнату вошел отец. Горе наложило на него глубокий отпечаток, но он бодрился ради встречи со мной. Грустно поздоровавшись, он хотел было заговорить на постороннюю тему, чтобы не касаться нашего несчастья, но тут Эрнест воскликнул:

«Боже мой, папа! Виктор говорит, что знает, кто убил бедного Уильяма».

«К несчастью, и мы это знаем, — ответил отец. — А лучше бы навеки остаться в неведении, чем обнаружить такую испорченность и неблагодарность в человеке, которого я ценил столь высоко».

«Милый отец, вы заблуждаетесь. Жюстина невиновна».

«Если так, не дай бог, чтобы ее осудили. Суд будет сегодня, и я искренне надеюсь, что ее оправдают».

Эти слова меня успокоили. Я был твердо убежден, что ни Жюстина, ни кто-либо другой из людей не причастны к этому преступлению. Поэтому я не опасался, что найдутся косвенные улики, достаточно убедительные, чтобы ее осудить. Мои показания нельзя было оглашать, толпа сочла бы этот ужасный рассказ бредом безумца. Кто, кроме меня самого, его создателя, мог поверить, не видя собственными глазами, в это существо, которое я выпустил на свет как живое свидетельство моей самонадеянности и опрометчивости?

Скоро к нам вышла Элизабет. Время изменило ее с тех пор, как мы виделись в последний раз. Оно наделило ее красотой, несравнимой с прежней детской прелестью. Та же чистота и та же живость, но при всем том выражение, говорящее и об уме, и о чувстве. Она встретила меня с нежной лаской.

«Твой приезд, милый кузен, — сказала она, — вселяет в меня надежду. Быть может, тебе удастся спасти бедную, ни в чем не повинную Жюстину. Если считать преступницей ее, кто из нас застрахован от такого же обвинения? Я убеждена в ее невиновности так же, как в своей собственной. Наше несчастье тяжело нам вдвойне: мы не только потеряли нашего милого мальчика, но теряем и эту бедняжку, которую я искренне люблю и которой предстоит, пожалуй, еще худшая участь. Если Жюстину осудят, мне никогда не знать больше радости. Но нет, я уверена, что этого не будет. И тогда я снова буду счастлива, даже после смерти моего маленького Уильяма».

«Она невиновна, Элизабет, — сказал я, — и это будет доказано. Не бойся ничего, бодрись и верь, что ее оправдают».

«Как ты добр и великодушен! Все поверили в ее виновность, и это меня терзает: ведь я-то знаю, что этого не может быть, но, когда видишь, как все предубеждены против нее, можно прийти в отчаяние».

Она заплакала.

«Милая племянница, — сказал отец, — осуши свои слезы. Если она непричастна к убийству, положись на справедливость наших законов, а уж я постараюсь, чтобы ее судили без малейшего пристрастия».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Мы провели несколько печальных часов; в одиннадцать должен был начаться суд. Так как отец и остальные члены семьи должны были присутствовать на нем как свидетели, я вызвался сопровождать их. Пока длился этот фарс правосудия, я испы-

тывал нестерпимые муки. В результате моего любопытства и недозволенных опытов оказывались обречены на гибель два человеческих существа: один из них был невинный смеющийся ребенок, другого ожидала еще более ужасная смерть, сопряженная с позором и вечным клеймом злодейства. Жюстина была достойной девушкой, все сулило ей счастливую жизнь, а ее предадут позорной смерти — и виною этому буду я! Я тысячу раз предпочел бы сам взять на себя преступление, вменяемое Жюстине, но меня не было, когда оно совершилось; мое заявление сочли бы бредом безумного, и оно не спасло бы ту, что пострадала из-за меня.

Жюстина держалась с достоинством. Она была в трауре; ее лицо, вообще привлекательное, под влиянием скорби приобрело особую красоту. Она казалась спокойной и не дрожала, хотя тысячи глаз смотрели на нее с ненавистью; сочувствие, которое ее красота могла бы вызвать у присутствующих, пропадало при мысли о кошмарном злодеянии, которое ей приписывали. Спокойствие явно давалось ей нелегко. Так как ее смятение с самого начала посчитали за доказательство вины, она старалась сохранить хотя бы подобие мужества. Войдя в зал суда, Жюстина окинула его взглядом и сразу же увидела нас. Слезы затуманили ей глаза, но она быстро овладела собой и посмотрела на нас с любовью и грустью, говорившими о ее невиновности.

Суд начался; после речи обвинителя выступили несколько свидетелей. Странное стечение обстоятельств, говоривших против Жюстины, поразило бы каждого, кто не имел, подобно мне, бесспорных доказательств ее непричастности к преступлению. В ночь убийства она оказалась вне дома, а утром какая-то рыночная торговка видела ее недалеко от того места, где было позже обнаружено тело убитого ребенка. Женщина спросила ее, что она тут делает, но девушка как-то странно посмотрела на нее и пробормотала что-то невнятное. Домой Жюстина возвратилась около восьми часов и на вопрос, где она провела ночь, ответила, что ходила искать ребенка, а потом с тревогой спросила, нашелся ли он. Когда ей показали труп, с ней случился сильнейший истерический припадок и она на несколько дней слегла в постель. Теперь ей предъявили миниатюру, найденную служанкой в кармане ее платья, и, когда Элизабет дрожащим голосом опознала в ней ту самую, которую она надела на шею ребенка за час до его исчезновения, по залу пронесся ропот негодования и ужаса.

Жюстину спросили, что она может сказать в свое оправдание. Пока шло разбирательство, она заметно переменилась. Теперь ее лицо выражало изумление и ужас. Временами она

с трудом удерживалась от слез; но когда ей дали слово, она собрала все силы и заговорила внятно, хотя и срывающимся голосом.

«Видит Бог, — сказала она, — я ни в чем не виновата, но я понимаю, что одних лишь моих заверений мало. Я хочу дать простое объяснение фактам, которые свидетельствуют против меня. Может быть, судьи, зная мою прежнюю жизнь, благожелательно истолкуют все, что сейчас кажется им подозрительным или странным».

Она рассказала, что с разрешения Элизабет провела вечер накануне убийства в доме своей тетки, в деревне Шэн, поблизости от Женевы. Возвращаясь оттуда около девяти часов, Жюстина встретила человека, спросившего у нее, не видела ли она пропавшего ребенка. Это ее очень встревожило, и она несколько часов искала его, а там городские ворота оказались запертыми на ночь, и остаток ночи ей пришлось провести в сарае, возле одного дома, где ее хорошо знали, но будить хозяев она постеснялась. Всю ночь она не могла сомкнуть глаз и только к утру, как видно, ненадолго уснула. Ее разбудили чьи-то шаги. Уже рассвело, когда Жюстина вышла из своего убежища и снова принялась за поиски. Если она при этом оказалась вблизи места, где потом нашли тело, то это вышло случайно. Когда проходившая мимо торговка обратилась к ней с вопросами, она, должно быть, действительно казалась растерянной, но причиной была бессонная ночь и тревога за бедного Уильяма. О миниатюре она ничего сказать не могла.

«Я понимаю, — продолжала несчастная, — что эта улика является для меня роковой, но объяснить ничего не сумею, могу только гадать, как она попала ко мне в карман. Но и тут я теряюсь. Насколько я знаю, врагов у меня нет; не может же быть, чтобы кто-нибудь захотел погубить меня просто так, из прихоти. Быть может, мне подбросил ее убийца? Но когда он успел это сделать? А если это так, зачем ему было похищать драгоценность, чтобы тут же с нею расстаться?

Я предаю себя в руки судей, хотя ни на что не надеюсь. Опросите свидетелей, которые могли бы дать обо мне отзыв; если и после их показаний вы сочтете меня способной на такое злодейство, пусть меня судят, но, клянусь спасением души, я невиновна».

Опросили нескольких свидетелей, знавших ее много лет; и они отозвались о ней хорошо, но выступали робко и неохотно — вероятно, из отвращения к ее предполагаемому преступлению. Видя, что последняя надежда обвиняемой — ее безупречная репутация — готова рухнуть, Элизабет, несмотря на крайнее волнение, попросила слова.

«Я прихожусь родственницей несчастному ребенку, — сказала она, — почти сестрой, ибо выросла в доме его родителей и жила там с самого его рождения и даже раньше. Могут возразить поэтому, что мне не пристало тут выступать. Но я вижу, как человек погибает из-за трусости своих мнимых друзей. Позвольте же мне рассказать, что мне известно о подсудимой. Я хорошо ее знаю, так как прожила с ней под одной кровлей пять лет подряд, а потом еще около двух лет. Все это время она казалась мне на редкость кротким и добрым созданием. Она ходила за моей теткой, госпожой Франкенштейн, до самой ее смерти с величайшей заботливостью и любовью, а потом ухаживала за своей матерью, которая болела долго и тяжко, и это тоже делала так, что вызывала восхищение всех, знавших ее. После этого Жюстина снова жила в доме моего дяди, где пользовалась всеобщей любовью. Она была очень привязана к погибшему ребенку и относилась к нему как самая нежная мать. Я, не колеблясь, заявляю, что, несмотря на все улики против нее, твердо верю в ее невиновность. У нее не было никаких мотивов для преступления, а что касается главной улики, я охотно отдала бы ей эту вещицу, стоило ей только пожелать, — так высоко я ценю и уважаю эту девушку».

Простая и убедительная речь Элизабет вызвала одобрительный шепот; однако одобрение относилось к ее великодушному заступничеству, но отнюдь не к бедной Жюстине, которую все возненавидели еще сильнее за такую черную неблагодарность. Во время речи Элизабет она плакала, но ничего не отвечала. Сам я все время испытывал невыразимые муки. Я верил в невиновность подсудимой; я знал, что она невиновна. Неужели же дьявол, убивший моего брата (что это сделал он, я ни минуты не сомневался), продлил свою адскую забаву и обрек несчастную позорной смерти? Не в силах долее выносить ужас моего положения, видя, что общее мнение уже осудило несчастную жертву и что к этому склоняются и судьи, я в отчаянии выбежал из зала суда. Я страдал больше самой обвиняемой — ее поддерживало сознание невиновности, меня же безжалостно терзали угрызения совести.

Промучившись всю ночь, утром я направился в суд. В горле и во рту у меня пересохло, я не решался задать роковой вопрос; но меня там знали, и судейские догадались о цели моего прихода. Да, голосование уже состоялось, Жюстину единогласно осудили на смерть.

Не сумею описать, что я тогда испытал. Чувство ужаса было мне знакомо и прежде, и я пытался найти слова, чтобы его выразить, но никакими словами нельзя передать моего тогдашнего безысходного отчаяния. Судейский чиновник, к которому

я обратился, добавил, что Жюстина созналась в своем преступлении. «Это подтверждение, — заметил он, — едва ли требовалось, ведь дело и без того ясно, но все же я рад; никто из наших судей не любит выносить приговор на основании одних лишь косвенных улик, как бы вески они ни были».

Это сообщение было неожиданно и странно: что же все это значит? Неужели мои глаза обманули меня? Или я и впрямь был тем безумцем, каким все сочли бы меня, объяви я вслух, кого подозреваю? Я поспешил домой; Элизабет с нетерпением ждала известий.

«Кузина, — сказал я, — все решилось именно так, как ты ожидала; судьи всегда предпочитают осудить десять невинных, лишь бы не помиловать одного виновного. Но она сама созналась».

Это было жестоким ударом для бедной Элизабет, твердо верившей в невиновность Жюстины. «Увы, — сказала она, — как теперь верить в людскую доброту? Жюстина, которую я любила, как сестру, — как могла она носить личину невинности? Ее кроткий взгляд говорил о неспособности на какую бы то ни было жестокость или вероломство, а она оказалась убийцей».

Скоро мы услышали, что несчастная просит свидания с моей кузиной. Отец не хотел отпускать ее, однако предоставил решение ей самой. «Да, — сказала Элизабет, — я пойду, хоть она и виновна. Но и ты пойдешь со мной, Виктор. Одна я не могу». Мысль об этом свидании была для меня мучительна, но отказаться было нельзя.

Войдя в мрачную тюремную камеру, мы увидели Жюстину, сидевшую в дальнем углу на соломе; руки ее были скованы, голова низко опущена. При виде нас она встала, а когда нас оставили с нею наедине, упала к ногам Элизабет, горько рыдая. Заплакала и моя кузина.

«Ах, Жюстина, — сказала она, — зачем ты лишила меня последнего утешения? Я верила в твою невиновность, и, хотя очень горевала, мне все-таки было легче, чем сейчас».

«Неужели и вы считаете меня такой злодейкой? Неужели и вы, заодно с моими врагами, клеймите меня как убийцу?» Голос ее прервался рыданиями.

«Встань, бедняжка, — сказала Элизабет, — зачем ты стоишь на коленях, если невиновна? Я тебе не враг. Я верила в твою невиновность, несмотря на все улики, пока не услышала, что ты сама во всем созналась. Значит, это ложный слух; поверь, милая Жюстина, ничто не может поколебать мою веру в тебя, кроме твоего собственного признания».

«Я действительно созналась, но только это неправда. Я созналась, чтобы получить отпущение грехов, а теперь эта

ложь тяготит меня больше, чем все мои грехи. Да простит мне Господь! После того как меня осудили, священник не отставал от меня. Он так страшно грозил мне, что я и сама начала считать себя чудовищем, каким он меня называл. Он пригрозил, что отлучит меня перед смертью от Церкви и обречет адскому огню, если я стану запираться. Милая госпожа, ведь я здесь одна; все считают меня злодейкой, погубившей свою душу. Что же мне оставалось делать? В недобрый час я согласилась подтвердить ложь, с этого и начались мои мучения».

Она умолкла и заплакала, а потом добавила:

«Страшно было думать, добрая моя госпожа, что вы поверите этому, что будете считать вашу Жюстину, которую вы любили, которую так обласкала ваша тетушка, способной на преступление, какое мог совершить разве что сам дьявол. Милый Уильям! Милый мой крошка! Скоро я свижусь с тобой на небесах, а там мы все будем счастливы. Этим я утешаюсь, хоть и осуждена на позорную казнь».

«О Жюстина! Прости, что я хоть на миг усомнилась в тебе. Напрасно ты созналась. Но не горюй, моя хорошая. И не бойся. Я всем скажу о твоей невиновности, я докажу ее. Слезами и мольбами я смягчу каменные сердца твоих врагов. Ты не умрешь! Ты, подруга моего детства, моя сестра, и погибнешь на эшафоте? Нет-нет, я не переживу такого горя».

Жюстина печально покачала головой.

«Смерти я не боюсь, — сказала она, — этот страх уже позади. Господь сжалится над моей слабостью и пошлет мне силы все претерпеть. Я ухожу из этой горькой жизни. Если вы будете помнить меня и знать, что я пострадала безвинно, я примирюсь со своей судьбой. Милая госпожа, мы должны покоряться Божьей воле».

Во время их беседы я отошел в угол камеры, чтобы скрыть терзавшие меня муки. Отчаяние! Что вы знаете о нем? Даже несчастная жертва, которой наутро предстояло перейти страшный рубеж жизни и смерти, не чувствовала того, что я, — такого глубокого и безысходного ужаса. Я заскрипел зубами, стиснул их, и у меня вырвался стон, исходивший из самой глубины души. Жюстина вздрогнула, услышав его. Узнав меня, она подошла ко мне и сказала:

«Вы очень добры, что навестили меня, сударь. Ведь вы не считаете меня убийцей?»

Я не в силах был отвечать.

«Нет, Жюстина, — сказала Элизабет, — он больше верил в тебя, чем я; даже услышав, что ты созналась, он этому не поверил».

«Спасибо ему от души. В мой смертный час я благодарю всех, кто хорошо обо мне думает. Ведь для таких несчастных, как я, нет ничего дороже. От этого становится вдвое легче. Вы и ваш кузен, милая госпожа, признали мою невиновность — теперь можно умереть спокойно».

Так бедная страдалица старалась утешить других и самое себя. Она достигла желанного умиротворения. А я, истинный убийца, носил в груди неумирающего червя, и не было для меня ни надежды, ни утешения. Элизабет тоже горевала и плакала; но и это были невинные слезы, горе, подобное тучке на светлом лике луны, которая затмевает его, но не пятнает. У меня же отчаяние проникло в самую глубину души; во мне горел адский пламень, который ничто не могло загасить. Мы провели с Жюстиной несколько часов, Элизабет была не в силах расстаться с ней.

«Я желала бы умереть с тобой! — воскликнула она. — Как жить в этом мире страданий?»

Жюстина старалась бодриться, но с трудом удерживала горькие слезы. Она обняла Элизабет и сказала голосом, в котором звучало подавляемое волнение:

«Прощайте, милая госпожа, дорогая Элизабет, мой единственный и любимый друг. Да благословит и сохранит вас милосердный Господь. Пусть это будет вашим последним горем! Живите, будьте счастливы и делайте счастливыми других».

На следующий день Жюстина рассталась с жизнью. Пылкое красноречие Элизабет не смогло поколебать твердого убеждения судей в виновности бедной страдалицы. Не вняли они и моим страстным и негодующим уверениям. Когда я услышал их холодный ответ, их бесчувственные рассуждения, признание, уже готовое было вырваться, замерло у меня на губах. Я только сошел бы у них за безумца, но не добился бы отмены приговора, вынесенного моей несчастной жертве. Она погибла на эшафоте как убийца!

Терзаясь сам, я видел и глубокое, безмолвное горе Элизабет. И это тоже из-за меня! Горе отца, траур в недавно счастливой семье — все было делом моих трижды проклятых рук! Вы плачете, несчастные, но это еще не последние ваши слезы! Снова и снова будут раздаваться здесь надгробные рыдания! Франкенштейн, ваш сын, ваш брат и некогда любимый вами друг, кто ради вас готов отдать по капле всю свою кровь, кто не мыслит себе радости, если она не отражается в ваших любимых глазах, кто желал бы одарить вас всеми благами и служить вам всю жизнь, — это он заставляет вас рыдать, проливать бесконечные слезы и не смеет даже надеяться, что неумолимый рок насытится этим и разрушение остановится,

прежде чем вы обретете в могиле покой и избавление от страданий!

Так говорил во мне пророческий голос, когда, терзаемый муками совести, ужасом и отчаянием, я видел, как мои близкие горюют на могилах Уильяма и Жюстины, первых жертв моих проклятых опытов.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Ничто так не тяготит нас, как наступающий вслед за бурей страшных событий мертвый покой бездействия — та ясность, где уже нет места ни страху, ни надежде. Жюстина умерла; она обрела покой, а я жил. Кровь свободно струилась в моих жилах, но сердце было сдавлено тоской и раскаянием, которых ничто не могло облегчить. Сон бежал от меня, я бродил точно злой дух, ибо действительно свершил неслыханные злодейства, и еще больше, гораздо больше (в этом я был уверен) предстояло мне впереди. А между тем душа моя была полна любви и стремления к добру. Я вступил в жизнь с высокими помыслами, я жаждал осуществить их и приносить пользу ближним. Теперь все рухнуло; утратив спокойную совесть, позволявшую мне удовлетворенно оглядываться на прошлое и с надеждой смотреть вперед, я терзался раскаянием и сознанием вины, я был ввергнут в ад страданий, которых не выразить словами.

Это состояние духа расшатывало мое здоровье, еще не вполне восстановившееся после того, первого удара. Я избегал людей; все, что говорило о радости и довольстве, было для меня мукой; моим единственным прибежищем было одиночество — глубокое, мрачное, подобное смерти.

Отец мой с болью наблюдал происшедшие во мне перемены и с помощью доводов, подсказанных чистой совестью и праведной жизнью, пытался внушить мне стойкость и мужество и развеять нависшую надо мной мрачную тучу. «Неужели ты думаешь, Виктор, — сказал он однажды, — что мне легче, чем тебе? Никто не любил свое дитя больше, чем я любил твоего брата (тут на глаза его навернулись слезы), но разве у нас нет долга перед живыми? Разве не должны мы сдерживаться, чтобы не усугублять их горя? Это вместе с тем и твой долг перед самим собой, ибо чрезмерная скорбь мешает самосовершенствованию и даже выполнению повседневных обязанностей, а без этого человек не пригоден для жизни в обществе».

Эти советы, пускай и разумные, были совершенно бесполезны для меня; я первый поспешил бы скрыть свое горе и утешать близких, если бы к моим чувствам не примешивались укоры совести и страх перед будущим. Я мог отвечать отцу только взглядом, полным отчаяния, и старался скрыться с его глаз.

К тому времени мы переехали в наш загородный дом в Бельрив. Это было для меня очень кстати. Пребывание в Женеве тяготило меня, ибо ровно в десять городские ворота запирались и оставаться на озере после этого было нельзя. Теперь я был свободен. Часто, когда вся семья отходила ко сну, я брал лодку и проводил на воде долгие часы. Иногда я ставил парус и плыл по ветру, иногда выгребал на середину озера и пускал лодку по воле волн, а сам предавался горестным думам. Много раз, когда все вокруг дышало неземной красотой и покоем и его нарушал один лишь я, не считая летучих мышей да лягушек, сипло квакавших возле берега, много раз мне хотелось погрузиться в тихое озеро и навеки укрыть в его водах свое горе. Но меня удерживала мысль о мужественной и страдающей Элизабет, которую я так нежно любил и для которой так много значил. Я думал также об отце и втором брате; не мог же я подло покинуть их, беззащитных, оставив во власти злобного дьявола, которого сам на них напустил.

В такие минуты я горько плакал и молил Бога вернуть мне душевный покой хотя бы для того, чтобы служить им опорой и утешением. Но это было недостижимо. Угрызения совести убивали во мне надежду. Я уже причинил непоправимое зло и жил в постоянном страхе, как бы созданный мною урод не сотворил нового злодеяния. Я смутно предчувствовал, что это еще не конец, что он совершит кошмарное преступление, перед которым померкнут прежние. Пока оставалось в живых хоть одно любимое мной существо, мне было чего страшиться. Моя ненависть к чудовищу не поддастся описанию. При мысли о нем я скрежетал зубами, глаза мои горели и я жаждал отнять у него жизнь, которую даровал так бездумно. Вспоминая его злобность и свершенные им злодейства, я доходил до исступления в своей жажде мести. Я взобрался бы на высочайшую вершину Андов, если бы мог низвергнуть его оттуда. Я хотел увидеть его, чтобы обрушить на него всю силу своей ненависти и отомстить за гибель Уильяма и Жюстины.

В нашем доме поселилась скорбь. Силы моего отца были подорваны всем пережитым. Элизабет погрузилась в печаль; она уже не находила радости в домашних делах; ей казалось, что всякое развлечение оскорбляет память мертвых, что невинно погибших подобает чтить слезами и вечным трудом. Это не бы-

ла уже прежняя счастливая девочка, которая некогда бродила со мной по берегам озера, предаваясь мечтам о нашем будущем. Первое большое горе — из тех, что ниспосылаются нам, чтобы отлучить от земного, — уже посетило Элизабет, и его мрачная тень погасила ее улыбку.

«Когда я думаю о страшной смерти Жюстины Мориц, — говорила она, — я уже не могу смотреть на мир, как смотрела раньше. Все, что я читала или слышала о пороках или преступлениях, прежде казалось мне вымыслом и небылицей, во всяком случае чем-то далеким и отвлеченным, а теперь беда пришла к нам в дом, и люди представляются мне чудовищами, жаждущими крови друг друга. Конечно, это несправедливо. Все искренне верили в виновность бедной девушки, а если бы она действительно совершила преступление, за которое была казнена, то была бы гнуснейшей из злодеек. Ради нескольких драгоценных камней убить сына своих благодетелей и друзей, ребенка, которого она нянчила с самого рождения и, казалось, любила как своего! Я никому не желаю смерти, но подобное существо я не считала бы возможным оставить жить среди людей. Только ведь она-то была невинна. Я это знаю, я это чувствую, и ты тоже, и это еще укрепляет мою уверенность. Увы, Виктор, если ложь может походить на правду, кто может поверить в счастье? Я словно ступаю по краю пропасти, а огромная толпа напирает, хочет столкнуть меня вниз. Уильям и Жюстина погибли, а убийца остался безнаказанным, он на свободе и, быть может, пользуется общим уважением. Но будь я даже приговорена к смерти за подобное преступление, я не поменялась бы местами с этим злодеем».

Я слушал эти речи и терзался. Ведь истинным убийцей — если не прямо, то косвенно — был я. Элизабет увидела муку, выразившуюся на моем лице, и, нежно взяв меня за руку, сказала:

«Успокойся, милый. Бог видит, как глубоко я горюю, но я не так несчастна, как ты. На твоем лице я читаю отчаяние, а порой — мстительную злобу, которая меня пугает. Милый Виктор, гони прочь эти злые страсти. Помни о близких, ведь вся их надежда на тебя. Неужели мы не сумеем развеять твою тоску? Пока мы любим, пока мы верны друг другу, здесь, в стране красоты и покоя, твоем родном краю, нам доступны все мирные радости жизни. И что может нарушить наш покой?»

Но даже эти слова из уст той, которая была для меня драгоценнейшим из даров судьбы, не могли прогнать отчаяние, владевшее моим сердцем. Слушая ее, я придвинулся к ней поближе, словно боясь, что в эту самую минуту злобный бес отнимет ее у меня.

Итак, ни радости дружбы, ни красоты земли и неба не могли исхитить мою душу из мрака, и даже слова любви оказывались бессильны. Меня обволокла туча, непроницаемая для благих влияний. Я был подобен раненому оленю, который уходит в заросли и там испускает дух, созерцая пронзившую его стрелу.

Иногда мне удавалось побеждать приступы угрюмого отчаянья, но бывало, что бушевавшая во мне буря побуждала меня искать облегчения мук в физических движениях и перемене мест. Во время одного из таких приступов я внезапно покинул дом и направился в соседние альпийские долины, чтобы созерцанием их вечного великолепия заставить себя забыть преходящие человеческие несчастья. Я решил достичь долины Шамуни. Мальчиком я бывал там не раз. С тех пор прошло шесть лет; ничто не изменилось в этих суровых пейзажах — а что сталось со мной?

Первую половину пути я проделал верхом на лошади, а затем нанял мула, куда более выносливого и надежного на крутых горных тропах. Погода стояла отличная; была середина августа; прошло уже почти два месяца после казни Жюстины — после черных дней, с которых начались мои страдания. Угнетавшая меня тяжесть стала как будто легче, когда я углубился в ущелье Арвы. Гигантские отвесные горы, теснившиеся вокруг, шум реки, бешено мчавшейся по камням, грохот водопадов — все говорило о могуществе Всевышнего, и я забывал страх, я не хотел трепетать перед кем бы то ни было, кроме всесильного создателя и властелина стихий, представавших здесь во всем их грозном величии. Чем выше я подымался, тем великолепнее становилась долина. Развалины замков на кручах, поросших соснами, бурная Арва, хижины, там и сям видные меж деревьев, — все это составляло зрелище редкой красоты. Но подлинное великолепие придавали ему могучие Альпы, чьи сверкающие белые пирамиды и купола возвышались над всем, точно видение иного мира, обитель неведомых нам существ.

Я переехал мост Пелиссье, где мне открылся вид на прорытое рекою ущелье, и стал подыматься на гору, которая над ним нависает. Вскоре я вступил в долину Шамуни. Эта долина еще величавее, хотя менее красива и живописна, чем долина Серво, которую я только что миновал. Ее обступали высокие снежные горы, но здесь уже не было старинных замков и плодородных полей. Гигантские ледники подступали к самой дороге, я слышал глухой грохот снежных обвалов и видел тучи белой пыли, которая поднималась вслед за ними. Среди окружающих aiguilles[1] высился царственный и великолепный Монблан; его исполинский купол господствовал над долиной.

[1] Пиков *(фр.)*.

Во время этой поездки меня не раз охватывало давно не испытанное чувство радости. Какой-нибудь поворот дороги, какой-нибудь новый предмет, внезапно оказывавшийся знакомым, напоминали о прошедших днях, о беспечных радостях детства. Самый ветер нашептывал мне что-то утешительное, и природа с материнскою лаской уговаривала больше не плакать. Но внезапно очарование рассеивалось, я вновь ощущал цепи своей тоски и предавался мучительным размышлениям. Тогда я пришпоривал мула, словно желая ускакать от всего мира, от своего страха и от себя самого, или спешивался и в отчаянии бросался ничком в траву, подавленный ужасом и тоской.

Наконец я добрался до деревни Шамуни. Здесь дало себя знать крайнее телесное и душевное утомление, испытанное в пути. Некоторое время я просидел у окна, глядя на бледные всполохи, игравшие над Монбланом, и слушая рокот Арвы, продолжавшей внизу свой шумный путь. Эти звуки, точно колыбельная песнь, убаюкали мою тревогу: сон подкрался ко мне, едва я опустил голову на подушку; я ощутил его приход и благословил дарителя забвения.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Весь следующий день я бродил по долине. Я постоял у истоков Арвейрона, берущего начало от ледника, который медленно сползает с вершин, перегораживая долину. Передо мной высились крутые склоны гигантских гор, над головой нависала ледяная стена глетчера, вокруг были разбросаны обломки поверженных им сосен. Торжественное безмолвие этих тронных залов Природы нарушалось лишь шумом потока, а по временам — падением камня, грохотом снежной лавины или гулким треском скопившихся льдов, которые, подчиняясь каким-то особым законам, время от времени ломаются, точно хрупкие игрушки. Эти возвышенные и величественные картины давали мне величайшее утешение, какое я способен был воспринять. Они поднимали меня надо всем мелким, и если не могли развеять моего горя, то хотя бы умеряли и смягчали его. Они отчасти отвлекали от мыслей, терзавших меня последний месяц. Когда я в ту ночь ложился спать, меня провожали ко сну те величавые образы, которые я созерцал днем. Все они сошлись у моего изголовья: и непорочные снежные вершины, и сверкающие льдом пики, и сосны, и скалистый каньон — все они окружили меня и сулили покой.

Но куда же они скрылись при моем пробуждении? Вместе со сном бежали прочь все восхитившие меня видения, и мою

душу заволокло черной тоской. Дождь лил ручьями, вершины гор утонули в густом тумане, и я не мог уже видеть своих могучих друзей. Но я готов был проникнуть сквозь завесу тумана в их заоблачное уединение. Что мне были дождь и ненастье? Мне привели мула, и я решил подняться на вершину Монтанвер. Я помнил, какое впечатление произвела на меня первая встреча с исполинским, вечно движущимся ледником. Она наполнила душу окрыляющим восторгом, вознесла ее из тьмы к свету и радости. Созерцание могучего и великого в природе всегда настраивало меня на торжественный лад, заставляя забывать преходящие жизненные заботы. Я решил совершить восхождение без проводника, ибо хорошо знал дорогу, а присутствие постороннего только нарушило бы мрачное величие этих пустынных мест.

Склон горы очень крут, но тропа вьется спиралью, помогая одолеть крутизну. Кругом расстилается безлюдная и дикая местность. На каждом шагу встречаются следы зимних лавин: поверженные на землю деревья, то совсем расщепленные, то согнутые, опрокинутые на выступы скал или поваленные друг на друга. По мере восхождения тропа все чаще пересекается заснеженными промоинами, по которым всякую минуту скатываются камни. Особенно опасна одна из них: достаточно малейшего сотрясения воздуха, одного громко произнесенного слова, чтобы обрушить гибель на говорящего. Сосны не отличаются здесь стройностью или пышностью, их мрачные силуэты еще больше подчеркивают суровость ландшафта. Я взглянул вниз, в долину; над потоком подымался туман; клубы его плотно окутывали соседние горы, скрывшие свои вершины в тучах; с темного неба лил дождь, завершая общее мрачное впечатление. Увы! Почему человек так гордится чувствами, возвышающими его над животными? Они лишь умножают число наших нужд. Если бы наши чувства ограничивались голодом, жаждой и похотью, мы были бы почти свободны; а сейчас мы подвластны каждому дуновению ветра, каждому случайному слову или представлению, которое это слово в нас вызывает.

Мы можем спать — и мучиться во сне,
Мы можем встать — и пустяком терзаться,
Мы можем тосковать наедине,
Махнуть на все рукою, развлекаться, —
Всего проходит краткая пора,
И все возьмет таинственная чаша;
Сегодня не похоже на вчера,
И лишь Изменчивость непреходяща[1].

[1] Перси Биши Шелли «Изменчивость» *(Пер. К. Чемена)*.

Время близилось к полудню, когда я достиг вершины. Я немного посидел на скале, нависшей над ледяным морем. Как и окрестные горы, оно тоже тонуло в тумане. Но вскоре ветер рассеял туман, и я спустился на поверхность глетчера. Она очень неровна, подобна волнам неспокойного моря и прорезана глубокими трещинами; ширина ледяного поля составляет около лье, но, чтобы пересечь его, мне потребовалось почти два часа. На другом его краю гора обрывается отвесной стеной. Монтанвер теперь был напротив меня, в расстоянии одного лье, а над ним величаво возвышался Монблан. Я остановился в углублении скалы, любуясь несравненным видом. Ледяное море, вернее, широкая река вилась между гор; их светлые вершины нависали над ледяными заливами. Сверкающие снежные пики, выступая из облаков, горели в лучах солнца. Мое сердце, так долго страдавшее, ощутило нечто похожее на радость. Я воскликнул: «О души умерших! Если вы витаете здесь, а не покоитесь в тесных гробах, дайте мне вкусить это подобие счастья или возьмите с собой, унесите от всех радостей жизни!»

В этот миг я увидел человека, приближавшегося ко мне с удивительной быстротой. Он перепрыгивал через трещины во льду, среди которых мне пришлось пробираться так осторожно; рост его вблизи оказался выше обычного человеческого роста. Я ощутил внезапную слабость, и в глазах у меня потемнело, но холодный горный ветер быстро привел меня в чувство. Когда человек приблизился, я узнал в нем (о, ненавистное зрелище!) сотворенного мной негодяя. Я задрожал от ярости, решив дождаться его и схватиться с ним насмерть. Он приблизился; его лицо выражало горькую муку и вместе с тем злобное презрение; при его сверхъестественной уродливости это было зрелище почти невыносимое для человеческих глаз. Но я едва заметил это; ненависть и ярость сперва лишили меня языка; придя в себя, я обрушил на него поток гневных и презрительных слов.

«Дьявол! — вскричал я. — Как смеешь ты приближаться ко мне? Как не боишься моего мщения? Прочь, гнусная тварь! Или нет, постой, я сейчас растопчу тебя в прах! О, если б я мог, отняв твою ненавистную жизнь, воскресить этих несчастных, которых ты умертвил с такой адской жестокостью!»

«Я ждал такого приема, — сказал демон. — Людям свойственно ненавидеть несчастных. Как же должен быть ненавидим я, который несчастнее всех живущих! Даже ты, мой создатель, ненавидишь и отталкиваешь меня, свое творение, а ведь ты связан со мной узами, которые может расторгнуть только смерть одного из нас. Ты намерен убить меня. Но как смеешь ты так

играть жизнью? Исполни свой долг в отношении меня, тогда и я исполню свой — перед тобою и человечеством. Если ты примешь мои условия, я оставлю всех вас в покое, если же откажешься, я всласть напою смерть кровью всех твоих оставшихся близких».

«Ненавистное чудовище! Дьявол во плоти! Муки ада недостаточны, чтобы искупить твои злодеяния. Проклятый! И ты еще упрекаешь меня за то, что я тебя создал? Так подойди же ко мне, и я погашу искру жизни, которую зажег так необдуманно».

Гнев мой был беспределен; я ринулся на него, обуреваемый всеми чувствами, какие могут заставить одно живое существо жаждать смерти другого.

Он легко уклонился от моего удара и сказал:

«Успокойся! Заклинаю тебя, выслушай, прежде чем обрушивать свой гнев на мою несчастную голову. Неужели я мало выстрадал, что ты хочешь прибавить к моим мукам новые? Жизнь, пускай полная страданий, все же дорога мне, и я буду ее защищать. Не забудь, что ты наделил меня силой, превосходящей твою; я выше ростом и гибче в суставах. Но я не стану с тобой бороться. Я — твое создание и готов покорно служить своему господину, если и ты выполнишь свой долг передо мною. О Франкенштейн, неужели ты будешь справедлив ко всем, исключая лишь меня одного, который более всех имеет право на твою справедливость и даже ласку? Вспомни, ведь ты создал меня. Я должен был быть твоим Адамом, а стал падшим ангелом, которого ты безвинно отлучил от всякой радости. Я повсюду вижу счастье, и только мне оно не досталось. Я был кроток и добр — несчастья превратили меня в злобного демона. Сделай меня счастливым, и я снова буду добродетелен».

«Прочь! Я не хочу тебя слушать. Общение между нами невозможно, мы — враги. Прочь! Или давай померяемся силами в схватке, в которой один из нас должен погибнуть».

«Как мне тронуть твое сердце? Неужели никакие мольбы не заставят тебя благосклонно взглянуть на твое создание, которое молит о жалости? Поверь, Франкенштейн, я был добр; душа моя горела любовью к людям; но ведь я одинок, одинок безмерно! Даже у тебя, моего создателя, я вызываю одно отвращение; чего же мне ждать от других людей, которые мне ничем не обязаны? Они меня гонят и ненавидят. Я нахожу убежище в пустынных горах, на угрюмых ледниках. Я брожу здесь уже много дней; ледяные пещеры, которые не страшны только мне, служат мне домом — единственным, откуда люди не могут меня изгнать. Я радуюсь этому мрачному небу, ибо оно добрее ко мне, чем твои собратья-люди. Если бы большинство их знало о моем

существовании, они поступили бы так же, как ты, и попытались уничтожить меня вооруженной рукой. Немудрено, что я ненавижу тех, кому так ненавистен. Я не пойду на сделку с врагами. Раз я несчастен, пусть и они страдают. А между тем ты мог бы осчастливить меня и этим спасти их от бед — и каких бед! От тебя одного зависит, чтобы не только твои близкие, но тысячи других не погибли в водовороте моей ярости. Сжалься надо мной и не гони меня прочь. Выслушай мою повесть; а тогда пожалей или оттолкни, если рассудишь, что я заслужил это. Даже по людским законам, как они ни жестоки, преступнику дают сказать слово в свою защиту, прежде чем осудить его. Выслушай же, Франкенштейн. Ты обвиняешь меня в убийстве, а сам со спокойной совестью готов убить тобою же созданное существо. Вот она, хваленая справедливость человеческая! Но я прошу не пощадить меня, а только выслушать. Потом, если сможешь, уничтожь творение собственных рук».

«Зачем, — сказал я, — напоминать мне события, злополучным виновником которых я признаю себя с содроганием? Да будет проклят день, когда ты впервые увидел свет, гнусное чудовище! И прокляты руки, создавшие тебя, пусть это были мои собственные! Ты причинил мне безмерное горе. Я уже не в силах решать, справедливо ли с тобой поступаю. Поди прочь! Избавь меня от твоего ненавистного вида».

«Вот как я тебя избавлю от него, мой создатель, — сказал он, заслоняя мне глаза своими отвратительными руками, которые я тотчас же гневно оттолкнул. — И все же ты можешь выслушать и пожалеть меня. Прошу тебя об этом во имя добродетелей, которыми я некогда обладал. Выслушай мой рассказ; он будет долог и необычен, а здешний холод опасен для твоего хрупкого организма. Пойдем укроемся в горной хижине. Солнце еще высоко в небе; прежде чем оно опустится за те снежные вершины и осветит иные страны, ты все узнаешь, а тогда и рассудишь. От тебя зависит решить: удалиться ли мне навсегда от людей и никому не причинять вреда или же сделаться бичом человечества и погубить прежде всего тебя самого».

С этими словами он зашагал по леднику; я шел следом. Я был слишком взволнован и ничего ему не ответил. Но по дороге, обдумав все им сказанное, я решил хотя бы выслушать его повесть. К этому меня побуждало отчасти любопытство, отчасти сострадание. Я считал чудовище убийцей моего брата и хотел окончательно установить истину. Кроме того, я впервые осознал долг создателя перед своим творением и понял, что должен был обеспечить его счастье, прежде чем обвинять в злодействах. Это заставило меня согласиться на его просьбу. Мы пересекли ледяное поле и поднялись на противоположную ска-

пустую гору. Было холодно. Дождь возобновился; мы вошли в хижину: демон — с ликующим видом, а я — глубоко подавленный. Но я приготовился слушать. Я уселся у огня, разведенного моим ненавистным спутником, и он начал свой рассказ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

«Первые мгновения своей жизни я вспоминаю с трудом: они предстают мне в каком-то тумане. Множество ощущений нахлынуло на меня сразу: я стал видеть, чувствовать, слышать и воспринимать запахи — и все это одновременно. Прошло немало времени, прежде чем я научился различать ощущения. Помню, что сильный свет заставил меня закрыть глаза. Тогда меня окутала тьма, и я испугался; должно быть, я вновь открыл глаза, и снова стало светло. Я куда-то пошел, кажется, вниз, и тут в моих чувствах произошло прояснение. Сперва меня окружали темные, плотные предметы, недоступные зрению или осязанию. Теперь я обнаружил, что в состоянии продвигаться свободно, а каждое препятствие могу перешагнуть или обойти. Почувствовав утомление от яркого света и жары, я стал искать тенистого места. Так я оказался в лесу близ Ингольштадта; там я отдыхал у ручья, пока не ощутил голод и жажду. Они вывели меня из оцепенения. Я поел ягод, висевших на кустах и разбросанных по земле, и утолил жажду водой из ручья; после этого я лег и уснул.

Когда я проснулся, уже стемнело; я озяб и инстинктивно испугался одиночества. Еще у тебя в доме, ощутив холод, я накинул на себя кое-какую одежду, но она недостаточно защищала от ночной росы. Я был жалок, беспомощен и несчастен, я ничего не знал и не понимал, я лишь чувствовал, что страдаю, — и я заплакал.

Скоро небо озарилось мягким светом, и это меня обрадовало. Из-за деревьев вставало какое-то сияние. Я подивился ему. Оно восходило медленно, но уже освещало передо мной тропу, и я снова принялся искать ягоды. Мне было холодно, но под деревом я нашел чей-то плащ, закутался в него и сел на землю. В голове моей не было ясных мыслей, все было смутно. Я ощущал свет, голод, жажду, мрак; слух мой полнился бесчисленными звуками, обоняние воспринимало множество запахов; единственное, что я различал ясно, был диск луны — и на него я устремил радостный взор.

Ночь не раз сменилась днем, а ясный диск заметно уменьшился, прежде чем я научился разбираться в своих ощущениях.

Я начал узнавать поивший меня прозрачный ручей и деревья, укрывавшие меня своей тенью. Я с удовольствием обнаружил, что часто доносившиеся до меня приятные звуки издавались маленькими крылатыми существами, которые то и дело мелькали между мной и светом дня. Я стал яснее различать окружающие предметы и границы нависшего надо мной светлого купола. Иногда я безуспешно пытался подражать сладкому пению птиц. Я хотел по-своему выразить волновавшие меня чувства, но издаваемые мной резкие и дикие звуки пугали меня, и я умолкал.

Луна перестала всходить, потом появилась опять в уменьшенном виде, а я все еще жил в лесу. Теперь ощущения мои стали отчетливыми, а ум ежедневно обогащался новыми понятиями. Глаза привыкли к свету и научились правильно воспринимать предметы; я уже отличал насекомых от растений, а скоро и одни растения от других. Я обнаружил, что воробей издает одни только резкие звуки, а дрозд — нежные и приятные.

Однажды, мучимый холодом, я наткнулся на костер, оставленный какими-то бродягами, и с восхищением ощутил его тепло. Я радостно протянул руку к пылающим углям, но сразу отдернул ее с криком. Как странно, подумал я, что одна и та же причина порождает противоположные следствия! Я стал разглядывать костер и, к своей радости, обнаружил, что там горят сучья. Я тотчас набрал веток, но они были сырые и не загорелись. Это огорчило меня, и я долго сидел, наблюдая за огнем. Сырые ветки, лежавшие у огня, подсохли и тоже загорелись. Я задумался; трогая то одни, то другие ветки, я понял, в чем дело, и набрал побольше дров, чтобы высушить их и обеспечить себя теплом. Когда наступила ночь и пора было спать, я очень боялся, как бы мой костер не погас. Я бережно укрыл его сухими сучьями и листьями, а сверху наложил сырых веток; затем, разостлав свой плащ, я улегся и заснул.

Утром первой моей заботой был костер. Я разрыл его, и легкий ветерок тотчас же раздул пламя. Я запомнил и это и смастерил из веток опахало, чтобы раздувать погасающие угли. Когда снова наступила ночь, я с удовольствием обнаружил, что костер дает не одно лишь тепло, но и свет и что огонь годится для приготовления пищи, ибо оставленные путниками объедки были жареные и на вкус куда лучше ягод, которые я собирал с кустов. Я попробовал готовить себе пищу тем же способом и положил ее на горячие угли. Оказалось, что ягоды от этого портятся, зато орехи и коренья становятся гораздо вкуснее.

Впрочем, добывать пищу становилось все трудней, и я иной раз тратил целый день на поиски горсти желудей, чтобы хоть немного утолить голод. Поняв это, я решил перебраться в другие места, где мне легче было бы удовлетворять свои скромные

потребности. Но, задумав переселение, я печалился об огне, который нашел случайно и не знал, как зажечь самому. Я размышлял над этим несколько часов, но ничего не придумал. Завернувшись в плащ, я зашагал по лесу вслед заходящему солнцу. Так я брел три дня, пока не вышел на открытое место. Накануне выпало много снега, и поля скрылись под ровной белой пеленой; это зрелище повергло меня в грусть, а ноги мерзли на холодном, влажном веществе, покрывавшем землю.

Было, должно быть, часов семь утра, и я тосковал по пище и крову. Наконец я заметил на пригорке хижину, вероятно выстроенную для пастухов. Такого строения я еще не видел и с любопытством осмотрел его. Дверь оказалась незапертой, и я вошел внутрь. Возле огня сидел старик и готовил себе пищу. Он обернулся на шум; увидев меня, он громко закричал и, выскочив из хижины, бросился бежать через поле с такой быстротой, на какую его дряхлое тело казалось неспособным. Его облик, непохожий на все виденное мной до тех пор, и его бегство удивили меня. Зато хижина привела меня в восхищение: сюда не проникали снег и дождь, пол был сухой, — словом, хижина показалась мне тем роскошным дворцом, каким был Пандемониум для адских духов после их мук в огненном озере. Я с жадностью поглотил остатки трапезы пастуха, состоявшей из хлеба, сыра, молока и вина; последнее, впрочем, не пришлось мне по вкусу. Затем, ощутив усталость, я лег на кучу соломы и заснул.

Проснулся я уже в полдень; обрадовавшись солнцу и снегу, сверкавшему под его лучами, я решил продолжать свой путь; положив остатки пастушьего завтрака в суму, которую нашел тут же, я несколько часов шагал по полям и к закату достиг деревни. Она показалась мне настоящим чудом! Я поочередно восхищался и хижинами, и более богатыми домами. Овощи в огородах, молоко и сыр, выставленные в окнах некоторых домов, возбудили мой аппетит. Я выбрал один из лучших домов и вошел; но не успел я переступить порог, как дети закричали, а одна из женщин лишилась чувств. Это всполошило всю деревню: кто пустился бежать, а кто бросился на меня; израненный камнями и другими предметами, которые в меня кидали, я убежал в поле и в страхе укрылся в маленькой лачуге, совершенно пустой и весьма жалкой после дворцов, виденных мной в деревне. Правда, лачуга примыкала к чистенькому домику, но после недавнего горького опыта я не решился туда войти. Мое убежище было деревянным и таким низким, что я с трудом умещался в нем сидя. Пол был не дощатый, а земляной, но сухой, и, хотя ветер дул в бесчисленные щели, мне, после снега и дождя, показалось здесь хорошо.

Тут я и укрылся, счастливый уже тем, что нашел пусть убогий, но все же приют, защищавший от суровой зимы, но прежде всего от людской жестокости.

Как только рассвело, я выбрался из своего укрытия, чтобы разглядеть соседний с ним дом и выяснить, не опасно ли тут оставаться. Пристройка находилась у задней стены дома; к ней примыкал свиной закут и небольшой бочаг с чистой водой. В четвертой стене было отверстие, через которое я и проник; но теперь, чтобы меня не увидели, я заложил все щели камнями и досками, однако так, что их легко можно было отодвинуть и выйти; свет проникал ко мне только из свиного хлева, но этого было довольно.

Устроившись в своем жилище и устлав его чистой соломой, я залез туда, ибо в отдалении показался какой-то человек, а я слишком хорошо помнил прием, оказанный мне накануне, чтобы желать с ним встречи. Но прежде я обеспечил себя пропитанием на день: украл кусок хлеба и черпак, которым удобнее, чем горстью, мог брать воду, протекавшую мимо моего приюта. Земляной пол был слегка приподнят, а потому сух; близость печи, топившейся в доме, давала немного тепла.

Раздобыв все нужное, я решил поселиться в лачужке, пока какие-нибудь новые обстоятельства не вынудят меня изменить решение. По сравнению с прежним моим жильем в мрачном лесу, на сырой земле, под деревьями, с которых капал дождь, здесь был сущий рай. Я с удовольствием поел и собрался отодвинуть одну из досок, чтобы зачерпнуть воды, как вдруг услыхал шаги и увидел сквозь щель, что мимо моего укрытия идет молодая девушка с ведром на голове. Это было совсем юное и кроткое на вид создание, непохожее на крестьянок и батрачек, которых я с тех пор видел. Правда, одета она была бедно — в грубую синюю юбку и полотняную кофту; светлые волосы были заплетены в косу, но ничем не украшены, лицо выражало терпеливость и грусть. Она скрылась из виду, а спустя четверть часа показалась снова; теперь ее ведро было до половины наполнено молоком. Пока она с явным трудом несла эту ношу, навстречу ей вышел юноша, еще более печальный на вид. Произнеся несколько слов грустным тоном, он взял у нее ведро и сам понес его к дому. Она пошла за ним, и они оба скрылись. Позднее я опять увидел юношу; он ушел в поле за домом, неся в руках какие-то орудия; видел я и девушку, работавшую то в доме, то во дворе.

Осмотрев свое жилище, я обнаружил, что туда прежде выходило одно из окон домика, теперь забитое досками. В одной из досок была узкая, почти незаметная щель, куда едва можно было заглянуть. Сквозь нее виднелась маленькая комната, чисто выбеленная, но почти пустая. В углу, около огня, сидел старик,

опустив голову на руки в глубокой печали. Молодая девушка убирала комнату; потом она вынула из ящика какую-то работу и села рядом со стариком, а тот, взяв инструмент, стал извлекать из него звуки более сладостные, чем пение дрозда или соловья.

Это было прелестное зрелище, и его оценил даже я, жалкое существо, не видавшее до тех пор ничего прекрасного. Серебристые седины и благостный вид старца вызвали во мне уважение, а кротость девушки — нежную любовь. Он играл красивую и грустную мелодию, которая вызвала слезы на глаза прекрасной слушательницы; он, однако, не замечал их, пока они не перешли в рыдания; тогда он что-то сказал, и прекрасное создание, отложив рукоделье, стало перед ним на колени. Он поднял ее, улыбаясь с такой добротой и любовью, что я ощутил сильное и новое для меня волнение; в нем смешивались радость и боль, прежде не испытанные ни от холода или голода, ни от тепла или пищи; и я отошел от окна, не в силах выносить этого дольше.

Вскоре вернулся юноша с вязанкой дров на плечах. Девушка встретила его в дверях, помогла освободиться от ноши и, взяв часть дров, подложила их в огонь. Затем она отошла с ним в сторону, и он достал большой хлеб и кусок сыра. Это ее, видимо, обрадовало; принеся из огорода какие-то коренья и овощи, она положила их в воду и поставила на огонь. Потом она снова взялась за свое рукоделье, а юноша ушел в огород и принялся выкапывать коренья. Когда он проработал так примерно с час, она вышла к нему, и оба вернулись в дом.

Старик тем временем сидел погруженный в задумчивость, но при их появлении приободрился, и они сели за трапезу. Она длилась недолго. Девушка опять стала прибирать в комнате, а старик вышел прогуляться на солнышке перед домом, опираясь на плечо юноши. Ничто не могло быть прекраснее контраста между этими двумя достойными людьми. Один был стар, с серебряной сединой и лицом, излучавшим доброжелательность и любовь; другой, молодой, строен и гибок, и черты его отличались необычайной правильностью; правда, глаза его выражали глубочайшую грусть и уныние. Старик вернулся в дом, а юноша, захватив орудия, но иные, чем утром, отправился в поле.

Скоро стемнело, но я, к своему крайнему удивлению, обнаружил, что жителям домика известен способ продлить день, зажигая свечи; я обрадовался тому, что сумерки не положат конец удовольствию, которое я получал от созерцания своих соседей. Молодая девушка и ее сверстник провели вечер в различных занятиях, смысла которых я не понял, а старик вновь взялся за певучий инструмент, восхитивший меня утром. Когда он закончил, юноша начал издавать какие-то монотонные звуки, непохожие ни на звуки инструмента старика, ни на пение птиц;

впоследствии я обнаружил, что он читал вслух, но тогда я не имел еще понятия о письменности.

Проведя некоторое время за этими занятиями, семейство погасило свет и, как я понял, улеглось спать.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Я лежал на соломе, но долго не мог уснуть. Я размышлял над впечатлениями дня. Более всего меня поразил кроткий вид этих людей; я тянулся к ним и вместе с тем боялся их. Слишком хорошо запомнился мне прием, который оказали мне накануне жестокие поселяне; я не знал еще, что предприму в дальнейшем, но пока решил потихоньку наблюдать за ними из своего укрытия, чтобы лучше понять мотивы их поведения.

Утром обитатели хижины поднялись раньше солнца. Девушка принялась убирать и готовить пищу, а юноша сразу же после завтрака ушел из дому.

Этот день прошел у них в тех же занятиях, что и предыдущий. Юноша неустанно трудился в поле, а девушка — в доме. Старик, который, как я вскоре обнаружил, был слеп, проводил время за игрой на своем инструменте или в раздумьях. Ничто не могло сравниться с любовью и уважением, которые молодые поселяне выражали своему почтенному сожителю. Они оказывали ему бесчисленные знаки внимания, а он награждал их ласковыми улыбками.

И все же они не были вполне счастливы. Юноша и девушка часто уединялись и плакали. Я не мог понять причины их горя, но оно меня глубоко печалило. Если страдают даже такие прекрасные создания, я уже не удивлялся тому, что несчастен я — жалкий и одинокий. Но почему несчастны эти кроткие люди? У них отличный дом (таким, по крайней мере, он мне казался) и всяческая роскошь: огонь, чтобы согреваться в стужу, вкусная пища для утоления голода и отличная одежда, но главное — общество друг друга, ежедневные беседы, обмен ласковыми и нежными взглядами. Что же означали их слезы? И действительно ли они выражали страдание? Вначале я не в силах был разрешить эти вопросы, но время и неустанное наблюдение объяснили мне многое, прежде казавшееся загадкой.

Прошло немало времени, пока я понял одну из печалей этой достойной семьи: то была бедность; они были бедны до крайности. Всю их пищу составляли овощи с огорода и молоко коровы, которая зимой почти не доилась, так как хозяевам нечем было ее кормить. Я думаю, что они нередко страдали от голода,

особенно молодые; бывало, они ставили перед стариком еду, не оставляя ничего для себя.

Эта доброта тронула меня. По ночам я обычно похищал у них часть запасов, но, убедившись, что это им в ущерб, перестал так делать и довольствовался ягодами, орехами и кореньями, которые собирал в соседнем лесу.

Я нашел также способ помогать им. Оказалось, что юноша проводит бóльшую часть дня, заготовляя дрова для дома; и вот я стал по ночам брать его орудия, которыми скоро научился пользоваться, и приносил им запас на несколько дней.

Помню, когда я сделал это впервые, молодая девушка очень удивилась, найдя поутру у дверей большую вязанку дров. Она громко произнесла несколько слов; подошел юноша и тоже удивился. Я с удовольствием отметил, что в тот день он не пошел в лес, а провел его за домашними делами и в огороде.

Затем я сделал еще более важное открытие. Я понял, что эти люди умеют сообщать друг другу свои мысли и чувства с помощью членораздельных звуков. Я заметил, что произносимые ими слова вызывают радость или печаль, улыбку или огорчение на лицах слушателей. Это была наука богов, и я страстно захотел овладеть ею. Но все мои попытки кончались неудачей. Они говорили быстро, и слова их не были связаны ни с какими видимыми предметами, так что у меня не было ключа к тайне. Однако, прожив в моей лачуге несколько лунных месяцев и приложив много стараний, я узнал названия некоторых наиболее часто упоминавшихся предметов: *огонь, молоко, хлеб, дрова.* Узнал я и имена обитателей дома. Юноша и девушка имели их по нескольку, а старик только одно — *отец.* Девушку называли то *сестра,* то *Агата,* а юношу — *Феликс, брат* или *сын.* Не могу описать восторг, с каким я постигал значение всех этих сочетаний звуков и учился их произносить. Я запомнил и некоторые другие слова, еще не понимая, что они значат: *хороший, милый, несчастный.*

Так прошла для меня зима. Кротость и красота обитателей хижины привязали меня к ним: когда они грустили, я бывал подавлен; когда радовались, я радовался вместе с ними. Кроме них, я почти не видел людей, а когда они появлялись в хижине, их грубые голоса и ухватки только подчеркивали в моих глазах превосходство моих друзей. Я заметил, что старик часто уговаривал своих детей, как он их называл, не предаваться печали. Он говорил с ними бодро и с такой добротой, которая трогала даже меня. Агата почтительно выслушивала его; иногда на глаза ее навертывались слезы, которые она старалась незаметно смахнуть, но все же после увещеваний отца она обычно становилась веселее. Не так было с Феликсом. Он казался всех печальнее, и

даже моему неопытному взгляду было заметно, что он перестрадал больше всех. Но если лицо его выражало больше грусти, то голос звучал бодрее, чем у сестры, особенно когда Феликс обращался к старику.

Я мог бы привести множество примеров, пусть незначительных, но весьма характерных для жизни этих достойных людей.

Живя в нужде, Феликс тем не менее спешил порадовать сестру первым белым цветочком, появлявшимся из-под снега. Каждое утро, пока она еще спала, он расчищал ей тропинку к коровнику, приносил воды из колодца и дров из сарая, где, к его удивлению, дровяные запасы непрерывно пополнялись чьей-то невидимой рукой. Днем он, очевидно, иногда работал на соседнего фермера, ибо часто уходил до самого обеда, а дров с собой не приносил. Бывало, что он работал на огороде, но зимой такой работы было мало, и он читал вслух старику и Агате.

Это чтение сперва приводило меня в крайнее недоумение, но постепенно я стал замечать, что, читая, он часто произносит те же сочетания звуков, что и в разговоре. Я заключил из этого, что на страницах книги он видит понятные ему знаки, которые можно произнести, и я жаждал их постичь, но как — если я не понимал даже звуков, которые эти знаки обозначали? В этой последней науке я, правда, продвинулся, хоть и не настолько, чтобы понимать их речь целиком, и продолжал стараться изо всех сил; несмотря на мое горячее желание показаться им, я понимал, что мне не следует этого делать, пока я не овладею их языком и они за это, быть может, простят мне мое уродство; последнее я тоже осознал по контрасту, который постоянно представал моему взору.

Я любовался красотой обитателей хижины — их грацией и нежным цветом лица, но как ужаснулся я, когда увидел свое собственное отражение в прозрачной воде! Сперва я отпрянул, не веря, что зеркальная поверхность отражает именно меня, а когда понял, как я уродлив, сердце мое наполнилось горькой тоской и обидой. Увы! Я еще не вполне понимал роковые последствия своего уродства.

Солнце пригревало сильней, день удлинился, снег сошел, обнажив деревья и черную землю. У Феликса прибавилось работы, и страшная угроза голода исчезла. Их пища, хоть и грубая, была здоровой, и теперь ее было достаточно. В огороде появились новые растения, которые они употребляли в пищу, и с каждым днем их становилось больше.

Ежедневно в полдень старик выходил на прогулку, опираясь на плечо сына, если только не шел дождь — так, оказывается, назывались потоки воды, изливавшиеся с небес. Это бывало нередко, но ветер скоро осушал землю, и погода становилась еще лучше.

Я вел в своем укрытии однообразную жизнь. Утром я наблюдал обитателей хижины; когда они расходились по своим делам, я спал; остаток дня я снова посвящал наблюдению за моими друзьями. Когда они ложились спать, а ночь была лунная или звездная, я отправлялся в лес добывать пищу для себя и дрова для них. На обратном пути, если было нужно, я расчищал тропинку от снега или выполнял за Феликса другие его обязанности. Работа, сделанная невидимой рукой, очень удивляла их; в таких случаях я слышал слова *добрый дух* и *чудо*, но тогда еще не понимал их смысла.

Я научился мыслить и жаждал побольше узнать о чувствах и побуждениях милых мне существ. Мне не терпелось знать, отчего тоскует Феликс и задумывается Агата. Я надеялся (глупец!), что как-нибудь сумею вернуть этим достойным людям счастье. Во сне и во время моих походов в лес перед моими глазами всегда стояли почтенный седой старец, нежная Агата и мужественный Феликс. Я видел в них высших существ, вершителей моей судьбы. Тысячу раз рисовал я в своем воображении, как явлюсь перед ними и как они меня примут. Я понимал, что вызову в них отвращение, но думал кротостью и ласковыми речами снискать их расположение, а затем и любовь.

Эти мысли радовали меня и побуждали с новым рвением учиться человеческой речи. Голос у меня был резкий, но весьма гибкий, и, хотя он сильно отличался от их нежных и мелодичных голосов, я довольно легко произносил те слова, которые понимал. Это было как в басне об осле и комнатной собачке. Но неужели кроткий осел, привязчивый, хоть с виду и грубый, не заслуживал иного отношения, кроме побоев и брани?

Веселые ливни и весеннее тепло преобразили землю. Люди, прежде словно прятавшиеся где-то в норах, рассыпались по полям и принялись за крестьянские работы. Птицы запели веселее, на деревьях развернулись листья. О, счастливая земля! Еще недавно голая, сырая и неприветливая, она была теперь достойна богов. Моя душа радовалась великолепию природы; прошедшее изгладилось из моей памяти, в настоящем царили мир и покой, а будущее озарялось лучами надежды и ожиданием счастья.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Спешу добраться до самых волнующих страниц моей повести. Сейчас я расскажу о событиях, сделавших меня тем, что я теперь.

Весна быстро вступала в свои права: погода стала теплой, а небо — безоблачным. Меня поражало, что недавняя угрюмая пустыня могла так зазеленеть и расцвести. Мои чувства с восторгом воспринимали тысячи восхитительных запахов и прекраснейших зрелищ.

В один из тех регулярно наступавших дней, когда обитатели хижины отдыхали от трудов — старик играл на гитаре, а дети слушали, — я заметил, что лицо Феликса бесконечно печально и он часто вздыхает. Один раз отец даже прервал игру и, как видно, спросил его, почему он грустит. Феликс ответил ему веселым тоном, и старик заиграл снова, но тут раздался стук в дверь.

Это оказалась девушка, приехавшая верхом, а с нею местный крестьянин-провожатый. Она была в темной одежде, под густой темной вуалью. Агата что-то спросила у нее, в ответ незнакомка нежным голосом назвала имя Феликса. Голос ее был мелодичен, но чем-то отличался от голосов моих друзей. Услышав свое имя, Феликс поспешно приблизился; девушка откинула перед ним вуаль, и я увидел лицо ангельской красоты. Волосы ее, черные как вороново крыло, были искусно заплетены в косы; глаза были темные и живые, но вместе с тем кроткие; черты правильные, а кожа, на редкость белая, окрашивалась на щеках нежным румянцем.

При виде ее Феликс безмерно обрадовался; вся его грусть мигом исчезла, и лицо выразило восторг, на какой я не считал его способным: глаза юноши засияли, щеки разгорелись; в этот миг он показался мне таким же прекрасным, как незнакомка. Ее, однако, волновали иные чувства. Стерев слезы с прекрасных глаз, она протянула Феликсу руку, которую он восхищенно поцеловал, назвав гостью, если я верно расслышал, своей прекрасной аравитянкой. Она, кажется, не поняла его, но улыбнулась. Он помог ей сойти с лошади, отпустил проводника и ввел ее в дом. Тут он что-то сказал отцу, а юная незнакомка опустилась перед стариком на колени и хотела поцеловать у него руку, но он поднял девушку и нежно прижал к сердцу.

Хотя незнакомка тоже произносила членораздельные звуки и говорила на каком-то своем языке, я скоро заметил, что она не понимала обитателей хижины, а они не понимали ее. Они объяснялись знаками, которые зачастую были мне непонятны; но я видел, что ее присутствие принесло в хижину радость и развеяло печаль, как солнце рассеивает утренний туман. Особенно счастливым казался Феликс, радостно улыбавшийся своей аравитянке. Кроткая Агата целовала руки прекрасной незнакомки и, указывая на своего брата, казалось, объясняла ей жестами, как сильно он тосковал до ее приезда. Так проходили часы, и лица их выражали радость, остававшуюся мне непонятной. Услышав, как незнакомка повторяет за ними то или иное слово, я понял, что

она пытается научиться их языку, и мне тотчас пришло в голову воспользоваться этими уроками для себя. На первом занятии незнакомка усвоила около двадцати слов, бóльшая часть которых была мне, правда, уже известна; остальными я пополнил свой запас.

Вечером Агата и аравитянка рано удалились на покой. Прощаясь, Феликс поцеловал руку незнакомки и сказал: „Доброй ночи, милая Сáфия". После этого он еще долго беседовал с отцом, и, судя по частому повторению ее имени, предметом их беседы была прекрасная гостья. Я жадно старался понять их, напрягая для этого все силы ума, но понять было невозможно.

Утром Феликс пошел на работу, а когда Агата управилась с хозяйством, аравитянка села у ног старика и, взяв его гитару, сыграла несколько мелодий, столь чарующих, что они вызвали у меня сладкие слезы. Она запела, и голос ее лился и замирал, точно песнь соловья в лесу.

Окончив петь, она передала гитару Агате, которая сперва отнекивалась. Агата сыграла простой напев и нежным голосом вторила ему, но ей было далеко до дивного пения незнакомки. Старик был в восхищении и сказал несколько слов, которые Агата попыталась объяснить Сафии: он хотел ими выразить, что своим пением она доставила ему величайшую радость.

Дни потекли так же мирно, как и прежде, с одной лишь разницей: лица моих друзей выражали теперь радость вместо печали. Сафия была неизменно весела; мы с ней делали большие успехи в языке, и через каких-нибудь два месяца я мог уже почти целиком понимать речь моих покровителей.

Между тем черная земля покрылась травой; на этом зеленом ковре пестрели бесчисленные цветы, ласкавшие взор и обоняние, а ночью, под луной, светившиеся точно бледные звезды. Солнце грело все сильней, ночи стояли ясные и теплые; ночные походы были для меня большим удовольствием, хотя их пришлось сильно сократить из-за поздних сумерек и ранних рассветов, ибо я не решался выходить днем, опасаясь подвергнуться тому же обращению, что в первой деревне, куда я попытался войти.

Целыми днями я усердно слушал, чтобы скорее овладеть языком, и могу похвастаться, что мне это удалось скорее, чем аравитянке, которая еще мало что понимала и объяснялась на ломаном языке, тогда как я понимал и мог воспроизвести почти каждое из сказанных слов.

Учась говорить, я одновременно постигал и тайны письма, которому обучали незнакомку, и не переставал дивиться и восхищаться.

Книгой, по которой Феликс учил Сафию, были „Руины империй" Вольнея. Я не понял бы ее смысла, если бы Феликс,

читая, не давал самых подробных разъяснений. Он сказал, что избрал это произведение потому, что слог его подражает восточным авторам. Эта книга дала мне понятие об истории и о главных, ныне существующих государствах; я узнал о нравах, верованиях и образе правления у различных народов. Я услышал о ленивых жителях Азии, о неистощимом творческом гении греков, о войнах и добродетелях ранних римлян, об их последующем вырождении и о падении этой могучей империи, о рыцарстве, о христианстве и королях. Я узнал об открытии Америки и вместе с Сафией плакал над горькой участью ее коренных обитателей.

Эти увлекательные рассказы вызывали во мне недоумение. Неужели человек действительно столь могуч, добродетелен и велик и вместе с тем так порочен и низок? Он казался мне то воплощением зла, то существом высшим, поистине богоподобным. Быть великим и благородным человеком представлялось мне величайшей честью, доступной мыслящему созданию; быть порочным и низким, как многие из описанных в книге людей, казалось глубочайшим падением, участью более жалкой, чем удел слепого крота или безобидного червяка. Я долго не мог понять, как может человек убивать себе подобных и для чего существуют законы и правительства, но, когда больше узнал о пороках и жестокостях, перестал дивиться и содрогнулся от отвращения.

С тех пор каждая беседа обитателей хижины открывала мне новые чудеса. Слушая объяснения, которые Феликс давал аравитянке, я постигал странное устройство человеческого общества. Я узнал о неравенстве состояний, об огромных богатствах и жалкой нищете, о чинах, знатности и благородной крови.

Все это заставило меня взглянуть на себя как бы со стороны. Я узнал, что люди превыше всего ставят знатное и славное имя в сочетании с богатством. Можно добиться их уважения каким-нибудь одним из этих даров судьбы; но человек, лишенный обоих, считается, за крайне редкими исключениями, бродягой и рабом, обреченным отдавать все силы работе на немногих избранных. А кто такой я? Я не знал, как и кем я был создан, знал только, что у меня нет ни денег, ни друзей, ни собственности. К тому же я был наделен отталкивающе уродливой внешностью и отличался от людей даже самой своей природой: я сильнее их, могу питаться более грубой пищей, легче переношу жару и холод и гораздо выше ростом. Оглядываясь вокруг, я нигде не видел себе подобных. Неужели же я — чудовище, пятно на лице земли, создание, от которого все бегут и все отрекаются?

Не могу описать, какие муки причинили мне эти размышления. Я старался отмахнуться от них, но чем больше узнавал, тем

больше скорбел. О, лучше бы я навеки оставался у себя в лесу, ничего не ведая и не чувствуя, кроме голода, жажды и жары!

Странная вещь — познание! Однажды познанное нами держится в уме цепко, как лишайник на скалах. Порой мне хотелось стряхнуть все мысли и чувства, но я узнал, что от страданий существует лишь одно избавление — смерть, а ее я боялся, хотя и не понимал. Я восхищался добродетелью и высокими чувствами, мне нравились кротость и мягкость обитателей хижины, но я не вступал с ними в общение и лишь украдкой наблюдал их, оставаясь невидимым и неизвестным, а это только разжигало, но не удовлетворяло мое желание влиться в людское племя. Не для меня были нежные слова Агаты и сверкающие улыбки аравитянки. Не ко мне обращались кроткие увещевания старца и остроумные реплики милого Феликса. О, несчастный отверженный!

Некоторые уроки поразили меня еще глубже. Я узнал о различии полов; о рождении и воспитании детей; о том, как отец любуется улыбкой младенца и смеется шалостям старших детей; как все заботы и вся жизнь матери посвящены драгоценному бремени; как развивается юный ум, как он познает жизнь; какими узами — родственными и иными — связаны между собой люди.

А где же были мои родные и близкие? У моей колыбели не стоял отец, не склонялась с ласковой улыбкой мать, а если все это и было, то теперь моя прошлая жизнь представлялась мне темной пропастью, где я ничего не различал. С тех пор как я себя помнил, я всегда был тех же размеров, что и сейчас. Я еще не видел никого, похожего на меня, никого, кто желал бы иметь со мной дело. Так кто же я? Задавая себе этот вопрос снова и снова, я мог отвечать на него лишь горестным стоном.

Скоро я объясню, куда влекли меня эти чувства. А сейчас позволь мне вернуться к обитателям хижины, чья история вызвала во мне и негодование, и удивление, и восхищение, но в итоге заставила еще больше любить и уважать моих покровителей, как я охотно называл их про себя, поддаваясь невинному самообману.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Историю моих друзей я узнал не сразу. Она неизбежно должна была произвести на меня глубокое впечатление, ибо многие ее обстоятельства были новы и поразительны для такого неопытного существа, как я.

Фамилия старика была Де Лэси. Он происходил из хорошей французской семьи и долго жил в полном достатке, пользуясь уважением вышестоящих и любовью равных. Сын его готовился поступить на военную службу, а Агата занимала подобающее ей место среди дам высшего круга. За несколько месяцев до моего появления они еще жили в большом и богатом городе, именуемом Парижем, окруженные друзьями, пользуясь всеми благами, какие могут доставить добродетель, образование и тонкий вкус в соединении с большим достатком.

Причиной их бедствий стал отец Сафии. Это был турецкий негоциант, который давно проживал в Париже, но вдруг, по какой-то непонятной для меня причине, стал неугоден правительству. Он был схвачен и заключен в тюрьму в тот самый день, когда из Константинополя приехала Сафия. Его судили и приговорили к смертной казни. Несправедливость приговора была очевидной и возмутила весь Париж; все считали, что причиной осуждения явились его богатство и вероисповедание, а вовсе не приписанное ему преступление.

Феликс случайно присутствовал на суде; услышав приговор, он пришел в крайнее негодование. Он дал торжественный обет спасти невинного и стал изыскивать для этого средства. После многих тщетных попыток проникнуть в тюрьму он обнаружил зарешеченное окно в неохранявшейся части здания, которое сообщалось с камерой несчастного мусульманина; закованный в цепи, тот в отчаянии ожидал исполнения жестокого приговора. Ночью Феликс пришел под окно и сообщил узнику о своем намерении. Изумленный и обрадованный турок попытался подогреть усердие своего избавителя, посулив ему богатую награду. Феликс с презрением отверг ее; но, увидев однажды прекрасную Сафию, которой было дозволено навещать отца и которая знаками выразила юноше горячую благодарность, он должен был признать, что узник действительно обладал сокровищем, которое могло бы всецело вознаградить его за труды и риск.

Турок тотчас заметил впечатление, произведенное его дочерью на Феликса, и решил сильнее заинтересовать молодого человека, обещав ему ее руку, как только ему самому удастся достичь безопасного места. Деликатность не позволяла Феликсу принять подобное предложение, но о возможности этого события он стал мечтать как о высшем для себя счастии.

В последующие дни, пока шли приготовления к побегу, Феликс разгорелся еще больше, получив несколько писем от красавицы, которая нашла способ сноситься с влюбленным юношей на его языке через посредство старого отцовского слуги, понимавшего французский. Она в самых пылких выражениях

благодарила его за обещанную отцу помощь и в то же время горько сетовала на свою судьбу.

Я переписал эти письма, ибо за время жизни в сарае сумел добыть письменные принадлежности, а письма часто находились в руках Феликса или Агаты. Я дам их тебе, перед тем как уйти; они подтвердят правду моих слов, а сейчас солнце уже клонится к закату и я едва успею пересказать тебе их суть.

Сафия писала, что мать ее, крещеная аравитянка, была похищена турками и продана в рабство; своей красотой она пленила сердце отца Сафии, который на ней женился. Девушка восторженно говорила о своей матери: рожденная свободной, та презирала свое нынешнее рабство. Свою дочь она воспитала в догмах христианства и научила стремиться к духовному развитию и свободе, не дозволенной женщинам мусульманских стран. Ее уже не было в живых, но ее наставления навсегда запечатлелись в душе Сафии, которой претила мысль о возвращении в Азию, где ее ждало заточение в стенах гарема, дозволявшего женщине одни лишь ребяческие забавы; а это возмущало ее душу, приученную к возвышенным помыслам и благородному стремлению к добродетели. Сафию радовала мысль о браке с христианином и возможность остаться в стране, где женщины могут занимать определенное положение в обществе.

День казни турка уже был назначен, но накануне ночью он бежал из тюрьмы и к утру был уже за много лье от Парижа. Феликс добыл паспорта на свое имя, а также на имя своего отца и сестры. Отцу он предварительно сообщил о своем плане, и тот помог обману, сделав вид, что отправляется в поездку, тогда как в действительности укрылся вместе с дочерью на глухой окраине Парижа.

Феликс довез беглецов до Лиона, а затем через Мон-Сени до Ливорно, где купец намерен был дожидаться удобного случая переправиться в турецкие владения.

Сафия решила оставаться с отцом до его отъезда, а турок повторил свое обещание сочетать ее браком со своим спасителем. В ожидании свадьбы Феликс остался с ними, наслаждаясь обществом своей аравитянки, которая выказывала ему самую нежную и искреннюю любовь. Они беседовали с помощью переводчика, а иногда одними лишь взглядами, и Сафия пела ему дивные песни своей родины.

Турок поощрял это сближение и поддерживал надежды юной пары, а сам между тем лелеял совсем иные планы. Ему была ненавистна мысль о браке дочери с христианином, но он боялся показать это Феликсу, ибо пока еще зависел от своего спасителя, который мог, если б захотел, выдать его властям итальянского

княжества, где они находились. Он придумывал все новые способы длить свой обман до тех пор, пока в нем уже не будет нужды, и решил, уезжая, тайно увезти с собой дочь. Вести из Парижа помогли его намерениям.

Французское правительство было взбешено побегом своей жертвы и не жалело усилий, чтобы обнаружить и покарать ее спасителя. Заговор Феликса быстро обнаружился, и Де Лэси вместе с Агатой был брошен в тюрьму. Весть эта дошла до Феликса и пробудила его от блаженного забытья. Его старый слепой отец и кроткая сестра томились в сырой темнице, а он наслаждался свободой и близостью своей любимой. Эта мысль была ему нестерпима. Он условился с турком, что Сафия укроется в монастыре в Ливорно, если ее отцу представится возможность уехать, прежде чем Феликс сумеет вернуться в Италию; сам же Феликс поспешил в Париж и отдался в руки правосудия, надеясь таким образом добиться освобождения Де Лэси и Агаты.

Это ему не удалось. Их продержали в тюрьме пять месяцев, вплоть до суда, а затем приговорили к пожизненному изгнанию с конфискацией всего имущества.

Тогда-то они и поселились в Германии, в той бедной хижине, где я их нашел. Вскоре Феликс узнал, что вероломный турок, из-за которого он и его семья претерпели такие бедствия, уехал из Италии вместе с дочерью, поправ все законы морали и чести; в довершение оскорбления купец прислал Феликсу небольшую сумму денег, чтобы, как он писал, помочь ему стать на ноги.

Вот что терзало душу Феликса и делало его, когда я впервые его увидел, самым несчастным из всей семьи. Он мог бы смириться с бедностью и даже гордиться ею как расплатой за свой благородный поступок, но неблагодарность турка и потеря любимой девушки были худшими и непоправимыми бедствиями. Сейчас приезд аравитянки словно влил в него новую жизнь.

Когда до Ливорно дошла весть, что Феликс лишился имущества и звания, турок приказал дочери забыть о возлюбленном и готовиться к отъезду на родину. Благородная душа Сафии была возмущена этим приказом. Девушка попыталась спорить с отцом, но тот, не слушая ее, гневно повторил свое деспотическое требование.

Несколько дней спустя он вошел в ее комнату и торопливо сообщил, что его пребывание в Ливорно, видимо, стало известно властям, которые не замедлят выдать его французскому правительству, а потому он уже нанял судно и через несколько часов отплывает в Константинополь. Дочь он решил оставить на попечении верного слуги, с тем чтобы она последовала за

ним позже, вместе с большей частью имущества, которое еще не успели доставить в Ливорно.

Оставшись одна, Сафия избрала тот план действий, какой считала правильным. Жизнь в Турции была ей ненавистна; против этого говорили и чувства ее, и верования. Из бумаг отца, попавших ей в руки, она узнала об изгнании своего возлюбленного и его местопребывание. Некоторое время Сафия еще колебалась, но потом решилась. Взяв с собой драгоценности и некоторую сумму денег, она, в сопровождении служанки, уроженки Ливорно, знавшей по-турецки, покинула Италию и отправилась в Германию.

Она благополучно достигла городка, находившегося в каких-нибудь двадцати лье от хижины Де Лэси, но тут ее служанка тяжело заболела. Сафия нежно за ней ухаживала, но бедняжка умерла, и аравитянка осталась одна, незнакомая с языком страны и совершенно неопытная в житейских делах. Однако ей повезло на добрых людей. Итальянка успела назвать ей местность, куда они направлялись, а после ее смерти хозяйка дома позаботилась о том, чтобы Сафия благополучно добралась до своего возлюбленного.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Такова была история милых мне обитателей хижины. Она глубоко меня растрогала. Через нее мне раскрылись различные стороны общественной жизни; она научила меня восхищаться добродетелью и ненавидеть порок.

Зло еще было мне чуждо; примеры доброты и великодушия постоянно находились у меня перед глазами; они порождали во мне желание самому участвовать в жизни, где можно и нужно проявлять столь высокие качества. Но, рассказывая о своем духовном развитии, я не могу умолчать об одном обстоятельстве, относящемся к началу августа того же года.

Однажды ночью, пробираясь, по своему обыкновению, в лес, где я добывал себе пищу и собирал дрова для своих друзей, я нашел кожаную дорожную сумку, в которой была кое-какая одежда и несколько книг. Я радостно схватил этот трофей и вернулся с ним к себе в сарай. По счастью, книги были написаны на языке, уже отчасти знакомом мне. То были „Потерянный Рай", один из томов „Жизнеописаний" Плутарха и „Страдания Вертера". Обладание этими сокровищами принесло мне много радости. Отныне я непрерывно питал ими свой ум, пока мои друзья занимались повседневными делами.

Трудно описать действие на меня этих сочинений. Они вызывали множество новых образов и чувств, иногда приводивших меня в экстаз, но чаще ввергавших в глубочайшее уныние. В „Страданиях Вертера", интересных не одним лишь простым и трогательным сюжетом, высказано столько мнений, освещено столько вопросов, ранее мне непонятных, что я нашел там неиссякаемый источник удивления и размышлений. Мирные семейные сцены, а также возвышенные чувства и побуждения, в которых не было места себялюбию, согласовывались с тем, что я наблюдал у моих друзей, и со стремлениями, жившими в моей собственной груди. Сам Вертер представлялся мне высшим из всех виденных или воображаемых мною существ. Все в нем было просто, но трогало до глубины души. Размышления о смерти и самоубийстве неизбежно должны были наполнить меня удивлением. Я не мог во всем этом разобраться, но сочувствовал герою и горевал о его кончине, хотя и не вполне понимал ее надобность.

Читая, я многое старался применить к себе. Я казался себе похожим и вместе странно не похожим на тех, о ком читал и кого наблюдал. Я им сочувствовал и отчасти понимал их, но ум мой был еще неразвит, я ни от кого не зависел и ни с кем не был связан, и оплакивать меня было некому, „мой путь был свободен". Я был страшен на вид и гигантского роста. Что это значило? Кто я был? Откуда? Каково мое назначение? Эти вопросы я задавал себе непрестанно, но ответа на них не знал.

Попавший ко мне том Плутарха содержал жизнеописания основателей древних республик. Эта книга оказала на меня совсем иное действие, чем „Страдания Вертера". Вертер научил меня тосковать и грустить, тогда как Плутарх внушил высокие мысли; он поднял меня над жалкими себялюбивыми заботами, заставив восхищаться героями древности. Многое из прочитанного было выше моего понимания. Я имел некоторое представление о царствах, об обширных пространствах, могучих реках и безбрежных морях. Но я был совершенно не знаком с городами и большими скоплениями людей. Хижина моих покровителей была единственным местом, где я изучал человеческую природу, а эта книга показала мне новые и более широкие арены действия. Я прочел о людях, занятых общественными делами; о тех, кто правил себе подобными или убивал их. Я ощутил в себе горячее стремление к добродетели и отвращение к пороку, насколько понимал значение этих слов, связанных для меня лишь с радостью или болью. Это заставило меня восхищаться миролюбивыми законодателями — Нумой, Солоном и Ликургом, скорее чем Ромулом и Тезеем. Патриархальная жизнь моих покровителей внушила мне прежде всего именно эти понятия;

если бы мое знакомство с людьми началось с молодого воина, жаждущего славы и битв, я, вероятно, исполнился бы иных чувств.

„Потерянный Рай" вызвал во мне иное и гораздо более глубокое волнение. Я принял его, как и другие доставшиеся мне книги, за рассказ об истинном происшествии. Читая, я ощущал все изумление и ужас, какие способен вызвать образ всемогущего Бога, ведущего войну со своими созданиями. При этом я часто проводил параллели с собственной судьбой.

Как и у Адама, у меня не было родни; но во всем другом мы были различны. Он вышел из рук Бога во всем совершенстве, счастливый и хранимый заботами своего Творца; он мог беседовать с высшими существами и учиться у них; а я был несчастен, одинок и беспомощен. Мне стало казаться, что я скорее подобен Сатане: при виде счастья моих покровителей я тоже часто ощущал горькую зависть.

Еще одно обстоятельство укрепило и усилило эти чувства. Вскоре после того, как я поселился в сарае, я обнаружил в карманах одежды, захваченной из твоей лаборатории, какие-то записки. Сперва я не обратил на них внимания; но теперь, имея возможность их прочесть, я внимательно ознакомился с ними. Это был твой дневник за четыре месяца, предшествовавшие моему появлению на свет. В нем ты подробно, шаг за шагом, описывал свою работу, перемежая эти записи с дневником повседневной жизни. Ты, конечно, помнишь их, вот они. Здесь ты запечатлел все, что связано с моим злополучным рождением, здесь подробнейшим образом описана моя уродливая наружность, и притом такими словами, в которых выразилось все твое отвращение и которых мне никогда не забыть. „Будь проклят день моего рождения! — восклицал я. — Проклятый творец! Зачем ты создал чудовище, от которого сам отвернулся с омерзением? Бог, в своем милосердии, создал человека прекрасным по своему образу и подобию, я же являюсь изуродованным подобием тебя самого, еще более отвратительным из-за этого сходства. У Сатаны были собратья-демоны; в их глазах он был прекрасен. А я одинок и всем ненавистен".

Так размышлял я в часы одиночества и уныния; но, видя добродетели обитателей хижины, их кротость и благожелательность, я убеждал себя, что они пожалеют меня, когда узнают о моем восхищении ими, и простят мне мое уродство. Неужели они прогонят от себя существо, умоляющее о жалости и дружбе, как бы уродливо оно ни было? Я решил не отчаиваться, но как можно лучше подготовиться к встрече с ними, которая решит мою судьбу. Эту встречу я отложил еще на несколько месяцев; значение, которое я придавал ей, заставляло меня страшиться

неудачи. К тому же каждодневный опыт так развивал мой ум, что мне не хотелось ничего предпринимать, пока время не прибавит мне мудрости.

Между тем в хижине произошли некоторые перемены. Приезд Сафии принес не только радость, но и достаток. Феликс и Агата уделяли теперь больше времени забавам и беседе, а в трудах им помогали работники. Это было не богатство, но довольство; у них царил безмятежный покой; а во мне с каждым днем росло смятение. Познание лишь яснее показало мне, что я — отверженный. Правда, я лелеял надежду, но стоило мне увидеть свое отражение в воде или свой силуэт в лунном свете, как надежда исчезала, подобно зыбкому отражению и неверной тени.

Я пытался побороть страх и укрепить свой дух для предстоявшего мне через несколько месяцев испытания. Иногда, не сдерживая мечты разумом, я позволял им уноситься в сады рая и осмеливался рисовать в своем воображении прекрасные и нежные создания, которые, сочувствуя, ободряли меня; на их ангельских лицах сияли улыбки утешения. Но это были лишь мечты; у меня не было Евы, которая делила бы мои мысли и развеивала мою печаль; я был один. Я вспомнил мольбу Адама, обращенную к его Создателю. А где же был *мой* создатель? Он покинул меня, и, ожесточась сердцем, я проклинал его.

Так прошла осень. С удивлением и грустью я смотрел, как опадают листья и все вновь становится голо и мрачно, как тогда, когда я впервые увидел лес и свет луны. Стужа меня не пугала. Я был лучше приспособлен для нее, чем для жары. Но меня радовали цветы, птицы и веселый наряд лета; когда я лишился этого, меня еще больше потянуло к жителям хижины. Их счастье не убавилось с уходом лета. Они любили друг друга, и радости, которые они друг другу дарили, не зависели от происходивших в природе перемен. Чем больше я наблюдал их, тем больше мне хотелось просить у них защиты и ласки; я жаждал, чтобы они узнали меня и полюбили; увидеть их ласковые взгляды, обращенные на меня, было пределом моих мечтаний. Я не решался подумать, что они могут отвратить их от меня с презрением и брезгливостью. Ни одного нищего они не прогоняли от своих дверей. Правда, я собирался просить о большем, чем приют или кусок хлеба, я искал сочувствия и расположения, но неужели я был совершенно недостоин их?

Наступила зима; с тех пор как я пробудился к жизни, природа совершила полный круговорот. Теперь все помыслы мои были обращены на то, как показаться обитателям хижины. Я перебрал множество планов, но в конце концов решил войти в хижину, когда слепой старец будет там один. Я был достаточ-

но сообразителен, чтобы понять, что люди, видевшие меня до тех пор, более всего пугались моего внешнего уродства. Голос мой был груб, но не страшен. Поэтому я полагал, что если завоюю расположение старого Де Лэси в отсутствие его детей, то и мои молодые покровители, быть может, согласятся меня терпеть.

Однажды, когда солнце уже не грело, но радовало взор, ярко освещая багровую листву, устилавшую землю, Сафия, Агата и Феликс отправились на дальнюю прогулку, а старик пожелал остаться дома. Когда дети ушли, он взял гитару и сыграл несколько печальных и нежных мелодий, самых печальных и нежных из всех, что я слышал. Сперва лицо его светилось удовольствием, но скоро сделалось задумчивым и печальным; отложив инструмент, он погрузился в раздумье.

Сердце мое сильно билось; пришел час испытания, который осуществит мои надежды или подтвердит опасения. Слуги ушли на ближнюю ярмарку. Все было тихо в хижине и вокруг нее; это был отличный случай, и все же, когда я приступил к осуществлению своего плана, силы оставили меня и я опустился на землю. Но я тут же поднялся и, призвав на помощь всю твердость, на какую был способен, отодвинул доски, которыми маскировал вход в свой сарай. Свежий воздух ободрил меня, и я с новой решимостью приблизился к дверям хижины.

Я постучал.

„Кто там? — откликнулся старик. — Войдите".

Я вошел.

„Прошу простить мое вторжение, — сказал я. — Я путник и нуждаюсь в отдыхе. Буду очень признателен, если вы позволите мне немного посидеть у огня".

„Входите, — сказал Де Лэси, — и я постараюсь чем-нибудь вам помочь. Вот только жаль, моих детей нет дома, а я слеп и, боюсь, не сумею вас накормить".

„Не утруждайте себя, мой добрый хозяин, еда у меня есть; мне нужно лишь обогреться и отдохнуть".

Я сел, и наступило молчание. Я знал, что каждая минута дорога, и все же не решался начать разговор, но тут старик сам обратился ко мне:

„Судя по вашей речи, путник, вы мой земляк — ведь вы тоже француз, не правда ли?"

„Нет, но я вырос во французской семье и знаю один лишь этот язык. Сейчас я пришел просить убежища у друзей, которых искренне люблю и надеюсь к себе расположить".

„А они немцы?"

„Нет, французы. Но позвольте сказать о другом. Я существо одинокое и несчастное. На всем свете у меня нет ни родствен-

ника, ни друга. Добрые люди, к которым я иду, никогда меня не видели и мало обо мне знают. Мне страшно; если я и здесь потерплю неудачу, то уж навсегда буду отщепенцем".

„Не отчаивайтесь. Одиночество — действительно несчастье. Но сердца людей, когда у них нет прямого эгоистического расчета, полны братской любви и милосердия. Надейтесь; если это добрые люди, отчаиваться не следует".

„Они добры, нет никого добрее их; но, к несчастью, они настроены против меня. У меня кроткий нрав, я никому еще не причинил зла и даже старался делать добро; но они ослеплены роковым предубеждением и вместо любящего друга видят только отвратительного урода".

„Это печально, но, если вас действительно не в чем упрекнуть, неужели нельзя рассеять их заблуждение?"

„Я попытаюсь это сделать, поэтому-то меня и томит страх. Я нежно люблю своих друзей; незнаемый ими, я вот уже много месяцев стараюсь им служить, но они могут подумать, что я хочу причинить им зло; вот предубеждение, которое мне надо рассеять".

„Где они живут?"

„Неподалеку отсюда".

Старик помолчал, а затем продолжал:

„Если вы откровенно поделитесь со мной подробностями своей истории, я, быть может, помогу вам расположить их к себе. Я слеп и не вижу вас, но что-то в ваших словах убеждает меня в вашей искренности. Я всего лишь бедный изгнанник, но для меня будет истинной радостью оказать услугу ближнему".

„Добрый человек! Благодарю вас и принимаю ваше великодушное предложение. Вашей добротой вы подымаете меня из праха. Я верю, что с вашей помощью не буду отлучен от общества ваших ближних".

„Упаси боже! Пусть вы даже преступник, отлучение только доведет вас до отчаяния, но не обратит к добру. Я тоже несчастен; я и моя семья были безвинно осуждены. Судите сами, как я сочувствую вашим горестям".

„Как мне благодарить вас, мой единственный благодетель? Из ваших уст я впервые слышу добрые слова, обращенные ко мне. Я вечно буду вам благодарен; ваша доброта позволяет мне надеяться, что меня ждет хороший прием и у друзей, с которыми я должен сейчас встретиться".

„Позвольте узнать их имена и где они живут?"

Я умолк. Вот она, решительная минута, которая осчастливит меня или лишит счастья навеки. Напрасно я пытался ответить ему — волнение лишило меня последних сил. Я опустился на стул и разрыдался. В это время послышались шаги моих моло-

дых покровителей. Нельзя было терять ни минуты. Схватив руку старика, я воскликнул:

„Час настал! Защитите и спасите меня! Друзья, к которым я стремлюсь, — это вы и ваша семья. Не оставляйте меня в этот час испытания!"

„Боже! — вскричал старик. — Кто же вы такой?"

Тут дверь распахнулась, и вошли Феликс, Сафия и Агата. Кто опишет их ужас при виде меня? Агата упала без чувств. Сафия, не в силах оказать помощь своей подруге, выбежала вон. Феликс кинулся ко мне и со сверхъестественной силой оттолкнул меня от старика, чьи колени я обнимал. В ярости он опрокинул меня на землю и сильно ударил палкой. Я мог бы разорвать его на куски, как лев антилопу. Но мое сердце сжала смертельная тоска, и я удержался. Он приготовился повторить удар, но тут я, не помня себя от горя, бросился вон из хижины и среди общего смятения, никем не замеченный, успел укрыться в своем сарае.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

О проклятый, проклятый мой создатель! Зачем я остался жить? Зачем тут же не погасил искру жизни, так необдуманно зажженную тобой? Не знаю, но тогда я еще не впал в отчаяние; мною владели ярость и жажда мести. Я с радостью уничтожил бы хижину вместе с ее обитателями и насладился бы их стонами и страданиями.

Когда наступила ночь, я вышел из своего убежища и побрел по лесу; здесь, не опасаясь быть услышанным, я выразил свою муку ужасными криками. Подобно дикому зверю, порвавшему путы, я сокрушал все, что мне попадалось, и метался по лесу с быстротою оленя. О, какую страшную ночь я пережил! Холодные звезды смотрели на меня с насмешкой; обнаженные деревья качали надо мною ветвями; по временам тишина нарушалась мелодичным пением птиц. Все, кроме меня, вкушали покой и радость, и только я, подобно Сатане, носил в себе ад; не видя нигде сочувствия, я жаждал вырывать с корнем деревья и сеять вокруг себя разрушение, а потом любоваться делом своих рук.

Но подобное исступление не могло длиться долго. Буйство утомило меня, и я в бессильном отчаянии опустился на влажную траву. Среди бесчисленных жителей земли не нашлось ни одного, кто пожалел бы меня и помог мне, так что же мне щадить моих врагов? Нет, с той минуты я объявил вечную войну

всему человеческому роду, и прежде всего тому, кто создал меня и обрек на нестерпимые муки.

Взошло солнце; я услышал людские голоса и понял, что при свете дня не смогу вернуться в свое убежище. Поэтому я спрятался в густом кустарнике, решив посвятить ближайшие часы раздумьям над своим положением.

Солнечное тепло и чистый воздух несколько умиротворили меня; вспомнив, что произошло в хижине, я заключил, что слишком поторопился с окончательным выводом. Я, несомненно, поступил неосторожно. Мои речи явно расположили старика в мою пользу, но какой же я был дурак, что тут же показался на глаза его детям! Мне надо было прежде приучить к себе старого Де Лэси, а перед остальными членами семьи появиться позже, когда они были бы к этому подготовлены. Однако эти ошибки не казались мне непоправимыми. После долгих размышлений я решил вернуться в хижину, снова обратиться к старику и склонить его на свою сторону.

Эти мысли меня успокоили, и к полудню я крепко уснул; но жар в моей крови еще не остыл, и мои сновидения не могли быть мирными. Страшная сцена, происшедшая накануне, вновь и вновь разыгрывалась передо мной: женщины убегали, а разъяренный Феликс отрывал меня от колен своего отца. Я проснулся в изнеможении; видя, что уже стемнело, я вылез из кустов и отправился добывать пищу.

Утолив голод, я вышел на знакомую тропинку и устремился к хижине. Там царила тишина. Я прокрался в свой сарай и стал дожидаться часа, когда семья обычно пробуждалась. Этот час прошел, солнце поднялось совсем высоко, а обитатели хижины не показывались. Я дрожал, опасаясь какого-нибудь ужасного несчастья. Внутри хижины было темно и не слышалось ни звука; не могу описать, как мучительна была эта неизвестность.

Вот прошли мимо два крестьянина; замедлив шаг возле хижины, они завели разговор, сопровождая его оживленной жестикуляцией; но я не понимал их, ибо они говорили на языке своей страны, а это не был язык моих покровителей. Вскоре, однако, подошел Феликс, а с ним еще один человек. Это меня удивило, ибо я не видел, чтобы он утром выходил из дому, и я с волнением ждал, надеясь из его речей понять, что происходит.

„Ты, значит, хочешь, — говорил Феликсу его спутник, — уплатить за три месяца аренды да еще оставить в огороде несобранный урожай? Я не хочу пользоваться чужой бедой. Давай лучше подождем несколько дней, может, ты передумаешь?"

„Бесполезно, — ответил Феликс, — мы не сможем здесь оставаться. Отец опасно занемог после пережитых ужасов, жена и

сестра никогда от них не оправятся. Нет, не уговаривайте меня. Вот ваш дом, а мне бы только поскорее бежать отсюда".

Говоря это, Феликс весь дрожал. Вместе со своим спутником он на несколько минут вошел в дом, а затем удалился. С тех пор я больше не видел никого из семьи Де Лэси.

Остаток дня я провел в своем сарае, погруженный в тупое отчаяние. Мои покровители уехали и порвали единственную связь, соединявшую меня с миром. Тут моя душа впервые наполнилась ненавистью и жаждой мести, и я не пытался их побороть — я отдался в их власть, и все мои помыслы обратились на разрушение и смерть. При воспоминании о моих друзьях, о ласковом голосе Де Лэси, о кротких глазах Агаты, о дивной красоте аравитянки эти мысли исчезали и сменялись слезами, которые несколько облегчали меня. Но я тут же вспоминал, как они оттолкнули и покинули меня, и во мне снова закипала неистовая ярость; не имея возможности сокрушить что-либо живое, я обратил ее на неодушевленные предметы. Когда стемнело, я обложил хижину всевозможными горючими материалами; уничтожив все, что росло в огороде, я стал с нетерпением дожидаться, пока зайдет луна и можно будет начать действовать.

Ночью из леса подул сильный ветер и быстро разогнал замешкавшиеся в небе облака; порывы его все усиливались и крепчали и вызвали во мне какое-то безумие, опрокинувшее все преграды рассудка. Я поджег сухую ветку и заплясал вокруг обреченной хижины, не переставая взглядывать на запад, где луна уже заходила. Наконец часть ее диска скрылась, и я взмахнул факелом; когда она скрылась целиком, я с громким криком поджег собранную мной солому, вереск и ветки кустарника. Ветер раздул огонь, и скоро вся хижина окуталась пламенем, лизавшим ее губительными языками.

Убедившись, что дом уже невозможно спасти, я удалился и скрылся в лесу.

Передо мной был открыт весь мир; куда же направиться? Я решил бежать как можно дальше от мест, где столько выстрадал. Но для меня, всеми ненавидимого и презираемого, любой край таил в себе ужасы. Наконец меня осенила мысль о тебе. Из твоих записей я узнал, что ты являешься моим отцом, моим создателем; к кому же мне подобало обратиться, как не к тому, кто дал мне жизнь? В числе предметов, которым Феликс обучал Сафию, не была забыта и география. Из нее я узнал об относительном расположении различных стран на земном шаре. Ты упоминал Женеву как свой родной город, туда я и решил отправиться.

Но как найти туда дорогу? Я знал, что для этого необходимо двигаться в юго-западном направлении, но единственным моим

путеводителем было солнце. Я не знал названий городов, через которые мне предстояло пройти, и не надеялся получить сведения ни от одного человеческого существа; однако я не отчаивался. От тебя одного я ждал помощи, хотя и не питал к тебе ничего, кроме ненависти. Безжалостный, бессердечный создатель! Ты наделил меня чувствами и страстями, а потом бросил, сделав предметом всеобщего презрения и отвращения. Но только от тебя я мог ждать сочувствия и возмещения обид, и я решил искать у тебя справедливости, которую напрасно пытался найти у других существ, именующих себя людьми.

Путешествие мое было долгим, и я испытал невыносимые страдания. Стояла поздняя осень, когда я покинул местность, где так долго прожил. Я передвигался только ночью, боясь встретиться с человеческим существом. Природа вокруг меня увядала, солнце уже не излучало тепла; шел дождь и снег, замерзали могучие реки, поверхность земли стала твердой, холодной и голой; я нигде не находил крова. О Земля! Как часто я проклинал свое существование! Все добрые чувства исчезли во мне, и я был полон злобы и горечи. Чем больше я приближался к твоим родным местам, тем сильнее разгоралась в моем сердце мстительная злоба. Падал снег; водоемы замерзли, но я не отдыхал. Некоторые случайности время от времени помогали мне, и у меня была карта страны, но все же я зачастую далеко отклонялся от своего пути. Страдания не давали мне передышки; не было события, которое не питало бы мои ярость и отчаяние. Но то, что случилось со мной, когда я очутился в пределах Швейцарии и солнце снова стало излучать тепло, а земля — покрываться зеленью, особенно ожесточило меня.

Обычно я отдыхал в течение дня и отправлялся в путь, только когда ночь надежно скрывала меня от людей. Но однажды утром, убедившись, что дорога пролегает через густой лес, я осмелился продолжить свое путешествие после восхода солнца; наступивший день, один из первых дней весны, подбодрил даже меня — так ярко светило солнце и так ароматен был воздух. Я ощутил, что во мне оживают нежные и радостные чувства, которые казались давно умершими. Пораженный новизной этих ощущений, я отдался им и, забыв о своем одиночестве и уродстве, отважился быть счастливым. По моим щекам снова потекли тихие слезы; я даже благодарно возвел влажные глаза к благословенному солнцу, дарившему меня такой радостью.

Я долго кружил по лесным тропинкам, пока не добрался до опушки, где протекала глубокая и быстрая речка, над которой деревья склоняли свои ветви, ожившие с весною. Здесь я остановился, как вдруг услышал голоса, заставившие меня укрыться в тень кипариса. Едва я успел спрятаться, как к моему укрытию

подбежала молодая девушка, громко смеясь, словно она, играючи, от кого-то спасалась. Она побежала дальше по обрывистому берегу, но вдруг поскользнулась и упала в быстрый поток. Я выскочил из своего укрытия; напрягая все силы в борьбе с течением, я спас ее и вытащил на берег. Она лежала без чувств. Я употребил все, что было в моих силах, чтобы ее оживить; но тут меня застиг крестьянин, вероятно тот самый, от которого она в шутку убегала. Увидев меня, он бросился ко мне и, вырвав девушку из моих рук, поспешно направился в глубь леса. Я быстро последовал за ними, едва отдавая себе отчет, зачем это делаю. Крестьянин увидел, что я нагоняю его, прицелился в меня из ружья и выстрелил. Я упал, а мой обидчик с еще большей поспешностью скрылся в лесу.

Вот какую награду получил я за свою доброту! Я спас человеческую жизнь, а за это корчился теперь от ужасной боли: выстрел разорвал мышцу и раздробил кость. Добрые чувства, которые я испытывал всего лишь за несколько мгновений до этого, исчезли, и я в бешенстве скрежетал зубами. Обезумев от боли, я дал обет вечной ненависти и мщения всему человечеству. Но страдания, причиненные раной, истощили меня; пульс мой остановился, и я потерял сознание.

В течение нескольких недель я влачил жалкое существование в лесах, пытаясь залечить полученную рану. Пуля попала мне в плечо, и я не знал, застряла ли она там или прошла насквозь; во всяком случае, у меня не было никакой возможности ее извлечь. Мои страдания усугублялись гнетущим сознанием несправедливости, мыслью о неблагодарности тех, кто их причинил. Я ежедневно клялся в мщении — смертельном мщении, которое одно могло вознаградить меня за все муки и оскорбления.

Через несколько недель рана зажила, и я продолжал свой путь. Яркое солнце и нежные дуновения весны не могли больше облегчить трудности, которые я испытывал. Радость обернулась насмешкой, оскорбившей мою неутешную душу и заставившей меня еще мучительнее почувствовать, что я не создан для счастья.

Однако мой трудный путь уже подходил к концу. Через два месяца я достиг окрестностей Женевы.

Когда я прибыл, уже вечерело, и я решил заночевать в поле, чтобы обдумать, с какими словами обратиться к тебе. Я был подавлен усталостью и голодом и чувствовал себя слишком несчастным, чтобы наслаждаться свежестью легкого вечернего ветерка или зрелищем солнца, садившегося за громадные вершины Юры.

Я забылся легким сном, который позволил мне отдохнуть от мучительных дум, но он был вскоре нарушен появлением пре-

лестного ребенка, вбежавшего в мое укрытие со всей резвостью своего возраста. При взгляде на него меня осенила мысль, что это маленькое создание еще не предубеждено против меня и прожило слишком короткую жизнь, чтобы проникнуться отвращением к уродству. Если бы мне удалось схватить его и сделать своим товарищем и другом, я не был бы так одинок на этой населенной земле.

Вот почему я поймал мальчика, когда он пробегал мимо меня, и привлек к себе. Но он при виде меня закрыл глаза руками и издал пронзительный крик. Я с силой отвел его руки в стороны и сказал:

„Мальчик, зачем ты кричишь? Я тебя не обижу, слушай меня".

Он отчаянно забился.

„Пусти меня, — кричал он. — Урод! Мерзкий урод! Ты хочешь меня съесть и разорвать на кусочки. Ты — людоед. Пусти меня, а то я скажу папе".

„Мальчик, ты никогда больше не увидишь своего папу; ты должен пойти со мной".

„Гадкое чудище! Пусти меня. Мой папа — судья. Его зовут Франкенштейн. Он тебя накажет. Ты не смеешь меня держать".

„Франкенштейн! Ты, значит, принадлежишь к роду моего врага, которому я поклялся вечно мстить. Так будь же моей первой жертвой".

Мальчик продолжал бороться и наделять меня эпитетами, вселявшими отчаяние в мое сердце. Я сжал его горло, чтобы он замолчал, и вот он уже лежал мертвым у моих ног.

Я глядел на свою жертву, и сердце мое переполнилось ликованием и дьявольским торжеством; хлопнув в ладоши, я воскликнул:

„Я тоже могу сеять горе; оказывается, мой враг уязвим; эта смерть приведет его в отчаяние, и множество других несчастий истерзает и раздавит его!"

Уставившись на ребенка, я увидел на груди его что-то блестящее. Я взял вещицу в руки; это был портрет прекрасной женщины. Несмотря на бушевавшую во мне злобу, он привлек мой взгляд и смягчил меня. Несколько мгновений я восхищенно всматривался в темные глаза, окаймленные длинными ресницами, и в прелестные уста. Но вскоре гнев снова обуял меня; я вспомнил, что навсегда лишен радости, какую способны дарить такие женщины; ведь если б эта женщина, чьим портретом я любовался, увидела меня, выражение божественной доброты сменилось бы у нее испугом и отвращением.

Можно ли удивляться, что такие думы приводили меня в ярость? Я удивляюсь лишь одному: почему в тот момент я дал

выход своим чувствам только восклицаниями, а не бросился на людей и не погиб в схватке с ними?

Подавленный этими чувствами, я покинул место, где совершил убийство, и в поисках более надежного укрытия вошел в какой-то сарай, думая, что там никого нет. На соломе спала женщина. Она была молода, правда, не так прекрасна, как та, чей портрет я держал в руках, но приятной внешности, цветущая юностью и здоровьем. Вот, подумал я, одна из тех, кто дарит нежные улыбки всем, кроме меня. Тогда я склонился над нею и прошептал: „Проснись, прекраснейшая, твой возлюбленный тут, рядом с тобою, и готов отдать жизнь за один твой ласковый взгляд; любимая, проснись!"

Спящая шевельнулась, и дрожь ужаса пронизала меня. А вдруг она в самом деле проснется, увидит меня, проклянет и обличит как убийцу? Так она и поступила бы, если бы глаза ее открылись и она увидела меня. Эта мысль могла свести с ума, она разбудила во мне дьявола; пусть пострадаю не я, а она, пусть она поплатится за убийство, которое я совершил; ведь я навеки лишен всего, что она могла бы мне дать. Она породила преступление, пусть она и понесет наказание! Уроки Феликса и кровавые законы людей научили меня творить зло. Я склонился над ней и спрятал портрет в складках ее платья. Она снова шевельнулась, и я убежал.

Еще несколько дней я бродил возле места, где произошли эти события, то желая увидеть тебя, то решая навсегда покинуть этот мир страданий. Наконец я поднялся в горы и теперь брожу здесь в глуши, снедаемый жгучей страстью, которую могу удовлетворить лишь с твоей помощью. Мы не можем расстаться до тех пор, пока ты не обещаешь согласиться на мое требование. Я одинок и несчастен, ни один человек не сблизится со мной, но существо такое же безобразное, как я сам, не отвергнет меня. Моя подруга должна быть такой же, как я, и отличаться таким же уродством. Это существо ты должен создать».

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Чудовище умолкло и вперило в меня взгляд, ожидая ответа. Но я был ошеломлен, растерян и не мог достаточно собраться с мыслями, чтобы в полной мере понять его требование. Он продолжал:

«Ты должен создать для меня женщину, с которой мы могли бы жить, питая друг к другу привязанность, необходимую мне

как воздух. Это можешь сделать только ты. Я вправе требовать этого, и ты не можешь мне отказать».

Последние его слова с новой силой возбудили мой гнев, который было утих, пока он рассказывал о своей мирной жизни в хижине; когда же он произнес эти слова, я больше не в силах был совладать со своей яростью.

«Я отказываюсь, — ответил я, — и никакие пытки не вырвут у меня согласия. Ты можешь сделать меня самым несчастным из людей, но ты никогда не заставишь меня пасть так низко в моих собственных глазах. Могу ли я создать другое подобное тебе существо, чтобы вы вместе опустошали мир? Прочь от меня! Мой ответ ясен; ты можешь замучить меня, но я никогда на это не соглашусь».

«Ты несправедлив, — ответил демон. — Я не стану угрожать, я готов убеждать тебя. Я затаил злобу, потому что несчастен. Разве не бегут от меня, разве не ненавидят меня все люди? Ты сам, мой создатель, с радостью растерзал бы меня; пойми это и скажи, почему я должен жалеть человека больше, чем он жалеет меня? Ты не считал бы себя убийцей, если бы тебе удалось сбросить меня в одну из этих ледяных пропастей и уничтожить мое тело — создание твоих собственных рук. Почему же я должен щадить людей, когда они меня презирают? Пусть бы человек жил со мной в согласии и дружбе, тогда вместо зла я осыпал бы его всеми благами и со слезами благодарил бы только за то, что он принимает их. Но это невозможно. Человеческие чувства создают для нашего союза неодолимую преграду. А я не могу смириться с этим, как презренный раб. Я отомщу за свои обиды. Раз мне не дано вселять любовь, я буду вызывать страх; и прежде всего на тебя — моего заклятого врага, моего создателя — я клянусь обрушить неугасимую ненависть. Берегись: я сделаю все, чтобы тебя уничтожить, и не успокоюсь, пока не опустошу твое сердце и ты не проклянешь час своего рождения».

Эти слова он произнес с дьявольской злобой. Его лицо исказилось безобразной гримасой, которую не мог выдержать человеческий взгляд. Однако вскоре он успокоился и продолжал:

«Я хотел убедить тебя. Злобой я могу только повредить себе в твоих глазах, ибо ты не хочешь понять, что именно *ты* ее причина. Если бы кто-нибудь отнесся ко мне с лаской, я отплатил бы ему стократно; ради одного этого создания я помирился бы со всем человеческим родом. Но это — несбыточная мечта. А то, что я прошу у тебя, разумно и скромно. Мне нужно существо другого пола, но такое же отвратительное, как и я. Малая радость, но это все, что я могу получить. И я удовольствуюсь этим. Правда, мы будем уродами, отрезанными от мира, но

благодаря этому еще сильнее привяжемся друг к другу. Наша жизнь не будет счастливой, но она будет чиста и свободна от страданий, которые я сейчас испытываю. О мой создатель! Сделай меня счастливым; позволь почувствовать благодарность к тебе за одну-единственную милость. Позволь убедиться, что я способен хоть в ком-нибудь возбудить сочувствие; не отказывай в моей просьбе!»

Я был тронут. Я содрогался, думая о возможных последствиях моего согласия, но сознавал, что в доводах демона есть нечто справедливое. Его рассказ и выраженные им чувства показали, что этому существу свойственна чувствительность. И не был ли я, его создатель, обязан наделить свое детище частицей счастья, коль это было в моей власти? Он заметил перемену в моем настроении и продолжал:

«Если ты согласен, то ни ты, ни какое-либо другое человеческое существо никогда нас больше не увидит: я удалюсь в обширные пустыни Южной Америки. Моя пища отличается от человеческой; я не трону ни ягненка, ни козленка ради насыщения своей утробы; желуди и ягоды — вот все, что мне нужно. Моя подруга, подобно мне, будет довольствоваться той же пищей. Нашим ложем будут сухие листья; солнце будет светить нам, как светит и людям, и растить для нас плоды. Картина, которую я тебе рисую, — мирная и человечная, и ты, конечно, сознаешь, что не можешь отвергнуть мою просьбу ради того, чтобы показать свою власть и жестокость. Как ты ни безжалостен ко мне, сейчас я вижу в твоих глазах сострадание. Дай мне воспользоваться благоприятным моментом, обещай мне то, чего я так горячо желаю».

«Ты предполагаешь, — отвечал я, — покинуть населенные места и поселиться в пустыне, где единственными твоими соседями будут дикие звери. Как сможешь ты, когда так страстно жаждешь любви и привязанности людей, оставаться в изгнании? Ты вернешься и снова будешь искать их расположения и снова встретишься с их ненавистью. Твоя злоба разгорится вновь, и у тебя еще будет подруга, которая поможет тебе все сокрушать. Этого не должно быть; не настаивай, ибо я все равно не могу согласиться».

«Как ты непостоянен в своих чувствах! Только мгновение назад ты был тронут моими доводами; зачем же, выслушав мои жалобы, ты снова ожесточаешься против меня? Клянусь землей, на которой живу, и тобой — моим создателем, — что вместе с подругой, которую ты мне дашь, я удалюсь от людей и удовольствуюсь жизнью в самых пустынных местах. Злобные страсти оставят меня, ибо кто-то будет меня любить. Моя жизнь потечет спокойно, и в смертный час я не прокляну своего творца».

Его слова производили на меня странное действие. Порой во мне пробуждалось сострадание и возникало желание утешить чудовище. Но стоило лишь взглянуть на отвратительного урода, который двигался и говорил, как все во мне переворачивалось и доброе чувство вытеснялось ужасом и ненавистью. Я пытался подавить их. Я говорил себе, что хотя и не могу сочувствовать этому существу, однако не имею права отказывать в доле счастья, которую в силах ему дать.

«Ты клянешься не приносить вреда, — сказал я, — но разве ты уже не обнаружил злобности, которая мешает мне поверить твоим словам? Как знать, может быть, все это одно притворство и ты будешь торжествовать, когда получишь более широкий простор для осуществления своей мести?»

«Ах вот как? Со мной нельзя шутить. Я требую ответа. Если у меня не будет привязанностей, я предамся ненависти и пороку. Любовь другого существа устранила бы причину моих преступлений, и никто обо мне ничего бы не услышал. Мои злодеяния порождены вынужденным одиночеством, мне ненавистным; мои добродетели непременно расцветут, когда я буду общаться с равным мне существом. Я буду ощущать привязанность мыслящего создания; я стану звеном в цепи всего сущего, в которой мне сейчас не находится места».

Я помолчал, размышляя над его рассказом и всеми высказанными им доводами. Я думал о добрых задатках, которые обнаружились у него в начале жизненного пути, и о том, как все хорошее в нем было уничтожено отвращением и презрением, с которыми отнеслись к нему его покровители. Подумал я также и о его физической мощи и угрозах: создание, способное жить в ледяных пещерах и убегать от преследователей по краю неприступных пропастей, обладало такой силой, что с ним трудно было тягаться. После длительного раздумья я решил, что справедливость, как по отношению к нему, так и по отношению к моим ближним, требует, чтобы я согласился на его просьбу. Обратясь к нему, я сказал:

«Я исполню твое желание, но ты должен дать торжественную клятву навсегда покинуть Европу и все другие населенные места, как только получишь от меня женщину, которая разделит с тобой изгнание».

«Клянусь солнцем и голубым сводом небес, — воскликнул он, — клянусь огнем любви, горящим в моем сердце, что, исполнив мою просьбу, ты больше меня не увидишь, пока они существуют. Возвращайся домой и приступай к работе. Я буду следить за ее ходом с невыразимой тревогой, и будь уверен: как только все будет готово, я появлюсь».

Произнеся эти слова, он поспешно покинул меня, вероятно боясь, что я могу передумать. Я видел, как он спускался с горы

быстрее, чем летит орел; вскоре он затерялся среди волнистого ледяного моря.

Рассказ его занял весь день; когда он удалился, солнце уже садилось. Я знал, что мне нужно немедля спускаться в долину, так как вскоре все погрузится в темноту, но на сердце у меня было тяжело, и это замедляло мой шаг. Поглощенный мыслями о событиях прошедшего дня, я с трудом пробирался по узким горным тропинкам, то и дело рискуя оступиться. Была уже глубокая ночь, когда я приблизился к месту привала, находившемуся на полпути, и присел около источника.

По временам в просветы между облаками светили звезды. Передо мной поднимались высокие сосны, кое-где они лежали поваленные. То была суровая картина, возбудившая во мне странные думы. Я горько заплакал. В отчаянии сжимая руки, я воскликнул: «О звезды, тучи и ветры! Вы насмехаетесь надо мной. Если вам действительно жаль меня, лишите меня чувств и памяти, превратите в ничто; если же вы этого не можете, исчезните и оставьте меня во тьме».

Это были бессвязные и мрачные думы. Не могу описать, как угнетало меня мерцание звезд, как прислушивался я к каждому порыву ветра, словно то был зловещий сирокко, грозивший мне гибелью.

Уже светало, когда я вернулся в деревню Шамуни; сразу же, не отдохнув, я направился в Женеву. Я не мог разобраться в обуревавших меня чувствах. На меня навалилась тяжесть, огромная, как гора; она притупляла даже мои страдания. В таком состоянии я вернулся домой и предстал перед родными. Мой изможденный вид возбудил сильную тревогу. Но я не отвечал ни на один вопрос и едва был в состоянии говорить. Я сознавал, что надо мной тяготеет проклятие и я не имею права на сочувствие; мне казалось, что я никогда уже не буду наслаждаться общением с близкими. Однако я и теперь любил их самозабвенно. Ради их спасения я решил посвятить себя ненавистной работе, перед перспективой которой все другие стороны жизни отступили, точно сон. Только одна эта мысль и представлялась мне ясно.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Шли день за днем, неделя за неделей после моего возвращения в Женеву, а я все не мог набраться мужества и приступить к работе. Я страшился мести демона, обманутого в своих надеждах, но все еще не мог преодолеть отвращения к навязанному мне делу. Мне стало ясно, что я не могу создать женщину,

не посвятив снова несколько месяцев тщательным исследованиям и изысканиям. Я слышал о некоторых открытиях, сделанных одним английским ученым; сведения о них могли иметь важное значение для успеха моей работы, и я иногда подумывал отпроситься у отца и посетить Англию с этой целью. Но я цеплялся за каждый предлог отложить разговор и уклонялся от первого шага, тем более что срочность дела начала казаться мне все более сомнительной. Во мне произошла перемена: мое здоровье, прежде подорванное, теперь окрепло; соответственно поднималось и мое настроение, когда оно не омрачалось мыслью о злополучном обещании. Отец мой с радостью наблюдал эту перемену и думал об одном: как бы найти наилучший способ развеять без остатка мою печаль, которая иногда возвращалась и затмевала всходившее солнце. В такие минуты я искал полного одиночества. Целые дни я проводил один в маленькой лодке на озере, молчаливый и безучастный, следя за облаками и прислушиваясь к плеску волн. Но свежий воздух и яркое солнце почти всегда восстанавливали в какой-то степени мой душевный покой. По возвращении я отвечал на приветствия близких веселее и не так натянуто.

Однажды после моего возвращения с такой прогулки отец, отозвав меня в сторону, обратился ко мне со следующими словами:

«Я с радостью замечаю, милый сын, что ты вернулся к прежним любимым развлечениям и, как мне кажется, приходишь в себя. И однако, ты все еще несчастен и все еще избегаешь нашего общества. Некоторое время я терялся в догадках о причине этого, но вчера меня осенила одна мысль, и, если она верна, я умоляю тебя открыться мне. Умолчание в таком деле не только бесполезно, но может навлечь на всех нас еще большие несчастья».

От такого вступления я задрожал всем телом, а отец продолжал:

«Сознаюсь, я всегда смотрел на твой брак с нашей милой Элизабет как на довершение нашего семейного благополучия и опору для меня в старости. Вы привязаны друг к другу с раннего детства, вы вместе учились и по своим склонностям и вкусам вполне друг другу подходите. Но людская опытность слепа, и то, что я считал наилучшим путем к счастью, может целиком его разрушить. Быть может, ты относишься к ней как к сестре, не имея ни малейшего желания сделать своей женой. Более того, возможно, ты встретил другую девушку и полюбил ее; считая себя связанным словом чести с Элизабет, ты борешься со своим чувством, и это, по-видимому, причиняет тебе страдания».

«Дорогой отец, успокойтесь. Я люблю свою кузину нежно и искренне. Я никогда не встречал женщины, которая так же, как

Элизабет, возбуждала бы во мне самое горячее восхищение и любовь. Мои надежды на будущее и все мои планы связаны с нашим предстоящим союзом».

«Твои слова, милый Виктор, доставляют мне радость, какую я давно не испытывал. Если таковы твои чувства, то мы, несомненно, будем счастливы, как бы ни печалили нас недавние события. Но именно этот мрак, который окутал твою душу, я хотел бы рассеять. А что, если не откладывать дальше вашей свадьбы? На нас обрушились несчастья; недавние события вывели нас из спокойствия, подобающего мне по моим летам и недугам. Ты моложе; но я не считаю, что при твоем достатке ранний брак может помешать выполнению любых намерений отличиться и послужить людям. Не подумай, однако, что я собираюсь навязывать тебе счастье и что отсрочка вызовет у меня беспокойство. Не ищи в моих словах какой-либо задней мысли и, умоляю тебя, отвечай мне доверчиво и искренне!»

Я молча выслушал отца и в течение некоторого времени не мог произнести ни слова. Множество мыслей пронеслось в моей голове. Я старался прийти к какому-либо решению. Увы! Немедленный союз с моей Элизабет внушал мне ужас и страх. Я был связан торжественным обещанием, которое еще не выполнил и которого не смел нарушить. А если бы я это сделал, какие несчастья нависли бы надо мной и моей обреченной семьей! Мог ли я праздновать свадьбу, когда на шее у меня висел смертельный груз, тянувший меня к земле? Я должен был выполнить свое обязательство и дать возможность чудовищу скрыться вместе с его подругой, прежде чем смог бы насладиться счастьем союза, сулившего мне желанный покой.

Я вспомнил также о настоятельной необходимости либо поехать в Англию, либо завязать длительную переписку с теми из тамошних ученых, познания и открытия которых были крайне необходимы в предстоявшей мне работе. Второй способ получения желаемых сведений мог оказаться медленным и недостаточным. Кроме того, мне претила мысль вершить свой омерзительный труд в доме отца, постоянно общаясь с теми, кого я любил. Я знал, что возможна тысяча несчастных случайностей и самая ничтожная из них может раскрыть тайну и заставит трепетать от ужаса всех, кто со мною связан. Я сознавал также, что часто буду терять самообладание и способность скрывать мучительные чувства, которые непременно посетят меня во время этой ужасной работы. Выполняя ее, мне пришлось бы изолировать себя от всех, кого я любил. Раз начав, я быстро мог ее закончить и вернуться в семью, к мирному счастью. Если я выполню обещание, чудовище удалится навеки. А может быть (так рисовалось моей безрассудной фантазии), тем временем

произойдет какая-либо катастрофа, которая уничтожит его и навсегда положит конец моему рабству.

Этими чувствами был продиктован мой ответ отцу. Я выразил желание посетить Англию; но, скрыв истинные причины этой просьбы, я сослался на обстоятельства, не вызывавшие подозрений, и так настаивал на необходимости поездки, что отец легко согласился. Он с удовольствием обнаружил, что после длительного периода мрачного уныния, почти что безумия, я способен радоваться предстоящей поездке; он надеялся, что перемена обстановки и разнообразные развлечения окончательно приведут меня в себя еще до возвращения домой.

Продолжительность моего отсутствия мне предоставили определить самому; предполагалось, что она составит несколько месяцев или, самое большее, год. Отец проявил нежную заботу, обеспечив меня спутником. Не сообщив мне об этом заранее, он уговорился с Элизабет и устроил так, что Клерваль должен был присоединиться ко мне в Страсбурге. Это мешало уединению, к которому я стремился для выполнения своего обязательства. Однако в начале путешествия присутствие друга ни в коем случае не могло быть помехой, и я искренне обрадовался, что таким образом мне удастся избежать многих часов одиноких раздумий, способных свести с ума. Более того, Анри мог служить преградой между мною и моим врагом. Если я буду один, не станет ли он время от времени навязывать мне свое отвратительное общество, чтобы напоминать о моей задаче или следить за ее выполнением?

Итак, я отправился в Англию, и было решено, что мой брак с Элизабет совершится немедленно по моем возвращении. Учитывая возраст отца, можно понять, с какой неохотой он соглашался на отсрочку. Что касается меня, была лишь одна награда, которую я обещал себе за ненавистный, тяжкий труд, одно утешение в моих беспримерных страданиях — то была надежда дождаться дня, когда, освобожденный от гнусного рабства, я смогу просить руки Элизабет и в союзе с ней забыть прошлое.

Я занялся сборами; но одна мысль преследовала меня и наполняла тревогой и страхом. На время своего отсутствия я оставлял своих близких в неведении о том, что у них есть враг, и беззащитными против его нападения, — а ведь мой отъезд должен был привести его в ярость. Правда, он обещал следовать за мною, куда бы я ни поехал; не будет ли он сопровождать меня и в Англию? Такая мысль казалась страшной, но в то же время утешительной, ибо, случись так, мои близкие были бы в безопасности. Куда больше меня ужасало, что может произойти обратное. Но в течение всего времени, пока я оставался рабом своего создания, я действовал под влиянием момента, и теперь

инстинкт настойчиво подсказывал мне, что демон последует за мной и не совершит зла в отношении моей семьи.

В конце сентября я снова покинул родную страну. Путешествие было предпринято по моему собственному желанию, и поэтому Элизабет не возражала, однако исполнялась тревоги при мысли, что горе опять завладеет мной, а она будет далеко. Благодаря ее заботам я имел спутника в лице Клерваля; и все же мужчина остается слеп к тысяче житейских мелочей, требующих внимания женщины. Ей страстно хотелось просить меня вернуться скорее. Множество противоречивых чувств заставило ее молчать, и мы простились со слезами, но без слов.

Я сел в дорожный экипаж, едва сознавая, куда направляюсь, равнодушный к тому, что происходило вокруг. Я вспомнил только — и с какой горечью! — о своих химических приборах и распорядился, чтобы их упаковали мне в дорогу. Полный самых безотрадных мыслей, я проехал многие прекрасные места; мои глаза, устремленные в одну точку, ничего не замечали. Я мог думать только о цели своего путешествия и о работе, которой предстояло занять все мое время.

После нескольких дней, проведенных в апатичной праздности, в течение которых я проехал много лье, я прибыл в Страсбург, где два дня дожидался Клерваля. Наконец он прибыл. Увы! Какой контраст составляли мы между собой! Он вдохновлялся каждым новым видом, преисполнялся радостью, созерцая красоту заходящего солнца, но еще более радовался его восходу и наступлению нового дня. Он обращал мое внимание на сменявшиеся краски ландшафта и неба. «Вот для чего стоит жить! — восклицал он. — Вот когда я наслаждаюсь жизнью! Но ты, милый Франкенштейн, почему ты так подавлен и печален?» Действительно, голова моя была занята мрачными мыслями, и я не видел ни захода вечерней звезды, ни золотого восхода солнца, отраженного в Рейне. И вы, мой друг, получили бы гораздо большее удовольствие, читая дневник Клерваля, который умел чувствовать природу и восхищаться ею, чем слушая мои размышления. Ведь я — несчастное существо, надо мной тяготеет проклятие, закрывшее для меня все пути к радости.

Мы решили спуститься по Рейну от Страсбурга до Роттердама, а оттуда отправиться в Лондон. Во время этого путешествия мы проплыли мимо множества островов, заросших ивняком, и увидели несколько красивых городов. Мы остановились на день в Мангеймс, а на пятые сутки после отплытия из Страсбурга прибыли в Майнц. Ниже Майнца берега Рейна становятся все более живописными. Течение реки убыстряется, она извивается между невысокими, но крутыми, красиво очерченными холмами. Мы видели многочисленные руины замков, стоящие

на краю высоких и неприступных обрывов, окруженные темным лесом. В этой части Рейна ландшафты необычайно разнообразны. То перед вами крутой холм или разрушенный замок, нависший над пропастью, по дну которой мчатся темные воды Рейна; а то вдруг в излучине реки на мысу возникают цветущие виноградники с зелеными пологими склонами и людные города.

Наше путешествие пришлось на время сбора винограда; скользя по воде, мы слушали песни виноградарей. Даже я, подавленный тоской, обуреваемый мрачным предчувствием, внимал им с удовольствием. Я лежал на дне лодки и, глядя в безоблачное синее небо, словно впитывал в себя покой, который так долго был мне неведом. Если даже мною овладевали такие чувства, кто сможет описать чувства Анри? Он словно очутился в стране чудес и упивался счастьем, какое редко дается человеку. «Я видел, — говорил он, — самые прекрасные пейзажи моей родины, я посетил озера Люцерн и Ури, где снежные горы почти отвесно спускаются к воде, бросая на нее темные, непроницаемые тени, которые придавали бы озеру очень мрачный вид, если бы не веселые зеленые островки, радующие взор; я видел эти озера в бурю, когда ветер вздымал и кружил водяные вихри, так что можно было представить себе настоящий смерч на просторах океана; я видел, как волны яростно бросались к подножию горы, где снежный обвал однажды застиг священника и его наложницу, — говорят, что их предсмертные крики до сих пор слышны в завывании ночного ветра; я видел горы Ла-Вале и Пэ-де-Во. И все же здешний край, Виктор, нравится мне больше, чем все наши чудеса. Швейцарские горы более величественны и необычны; но берега этой божественной реки таят в себе некое очарование и не сравнимы для меня ни с чем, виденным прежде. Взгляни на замок, который повис вон там, над обрывом, или на тот, на острове, почти скрытый в листве деревьев; а вот виноградари, возвращающиеся со своих виноградников; а вот деревня, прячущаяся в складках горы. О, конечно, дух-хранитель этих мест обладает душой, более созвучной человеку, чем духи, громоздящие ледники или обитающие на неприступных горных вершинах нашей родины».

Клерваль! Любимый друг! Я и сейчас с восторгом повторяю твои слова и возношу тебе хвалу, которую ты так заслужил. Это был человек, словно созданный «самой поэзией природы». Его бурная, восторженная фантазия сдерживалась чувствительностью сердца. Он был способен горячо любить; в дружбе он проявлял ту преданность, которая, если верить житейской мудрости, существует лишь в нашем воображении. Но человеческие привязанности не могли всецело заполнить его пылкую душу. Природу, которой другие только любуются, он любил страстно.

...Грохот водопада
Был музыкой ему. Крутой утес,
Вершины гор, густой и темный лес,
Их контуры и краски вызывали
В нем истинную, пылкую любовь.
Он не нуждался в доводах рассудка,
Чтоб их любить. Что радовало взор,
То трогало и душу...[1]

Где же он теперь? Неужели этот прекрасный, благородный человек исчез без следа? Неужели этот высокий ум, это богатство мыслей, это причудливое и неистощимое воображение, творившее целые миры, которые зависели от жизни своего создателя, — неужели все это погибло? Неужели он теперь живет лишь в моей памяти? Нет, это не так! Тело, столь совершенное и сиявшее красотой, стало прахом; но дух твой еще является утешать несчастного друга.

Простите мне эти скорбные излияния. Мои слова — всего лишь слабая дань беспримерным достоинствам Анри, но они успокаивают сердце, утоляют боль, которую вызывает память о друге. Теперь я продолжу свой рассказ.

За Кёльном мы спустились на равнины Голландии. Остаток пути мы решили проделать по суше, так как ветер был встречным, а течение слишком слабым, чтобы помочь нам.

В этом месте наше путешествие стало менее интересным с точки зрения красот природы, но уже через несколько дней мы прибыли в Роттердам, откуда продолжали путь морем в Англию. В одно ясное утро, в конце декабря, я впервые увидел белые скалы Британии. Берега Темзы, плоские, но плодородные, представляли совершенно новый для нас пейзаж; почти каждый город был отмечен каким-либо преданием. Мы увидели форт Тильбюри и вспомнили Испанскую Армаду; потом Грейвсенд, Вулвич и Гринвич — места, о которых я слышал еще на родине.

Наконец нашим взорам открылись бесчисленные шпили Лондона, возвышающийся над всем купол Св. Павла и знаменитый в английской истории Тауэр.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Нашим пунктом назначения был Лондон: мы решили провести в этом удивительном и прославленном городе несколько месяцев. Клерваль хотел познакомиться со знаменитостями того

[1] Уильям Вордсворт «Тинтернское аббатство».

времени, но для меня это было второстепенным. Я был больше всего озабочен получением сведений, необходимых для выполнения моего обещания, и поспешил пустить в ход захваченные с собой рекомендательные письма, адресованные самым выдающимся естествоиспытателям.

Если бы это путешествие было предпринято в счастливые дни моего учения, оно доставило бы мне невыразимую радость. Но на мне лежало проклятие, и я посещал этих людей, только чтобы получить сведения о предмете, имевшем для меня роковой интерес. Общество меня тяготило; оставшись один, я мог занять свое внимание картинами природы; голос Анри успокаивал меня, и я обманывал себя краткой иллюзией покоя. Но чужие лица, озабоченные, равнодушные или довольные, снова вызывали во мне отчаяние. Я чувствовал, что между мною и другими людьми воздвигается непреодолимый барьер. Эта стена была скреплена кровью Уильяма и Жюстины; воспоминания о событиях, связанных с их именами, были мне тяжкой мукой.

В Клервале я видел отражение своего прежнего *я*. Он был любознателен и нетерпеливо жаждал опыта и знаний. Различия в нравах, которые он наблюдал, являлись для него неисчерпаемым источником познания и удовольствия. Кроме того, он преследовал цель, которую давно себе наметил: Клерваль решил посетить Индию, уверенный, что со своим знанием ее различных языков и ее жизни сможет немало способствовать прогрессу европейской колонизации и торговли. Только в Англии он мог ускорить выполнение своего плана. Он был постоянно занят; единственное, что его огорчало, были моя грусть и подавленность. Я старался, насколько возможно, скрывать их, чтобы не лишать его удовольствий, столь естественных для человека, вступающего на новое жизненное поприще и не отягощенного заботами или горькими воспоминаниями. Часто я отказывался сопровождать его, ссылаясь на то, что приглашен в другое место, или изыскивая еще какой-нибудь предлог, чтобы остаться одному. В это время я начал собирать материалы, необходимые для того, чтобы произвести на свет мое новое создание; этот процесс был для меня мучителен, подобно той пытке водою, когда капля за каплей равномерно падает на голову. Каждая мысль, посвященная моей задаче, причиняла невыносимые страдания; каждое произносимое мною слово, пускай даже косвенно с нею связанное, заставляло мои губы дрожать, а сердце — учащенно биться.

Через несколько месяцев по прибытии в Лондон мы получили письмо из Шотландии от одного человека, который бывал прежде нашим гостем в Женеве. Он описывал свою страну и убеждал нас, что, хотя бы ради ее красот, необходимо продол-

жать наше путешествие на север, до Перта, где он проживал. Клервалю очень хотелось принять это приглашение, да и я, хотя и сторонился людей, не прочь был снова увидеть горы, потоки и все удивительные творения, которыми природа украсила свои излюбленные места.

Мы прибыли в Англию в начале октября, а теперь уже был февраль. Поэтому мы решили предпринять путешествие на север на исходе следующего месяца. В этой поездке мы, вместо того чтобы следовать по главной дороге прямо до Эдинбурга, решили заехать в Виндзор, Оксфорд, Матлок и на Камберлендские озера, рассчитывая прибыть к цели путешествия в конце июля. Я упаковал химические приборы и собранные материалы, решив закончить свою работу в каком-нибудь уединенном местечке на северных плоскогорьях Шотландии.

Мы покинули Лондон 27 марта и пробыли несколько дней в Виндзоре, бродя по его прекрасному лесу. Для нас, горных жителей, природа этих мест казалась такой непривычной: могучие дубы, обилие дичи и стада величавых оленей — все было в новинку.

Оттуда мы проследовали в Оксфорд. При въезде в этот город нас охватили воспоминания о событиях, происшедших там более полутора столетий тому назад. Здесь Карл I собрал свои силы. Этот город оставался ему верным, когда вся страна отступилась от него и стала под знамена парламента и свободы. Память о несчастном короле и его сподвижниках, о добродушном Фолкленде, дерзком Горинге, о королеве и ее сыне придавала особый интерес каждой части города, где они, может быть, жили. Здесь витал дух старины, и мы с наслаждением отыскивали ее следы. Но если бы воображение, вдохновляемое этими чувствами, и не нашло здесь для себя достаточной пищи, то сам по себе город был настолько красив, что вызывал в нас восхищение. Здания колледжей дышат стариной и очень живописны; улицы великолепны, а прекрасная Айзис, текущая близ города по восхитительным зеленым лугам, широко и спокойно разливает свои воды, в которых отражается величественный ансамбль башен, шпили и купола, окруженные вековыми деревьями.

Я наслаждался этой картиной, и все же радость моя омрачалась воспоминанием о прошлом и мыслями о будущем. Я был создан для мирного счастья. В юношеские годы я не знал недовольства. И если когда-либо меня одолевала тоска, то созерцание красот природы или изучение прекрасных и возвышенных творений человека всегда находило отклик в моем сердце и подымало мой дух. Теперь же я был подобен дереву, сраженному молнией; она пронзила мою душу насквозь, и я уже чувствовал, что мне предстоит остаться лишь подобием человека

и являть собою жалкое зрелище распада, вызывающее сострадание у других и невыносимое для меня самого.

Мы провели довольно долгое время в Оксфорде, блуждая по его окрестностям и стараясь опознать каждый уголок, который мог быть связан с интереснейшим периодом английской истории. Наши маленькие экскурсии часто затягивались из-за все новых достопримечательностей, неожиданно открываемых нами. Мы посетили могилу славного Хемпдена и поле боя, на котором пал этот патриот. На какой-то миг моя душа вырвалась из тисков унизительного и жалкого страха, чтобы осмыслить высокие идеи свободы и самопожертвования, увековеченные в этих местах. На какой-то миг я отважился сбросить свои цепи и оглядеться вокруг свободно и гордо. Но железо цепей уже разъело мою душу, и я снова, дрожа и отчаиваясь, погрузился в свои переживания.

С сожалением покинули мы Оксфорд и направились в Матлок, к нашему следующему привалу. Местность вокруг этого селения напоминает швейцарские пейзажи, но здесь все в меньшем масштабе; зеленым холмам недостает венца далеких снежных Альп, всегда украшающего лесистые горы моей родины. Мы посетили удивительную пещеру и миниатюрные музеи естественной истории, где редкости расположены таким же образом, как и в собраниях Серво и Шамуни. Последнее название вызвало у меня дрожь, когда Анри произнес его вслух, и я поспешил покинуть Матлок, с которым связывалось для меня ужасное воспоминание.

Из Дерби мы продолжили путь далее на север и провели два месяца в Камберленде и Уэстморленде. Теперь я почти мог вообразить себя в горах Швейцарии. Небольшие участки снега, задержавшегося на северных склонах гор, озера, бурное течение горных речек — все это было мне привычно и дорого сердцу. Здесь мы также завели некоторые знакомства, которые почти вернули мне способность быть счастливым; Клерваль воспринимал все с гораздо большим восхищением, чем я. Он блистал в обществе талантливых людей и обнаружил в себе больше способностей и возможностей, чем когда вращался среди тех, кто стоял ниже его. «Я мог бы провести здесь всю жизнь, — говорил он мне. — Среди этих гор я вряд ли сожалел бы о Швейцарии и Рейне».

Однако он находил, что в жизни путешественника наряду с удовольствиями существует много невзгод. Ведь он постоянно находится в напряжении и едва начинает отдыхать, как вынужден покидать ставшие приятными места в поисках чего-то нового, что снова занимает его внимание, а затем, в свою очередь, отказываться и от этого ради других новинок.

Мы едва успели посетить разнообразные озера Камберленда и Уэстморленда и сдружиться с некоторыми из обитателей этих мест, когда приблизился срок нашей встречи с шотландским другом; мы покинули своих новых знакомых и продолжили путешествие. Что касается меня, то я этим не огорчился. Я некоторое время пренебрегал своим обещанием и теперь опасался гнева обманутого демона. Возможно, он остался в Швейцарии, чтобы обрушить месть на моих близких. Эта мысль преследовала и мучила меня даже в те часы, которые могли дать мне отдых и покой. Я ожидал писем с лихорадочным нетерпением: когда они запаздывали, я чувствовал себя несчастным и терзался бесконечными страхами, а когда прибывали и я видел адрес, написанный рукой Элизабет или отца, то едва осмеливался прочесть их и узнать свою судьбу. Иногда мне казалось, что демон следует за мной и может отомстить за медлительность убийством моего спутника. Когда мною овладевали эти мысли, я ни на минуту не оставлял Анри и следовал за ним словно тень, стремясь защитить друга от воображаемой ярости его губителя. Я словно совершил тяжкое преступление, думы о котором преследовали меня. Я не был преступником, но навлек на свою голову страшное проклятье, точно и вправду совершил преступление.

Я прибыл в Эдинбург в состоянии полной апатии; а ведь этот город мог бы заинтересовать и самое несчастное существо. Клервалю он понравился меньше, чем Оксфорд: тот привлекал его своей древностью. Однако красота и правильная планировка нового Эдинбурга, его романтический замок и окрестности, самые восхитительные в мире — Артурово Кресло, источник Св. Бернарда и Пентландская возвышенность, — привели Анри в восторг и исправили первое впечатление. Я же нетерпеливо ждал конца путешествия.

Через неделю мы покинули Эдинбург, проследовав через Кьюпар, Сент-Эндрюс и вдоль берегов Тей до Перта, где нас ожидал знакомый. Но я не был расположен шутить и беседовать с посторонними или разделять с ними их чувства и планы с любезностью, подобающей гостю. Поэтому я объявил Клервалю о своем желании одному совершить поездку по Шотландии. «Развлекайся сам, — сказал я ему, — а здесь будет место нашей встречи. Я могу отсутствовать один-два месяца, но умоляю тебя не мешать моим передвижениям; оставь меня на некоторое время в покое и одиночестве, а когда я вернусь, то надеюсь быть веселее и более под стать тебе».

Анри пытался было отговорить меня, но, убедившись в моей решимости, перестал настаивать. Он умолял меня чаще писать. «Я охотнее последовал бы за тобой в твоих странствиях, — ска-

зал он, — чем ехать к этим шотландцам, которых я не знаю; постарайся вернуться поскорее, дорогой друг, чтоб я снова мог чувствовать себя как дома, а это невозможно в твое отсутствие».

Расставшись с Анри, я решил найти какое-нибудь уединенное место в Шотландии и там в одиночестве завершить свой труд. Я не сомневался, что чудовище следует за мной по пятам и, как только я закончу работу, явится, чтобы получить свою подругу.

Придя к такому решению, я пересек северное плоскогорье и выбрал для работы один из дальних Оркнейских островов. Это было подходящее место для подобного дела — высокий утес, о который постоянно бьют волны. Почва там бесплодна и родит только траву для нескольких жалких коров да овес для жителей, которых насчитывается всего пять; изможденные, тощие тела наглядно говорят об их жизни. Овощи и хлеб, когда они позволяют себе подобную роскошь, и даже свежую воду приходится доставлять с большого острова, лежащего на удалении пяти миль.

На всем острове было лишь три жалких хижины; одна из них пустовала, когда я прибыл. Эту хижину я и снял. В ней было всего две комнаты, и она являла чрезвычайно убогий вид. Соломенная крыша провалилась, стены были не оштукатурены, а дверь сорвана с петель. Я распорядился починить хижину, купил кое-какую обстановку и вступил во владение; эти обстоятельства должны были, безусловно, удивить здешних обитателей, если бы все их мысли не были притуплены жалкой бедностью. Как бы то ни было, я жил, не опасаясь любопытных взглядов и помех и едва получая благодарность за пищу и одежду, которые раздавал, — до такой степени лишения заглушают в людях простейшие чувства.

В этом убежище я посвящал утренние часы работе; в вечернее же время, когда позволяла погода, я совершал прогулки по каменистому берегу моря, прислушиваясь к реву волн, разбивавшихся у моих ног. Картина была однообразна, но вместе с тем изменчива. Я думал о Швейцарии: как непохожа она на этот неприветливый, угрюмый ландшафт! Ее возвышенности покрыты виноградниками, а в долинах разбросаны дома. Ее дивные озера отражают голубое, кроткое небо, а когда ветер вздымает на них волны, это всего лишь веселая ребячья игра по сравнению с ревом гигантского океана.

Так я распределил часы своих занятий в первое время. Но работа становилась для меня с каждым днем все более страшной и тягостной. Иногда я в течение нескольких дней не мог заставить себя войти в лабораторию; а бывало, что работал днем и ночью, стремясь закончить все поскорее. И действительно, за-

нигие было отвратительное. Во время первого эксперимента меня ослепляло некое восторженное безумие, не дававшее мне почувствовать весь ужас моих поисков; ум был целиком устремлен на завершение работы, и я закрывал глаза на ее ужасные подробности. Но теперь я шел на все это хладнокровно и нередко чувствовал глубочайшее отвращение.

За этим омерзительным делом, в полном одиночестве, когда ничто ни на миг не отвлекало меня от поставленной задачи, мое настроение стало неровным: я сделался беспокойным и нервным. Я ежеминутно боялся встретиться со своим преследователем. Иногда я сидел, устремив взгляд в землю, боясь поднять его и увидеть того, кого так страшился увидеть. Я боялся удаляться от людей, чтобы он не застал меня одного и не потребовал свою подругу.

Тем временем я продолжал работу, и она уже значительно продвинулась. Я ожидал ее окончания с трепетной и нетерпеливой надеждой, которую не осмеливался выразить самому себе, но которая смешивалась с мрачными предчувствиями беды, заставлявшими замирать мое сердце.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Однажды вечером я сидел в своей лаборатории; солнце зашло, а луна еще только поднималась над морем. Света было недостаточно для занятий, и я сидел праздно, размышляя, оставить ли все до утра или спешить с окончанием и работать не отрываясь. И тут меня охватили мысли о возможных последствиях моего предприятия. За три года до того я был занят тем же делом и создал дьявола, чьи беспримерные злодеяния истерзали мне душу и наполнили ее навеки горьким раскаянием. А теперь я создаю другое существо, о склонностях которого так же, как и тогда, ничего не знаю; оно может оказаться в тысячу раз злее своего друга и находить удовольствие в убийствах и жестокости. Он поклялся покинуть населенные места и укрыться в пустыне; но она такой клятвы не давала; она будет, по всей вероятности, существом мыслящим и разумным и может отказаться выполнять уговор, заключенный до ее создания. Возможно, что они возненавидят друг друга. Уже созданное мною существо ненавидит собственное уродство; не почувствует ли оно еще большее отвращение, когда такое же безобразие предстанет ему в образе женщины? Да и она, возможно, отвернется от него с омерзением, увидев красоту человека. Она может покинуть его, и он снова окажется одиноким и еще бо-

лее разъяренным новой обидой, на этот раз со стороны подобного себе существа.

Даже если они покинут Европу и поселятся в пустынях Нового Света, одним из первых результатов привязанности, которой жаждет демон, будут дети, и на земле расплодится целая раса демонов, которая может создать опасность для самого существования человеческого рода. Имею ли я право, ради собственных интересов, обрушить это проклятие на бесчисленные поколения людей? Я был прежде тронут софизмами созданного мною существа, я был обескуражен его дьявольскими угрозами, но теперь мне впервые предстала безнравственность моего обещания. Я содрогнулся при мысли, что будущие поколения будут клясть меня как их губителя, как себялюбца, который не поколебался купить собственное благополучие, быть может, ценой гибели всего человеческого рода.

Я задрожал, охваченный смертельной тоской. И тут, подняв глаза, я увидел при свете луны демона, заглядывавшего в окно. Отвратительная усмешка скривила его губы, когда он обнаружил меня за выполнением порученной им работы. Да, он следовал за мной в моем путешествии; он бродил в лесах, прятался в пещерах или в пустынных степях; а теперь явился посмотреть, как подвигается дело, и потребовать выполнения моего обещания.

Сейчас выражение его лица выдавало крайнюю степень злобы и коварства. Я с ужасом подумал о своем обещании создать другое подобное ему существо и, дрожа от гнева, разорвал на куски предмет, над которым трудился. Негодяй увидел, как я уничтожаю творение, с которым он связывал свои надежды на счастье, и с воплем безумного отчаяния и злобы исчез.

Я вышел из комнаты и, заперев дверь, дал себе торжественную клятву никогда не возобновлять сего труда; неверными шагами я побрел в свою спальню. Я был один; рядом не было никого, чтобы рассеять мрак и освободить меня от тяжкого гнета ужасных дум.

Прошло несколько часов, а я все сидел у окна, глядя на море; оно было почти спокойно, ибо ветер стих, и вся природа спала под взглядом тихой луны. По воде плыло несколько рыбацких судов, и время от времени легкий ветер приносил звуки голосов — это перекликались рыбаки. Я чувствовал тишину, хотя едва ли сознавал, как безмерно она глубока, но вдруг до моих ушей донесся плеск весел по воде неподалеку от берега, и кто-то причалил у моего дома.

Через несколько минут я услышал скрип двери, будто ее пытались тихонько открыть. Я задрожал всем телом. Предчувствие подсказало мне, кто это мог быть; у меня возникло жела-

ние позвать кого-либо из крестьян, живших в хижине недалеко от меня. Но я был подавлен той беспомощностью, которую так часто ощущаешь в страшных снах, когда напрасно пытаешься убежать от грозящей опасности; какая-то сила пригвоздила меня к месту.

Тотчас же я услышал шаги в коридоре; дверь отворилась, и демон, которого я так боялся, появился на пороге. Закрыв дверь, он приблизился ко мне и сказал, задыхаясь:

«Ты уничтожил начатую работу; что это значит? Неужели ты осмеливаешься нарушить свое обещание? Я испытал много лишений; я покинул Швейцарию вместе с тобой; я пробирался вдоль берегов Рейна, через заросшие ивняком острова и вершины гор. Я провел многие месяцы на голых равнинах Англии и Шотландии. Я терпел холод, голод и усталость — и ты отважишься обмануть мои надежды?»

«*Убирайся прочь! Да, я отказываюсь от своего обещания*; никогда я не создам другое существо, подобное тебе, такое же безобразное и жестокое».

«Раб, до сих пор я пытался убедить тебя, но ты показал себя недостойным такой снисходительности. Помни, что я силен. Ты уже считаешь себя несчастным, но я могу сделать тебя таким жалким и разбитым, что ты возненавидишь дневной свет. Ты мой создатель, но я твой господин. Покорись!»

«Час моих колебаний прошел, и наступил конец твоей власти. Никакие угрозы не заставят меня совершить злое дело; наоборот, они укрепляют мою решимость не создавать для тебя сообщницы в злодеяниях. Неужели я хладнокровно выпущу на свет демона, находящего удовольствие в убийстве и жестокости? Ступай прочь! Решение мое непоколебимо, и твои слова только усиливают мою ярость».

Чудовище прочло на моем лице решимость и заскрежетало зубами в бессильной злобе.

«Каждый мужчина, — воскликнул он, — находит себе жену, каждый зверь имеет самку, а я должен быть одинок! Мне присущи чувства *привязанности*, а в ответ я встретил отвращение и презрение. Человек! Ты можешь меня ненавидеть, но берегись! Твои дни будут полны страха и горя, и скоро обрушится удар, который унесет твое счастье навеки. Неужели ты надеешься быть счастливым, когда я безмерно несчастен? Ты можешь убить другие мои страсти, но остается месть, которая впредь будет мне дороже света и пищи. Я могу погибнуть, но сперва ты, мой тиран и мучитель, проклянешь солнце — свидетеля твоих страданий. Остерегайся, ибо я бесстрашен и поэтому всесилен. Я буду подкарауливать тебя с хитростью змеи, чтобы смертельно ужалить. Смотри, ты раскаешься в причиненном мне зле».

«Довольно, дьявол, не отравляй воздух злобными речами. Я объявил тебе свое решение, и я не трус, чтобы испугаться угроз. Оставь меня, я непреклонен».

«Ладно, я ухожу; но запомни: *я буду с тобой в твою брачную ночь*».

Я подался вперед и воскликнул:

«Негодяй! Раньше чем выносить мне смертный приговор, убедись, находишься ли ты сам в безопасности».

Я попытался схватить его, но он ускользнул от меня и стремительно выбежал из дома. Через несколько мгновений я увидел его в лодке, рассекавшей воду с быстротой стрелы; вскоре она затерялась среди волн.

Снова наступила тишина, но его слова звенели у меня в ушах. Я кипел яростным желанием броситься за губителем моего покоя и низвергнуть его в океан. Я быстро и встревоженно шагал взад и вперед по комнате, и в моем воображении возникали тысячи страшных картин. Зачем я не погнался ему вслед и не схватился с ним насмерть? Я дал ему уйти, и он отправился на материк. Я дрожал при мысли о том, кто может стать очередной жертвой его ненасытной мести. Тут я вспомнил его слова: *«Я буду с тобой в твою брачную ночь»*. Итак, этот час назначен для свершения моей судьбы. В этот час я умру и сразу же удовлетворю и погашу его злобу. Эта перспектива не вызвала во мне страха; но когда я подумал о любимой Элизабет, представил себе ее беспредельное горе, если ее возлюбленный будет злодейски вырван из ее объятий, то впервые за многие месяцы из глаз моих брызнули слезы; и я решил не сдаваться врагу без жестокой борьбы.

Прошла ночь, и солнце поднялось из океана; я немного успокоился, если можно назвать спокойствием состояние, когда неистовая ярость переходит в глубокое отчаяние. Я покинул дом, где прошедшей ночью разыгралась страшная сцена, и направился к берегу моря, которое казалось почти непреодолимой преградой между мной и людьми; мне даже захотелось, чтобы так и было. Мне захотелось провести свою жизнь на этой голой скале, правда жизнь трудную, но защищенную от внезапных бедствий. Если я уеду отсюда, придется умереть самому или увидеть, как те, кого я любил больше всего на свете, гибнут в железных тисках созданного мною дьявола.

Я бродил по острову, точно беспокойный призрак, разлученный со всеми, кого любил, и несчастный в этой разлуке. Когда наступил полдень и солнце поднялось выше, я лег в траву и меня одолел глубокий сон. Всю предшествующую ночь я бодрствовал, нервы мои были возбуждены, а глаза воспалены ночным бдением и тоской. Сон, овладевший теперь мною, осве-

жил меня; когда я проснулся, то снова почувствовал, что принадлежу к человеческому роду, состоящему из подобных мне существ, и начал размышлять о случившемся с большим спокойствием. Однако слова дьявола еще отдавались в моих ушах, словно похоронный звон; они казались сновидением, но отчетливым и гнетущим, как явь.

Солнце заметно опустилось, а я все еще сидел на берегу, утоляя мучивший меня голод овсяной лепешкой. Тут я увидел, что близко от меня причалила рыбачья лодка; один из людей принес мне пакет. В нем были письма из Женевы, а вместе с ними и письмо от Клерваля, умолявшего меня присоединиться к нему. Он писал, что там, где он находится, он проводит время впустую; друзья, которых он приобрел в Лондоне, в своих письмах просят его вернуться, чтобы закончить переговоры, начатые ими по поводу его путешествия в Индию. Он не может больше откладывать свой отъезд, а так как вслед за поездкой в Лондон должно состояться, и даже скорее, чем он предполагал, более длительное путешествие, то он умоляет меня побыть с ним возможно больше времени. Он настойчиво просил меня покинуть мой уединенный остров и встретиться с ним в Перте, чтобы затем вместе ехать на юг. Это письмо отчасти заставило меня очнуться, и я решил покинуть остров через два дня.

Однако до отъезда необходимо было выполнить одно дело, о котором я боялся и подумать: надо было упаковать химические приборы, а для этой цели предстояло войти в комнату, где я занимался ненавистным делом, и взять в руки инструменты, один вид которых вызывал во мне отвращение. На следующий день на рассвете я призвал на помощь все свое мужество и отпер дверь лаборатории. Остатки наполовину законченного создания, растерзанного мною на куски, валялись на полу; у меня было почти такое чувство, словно я расчленил на части живое человеческое тело. Я выждал, чтобы собраться с силами, а затем вошел в комнату. Дрожащими руками я вынес оттуда приборы и тут же подумал, что не должен оставлять следов своей работы, которые могут возбудить ужас и подозрения крестьян. Поэтому я уложил остатки в корзину вместе с большим количеством камней и решил выбросить их в море той же ночью. Пока же я сел на берегу и занялся чисткой и приведением в порядок своих химических приборов.

Ничто не могло быть резче перемены, происшедшей во мне с той ночи, когда передо мной появился демон. Раньше я относился к своему обещанию с мрачным отчаянием, как к чему-то такому, что, невзирая на возможные последствия, должно быть выполнено; теперь же с моих глаз словно спала пелена и я впервые стал ясно видеть. Ни на миг не приходило мне в голову

возобновить свою работу; угрозы, которые я выслушал, угнетали меня, но я не допускал мысли сознательно пойти на то, чтобы отвратить удар. Я решил, что создание второго существа, подобного дьяволу, сотворенному мною в первый раз, будет актом самого подлого и жестокого эгоизма, и гнал прочь всякую мысль, которая могла бы привести к иным выводам.

Между двумя и тремя часами утра взошла луна; тогда я, взяв корзину на борт небольшого ялика, отплыл почти за четыре мили от берега. Все было безлюдно; несколько лодок возвращалось, но я поплыл дальше. Мне казалось, что я совершаю страшное преступление, и я с ужасом избегал встречи с людьми. Ясную луну вдруг закрыло густое облако, и, воспользовавшись темнотой, я выбросил корзину в море, прислушался к бульканью, с которым она погружалась, а затем отплыл от этого места. На небе появились облака, но воздух был чист, хотя и прохладен от поднявшегося северо-восточного ветра. Он освежил меня и наполнил такими приятными чувствами, что мне захотелось остаться на некоторое время в море. Установив руль в прямом положении, я растянулся на дне лодки. Луна спряталась за облака, все покрылось мраком. Слышался лишь плеск воды под килем, резавшим волны; это журчание убаюкивало, и вскоре я крепко заснул.

Не знаю, как долго я спал, но, когда проснулся, оказалось, что солнце стоит уже довольно высоко. Ветер крепчал, а волны непрерывно угрожали безопасности моей крохотной лодки. Дул северо-восточный ветер, который отнес меня далеко от берега, где я сел в лодку. Я попытался изменить курс, но тотчас же убедился, что, если повторю свою попытку, лодка мгновенно наполнится водой. При таких обстоятельствах единственный выход состоял в том, чтобы идти по ветру. Признаюсь, меня охватил страх. У меня не было с собой компаса, а мои познания в географии этой части света оставались настолько скудны, что положение солнца мало могло мне подсказать. Вынесенный в открытый океан, я пережил бы все мучения голодной смерти или был бы поглощен бездонными водами, которые ревели и бились вокруг. Я уже провел в море много часов и чувствовал мучительную жажду — предвестие других моих страданий. Я взглянул на небо, где облака, гонимые ветром, непрестанно сменялись другими облаками. Я взглянул на море; оно должно было стать моей могилой. «Дьявол! — воскликнул я. — Твоя угроза уже приведена в исполнение!» Я подумал об Элизабет, о моем отце и Клервале; всех их я оставлял, и чудовище могло обратить на них свою кровавую жестокость. От этой мысли я погрузился в такое отчаяние и ужас, что даже теперь, когда все живое скоро навеки исчезнет для меня, я весь дрожу при одном этом воспоминании.

Так протекло несколько часов, но, по мере того как солнце склонялось к горизонту, ветер стихал, переходя в легкий бриз, и буруны на море постепенно исчезли. Зато началась мертвая зыбь; я чувствовал тошноту и едва был в состоянии удерживать руль, когда вдруг увидел на юге высокую линию берега.

Хотя я был истощен усталостью и томительной неизвестностью, которую испытывал в течение нескольких часов, эта неожиданная уверенность в спасении подступила теплой волной радости к самому сердцу, и слезы хлынули из моих глаз.

Как переменчивы наши чувства и как удивительна цепкая любовь к жизни даже в минуты тягчайшего горя! Я соорудил второй парус, использовав часть своей одежды, и стал править к берегу. Он был дикий и скалистый, но, очутившись ближе, я сразу заметил, что он обитаем. Я увидел около берега суда и почувствовал, что вернулся в лоно цивилизации. Я пристально всматривался в береговую линию и с радостью увидел шпиль, который наконец показался из-за небольшого мыса. Так как я был крайне слаб, я решил плыть прямо к городу, где легче было достать пищу. К счастью, у меня оказались с собой деньги. Обогнув мыс, я увидел небольшой чистый городок и хорошую гавань, в которую вошел с бьющимся сердцем, радуясь нежданному спасению.

Пока я привязывал лодку и убирал паруса, вокруг меня собралось несколько человек. Они, казалось, были удивлены моим появлением, но, вместо того чтобы предложить мне помощь, шептались между собой, сопровождая это жестикуляцией, которая в любое другое время могла бы вызвать у меня некоторую тревогу. Как бы то ни было, я услышал, что они говорят по-английски, и поэтому обратился к ним на том же языке.

«Добрые друзья, — сказал я, — не откажитесь сообщить мне название этого города и объяснить, где я нахожусь».

«Скоро узнаешь, — ответил один из них хриплым голосом. — Возможно, наши места придутся тебе не совсем по вкусу, но об этом тебя никто не станет спрашивать — уж будь уверен».

Я был крайне удивлен, получив такой грубый ответ от незнакомца; меня смутили также хмурые, злые лица его спутников.

«Почему вы так грубо отвечаете? — спросил я. — Это непохоже на англичан — так негостеприимно встречать чужестранцев».

«Не знаю, — ответил он, — что принято у англичан, но у ирландцев преступников не жалуют».

Пока происходил этот странный диалог, я заметил, что толпа быстро увеличивается. Лица людей выражали одновременно любопытство и гнев, что рассердило и несколько встревожило

меня. Я спросил дорогу в гостиницу, но никто мне не ответил. Тогда я пошел вперед; толпа двинулась следом и окружила меня с глухим ропотом. Какой-то человек гнусного вида приблизился ко мне и, хлопнув по плечу, сказал:

«Пойдемте, сэр, следуйте за мной к мистеру Кирвину — там во всем отчитаетесь».

«Кто такой мистер Кирвин? В чем я должен отчитываться? Разве здесь не свободная страна?»

«Да, сэр, достаточно свободная для честных людей. Мистер Кирвин — судья. А отчитаться надо потому, что какой-то джентльмен найден здесь убитым прошлой ночью».

Эти слова сильно поразили меня, но вскоре я успокоился. Я был невиновен; это легко можно было доказать. Поэтому я безмолвно последовал за своим провожатым, который привел меня в один из лучших домов города. Я едва держался на ногах от усталости и голода, но, окруженный толпой, посчитал разумным крепиться, чтобы мою физическую слабость не истолковали как страх или сознание вины. Я не подозревал, что случилась беда, которая через несколько мгновений сокрушит меня и погрузит в такое отчаяние, что перед ним отступят и боязнь позора, и страх смерти.

На этом я вынужден остановиться, ибо должен призвать на помощь всю силу духа, чтобы вспомнить подробности страшных событий, о которых собираюсь рассказать.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Вскоре меня привели к судье — старому, добродушному на вид человеку со спокойными и мягкими манерами. Он посмотрел на меня, однако, довольно сурово; затем, повернувшись к моим конвоирам, спросил, кто может быть свидетелем по этому делу.

Человек шесть выступили вперед; судья выбрал из них одного, который показал, что предыдущей ночью он отправился на рыбную ловлю вместе с сыном и зятем, Дэниелом Ньюджентом; около десяти часов поднялся сильный северный ветер, и они решили вернуться в гавань. Ночь была очень темная, луна еще не взошла. Они причалили не в гавани, а, по обыкновению, в бухте, мили на две ниже. Сам он шел первым, неся часть рыболовных снастей, а его спутники следовали за ним на некотором расстоянии. Ступая по песку, он споткнулся о какой-то предмет и упал. Спутники его подошли, чтобы помочь ему; при свете их фонаря они обнаружили, что он упал на человс-

ческое тело, по видимости мертвое. Вначале они предположили, что это утопленник, выброшенный на берег, однако, осмотрев его, установили, что одежда была сухой, а тело еще не успело остыть. Они немедленно отнесли его в домик одной старой женщины, жившей неподалеку, и попытались, к сожалению тщетно, вернуть к жизни. Это был красивый молодой человек лет двадцати пяти. Очевидно, он был задушен, так как на трупе не было никаких следов насилия, кроме темных отпечатков пальцев на шее.

Первая часть этих показаний не вызвала во мне ни малейшего интереса, но, когда свидетель упомянул о следах пальцев, я вспомнил убийство своего брата и пришел в крайнее волнение; по телу моему прошла дрожь, а глаза застлал туман; это вынудило меня опереться о кресло. Судья наблюдал за мной острым взглядом, и мое поведение, несомненно, произвело на него неблагоприятное действие.

Сын подтвердил показания отца; а когда был допрошен Дэниел Ньюджент, он положительно поклялся, что незадолго перед падением их спутника заметил недалеко от берега лодку, а в ней человека; насколько он мог судить при свете звезд, это была та самая лодка, на которой я только что прибыл.

Одна из женщин показала, что живет вблизи берега и примерно за час до того, как услышала об обнаружении трупа, стояла у дверей своего дома, ожидая возвращения рыбаков, и тут заметила лодку, а в ней человека, который отчаливал от того места на берегу, где впоследствии был найден труп.

Другая женщина подтвердила рассказ рыбаков, принесших тело в ее дом; тело было еще теплым. Они положили его на кровать и стали растирать, а Дэниел отправился в город за лекарем; но жизнь в теле уже угасла.

Еще несколько человек были опрошены об обстоятельствах моего прибытия; они сходились на том, что при сильном северном ветре, поднявшемся прошедшей ночью, я мог бороться со стихией в течение многих часов и был вынужден возвратиться к тому же месту, откуда отчалил. Кроме того, они считали, что я, по-видимому, принес тело из другого места и, поскольку берег мне незнаком, мог войти в гавань, не имея представления о расстоянии от города до места, где оставил труп.

Выслушав эти показания, мистер Кирвин пожелал, чтобы меня привели в комнату, где лежало тело, приготовленное для погребения; судье хотелось видеть, какое впечатление произведет на меня вид убитого. Эту мысль, вероятно, подсказало ему мое чрезвычайное волнение при описании способа, каким было совершено убийство. Итак, судья и еще несколько лиц повели меня в комнату, где лежал покойник. Меня невольно поразили

странные совпадения, происшедшие в эту беспокойную ночь, однако, зная, что несколько человек видели меня на острове, где я проживал, примерно в тот час, когда был найден труп, я был совершенно спокоен насчет исхода дела.

Я вошел в комнату, где лежал убитый, и меня подвели к гробу. Какими словами описать мои чувства при виде трупа? Даже сейчас у меня пересыхают губы от ужаса, и я не могу вспоминать тот страшный миг без содрогания. Допрос, присутствие судьи и свидетелей — все это исчезло как сон, когда передо мной предстало безжизненное тело Анри Клерваля. Я задыхался; упав на тело, я вскричал: «Неужели мои преступные козни лишили жизни и тебя, милый Анри? Двоих я уже убил, другие жертвы ждут своей очереди, но ты, Клерваль, мой друг, мой благодетель...»

Человеку не под силу выдерживать дольше подобные страдания, и меня вынесли из комнаты в сильнейших конвульсиях.

За ними последовала лихорадка. Два месяца я находился на грани жизни и смерти. Бред мой, как мне после рассказывали, наводил на всех ужас: я называл себя убийцей Уильяма, Жюстины и Клерваля. Я то умолял присутствующих помочь мне расправиться с дьяволом, который меня мучил, то чувствовал, как пальцы чудовища впиваются в мое горло, и издавал громкие вопли страдания и ужаса. К счастью, я бредил на своем родном языке, и меня понимал один лишь мистер Кирвин, но моей жестикуляции и криков было достаточно, чтобы испугать и других свидетелей.

Зачем я не умер? Более несчастный, чем кто-либо из людей, почему я не впал в забытье и не обрел покой? Смерть уносит стольких цветущих детей — единственную надежду любящих родителей; столько невест и юных возлюбленных сегодня находятся в расцвете сил и надежд, а назавтра становятся добычей червей и разлагаются в могиле. Из какого же материала я сделан, что смог выдержать столько ударов, от которых пытка моя непрерывно возобновлялась, точно на колесе?

Но мне суждено было выжить; через два месяца, словно пробудившись от тяжелого сна, я очутился в тюрьме, на жалкой постели, окруженный тюремщиками, надзирателями, затворами и всеми мрачными атрибутами заключения. Помню, было утро, когда ко мне вернулось сознание; я забыл, что со мной произошло, и помнил только, что на меня обрушилось какое-то горе. Но когда я осмотрелся вокруг, увидел решетки на окнах и грязное помещение, в котором находился, все ожило в моей памяти, и я горько застонал.

Мои стоны разбудили старуху, дремавшую в кресле около меня. Это была жена одного из надзирателей, которую наняли

ко мне сиделкой; ее физиономия выражала все дурные наклонности, часто характерные для людей этого круга: черты ее были жестки и грубы, как у тех, кто привык смотреть на чужое горе без сочувствия. Тон сиделки выражал полное равнодушие; она обратилась ко мне по-английски, и я узнал голос, который не раз слышал во время болезни.

«Вам теперь лучше, сэр?» — спросила она.

Я едва внятно ответил, тоже по-английски:

«Кажется, да; но, если все это правда, а не сон, мне жаль, что я еще живу и чувствую свое горе и ужас».

«Что и говорить, — сказала старуха, — если вы имеете в виду джентльмена, которого вы убили, то, пожалуй, оно бы и лучше, если бы вы умерли: вам придется очень плохо. Однако это не мое дело. Меня прислали ходить за вами и помочь вам встать на ноги. Это я делаю на совесть — хорошо бы каждый так работал».

Я с неприязнью отвернулся от женщины, которая могла обратиться с такими бесчувственными словами к человеку, только что находившемуся при смерти. Но я был слаб и не мог разобраться в происходившем. Весь мой жизненный путь казался мне сном. Иногда я сомневался, было ли все это на самом деле, ибо события моей жизни ни разу не предстали мне с яркостью реальной действительности.

Когда проплывавшие передо мной образы стали более отчетливыми, у меня сделался жар и все вокруг потемнело. Рядом не было никого, кто утешил бы меня и приласкал, ни одна дружеская рука не поддерживала меня. Пришел врач и прописал лекарства; старуха приготовила их, но на лице первого было написано полное безразличие, а на лице второй — жестокость. Кто мог интересоваться судьбой убийцы, кроме палача, ждущего платы за свое дело?

Таковы были мои первые мысли; однако вскоре я убедился, что мистер Кирвин проявил ко мне чрезвычайную доброту. Он приказал отвести для меня лучшее помещение в тюрьме (эта жалкая камера в самом деле была там лучшей); и именно он позаботился о враче и сиделке. Правда, навещал меня мистер Кирвин редко; хотя он всячески стремился облегчить страдания каждого человека, ему не хотелось присутствовать при муках убийцы и слушать его бред. Судья иногда приходил убедиться, что по отношению ко мне проявляется забота, однако его посещения были краткими и весьма нечастыми.

Однажды во время моего выздоровления я сидел на стуле; глаза мои были полузакрыты, а щеки мертвенно-бледны, как у покойника. Подавленный горем, я часто размышлял, не лучше ли искать смерти, чем оставаться в мире, где мне суждено было

так страдать. Одно время я подумывал, не признать ли себя виновным и подвергнуться казни, — ведь я был более виновным, чем бедная Жюстина. Именно эта мысль владела мною, когда дверь камеры открылась и вошел мистер Кирвин. Лицо его выражало жалость и сочувствие; придвинув стул поближе, он обратился ко мне на французском языке:

«Боюсь, что вам здесь плохо; не могу ли я чем-нибудь облегчить вашу участь?»

«Спасибо, но все это мне безразлично; ничто на свете не может принести мне облегчения».

«Я знаю, что сочувствие чужестранца — слабая помощь тому, кто, подобно вам, сражен такой тяжкой бедой. Но я надеюсь, что вы скоро покинете это мрачное место; не сомневаюсь, что вы легко добудете доказательства, которые снимут с вас обвинение».

«Об этом я менее всего забочусь. Силою необычайных событий я стал несчастнейшим из смертных. После всех мук, которые я пережил и переживаю, как может смерть казаться мне злом?»

«В самом деле, ничего не может быть печальнее, чем недавние странные события. Вы случайно попали на этот берег, известный своим гостеприимством, были немедленно схвачены и обвинены в убийстве. Первое, что предстало вашим глазам, было тело вашего друга, убитого необъяснимым образом и словно каким-то дьяволом подброшенное вам».

Когда мистер Кирвин произнес эти слова, я, несмотря на волнение, охватившее меня при напоминании о моих страданиях, немало удивился сведениям, которыми он располагал. Вероятно, это удивление отразилось на моем лице, так как мистер Кирвин поспешно сказал:

«Как только вы заболели, мне передали все находившиеся при вас бумаги; я их просмотрел, чтобы найти какие-либо сведения, которые помогли бы мне разыскать ваших родных и известить их о вашем несчастье и болезни. Я обнаружил несколько писем и среди них одно, которое, судя по обращению, принадлежит вашему отцу. Я немедленно написал в Женеву; после отправки моего письма прошло почти два месяца. Но вы больны, вы дрожите, а волнение вам вредно».

«Неизвестность в тысячу раз хуже самого страшного несчастья. Скажите, какая разыгралась новая драма и чье убийство я должен теперь оплакивать?»

«В вашей семье все благополучно, — ласково сказал мистер Кирвин, — и один из ваших близких приехал вас навестить».

Не знаю почему, но мне вдруг представилось, что это убийца явился насмехаться над моим горем, что он хочет воспользо-

ваться моим несчастьем и вынудить меня согласиться на его адские требования. Я закрыл глаза руками и в ужасе закричал:

«О! Уберите его! Я не могу его видеть; ради бога, не впускайте его!»

Мистер Кирвин в замешательстве смотрел на меня. Он невольно счел эти выкрики за подтверждение моей виновности и сурово сказал:

«Я полагал, молодой человек, что присутствие вашего отца будет вам приятно и не вызовет такого яростного протеста».

«Отец! — воскликнул я, и при этом все черты моего лица вместо ужаса выразили радость. — Неужели приехал мой отец? О, как он добр, как бесконечно добр! Но где он? Почему он не спешит ко мне?»

Перемена во мне удивила и обрадовала судью; возможно, он приписал мои предыдущие восклицания новому припадку лихорадочного бреда; теперь к нему вернулась прежняя благожелательность. Он поднялся и вместе с сиделкой покинул камеру, а через минуту ко мне вошел отец.

Ничто на свете не могло в ту минуту доставить мне большей радости. Я протянул к нему руки и воскликнул:

«Так, значит, вы живы, и Элизабет, и Эрнест?»

Отец успокоил меня, заверив, что у них все благополучно, и старался, распространяясь на столь интересовавшие меня темы, поднять мой дух. Однако он скоро почувствовал, что тюрьма — неподходящее место для веселья.

«Вот в каком жилище ты оказался, сын мой! — сказал он, печально оглядывая зарешеченные окна и всю жалкую комнату. — Ты отправился на поиски счастья, но тебя, как видно, преследует рок. А бедный Клерваль...»

Упоминание о несчастном убитом друге так меня взволновало, что при своей слабости я не смог сдержаться и заплакал.

«Увы! Это так, отец, — сказал я, — надо мной тяготеет рок, и я должен жить, чтобы свершить то, что мне предначертано, иначе мне надо было бы умереть у гроба Анри».

Нашу беседу прервали, ибо в моем тогдашнем состоянии меня оберегали от волнений. Вошел мистер Кирвин и решительно сказал, что чрезмерное напряжение может истощить мои силы. Но приезд отца был для меня подобен появлению ангела-хранителя, и здоровье мое постепенно стало поправляться.

Когда я поборол болезнь, мною овладела мрачная меланхолия, которую ничто не могло рассеять. Образ убитого Клерваля, как призрак, вечно стоял у меня перед глазами. Много раз мое волнение, вызванное этими воспоминаниями, заставляло друзей бояться опасного возвращения болезни. Увы! Зачем они берегли мою несчастную жизнь, ненавистную мне самому? Очевидно,

для того, чтобы я все претерпел до конца, но теперь конец близок. Скоро, о, очень скоро смерть погасит эти волнения и освободит меня от безмерного гнета страданий; приговор будет приведен в исполнение, и я обрету покой. Тогда же смерть лишь далеко маячила передо мною, хотя желание умереть владело моими думами и я часто часами сидел неподвижно и безмолвно, призывая катастрофу, которая погребла бы под обломками и меня, и моего губителя.

Приближался срок суда. Я находился в тюрьме уже три месяца и, хотя я все еще был слаб и мне постоянно грозило возвращение болезни, вынужден был проделать путь почти в сто миль, до главного города графства, где был назначен суд. Мистер Кирвин позаботился о вызове свидетелей и о защитнике. Я был избавлен от позора публичного появления в качестве преступника, так как дело мое не было передано в тот суд, от решения которого зависит жизнь или смерть. Присяжные, решающие вопрос о предании этому суду, сняли с меня обвинение, ибо было доказано, что в тот час, когда был обнаружен труп моего друга, я находился на Оркнейских островах; через две недели после моего переезда в главный город я был освобожден из тюрьмы.

Отец был счастлив, узнав, что я свободен от тяжкого обвинения, что я снова могу дышать вольным воздухом и вернуться на родину. Я не разделял его чувств: стены темницы или дворца были бы мне одинаково ненавистны. Чаша жизни была отравлена навеки; и хотя солнце светило надо мной, как и над самыми счастливыми, я ощущал вокруг непроглядную, страшную тьму, куда не проникал ни единый луч света и где мерцала только пара глаз, устремленных на меня. Иногда это были выразительные глаза Анри, полные смертельной тоски, — темные, полузакрытые глаза, окаймленные черными ресницами; иногда же это были водянистые, мутные глаза чудовища, впервые увиденные мной в моей ингольштадтской комнате.

Отец старался возродить во мне чувства любви к близким. Он говорил о Женеве, куда мне предстояло вернуться, об Элизабет и Эрнесте. Но его слова лишь исторгали глубокие вздохи из моей груди. Иногда, правда, во мне пробуждалась жажда счастья; я с грустью и нежностью думал о любимой кузине или с мучительной maladie du pays[1] хотел еще раз увидеть синее озеро и быструю Рону, которые так любил в детстве; но моим обычным состоянием была апатия; мне было все равно — находиться в тюрьме или среди прекраснейшей природы. Это настроение прерывалось лишь пароксизмами отчаяния. В такие

[1] Тоской по родине *(фр.)*.

минуты я часто пытался положить конец своему ненавистному существованию. Требовалось неустанное наблюдение за мною, чтобы я не наложил на себя руки.

Однако на мне лежал долг, воспоминание о котором в конце концов взяло вверх над эгоистическим отчаянием. Необходимо было немедленно вернуться в Женеву, чтобы охранять жизнь тех, кого я так глубоко любил; надо было выследить убийцу и, если случай откроет мне его убежище или он сам снова осмелится появиться передо мной, без промаха сразить чудовище, которое я наделил подобием души, еще более уродливым, чем его тело. Отец откладывал наш отъезд, опасаясь, что я не вынесу тягот путешествия, ведь я был сущей развалиной — тенью человека. Силы мои были истощены. От меня остался один скелет; днем и ночью мое изнуренное тело пожирала лихорадка.

Однако я с такой тревогой и нетерпением настаивал на отъезде из Ирландии, что отец счел за лучшее уступить. Мы взяли билеты на судно, направлявшееся в Гавр-де-Грас, и отчалили с попутным ветром от берегов Ирландии. Была полночь. Лежа на палубе, я глядел на звезды и прислушивался к плеску волн. Я радовался темноте, скрывшей от моих взоров ирландскую землю; сердце мое радостно билось при мысли, что я скоро увижу Женеву. Прошлое казалось мне ужасным сновидением; однако судно, на котором я плыл, ветер, относивший меня от ненавистного ирландского берега, и окружавшее меня море слишком ясно говорили мне, что это не сон и что Клерваль, мой друг, мой дорогой товарищ, погиб из-за меня, из-за чудовища, которое я создал. Я припомнил всю свою жизнь: тихое счастье в Женеве, в кругу семьи, смерть матери и отъезд в Ингольштадт. С содроганием вспомнил я безумный энтузиазм, *побуждавший меня* быстрее сотворить моего гнусного врага; я вызвал в памяти и ту ночь, когда он ожил. Дальше я не мог вспоминать; множество чувств нахлынуло на меня, и я горько заплакал.

Со времени выздоровления от горячки у меня вошло в привычку принимать на ночь небольшую дозу опия; только с помощью этого лекарства мне удавалось обретать покой, необходимый для поддержания жизни. Подавленный воспоминаниями о своих бедствиях, я принял двойную дозу и вскоре крепко уснул. Но сон не принес мне забвения от мучительных дум: мне снились всевозможные ужасы. К утру мною окончательно овладели кошмары: казалось, что дьявол сжимает мне горло, а я не могу вырваться; в ушах моих раздавались стоны и крики. Отец, сидевший рядом со мной, увидев, как я мечусь во сне, разбудил меня. Кругом шумели волны; надо мной было облачное не-

бо, дьявола не было; чувство безопасности, ощущение того, что между этим часом и неизбежным страшным будущим наступила передышка, принесли мне некое забвение, к которому так склонен по своей природе человеческий разум.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Путешествие подошло к концу. Мы высадились на берег и проследовали в Париж. Вскоре я убедился, что переоценил свои силы и мне требуется отдых, прежде чем продолжать путь. Отец проявлял неутомимую заботу и внимание, но он не знал причины моих мучений и предлагал лекарства, бессильные при неизлечимой болезни. Ему хотелось, чтобы я развлекся в обществе. Мне же были противны человеческие лица. О нет, не противны! Это были братья, мои ближние, и меня влекло даже к наиболее неприятным из них, точно это были ангелы, сошедшие с небес. Но мне казалось, что я не имею права общаться с ними. Я наслал на них врага, которому доставляло радость проливать их кровь и наслаждаться их стонами. Как ненавидели бы они меня, все до одного, как стали бы гнать, если бы узнали о моих греховных занятиях и о злодействах, источником которых я был!

В конце концов отец уступил моему стремлению избегать общества и прилагал все усилия, чтобы рассеять мою тоску. Иногда ему казалось, что я болезненно воспринял унижение, связанное с обвинением в убийстве, и он пытался доказать мне, что это ложная гордость.

«Увы, отец мой, — говорил я, — как мало вы меня знаете! Люди, их чувства и страсти действительно были бы унижены, если бы такой негодяй, как я, смел гордиться. Жюстина, бедная Жюстина, была невинна, как и я, а ей предъявили такое же обвинение, и она погибла, а причина ее смерти — я; я убил ее. Уильям, Жюстина и Анри — все они погибли от моей руки».

Во время моего заключения в тюрьме отец часто слышал от меня подобные признания; когда я таким образом обвинял себя, ему иногда, по-видимому, хотелось получить объяснение; иногда же он принимал их за бред и считал, что такого рода мысль, явившаяся во время болезни, могла сохраниться и после выздоровления. Я уклонялся от объяснений и молчал о злодее, которого создал. Я был убежден, что меня считают безумным; это само по себе могло навеки связать мой язык. Кроме того, я не мог заставить себя раскрыть тайну, которая повергла бы

моего собеседника в отчаяние и поселила в его груди неизбывный ужас. Поэтому я сдерживал свою нетерпеливую жажду сочувствия и молчал, а между тем отдал бы все на свете за возможность открыть роковую тайну. Но иногда у меня невольно вырывались подобные слова. Я не мог дать им объяснения, но эти правдивые слова несколько облегчали бремя моей тайной скорби.

На сей раз отец сказал с беспредельным удивлением:

«Милый Виктор, что это за бред? Сын мой, умоляю тебя, никогда больше не утверждай ничего подобного».

«Это не бред! — вскричал я решительно. — Солнце и небо, которым известны мои дела, могут засвидетельствовать, что я говорю правду. Я — убийца этих невинных жертв, они погибли из-за моих козней. Я тысячу раз пролил бы свою собственную кровь, каплю за каплей, чтобы спасти их жизнь; но я не мог этого сделать, отец, я не мог пожертвовать всем человеческим родом».

Конец этой речи совершенно убедил отца, что мой разум помрачен; он немедленно переменил тему разговора и попытался придать моим мыслям иное направление. Он хотел, насколько возможно, вычеркнуть из моей памяти события, разыгравшиеся в Ирландии; он никогда не упоминал о них и не позволял мне говорить о моих невзгодах.

Со временем я стал спокойнее; горе прочно угнездилось в моем сердце, но я больше не говорил бессвязными словами о своих преступлениях, достаточно было сознавать их. Я сделал над собой неимоверное усилие и подавил властный голос страдания, которое иногда рвалось наружу, чтобы заявить о себе всему свету. Я стал спокойнее и сдержаннее, чем когда-либо со времени моей поездки к ледяному морю.

За несколько дней до отъезда из Парижа в Швейцарию я получил следующее письмо от Элизабет:

«Дорогой друг!

Я с величайшей радостью прочла письмо дяди, отправленное из Парижа; ты уже не отделен от меня огромным расстоянием, и я надеюсь увидеть тебя через каких-нибудь две недели. Бедный кузен, сколько ты должен был выстрадать! Я боюсь, что ты болен еще серьезнее, чем когда уезжал из Женевы. Эта зима прошла для меня в унынии, в постоянных терзаниях неизвестности. Все же я надеюсь, что увижу тебя умиротворенным и что твое сердце хоть немного успокоилось.

И все-таки я боюсь, что тревога, которая делала тебя таким несчастным год тому назад, существует и теперь и даже усилилась со временем. Я не хотела бы расстраивать тебя сейчас, ко-

гда ты перенес столько несчастий; однако разговор, который произошел у меня с дядей перед его отъездом, требует, чтобы я объяснилась еще до нашей встречи.

Объяснилась! Ты, вероятно, спросишь: что у Элизабет может быть такого, что требует объяснения? Если ты в самом деле так скажешь, будет получен ответ на мои вопросы и все мои сомнения исчезнут. Но ты далеко от меня и, возможно, боишься и вместе желаешь такого объяснения. Чувствуя вероятность этого, я не решаюсь долее откладывать и пишу то, что за время твоего отсутствия мне часто хотелось написать, но недоставало мужества.

Ты знаешь, Виктор, что наш союз был мечтой твоих родителей с самых наших детских лет. Нам объявили об этом, когда мы были совсем юными; нас научили смотреть на этот союз как на нечто непременное. Мы были в детстве нежными друзьями и, я надеюсь, остались близкими друзьями, когда повзрослели. Но ведь брат и сестра часто питают друг к другу нежную привязанность, не стремясь к более близким отношениям; не так ли и с нами? Скажи мне, милый Виктор. Ответь, умоляю тебя, ради нашего счастья, с полной искренностью: ты не любишь другую?

Ты путешествовал; ты провел несколько лет в Ингольштадте; и признаюсь тебе, мой друг, когда я прошлой осенью увидела, что ты несчастен, ищешь одиночества и избегаешь всякого общества, я невольно предположила, что ты, возможно, сожалеешь о нашей помолвке и считаешь себя связанным, считаешь, что обязан исполнить волю родителей, хотя бы это противоречило твоим склонностям. Но это ложное рассуждение. Признаюсь, мой друг, что люблю тебя и в мечтах о будущем ты всегда был мне другом и спутником. Но я желаю тебе счастья, как самой себе, и поэтому заявляю, что наш брак обернется для меня вечным горем, если не будет совершен по твоему собственному свободному выбору. Вот и сейчас я плачу при мысли, что ты, вынесший жестокие удары судьбы, ради слова *честь* можешь уничтожить надежду на любовь и счастье, которые одни способны вернуть тебе покой. Бескорыстно любя тебя, я десятикратно увеличила бы твои муки, став препятствием для исполнения твоих желаний. О Виктор, поверь, что твоя кузина и твой товарищ по детским играм слишком искренне тебя любит, чтобы не страдать от такого предположения. Будь счастлив, мой друг, и, если ты исполнишь только это мое желание, будь уверен, что ничто на свете не нарушит мой покой.

Пусть это письмо не расстраивает тебя; не отвечай ни завтра, ни на следующий день или даже до своего приезда, если это

причиняет тебе боль. Дядя пришлет мне известие о твоем здоровье, и, если при встрече я увижу хотя бы улыбку на твоих устах, вызванную мною, мне не надо другого счастья.

Элизабет Лавенца

Женева, 18 мая 17... года».

Это письмо оживило в моей памяти то, что я успел забыть, — угрозу демона: *«Я буду с тобой в твою брачную ночь!»* Таков был вынесенный мне приговор; в эту ночь демон приложит все силы, чтобы убить меня и лишить счастья, которое обещало облегчить мои муки. В эту ночь он решил завершить свои преступления моей смертью. Пусть будет так: в эту ночь произойдет смертельная схватка, и, если он окажется победителем, я обрету покой и его власти надо мной придет конец. Если же он будет побежден, я обрету свободу. Увы! Что за свобода! Такая же свобода, как у крестьянина, на глазах у которого вырезана вся семья, сгорел дом, земля лежит опустошенная, а сам он — бездомный, нищий изгнанник, одинокий, но свободный. Такой будет и моя свобода; правда, в лице Элизабет я обрету сокровище, но на другой чаше весов останутся муки совести и сознание вины, которые будут преследовать меня до самой смерти.

Милая, любимая Элизабет! Я читал и перечитывал ее письмо; нежность проникла в мое сердце и навевала райские грезы любви и радости; но яблоко уже было съедено, и десница ангела отрешала меня от всех надежд. А я готов был на смерть, чтобы сделать ее счастливой. Смерть неизбежна, если чудовище выполнит свою угрозу. Однако я задавался вопросом: ускорит ли женитьба исполнение моей судьбы? Моя гибель может свершиться на несколько месяцев раньше; но если мой мучитель заподозрит, что я откладываю свадьбу из-за его угрозы, он безусловно найдет другие и, быть может, более страшные способы мести. Он поклялся быть со мной в брачную ночь; но он не считает, что эта угроза обязывает его соблюдать мир до наступления этой ночи. Чтобы показать мне, что он еще не насытился кровью, он убил Клерваля сразу после своей угрозы. Я решил поэтому, что если немедленный союз с кузиной принесет счастье ей или моему отцу, то я не имею права отсрочить его ни на один час, каковы бы ни были умыслы врага против моей жизни.

В таком состоянии духа я написал Элизабет. Письмо мое было спокойно и нежно. «Боюсь, моя любимая девочка, — писал я, — что нам осталось мало счастья на свете; но все, чему я могу радоваться, сосредоточено в тебе. Отбрось же пустые страхи; тебе одной посвящаю я свою жизнь и свои стремления к счастью. У меня есть тайна, Элизабет, страшная тайна. Когда я открою ее тебе, твоя кровь застынет от ужаса, и тогда, уже не

поражаясь моей мрачности, ты станешь удивляться тому, что я еще жив после всего, что выстрадал. Я поверю тебе эту страшную тайну на следующий день после нашей свадьбы, милая кузина, ибо между нами должно существовать полное доверие. Но до этого дня умоляю тебя не напоминать о ней. Об этом я прошу со всей серьезностью и знаю, что ты согласишься».

Через неделю после получения письма от Элизабет мы возвратились в Женеву. Милая девушка встретила меня с самой нежной лаской, но на ее глаза навернулись слезы, когда она увидела мое исхудалое лицо и лихорадочный румянец. Я в ней также заметил перемену. Она похудела и утратила восхитительную живость, которая очаровывала меня прежде, но ее кротость и нежные, сочувственные взгляды делали ее более подходящей подругой для отверженного и несчастного человека, каким был я.

Спокойствие мое оказалось недолгим. Воспоминания сводили меня с ума. Когда я думал о прошедших событиях, мною овладевало настоящее безумие; иногда меня охватывала ярость и я пылал гневом, иногда погружался в глубокое уныние. Я ни с кем не говорил, ни на кого не глядел и сидел неподвижно, отупев от множества свалившихся на меня несчастий.

Только Элизабет умела вывести меня из этого состояния: ее нежный голос успокаивал меня, когда я бывал возбужден, и пробуждал человеческие чувства, когда я впадал в оцепенение. Она плакала вместе со мной и надо мной. Когда рассудок возвращался ко мне, она увещевала меня, стараясь внушить смирение перед судьбой. О! Хорошо смиряться несчастливцу, но для преступника нет покоя. Муки совести отравляют наслаждение, которое можно иногда найти в самой чрезмерности горя.

Вскоре после моего приезда отец заговорил о моей предстоящей женитьбе на Элизабет. Я молчал.

«Может быть, у тебя есть другая привязанность?»

«Никого в целом свете. Я люблю Элизабет и с радостью жду нашей свадьбы. Пусть же будет назначен день. В этот день я посвящу себя, живой или мертвый, счастью моей кузины».

«Дорогой Виктор, не говори так. Мы пережили тяжелые несчастья, но надо крепче держаться за то, что нам осталось, и перенести свою любовь с тех, кого мы потеряли, на тех, кто еще жив. Наш круг будет невелик, но крепко связан узами любви и общего горя. А когда время смягчит твое отчаяние, родятся новые милые создания, предметы нашей любви и забот, взамен тех, кого нас так жестоко лишили».

Так поучал меня отец. А мне все вспоминалась угроза демона. Не следует удивляться, что я считал своего врага при его всемогуществе в кровавых делах почти непобедимым, и, когда

он произнес слова: *«Я буду с тобой в твою брачную ночь»*, я примирился с угрожавшей мне опасностью как с неотвратимой. Однако смерть не страшила меня так, как возможная утрата Элизабет. Поэтому я с удовлетворением и даже радостью согласился с отцом и сказал, что, если кузина не возражает, можно отпраздновать свадьбу через десять дней; тогда-то и решится моя судьба, думал я.

Великий Боже! Если бы я на один миг подумал, какой адский умысел вынашивал мой злобный противник, я скорее навсегда исчез бы из родной страны и скитался по свету одиноким изгнанником, чем согласился на этот злополучный брак. Но словно каким-то колдовством чудовище сделало меня слепым к его настоящим замыслам, и я, считая, что смерть уготована только мне, ускорял гибель существа, более дорогого мне, чем я сам.

По мере приближения срока нашей свадьбы — то ли из трусости, то ли охваченный предчувствием — я все более падал духом. Однако я скрывал свои чувства под видом веселости, вызывавшим счастливые улыбки на лице моего отца, но едва ли обманувшим более внимательный и острый взор Элизабет. Она ожидала нашего союза с удовлетворением, к которому все же примешивался некоторый страх, внушенный прошлыми несчастьями; то, что сейчас казалось реальным и осязаемым счастьем, могло скоро превратиться в сон, не оставляющий никаких следов, кроме глубокой и вечной горечи.

Были сделаны необходимые приготовления для торжества; мы принимали поздравительные визиты, и всюду сияли радостные улыбки. Я, как умел, затаил в сердце терзавшую меня тревогу и, казалось, с увлечением вникал в планы отца, хотя им, быть может, предстояло лишь украсить мою гибель. Благодаря отцовским стараниям часть наследства Элизабет была закреплена за нею австрийским правительством. Ей принадлежало небольшое поместье на берегах Комо. Было решено, что тотчас после свадьбы мы поедем на виллу Лавенца и проведем наши первые счастливые дни у прекрасного озера, на котором она стоит.

Тем временем я принял все меры предосторожности, чтобы защищаться, если демон открыто нападет на меня. При мне всегда были пистолеты и кинжал, и я был постоянно начеку, надеясь предотвратить всякое коварство. Это в значительной степени успокаивало меня. По мере приближения дня свадьбы угроза стала казаться мне пустою и не стоящей того, чтобы нарушился мой покой. В то же время счастье, коего я ожидал от нашего брака, представлялось все более верным с приближением торжественного дня, о котором постоянно говорили как

о чем-то решенном, чему никакие случайности не могут помешать.

Элизабет казалась счастливой; мое спокойствие значительно способствовало и ее успокоению. Но в день, назначенный для осуществления моих желаний и решения моей судьбы, она загрустила; ею овладело какое-то предчувствие; а может быть, она думала о страшной тайне, которую я назавтра обещал ей открыть. Отец не мог нарадоваться на нее и за суетой свадебных приготовлений усматривал в грусти своей племянницы лишь обычную застенчивость невесты.

После брачной церемонии у отца собралось много гостей; но было условлено, что Элизабет и я отправимся в свадебное путешествие по воде, переночуем в Эвиане и продолжим путь на следующий день. Погода стояла чудесная, дул попутный ветер, и все благоприятствовало нашей свадебной поездке.

То были последние часы в моей жизни, когда я был счастлив. Мы быстро продвигались вперед; солнце палило, но мы укрылись от его лучей под навесом, любуясь красотой пейзажей: то на одном берегу озера, где мы видели Мон-Салев, прелестные берега Монталегра, а вдали — возвышающийся над всем прекрасный Монблан и группу снежных вершин, которые тщетно с ними соперничают; то на противоположном берегу, где перед нами была могучая Юра, вздымавшая свою темную громаду перед честолюбцем, который задумал бы покинуть родину, и преграждавшая путь захватчику, который захотел бы ее покорить.

Я взял руку Элизабет.

«Ты грустна, любимая. О, если бы ты знала, что́ я выстрадал и что́ мне, быть может, еще предстоит выстрадать, ты постаралась бы заставить меня забыть отчаяние и изведать покой — все, что может подарить мне этот день».

«Будь счастлив, милый Виктор, — ответила Элизабет, — надеюсь, что тебе не грозит никакая беда; верь, что на душе у меня хорошо, если даже мое лицо и не выражает радости. Какой-то голос шепчет мне, чтобы я не слишком доверялась нашему будущему. Но я не стану прислушиваться к этому зловещему голосу. Взгляни, как мы быстро плывем, посмотри на облака, которые то закрывают, то открывают вершину Монблана и делают этот красивый вид еще прекраснее. Взгляни также на бесчисленных рыб, плывущих в прозрачных водах, где можно различить каждый камешек на дне. Какой божественный день! Какой счастливой и безмятежной кажется вся природа!»

Такими речами она старалась отвлечь свои и мои мысли от всяких предметов, наводящих уныние. Однако настроение Элизабет было неровным: радость, на несколько мгновений загора-

ясь в ее глазах, то и дело сменялась беспокойством и задумчивостью.

Солнце опустилось ниже; мы проплыли мимо устья реки Дранс и проследили ее путь по расселинам высоких гор и по долинам между более низкими склонами. Здесь Альпы подходят ближе к озеру, и мы приблизились к амфитеатру гор, замыкающих его с востока. Шпили Эвиана сверкали среди окрестных лесов и громоздившихся над ним вершин.

Ветер, который до сих пор нес нас с поразительной быстротой, к закату утих, сменившись легким бризом. Нежное дуновение его лишь рябило воду и приятно шелестело листвой деревьев, когда мы приблизились к берегу, откуда повеяло восхитительным запахом цветов и сена. Когда мы причалили, солнце зашло за горизонт; едва коснувшись ногами земли, я снова почувствовал, как во мне оживают заботы и страхи, которым вскоре суждено было завладеть мною уже навсегда.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Было восемь часов, когда мы причалили; мы еще немного погуляли по берегу, ловя угасавший свет, а затем направились в гостиницу, любуясь красивыми видами вод, лесов и гор, скрытых сумерками, но еще выступавших темными очертаниями.

Южный ветер утих, но зато с новой силой подул ветер с запада. Луна достигла высшей точки в небе и начала опускаться, облака скользили по ней быстрее хищных птиц и скрывали ее лучи, а озеро отражало беспокойное небо, казавшееся в нем еще беспокойнее из-за поднявшихся волн. Внезапно обрушился сильный ливень.

Весь день я был спокоен; но, как только формы предметов растворились во мраке, моей душой овладели бесчисленные страхи. Я был взволнован и насторожен; правой рукой я сжимал пистолет, спрятанный за пазухой; каждый звук пугал меня; но я решил дорого продать свою жизнь и не уклоняться от борьбы, пока не паду мертвым или не уничтожу противника.

Элизабет некоторое время наблюдала мое волнение, сохраняя робкое безмолвие; но, должно быть, в моем взгляде было нечто такое, что вызвало в ней ужас; дрожа всем телом, она спросила:

«Что тревожит тебя, милый Виктор? Чего ты боишься?»

«О, спокойствие, спокойствие, любовь моя, — ответил я, — пройдет эта ночь, и все будет хорошо; но эта ночь страшна, очень страшна».

В таком состоянии духа я провел час, когда вдруг подумал о том, как ужасен будет для моей жены поединок, которого я ежеминутно ждал. Я стал умолять ее удалиться, решив не идти к ней, пока не выясню, где мой враг.

Она покинула меня, и я некоторое время ходил по коридорам дома, обыскивая каждый угол, который мог бы служить укрытием моему противнику. Но я не обнаружил никаких его следов и начал уже думать, что какая-нибудь счастливая случайность помешала чудовищу привести свою угрозу в исполнение, как вдруг услышал страшный, пронзительный вопль. Он раздался из комнаты, где уединилась Элизабет. Услышав этот крик, я все понял; руки мои опустились, мускулы тела оцепенели; я ощутил тяжкие удары крови в каждой жиле. Это состояние длилось лишь миг; вопль повторился, и я бросился в комнату.

Великий Боже! Отчего я не умер тогда?! Зачем я здесь и рассказываю о гибели своих надежд и самого чистого на свете создания?! Она лежала поперек кровати, безжизненная и неподвижная; голова ее свисала вниз, бледные и искаженные черты лица были наполовину скрыты волосами. Куда бы я ни посмотрел, я вижу перед собой бескровные руки и бессильное тело, брошенное убийцей на брачное ложе. Как мог я после этого остаться жить? Увы! Жизнь упряма и цепляется за нас тем сильнее, чем больше мы ее ненавидим. На минуту я потерял сознание и без чувств упал на пол.

Когда я пришел в себя, меня окружали обитатели гостиницы. На всех лицах был написан неподдельный ужас, но это было лишь слабое отражение чувств, раздиравших меня. Я вернулся в комнату, где лежало тело Элизабет, моей любимой, моей жены, еще недавно живой и такой дорогой, такой достойной любви. Поза, в которой я застал ее, была изменена; теперь она лежала прямо, голова покоилась на руке, на лицо и шею был накинут платок; можно было подумать, что она спит. Я бросился к ней и заключил ее в объятия. Но прикосновение к безжизненному и холодному телу напомнило мне, что я держу в объятиях уже не Элизабет, которую так нежно любил. На шее у нее четко виднелся след смертоносных пальцев демона, и дыхание уже не слетало с ее уст.

Склонясь над нею в безмерном отчаянии, я рассеянным взором посмотрел вокруг. Окна комнаты были раньше затемнены, а теперь я со страхом увидел, что комната освещена бледно-желтым светом луны. Ставни были раскрыты; с неописуемым ужасом я увидел в открытом окне ненавистную и страшную фигуру. Лицо чудовища было искажено усмешкой; казалось, он глумился надо мной, своим дьявольским пальцем указывая на труп моей жены. Я ринулся к окну и, выхватив из-за пазухи пистолет, вы-

стрелил, но демон успел уклониться, подпрыгнул и, устремившись вперед с быстротою молнии, бросился в озеро.

На звук выстрела в комнате собралась толпа. Я показал направление, в котором исчез враг, и мы отправились в погоню на шлюпках; мы забрасывали сети, но все было напрасно. После нескольких часов поисков мы вернулись, потеряв всякую надежду; многие из моих спутников полагали, что все это — плод моего воображения. Выйдя на берег, они продолжили поиски в окрестностях, разделившись на группы, которые в различных направлениях стали обшаривать леса и виноградники.

Я попытался сопровождать их и отошел на короткое расстояние от дома, но голова моя кружилась, я двигался словно пьяный и наконец впал в крайнее изнеможение; глаза мои подернулись пеленой, кожу сушил лихорадочный жар. В таком состоянии меня унесли обратно в дом и положили на кровать; я едва сознавал, что́ случилось; взор мой блуждал по комнате, словно ища то, что я потерял.

Прошло некоторое время; я поднялся и инстинктивно добрался до комнаты, где лежало тело моей любимой. Кругом стояли плачущие женщины; я прильнул к телу и присоединил к их слезам свои горестные слезы. За все это время меня не посетила ни одна ясная мысль; мысли перескакивали с предмета на предмет, смутно отражая мои несчастья и их причину. Я тонул в каком-то море ужасов. Смерть Уильяма, казнь Жюстины, убийство Клерваля и, наконец, гибель моей жены; даже в этот момент я не был уверен, что моим последним оставшимся в живых близким не грозит опасность от злобного дьявола; возможно, отец мой в эту самую минуту корчится в его мертвой хватке, а Эрнест лежит, недвижимый, у его ног. Эта мысль заставила меня задрожать и побудила к действию. Я вскочил на ноги и решил как можно скорее вернуться в Женеву.

Лошадей нельзя было достать, и мне пришлось возвращаться по озеру, но дул встречный ветер и потоками лил дождь. Однако утро еще едва брезжило, и к ночи я мог надеяться доехать. Я нанял гребцов и сам взялся за весла, ибо физическая работа всегда облегчала мои душевные муки. Но сейчас избыток горя и крайнее волнение делали меня не способным ни на какое усилие. Я отбросил весло; обхватив голову руками, я дал волю мрачным мыслям, теснившимся в голове. Стоило мне оглядеться вокруг, и я видел картины, знакомые мне в более счастливое время; всего лишь накануне я любовался ими в обществе той, что стала теперь только тенью и воспоминанием. Слезы лились из моих глаз. Дождь на некоторое время прекратился, и я увидел рыб, которые резвились в воде, как и прежде, когда на них глядела Элизабет. Ничто не вызывает у нас столь мучительных

страданий, как резкая и внезапная перемена. Сияло ли солнце, или сгущались тучи, они уже не могли предстать мне в том же свете, что накануне. Дьявол отнял у меня всякую надежду на будущее счастье; никогда еще не было создания несчастнее меня; ни один человек не переживал ничего столь же страшного.

Но зачем так подробно останавливаться на событиях, усугубивших последнее мое несчастье? Повесть моя и так полна ужасов. Я достиг их предела, и то, что я расскажу теперь, может только наскучить вам. Знайте, что мои близкие были вырваны из жизни один за другим. Я остался одиноким. Но силы мои истощены, и я могу лишь вкратце досказать конец этой страшной повести.

Я прибыл в Женеву, застав отца и Эрнеста в живых, но первый вскоре поник под тяжестью вестей, которые я принес. Вижу его как сейчас, доброго и почтенного старика! Невидящий взгляд его глаз блуждал в пространстве, ибо он потерял свою лучшую радость — свою Элизабет, значившую для него больше, чем дочь, любимую им безгранично, всей любовью, на какую способен человек на склоне лет, когда он лишился почти всех привязанностей и тем крепче цепляется за те, что у него остались. Пусть будет проклят и еще раз проклят дьявол, обрушивший несчастье на его седую голову, обрекший его на медленное, тоскливое умирание! Он не мог жить после всех ужасов, которые нас постигли; жизненные силы неожиданно иссякли в нем, он уже не вставал с постели и через несколько дней умер на моих руках.

Что сталось тогда со мною? Не знаю; я потерял чувство реальности и ощущал лишь давящую тяжесть и тьму. Иногда, правда, мне грезилось, будто я брожу по цветущим лугам и живописным долинам с друзьями моей юности. Но, пробуждаясь, я обнаруживал, что нахожусь в какой-то темнице. За этим следовали приступы тоски, но постепенно я яснее осознал свое горе и свое положение, и тогда меня выпустили на свободу. Оказывается, меня сочли сумасшедшим, и, насколько я мог понять, в течение долгих месяцев моим обиталищем была одиночная палата.

Однако свобода была бы для меня бесполезным даром, если бы во мне, по мере того как возвращался рассудок, не заговорило и чувство мести. Когда ко мне вернулась память о прошлых несчастьях, я начал размышлять об их причине — о чудовище, которое создал, о гнусном демоне, которого выпустил на свет на свою же погибель. Безумная ярость овладевала мною, когда я думал о нем; я желал и пылко молил, чтобы он очутился в моих руках и я мог обрушить на его проклятую голову великую и справедливую месть.

Моя ненависть не могла долгое время ограничиваться бесплодными желаниями; я начал думать о наилучших способах их

осуществления. С этой целью, примерно через месяц после выхода из больницы, я обратился к городскому судье по уголовным делам и заявил ему, что намерен предъявить обвинение, что мне известен убийца моих близких и что я требую от него употребить всю его власть для поимки этого убийцы.

Судья выслушал меня со вниманием и доброжелательностью.

«Будьте уверены, сэр, — сказал он, — я не пожалею сил и трудов, чтобы схватить преступника».

«Благодарю вас, — ответил я. — Выслушайте же показания, которые я намерен дать. Это действительно такая странная история, что, боюсь, вы не поверите мне; однако в истине, как бы удивительна она ни была, есть нечто, что заставляет верить. Мой рассказ будет слишком связным, чтобы вы приняли его за плод воображения, и у меня нет никаких побуждений для лжи».

Я сказал все это выразительно, но спокойно; в глубине души я принял решение преследовать своего губителя до самой его смерти. Эта цель, которую я поставил перед собой, облегчала мои страдания и на некоторое время примирила меня с жизнью. Теперь я изложил свою историю кратко, но твердо и ясно, называя точные даты и удерживаясь от проклятий или жалоб.

Вначале судья, казалось, отнесся к рассказу с полным недоверием, но постепенно стал проявлять все больше внимания и интереса. Я заметил, что он вздрагивает от ужаса, а иногда его лицо выражало живейшее удивление с примесью сомнения.

Закончив свою повесть, я сказал: «Вот существо, которое я обвиняю; и я призываю вас употребить всю свою власть, чтобы схватить и покарать его. Это ваш долг судьи, и я верю и надеюсь, что и человеческие чувства в данном случае не дадут вам уклониться от исполнения ваших обязанностей».

Это обращение вызвало заметную перемену в лице моего собеседника. Он слушал меня с той полуверой, с какой выслушивают рассказы о таинственных и сверхъестественных явлениях. Но когда я призвал его действовать официально, к нему вернулось все его прежнее недоверие. Однако он мягко ответил:

«Я бы охотно оказал вам любую помощь в преследовании преступника, но создание, о котором вы говорите, по-видимому, обладает силой, способной свести на нет все мои старания. Кто сможет преследовать животное, способное пересечь ледяное море и жить в пещерах и берлогах, куда не осмелится проникнуть ни один человек? Кроме того, со дня совершения преступлений прошло несколько месяцев и трудно угадать, куда оно направилось и где сейчас может обитать».

«Я не сомневаюсь, что чудовище кружит где-то поблизости, а если оно в самом деле нашло убежище в Альпах, то можно устроить на него охоту, как на серну, и уничтожить, как дикого

зверя. Но я угадываю ваши мысли: вы не верите моему рассказу и не намерены преследовать врага и покарать его по заслугам».

При этом мои глаза сверкнули яростью; судья был смущен.

«Вы ошибаетесь, — сказал он, — я напрягу все усилия, и будьте уверены, что убийцу ждет достойная кара. Но я опасаюсь, судя по вашему собственному описанию, что это будет практически невыполнимо, — таким образом, несмотря на все меры, вас может постигнуть разочарование».

«Этого не может быть, но убеждать вас бесполезно. Моя месть ничего для вас не значит. Согласен, что это дурное чувство, но сознаюсь, что оно — всепожирающая и единственная страсть моей души. Ярость моя невыразима, когда я думаю, что убийца, которого я создал, все еще жив. Вы отказываетесь удовлетворить мое справедливое требование: мне остается лишь одно средство, и я посвящаю себя, свою жизнь и смерть делу уничтожения чудовища».

Произнося эти слова, я весь дрожал; в моих речах сквозило безумие и, вероятно, нечто от надменной суровости, которой отличались, как говорят, мученики былых времен. Но на взгляд женевского судьи, чья голова была занята совсем иными мыслями, чем идеи жертвенности и героизма, такое возбуждение очень походило на сумасшествие. Он постарался успокоить меня, словно няня — ребенка, и отнесся к моему повествованию как к бреду.

«О люди, — вскричал я, — сколь вы невежественны, а еще кичитесь своей мудростью! Довольно! Вы сами не знаете, что говорите».

Я выбежал из его дома раздраженный и взволнованный и удалился, чтобы измыслить иные способы действия.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Я был в том состоянии, в котором разумно мыслить невозможно. Я был одержим яростью. Но жажда мести придала мне силу и спокойствие, она заставила меня овладеть собой и помогла быть расчетливым и хладнокровным в такие минуты, когда мне грозило безумие или смерть.

Первым моим решением было навсегда покинуть Женеву; родина, дорогая для меня, когда я был счастлив и любим, теперь стала мне ненавистна. Я запасся деньгами, захватил также некоторое количество драгоценностей, принадлежавших моей матери, и уехал.

С тех пор начались странствия, которые окончатся лишь вместе с моей жизнью. Я объехал бóльшую часть планеты и ис-

пытал все лишения, обычно достающиеся на долю путешественников в пустынных и диких краях. Не знаю, как я выжил; не раз я ложился, изможденный, на землю и молил Бога о смерти. Но жажда мести поддерживала во мне жизнь: я не смел умереть и оставить в живых своего врага.

После отъезда из Женевы первой моей заботой было отыскать след ненавистного демона. Но у меня еще не было определенного плана, и я долго бродил в окрестностях города, не зная, в какую сторону направиться. Когда стемнело, я оказался у ворот кладбища, где были похоронены Уильям, Элизабет и отец. Я вошел туда и приблизился к их могилам. Все вокруг было тихо, и только шелестела листва, чуть колеблемая ветерком; ночь стояла темная, и даже для постороннего зрителя здесь было что-то волнующее. Казалось, призраки умерших витают вокруг, бросая невидимую, но ощутимую тень на того, кто пришел их оплакивать.

Глубокое горе, которое я сперва ощутил, быстро сменилось яростью. Они были мертвы, а я жил; жил и их убийца, и я должен влачить постылую жизнь ради того, чтобы его уничтожить. Я преклонил колена в траве, поцеловал землю и произнес дрожащими губами: «Клянусь священной землей, на которой стою, тенями, витающими вокруг меня, моим глубоким и неутешным горем; клянусь тобою, Ночь, и силами, которые тобой правят, что буду преследовать дьявола, виновника всех несчастий, пока либо он, либо я не погибнем в смертельной схватке. Ради этого я остаюсь жить, ради этой сладкой мести я буду еще видеть солнце и ступать по зеленой траве, которые иначе навсегда исчезли бы для меня. Души мертвых! И вы, духи мести! Помогите мне и направьте меня. Пусть проклятое адское чудовище выпьет до дна чашу страданий, пусть узнает отчаяние, какое испытываю я».

Я начал это заклинание торжественно и тихо, чувствуя, что души дорогих покойников слышат и одобряют меня, но под конец мной завладели фурии мщения и мой голос прервался от ярости.

В ответ из ночной тишины раздался громкий, дьявольский хохот. Он долго звучал в моих ушах, горное эхо повторяло его, и казалось, весь ад преследует меня насмешками. В эту минуту, в приступе отчаяния, я положил бы конец своей несчастной жизни, если бы не мой обет; он был услышан, и мне суждено было жить, чтобы мстить. Смех затих, и знакомый ненавистный голос явственно произнес где-то над самым моим ухом: «Я доволен; ты решил жить, несчастный! И я доволен».

Я бросился туда, откуда раздался голос, но демон ускользнул от меня. Показалась полная луна и осветила уродливую,

зловещую фигуру, убегавшую со скоростью, недоступной простому смертному.

Я погнался за ним и преследовал много месяцев. Напав на его след, я спустился по Рейну, но напрасно. Показалось синее Средиземное море; случайно мне удалось увидеть, как демон прятался ночью в трюме корабля, уходившего к берегам Черного моря. Я сел на тот же корабль, но ему какими-то неведомыми путями опять удалось исчезнуть.

Я прошел по его следу через бескрайние равнины России и Азии, хотя он все ускользал от меня. Бывало, что крестьяне, напуганные видом страшилища, говорили мне, куда он шел; бывало, что и он сам, боясь, чтобы я не умер от отчаяния, если совсем потеряю его след, оставлял какую-нибудь отметину, служившую мне указанием.

Падал снег, и я видел на белой равнине отпечатки его огромных ног. Вам, только еще вступающему в жизнь и не знакомому с тяготами и страданиями, не понять, что́ я пережил и переживаю поныне. Холод, голод и усталость были лишь малой частью того, что мне пришлось вынести. На мне лежало проклятие, и я носил в себе вечный ад; однако был у меня и некий хранительный дух, направлявший мои шаги; когда я более всего роптал, он вызволял меня из трудностей, казавшихся неодолимыми. Случалось, что тело, истощенное голодом, отказывалось мне служить, и тогда я находил в пустыне трапезу, подкреплявшую мои силы. То была грубая пища, какую ели местные жители, но я уверен, что се предлагали мне духи, которых я призывал на помощь. Часто, когда все вокруг сохло, небо было безоблачно и я томился от жажды, набегало легкое облачко, роняло на меня освежающие капли и исчезало.

Там, где было возможно, я шел по берегу рек, но демон держался вдали от этих путей, ибо они были наиболее населенными. В других местах люди почти не встречались, и я питался мясом попадавшихся мне зверей. Я имел при себе деньги и, раздавая их поселянам, заручался их помощью или приносил убитую мною дичь и, взяв себе лишь небольшую часть, оставлял се тем, кто давал мне огонь и все нужное для приготовления пищи.

Эта жизнь была мне ненавистна, и я вкушал радость только во сне. Благословенный сон! Часто, когда я бывал особенно несчастен, я засыпал, и сновидения приносили мне блаженство. Эти часы счастья были даром охранявших меня духов, чтобы мне хватило сил на мое паломничество. Если бы не эти передышки, я не смог бы вынести всех лишений. В течение дня надежда на ночной отдых поддерживала мои силы; во сне я видел друзей, жену и любимую родину; я вновь глядел в доброе лицо отца, слышал серебристый голос Элизабет, видел Клерваля

в расцвете юности и сил. Часто, измученный трудным переходом, я убеждал себя, что мой день — это сон, а пробуждение наступит ночью в объятиях моих близких. Какую мучительную нежность я чувствовал к ним! Как я цеплялся за их милые руки, когда они являлись мне иной раз даже и наяву; как убеждал себя, что они еще живы! В эти минуты утихала горевшая во мне жажда мести и преследование демона представлялось скорее велением Небес, действием какой-то силы, которой я бессознательно подчинялся, чем собственным моим желанием.

Не знаю, что испытывал тот, кого я преследовал. Иногда он оставлял знаки и надписи на коре деревьев или высекал их на камнях; эти надписи указывали мне путь и разжигали мою ярость. «Моему царствию еще не конец, — гласила одна из них, — ты живешь, и ты — в моей власти. Следуй за мной; я держу путь к вечным льдам Севера; ты будешь страдать от холода, к которому я нечувствителен. А здесь ты найдешь, если не слишком замешкаешься, заячью тушку; ешь, подкрепляйся. Следуй за мной, о мой враг; нам предстоит сразиться не на жизнь, а на смерть, но тебе еще долго мучиться, пока ты этого дождешься».

Насмешливый дьявол! Я снова клянусь отомстить тебе, снова обрекаю тебя, проклятый, на муки и смерть. Я не отступлюсь, пока один из нас не погибнет; а тогда с какой радостью я поспешу к Элизабет и ко всем моим близким, которые уже готовят мне награду за все тяготы ужасного странствия!

По мере того как я продвигался на север, снежный покров становился все толще, а холод сделался почти нестерпимым. Крестьяне наглухо заперлись в своих домишках, и лишь немногие показывались наружу, чтобы ловить животных, которых голод выгонял на поиски добычи. Реки стояли, скованные льдом, добыть рыбу было невозможно, и я лишился главного источника пропитания.

Чем труднее мне становилось, тем больше радовался мой враг. Одна из оставленных им надписей гласила: «Готовься! Твои испытания только начинаются; кутайся в меха, запасай пищу; мы отправляемся в такое путешествие, что твои муки утолят даже мою неугасимую ненависть».

Эти издевательские слова только придали мне мужества и упорства; я решил не отступать от своего намерения и, призвав небо в помощники, с несокрушимой энергией продвигался по снежной равнине, пока на горизонте не показался океан. О, как он был не похож на синие моря юга! Покрытый льдами, он отличался от земли только вздыбленной поверхностью. Когда-то греки, завидев с холмов Азии Средиземное море, заплакали от радости, ибо то был конец трудного пути. Я не заплакал, но сердце мое было переполнено; опустившись на колени, я воз-

благодарил доброго духа, благополучно приведшего меня туда, где я надеялся настигнуть врага, вопреки его насмешкам, и схватиться с ним.

За несколько недель до того я достал сани и упряжку собак и мчался по снежной равнине с невероятной скоростью; не знаю, какие средства передвижения были у демона, но если прежде я с каждым днем все больше отставал от него, то теперь начал его нагонять; когда я впервые увидел океан, демон был лишь на день пути впереди меня, и я надеялся догнать его, прежде чем он достигнет берега. Я рванулся вперед с удвоенной энергией и через два дня добрался до жалкой прибрежной деревушки. Я расспросил жителей о демоне и получил самые точные сведения. Они сказали, что уродливый великан побывал здесь накануне вечером, что он вооружен ружьем и несколькими пистолетами и его страшный вид обратил в бегство обитателей одной уединенной хижины. Он забрал там весь зимний запас пищи, погрузил его в сани, захватил упряжку собак и в ту же ночь, к великому облегчению перепуганных поселян, пустился дальше, по морю, туда, где не было никакой земли; они полагали, что он утонет, когда вскроется лед, или же замерзнет.

Услышав это известие, я сперва пришел в отчаяние. Он снова ускользнул, и мне предстоял страшный и почти бесконечный путь по ледяным глыбам застывшего океана, при стуже, которую не могут долго выдерживать даже местные жители, а тем более не надеялся выдержать я, уроженец теплых краев. Но при мысли, что демон будет жить и торжествовать, во мне вспыхнули ярость и жажда мести, затопившие, точно мощный прилив, все другие чувства. После краткого отдыха, во время которого призраки мертвых витали вокруг меня, побуждая к мщению, я стал готовиться в путь.

Я сменил свои сани на другие, более пригодные для езды по ледяному океану, и, закупив большие запасы провизии, съехал с берега в море.

Не могу сказать, сколько дней прошло с тех пор, знаю только, что я перенес муки, которых не выдержал бы, если б не горящая во мне неутолимая жажда праведного возмездия. Часто мой путь преграждали огромные массивные глыбы льда; нередко слышал я подо льдом грохот волн, грозивших мне гибелью. Но затем мороз крепчал, и путь по морю становился надежнее.

Судя по количеству провианта, которое я израсходовал, я считал, что провел в пути около трех недель. Я истерзался; обманутые надежды часто исторгали из моих глаз горькие слезы бессилия и тоски. Мной уже овладевало отчаяние, и я, конечно, скоро поддался бы ему и погиб. Но однажды, когда бедные животные, впряженные в сани, с неимоверным трудом втащили

их на вершину ледяной горы и одна из собак тут же околела от натуги, я тоскливо обозрел открывшуюся передо мной равнину и вдруг заметил на ней темную точку. Я напряг зрение, чтобы разглядеть ее, и издал торжествующий крик: это были сани, а на них — хорошо знакомая мне уродливая фигура. Живительная струя надежды снова влилась в мое сердце. Глаза наполнились теплыми слезами, которые я поспешно отер, чтобы они не мешали видеть демона, но горячая влага все туманила мне глаза, и, не в силах бороться с волнением, я громко зарыдал.

Однако медлить было нельзя; я выпряг мертвую собаку и досыта накормил остальных; после часового отдыха, который был совершенно необходим, хотя и показался мне тягостным промедлением, я продолжил свой путь. Сани были еще заметны, и лишь иногда на мгновение терялись из виду, когда их заслоняла какая-нибудь ледяная глыба. Я заметно нагонял своего врага, и когда, после двух дней погони, оказался от него на расстоянии какой-нибудь мили, сердце мое взыграло.

И вот тут-то, когда я уже готовился настигнуть своего врага, счастье отвернулось от меня; я потерял его след, потерял совсем, чего еще не случалось ни разу. Лед начал вскрываться: шум валов, катившихся подо мной, нарастал с каждой минутой. Я еще продвигался вперед, но все было напрасно. Поднялся ветер; море ревело; все вдруг всколыхнулось, как при землетрясении, и раскололось с оглушительным грохотом. Это свершилось очень быстро; через несколько минут между мной и моим врагом бушевало море, а меня несло на отколовшейся льдине, которая быстро уменьшалась, готовя мне страшную гибель.

Так я провел много ужасных часов; несколько собак у меня издохли, и сам я уже изнемогал под бременем бедствий, когда увидел ваш корабль, стоявший на якоре и обещавший мне помощь и жизнь. Я не предполагал, что суда заходят так далеко на север, и был поражен. Я поспешно разломал свои сани, чтобы сделать весла, и с мучительными усилиями подогнал к кораблю ледяной плот. Если б выяснилось, что вы следуете на юг, я был бы готов довериться волнам, лишь бы не отказываться от своего намерения. Я надеялся убедить вас дать мне лодку, чтобы на ней преследовать врага. Но вы держите путь на север. Вы взяли меня на борт, когда я был до крайности истощен; обессиленный лишениями, я был близок к смерти, а я еще страшусь ее, ибо не выполнил своей задачи.

О, когда же мой добрый ангел приведет меня к чудовищу и я найду желанный покой? Неужели я умру, а тот будет жить? Если так, поклянитесь мне, Уолтон, что не дадите ему ускользнуть, что найдете его и свершите месть за меня. Но что это? Я осмеливаюсь просить, чтобы другой продолжил мое паломничество и перенес

все тяготы, которые достались мне? Нет, я не столь себялюбив. И все же, если после моей смерти он вам встретится, если духи мщения приведут его к вам, поклянитесь, что он не уйдет живым, что он не восторжествует над моими бедами, не останется жить и творить новое зло. Он красноречив и умеет убеждать; некогда его слова имели власть даже надо мной. Но не верьте им. Он такой же дьявол в душе, как и по внешности; он полон коварства и адской злобы. Не слушайте его. Призовите на помощь души Уильяма, Жюстины, Клерваля, Элизабет, моего отца и самого несчастного Виктора — и разите его прямо в сердце. Мой дух будет с вами рядом и направит вашу шпагу.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДНЕВНИКА УОЛТОНА

26 августа 17... года

Ты прочла эту странную и страшную повесть, Маргарет, и я уверен, что кровь стыла у тебя в жилах от ужаса, который ощущаю и я. Иногда внезапный приступ душевной муки прерывал его рассказ; порой этот человек с трудом, прерывавшимся голосом произносил свои полные отчаяния слова. Его прекрасные глаза то загорались негодованием, то туманились печалью и угасали в беспредельной тоске. Иногда он овладевал собой и своим голосом и рассказывал самые страшные вещи совершенно спокойным тоном; но порой что-то прорывалось, подобно лаве вулкана, и с лицом, искаженным яростью, он выкрикивал проклятия своему мучителю.

Его рассказ вполне связен и производит правдоподобное впечатление; и все же признаюсь тебе, что письма Феликса и Сафии, которые он мне показал, и само чудовище, мельком увиденное нами с корабля, больше убедили меня в истинности этой истории, чем самые серьезные его заверения. Итак, чудовище действительно существует! Я не могу в этом сомневаться, но не перестаю дивиться. Иногда я пытался выведать у Франкенштейна подробности создания его детища, но тут он становился непроницаем.

«Вы сошли с ума, мой друг, — говорил он. — Знаете, куда может привести вас ваше праздное любопытство? Неужели вы тоже хотите создать себе и всему миру дьявольски злобного врага? Молчите и слушайте о моих бедствиях, но не старайтесь накликать их на себя».

Франкенштейн обнаружил, что я записываю его рассказ; он пожелал посмотреть мои записи и во многих местах сделал по-

правки и добавления, более всего там, где пересказаны его разговоры с его врагом. «Раз уж вы записываете мою историю, — сказал он, — я не хотел бы, чтобы она дошла до потомков в искаженном виде».

Целую неделю слушал я его повесть, самую странную, какую только могло создать человеческое воображение. Завороженный и рассказом моего гостя, и обаянием его личности, я жадно впитывал каждое слово. Мне хотелось бы утешить его; но как могу я обещать радости жизни тому, кто безмерно несчастен и лишился всех надежд? Нет! Единственную радость, какую он еще способен вкусить, он ощутит, когда его смятенный дух найдет покой в смерти. Правда, он и сейчас имеет одно утешение, порожденное одиночеством и болезненным бредом: когда он в забытьи видит своих близких и в общении с ними находит облегчение своих страданий или новые силы для мести, ему кажется, что это не плод его воображения, но что они действительно являются к нему из какого-то отдаленного мира. Эта вера придает его грезам серьезность и делает их для меня почти столь же значительными и интересными, как сама правда.

Впрочем, история его жизни и его несчастий — не единственная тема наших бесед. Он весьма начитан и во всех общих вопросах обнаруживает огромные познания и изрядную остроту суждений. Он умеет говорить убедительно и трогательно; нельзя слушать без слез, когда он рассказывает о волнующем событии или хочет вызвать ваше сочувствие. Как великолепен он, вероятно, был в дни своего расцвета, если даже сейчас, на пороге смерти, так благороден и величав!.. По-видимому, он сознает свою прежнюю силу и глубину своего падения.

«В молодости, — сказал он однажды, — я верил, что предназначен для великих дел. Я умею глубоко чувствовать, но одновременно наделен трезвым умом, необходимым для великих деяний. Сознание того, как много мне дано, поддерживало меня, когда другой впал бы в уныние, ибо я считал преступным растрачивать на бесплодную печаль талант, который может служить людям. Размышляя над тем, что мне удалось свершить — какникак создать разумное живое существо, — я не мог не гордиться своим превосходством над обычными людьми. Но эта мысль, окрылявшая меня в начале пути, теперь заставляет еще ниже склонить голову. Все мои стремления и надежды погибли; подобно архангелу, возжаждавшему высшей власти, я прикован цепями в вечном аду. Я был наделен одновременно и живым воображением, и острым, упорным аналитическим умом; сочетание этих качеств позволило мне задумать и осуществить создание человеческого существа. Я и сейчас не могу без волнения вспомнить, как я мечтал, пока работал. Я мысленно ступал по обла-

кам, ликовал от сознания своего могущества, весь горел при мысли о благодетельных последствиях моего открытия. Я с детства любил мечтать о высоком и был полон благородного честолюбия — а теперь какое страшное падение! О друг мой, если бы вы знали меня таким, каким я был когда-то, вы не узнали бы меня в моем нынешнем жалком состоянии. Уныние было мне почти неведомо; казалось, все вело меня к великой цели, пока я не пал, чтобы уже никогда не подняться».

Неужели мне суждено потерять этого замечательного человека? Я жаждал иметь друга — такого, который полюбил бы меня и разделял мои стремления. И — о чудо! — я нашел его в здешних морях, но боюсь, что нашел лишь для того, чтобы оценить по достоинству и тут же вновь потерять. Я пытаюсь примирить его с жизнью, но он отвергает всякую мысль об этом.

«Спасибо вам, Уолтон, — говорит он, — за доброту к несчастному, но, обещая мне новые привязанности, неужели вы думаете, что они заменят мои утраты? Кто может стать для меня тем, чем был Клерваль? Какая женщина может стать второй Элизабет? Друзья детства, даже когда они не пленяют нас исключительными достоинствами, имеют над нашей душой власть, какая редко достается друзьям позднейших лет. Им известны наши детские склонности, которые могут впоследствии изменяться, но никогда не исчезают совершенно; они могут верно судить о наших поступках, потому что лучше знают наши истинные побуждения. Брат или сестра неспособны заподозрить вас во лжи или измене, разве только вы рано обнаружили к ним склонность; тогда как друг, даже очень к вам привязанный, может иногда невольно возбудить подозрения. А у меня были друзья, любимые не только по привычке, но и за их достоинства; где бы я ни был, мне всюду слышатся ласковые слова Элизабет и голос Клерваля. Их уже нет, и я оказался в таком одиночестве, что лишь одно чувство еще дает мне силу жить. Будь я занят важными открытиями, обещающими много пользы людям, я хотел бы жить ради их завершения. Но это мне не суждено; я должен выследить и уничтожить создание, которому дал жизнь; тогда моя земная миссия будет выполнена и я смогу умереть».

2 сентября

Любимая сестра, это письмо я пишу тебе, находясь среди опасностей и в полном неведении насчет того, суждено ли мне увидеть милую Англию и еще более милых сердцу людей, живущих там. Меня окружают непроходимые нагромождения льда, ежеминутно грозящие раздавить мое судно. Смельчаки, которых я набрал себе в спутники, смотрят на меня с надеждой. Но что

и могу сделать? Положение наше ужасно, но мужество и надежда не покидают меня. Страшно, конечно, подумать, что я подверг опасности стольких людей. Если мы погибнем, виною будет моя безрассудная затея.

А что останется тебе, Маргарет? Ты не узнаешь о моей гибели и будешь нетерпеливо ждать моего возвращения. Пройдут годы, но надежда среди приступов отчаяния все еще будет тебя дразнить. О милая сестра, мучительная гибель твоих надежд страшит меня более собственной смерти. И все же у тебя есть муж и прелестные дети; ты можешь быть счастлива; да пошлет тебе небо благословение и счастье!

Мой бедный гость смотрит на меня с глубоким сочувствием. Он пытается вселить в меня надежду и говорит так, словно считает жизнь ценным даром. Он напоминает мне, как часто мореплаватели встречают в здешних широтах подобные препятствия, и я помимо своей воли начинаю верить в счастливый исход. Даже матросы ощущают силу его красноречия: когда он говорит, они забывают об отчаянии, он подымает их дух; слыша этот голос, они начинают верить, что огромные ледяные горы — не более чем холмики, насыпанные кротами, пустячные препятствия, которые исчезнут перед решимостью человека. Но этот подъем духа длится у них недолго; каждый день задержки наполняет их страхом, и я начинаю бояться, как бы отчаяние не привело к мятежу.

5 сентября

Сейчас разыгралась такая интересная сцена, что я не могу не записать ее, хотя эти записки едва ли когда-нибудь попадут к тебе.

Мы все еще окружены льдами, и нам все еще грозит опасность быть раздавленными. Холод усиливается, и многие из моих несчастных спутников уже нашли смерть в здешних суровых краях. Франкенштейн слабеет день ото дня; в его глазах еще горит лихорадочный огонь, но он до крайности истощен и, когда ему приходится сделать какое-нибудь усилие, тотчас же снова погружается в забытье, весьма похожее на смертный сон.

Как я писал в моем прошлом письме, я опасался мятежа. Нынче утром, когда я смотрел на изможденное лицо моего друга — глаза его были полузакрыты, и все тело расслаблено, — несколько матросов попросили дозволения войти в каюту. Они вошли, и их вожак обратился ко мне. Он заявил, что он и его спутники — депутация от всего экипажа с просьбой, в которой я, по справедливости, не могу отказать. Мы затерты во льдах и, быть может, вообще из них не выберемся; но они опасаются,

что, если во льду и откроется проход, я буду настолько безрассуден, что пойду дальше и поведу их к новым опасностям, даже когда им удастся счастливо избегнуть нынешней. Поэтому они хотят, чтобы я торжественно обязался идти к югу, как только судно высвободится из льдов.

Это взволновало меня. Я еще не отчаялся достичь цели и не думал о возвращении, если б нам удалось высвободиться. Но мог ли я, по справедливости, отказать им в их требовании? Я колебался, и тут Франкенштейн, сперва молчавший и казавшийся настолько слабым, что едва ли даже слушал нас, встрепенулся; глаза его сверкнули, а щеки зарумянились от кратковременного прилива сил. Обратясь к матросам, он сказал: «Чего вы хотите? Чего требуете от вашего капитана? Неужели вас так легко отвратить от цели? Разве вы не называли эту экспедицию славной? А почему славной? Не потому, что путь ее обещал быть тихим и безбурным, как в южных морях, а именно потому, что он полон опасностей и страхов; потому что тут на каждом шагу вы должны испытывать свою стойкость и проявлять мужество, потому что здесь вас подстерегают опасности и смерть, а вы должны глядеть им в лицо и побеждать их. Вот почему это — славное и почетное предприятие. Вам предстояло завоевать славу благодетелей рода людского, ваши имена повторяли бы с благоговением, как имена смельчаков, не убоявшихся смерти ради чести и пользы человечества. А вы при первых признаках опасности, при первом же суровом испытании вашего мужества отступаете и готовы прослыть за людей, у которых не хватило духу выносить стужу и опасности, — бедняги замерзли и захотели домой, к теплым очагам. К чему были тогда все сборы, к чему было забираться так далеко и подводить своего капитана? Проще было сразу признать себя трусами. Вам нужна твердость настоящих мужчин и даже больше того: стойкость и неколебимость утесов. Этот лед не так прочен, как могут быть ваши сердца; он тает, он не устоит перед вами, если вы так решите. Не возвращайтесь к вашим близким с клеймом позора. Возвращайтесь как герои, которые сражались и победили, которые не привыкли поворачиваться к врагу спиной».

Его голос выразительно подчеркивал все высказываемые им чувства, глаза сверкали мужеством и благородством; неудивительно, что мои люди были взволнованы. Они переглядывались и ничего не отвечали. Тогда заговорил я, велев им разойтись и подумать над сказанным; я обещал, что не поведу их дальше на север, если они этому решительно воспротивятся, но выразил надежду, что вместе с размышлением к ним вернется мужество.

Они разошлись, а я обернулся к моему другу, но он крайне ослабел и казался почти безжизненным.

Чем все это кончится, не знаю; я бы, кажется, охотнее умер, чем вернулся так бесславно, не выполнив своей задачи. Боюсь, однако, что именно это мне суждено; не побуждаемые жаждой славы и чести, люди ни за что не станут добровольно терпеть нынешние лишения.

7 сентября

Жребий брошен; я дал согласие вернуться, если мы не погибнем. Итак, мои надежды погублены малодушием и нерешительностью, я возвращаюсь разочарованный, ничего не узнав. Чтобы терпеливо снести подобную несправедливость, надобно больше философской мудрости, чем есть у меня.

12 сентября

Все кончено; я возвращаюсь в Англию. Я потерял надежду прославиться и принести пользу людям — потерял и друга. Но постараюсь подробно рассказать тебе об этих горьких минутах, милая сестра, и, раз волны несут меня к Англии и к тебе, не буду отчаиваться.

9 сентября лед пришел в движение; ледяные острова начали раскалываться, и грохот, подобный грому, был слышен издалека. Нам грозила большая опасность, но, так как мы могли лишь пассивно выжидать событий, мое внимание было обращено прежде всего на несчастного гостя, которому стало настолько худо, что он уже не вставал с постели. Лед позади нас трещал, его с силой гнало к северу, подул западный ветер, и 11-го числа проход на юг полностью освободился. Когда матросы увидели это и узнали о предстоящем возвращении на родину, они испустили крик радости; они кричали громко и долго. Франкенштейн очнулся от забытья и спросил о причине шума. «Они радуются, — сказал я, — потому что скоро вернутся в Англию». — «Итак, вы действительно решили вернуться?» — «Увы, да; я не могу противиться их требованиям. Не могу вести их, против их воли, в это опасное плавание и вынужден вернуться». — «Что ж, возвращайтесь; а я не вернусь. Вы можете отказаться от своей задачи. Моя поручена мне Небесами, и я отказываться не смею. Я слаб, но духи, помогающие мне в моем отмщении, придадут мне достаточно сил».

С этими словами он попытался подняться с постели, но это оказалось ему не по силам; он опрокинулся навзничь и потерял сознание.

Прошло много времени, прежде чем он очнулся; и мне не раз казалось, что жизнь уже отлетела от него. Наконец он открыл глаза; он дышал с трудом и не мог говорить. Врач дал ему

успокоительное питье и велел его не тревожить. Мне он сообщил, что часы моего друга сочтены.

Итак, приговор был произнесен, и оставалось лишь горевать и ждать. Я сидел у его постели; глаза Франкенштейна были закрыты, казалось, что он спит; но скоро он слабым голосом окликнул меня и, попросив придвинуться ближе, сказал: «Увы! Силы, на которые я надеялся, иссякли. Я чувствую, что умираю; а он, мой враг и преследователь, вероятно, жив. Не думайте, Уолтон, что в свои последние минуты я все еще ощущаю ту ненависть и жажду мести, которые однажды высказал; я лишь чувствую, что вправе желать смерти моего противника. В эти дни я много думал над своими прошлыми поступками — и не могу их осуждать.

Увлекшись своей идеей, я создал разумное существо и был обязан по возможности обеспечить его счастье и благополучие. Это был мой долг; но у меня был и другой долг, еще более высокий. Долг в отношении моих собратьев-людей стоял на первом месте, ибо здесь шла речь о счастье или несчастье многих. Руководясь этим долгом, я отказался — и считаю, что правильно, — создать подругу для моего первого творения. Он проявил невиданную злобность и эгоизм: он убил моих близких; он уничтожил людей, тонко чувствующих, счастливых и мудрых. Я не знаю, где предел его мстительности. Он несчастен, но, чтобы он не мог делать несчастными других, он должен умереть. Его уничтожение стало моей задачей, но я не сумел ее выполнить. Когда мной руководили злоба и личная месть, я просил вас завершить мое неоконченное дело и повторяю свою просьбу сейчас, когда меня побуждают к тому разум и добродетель.

Но я не могу просить вас ради этой задачи отречься от родины и друзей; сейчас, когда вы возвращаетесь в Англию, маловероятно, чтобы вы с ним встретились. Я предоставляю вам самому решить, что вы сочтете своим долгом; мой ум и способность суждения уже отуманены близостью смерти. Я не смею просить вас делать то, что мне кажется правильным, ибо мною, быть может, все еще руководят страсти.

Меня тревожит, что он жив и будет творить зло; если б не это, то нынешний час, когда я жду успокоения, был бы единственным счастливым часом за последние годы моей жизни. Тени дорогих усопших уже видятся мне, и я спешу к ним. Прощайте, Уолтон! Ищите счастья в покое и бойтесь честолюбия, бойтесь даже невинного по видимости стремления отличиться в научных открытиях. Впрочем, к чему я говорю это? Сам я потерпел неудачу, но другой, быть может, будет счастливее».

Голос его постепенно слабел; наконец, утомленный усилиями, он умолк. Спустя полчаса он снова попытался заговорить,

но уже не смог; он слабо пожал мне руку, и глаза его навеки сомкнулись, а кроткая улыбка исчезла с его лица.

Маргарет, что мне сказать о безвременной гибели этого великого духа? Как передать тебе всю глубину моей скорби? Все, что я мог бы сказать, будет слабо и недостаточно. Я плачу, душа моя омрачена тяжелой потерей. Но наш путь лежит к берегам Англии, и там я надеюсь найти утешение.

Однако меня прерывают. Что могут означать эти звуки? Сейчас полночь; дует свежий ветер, и вахтенных на палубе не слышно. Вот опять; мне слышится словно человеческий голос, но более хриплый; он доносится из каюты, где еще лежит тело Франкенштейна. Надо пойти и посмотреть, в чем дело. Спокойной ночи, милая сестра.

Великий Боже! Что за сцена сейчас разыгралась! Я все еще ошеломлен ею. Едва ли я сумею рассказать о ней во всех подробностях, однако моя повесть была бы неполной без этой последней, незабываемой сцены.

Я вошел в каюту, где лежали останки моего благородного и несчастного друга. Над гробом его склонилось какое-то существо, которое не опишешь словами: гигантского роста, но уродливо непропорциональное и неуклюжее. Его лицо скрывали пряди длинных волос; видна была лишь огромная рука, цветом и видом напоминавшая руку мумии. Заслышав шаги, чудовище оборвало горестные причитания и метнулось к окну. Никогда я не видел ничего ужаснее этого лица, ничего столь же отталкивающего и уродливого. Я невольно закрыл глаза и напомнил себе, что у меня есть долг в отношении убийцы. Я приказал ему остановиться.

Он замер, глядя на меня с удивлением, но тут же, снова обернувшись к безжизненному телу своего создателя, казалось, позабыл обо мне, весь охваченный каким-то исступлением.

«Вот еще одна моя жертва! — воскликнул он. — Этим завершается цепь моих злодеяний. О Франкенштейн! Благородный подвижник! Тщетно было бы мне сейчас молить тебя о прощении! Мне, который привел тебя к гибели, погубив всех, кто был тебе дорог. Увы! Он мертв, он мне не ответит».

Тут его голос прервался; первым моим побуждением было выполнить предсмертное желание моего друга и уничтожить его противника, но я колебался, движимый смешанными чувствами любопытства и сострадания. Я приблизился к чудовищу, не смея, однако, еще раз поднять на него глаза, — такой ужас вызывала его нечеловеческая уродливость. Я попробовал заговорить, но слова замерли у меня на устах. А демон все твердил бессвязные и безумные укоры самому себе. Наконец, когда его страстные выкрики на мгновение смолкли, я решился заговорить.

«Твое раскаяние бесполезно, — сказал я. — Если бы ты слушался голоса совести и чувствовал ее укоры, прежде чем простирать свою адскую месть до этой последней черты, Франкенштейн был бы сейчас жив».

«А ты думаешь, — отозвался демон, — что я и тогда не чувствовал мук и раскаяния? Даже он, — продолжал монстр, указывая на тело, — не испытал, умирая, и одной десятитысячной доли тех терзаний, какие ощущал я, пока вел его к гибели. Себялюбивый инстинкт толкал меня все дальше, а сердце было отравлено сознанием вины. Ты думаешь, что стоны Клерваля звучали для меня музыкой? Мое сердце было создано, чтобы отзываться на любовь и ласку, а когда несчастья вынудили его к ненависти и злу, это насильственное превращение стоило ему таких мук, каких ты не можешь даже вообразить.

После убийства Клерваля я возвратился в Швейцарию разбитый и подавленный. Я жалел, мучительно жалел Франкенштейна, а себя ненавидел. Но когда я узнал, что он, создавший и меня самого, и мои невыразимые муки, лелеет мечту о счастье, что, ввергнув меня в отчаяние, он ищет для себя радости именно в тех чувствах и страстях, которые мне навсегда недоступны, — когда я узнал это, бессильная зависть и горькое негодование наполнили меня ненасытной жаждой мести. Я вспомнил свою угрозу и решил исполнить ее. Я знал, что готовлю себе нестерпимые муки; я был всецело во власти побуждения, ненавистного мне самому, но неодолимого. И все же, когда она умерла!.. Нет, я не могу даже сказать, что я страдал. Я отбросил всякое чувство, подавил всякую боль и достиг предела холодного отчаяния. С той поры зло стало моим благом. Зайдя так далеко, я не имел уже выбора и вынужден был следовать по избранному пути. Завершение моих дьявольских замыслов сделалось для меня неутолимой страстью. Теперь круг замкнулся, и вот последняя из моих жертв!»

Я был сперва взволнован этими полными отчаяния словами, но, вспомнив, что говорил Франкенштейн о красноречии чудовища и его умении убеждать, и взглянув еще раз на безжизненное тело моего друга, снова загорелся негодованием.

«Негодяй! — воскликнул я. — Что же ты пришел хныкать над бедами, которые сам же и принес? Ты бросил зажженный факел в здание, а когда оно сгорело, садишься на развалины и сокрушаешься о нем. Лицемерный дьявол! Если бы тот, о ком ты скорбишь, был жив, он снова стал бы предметом твоей адской мести и снова пал бы ее жертвой. В тебе говорит не жалость — ты жалеешь только о том, что жертва уже недосягаема для твоей злобы».

«О нет, это не так, совсем не так, — прервал меня демон. — И однако, таково, как видно, впечатление, которое производят

мои поступки. Но я не ищу сострадания. Никогда и ни в ком мне не найти сочувствия. Когда я впервые стал искать его, то ради того, чтобы разделить с другими любовь к добродетели, чувства любви и преданности, переполнявшие все мое существо. Теперь, когда добро стало для меня призраком, когда любовь и счастье обернулись ненавистью и горьким отчаянием, к чему искать сочувствия? Мне суждено страдать в одиночестве, покуда я жив; и когда умру, все будут клясть самую память обо мне. Когда-то я тешил себя мечтами о добродетели, о славе и счастье. Когда-то я тщетно надеялся встретить людей, которые простят мне мой внешний вид и полюбят за те добрые чувства, какие я проявлял. Я лелеял высокие помыслы о чести и самоотверженности. Теперь преступления низвели меня ниже худшего из зверей. Нет на свете вины, нет злобы, нет мук, которые могли бы сравниться с моими. Вспоминая страшный список своих злодеяний, я не могу поверить, что я — то самое существо, которое так восторженно поклонялось Красоте и Добру. Однако это так; падший ангел становится злобным дьяволом. Но даже враг Бога и людей в своем падении имел друзей и спутников, и только я одинок.

Ты, называющий себя другом Франкенштейна, вероятно, знаешь о моих злодеяниях и несчастьях. Но как бы подробно он ни рассказывал тебе о них, он не мог передать ужаса тех часов — нет, не часов, а целых месяцев, — когда меня сжигала неутоленная страсть. Я разрушал его жизнь, но не находил в этом удовлетворения. Желания по-прежнему томили меня, я по-прежнему жаждал любви и дружбы, а меня все так же отталкивали. Разве это справедливо? Почему меня считают единственным виновным, между тем как передо мною виновен весь род людской? Почему вы не осуждаете Феликса, с презрением прогнавшего друга от своих дверей? Почему не возмущаетесь крестьянином, который бросился убивать спасителя своего ребенка? О нет, их вы считаете добродетельными и безупречными! И только меня, одинокого и несчастного, называют чудовищем, гонят, бьют и топчут. Еще и сейчас кровь моя кипит при воспоминании о перенесенных мною обидах.

Но я негодяй — это правда! Я убил столько прелестных и беззащитных существ; я душил невинных во время сна; я душил тех, кто никогда не причинял вреда ни мне, ни кому-либо другому. Я обрек на страдания своего создателя — подлинный образец всего, что в человеке достойно любви и восхищения; я преследовал его, пока не довел до гибели. Вот он лежит, безжизненный и холодный. Ты ненавидишь меня, но твоя ненависть — ничто по сравнению с той, которую я сам к себе чувствую. Я гляжу на руки, совершившие эти злодейства, думаю о сердце, где зародился подобный замысел, и жажду минуты, ко-

гда не буду больше видеть этих рук, не буду больше терзаться воспоминаниями и угрызениями совести.

Не опасайся, что я еще кому-либо причиню зло. Мое дело почти закончено. Для завершения всего, что мне суждено на земле, не нужна ни твоя, ни еще чья-либо смерть — а только моя собственная. Не думай, что я стану медлить с принесением этой жертвы. Я покину твой корабль на том же ледяном плоту, который доставил меня сюда, и отправлюсь дальше на север; там я воздвигну себе погребальный костер и превращу в пепел свое злополучное тело, чтобы мои останки не послужили для какого-нибудь любопытного ключом к запретной тайне и он не вздумал создать другого, подобного мне. Я умру. Я больше не буду ощущать тоски, которая сейчас снедает меня, не стану больше терзаться желаниями, которые не могу ни утолить, ни подавить. Тот, кто вдохнул в меня жизнь, уже мертв, а когда и меня не станет, вскоре исчезнет самая память о нас обоих. Я уже не увижу солнца и звезд, не почувствую на своих щеках дыхания ветра. Для меня исчезнут и свет, и все ощущения — и в этом небытии я должен найти свое счастье. Несколько лет тому назад, когда мне впервые предстали образы этого мира, когда я ощутил ласковое тепло лета, услышал шум листвы и пение птиц, мысль о смерти вызвала бы у меня слезы, а сейчас это моя единственная отрада. Осквернённый злодейством, терзаемый укорами совести, где я найду покой, если не в смерти?

Прощай! Покидая тебя, я расстаюсь с последним, которого увидят эти глаза. Прощай, Франкенштейн! Если б ты еще жил и желал мне отомстить, тебе лучше было бы обречь меня жить, чем предать уничтожению. Но все было иначе; ты стремился уничтожить меня, чтобы я не творил зла, и, если по каким-либо неведомым мне законам мысль и чувства в тебе не угасли, ты не можешь пожелать мне более жестоких мук, чем те, что я ощущаю. Как ни был ты несчастен, мои страдания были еще сильней, ибо жало раскаяния не перестанет растравлять мои раны, пока их навек не закроет смерть.

Но скоро, скоро я умру и уже ничего не буду чувствовать. Жгучие муки скоро угаснут во мне. Я гордо взойду на свой погребальный костер и с ликованием отдамся жадному пламени. Потом костер погаснет и ветер развеет мой пепел над водными просторами. Мой дух уснет спокойно, а если будет мыслить, то это, конечно, будут совсем иные мысли. Прощай!»

С этими словами он выпрыгнул из окна каюты на ледяной плот, причаленный вплотную к нашему кораблю. Скоро волны унесли его, и он исчез в темной дали.

РЭМСИ КЭМПБЕЛЛ

Иная жизнь

Рэмси Кэмпбелл — величайший мастер жанра ужасов среди ныне здравствующих британских писателей. В числе наиболее известных его романов «Кукла, съевшая его мать» («The Doll Who Ate His Mother»), «Лицо, которое должно умереть» («The Face That Must Die»), «Паразит» («The Parasite»), «Безымянный» («The Nameless»), «Коготь» («The Claw»), «Воплощенный» («Incarnate»), «Одержимость» («Obsession»), «Голодная луна» («The Hungry Moon»), «Влияние» («The Influence»), «Древние образы» («Ancient Images»), «Полуночное солнце» («Midnight Sun»), «Досчитай до одиннадцати» («The Count of Eleven»), «Давно пропавший» («The Long Lost») и «Безопасное место» («The One Safe Place»).

Рассказы писателя выходили в многочисленных сборниках, среди которых можно отметить «Наедине с ужасами» («Alone With the Horrors») и «Странные вещи и еще более странные места» («Strange Things and Stranger Places»). В сотрудничестве со Стивеном Джонсом Кэмпбелл выпускает ежегодную антологию «Ужасы. Лучшее» («Best New Horror series»).

О представленном ниже произведении автор говорит так: «Рассказ „Иная жизнь" был одной из последних работ, созданных под влиянием комиксов издательства „EC Comics". Тогда, в 1976 году, большую часть моего времени занимало написание романов, основанных на классических фильмах ужасов кинокомпании „Universal". Эти произведения публиковались под коллективным псевдонимом Карл Дредстоун. Изначально я предлагал имя Карл Тантоун, но Мэнли Уэйд Веллман по вполне понятным причинам счел, что читатели решат, будто под этим псевдонимом скрывается он сам. Хотя в Англии, в довершение общей неразберихи, некоторые работы вышли под другим псевдонимом — Э. К. Лейтон. Я надеялся потом переиздать омнибусом романы, выпущенные под псевдонимом Дредстоун, но, увы, эта задумка не осуществилась. Пользуясь случаем, я, по крайней мере, поясню, что моему перу принадлежат только „Невеста Франкенштейна" („The Bride of Frankenstein"), „Оборотень" („The Wolfman") и „Дочь Дракулы" („Dracula's Daughter"). Все остальные романы не имеют ко мне никакого отношения, и теперь даже Пирс Даджен, составитель этой серии, не может вспомнить, кто что написал».

Неужели ослеп? Хотя явно кто-то за ним наблюдает. Смутное мимолетное впечатление, похожее на отголосок сна: ясные подрагивающие очертания головы, а вместо лица мрак. Возможно, именно это видение разбудило его.

Глаза застила тьма, плотная, как чернозем, и тяжкая, словно сон, она явно стремилась смирить разум и заставить плыть по течению. Но он боролся с хаотичным потоком мыслей. И готов был запаниковать, потому что понятия не имел, где находится.

Он постарался успокоиться. Нужно проанализировать ощущения, это наверняка поможет определиться. Только думалось с трудом. Разум растворялся в полной тьме, глубину которой измерить не представлялось возможным. Такое чувство, что его края распадаются, а в самую сердцевину вгрызается небытие. Он бессловесно взвыл.

Хоть тело осталось при нем. Правда, он его не чувствовал. Еще пугало то, что эхо было каким-то глухим и его сразу поглотили стены, расположенные совсем рядом. Да и вопль показался ему чужим, совсем не похожим на его собственный голос.

Если голос не его, тогда чей же? Эту мысль он продолжать не стал. Теперь, когда до некоторой степени вернулось ощущение тела, окрепло и самообладание. Хоть и слабо, но все же конечности он чувствовал: они очень вялые, не шевельнуть ни рукой ни ногой. Очевидно, он еще не оправился от выпавшего на его долю сурового испытания.

Точно, испытание... Теперь он начал припоминать: его понесло и засосало в реку, бурные воды с лихорадочным ревом сомкнулись над его лицом; под жутким давлением толщи воды он пошел на дно, в пучину, где дыхание вырывалось мучительным бульканьем. А потом — тьма, быть может, та самая, что окутывала его сейчас. Не река ли вынесла его сюда?

Абсурд. Вероятно, кто-то его спас и доставил сюда. Но все-таки где он? Зачем сначала спасать, а потом бросать его здесь одного в непроглядной тьме? Почему никто не пришел даже тогда, когда он кричал?

Он подавил подступавшую панику. Нужно ко всему относиться философски — это же его призвание, в конце-то концов. Ах, это тоже всплыло в памяти, что немного успокаивало. Наверное, лежа в ожидании возвращения сил, можно поразмышлять о своих убеждениях. Это его поддержит. Но нахлынувший страх убедил в том, что здесь лучше подобных мыслей избегать. Он нервно затих, чувствуя, как уязвима и обнажена его сущность. В осязаемой тьме лоб покрылся холодным потом.

Нужно смириться, пока не удастся разузнать побольше. Шуметь нельзя, надо подождать, когда вернутся силы. К нему постепенно возвращалась способность ощущать. Казалось, ощу-

щения потихоньку принимают форму, словно он заново воплощается в тело. От этой мысли его передернуло. И на миг он чуть не впал в панику.

Он сконцентрировался на ощущениях. Конечности казались ему чересчур большими и холодными как камень. Пока что непонятно, истинное это чувство или же искаженное следствие болезни. Тревожила угроза неправильно воспринимать действительность, ибо это значит, что ни в чем нельзя быть уверенным. Это угнетало, как и слепящая тьма. Казалось, что мозг и нервы обнаженными парят в вакууме. Неужели он в самом деле ослеп?

Как можно потерять зрение из-за того, что чуть не утонул? Пока он осмеивал это нелепое предположение, мрак налипал на лицо подобно маске. Разве тьма может быть такой всепоглощающей? Припомнилось лицо, которое вроде бы привиделось. Это доказывало способность видеть — если, конечно, оно не было видением подсознания, что вполне вероятно.

Мысль, что он, слепой и лишенный сил, очутился в каком-то незнакомом месте, ужаснула его. Он отверз обрамленный неправдоподобно раздутыми губами рот и снова закричал. Вернется ли здешний страж — если он вообще имеется?

Он слушал, как отзвуки его вопля, глухие и искаженные, наталкиваются на камень. Ему стало жутко. Словно пытаясь вернуть вырвавшийся крик, он бился в безответном теле. Не надо привлекать к себе внимание стража, не нужно давать понять, что он жив и беспомощен. Как ни старался он избавиться от страхов, они громогласно заявляли, что разум-то уже понял, где он находится.

Некоторое время слышался лишь скорый и неровный стук сердца, которое словно смущалось отзвуков собственного биения, наполняя тело суматохой глухих ударов. Вскоре стало ясно, что это приближаются какие-то неясные звуки. Сквозь тьму кто-то, шаркая ногами, медленно приближался к нему.

Он крепко сжал веки и постарался не двигаться. Так же он лежал в детстве, когда ночь окружала его демонами, которые хотели утащить его в ад. Воспоминание ужаснуло его. Он попытался выбросить его из головы, но оно цепко впилось в мозг. Но времени задуматься не было — шаги уже дошаркали и остановились совсем близко.

Раздался резкий скрежет, и его залил свет — оранжевый и трепетный, он наваливался на плотно закрытые веки. Слышалось потрескивание горящего факела, который поднесли совсем близко к глазам, жар так и норовил его лизнуть. Он съежился, отдавшись всепоглощающему страху, и пытался удержать веки и не моргать. Наконец факел немного удалился, и с металли-

ческим скрежетом вновь вернулась тьма. Страж зашаркал прочь и растаял.

Снова ослепнув, он в одиночестве лежал в клетке. По отражавшемуся от камня эху и лязгу смотрового глазка он понял, где находится. Как можно попасть в тюрьму за попытку спасти тонущую девушку? Или же, пользуясь удобным случаем, власти засадили его за убеждения, противные христианским, которые осуждали теологи университета и старый приходской священник? Он задумался и пришел к выводу, что это не так. В данном случае убеждения ни при чем, вовсе нет.

Так просто разум не успокоишь. Выстраивались обрывки мыслей, делались яснее. Скоро он все вспомнит, совсем все. Он уже припомнил почти все, только вдруг осознал, что имени своего не знает. Его снова охватил страх и глубже засосал во тьму, где нет ни звуков, ни времени. Похоже на начало вечности.

Возможно, так и есть. Перед тем как осознать эту мысль и всецело поддаться ужасу, он попробовал пошевелиться. Нужно, по крайней мере, перестать быть беспомощным. Вероятно, можно одолеть стража. Конечно же можно.

Он напрягся. Руки и ноги казались чрезмерно большими и отдельными от него — раздувшимися и окоченевшими, ведь он утонул. Конечно же, они не от этого казались чужими. Причина в том, что он изо всех сил пытался коснуться тела силой разума скорее не с истинной надеждой, а чтобы отвлечься. Мысли терпеливо ждали признания.

Наконец со вздохом, с каким расстаются с жизнью, он беспомощно оставил попытки. Тут же нахлынули мысли. Тело неуправляемо, потому что он мертв.

Это ужасное соображение многое объясняло. И сокрушило его, будто тьма превратилась в камень. Слепота отнимала у разума всякую способность к защите. Когда он пытался размышлять, философия подводила его вплотную к страхам. Он был одиноким ребенком, брошенным в темноте.

Реку он помнил слишком отчетливо, соответственно, обмана тут не было. Он шел по берегу Дуная и увидел, как в воду свалилась девушка. Ей на помощь бросились двое: он и еще один человек. Тот, другой, доплыл до девушки. Но его никто не спас; скрытое течение подхватило его и потащило вниз, все глубже и глубже, слишком глубоко для того, чтобы выжить. Теперь воспоминание затягивало его все дальше и дальше в безжалостную тьму.

Прогуливаясь по берегу Дуная, он обдумывал лекцию, которую собирался читать на следующий день. Пифагор, Платон, Кант. Могло ли это иметь какое-то отношение к тяжелому по-

ложению, в котором он оказался? Конечно же нет. Никакого. Но очень страшно узнать, где находишься.

Весьма недостойно. Рано или поздно это выяснится, и он не в силах ничего изменить; нужно смириться. Если бы только он не был таким беспомощным! Пожалуй, если попытаться потихоньку, то можно добиться контроля над своим телом; если он сможет пошевелить хотя бы одной рукой или ногой...

Он постарался прочувствовать конечности. Все четыре казались раздутыми, но ни одна не болела. Все пропитались холодом камня. Спина напоминала плиту стола в морге; разум, должно быть, путал ее с камнем, на котором он лежал.

Нужно сконцентрироваться на правой руке. Она далека и словно отрезана беспроглядной тьмой. Теперь пальцы. Он хотел почувствовать каждый в отдельности, но они были прижаты друг к другу наподобие варежки, словно единый кусок плоти. Они были перевязаны, как и все остальное тело. В панике он попытался поднять руку. Только она, как кусок мяса на прилавке мясника, осталась недвижима.

И вот он снова ребенок в темноте, только еще более одинокий: его покинуло даже время. Он вспомнил, как в детстве лежал во мраке и молился о том, чтобы никогда не потерять веру, ибо тот, кто умрет безбожником, обречен на вечные страдания. И худшее и самое страшное то, что муки-то соответствуют жертве.

Он сопротивлялся охватившему его ужасу. Как можно сдаться, не попытавшись шевельнуть всеми членами? Он действовал разумом на ощупь, словно в загроможденной темной комнате; его окружала груда мертвой плоти, причем его собственной. Наконец очередь дошла до левой руки.

Перевязанная, она безжизненно лежала на камне. Наверное, так лежит рука мумии. Где-то в ней среди мяса были спрятаны нервы и мышцы, только они мертвы и безразличны. Он заставил разум установить связь с рукой. Дыхание участилось. Он скрежетал зубами, и в черепе раздавался скрип костей.

Нужно все-таки дотянуться, ну еще чуть-чуть. Он сможет. Только один палец. Но тьма рассеивала разум, который бесформенно плавал в мясе. Мысль о древней истории побудила вспомнить о Пифагоре, Платоне, Канте, фон Гердере, Гёте. Все они верили... Корчился его разум, пытаясь сдвинуть мысли с места. Навалилась ярость, и виной тому было крушение надежд, и в ответ под путами сжался кулак.

На миг он решил, что ему показалось. Но пальцы все еще двигались, пытаясь освободиться от положения «в варежке». Даже удалось сдержать победный вздох, пока он не долетел до стен. Отдохнув, он приподнял руку, которая в темноте двину-

лась вверх и коснулась прохладной стены. Вскоре он сам сможет пошевелиться, а затем... Рука поднялась на несколько дюймов, потом задрожала и упала, сотрясая все нервы.

Он все еще очень слаб, не нужно сразу ждать многого, необходимо время. Несколько попыток убедили его в том, что выше руку не поднять, равно как никакую другую часть тела. Рука никак не желала сгибаться и не могла дотянуться до пут, отказывалась подчиняться ему. Разум походил на застойный водоем в массе нераспознаваемой плоти. Более не приходилось сомневаться в том, где находишься.

Терзали его с изысканной жестокостью: для того чтобы подчистую разрушить надежды, сперва позволили испытать видимость победы. Теперь пришло время мучения беспомощного ожидания, как у осужденного, — за исключением того, что страдания его ждут вечные.

Детские страхи оказались правдой. Зря он так некстати позабыл о них. Он осужден за то, что подверг сомнению детскую веру, за убеждение в реинкарнации, за которое он так цеплялся в миг смерти там, в реке. Заново родиться в незнакомом теле для бесконечной пытки — таков его ад.

Его могут заставить ждать целую вечность, и это будет лишь отрезком отведенного на страдания времени. Разум заполонят уготованные для него страдания, продуманные так, чтобы мучился он как можно сильнее. Верно, так и есть. А ведь его беспомощное тело не может даже корчиться от боли. Но они наверняка заставят его чувствовать.

В голове пульсировало, словно она была мощным насосом. В ушах, словно близкое море, оглушительно стучала кровь. И вновь он не сразу осознал, что слышит посторонние звуки. Вернулись шаркающие шаги, а с ними вместе другие — более легкие и решительные. Идут к нему.

Он задержал дыхание. Нужно лежать совершенно неподвижно; ведь они ждут, когда он себя выдаст. Зубы сжаты, губы дрожат. Из-за двери послышалось неясное бормотание. Хотя голоса напоминали человеческие, он был уверен в том, что не дверь виной странным искажениям звука. Должно быть, его обсуждают. Он попытался расслабить лицо.

Заскрежетал металл. Свет факела упал на лицо. На веках плясали отблески огня и бросали вызов: моргнешь или не моргнешь? Дыхание разбухло и камнем застряло в груди. Послышалось бормотание, затем скрежет металла отсек свет. Тут же ужасающе шумно вырвалось дыхание.

Конечно же, они не могли услышать. Само собой, дверной глазок приглушил звук. Но в замке заскреблись ключи. Веки дрожали, лицо неудержимо подергивалось, рот предательски кривил-

ся. Дверь с визгом распахнулась, и обе личности безмолвно встали рядом с ним.

Нужно не шевелиться. Они же уйдут когда-нибудь. Тогда придет время отдохнуть и попытаться освободиться. Но лицо превратилось в громадную незнакомую маску, оно гримасничало независимо от его воли. И в это время один из присутствующих торжествующе присвистнул.

Он выдал себя. Больше притворяться не имело смысла, а воображение рисовало такие картины, которые были хуже любой действительности. Но когда веки дернулись и глаза открылись, он даже застонал от ужаса. Освещенное языками пламени, сверху в него вглядывалось согбенное существо. Одна из его голов была обмотана тканью.

Второй, вероятно тоже демон, был похож на человека: худой и довольно молодой, он не сводил с него взгляда обеспокоенных глаз. Он низко нагнулся и пристально всматривался. Затем выпрямился и грустно покачал головой.

Определенно не похоже на реакцию демона. Когда молодой человек жестом попросил посветить ему, лежащий на плите увидел, что тот второй, с факелом, на самом деле был одноголовым и сутулым. При свете он разглядел, что путы на его руках и ногах *оказались бинтами.*

Значит, его все-таки спасли! Страхи и паралич на самом деле оказались симптомами заболевания! Он поднял руку и держал ее на весу до тех пор, пока она беспомощно не упала обратно. Молодой человек взглянул на эту руку, продолжая обследовать другие конечности и покачивать головой. Тот, что на столе, попытался заговорить. Но срывавшиеся с губ звуки не складывались в слоги и казались совершенно бесформенными.

— Бесполезно. Глупо. Неудача, — пробормотал молодой, очевидно разговаривая сам с собой. — Надеяться, что этот разум у меня в руках! Как же мог я сделать его таким?

Шаркающий спросил, что можно сделать. Даже не взглянув на приговоренную жертву, молодой ответил равнодушно и мрачно. Они вышли, и вновь навалилась тьма.

Шаги стихли, а тот, что лежал на плите, напрягался, силясь двинуть рукой еще хотя бы на дюйм больше, пытаясь произнести три слога и доказать, что наделен разумом. Кто-то вернулся к нему. Лишь три слога — имя, которым горбун называл хозяина: Фран-кен-штейн.

РОНАЛЬД ЧЕТВИНД-ХЕЙС

Творец

За свою почти сорокалетнюю карьеру Рональд Четвинд-Хейс выпустил более шестидесяти книг — романов, новеллизаций, сборников рассказов и антологий.

Его произведение «Детектив-экстрасенс» («The Psychic Detective») привлекло внимание киностудий «Hammer Films» и «Warner Bros.», а по рассказу «Вещь» («The Thing») был снят мультипликационный фильм. Один из сборников Четвинда-Хейса называется «Ад таков, каким ты его творишь» («Hell Is What You Make It»). Его рассказы публиковались в таких изданиях, как «Темные голоса. Книга ужасов от „Pan"» («Dark Voices: The Pan Book of Horror»), «Weird Tales», «После заката» («After Dark») и «Оборотни» («The Mammoth Book of Werewolves»), а журналы «Phenix» (Франция) и «Scarlet Street» (США) посвятили его работе специальные выпуски.

О нижеследующем произведении скромный автор высказался так: «Честно признаюсь, не могу смотреть на эту мою раннюю работу иначе как с безмерным восхищением (цитируя Ноэля Кауарда). Она соскользнула с кончиков моих пальцев на клавиши печатной машинки, а следовательно, и на бумагу, как по маслу. Как верно то, что Чарли Браунлоу получил необходимый для создания монстра опыт в лавке мясника и в автомастерской! Я сильно подозреваю, что многие хирурги обучались там же и знают не многим больше, а то и меньше, чем мой современный Франкенштейн.

Может, читателей заинтересует, что в шестнадцать лет, после просмотра „Сына Франкенштейна" („Son of Frankenstein") в местном кинотеатре, я в мастерской своего деда заспиртовал овечье сердце и выделил чистый спирт из денатурата. Однако к созданию настоящего монстра так и не приблизился...»

Чарли Браунлоу решил создать монстра.

Нет, поймите меня правильно, ничего этакого, особо трудоемкого. Ничего, что требовало бы дорогостоящей лаборатории, сонма мигающих лампочек и нагромождения гудящих приборов. Не собирался он ни вскрывать в полночь могилы, ни воровать мозги сумасшедших, ни убивать ни в чем не повинных крестьян, чтобы вырывать у них сердца, — он вообще не намеревался заниматься подобными благоглупостями, которые привели к неминуемому провалу барона Франкенштейна.

По существу, после интенсивного курса обучения, а именно ночных просмотров по телевизору всех демонстрируемых фильмов ужасов, он пришел к выводу, что заблуждавшийся барон был слишком амбициозен. Его создание оказалось непомерно большим. Подумать только — громадный увалень, которого никому не под силу контролировать! Нет, он создаст милого маленького монстрика, которому, если тот начнет буянить, можно и подзатыльник отвесить. Полное удовольствие за свои деньги, как говорится.

Впрочем, если вы сами никогда не создавали монстров, вы понятия не имеете, сколько здесь возникает проблем. Собрать материалы, не прибегая к неэтичным способам барона, — уже само по себе дело головоломное, и Чарли, возможно, так никогда бы и не справился с ним, если бы его прадедушка не надумал уплыть в вечность по морю неразбавленного виски. Старикашка долго хворал, печень и почки у него совсем износились после многолетних перегрузок, и семейство согласилось, что смерть прадеда только принесла облегчение всем, включая и его самого.

Итак, родственники собрались в гостиной, чтобы в последний раз засвидетельствовать свое почтение усопшему, прежде чем задвинут и закрепят винтами крышку гроба, взирая на морщинистое лицо старика с разной степенью скорби. Тетушка Матильда, например, горевала о том, что дед не разглядел, что путь в небеса свободен, еще тогда, когда несущаяся галопом инфляция не лишила бы ее удовольствия наслаждаться своей долей наследства. Дядюшка Джордж жалел, что старый пердун не отдал ему пятерку, которую позаимствовал за три недели до смерти. Кузину Мэрион печалило то, что она не позволяла грязному дьяволу щипать себя за задницу, — это ведь могло поспособствовать упоминанию ее имени в завещании старикашки, которое будет оглашено в скором времени. Так что все сожалели в основном о своих промахах и упущенных возможностях — все, кроме Чарли.

Он будет горевать позже — если не получится украсть тело прежде, чем гроб опустят в могилу на погосте.

Я не собираюсь заявлять, что похищение чьего-либо прадеда из гроба заслуживает похвалы, но именем науки творятся порой дела гораздо хуже. Я также считаю, что смелую инициативу нужно поддерживать, и не важно, на какой почве она взросла в любознательной голове. Интересуетесь квалификацией Чарли в сфере создания монстров? Что ж, он обладал некоторым хирургическим опытом, почти год проработав в местной мясной лавке. За этот срок он освежевал несметное число кроликов, расчленил множество овец, раскрыл мрачные секреты тысяч бы-

чьих сердец, почек и печенок; он мог безошибочно показать, где находится филей, огузок, окорок, грудинка, лопатка, голяшка и вырезка. Не многим хирургам известно больше, а некоторым и куда меньше.

Затем (кстати к разговору о его медицинской подготовке), Чарли был не новичком на поприще автомеханики. Другими словами, он некоторое время шуровал у бензоколонки в гараже «Шустро въехал, шустро выехал». Там его посвятили в тайны, скрывающиеся под капотом машины: в темные секреты поломок карбюратора; в омрачающие сознание последствия протечки аккумулятора; в сокрушающие душу результаты использования негодных свеч зажигания.

Не требуется особого воображения, чтобы понять, что союз двух этих профессий рано или поздно должен был породить нечто весьма необычное.

После того как родственники разошлись по постелям — каждый отправился в свою, за исключением дядюшки Джорджа, разделившего ложе с кузиной Мэрион,— Чарли крадучись спустился по лестнице, проник в свою лабораторию (заброшенный сарайчик для хранения садового инвентаря), вооружился двумя мешками с углем, большей частью деталей разобранного отжимного катка и одной отверткой, затем вернулся в дом и приготовился обзавестись материалом для создания монстра.

Вывинтить шурупы оказалось несложно, а вот заставить прадеда покинуть гроб — напротив. Чарли тянул, тряс, толкал, дергал — все без толку, словно бы труп твердо решил остаться навеки в своем деревянном сюртуке и сорвать научный опыт.

Наконец Чарли решил проблему, поставив гроб на попа и вывалив прадедушку на каминный коврик, где тот и улегся, точно надоевший приживал, выставленный законным хозяином из дому. Далее наш современный Франкенштейн запихнул в гроб части катка, подоткнул их угольными мешками и вернул крышку на место, прочно прикрутив ее. Теперь нужно только перенести старикашку в совмещенный сарайчик-лабораторию, устроить его поудобнее в бочонке с маринадом и оставить приобретать качества солонины.

Чарли взвалил упрямое тело на правое плечо и, пошатываясь, двинулся по коридору.

Похороны прошли весьма успешно.

Их преподобие сказал несколько весьма лестных слов об усопшем, весьма смутив того, кто доподлинно знал, что именно готово к погребению.

— Не думайте, — произнес достойный пастор, — что мой старый друг в этом деревянном ящике. Поверьте, он отправился

туда, где нет прожорливых могильных червей, нет тления и распада. *Друзья, мы предаем земле то, что уже бесполезно; то, что* честно исполнило свой долг и, в сущности, если можно так выразиться, отслужило свое.

Когда гроб опускали в могилу, Чарли едва кондрашка не хватила, поскольку он услышал, как один рабочий прошептал другому:

— Слышь, Гарри, а старикашка-то там перекатывается!

Но к счастью, выслушавший столь тревожную информацию лишь пожал плечами:

— Да ну, все эти задохлики одинаковые — скажешь, нет?

Дома все насладились шикарным ранним ужином с чаем, во время которого создалось впечатление, что проводы в иной мир — неприятная, но необходимая обязанность, после исполнения которой можно и побаловать себя. Дядюшка Джордж основательно нагрузился виски, постоянно подливая себе из стоящей на буфете бутылки, и двусмысленно подмигнул кузине Мэрион. Тетушка Матильда великодушно помогала тетушке Милдред расправляться с сосисками с пюре и вдохновенно инструктировала троюродную кузину Джейн, как разливать чай.

— Ты не украшение стола, так что можешь быть хотя бы полезной, — шутливо заметила она. — Нам сейчас нужно закинуть в себя что-нибудь погорячее, чтобы изгнать из жил кладбищенский холод.

— Все прошло весьма мило, — сказала двоюродная бабушка Лидия, накалывая на вилку вареную картофелину. — Его преподобие произнес чудную проповедь. Мне так понравилась та часть, где он говорил, что Артур не в гробу. Так возвышенно и так поднимает настроение!

— Попробуй маринованный лук, — предложила тетушка Матильда.

— Спасибо, дорогая, воздержусь, если ты не против. От него пучит.

На некоторое время в комнате воцарилось молчание — лишь постукивали ножи и вилки да рыгал порой дядюшка Джордж. Затем кузен-седьмая-вода-на-киселе-из-бедных-родственников Даниэль, прошлую ночь проведший в кладовке, мрачно заметил:

— Он все еще здесь.

Чарли вздрогнул, а тетушка Милдред вспыхнула:

— О чем это ты? Кто все еще здесь?

Кузен Даниэль степенно кивнул с видом всезнайки, но информацию предпочел выдавать малыми дозами:

— Он. Прадед. Я слышал, как он бродил ночью.

Все дамы завизжали то ли в настоящем, то ли в притворном ужасе, а кузина Мэрион побледнела как полотно, так что дядюш-

ке Джорджу пришлось срочно проводить ее в лучшую спальню. Двоюродная бабушка Лидия озвучила свое возмущение:

— Как ты смеешь болтать такое! Как тебе только в голову пришло! Это неучтиво. Не говоря уже о том, что ты всех перепугал. Извинись немедленно!

Кузен Даниэль снова важно кивнул:

— Я слышал то, что слышал. Он глухо стучал, шлепал — и потом прошаркал по коридору. Попомните мои слова — он не упокоился.

Воспользовавшись разразившейся вследствие этих слов бурей, Чарли выскочил из дому, прошмыгнул в сарайчик и завалил бочку с рассолом грудой пустых мешков. Но прежде, однако, он заглянул внутрь. Лысая башка прадедушки уже обретала сходство с выдубленной кожей.

Тетушка Матильда пригласила на чай свою лучшую подругу Дженнифер Грандли.

— Чарли завел себе хобби, — заявила она с некоторым удовольствием. — Должна сказать, ему весьма полезно иметь интерес.

— У каждого мужчины должно быть хобби, — глубокомысленно заметила Дженнифер. — Чем же он увлекся, дорогая?

Тетушка Матильда хихикнула:

— Не знаю. Он такой скрытный и никого не пускает в старый сарай для инструментов. Это что-то связанное с выпиливанием.

— Работа по дереву, — кивнула Дженнифер. — Да, тут без пилы не обойдешься.

— И без топора тоже, — продолжила тетушка Матильда. — Я слышала, как он рубит, а еще — стук молотка.

— Наверное, Чарли делает книжную полку, — предположила мисс Грандли. — Или, может быть, миленькую прикроватную тумбочку. Нет-нет, он, верно, собирается удивить тебя чем-то необычным. Вроде ночной вазы с крышкой.

Тетушка Матильда нахмурилась — казалось даже, что она пытается думать.

— Но зачем тогда ему понадобилась иголка с ниткой? И двадцать ярдов медной проволоки?

Дженнифер покачала головой:

— Честно — не представляю, дорогая. Уверена, во время резьбы по дереву иголка с ниткой не требуется. По крайней мере, я так думаю. Но конечно, в Чарли всегда была этакая изобретательская жилка. Помнишь, как он однажды подбил свои ботинки кусками жареного мяса? Знаю-знаю, потом они немного попахивали, но нельзя не признать, что поступок его свидетельствовал об оригинальном уме.

— О да, он оригинален, — согласилась тетушка Матильда. — Ах, а вот и наш Чарли.

Чарли вошел в комнату и замер, уставившись на гостью. Одетый в заляпанный грязью комбинезон, он выглядел, как должен выглядеть любой гений, хотя в действительности выглядят они так довольно редко.

— Не садись на диван в таком виде, — велела тетушка Матильда. — Сперва подстели газету. Чем ты занимался?

— Избавлялся от излишков требуемого, — беспечно ответил Чарли. — Проще говоря — рыл яму.

— Это часть твоего хобби? — застенчиво осведомилась Дженнифер. — Матильда сказала, ты сооружаешь что-то в своем сарайчике.

Но Чарли затерялся в том мире, где укороченные наполовину ноги плохо стыковались с задницей, реберная часть туши требовала подгонки, печень нуждалась в замене, почки утратили нутряное сало, легкие следовало заменить на батарею, — и вся штуковина по-прежнему оставалась слишком большой.

— Верхушку поменьше и катающееся основание, — пробормотал он. — И руки — кому, к черту, нужны руки? Пара усеченных коленчатых валов вполне сойдет. Прошу прощения.

И без дальнейших объяснений он вскочил и вылетел из комнаты. Тетушка Матильда вздохнула:

— Что бы он ни делал, он определенно поглощен своим занятием.

— Знаешь, дорогая, — помолчав, сказала Дженнифер, — думаю, я догадалась. Он делает кресло на колесиках с железными ручками. Очень полезный предмет, если желаешь передвигаться не вставая.

Дядюшка Джордж был так возмущен, что подавился третьим стаканом виски и выразил свой праведный гнев, стукнув кулаком по подлокотнику кресла.

— Зачем? Вот что мне хотелось бы знать — зачем?

— Это все телевидение, — провозгласила тетушка Матильда. — Оно учит молодежь дурному. Телевидение, «Автомобили Z»[1] и тот ужасный лысый тип, загубивший свои зубы леденцами на палочке. Да, удивительно, как это нас всех еще не прикончили прямо в постелях.

— Этот козел был моим добрым другом, — со слезами в голосе заявил дядюшка Джордж.

---

[1] *«Автомобили Z»* («Z Cars», имеются в виду полицейские патрульные машины) — английский телесериал 1962—1978 гг.

— Но он же умер, — заметила тетушка Матильда. — Я хочу сказать, что он все-таки был просто козлом. И он издох.

— Однако это не повод для кого бы то ни было отрезать его треклятую голову! — взревел дядюшка Джордж. — Я оставил труп во флигеле, уложил самым аккуратным образом! А утром, когда я уже подкатил тачку, чтобы отвезти его к месту упокоения, смотрю — нет головы! Какой-то мерзавец ее отрубил! Нет, ты мне скажи — зачем кому-то понадобилась отрезанная козлиная башка? Верно, это дело рук какого-то психа.

— А скейт Альфи? — встряла в разговор кузина Джейн. — Какая-то тварь свинтила с него колеса. О да, идет охота за колесами! Изуродован даже матушкин сервировочный столик. Бедный дьяволенок рыдал до судорог, обнаружив одну лишь голую доску. Ему так нравилось гнаться за молочником вниз по склону Парсон-хилла. Мальчишки есть мальчишки, что и говорить.

— Как Чарли, — с гордостью кивнула тетушка Матильда. — Он преследует все, что движется.

— Ты испортила этого парня, — прорычал дядюшка Джордж. — Позволяешь ему делать все, что ему угодно, и не искать постоянной работы! Он плохо кончит!

Тетушка Матильда скрестила на груди руки и возмущенно мотнула головой в знак упрека и несогласия:

— Не лезь не в свое дело, Джордж Браунлоу. Разве Чарли не сын моего единственного брата, разве отец его не скончался, а мать не сбежала с другим мужчиной? Он хороший мальчик, регулярно, смею заметить, приносит в дом свое пособие, а не растрачивает его в ломбардах, как кое-кто, на кого я могла бы указать пальцем.

— Но что он там делает целые дни в одиночестве? — рявкнул дядюшка Джордж. — Возится в этом сарае — стучит, пилит и бормочет что-то себе под нос. По мне, так у него крыша поехала, вот как.

— А тебя никто и не спрашивает, — ответила тетушка Матильда. — Если хочешь знать, он сооружает кое-что для меня, и это будет сюрприз. Нечто связанное с креслами — так думает Дженнифер.

Они могли бы спорить еще долго, если бы кузина Джейн не напомнила, что уже полвосьмого и пора смотреть «Улицу коронации»[1]. В середине передачи появился Чарли, скользнул в кресло и застыл, пялясь остекленевшими глазами в мерцающий экран и время от времени вызывая гнев дядюшки Джорд-

[1] *«Улица коронации»* («Coronation Street») — английский сериал 1960 г.

жа своим тихим, но раздражающим бормотанием. Внешность его сейчас в точности соответствовала расхожему представлению об облике гениев: длинные спутанные волосы, небритый подбородок, мятая одежда и ногти с траурным ободком, видно скорбящие по поводу утраты тесных взаимоотношений с водой и мылом. Но всклокоченную голову Чарли окружала аура осуществления задуманного, озаряющая лица лишь тех мужчин, которые отыскали крохотную иголку успеха в громадном стоге изнурительных усилий. Неожиданно изображение на телеэкране дрогнуло, и яркая вспышка едва не обезглавила Энни Уолкер. Чарли мгновенно взвился, взвыл: «Гроза!» — и ринулся прочь из комнаты.

Дядюшка Джордж не замедлил прямо высказать свое мнение, которому теперь имелось подтверждение.

— Ну вот, тут уже ничего не поделаешь — он же просто на стену лезет. Совсем забыл о приличиях. Попомните мои слова: в следующий раз он встретит рассвет, стоя на голове.

Тетушка Матильда дождалась, когда утихнет грохот могучего удара грома — загнавшего скулящую кузину Джейн под стол, — и спокойно сказала:

— Если мозги мальчика немного отличаются от мозгов обычных людей, это еще не повод объявлять его сумасшедшим. Говорю вам — однажды Чарли потрясет всех нас.

— Но что такого особенного в грозе? — фыркнул дядюшка Джордж.

— Наверное, он получает удовольствие от мощи природы. Джейн, немедленно вылезай из-под стола. Если в дом попадет молния, там ты будешь не в большей безопасности, чем где-либо еще. Я сейчас сварю всем какао...

Ее прервал очередной раскат грома и громкий крик, родившийся где-то в глубине сада, но приближающийся к дому, усиливаясь с каждым мгновением. Когда же с треском распахнулась задняя дверь, крик обрел неслыханную высоту, а также сходство с неимоверно растянутыми словами.

— Йа-а-а-а-сде-е-е-с-ела-а-а-а-а-лэ-э-э-э-то-о-о-о-о...

В комнату ворвался Чарли. Громыхнул дверью о стену, перевернул некстати преградивший дорогу столик, налетел на буфет, затем выдернул из кресла тетушку Матильду и закружил смятенную старую леди по комнате, продолжая выкрикивать во весь голос:

— Я сделал это! Все готово, все до мелочей! И оно двигается! Двигается...

Тетушке Матильде удалось освободиться из объятий парня и даже подтолкнуть все еще выделывающего ногами кренделя племянника к стулу. Она пригладила волосы, убедилась, что

брошка-камея по-прежнему находится там, где положено, и тихо сказала:

— Тебе действительно стоит лучше контролировать себя, дорогой. Но я очень рада, что ты завершил свое дело, каким бы оно ни было. Уверена, ты сотворил полезную штуку.

Но Чарли, очевидно, не слушал, поскольку стиснул трясущимися руками голову и трижды топнул правой ногой по ковру.

— Я и забыл, зачем пришел. Можно... можно мне взять один из шерстяных жилетов прадедушки? Не думаю, что есть опасность, что оно замерзнет, но некоторые стыки нужно спрятать. Не то чтобы оно некрасиво — не в общепринятом смысле, конечно, — но я не слишком ловко управляюсь с иголкой и ниткой.

Тетушка Матильда походила на заблудившуюся в чащобе даму, не уверенную, разумно ли будет продолжать путь.

— В гардеробе, дорогой... наверху...

Чарли вскочил, наткнувшись на кузину Джейн, ошибочно решившую, что сейчас уже можно вылезти из-под стола, и выбежал из комнаты. Громко застучали на лестнице его тяжелые сапоги.

— Кресло, говоришь? — хмыкнул дядюшка Джордж.

— Так я поняла...

— Кресло, которое носит жилет?

— Ну, он сказал, что нужно скрыть стыки. Жилет послужит чем-то вроде обивки, полагаю.

Слышно было, как Чарли сбежал вниз по нескольким ступеням и кубарем скатился по остальным. Грохот перевернутой корзины указал на то, что парень свернул в кухню. Дядюшка Джордж не без труда поднялся.

— Я собираюсь посмотреть, — провозгласил он.

— Но это должен быть сюрприз.

— Так я сделаю сюрприз самому себе.

Две женщины остались глядеть друг на друга, и когда одна пошевелилась, другая вздрогнула. Мраморные часы на каминной полке пробили восемь, зловеще пророкотала в последний раз гроза — и откатилась на запад.

— Можно выключить телевизор? — робко спросила кузина Джейн.

— Да, дорогая. В программе больше нет ничего интересного.

Теперь они услышали медленно приближающиеся шаги, предвосхитившие появление в гостиной дядюшки Джорджа. Он шел странной, деревянной походкой, был очень бледен и рухнул в кресло, не произнеся ни слова. Он сидел, неотрывно глядя на помещенный в рамочку портрет Дирка Богарда[1] (к которому

[1] *Дирк Богард* — британский актер, сценарист (1920—1999).

питала пристрастие тетушка Матильда), висящий на противоположной стене. Тишина становилась невыносимо гнетущей.

Нарушить ее первой решилась кузина Джейн:

— Ну, что он сделал?

Дядюшка Джордж, не отрывая взгляда от мистера Богарда, открыл рот — и издал крик. Очень громкий, очень хриплый и очень горестный. После чего комнату вновь оккупировала тишина, на этот раз прерванная тетушкой Матильдой:

— Джордж... Джордж, что-то не так? Ты хватил лишку? Я всегда говорила, виски на пустой желудок никому не приносит пользы.

Это утверждение словно дало некий толчок: дядюшка Джордж встал, степенно подошел к буфету и не скупясь плеснул себе виски; осушил стакан огромным глотком, с обдуманной осторожностью поставил его на полку, повернулся — и закричал снова.

После этого второго, безусловно улучшенного исполнения он вернулся в кресло и продолжил созерцать классические черты мистера Богарда.

— Я ухожу, — объявила кузина Джейн после минуты глубоких раздумий. — Запру все двери, окна и никогда больше не *приближусь к этому дому.*

— Возможно, он допился до белой горячки, — предположила тетушка Матильда. — Я хочу сказать, что в старом сарайчике не может быть ничего, что привело бы его в такое состояние. Или же?..

— Я не собираюсь дожидаться, когда это выяснится.

— Но ты даже не отведала какао, дорогая.

— Можешь вылить свое какао туда, куда мартышки выливают имбирное пиво. То, что заставило старину Джорджа выть обезумевшим банши, я лицезреть не намерена. А племянничка твоего совсем отправить в психушку.

Она подхватила свое вязание, две части «Тайн исповеди»[1], коробку шоколадных конфет, карманный фонарик и быстро направилась к выходу. Очередной вопль дядюшки Джорджа и вид мелькнувшего в конце коридора Чарли значительно ускорили шаг кузины Джейн, и дом содрогнулся, когда она захлопнула входную дверь.

Столь стремительный уход родственницы, казалось, совершенно не расстроил Чарли, сунувшего голову в комнату и спросившего:

— Можно мне, пожалуйста, немного масла?

---

[1] *«Тайны исповеди»* (*«True Confessions»*) — криминальная драма (1981).

— Ах, да какое там масло, — откликнулась тетушка Матильда, промокая лоб дядюшки Джорджа носовым платком. — Что ты сделал со своим бедным дядей? Просто не знаю, что с ним такое. Он то и дело кричит, и нервы мои совсем на пределе.

Чарли помрачнел и упрямо уставился в пол:

— А зачем он подсматривал? Я же готовил сюрприз. А он заглянул в окно прежде, чем я успел прикрыть Оскара шерстяным жилетом.

Тетушка Матильда приподняла бровь:

— Оскар! Забавное имя для кресла.

Чарли стоял на одной ноге, качая другой взад-вперед.

— Это не кресло. Я не умею делать кресла. Если хочешь знать, это монстр. Ну вот, ты заставила меня выдать секрет, сюрприз испорчен, и меня совершенно не тянет показывать его тебе.

— Уверена, дорогой, если ты создал монстра, он очень мил, — кротко кивнула тетушка Матильда. — Но это не объясняет, отчего твой дядя упорно продолжает сверлить взглядом славного мистера Богарда и кричать. Помнится, матушка наша частенько говаривала, что мой братец — маленький монстр, но, уверена, она никогда не кричала.

— Так можно мне масла? — повторил Чарли свой вопрос. — А то колесики скрипят.

— Хорошо, бери. Только не слишком много. Оно сейчас идет по семьдесят пенсов за фунт.

После пяти минут смачивания лба одеколоном дядюшка Джордж начал проявлять признаки возвращения к жизни. С вялым интересом он изучил каждый предмет мебели в комнате, пересчитал свои пальцы и, кажется, безмерно удивился, обнаружив, что все они в наличии, затем повернулся к тетушке Матильде и прошептал:

— У него рога.

— Неужели? Что ж, уверена, они весьма пригодятся, так или иначе. Хочешь чашечку вкусного какао?

— И длинные железные руки, — задумчиво добавил дядюшка Джордж.

— Себе бы я железных рук не пожелала, — признала тетушка Матильда, — но, осмелюсь сказать, они лучше, чем ничего. Давай я сделаю тебе к какао сэндвич со сгущенным молоком?

И она укоризненно покачала головой, поскольку дядюшка Джордж решил выдать очередную порцию шокирующей информации:

— И он обкорнан по самые бубенцы.

Отступление в кухню было явно единственным разумным выходом. Тетушка Матильда приготовила кувшин какао и щедро

намазала толстые ломти хлеба маслом и сгущенкой. Она смутно припоминала, что перенесшим потрясение в качестве целебного средства рекомендуется что-нибудь горячее и сладкое. Пока она занималась этим актом милосердия, из сада появился Чарли, распахнул во всю ширь кухонную дверь и тихо спросил:

— Не возражаешь, если Оскар войдет? В моей лаборатории ему не слишком весело.

Тетушка Матильда соскоблила с подноса каплю успевшего присохнуть сгущенного молока и размазала ее по корочке.

— Ты же знаешь, дорогой, я никогда не запрещала тебе приводить в гости кого бы то ни было. Только, конечно, с оглядкой на благонравие.

И тут, не дожидаясь дальнейших приглашений, в комнату скользнул Оскар.

Затрудняюсь описать это изделие, ставшее символом совокупления двух столь разных профессий. Мясную промышленность, конечно, следует поблагодарить за туловище прадедушки и козлиную голову; автомобилестроение наградило Оскара железными руками, красными мигающими глазами и запальными свечами, помещенными по обе стороны двусоставной прадедокозлиной шеи. Приклеенные полоски шин прятали швы, посредством которых коленчатые предплечья крепились к плечам прадедушки, а кисти рук, оснащенные шестью пальцами, создавались из амортизирующих пружин заднего сиденья машины. Памятуя о первостепенной важности компактности, Чарли пожертвовал большей частью прадедовых ног, так что Оскар действительно оказался обкорнан — как весьма бестактно выразился дядюшка Джордж — по самые бубенцы. Короткие толстые пеньки поместились в перевернутые ступицы машинных колес — на месте их прочно удерживал солидный слой резинового клея. Пара роликовых колесиков, вполне вероятно позаимствованных со скейта Альфи, были приклепаны с нижней стороны ступиц и служили отличной — и даже усовершенствованной — заменой ног. Шерстяной жилет милосердно скрывал все иные вольности, которые Чарли позволил себе с туловищем прадедушки.

Оскар — ибо именно так теперь следовало называть это сборище деталей и кусков — был не более трех футов ростом и внешностью своей определенно мог лишить самообладания всякого, кто не способен по достоинству оценить неприукрашенную работу гения. Его аппарат связи также слегка оставлял желать лучшего.

Пасть козла открылась, блеснуло в свете лампы крыло встроенного в нее вентилятора, и высокие вибрирующие звуки постепенно сложились в узнаваемые слова:

— Говорит Радио-четыре Би-би-си. В следующие полчаса профессор Хьюдж опишет свое путешествие по Замбези...

— Ах, черт! — Чарли в сердцах хлопнул Оскара по спине. — Тут, верно, какой-то пробой между радиолампами и громкоговорителем. Минуточку — я встроил панель управления ему под лопатку.

Он стащил со своего творения шерстяной жилет, нажал то, что прежде было автоматическим стартером, пощелкал маленьким пластмассовым рычажком и в конце концов от души пнул по нижней половине торса прадедушки. Столь радикальное и сильнодействующее средство возымело эффект — блеющий голос спросил:

— Кааааа... кооооого... дьяаааа... воооола... туууут... прооо... ииииис... хоооо... диииит?

Чарли буквально светился от счастья.

— Это, верно, исходит от куска мозга прадедушки, который мне удалось всунуть в козлиный череп. Видишь, я сделал тут небольшое отверстие...

Обычно тетушка Матильда никогда не перебивала говорящего, но сейчас случай был исключительный. С момента появления Оскара она лишь смотрела, вздыхала, иногда одобрительно кивала, но попыток провести доскональный осмотр самолично не предпринимала. Однако теперь она заговорила весьма резко:

— Чарли, как я поняла, для своего хитроумного изобретения ты использовал часть останков твоего дорогого прадедушки?

— Ну... да. Видишь ли, материалы чертовски трудно достать, так не пропадать же старику впустую...

— Даже не оправдывайся. Я могу понять твое стремление к практичности, но не следовало касаться грубыми руками своего прадеда. Он не твоя собственность. Некоторым образом он принадлежал всем нам, и, естественно, нужно было спросить разрешения — хотя бы у меня.

Чарли потупился:

— Прости, тетушка. Я не подумал.

Тетушка Матильда кивнула:

— В этом-то и беда молодого поколения — они никогда не думают. Что ж, я сказала все, что собиралась сказать. Вопрос закрыт. А теперь поведай мне подробно о своем изобретении. Что оно может делать?

Тетушка и племянник внимательно наблюдали, как Оскар обогнул кухонный стол и плавно покатился в сторону гостиной, где сидел, взвешивая безумную идею стать трезвенником, дядюшка Джордж. Чарли, как все истинные художники, не рассматривал свое творение в свете презренной корыстной пользы,

так как, насколько он помнил, барон Франкенштейн не ждал от своего монстра никакой выгоды.

— Ну, — произнес он после минуты задумчивого молчания, — я мог бы обучить его кое-какой мелкой работе по дому. Подбирать письма с дверного коврика, пробивать дырки в жестянках со сгущенкой и тому подобное.

Тетушка Матильда не стала комментировать предложения племянника, она вслушивалась в блеющие звуки, доносящиеся из гостиной:

— Г... деееe... к... дьяаааа... воооо... лууууу... моооо... и... нооо-оо... гиииии?

— Какая жалость, что ты сохранил ту часть своего прадеда, которая любила сквернословить, — пробормотала она.

Раздался громкий — и уже знакомый — крик; только теперь он был гораздо громче и гораздо длительнее: он был воплем того, кто пересек границу страха и ступил в черно-белую страну, где реальность обретает форму дикой фантазии. Затем из гостиной вылетел дядюшка Джордж; двигался он со скоростью, которой позавидовал бы и человек гораздо моложе, к тому же не поддерживающий тесные отношения с бутылкой виски. Оскар следовал за ним по пятам. Катился он плавно; глаза сверкали, точно задние фары автомобиля; голова была опущена; хорошо смазанные колесики вращались беззвучно; создавалось явное впечатление, что он, по крайней мере в данный момент, очень счастливый маленький монстр.

Крик дядюшки Джорджа, протаранившего заднюю дверь, превзошел все прошлые попытки; а Оскар, вероятно решив, что он с лихвой исполнил свои обязанности, подъехал к своему создателю и проблеял два слова:

— Чеееер... тоооов... дуууу... раааак...

— Ты должен сделать что-нибудь с культурой его речи, — решительно заявила тетушка Матильда. — Его ругань поистине крайне неприятна.

Уверен, все полагают, что самодельных монстров должен ждать скверный конец. Они сгорают в подожженной мельнице, растворяются в озере кислоты или же взрываются, потянув удачно оказавшийся под рукой рычажок, который каким-то загадочным образом воспламеняет тонну динамита. С точки зрения одной только морали было бы замечательно, если бы я мог написать, что нечто подобное случилось и с Оскаром, но истина — монстр, чей лик не скрыть, как ни старайся, — вынуждает меня признаться, что он в настоящий момент вполне жив и здоров.

Раз в неделю Чарли меняет ему батарейку; он научил Оскара подбирать с коврика газеты и письма, пробивать рогами отверс-

тия в банках со сгущенным молоком и поносить всякого, кто явится в то время, когда тетушка Матильда смотрит «Улицу коронации». Но, если честно, последнее случается не слишком часто, так как гости у них теперь скорее исключение, чем правило.

Дядюшка Джордж вступил в «Братство трезвости», и его дважды показывали по телевизору; своими описаниями ужасающих следствий употребления крепких спиртных напитков он внушил зрителям сильнейшую тревогу и отчаяние.

Сейчас Чарли задумался о создании Оскару пары, но этому, естественно, препятствует все та же банальная проблема — отсутствие материалов. Он приглядывается — покуда теоретически — к тетушке Матильде, но поскольку старая леди, похоже, проживет в добром здравии еще лет двадцать, то, видимо, тот миг, когда благодушное самодовольство научного мира встряхнет рождение Монстра-Сделай-Сам, сделанного самими монстрами, откладывается.

Кстати, если вдруг у вас имеется никчемная дряхлая родственница — вы уж черкните мне пару строчек.

БЭЗИЛ КОППЕР

Лучше умереть

Дебютом Бэзила Коппера в жанре хоррор стал рассказ, опубликованный в «Книге ужасов от „Pan". Пятый выпуск» («The Fifth Pan Book of Horror Stories») в 1964 году. С тех пор как в 1970 году Коппер решил полностью посвятить себя писательской деятельности, он опубликовал сборники «Еще не в сумерках» («Not After Nightfall»), «У изголовья зла» («From Evil's Pillow»), «Под эхо шагов» («When Footsteps Echo») и «Дальнейшее — тьма» («And After the Dark»).

Он написал более пятидесяти триллеров о частном детективе из Лос-Анджелеса Майке Фарадее. Среди романов Коппера «Огромное белое пространство» («The Great White Space»), «Проклятие насмешников» («The Curse of the Fleers»), «Некрополь» («Necropolis»), «Волчий дом» («The House of the Wolf») и «Черная смерть» («The Black Death»). Миннеаполисское издательство «Fedogan & Bremer» переиздает в твердой обложке его произведения, посвященные приключениям героя а-ля Шерлок Холмс, созданного Августом Дерлетом: уже вышли «Подвиги Солара Понса» («The Exploits of Solar Pons») и «Мемуары Солара Понса» («Recollections of Solar Pons») (обе книги с иллюстрациями Стефани Кейт Хоукс). Коппер также написал статью о Дерлете и серии «Солар Понс» для американского издательства и еще одну, о ликантропии, для американского журнала.

Нижеследующий рассказ перекликается с известным произведением автора, повествующим о коллекционировании кинофильмов, — «Отпечаток в янтаре» («Amber Print»)...

I

— Лучше умереть! — возбужденно воскликнул Роберт, когда Борис нажал рычаг.

Лаборатория в башне взорвалась пламенем и рассыпалась в прах.

— Круто! — сказал Роберт, привстав, чтобы приглушить звук, когда по экрану поползли финальные титры «Universal».

Джойс, как раз просунувшая голову в дверь кирпичной пристройки, где муж устроил свой кинозал, зевнула, глядя на сотни жестяных коробок с пленками, выстроившихся вдоль тридцатифутовой стены, и на металлические полки, на которых бликами

отражался свет экрана. Обычно архивные сокровища Роберта были задернуты шторой, но в тот вечер он почему-то забыл их закрыть. Когда в проекторе докрутились последние метры пленки, в комнате зажегся свет.

— Ты, наверно, в сотый раз смотришь «Невесту Франкенштейна», — устало сказала Джойс.

Глаза Роберта сияли.

— И до конца года посмотрю еще раз сто. Классика не стареет!

Джойс покачала головой:

— Чай готов. Можно надеяться, что ты сегодня подстрижешь газон?

Роберт изобразил притворное раскаяние:

— Едва ли. У меня еще две невскрытые посылки с фильмами.

— Я по горло сыта живыми мертвецами, — проговорила жена, и в ее голосе прорезалась сталь. — Эта коллекция тебя убьет.

Роберт хихикнул, зачарованно уставившись на две большие коробки рядом с креслом для просмотра.

— Какая смерть!

Дверь захлопнулась, отрезав продолжение, и он, несколько смущенный, выключил свет и прошел в дом. Пара пила чай в молчании, взгляд Джойс обжигал ему щеки. Привлекательная темноволосая женщина тридцати шести лет с трудом сдерживала раздражение. Муж тратит деньги на никому не нужную коллекцию фильмов, а ей, чтобы оплачивать счета, приходится вкалывать на нудной секретарской должности.

Роберт раскрошил в чай кусочек тоста и с удовольствием съел.

— Думаю, в посылке «Ночь живых мертвецов», — заговорил он наконец. — Мы ее давно ждали.

— То есть ты ждал, — с намеком подчеркнула жена.

Она встала, чтобы собрать посуду, всей спиной выражая крайнее неудовольствие. Задержалась у буфета, отрезав себе тонкий ломтик сливочного гато, который они начали за обедом.

— Я сегодня вернусь поздно. У нас совещание, а потом мне надо будет кое-что допечатать.

— Не забудь ключи, — рассеянно бросил Роберт, мысли которого уже заняты были пакетами, дожидавшимися в кинозале на дальнем краю сада. Он любовно глянул на крышу пристройки, видневшуюся сквозь арку с вьющимися розами за французским окном. — Может, я буду там.

Глаза Джойс, стоявшей с ножом в тонкой ухоженной руке, блеснули сдерживаемым гневом.

— Тебе не отрезать?

Роберт покачал головой:

— Лучше еще чашку чая, будь добра.

Джойс наливала ему чай в том же тяжелом молчании, под однообразное негромкое гудение механической косилки за окном.

— Кстати, — кисло заметила она, — Карлофф не говорил: «Лучше умереть». Ты столько раз смотрел, а до сих пор не запомнил диалогов.

— О, — сказал Роберт и криво усмехнулся.

Она впервые заметила, как неприятно и потрепанно он выглядит в свои сорок.

— Ну, — проговорил он наконец как-то торжествующе, — *если не говорил, так должен был сказать!*

Джойс отвернулась, чтобы он не увидел ее лица, и, сдерживая ярость, поставила чайник на железную подставку.

Она вышла из комнаты, не попрощавшись. Когда она была уже в коридоре, зазвонил телефон. Джойс быстро обернулась, убедилась, что дверь в столовую закрыта плотно.

— Привет, милая.

Она сразу узнала голос. Покраснела и быстро прикрыла трубку ладонью.

— Сколько раз тебе говорить, Конрад, не звони сюда!

— А что, он дома?

Она натянуто улыбнулась его испугу:

— Не волнуйся, пьет чай в столовой. Увидимся сегодня, как договаривались.

Услышав шаги Роберта по паркету, она поспешно положила трубку. Когда он открыл дверь, жена надевала легкий дождевик перед зеркалом.

— Из конторы, — ответила она на его невысказанный вопрос. И ядовито улыбнулась. — Надеюсь, ты не слишком разочарован, что это не кто-то из твоих любимых торговцев фильмами.

Дверь за ней захлопнулась раньше, чем он нашелся с ответом.

II

Свет вспыхнул, разорвав темноту ослепительными отблесками. Джойс обнаженной выбралась из постели, наслаждаясь взглядом темноволосого крепкого молодого человека, любовавшегося плавными изгибами ее тела, подчеркнутыми нижним

светом лампочки. Игнорируя его немую мольбу, Джойс быстро одевалась с уверенностью, порожденной опытом в опасной игре, которую они вели. Взглянув на наручные часики, она отметила, что еще только десять. Значит, времени хватит.

— Когда я тебя увижу?

Она пожала плечами:

— Очевидно, скоро. Но так продолжать невозможно, Конрад. Мы слишком часто встречаемся.

— По мне, слишком редко.

Он быстро перевернулся и потянулся к ней, когда она села, скрестив ноги и натягивая чулок. Но Джойс со смехом уклонилась и пересела на табуретку, чтобы закончить одевание. Он лег и принялся рассматривать ее с сосредоточенностью, которую она замечала много раз: даже насытившись сексом, мужчины никогда не удовлетворяются. Едва женщина оденется, тайна возвращается, чтобы снова открыться на следующем свидании. Она никогда не понимала этого увлечения, но в случае с Конрадом радовалась ему. У нее никогда не было такого мужчины. Их роман продолжался уже два года. Конрад был цельной личностью, и его связывали с ней узы нерушимой верности.

Она быстро подкрасила губы перед зеркалом. Шестеренки в ее мозгу бессмысленно вращались, как было с первого дня их связи. Если бы найти способ сделать счастливыми всех троих. Хорошо бы Роберт завел себе другую. Только это не в его характере. Он так поглощен своей коллекцией, что и ее-то едва замечает, где ему обращать внимание на других женщин. А если он не ценит ее внимания — в отличие от Конрада, — все может продолжаться в том же духе, пока они с Конрадом сами не попытаются разрешить проблему.

— Не понимаю я его, — сказал Конрад, словно прочитав ее мысли.

— Кого? — Она оторвалась от зеркала. Конечно, она знала, о ком он говорит.

Темноволосый мужчина на кровати нетерпеливо пожал плечами:

— Твоего мужа, конечно. Такое сокровище у него в доме, а ему и дела нет.

Джойс горько улыбнулась:

— Тебе бы радоваться, милый. Люди редко ценят то, чем обладают.

Конрад ответил ей кривой улыбкой:

— Пока не потеряют...

Фраза тяжело повисла в воздухе спальни, наполненном ароматом духов.

Джойс быстро наклонилась и ласково поцеловала его в лоб.

— Все в свое время, — тихо сказала она. — Надо быть терпеливее.

— По-моему, мы и были. Два долгих года.

Джойс не отвечала. Все, что она чувствовала, вдруг прорвалось наружу. Она отвернулась к зеркалу, и только слабая дрожь пальцев, застегивавших плащ, выдавала ее волнение.

— Я тебе позвоню, — твердо сказала она. — Пожалуйста, не звони больше домой. Это слишком опасно.

Он не ответил, и она, не оглядываясь, вышла через заднюю дверь в огороженный сквер. Стояла ясная звездная ночь, и Джойс прислонилась к стене сада, вдыхая свежий воздух и приходя в себя. Домой она ехала медленно, ее ум был занят тревожными мыслями. Вернулась без четверти одиннадцать. В столовой горел свет, французское окно на лужайку осталось открытым.

Из кинозала в дальнем конце сада доносилась тихая музыка. Шла «Ночь живых мертвецов». Джойс присела к обеденному столу. Она больше не сдерживалась. Голова ее склонилась, она поставила локти на холодную дубовую поверхность и закрыла лицо ладонями. Соленые слезы текли сквозь пальцы под пронзительные звуки музыки.

III

— Живой! Живой!

От внезапного взрыва хохота с дальнего конца столовой Джойс внутренне сжалась. Гости, собравшиеся за длинным столом, сидели с непроницаемыми лицами. Только Роберт и его друг Джон, сидевшие во главе стола, безумно хохотали.

— Ради бога, Роберт, — возмущенно проговорила Джойс, — ты не мог бы забыть об этом хоть на несколько часов?

Соседи по столу явно удивились ее негодованию, а Джон с Робертом изобразили стоп-кадр. Джойс выдавила улыбку, понимая, что нарушает этикет, и повернулась к сидевшей рядом Изабель, жене Джона.

— Извините, но все эти фильмы уже действуют мне на нервы.

Гости расслабились, обменяваясь понимающими улыбками, а Джойс с удовольствием отметила про себя, что и Джон, и Роберт присмирели.

Изабель, устремив на мужа предостерегающий взгляд, кивнула Джойс:

— Мне ли не знать, милая. Мы с Джоном в последнее время вообще не разговариваем ни о чем, кроме как о фильмах. — Она помолчала. — Разве что просим друг друга передать соль.

— Надо бы разделить их, когда перейдем к кофе, — предложила Джойс.

Изабель вздохнула:

— Я уже пробовала. Стоит им оседлать этого конька, их уже не остановить.

Джойс с ожесточением ткнула вилкой в остатки десерта:

— Да они с него и не слезают.

Женщины нервно рассмеялись. Джойс уже взяла себя в руки. Через несколько минут, когда она проводила всех в гостиную и они с Изабель вернулись в кухню варить кофе, обе молчали, словно погрузившись в мысли, которыми не хотелось делиться.

Поздно вечером, когда гости давно разошлись, а Джойс мыла посуду, она услышала, как хлопнула задняя дверь. Роберт, конечно, исчез вместе с Джоном при первой возможности. Теперь он вернулся и тут же направился в свой кинозал. Через несколько минут, заканчивая протирать бокалы, она услышала через сад дикую музыку. Ближайший к ним дом стоял довольно далеко, и Роберт не озаботился звукоизоляцией.

Руки Джойс застыли. Ей вдруг пришло в голову, что покупки Роберта за последние месяцы обходились слишком дорого. Его «хобби», если это можно так назвать, влетало ему в копеечку. Не ему, а им, внезапно поняла она. Джойс стояла, стиснув губы, прижавшись плоским животом к столу, с последним бокалом в руке. Напротив висело зеркало. Бросив в него случайный взгляд, Джойс подумала, что до нелепости напоминает Джоан Кроуфорд в одной из мелодрам «Warner Brothers», и тут же с раздражением отбросила эту мысль. Заразилась от Роберта! Она унесла в столовую поднос с чистыми бокалами.

Потом быстро прошла по коридору к кабинету Роберта. Включила настольную лампу под зеленым абажуром, убедилась, что окна задернуты плотными шторами. Роберт всегда держал чековые книжки и корешки чеков в верхнем правом ящике. Она быстро перебрала их и задышала чаще, прикинув сумму. Взяла бумагу и карандаш и занялась сложением. Гнев разгорался в ней темным пламенем. Только за два последних месяца он потратил несколько тысяч фунтов! Сдерживая ярость, она закончила подсчеты. И Роберт еще ворчит, что она слишком много тратит на хозяйство... Джойс положила все на место, выключила лампу и вернулась в столовую.

Листок с подсчетами она спрятала в сумочку, а потом принялась расставлять бокалы в большом антикварном буфете. Заканчивая, она услышала, как возвращается Роберт, запирая за собой заднюю дверь. Он заглянул в столовую и как будто удивился, что жена еще работает. С довольным видом потер руки:

— По-моему, все прошло отлично, а?

Джойс кивнула.

— Да, очень хорошо, — медленно проговорила она.

Она не сводила взгляда с его лица — как будто впервые по-настоящему разглядела.

IV

Косить газон оказалось тяжелой работой. Джойс вспотела, и в ней закипала обида. Роберт уже несколько часов не показывался на глаза, но она точно знала, где он, и все чаще обращала взгляд на пристройку в дальнем конце сада. Утром принесли еще две посылки с фильмами, и это подогрело в ней злость. Они очень коротко переговорили: долгие промежутки молчания стали нормой в их браке, и Джойс чувствовала, что за последние два года ситуация стала критической. В числе прочего и это толкнуло ее в объятия другого мужчины — полное равнодушие партнера к ее женским и человеческим потребностям.

Джойс отнесла косилку в сарайчик за кинозалом. Из того конца сада непрерывно слышалась тихая музыка. Джойс пообедала в одиночестве и вышла, чтобы снова взяться за работу в саду, и краем глаза заметила темную размытую фигуру Роберта, видимо собравшегося на кухню, где она оставила ему салат на обед.

К тому времени, как Джойс закончила с клумбами и вернулась в дом, чтобы сварить себе честно заслуженную чашечку кофе, был уже поздний вечер и в саду пролегли длинные тени. Роберта нигде не было видно. Она обошла все комнаты, но не нашла его. Джойс решилась на короткий осторожный звонок Конраду, подтвердив время следующего свидания, и вернулась в сад, присела на тиковую скамейку в маленькой беседке допивать кофе с печеньем. Почти стемнело, и она, оставив кофе на скамейке, подобрала лопату, чтобы отнести ее в садовый сарай.

У двери Робертова кинозала она задержалась. Как ни странно, мужа, кажется, там не было. По крайней мере, оттуда не было слышно звуков прокручивавшегося фильма. Она припала ухом к двери и прислушалась. Если только он не смотрит немой фильм... Джойс решилась. Пора им серьезно поговорить. Так продолжаться не может. Она уже вошла в вестибюль. Роберт устроил маленькую прихожую, где за стеклом выставил кадры из фильмов. Разумеется, из очень старых фильмов, в основном двадцатых и тридцатых годов. Отсюда внутренняя дверь вела в сам кинозал с его архивами. Она предназначалась не столько

для того, чтобы заглушать звук, сколько отсекать проникающий снаружи свет.

Джойс очень тихо отворила внутреннюю дверь и заглянула в зал. Да, фильм идет, но, как видно, немой. Она увидела, что это — один из франкенштейновской серии. Странно, что нет звука. Как видно, Роберт его зачем-то выключил. Джойс пока не видела его, глаза еще не привыкли к темноте. Она смотрела прямо на экран, и ей вдруг стало дурно, сердце неудержимо забилось. Что это: она нездорова или переутомилась, работая в саду?

Да, шла «Невеста». Эльза Ланчестер в неимоверном гриме изображала любовницу монстра, а истеричный Колин Клайв уставился в лицо холодно усмехавшемуся Эрнесту Тезигеру — оба были в белых хирургических халатах. А вот и сам Карлофф, неуклюже расхаживающий по лаборатории. Карлофф ли? Изображение на экране казалось нечетким, колебалось и туманилось. У Джойс перехватило дыхание. Она, не веря своим глазам, уставилась на светящийся прямоугольник экрана. Это невозможно, но среди других актеров она видела лицо Роберта! Невозможно, но так и есть. На экране продолжалась беззвучная пантомима.

Наверно, она заболела. Так не бывает. Она надавила острым носком туфли на другую ступню. Больно, конечно, она вовсе не спит. Просто она попала в кошмар. Она отчаянно искала глазами выключатель и не могла найти. Отраженный свет экрана вспышками играл на полу и пирамидах коробок с пленками. Сегодня Роберт не задернул их занавесками, как делал обычно.

Вдруг громыхнула музыка — так внезапно, что едва не сбила ее с ног.

Теперь луч с экрана падал на фигуру Роберта, ссутулившегося в кресле у задней стены и, очевидно, совершенно поглощенного драмой. Джойс шагнула к нему и окаменела. Это был не Роберт: кто-то намного выше ростом и массивнее, в толстом меховом пальто. Когда свет от экрана пробежал по неровному черепу и ужасным чертам чудовища, сыгранного Карлоффом, Джойс завопила. Блеснули винты в шее и металлические заклепки на черепе, ухмыляющаяся рожа обратилась к ней. Тогда Джойс вышла из оцепенения и осознала, что из ее горла вырываются крики. В руке у нее все еще была лопата, Джойс забыла оставить ее снаружи.

Она быстро шагнула вперед и ударила лопатой чудовище в кресле. Она била снова и снова, а музыка грохотала в ушах — в фильме подходил момент кульминации. Преодолевая тошноту и дрожь, Джойс наконец отыскала выключатель в тот самый миг, когда докрутилась катушка пленки. Музыка продолжала

звучать, пока Джойс не выдернула вилку из розетки. Молчание ударило по ушам. Она обернулась к скорчившейся фигуре существа, смотревшего фильм. Реки крови, кровавые кляксы на лопате в ее руках. Лицо почти неузнаваемо. Джойс упала на колени, узнав изувеченные останки того, кто прежде был Робертом. Должно быть, она потеряла сознание — когда ощущение реальности вернулось, ее наручные часы показывали на два часа больше.

Джойс трясло. С величайшим трудом она поднялась на ноги. Нет, не мираж, ужасная действительность. Мозг ее снова начал работать. Она заставила себя взглянуть на дело своих рук. Могла ли эта ужасная ошибка быть следствием оптического обмана? Может быть, блики сотен коробок создали лицо ее мужа на экране? А изображение Карлоффа наложилось на черты Роберта? Конечно, такое невозможно. Однако что сделано, то сделано. Мелькнула мысль вызвать полицию. Но как им объяснить? Никто бы ей не поверил. Ее ждут, самое малое, годы тюрьмы и крушение всех надежд на будущее с Конрадом. Она решилась и заставила себя двигаться.

Ключи лежали на обычном месте, рядом с проектором. Джойс вышла наружу, уже точно зная, что делать. Выключила свет, заперла дверь и хорошенько обмыла лопату из садового шланга. Джойс где-то читала, что холодная вода уничтожает все следы крови. Только не горячая. Это было бы фатальной ошибкой. Когда лопата стала совершенно чистой, она вытерла ее куском мешковины и несколько раз воткнула в землю, прежде чем отнести в сарай. Сарай она заперла. Сад был полностью скрыт высокими изгородями, а луна светила ярко.

Вернувшись в дом, Джойс заперла и заложила засовом переднюю дверь и налила себе в столовой бренди. Подкрепившись, вернулась в сад, достала из сарая большой кусок брезента и взяла лопату Роберта — гораздо большую, чем та, которой пользовалась сама. Такая как раз подходила для предстоящей работы. Она уже заперла заднюю дверь в дом и боковую калитку. Никто ей не помешает, вся ночь в ее распоряжении. Земля в выбранном ею месте, футах в восьми от изгороди, была совсем рыхлой.

Они с Робертом давно задумали сделать там каменную террасу. Придется соблюдать осторожность. К счастью, все родственники Роберта уже умерли, но друзья и соседи, конечно, станут расспрашивать. Естественно, возникнут проблемы, но разрешимые. А со временем, когда воспоминания поблекнут, все решат, что Роберт ушел, поссорившись с ней, или нашел другую женщину. Они с Конрадом еще молоды и, выждав приличный срок, смогут пожениться.

Тяжело дыша, она направилась к самой отдаленной части сада. Безмятежно сияла луна, и при ее свете Джойс принялась рыть как сумасшедшая.

V

Ясным солнечным утром Джойс прошла по тропинке проверить машину. Через час она должна была встретиться с Конрадом, они собрались на две недели в Котсволдс. Она сказала ему, что Роберт уехал по делам, — такое случалось часто, и он не задавал вопросов. Она уже позвонила подрядчику насчет новой террасы. Они с Робертом не раз обсуждали проект, так что ее обращение выглядело естественно — подрядчик уже знал об их планах.

Брезент вместе с тем, что в него было завернуто, лежал на глубине добрых восьми футов. К счастью, земля подавалась легко, и к утру Джойс успела закончить дело. За несколько недель земля осядет, а рабочие появятся только через месяц: у них много заказов. Джойс вернулась еще раз взглянуть на дом, а потом свернула в сад убедиться, что и там все в порядке.

Проходя мимо места, где лежал Роберт, она заметила, что холмик немного выступает над землей. Она притоптала его ногой в элегантной туфельке и с легким сердцем побежала к воротам.

— Лучше умереть! — сказала она.

НЭНСИ КИЛПАТРИК

В мире чудовищ

Нэнси Килпатрик родилась в Филадельфии, штат Пенсильвания, однако в настоящее время живет в Торонто со своим мужем-канадцем. Ее считают одним из крупнейших североамериканских специалистов по вампирам. Килпатрик часто выступает по радио и телевидению и обожает читать вслух свои произведения на публичных выступлениях в Торонто и его окрестностях.

Рассказы писательницы публиковались в таких антологиях и малотиражных журналах, как «Лучшее за год. Ужасы» («The Year's Best Horror Stories»), «Порт смерти» («Deathport»), «Шоу уродов» («Freak Show»), «Фобии 2» («Phobias 2»), «Книга мертвецов 4» («Book of the Dead 4»), «Занаду 3» («Xanadu 3»), «Затмение чувств» («Eclipse of the Senses»), «Северные полеты» («Northern Frights»), «Дети ночи» («Children of the Night»), «Сверхъестественные истории» («Eldritch Tales»), «Клык» («Fang»), «Узники ночи» («Prisoners of the Night»), «The Vampire's Crypt», «Bloodreams», «Nightmist», «International Vampire» и многих других. Нэнси Килпатрик входила в число финалистов премии Брэма Стокера и премии «Аврора», а в 1992 году стала лауреатом премии Артура Эллиса за лучший криминальный рассказ. Среди романов автора новые версии «Дракулы» («Dracula»), «Доктора Джекилла и мистера Хайда» («Dr Jekyll and Mr Hyde»), «Падения дома Ашеров» («The Fall of the House of Usher») и «Франкенштейна» («Frankenstein»), написанные для серии «Темные наклонности» («The Darker Passions») и выпущенные издательством «Masquerade Books» под псевдонимом Амаранта Найт. Кроме того, Килпатрик подготовила антологию вампирской эротики «Любовь кусается» («Love Bites»). В 1994 году ограниченным тиражом вышел ее сборник «Секс и одинокий вампир» («Sex and the Single Vampire»).

О произведении, представленном ниже, писательница говорит так: «Виктор Франкенштейн всегда казался мне настолько одержимым, что, по моему мнению, должен был иметь достаточно причин, чтобы создать чудовище. Поскольку вампиры прочно обосновались в нашем времени, мне хотелось узнать, как прижился бы в 1990-х годах монстр, созданный Франкенштейном. Скорее всего, он был примерно того же возраста, что и Виктор — от двадцати до тридцати лет. Судя по описанию — высокий, бледный, весь покрытый шрамами. На мой взгляд, вылитая рок-звезда...»

Всего лишь год тому назад большинство «клубных деток» считало группу «Чудовище» британскими клонами, жалкими подражателями «Nine Inch Nails»[1]. Так было до тех пор, пока группа не пересекла Атлантический океан. Впрочем, Конфетка никогда не разделяла этого мнения. Она всегда знала, что «Чудовище» — потрясающая группа, а Тварь, ее лидер, — рок-божество.

Сегодня вечером на небольшой сцене «Мертвой Зоны» четверо музыкантов выбивали тяжелые басы, искажая до неузнаваемости старые песни из своего последнего альбома. Звук, пропущенный через усилители, пульсировал в гигантских динамиках, было ясно, что «Чудовище» неуклонно движется к успеху. Конфетка машинально притопывала ногой в такт музыке, почти в нее не вслушиваясь. Она только смотрела... особенно на солиста.

Тварь. Невероятно высокий. Худощавый. Лет двадцати. Длинные черные волосы, каффы[2], в левом ухе фирменное украшение — малокалиберная пуля. Мертвенно-бледное лицо, черный грим на губах — возбуждающий вид. Блеклые, почти прозрачные глаза, пронзающие взглядом, словно ледяные клинки. По крайней мере, именно такое ощущение охватывало Конфетку всякий раз, когда Тварь бросал взгляд в ее сторону.

Фрэн придвинулась к Конфетке, горячо дыша в самое ухо, и пронзительно завопила, стараясь перекричать музыку:

— Он просто обалде-енный!

Конфетка кивнула, даже не глянув на подругу. Она не в силах была оторвать глаз от Твари. Конфетка обожала его шрамы.

Сидя так близко к сцене, она могла разглядеть их все. Шрамы испещряли лоб, скулы, подбородок Твари, словно багровые швы — свежие следы боевых ранений. Сегодня вечером Тварь облачился в черные облегающие штаны из змеиной кожи, такие же совершенно потрясающие сапоги и распахнутую на груди кольчужную жилетку. Голова его была повязана фирменной черной банданой с черепами. Почти всюду, где его кожа была обнажена, во вспышках стробоскопа перекрестные отметины шрамов отливали кровавым блеском.

Эти «боевые раны» действовали на Конфетку возбуждающе. Она представляла себе, как медленно проводит кончиком языка

---

[1] *«Nine Inch Nails»* — американская рок-группа, созданная в 1988 г. в городе Кливленд, штат Огайо.

[2] *Кафф* — разновидность украшения на уши, не требует проколов. Цепляется двумя дужками или проволочным хвостиком за ушную раковину.

по шрамам, то поднимаясь на их розовые бугристые края, то опускаясь в багровую глубину. Интересно, на ощупь они будут такими же твердыми и гладкими, как обычные рубцы, или от прикосновения откроются и начнут кровоточить? С виду шрамы казались совершенно свежими, словно Твари только вчера сделали операцию... Вот только хирург не слишком-то умело обращался с иглой и ниткой.

Целый год — с тех пор как группа приехала из Лондона — Конфетка кочевала вслед за ней по андеграундным клубам, не пропуская ни единого выступления. Теперь же, когда у «Чудовища» появился собственный клуб, она бывала здесь каждый вечер. Шрамы — первое, что привлекло внимание Конфетки, когда она увидела Тварь. Увидела — и влюбилась.

На сцене заиграли последнюю песню. В финале ударник безжалостно колотил по тарелкам, изо всех сил давя ногой на педаль басового барабана. Тварь и два других гитариста выдавали такие риффы, что громкостью и скоростью без труда преодолевали звуковой барьер. Конфетка сидела так близко к динамикам, что низкие частоты отдавались вибрацией во всем теле, а звуковая волна раздувала волосы.

Никогда еще группа не играла так прекрасно. Зал взорвался. Оглушенная воплями, Конфетка вскочила с места, визжала вместе со всеми, прыгала и размахивала руками. Не будь она такой застенчивой — могла бы познакомиться с Тварью. Она просто сходила с ума при виде этих шрамов!

Увы, музыкантов уже окружили полтора десятка фанатов. Тварь еще не успел соскочить со сцены, а поклонники уже хватали его за ноги, поглаживая ширинку. Тянулись к шрамам.

Живая музыка сменилась записями.

— Ну? — крикнула Фрэн. — Сейчас или никогда, поняла?

Конфетка вздохнула. Фрэн права, но от этого не легче. Отсчет пошел, отступать некуда. Если она сейчас же, сию минуту не познакомится с Тварью, то до конца жизни так и будет безнадежно ходить за ним по пятам. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять: конкуренток у нее хоть отбавляй.

Конфетка швырнула сумочку на сиденье, раскрыла ее и достала парочку нужных вещиц.

— Смотри и учись, — сказала она подруге и повернулась к ней спиной.

В круге у подножия сцены было тесно от танцующих и пьющих людей. Толкаясь, Конфетка пробралась между потными телами к коридору, ведущему в гримерные.

Она бежала по коридору в непроглядной темноте, и только вспышки стробоскопа озаряли наклеенные на стенах плакаты из «Ночи живых мертвецов». Музыка, игравшая позади, стала

заметно тише. Коридор шел под уклон. Конфетка изнывала от жары в черном бархатном платье, наглухо застегнутом от шеи до лодыжек.

Голоса она услышала прежде, чем увидела людей — фанатов и фанаток, толпившихся перед гримерными, рабочих, таскавших оборудование со сцены, и охрану, бдительно следившую за всем происходящим. Однажды Конфетка уже была здесь, но тогда у нее не хватило духу. Теперь же она, не раздумывая, направилась к той самой двери, к которой в прошлый раз так и не решилась подойти.

— Стоять, детка! В «Лабораторию» входа нет!

Перед Конфеткой появился мускулистый тип. На бицепсах у него были вытатуированы какие-то крылатые твари, и при каждом движении казалось, что эти существа хлопают крыльями. Могучий торс охранника перекрывал дорогу к двери, в центре которой когда-то красовалась звезда. Теперь этот знак был содран, остался лишь пятиконечный след, и над ним кроваво-красными буквами небрежно нацарапали: «Лаборатория».

Черт, что же ему сказать? Что она хочет взять у Твари автограф? Неубедительно. Ей не проскочить мимо этого типа! Впрочем, близость заветной цели прибавила Конфетке храбрости. «Действуй по плану», — сказала она себе.

— Я... пришла взять интервью у Твари.

С этими словами Конфетка показала прихваченные с собой блокнот и карандаш и выразительно помахала ими перед носом охранника. Глупо. Действительно глупо. Он на такое в жизни не поведется.

— Да ну? А я пришел потрахаться с Мадонной. Удостоверение есть?

Конфетка сунула охраннику фальшивую пресс-карту. Ее состряпала Фрэн на работе в копировальном салоне. Под фотографией, над именем и фамилией Конфетки, сообщалось, что она сотрудничает с «Хаосом» — одним из местных развлекательных журналов.

— Тварь не дает интервью. И ни с кем не разговаривает.

— Со мной он поговорит, — смело заявила Конфетка. — Скажите ему, что я здесь.

Охранник бегло просмотрел пропуск и окинул Конфетку неприязненным взглядом:

— Побудь здесь, сестренка.

Он трижды постучал в дверь костяшками пальцев, а затем проскользнул внутрь.

«Что я делаю? — спросила себя Конфетка. — Сейчас самое время бежать, пока этот тип не вернулся и не вышвырнул меня из клуба раз и навсегда». И тем не менее она не могла сдви-

нуться с места... А возможно, просто не хотела. Может, у нее и не выйдет повидаться с Кадавром, но она, по крайней мере, попыталась.

Охранник вернулся уже без пропуска. Конфетка ожидала худшего и была потрясена, когда он буркнул:

— Ладно, заходи.

Он отступил и приоткрыл дверь — буквально на дюйм. «Да он просто тупой», — с облегчением подумала Конфетка. Эта мысль придала ей смелости.

С неистово бьющимся сердцем она распахнула дверь.

Казалось, она с порога шагнула в непроглядную ночь. В комнате пахло сыростью и гнилью. Воздух наэлектризован, как перед грозой. Конфетка дотронулась до бронзовой дверной ручки и ощутила слабый удар тока.

Через минуту ее глаза привыкли к темноте. За гримировочное зеркало, точно факелы, были засунуты две черные свечи. Впереди, в кресле, шевельнулся неясный силуэт. Конфетка напомнила себе, что обратной дороги нет. Стараясь не топать ботинками «Doc Martens», она вошла в гримерную.

Тишина оглушала ничуть не меньше, чем музыка, еще совсем недавно разрывавшая барабанные перепонки.

— Садись, — прозвучал сиплый голос.

Сомнений нет — это был Тварь.

Конфетка нервно огляделась по сторонам. Различить что-то было почти невозможно. В одном углу стояла кушетка, а рядом кресло, в котором сидел Тварь. Не сводя с него глаз, Конфетка робко примостилась на краю кушетки.

Никогда еще она не видела Тварь так близко. Он сидел у гримировочного столика. Черные свечи горели за его спиной. Затылок Твари отражался в зеркале, а лицо оставалось в глубокой тени. Даже сидя он казался намного больше, чем представляла себе Конфетка.

— Я... э-э... — запинаясь начала она. Дальше врать было боязно, но сказать правду — еще страшнее. — Я знаю, что вы нечасто даете интервью, но... ваша группа играет потрясающе. И вы тоже... потрясающий.

Тварь фыркнул и поднял пропуск, который Конфетка отдала охраннику.

— Ты — Элизабет. — Английский акцент звучал очень эротично.

— Конфетка, — уточнила она и тут же почувствовала, как глупо это звучит. — То есть да, мое настоящее имя — Элизабет, но все зовут меня Конфеткой.

Он снова издал невнятный звук. Может быть, это означало «Тебе идет»?

Занервничав еще больше, Конфетка схватилась за карандаш и блокнот и постаралась принять деловой вид, всей душой надеясь, что Тварь не станет расспрашивать о журнале, с которым она якобы сотрудничает.

Чтобы скрыть смятение, она попыталась перехватить инициативу:

— Итак... давно ли вы занимаетесь музыкой?

— Я начал с флейты. Это было почти два столетия тому назад.

— Ну да! — Конфетка хихикнула, но тут же смолкла, обнаружив, что смеется только она. — Так вы и правда тот самый Франкенштейн?

Она слышала об этом в клубе. Говорили, будто именно так заявил Тварь недавно в выступлении по MTV. В первом своем интервью. Шикарный рекламный ход.

— Нет!

Оглушительный выкрик вонзился в уши Конфетки, как острый скальпель. Она безотчетно вскочила.

— Сядь, Элизабет. Прошу тебя. — Голос Твари тотчас снизился до сиплого полушепота, который так нравился Конфетке.

Она села, но все же поглядывала на дверь.

— Виктор Франкенштейн был самым обычным человеком. Я — его создание. Разве ты не помнишь его исповедь Роберту Уолтону, записанную Мэри Шелли?

Господи, что такое он несет?

— Вы имеете в виду книгу? «Франкенштейн»?

Тот же фыркающий смешок.

— Ну-у... мы ее читали в школе, — неуверенно проговорила Конфетка.

Это было наполовину правдой. Книгу прочитали ее одноклассники. Сама она лишь пролистала сокращенное издание.

— Я видела фильм «Франкенштейн», — с надеждой прибавила она.

— Он создал меня, и тем не менее рассказ его был ложью! Я не одержим злом! Впрочем, одну мою черту он описал совершенно правильно. Хоть я, к своему несчастью, и бессмертен — разве мне не присущи те же чувства, что и обычным людям? Разве я не способен ощущать жару и холод, боль и наслаждение? Разве солнце не слепит мне глаза, а ночная тьма не пробуждает в моем сердце страх? Разве я не такой, как ты, прекрасная Элизабет?

Ух ты! Неужели Тварь на нее запал? Конфетка не верила в собственную удачу. Она в гримерной Твари, наедине с самым сексуальным парнем в мире! Фрэн умрет от зависти.

Молчание Твари напомнило Конфетке о причине ее прихода. Она быстренько набросала в блокноте последнюю фразу — ту, где Тварь назвал ее прекрасной, — и посмотрела на него.

— Так что же случилось на самом деле?

Тварь встал. Конфетку поразил его гигантский рост. Он и со сцены казался огромным, но сейчас, когда их разделяла пара шагов, выглядел самым настоящим великаном. Да в нем, должно быть, два с половиной метра росту! Меря шагами примерную, Тварь задевал макушкой потолок, руки его свисали ниже колеей, хотя, казалось, он был сложен пропорционально. Двигался он, как и всегда, резко и судорожно — то ли у него болели суставы, то ли ноги плохо срослись после старого перелома. Пламя свечей бросало тени в глубину шрамов, покрывающих все его лицо, грудь и руки. Мать Конфетки, мельком увидев его в том самом интервью по MTV, сказала, что он жуткий урод. Но Конфетка-то видела, как прекрасны эти раны.

— Он сделал это ради нее, — наконец проговорил Тварь.

— Ради нее? Кто она?

Он помолчал, сверху вниз глядя на Конфетку. В отблесках свечей его черные волосы мерцали, а шрамы, исчертившие лицо, смахивали на боевые увечья. Он был такой громадный! Конфетке показалось, что на нее взирает древний воинственный бог.

— Элизабет, кто же еще? Он создал меня для Элизабет.

Конфетка никак не могла понять, к чему он клонит. Потом ее осенило. Тварь был одним из тех парней, которые воображают себя Лестатом или еще каким-нибудь вампиром. Он хочет рассказать о себе, и ему сподручнее вести рассказ так, словно он и есть Франкенштейн. Это имя — символ, не более. Ну да, конечно. Во всех песнях «Чудовища» так или иначе говорилось о том, как героя преследуют за то, что он не человек. Чужак. Никем не понятый и всеми отвергнутый.

Конфетка безуспешно пыталась припомнить хоть какие-то подробности из книги. В фильме все происходило иначе, но и фильм почти выветрился из памяти. Она не помнила там никакой героини по имени Элизабет. Был еще другой фильм, где сумасшедший доктор создал искусственную женщину, у которой от молний волосы все время вставали дыбом. Может, это ее звали Элизабет? А может, и нет. Конфетка решила, что лучше по возможности помалкивать.

— Расскажите об этом подробней, хорошо?

Тварь опять принялся расхаживать по тесной комнатушке. Дощатый пол скрипел под его тяжелыми шагами. Его руки както странно покачивались в такт шагам, но эта деталь только делала его привлекательнее в глазах Конфетки. Он был другим,

совсем не таким, как все эти жалкие штампованные звезды на телевидении, смазливые подростки, которые только и умеют выпендриваться. Тварь был из плоти и крови. Настоящий.

— Он утверждал, будто любит ее, — снова заговорил Тварь. — Но разве мужчина может воистину любить женщину, которую не способен удовлетворить? Видишь ли, Виктор был импотентом. Примитивные анатомические исследования той эпохи не выявили никакой физической причины. Подозреваю, что в наши дни диагноз был бы тем же. Корень проблемы следовало искать не в теле, а в разуме. Как легко можно понять, Виктор Франкенштейн ощущал себя неполноценным. Человеком низшего сорта. Быть может, он боялся женщин или даже ненавидел их. Возможно, он ненавидел все человечество. Как бы то ни было, он создал существо, обладавшее тем, что ему было не дано. Он создал меня.

— То есть он хотел, чтобы ты... э-э... заменял его на свиданиях с подружкой?

— Более того. Чтобы я стал любовником его будущей нареченной.

Понемногу Конфетка вспоминала какие-то детали сюжета «Франкенштейна», однако их пока еще не хватало, чтобы составить цельную картину. Она начала было записывать, но тут же поняла, что Твари глубоко наплевать, чем она занята, а стало быть, к чему стараться? Конфетка положила блокнот и карандаш на кушетку.

— Но послушайте, ведь это же безумие! Я хочу сказать, только сумасшедшая не поняла бы, что в постели с ней совсем другой человек. Разве нет?

Тварь замер. Сделав один широкий шаг, он оказался у кушетки и сел рядом с ней. От его громадного тела веяло холодом. И грозой. Он взял Конфетку за руку, и сердце ее застучало с такой силой, что она едва не потеряла сознание. У него были черные длинные ногти, а ладонь, иссеченная шрамами, оказалась такой огромной, что рука Конфетки буквально утонула в ней. Тварь был не просто громаден, но еще и очень силен. Рядом с ним Конфетка почувствовала себя в безопасности. Она заглянула в его влажно блестевшие глаза, заметила окружавшие их рубцы и вздохнула, упиваясь почти интимной близостью к кумиру.

— Ты так похожа на нее... и не только именем. Те же невинные белокурые локоны, те же голубые глаза... такая же тихая и добрая.

Тварь коснулся пальцем ее щеки. Дрожь прошла по всему телу Конфетки, сладко отозвавшись между ног. В мерцании свечей в глазах Твари промелькнуло выражение, которое Конфетка

истолковала как страдание. Ее пронзила острая жалость к нему. Тварь резко опустил голову и уставился в пол.

Сердце Конфетки рвалось к нему. Она провела ладонью по его спине, обтянутой кольчужным жилетом.

— Знаешь... если выговориться, иногда становится легче. Я хочу сказать — тот парень, Виктор, явно был порядочной дрянью. Он использовал тебя. Он не был твоим другом.

Тварь повернулся к ней. Его черные губы скривились, безуспешно пытаясь сложиться в улыбку.

— Ты все понимаешь... совсем как моя Элизабет. Если б только я не любил ее...

Конфетке совсем не нравилось выслушивать рассказы о его бывшей девушке, но, может, если он сейчас облегчит душу, то наконец отделается от этой темы?

— Ну и как же она обнаружила, что крутит не с тем парнем?

— *Это было в первую брачную ночь. Я, как ты уже наверняка заметила, даже сейчас выгляжу гораздо крупнее среднего человека. В те времена я был сущим великаном, хотя и сложен достаточно соразмерно. Даже в сумраке спальни Элизабет не могла не обнаружить различий между тем, кому она в то утро дала супружеские обеты, и тем, кто в ту теплую викторианскую ночь обладал ее душой и телом. И однако же, она была слишком добра, слишком мягкосердечна, чтобы высказать свои подозрения вслух.*

У Конфетки не было ни малейшего желания узнавать такие интимные подробности.

— Но ведь ты же и в самом деле не мог быть похож на этого... Виктора?

— Увы, это не так. Виктор, подобно другим создателям, придал своему творению собственный облик. Я был его копией, не считая, конечно, телосложения... и вот этих следов его исключести.

Конфетка засмотрелась на большой шрам, пересекавший щеку Твари. Как же ей хотелось коснуться этого шрама, прижаться к нему губами, провести языком по багровой ложбинке... Смутившись, она поспешно отвела взгляд и пробормотала:

— Ничего себе! То есть она действительно до самого конца не знала наверняка, что ты не Виктор? Потому что в спальне было темно и все такое? Слушай, это же кошмарно!

— Воистину так.

— И что было, когда Элизабет обнаружила, что ты не он?

— В тот миг, когда мы стали одним целым, Элизабет закричала. Франкенштейн исподтишка подглядывал за нами. Он забыл о своем порочном любопытстве и в приступе ревности ворвался к нам.

— Он набросился на тебя?

— Со всей яростью. Как мог я старался защититься от его смертоносных ударов, но, увы, в темноте и полной неразберихе случилось самое ужаснос. Элизабет погибла.

В комнате воцарилась мертвая тишина. Наконец Конфетка спросила:

— Как?

Тварь закрыл руками лицо и разрыдался.

Конфетка вскочила. Шагнула к нему и оказалась между его раздвинутыми коленями. Она прижала его голову к своей груди. Тварь мог и не продолжать. Теперь она вспомнила все. Вспомнила, как Элизабет была убита в свою первую брачную ночь. И ведь в книге написано, что ее задушил монстр, созданный Франкенштейном! А на самом-то деле убийцей был этот мерзкий ублюдок Франкенштейн! Должно быть, нечто подобное случилось и с Тварью. И с тех самых пор он страдает, лишенный любви. Мало того что была убита его подружка, так еще и обвинили в убийстве его самого. А он невиновен! Вот почему, должно быть, группа перебралась в Северную Америку! Он, наверное, так одинок...

Тварь все всхлипывал, и Конфетка обнимала его, гладила по шершавой шее. Потом он обхватил руками ее бедра и вцепился в нее, словно утопающий в спасательный круг. Вновь и вновь жалобно повторяя «Элизабет! Элизабет!», он усадил Конфетку на колени, лицом к себе, и она еще крепче обняла его.

Сильные руки Твари стиснули ее с такой силой, словно он никак не мог насытиться этими объятиями. Будто твердо решил никогда больше не отпускать ее. Она нужна ему, да, нужна! Она станет его новой Элизабет, той, которая не погибнет у него на глазах.

Ладони Твари уже вовсю хозяйничали под бархатным подолом ее платья. Повинуясь порыву, Конфетка запустила руки под кольчужный жилет — и обнаружила, что спина, плечи и грудь Твари так же густо покрыты сетью шрамов. Казалось, эти бесчисленные жаркие борозды вздымаются и пульсируют как живые, словно просят у нее прохлады и покоя, молят даровать облегчение. Пальцы Конфетки идеально совпадали по размерам с ранами Твари, как будто она была создана для того, чтобы исцелить его.

Она водила пальцем по шрамам, которые исчертили его лицо и лоб, по соединявшим их желобкам — паутине на теле Твари, которая отныне навеки сплела их друг с другом. Губы их слились.

Когда Тварь проник в нее, Конфетка ойкнула и попыталась переменить позу.

— Эй, ты делаешь мне больно! Притормози, а?

Вместо ответа, он лишь сильнее стиснул ее. Конфетка пыталась оторвать его руки от своей талии, но безуспешно. Она упиралась руками в его грудь, извивалась, стараясь вырваться из стальных объятий, но Тварь был слишком силен и неукротим. Конфетка завизжала, бессильно молотя кулачками по его плечам. Боль стала уже нестерпимой, но он и не подумал ослабить напор, точно врос в нее.

Все это время перед глазами Конфетки маячило его лицо — такое огромное, такое отчаянно влекущее и безнадежно изуродованное. Дрожащим пальцем она провела по шраму, рассекавшему его щеку, пытаясь хоть этим прикосновением достучаться до него. И она нашла отклик, только совсем не такой, как хотела,— Тварь с силой, одним рывком насадил ее на себя и вошел в нее целиком.

Конфетке почудилось, что в нее воткнули необычайно острый нож. Казалось, он сейчас разорвет ее пополам. Она закричала. В мозгу точно взорвалась ослепительная вспышка.

Тяжелая ладонь Твари поползла вверх по ее груди, удушающей лаской обхватила горло. Она царапала ногтями эти стальные пальцы, но их хватка становилась лишь неумолимее. И при этом из блеклых глаз Твари текли слезы. Шрамы на лбу и щеках его дрожали и колыхались как живые, лицо исказилось. Черные губы скривились. Конфетка не могла, не хотела верить своим глазам — Тварь улыбался.

Конфетка судорожно хватала ртом воздух. Отчего-то ей казалось неимоверно важным прохрипеть последнее, одно-единственное слово. Произнести его вслух значило сделать явью.

— Чу... до... ви... ще!

И название группы здесь было вовсе ни при чем.

РОБЕРТ БЛОХ

Глиняные человечки

В 1993 году издательство «Tor Books» опубликовало книгу «Вокруг Блоха» («Once Around Bloch»), которую автор — верный своему знаменитому чувству юмора — снабдил подзаголовком «Неавторизованная биография» («An Unauthorized Autobiography»). Издательство «Fedogan & Bremer» выпустило омнибус под названием «Ранние страхи» («The Early Fears»), где представлены рассказы из двух первых сборников писателя «Открывающий путь» («The Opener of the Way») и «Приятные мечты» («Pleasant Dreams»), а также несколько новых произведений.

По-прежнему широко известный как автор «Психо» («Psycho») (в 1960 году послужившего основой для фильма Альфреда Хичкока) и его (книжных) продолжений, Роберт Блох также выступал в качестве составителя таких антологий, как «Психо-Пати» («Psycho-Paths») и «Монстры среди нас» («Monsters in Our Midst»).

По предложению продюсера Милтона Суботски, рассказ «Глиняные человечки» лег в основу одной из серий фильма «Лечебница» («Asylum») 1972 года (другое название «Дом безумных» («House of Crazies»)), сценарий к которой написал сам Блох. Сумасшедшего доктора Резерфорда, пытающегося воссоздать жизнь в миниатюре, исполнил Патрик Маги. К несчастью, по причине скудного бюджета, изумительные гомункулы автора воплотились на экране в неубедительные механические игрушки.

«Я могу отвечать — или извиняться — только за те фрагменты фильма, которые сняты по моему сценарию, — пояснил автор. — Если учесть, в какие сжатые сроки и в каких стесненных условиях приходилось работать, то и продюсер, и режиссер, и актеры, и съемочная группа заслуживают самой высокой оценки, и я могу испытывать к ним только благодарность».

Вам предоставляется возможность прочитать сам рассказ, в котором воображение автора не ограничено скудным бюджетом...

I

Коулин уже давно лепил из глины маленьких человечков, но далеко не сразу заметил, что они двигаются. Он годами лепил их у себя в палате, израсходовав мало-помалу не одну сотню фунтов глины.

Врачи считали его сумасшедшим, и в особенности доктор Старр, но доктор Старр был дурак и шарлатан. Он никак не мог понять, отчего Коулин не ходит вместе с другими в мастерскую, где все плетут корзины и делают пальмовые стулья. Вот это нормальная «трудовая терапия», это не то что годами сидеть в палате и лепить из глины каких-то человечков. Доктор Старр постоянно высказывался в этом духе, и иногда Коулину даже хотелось заехать ему по самодовольной жирной роже. Тоже называется, доктор!

Коулин знал, что делает. Он сам когда-то был врачом — доктор Эдгар Коулин, хирург — и делал операции на мозге. Он был известным, авторитетным специалистом уже тогда, когда Старр был всего лишь бестолковым, суетливым интерном. Какая ирония! Теперь Коулин заперт в сумасшедшем доме, а доктор Старр его лечащий врач. Какая мрачная шутка. Ведь Коулин даже безумный знает о психопатологии больше, чем когда-либо узнает Старр.

Коулин подорвался в Ипре вместе с базой Красного Креста, телесно он чудесным образом не пострадал, однако нервы у него расшатались. Еще много месяцев после того финального ослепительного взрыва Коулин пролежал в госпитале в коме, а когда очнулся, ему поставили диагноз dementia praecox[1]. После чего отправили его сюда, к Старру.

Как только Коулин немного пришел в себя, он попросил глину для лепки. Ему хотелось работать. Длинные тонкие пальцы, делавшие ювелирные операции на мозге, не потеряли былой ловкости — они жаждали теперь даже более сложной работы. Коулин знал, что никогда больше не будет оперировать, он ведь уже не доктор Коулин, а пациент-психопат. Но ему была необходима работа. Он знал немало о ментальных болезнях: его разум так и будет терзаться самоанализом, если не удастся отвлечься каким-нибудь делом. Лепка была спасением.

Будучи хирургом, он часто делал гипсовые слепки и анатомические зарисовки с натуры, чтобы облегчить себе работу. Привычка превратилась в настоящее хобби, и он досконально знал строение органов, включая сложную структуру нервной системы. И вот теперь работал с глиной. Начал он с того, что принялся лепить у себя в палате обычные фигурки людей. Маленькие человечки, примерно пять-шесть дюймов ростом, тщательно вылепленные по памяти. Коулин сразу же открыл в себе тягу к скульптуре, врожденный талант, которому как нельзя лучше соответствовали гибкие пальцы.

---

[1] Раннее слабоумие *(лат.)* — устаревший психиатрический термин, примерно соответствующий современной шизофрении.

Старр поначалу поощрял его. Из комы он вышел, период апатии закончился, и новое пристрастие вернуло его к жизни. Его первые глиняные скульптурки удостоились всяческого внимания и похвал. Родные прислали денег — он купил все необходимое для лепки. На столе в палате у него скоро лежал уже целый набор инструментов скульптора. Было приятно снова держать в руках инструменты, пусть не ножи и скальпели, но не менее чудесные предметы — предметы, которыми можно вырезать, изменять, совершенствовать тела. Тела из глины, тела из плоти — какая разница?

Сначала это не имело значения, но затем все изменилось. Коулин, после долгих месяцев неустанных стараний, все больше разочаровывался. Он работал в поте лица по восемь, десять, двенадцать часов в день, но все-таки был недоволен. Он отпихивал законченные фигурки, скатывал их в шары и с отвращением швырял об пол. Его работа была недостаточно хороша.

Мужчины и женщины выглядели как мужчины и женщины в миниатюре. У них имелись мышцы, сухожилия, черты лица, даже слой эпидермиса и едва заметные волоски, которыми Коулин снабжал малюсенькие тела. Но что в том толку? Это же обман, фальшивка. Внутри них всего лишь глина и ничего больше — это-то и неправильно. Коулин желал создать настоящих смертных в миниатюре, а для этого требовалось учиться.

Вот тогда-то он первый раз и повздорил с доктором Старром, попросив принести ему книги по анатомии. Старр посмеялся над ним, однако разрешение все-таки дал.

И вот Коулин научился в точности воспроизводить скелет человека, органы, запутанную систему вен и артерий. И апофеозом стало воссоздание желез, структуры нервов и нервных окончаний. На это ушли годы, за которые Коулин слепил и уничтожил тысячи фигурок. Он делал глиняные скелеты, помещал в крошечные тела крошечные органы. Деликатная, требующая хирургической точности работа. Безумная работа, зато она отвлекала его от мыслей. Он дошел до того, что мог создавать фигурки с закрытыми глазами. Коулин суммировал все обретенные знания: он лепил скелеты, размещал внутри органы, добавлял нервную систему, кровеносную систему, железы, дерму, мышечные ткани — всё.

И под конец он начал лепить мозг. Он изучил все извилины до последней, все нервные окончания, каждую складочку на коре головного мозга. Учиться, учиться — несмотря на насмешки, несмотря на мысли, несмотря на монотонность многолетнего заточения. Учиться, учиться создавать совершенные тела,

сделаться величайшим скульптором на свете, стать величайшим хирургом в мире, творцом.

Доктор Старр заходил каждую свободную минуту, предпринимая слабые попытки укротить его фанатичный жар. Коулину хотелось расхохотаться ему в лицо. Старр опасался, что работа доведет Коулина до полного безумия. Коулин же знал, что только работа помогает ему сохранить остатки разума.

Потому что в последнее время стоило ненадолго остановиться, как он начинал замечать, что с ним что-то происходит. Казалось, снаряды снова рвутся в голове, и извилины мозга разматываются, словно моток бечевки. Он разваливался на части. Временами ему казалось, что в нем не одна личность, а тысячи, не одно тело, а тысячи отдельных, отличных друг от друга организмов, вроде его глиняных человечков. Он не цельное человеческое существо, а сердце, легкие, печень, кровь, рука, нога, голова — все по отдельности; и чем дальше, тем все самостоятельнее становятся эти фрагменты. Его мозг и тело больше не были одним целым. Все внутри его распадалось, начиная вести самостоятельную жизнь. Нервная система больше никак не зависела от кровеносной. Рука не всегда следовала за ногой. Он вспоминал то, о чем им рассказывали на медицинском факультете, — разного рода намеки, будто каждый орган способен жить автономно.

Каждая клетка, что очень важно, тоже самостоятельная единица. И когда человек умирает, то смерть не наступает сразу во всем теле. Некоторые органы умирают раньше других, некоторые клетки отключаются первыми. Правда, такого не должно происходить при жизни. Однако же происходит. Шок, испытанный им при взрыве снарядов, в чем бы он ни проявился, привел в итоге к медленному распаду. И по ночам Коулин лежал и гадал, когда же тело развалится окончательно, по-настоящему распадется на дрожащие руки, трепещущее сердце и свистящие легкие, рассыплется на фрагменты, словно разбитая глиняная кукла.

Ему приходилось работать, чтобы сохранить рассудок. Пару раз он пытался объяснить доктору Старру, что происходит, попросить о дополнительном обследовании — не ради себя, ради той пользы, какую может извлечь из его случая наука. Старр, как обычно, посмеялся. Пока Коулин внешне здоров, пока не выказывает патологических или опасных наклонностей, он не станет вмешиваться. Какой дурак!

Коулин работал. Он создавал тела, настоящие тела. На каждое тело уходило много дней, чтобы доделать до конца тщательно проработанные губы, придать правильную форму миниатюрным ушным раковинам и глазницам, приладить изящнейшие пальчики и ногти на руках и ногах. Но работа помогала ему

жить дальше. Как чудесно, когда весь стол заставлен миниатюрными мужчинами и женщинами!

Доктор Старр придерживался иного мнения. Как-то он вошел и застал Коулина склонившимся над открытой книгой, с тремя небольшими шариками глины и с самым маленьким ножиком в руке.

— Что это вы делаете? — поинтересовался он.

— Делаю своим человечкам мозги, — ответил Коулин.

— Мозги? Господи!

Старр наклонился ниже. Точно, самые настоящие мозги! Крошечные, безупречно воспроизведенные человеческие мозги, совершенные в каждой детали, вырезанные слой за слоем, с выведенными наружу нервными окончаниями, с сосудами, соединяющими их с глиняными черепами.

— Какого... — начал Старр.

— Не мешайте. Я вкладываю в них мысли, — перебил Коулин.

Мысли? Да это чистое безумие, крайняя степень безумия. Старр стоял в ошеломлении. Мысли, вложенные в мозг глиняных человечков?

Старр попытался что-то сказать. Но тут Коулин поднял голову, лицо его залил свет предвечернего солнца, и в этом свете Старр увидел глаза своего пациента. Под его взглядом он тут же сник — то был взгляд почти что Бога.

На следующий день Коулин заметил, что глиняные человечки двигаются.

II

— Франкенштейн, — пробормотал Коулин. — Я Франкенштейн. — Голос его понизился до шепота. — Нет, я даже не Франкенштейн. Я прямо Господь Бог. Точно, я Бог!

Он опустился перед столом на колени. Двое маленьких мужчин и две женщины серьезно кивнули ему. Он видел на их телах отпечатки пальцев, своих собственных пальцев, в тех местах, где разглаживал глину, поставив на место мозг. Однако же они все равно живые!

— А почему нет? Разве кто-нибудь понимает хоть что-то в творении, в жизни? С философской точки зрения, человеческое тело всего лишь механизм, способный реагировать на раздражитель. Если воспроизвести этот механизм без изъяна, то почему бы ему не заработать? Жизнь, вероятно, это электричество. Во всяком случае, так считается. Вложи мысль в совершенное подобие человека, и оно оживет.

Коулин шептал себе под нос, а глиняные человечки смотрели на него снизу вверх, согласно кивая.

— Кроме того, я распадаюсь. Я теряю свою индивидуальность. Возможно, какие-то частицы моей живой субстанции перешли, влились в эти новые тела. Вероятно, тому виной моя... моя болезнь. Но мне никогда не узнать этого наверняка.

Хотя он может узнать. Если фигурки ожили благодаря жизненной силе Коулина, в таком случае он сможет управлять их действиями, как управлял действиями собственного тела. Он создал их, отдал им бóльшую часть своей жизни. Они — это он сам.

Он, съежившись, сидел в зарешеченной палате и сосредоточенно размышлял. А фигурки двигались. Двое мужчин подошли к двум женщинам, взяли их за руки и исполнили задумчивый менуэт под мысленно напеваемую Коулином мелодию: гротескный танец крошечных глиняных куколок, жуткая пародия на жизнь.

Коулин закрыл глаза и откинулся назад, дрожа всем телом. Все так и есть!

От усилия, которое потребовалось, чтобы сосредоточиться, он весь взмок. И тяжело дышал, измученный. Собственное тело ослабело, опустошенное. И что тут удивительного? Он же управлял одновременно четырьмя разумами, исполнял движения четырех тел. Это уж чересчур. Зато по-настоящему.

— Я Бог, — пробормотал он. — Бог!

Но какая в том польза? Он же псих, запертый в дурдоме. Как ему использовать свою силу?

— Сначала надо поэкспериментировать, — произнес он вслух.

— Что?

Доктор Старр вошел незаметно. Коулин поспешно покосился на стол, но, к его радости, человечки стояли без движения.

— Я всего лишь заметил, что надо поэкспериментировать с глиняными фигурками, — быстро пояснил Коулин.

Доктор изумленно поднял брови:

— В самом деле? Знаете, Коулин, я тут подумал. Мне кажется, это занятие не приносит вам пользы. Вы выглядите перевозбужденным, усталым. Я даже склоняюсь к мысли, что этим занятием вы только делаете себе хуже. Боюсь, в этой связи я вынужден запретить вам лепку.

— Запретить?!

Доктор Старр кивнул.

— Но вы не можете, если я только что... То есть не можете, и все! Это последнее, что у меня осталось, только это и помогает мне жить. Без этого занятия я...

— Прошу прощения.

— Вы не можете!

— Я врач, Коулин. Завтра глину унесут. Я же хотел дать вам шанс обрести себя, снова начать жить...

До сих пор Коулин никогда не буянил. Доктор изумился, когда пальцы безумного хирурга вцепились ему в горло, со знанием дела нащупав сонную артерию. Старр с грохотом повалился на спину и отбивался от пациента, пока не вбежали санитары и не оттащили Коулина. Его швырнули на койку, и доктор ушел.

Было уже темно, когда Коулин вынырнул из океана ненависти. Он лежал в палате один. Все ушли, день закончился. Завтра они вернутся, будет новый день, и они заберут его человечков, его возлюбленных человечков. Его живые фигурки! А вдруг они скомкают их, уничтожат — уничтожат настоящую жизнь? Это же убийство!

Коулин горько зарыдал, вспомнив о своих мечтах. Чего бы он мог добиться с такой силой? Да чего угодно! Он ведь мог бы слепить дюжины, сотни человечков, научился бы сосредоточиваться, чтобы по своему желанию управлять целыми толпами. Он создал бы свой собственный маленький мир — мир, полный человечков, которые служили бы ему. Они стали бы его компаньонами, его рабами. Можно было бы создать разные виды тел, да-да, и разные виды мозга. Он мог бы управлять своей личной маленькой цивилизацией.

Более того, он мог бы создать целую расу. Новую расу. Расу, способную к размножению. Расу, которая развивалась бы, чтобы помогать ему. Сотни крохотных фигурок с мускулистыми руками и остро заточенными зубами могли бы перегрызть решетку. Сотни крохотных фигурок могли бы напасть на санитаров, освободить его. И тогда он вышел бы в большой мир с глиняной армией, армией хотя и крошечных, но зато способных зарываться глубоко под землю, передвигаться тайком, незаметно проникать повсюду воинов. Возможно, в один прекрасный день весь мир оказался бы населен глиняными людьми, которых создал он. Людьми, которые не стали бы вести глупые войны, доводя до безумия подобных себе. Людьми, лишенными грубых эмоций дикарей, охотников, сластолюбцев. Долой плоть! Даешь божественную глину!

Но теперь все кончено. Наверное, он сошел с ума, что позволил себе так размечтаться. Все кончено. И одно он знает наверняка: без глины он будет заходить в своем безумии все дальше и дальше. Коулин почувствовал это сегодня, ощутил, как тело перестает его слушаться. Его глаза, глядящие на луну, кажется, больше ему не принадлежат. Они глядят откуда-то с пола

или из угла. Губы шевелятся, однако он не чувствует движения мышц на лице. Голос звучит, но кажется, будто он идет с потолка, а не из горла. Он скомкал себя, словно неудавшуюся глиняную фигуру.

Причиной тому — сегодняшние переживания. Великое открытие, а затем нелепое решение Старра. Старр! Это он во всем виноват. Это он все придумал. Довел его до безумия, до кошмарного, не имеющего названия состояния разума, которое он сам не в силах увидеть по причине своей слепоты. Старр вынес ему смертный приговор. Если бы только Коулин сам мог приговорить Старра!

«Вероятно, мог бы».

Что такое? Мысль как будто пришла со стороны — изнутри головы или снаружи? Он больше не мог понять, откуда приходят мысли, — тело ведь рассыпается. На что оно теперь похоже?

«Вероятно, ты можешь убить Старра».

Как?

«Выяснить, в чем план Старра, что он собирается делать».

Как?

«Отправить на разведку глиняного человечка».

Что?

«Отправить на разведку глиняного человечка. Сегодня днем ты сосредоточился, чтобы оживить их. Они живые. Отправь одного из них. Он проберется под дверью, спустится вниз, подслушает Старра. Если ты оживишь глиняное тело, то услышишь Старра».

Как же громко жужжат мысли...

Но как я это сделаю? Глина есть глина. Глиняные ноги сотрутся раньше, чем дойдут до цели и вернутся обратно. Глиняные уши — пусть и самые совершенные — рассыплются в прах от настоящих звуков.

«Думай. Пусть мысли перестанут жужжать. Есть способ...»

Точно, способ есть! Коулин ахнул. Его безумие, его обреченность — вот в чем кроется решение! Если его органы чувств больше не работают согласованно, если ему хватило силы спроецировать себя в глину, почему бы не наделить своих подопечных определенными способностями? Почему бы не даровать глиняным ушам способность слышать, как следует сосредоточившись? Почему бы не переделать глиняные ноги, чтобы они стали точной копией его собственных ног, а затем сконцентрироваться на ощущении ходьбы? Его тело, его чувства разлагаются. Вложить их в глину!

Он засмеялся, зажигая лампу, схватил маленькую фигурку и принялся по-новому вылепливать ноги. Сбросил с себя тапочки, внимательно присмотрелся, снова засмеялся, принялся за

дело — и вот все готово. Затем он лег в темноте на кровать и сосредоточился.

Глиняная фигурка спускалась со стола. Она соскользнула по ножке, приземлилась на пол. Коулин почувствовал в пятках боль от удара, когда ноги человечка соприкоснулись с полом. Есть! Это его ноги!

Пол дрожал, сотрясался. Ну конечно. Едва ощутимые вибрации, которых не замечают люди, улавливают глиняные уши. Его уши.

Еще одна часть его тела — глаза Коулина — видела, как маленькая крадущаяся фигурка преодолела пространство, протиснулась под дверью. Затем наступила темнота, и Коулина прошиб пот.

Глиняный Коулин ничего не видит. У него нет глаз. Но его поведет интуиция, воспоминания.

Коулин шагал по громадному миру. Приближались чьи-то ноги — ноги колосса. Коулин вжался в плинтус, когда мимо протопало чудовище, сотрясая пол чудовищными же волнами.

Затем Коулин двинулся дальше. Он нашел нужную дверь благодаря интуиции — четвертая дверь на нижнем этаже. Протиснулся под нею, шагнул на ковер. Длинный ворс показался ему высотой в хороший фут. Ноги заныли, ворсины впивались в пятки, острые как ножи. Откуда-то сверху раскатисто гремели голоса. Какие-то титаны ревели и грохотали в поднебесье.

Доктор Старр и профессор Джеррис. Джеррис — нормальный человек, он не слепой. А вот Старр...

Коулин спрятался за могучей цитаделью кресла, начал карабкаться на горный пик костлявого Старрова колена. Он напрягал слух, пытаясь разобрать слова в оглушительном реве.

— Я совершенно уверен, что Коулин неизлечим. Сегодня у него был припадок. Пытался напасть на меня, когда я сказал, что заберу его глиняных кукол. Можно подумать, это живые существа. Наверное, он так и думает.

Коулин вцепился в ткань брюк под коленом Старра. Лишенный зрения, он не мог определить, заметят его или нет, но надо держаться крепче, залезть повыше, чтобы уловить смысл грохочущих слов.

Заговорил Джеррис:

— Возможно, он так думает. Возможно, так оно и есть. В любом случае что эта кукла делает у тебя на ноге?

Кукла на ноге? Коулин!

Коулин, лежа на постели в палате, отчаянно пытался вернуть себе жизнь, пытался извлечь слух и осязание из конечностей своего глиняного подобия, но было поздно. Раздался невыно-

симый рев, что-то приблизилось и схватило его, а затем болезненно сжало...

Коулин обмяк на кровати, возвращаясь в мир алого расплывающегося света.

III

Солнце светило Коулину в лицо. Он сел. Все это ему приснилось?

— *Приснилось? — шепотом спросил он. И снова повторил* шепотом: — Приснилось?

Он ничего не слышал. Он оглох.

Его уши, его способность слышать, были вложены в глиняного человечка, а тот погиб прошлой ночью, когда Старр смял его. И вот теперь Коулин оглох!

Какая безумная мысль. Коулин в панике подскочил на постели, спрыгнул на пол.

Ходить он тоже не может!

Ноги он по собственной воле отдал глиняному человечку, а теперь тот уничтожен. Он не может ходить!

Все его органы чувств работают вразнобой. Значит, все случилось на самом деле! Его уши, его ноги каким-то непостижимым образом вселили жизнь в глиняного человечка. И вот теперь он их лишился. Какое счастье, что он не отдал своему лазутчику зрение!

Но какой ужас смотреть на обрубки, оставшиеся от ног. Какой ужас ощущать, что ушей больше нет до самой кости. Ужас, вселяющий ненависть. Это Старр во всем виноват. Убить паразита, покалечить его!

И Коулин составил план. У него еще остались силы. Он сможет оживить глиняных человечков, а затем придать их жизни определенную цель. Как следует сосредоточившись, используя свое необычное физическое состояние, он сумеет отдать глине часть себя. Что ж, и отлично. Старр за все заплатит.

Коулин остался лежать в постели. Когда Старр зашел к нему после обеда, Коулин не поднялся. Нельзя, чтобы Старр увидел его ноги, нельзя, чтобы догадался о его глухоте. Старр говорил, наверное, о глиняной фигурке, которую обнаружил накануне вечером у себя на ноге, глиняной фигурке, которую он уничтожил. Наверное, говорил о том, что уничтожит и остальных глиняных человечков заодно с остатками глины. Вероятно, он спрашивал Коулина о самочувствии, почему он лежит в постели.

Коулин изображал приступ апатии, погруженности в себя. Старр забрал глину и вышел.

Коулин улыбнулся. Вытащил из простыней маленькую фигурку, единственную, которую оставил себе. Это был человек идеальных пропорций, но с необычайно сильными руками и очень длинными ногтями. Зубы у него были просто отличные. Однако фигурка недоработана: у нее не было лица.

Коулин принялся за дело поспешно, потому что сгущались сумерки. Он пододвинул зеркало и, работая над человечком, время от времени улыбался своему отражению, словно обмениваясь тайным знаком с единомышленником. Стемнело, и Коулин продолжал работать по памяти, он действовал изящно, умело, словно художник, словно творец, вдыхающий в глину жизнь. Жизнь в глину...

IV

— Говорю же, та проклятая кукла была живая! — выкрикнул Джеррис, он потерял всякое терпение. — Я видел!

Старр улыбнулся.

— Это просто глина, и я ее смял, — ответил он. — Не будем больше спорить об этом.

Джеррис пожал плечами. Два часа догадок и предположений. Завтра он сам осмотрит Коулина, выяснит, чем занимается пациент. Он гений, пусть и безумный. Старр же просто дурак. Он довел Коулина до соматических симптомов, отняв у него глину.

Джеррис пожал плечами. Глина. Он прекрасно помнил, как маленькая, идеально вылепленная фигурка висела на штанине у Старра, она точно никак не могла прилипнуть случайно. Кукла держалась сама. Когда же Старр скомкал ее, кожу проткнули глиняные кости, вывалились глиняные внутренности, которые извивались, — во всяком случае, так показалось при свете.

— Хватит пожимать плечами, идите спать, — фыркнул Старр. Он говорил так, словно решение принято, и Джеррис обратил на это внимание. — Хватит переживать об этом ненормальном. Коулин сумасшедший, и с этого момента я буду относиться к нему как к сумасшедшему. Я долго терпел. Настала пора применить силу. И на вашем месте я больше не вспоминал бы о глиняных человечках.

Это был уже приказ. Джеррис в последний раз пожал плечами, подчиняясь, и вышел из кабинета.

Старр выключил свет и приготовился вздремнуть прямо за столиком дежурного врача. Джеррис прекрасно знал его привычки.

Джеррис прошел по коридору. Удивительно, как расстроила его эта история! Увидев сегодня глиняных человечков, он едва не пришел в отчаяние. Работа была совершенна, просто поразительные миниатюры! Но все-таки это была глина, всего лишь глина. Человечки не убегали, когда Старр крушил их. Глиняные ребра ломались, глиняные глаза выскакивали из настоящих орбит и раскатывались по столу — ужас! А тонюсенькие глиняные волоски, а обрывки кожи, выполненной с таким тщанием! Он словно побывал на вскрытии. Коулин, нормальный или сумасшедший, настоящий гений.

Джеррис пожал плечами, на этот раз сам с собой. Что за дьявол? Он часто заморгал.

А потом увидел нечто.

Похожее на крысу. Небольшую крысу. Небольшая крыса неслась по коридору на двух передних лапах вместо четырех. Небольшая крыса без шерсти, без хвоста. Небольшая крыса, от которой падала небольшая отчетливая тень... человека!

Когда крыса подняла голову, оказалось, что у нее имеется лицо. Джеррису даже показалось, что она зыркнула на него. Это была маленькая коричневая крыса из глины... да нет же, это маленький глиняный человечек из тех, что делал Коулин! Маленький глиняный человечек проворно добежал до двери Старра, подлез под нее. Идеально вылепленный глиняный человечек, но живой!

Джеррис ахнул. Он спятил, как и все остальные здесь, как Коулин. И все-таки он видел, как существо проскользнуло в кабинет Старра, оно двигалось, у него были глаза и лицо, и оно было из глины.

Джеррис начал действовать. Он побежал, но не в кабинет Старра, а дальше по коридору, к палате Коулина. Отыскал ключи — они были при нем. Ему не сразу удалось справиться с замком и открыть дверь, еще несколько секунд ушли на поиски выключателя.

Затем последовал чудовищно долгий миг, когда он во все глаза смотрел на существо на кровати: существо с обрубками вместо ног, которое лежало, распростершись на спине, среди разбросанных инструментов, с зеркалом на груди, задрав к потолку слепое лицо, которое не было лицом.

Пауза была действительно долгая. Крики с полминуты неслись из кабинета Старра, прежде чем Джеррис услышал их. Крики переросли в стоны, а Джеррис стоял и смотрел на лицо, которое не было лицом: это лицо изменялось у него на

глазах, таяло, исчезало, изодранное до мяса чьими-то невидимыми руками.

Вот как это было. Какая-то неведомая сила содрала лицо человека на кровати, оторвала голову от шеи. А стоны неслись из коридора...

Джеррис побежал. Он ворвался в кабинет, опередив остальных. И увидел то, что ожидал увидеть.

Старр свисал со стула, горло сбоку было разорвано. Маленький глиняный человечек исполнил свое задание, и доктор Старр был уже мертв. Крошечная коричневая фигурка вонзила отлично заостренные когти в горло спящего, когти, выполненные со знанием дела, и, возможно, еще и зубы, с хирургической точностью попав на сонную артерию. Старр умер раньше, чем успел стряхнуть с себя дьявольски точную копию человека, однако последним неистовым взмахом стесал ему лицо и оторвал голову.

Джеррис снял со Старра жуткого человечка и смял, скатал пальцами в коричневый ком раньше, чем остальные ворвались в кабинет.

А он сделал шаг и поднял с пола оторванную голову с изуродованным лицом, миниатюрным, старательно проработанным лицом, которое торжествующе улыбалось — улыбалось даже после смерти.

Джеррис пожал плечами, а в следующий миг его пробила дрожь, когда он растер в прах маленькое глиняное лицо Коулина, создателя.

ДЭНИЕЛ ФОКС

El sueño de la razón[1]

Дэниел Фокс впервые заявил о себе как о писателе в жанре хоррор в 1992 году и с тех пор постоянно публиковался в выпусках антологии «Темные голоса. Книга ужасов от „Pan"» («Dark Voices: The Pan Book of Horror»). Под псевдонимом Чез Бренчли он издал четыре психологических триллера: «Самаритянин» («The Samaritan»), «Убежище» («The Refuge»), «Сад» («The Garden») и «Время для покупок» («Mall time»). Роман Фокса «Рай» («Paradise») называют «городским эпосом о добре и зле».

Он является автором трех фэнтезийных книг для детей и опубликовал более четырехсот рассказов в разных жанрах. Фокс провел год при Университете Сандерленда, получив писательскую стипендию в связи с Береговым скульптурным проектом (St. Peter's Riverside Sculpture Project).

«Я всегда видел во „Франкенштейне" не хоррор, а трагедию, — отмечает автор, — скорее грустную, нежели страшную историю. Краеугольный камень любой трагедии, разумеется, в ее неотвратимости: нас страшит абсолютная неизбежность несчастья. Создать человека несложно в сравнении с задачей найти для такого человека место в нашем мире; мы это сознаем и понимающе киваем, скорее печально, чем гневно, и бормочем, что поиски спасителей никогда не должны достигать цели.

И как всегда, чем больше мы знаем, тем больше хотим знать. Это неизбежно. Подарите нам огонь, и мы непременно построим доменные печи. Близится время, когда создание мужчины или женщины согласно плану станет сравнительно несложным, а что может быть сделано, будет сделано. Это неотвратимо. И по определению, совершенно необходимым станет то, что за этим последует...»

Разум спит — и в замке, и в деревне.

Разум спит, и в замке доктор точит пилу о кость, и проверяет остроту скальпелей, и до блеска протирает их о рукав белого халата. Деревня внизу полна калек и одноглазых, тех, у кого пустует рукав и недостает какого-нибудь органа, на каж-

[1] Сон разума *(исп.)*. Подразумевается название серии гравюр Гойи «Сон разума порождает чудовищ».

дом теле найдутся шрамы. И жители деревни с надеждой смотрят в небо в ожидании благодатной грозы; и они благословляют плодотворные труды доброго доктора, благословляют, благословляют его...

Разум спит, и в мире, где слишком много детей, появляется ребенок, которого ждет весь мир.

Он запланирован на генетическом уровне, каждый строительный блок изучен и сочтен пригодным, в его ближайших предках нобелевские лауреаты и олимпийские чемпионы, красота, бодрость и здоровье. Безупречное зачатие происходит под микроскопом, под надзором лучших специалистов, суррогатная мать прошла всевозможные физические и психологические тесты. Весь период беременности она проводит в лучшем родильном доме под постоянным наблюдением, ее упражнения и диета строго контролируются.

Рожденный посредством кесарева сечения в оптимальный момент, он получил — после долгих споров — имя Натаниель, но это имя не передавало сути. Он — не дар Бога. Они создали его сами и ни с кем не собирались делить эту честь. Родившую его мать зашили и отправили восвояси, разбогатевшую и связанную подписками.

Приемных родителей для него выбирали не менее тщательно. Ничего не упустили из виду, ничего не доверили случаю: этим двоим хорошо заплатили за совершенство, и они честно отрабатывали плату. Зачатый в стеклянном сосуде, Натаниель и воспитывался под стеклом: оранжерейный ребенок с энциклопедиями в детской кроватке и постоянным вниманием двоих взрослых на протяжении критических лет жизни.

Лучшему мальчику, какого сумело создать человечество, обеспечили лучшую жизнь, какую можно купить за деньги, и требовали от него напряжения всех сил.

Разум спит: ему хватало пяти часов ночного сна. Даже здесь, в этой ужасной компании, самодисциплина не изменяла ему. Он ложился вместе со всеми, спал, сколько ему требовалось, и просыпался.

До шестичасового подъема оставались пустые часы. Он не скучал, потому что не понимал, что такое скука, но заполнить время в темноте, без книг и компьютера, без телевизора и радио, было непросто.

У него были с собой только карманные шахматы с программой, написанной им самим. «Начинай с нуля, учись быстро». Компьютер умнел с каждой игрой, обучаясь на победах и поражениях. Этим он и занимался сейчас — обучал свою шахматную программу, играя с ней снова и снова.

Но это он проделывал на автопилоте, компьютер был еще слишком глуп, чтобы соревноваться с ним. Пальцы играли, а мысли бродили далеко, он обдумывал цену вещей. Тускло светящимся символам у него на коленях: коням, ладьям и слонам — всему приписывалась цена, соответствующая его возможностям. И королеве, конечно. Сильный прекрасный ферзь намного превосходит остальных, на две головы выше других. Сила и ответственность, дальновидный стратег с железным кулаком...

Он заманил белую королеву в до смешного очевидную для него ловушку и взял ее пешкой.

«Недостаточно хороша, — грустно подумал он, — да, честно говоря, вряд ли когда-нибудь достигнет совершенства». Дело не в игроке, а в фигуре. Да, самая сильная фигура на доске — но недостаточно сильна, если пешка может сбить ее, если глупость может ее погубить. Быть «недостаточно хорошим» — судьба почти всего на свете, и уж наверняка его судьба.

В шесть часов раздался гудок, и Натаниель — точный, исполнительный и быстрый — мгновенно вскочил с койки и натянул тренировочный костюм. Ноги в беговые туфли, и он готов. Пять обязательных кругов вокруг лагеря, всего четыре мили, и, выбежав первым, он мог продержаться в одиночестве всю дорогу, если не забывал притормозить после первой мили, чтобы не нагнать отстающих. Одному было проще, одному всегда было проще.

Он вернулся с пробежки, ничуть не запыхавшись, обогнав всех. Быстро в душ, быстро намылиться, и он вышел из душевой, как раз когда начали подходить остальные. Даже среди их жарких, разгоряченных тел он избегал их взглядов. Это он тоже хорошо умел. Проделывал уже на автопилоте. «Начинай с нуля, учись быстро».

Но за завтраком это было невозможно, за общим столом то и дело передавали тарелки, блюда и кувшины, пока шло составление команд на день и объявление программы. В лучшем случае здесь ему удавалось быть тихим, дружелюбным и никого не раздражать.

Что было непросто, сидя рядом с Раулем, который в прошлые выходные струсил на мачте учебного парусника, и потребовалась спокойная сила Натаниеля, чтобы спустить его на воду, с Раулем, который отказался проплыть под килем, и это стоило команде немало потерянных очков.

И сидя напротив Шарлотты, которая в пятнадцать лет была чемпионкой страны по шахматам, считалась лучшей из игроков за всю историю национальных шахмат и три раза за один вечер проиграла Натаниелю, после чего отказалась с ним играть, ска-

зав, что не понимает его игры, что для нее она слишком глубока, слишком необычна.

И сидя за одним столом, или за соседним столом, или просто в одном зале с Питером и Энни, Жозефиной, Тарьяном и Микаэлой. Он провел здесь три недели и за это время успел вывести из себя, смутить или обидеть каждого, кто имел с ним дело. И он ни разу не делал этого намеренно, просто он не умел лгать и ни за что не стал бы притворяться. Если что-то было так, он так и говорил; если не так, он тоже говорил. Если приходилось играть, он играл в полную силу в пределах правил. Если он был лучше, быстрее или сильнее других, он выигрывал.

А он был лучше, быстрее, сильнее, как всегда: просто так уж был устроен мир. А другим это не нравилось, кое-кто ненавидел его за это, и так тоже был устроен мир, так всегда было.

И как бы хорош он ни был, он всегда оказывался недостаточно хорош. Это было заложено в свойствах фигуры. Его обучили приказывать и обучили исполнять приказы, но чего-то в нем недоставало — чего-то, что заставило бы их полюбить его.

А он знал только один способ этого добиться, знал только один способ жить: стать еще лучше, стараться еще сильнее, большему учиться, выигрывать с большим счетом. Это был лейтмотив его детства, продолжавшийся и в подростковом возрасте. Недостаточно хорошо, ты должен сиять еще ярче. Недопустимо растратить впустую такой потенциал, но только от тебя зависит, чего ты достигнешь, мы можем лишь создать для тебя возможности.

У него хватало и настойчивости, и желания. Состязание в беге выигрывают быстрые, а бой — сильные, и только победителям принадлежат блистающие призы. Если он превзойдет даже их ожидания, если станет сиять ослепительно ярко, наверняка он получит в награду не просто одобрительный кивок и следующее, более трудное задание.

Старшего вожатого все считали ублюдком. Мягкий на вид, улыбчивый человек был мягко и улыбчиво беспощаден даже к своим любимцам и безжалостен к провинившимся.

Сегодня за завтраком он дал им больше обычного времени на еду, позволил наесться досыта: затем один звонок маленького колокольчика, и те немногие, кто еще не смотрел на него, обернулись, когда он поднялся. На их лицах интерес смешивался с опасениями.

— Ну, — начал он, — я думаю, мы достаточно долго с вами нянчились. — И он с улыбкой развел руками, выдержав паузу. Его ничуть не смутило, что шутка не вызвала ни одной улыбки,

не нарушила ничьей сосредоточенности. — Вы все в форме, — продолжал он. — Вы умны и хорошо адаптируетесь, вы продемонстрировали самостоятельность и начали понимать кое-что в командной деятельности. Я надеюсь, что последние недели закрепили то, что вы знали прежде, отточили ваши умения и позволили вам немного лучше узнать себя и друг друга.

Сегодня мы начинаем по-настоящему испытывать вас.

С этого момента все всерьез. Особый риск, особые возможности. Вас разделят на команды и поставят перед каждой свою задачу. Следующие две недели каждая команда будет есть вместе, работать вместе, потеть, страдать и плакать вместе. Спать вместе, если вам захочется, но только если ваш капитан сочтет, что это выгодно для команды.

У каждой команды будет капитан, выбранный мной: здесь не демократия. Но зато за вами не будет и надзора. Вы — сами по себе, ваша безопасность исключительно ваша забота. Никто из сотрудников лагеря не будет присматривать за вами и не вытащит вас из беды, если вы сделаете глупость.

Не делайте их. У нас каждый год происходят несчастные случаи, вам следует ожидать опасностей и катастроф, и, хотя нам еще ни разу не приходилось никого терять, статистически вероятно, что это случится. С каждым годом шансов становится больше. Помните об этом. Шансы не в вашу пользу, поэтому берегите себя как можете, будьте осторожны, не делайте глупостей.

Но и не проигрывайте. Не будьте слабыми.

Может быть, команду и не подбирали нарочно ему назло, но Натаниель считал это вполне возможным. Инструкторы любили его не больше, чем ребята: они завидовали его яркому, сияющему будущему и потому старались по возможности осложнить настоящее.

И здесь ничего нового. Иногда он гадал, когда же начнется это предполагаемое будущее. Десять лет назад он не сомневался, что доберется до него к шестнадцати; сейчас оно представлялось все таким же далеким, золотые мечты загораживала стена дней, темных дней, громоздившихся друг на друга.

Так или иначе, Натаниель оказался в одной команде с Раулем и Шарлоттой, с Питером и Жозефиной, Тарьяном и Микаэлой. Почти полный список недоброжелателей, и это, конечно, не было случайностью. За ними слишком пристально наблюдали, чтобы так ошибиться.

Не назначили Натанисля и капитаном, хотя его успехи в лагере, вероятно, этого требовали. «Во всем лучший, и все же недостаточно хорош, да?» — горестно подумал он, когда этот пост достался Жозефине.

Впрочем, возможно, он зря винил их. По дороге в спальню, где надо было собрать вещи («Один рюкзак, только самое необходимое. Помните, что вам придется нести его на себе, но помните, что и вернуться за тем, что забыли или сочли ненужным, вы не сумеете»), его отвел в сторону инструктор по скалолазанию, который нравился ему больше остальных.

— Вот, — сказал он, — я прошу тебя взять это на крайний случай. Такую получает каждая команда, но не говори капитану и остальным.

— Что это? — машинально спросил Натаниель, хотя, взяв вещицу и вертя ее в руках, он успел понять, что это.

Маленькая черная коробочка, герметичная, на жестком шнуре — легкий амулет из эластичного пластика, без надписей, ничем не примечательный, — в данном случае это могло означать только одно.

— Тревожная кнопка, — сказал инструктор на секунду позже, чем Натаниель понял сам. — Мы все-таки за вас отвечаем. Вертолет будет наготове не более чем в получасе лета. Но команде лучше об этом не знать. Надежда на спасение делает людей неосторожными.

— Почему выбрали меня?

Инструктор пожал плечами:

— Потому что ты не скажешь остальным. И ты лучше других сможешь оценить, какой случай действительно крайний. Ты не запаникуешь и не откажешься из гордости вызвать помощь, когда она необходима. Что бы ни говорил вожатый, нам не нужны потери. Это вредит бизнесу.

Натаниель кивнул:

— Как срабатывает кнопка — просто нажатием?

— Нажать и удерживать. Для запуска сигнала нужно непрерывно давить пару секунд. Это предосторожность против случайного включения. Кнопка передает сигнал тревоги, а потом работает как радиомаяк для вертолета. Носи на шее, в шнурке антенна. Постарайся не отделяться от команды, иначе мы найдем только тебя. И имей в виду: если ты просто отобьешься, заблудишься, это не считается крайним случаем. Понятно?

Натаниель кивнул, повесил шнур на шею и спрятал кнопку под футболку.

Два часа спустя они, в мокрых гидрокостюмах[1] и с водонепроницаемыми рюкзаками, сидели в плоскодонном «Зодиаке», колотившемся днищем о крутые волны.

---

[1] «Мокрый» гидрокостюм — в данном случае означает негерметичный, не изолирующий тело от воды.

Берег скрылся позади в тумане брызг и серых облаков. Тени впереди и по сторонам оказывались скалами или группами камней; иногда ветер раздувал туман, и Натаниель успевал тогда заметить у недалекого горизонта более протяженную и массивную тень, обещавшую остров. Конечно, здесь должен быть остров. Сумрачная дымка затрудняла ориентацию, но он знал, как давно они покинули лагерь, приблизительно знал направление и максимальную скорость «Зодиака»; за три недели он изучил береговую линию и карту. Да, вокруг должны быть острова.

И да, внезапно прямо перед ними возник остров, доказывая точность выбранного направления.

Так себе остров: низкий силуэт с очертаниями более мягкими, чем у оставшихся позади скал. Пожалуй, не взрослый кит, а китенок, но у каждого китенка есть мать. Он прищурился против ветра и решил, что, пожалуй, может ее разглядеть, если только не принимает желаемое за действительное.

Рулевой провел суденышко через линию прибоя, Натаниель услышал, как днище царапнуло по камням. Воздух здесь был полон брызг, он задыхался от соли, которую забивал в рот ветер.

— Ну, вылезайте! — крикнул рулевой. — Не забывайте вещи, я возвращаться не стану.

— Что нам надо делать? — спросила Жозефина.

— Выживать и двигаться. Больше ничего. Вас заберут с Джеймсея через сорок восемь часов.

— Как же нам туда добраться?

Они знали Джеймсей, на прошлой неделе обходили его на трехмачтовой шхуне. Тогда все думали, что их просто учат управлять большим парусником при противном ветре.

Натаниель сверился с кроками в памяти. Джеймсей должен лежать на двадцать миль южнее и пятью милями дальше от берега.

Рулевой равнодушно пожал плечами:

— Как хотите. Ну, вылезайте. Шевелитесь!

Ошеломленные, рассерженные или встревоженные, они тем не менее не подумали ослушаться приказа. Один за другим спрыгнули на почти метровую глубину в пронизывающую холодом воду, нащупали ногами каменную полку. Они поспешно выбрались из прибоя, неся в руках рюкзаки, и встали тесной группкой, молча глядя на удаляющийся, подскакивающий на волнах «Зодиак».

Рулевой не помахал им, не попрощался, не оглянулся.

«Что дальше?» Никто не задал этого вопроса. Признание в слабости и бессмысленное сотрясание воздуха.

— Что-то тут есть, — сказала Жозефина. — Должно что-то быть, не ждут же они, что мы доберемся вплавь. Разбиваемся

на две группы, идем вдоль берега в разные стороны. Встречаемся на дальней стороне и докладываем.

Так они и сделали, бежали рысцой, ради скорости и чтобы согреться, насколько позволяла дорога. В дымке две группы скоро потеряли друг друга из виду, но остров оказался небольшим, как и полагал Натаниель, и через пятнадцать минут они снова сошлись.

— Ничего.

— У нас тоже. Ничего.

Тогда они взобрались на самую высокую точку, откуда была видна вся береговая линия, и нет, не было ни лодки, ни материала для ее постройки.

— Есть идеи? — Жозефина обвела глазами команду, и, когда никто не отозвался, Натаниель высказал то, что казалось ему очевидным и без слов.

— Прилив в высшей точке.

— Откуда ты знаешь?

— Не видно линии прилива. Значит, выше, чем сейчас, прибой никогда не достает.

— Ладно, пусть так. И что?

— Если лодки здесь нет и они не ждут, что мы пустимся вплавь, значит, мы сможем уйти пешком. Как-нибудь проберемся. Смотрите, — указал он, — восточнее лежит остров побольше. Он совсем близко, если бы не туман. А отлив в таком месте должен быть значительным. Уверен, что при отливе мы сможем перейти туда, почти не замочив ног. Видите, туда тянется гряда скал, как начало дороги...

Он был прав, и они это понимали и не испытывали благодарности, но он ее и не ждал.

Они спрятались в самой сухой расщелине, какую сумели отыскать, — остров здесь был расщеплен до основания скал. Им надо было убить не меньше шести часов, и Рауль достал нож.

— Мы — команда, — сказал он. — Мы зависим друг от друга. Нам нужно единство. Хорошо бы знак, символ. То, что чувствую я, чувствуете и вы.

Он поднес лезвие к ладони, но Жозефина его остановила.

— Нет, — сказала она, — это сделаю я. Для всех. Я капитан.

Она забрала у него нож, крепко взяла его за руку и твердо провела лезвием по подушечке ладони под большим пальцем. Он вздрогнул, но не отдернул руку и не отвел глаз.

— Хорошо, — сказала она. — Ты будешь это чувствовать. Но кровь на таком холоде скоро остановится, а соль не даст ране воспалиться. Кто следующий?

Один за другим они подставляли ладони под нож, и их кровь смешивалась у нее на коже.

Натаниель остался последним. Он считал это глупым и ненужным: зачем лишние травмы, когда команде понадобятся все силы? Но его отказ принес бы больше вреда: с безразличным видом он протянул руку, повторяя про себя мантру, которая помогала ему подавлять боль.

Крепкие пальцы Жозефины зажали его пальцы, она взглянула ему в глаза, она улыбнулась и ударила острием, проткнув ладонь, царапнув по кости и чуть не выбив его из гипноза мантры.

Чуть, но не выбив. Крик боли потерялся в мысленном бормотании, он удержал ее взгляд и подумал, что в ее глазах видит больше боли, чем она видит в его.

Он не двигался, пока она не выдернула нож. Потом она подняла руку, и да, у нее тоже текла кровь. Острие, проткнув его ладонь, вонзилось и в ее, как, может быть, и было задумано.

Поправка: как наверняка и было задумано.

— Если мы навредим друг другу, — сказала она искренне и оживо, хотя никто и не думал верить, и он меньше всего, — мы навредим самим себе. Мы — команда, мы теперь связаны. Команда — это главное. Запомним это.

При отливе, как и предсказывал Натаниель, выступившие над водой камни протянулись дорогой от китенка к матери, от их маленького островка к большому соседу.

Это была трудная дорога, приходилось перепрыгивать с одного острого мокрого клыка на следующий, когда под самыми ногами жестокое течение закручивало льдисто-серую воду. Но они помогали друг другу: храбрые подбадривали неуверенных или подгоняли их бранью, смотря что лучше помогало, самые сильные проделали путь дважды или трижды, перетаскивая рюкзаки и протягивая руку в самых сложных местах, и наконец, пусть промокшие от брызг и дрожащие, пусть в порванных джинсах и сорвав кожу на ладонях, потеряв еще немало крови сверх пролитой раньше, но они благополучно перебрались. Повалились на редкую траву, устало улыбаясь друг другу, колотили кулаками воздух и вопили, насколько оставалось дыхания.

Никто не улыбнулся Натаниелю, никто даже не взглянул в его сторону, хотя он нашел им дорогу и прошел по ней и первым, и последним, хотя нес больше других и чуть не попался с последним рюкзаком, прыгая по скрывающимся под водой камням, когда прилив начался раньше, чем они ждали.

Он кивнул без улыбки, жалея, что он это чувствует, что ему не все равно, и пошел осматривать берег.

Под закрепленным колышками брезентом он нашел семь каноэ, спасательных жилетов, шлемов и весел.

Здесь оказались и пайки, и складные горелки, и маленькие канистры — все необходимое. Палатки не было, но под брезентом, натянутым на раму из весел и прижатым по краям камнями, хватило места для всех.

Поев, они развели костер из плавника, просушив для растопки — идея Натаниеля — щепки над горелками.

— Нет карты, — сказал Тарьян. — Они не оставили нам карты. Как мы должны искать Джеймсей?

— Вдоль цепи островов, — сказал Натаниель. — Они тянутся непрерывно, а если мы будем держаться с подветренной стороны, они прикроют нас от ветра и самого сильного волнения. Потом будет примерно миля по открытому морю точно на юг — и Джеймсей.

— Ты знал, — обвинила его Шарлотта. — Ты заранее знал задание и подготовился.

— Нет, — сказал он.

— Ты просто случайно запомнил карту, так, что ли?

Он пожал плечами:

— Наверное, так. Я смотрел карты на шхуне... — Этого было вполне достаточно: он запомнил их с первого взгляда, а забывать не умел. То, что он выучил, навсегда оставалось с ним. — Пустой трюк. Полезный, но пустой.

— Вроде тебя, значит.

Он взглянул на нее, увидел в ней досаду и гнев, уже знакомые по игре в шахматы. С картами эмоций было то же самое: однажды выученное не забывалось.

«Увы», — подумал он и стал смотреть в огонь, где самые жаркие языки были зелеными от соли.

Спавший почти без укрытия, дальше всех от стенки, почти не касаясь других, почти отдельно, он не счел себя обязанным, проснувшись, оставаться с командой, сбившейся вместе во сне. Он выкатился из-под навеса, встал на ноги и ушел к волнующемуся морю. Ветер жестоко кусал его сквозь мокрую одежду, но он радовался холоду и жалящим лицо брызгам.

Глядя в темноту, где волны с шипением разбивались о камни, он не увидел и не услышал ее, пока она не подошла совсем близко и не тронула его за плечо.

Жозефина, конечно, капитан команды, главный игрок: неплохой выбор в конечном счете, учитывая, что, окажись главным он, любая команда пребывала бы в состоянии непрерывного бунта. Начинай с нуля, учись быстро: уроки по психологии лидерства никогда не пойдут впрок такому, как он, — так бы он и сказал им, если бы мог заставить их слушать. На случай, если они сделают

новую попытку. *«Я получился неправильно,* — сказал бы он. — *Так нельзя. Эволюция уже замутнена демократией, теперь нельзя просто перескочить через большинство. В следующий раз будьте осторожнее, дайте несчастному ублюдку какую-нибудь зацепку в нормальности, иначе ему от начала до конца не за что будет держаться...»*

— Помнишь, — сказала Жозефина, с отвращением выдавливая слова, — что он сказал за завтраком насчет спать друг с другом? Если это на пользу команде.

— Да, — настолько бесстрастно, насколько было в его силах, ответил он.

— Ну, я об этом думала. Я думала, все, что сделало бы тебя одним из нас, стоило бы того... Но ведь ничего не выйдет, да?

— Не выйдет, — согласился он тем же тоном. Так же отчужденно.

— Для этого уже поздно.

— Да.

Уже давно было поздно, с его первой недели в лагере. Хотя он и начал с нуля, публично состязаясь с остальными.

— Ты... искусственный, — сказала она, пытаясь что-то прояснить для себя. — Тебя сделали лучше нас. Вот в чем дело.

— Нет. Не важно, как я получился. Я такой же настоящий, как вы. Не иной.

— Лучше — это иной. Произведение искусства, да? Настоящий — может быть, но людям трудно мириться с реальностью, когда ее слишком много. Понимаешь?

— Да, — сказал он, сгибаясь под грузом знаний, под грузом реальности.

— Ну и вот. Наверно, ничего не изменилось.

— Наверно, нет.

Никогда ничего не менялось и не изменится.

Ему показалось, что она кивнула в темноте, как будто перехватила его мысль, а потом зашагала к спящей команде. Остановилась, снова обернулась и спросила:

— Ты знаешь Гойю?

Он улыбнулся, коротко и быстро, и убил улыбку прежде, чем заговорил, чтобы она не расслышала улыбки в его голосе.

— El sueño de la razón produce monstruos, — сказал он.

— Да. Так и есть. Не забывай этого.

И она скрылась, а он впервые в жизни остался в неуверенности, в смятении. «Сон разума порождает чудовищ» — это было бесспорно, было постоянной темой его жизни. Но он не мог решить, обвиняла она или оправдывалась.

Они отчалили с первыми лучами солнца. Чтобы добраться до Джеймсея к вечеру, предстояло выложиться в полную силу.

Держались с подветренной стороны от цепи островов и гребли в постоянном ритме, и тут наконец Натаниель получил возможность обманывать себя, как будто наблюдая со стороны, как будто не был самим собой, хоть и не был никем из них. Он мог точно выдерживать ритм и согласовывать силу гребка с остальными, держаться на своем месте и притворяться таким же, как все.

В полдень они остановились поесть и отдохнуть в укрытой от ветра бухте, и он снова оказался оторванным от них, державшихся вместе, а потом снова спустили каноэ, и ноющие мышцы заработали в беспощадном ритме, и да, сосредоточившись на боли в ладони, он сумел понять их потребность в единстве. Для некоторых из них это был единственный способ выжить. Как обычно, он понимал, не разделяя. Держать ритм для него было притворством. Ему было бы лучше в одиночку, самому устанавливать темп и выбирать время для отдыха.

Но он держался с командой, не выгребал вперед, даже когда им это было нужно, даже когда ему стало ясно, что в таком темпе им ни за что не добраться до Джеймсея до темноты. Если сместить Жозефину, думал он, они пропали, совсем пропали.

Когда они вышли в открытое море, света едва хватало, чтобы различить тень Джеймсея на горизонте. Можно было бы еще раз переночевать на острове, завтра они бы еще успели вовремя прибыть на место встречи, но для этого пришлось бы вернуться назад на полмили, до последнего места, где можно было причалить. И там не будет ни еды, ни укрытия. Считалось, что они доберутся на Джеймсей сегодня, на отставание от графика припасы не выделялись.

Сбившись вместе и перекликаясь с каноэ на каноэ, они договорились идти дальше. У Микаэлы был компас, теперь ей предстояло всех направлять и держать на курсе. Кроме того, на острове были дома: будут видны огни. Последний рывок, говорили они, и дело сделано. И очко в пользу команды, говорили они, что при необходимости они сумели двигаться ночью.

Натаниель не принимал участия в решении. Он внес только одно предложение: перекликаться, называя имена в порядке движения, чтобы никто не отбился в темноте.

На спасательных жилетах были люминесцентные полоски, активировавшиеся контактом с морской водой, и это тоже помогало держаться вместе. Они группой выгребли на открытое место, хотя Натаниель сознательно держался чуть поодаль, чтобы сразу заметить, если кто-то от усталости или по невниманию собьется с курса. И точно так же, группой, если не командой, они встретили беду.

Беда была высокой и быстрой и уместной случаю, что свидетельствовало, быть может, о зависти некоего высшего порядка к их особости: ненормальная волна, нацеленная на кучку ненормальных, а Натаниель был всего лишь самым ненормальным из них. Им не дали ни времени, ни предупреждения. Один внезапный предостерегающий крик, пронзительный, как голос баклана, а потом вода вдруг вздыбилась против направления ровной зыби, и каноэ поднялись, опрокинулись в темноте, которая накрыла их, отрезала друг от друга и навалилась холодной, сокрушающей тяжестью, и нечем стало дышать и не на что надеяться...

Только эти ребята не надеялись и не паниковали, они боролись. Выучка, здравый смысл и спасательные жилеты вытянули их на поверхность, и Натаниель, разбив волну, набрав наконец полные легкие прекрасного, мокрого, соленого воздуха и оглядевшись, увидел вокруг головы, хватающие воздух ртами, и темные поплавки пустых каноэ.

Каноэ были главным, это не требовало обсуждений. Натаниель подплыл к ближайшему, зажал нейлоновый фалинь зубами, чтобы руки были свободны. Услышав высокий захлебывающийся крик, огляделся, увидел на фоне звезд машущий рукой силуэт, увидел в сумраке, что его спутники понемногу продвигаются к машущему, и присоединился к ним.

Конечно, их собрала Жозефина. Натаниель, пересчитав головы, пересчитав светящиеся полоски, насчитал семерых, хотя сомневался, пока не собрались все, вместе поднимаясь и опускаясь на высокой зыби. Семеро — значит, вся команда, никто не пропал, но из этих семерых только трое сохранили свои каноэ.

Мало. Подтянувшись как можно выше на каноэ, которое привел он сам, пока челнок не ушел под воду, вывернувшись из-под него, Натаниель решил, что различает еще две узкие тени, медленно уплывающие в темноту. Он вынул фалинь изо рта и сунул конец в руку ближайшему, Раулю, буркнул: «Держи, ради бога» — и поплыл за ними. Он плыл быстро, чтобы согреться и догнать, а надо было бы медленно, чтобы сохранить энергию и выжить.

Ему вслед что-то резко выкрикнула Жозефина, но он не стал задерживаться. Если она сама не понимает, некогда объяснять.

Во вздымающейся тяжелой темноте с постоянно ныряющим и опрокидывающимся горизонтом трудно было ориентироваться, глаза жгло взбаламученной ветром соленой пеной, хотя он плыл, держа голову над водой и не жмурясь, отыскивая глазами то каноэ, то звезду, по которой держал направление. Холод вампиром высасывал из мышц остатки тепла; без гидрокостюмов,

прикинул он, они погибли бы через час. С помощью костюмов, ума и удачи можно продержаться часа три-четыре. Но не до утра. До сих пор он сомневался, теперь был уверен.

Ум у них был, удачу можно создать или поймать, как ловил ее сейчас он, — удачу, не позволившую пропасть этим двум каноэ.

Упорства в нем было не меньше, чем силы, его готовили отчасти как раз для таких ситуаций и, разумеется, послали сюда, чтобы испытать в них. Он в конце концов поймал удачу и привел ее обратно, хотя удерживать в зубах два каноэ было куда тяжелее, чем одно, и добраться к остальным против течения оказалось еще труднее, чем отыскать их.

— Зачем это? — возмутилась Жозефина, когда он добрался до них. — У нас и так достаточно, чтобы держаться на плаву, нам не нужно по одному на каждого.

Они уже держались, взбираясь по двое, по трое на каноэ, и только лениво шевелили ногами, чтобы разгонять кровь, но он сказал:

— Нет, можно устроить лучше. Смотри, из пяти можно сделать раму: четыре поставить квадратом, а пятое — по диагонали, чтобы они не съезжались. Скрепим их фалинями. Тогда некоторые смогут совсем выбраться из воды — те, кому больше всего нужен отдых. И мы сможем отдыхать по очереди, поддерживать друг друга...

И снова он был прав, и они это поняли. Никто не стал спорить. И снова никто из них не испытывал благодарности, хотя он, возможно, сейчас спасал им жизнь. Он видел озлобленность на их лицах ясно как днем. И знал, что они видят ее друг в друге, и это вдруг показалось опасным. Огонь и вода, непреодолимые силы собирались против него, а он не знал иного способа встретить их, как только стараться еще больше, стать еще лучше.

И потому именно Натаниель плавал от каноэ к каноэ, переворачивая те, которые еще не перевернулись вверх килем, и стягивал их вместе, и онемевшими пальцами вязал узлы на нейлоновых канатах, воплощая свой замысел: плот, чтобы поддерживать обессиленные тела.

И потому именно Натаниель помогал самым маленьким, самым замерзшим, самым усталым забраться на плот и показывал, как лучше держаться на скользких корпусах; и Натаниель последним потянулся к плоту, чтобы схватиться и держаться, не давая течению затянуть себя в глубину.

И только Натаниеля недосчитались, когда прожектор вертолета наконец нащупал их, после того как двадцать минут шарил по темной воде.

Разум спит, и конечно, все рукоплещут выдержке команды, утешают их, потерявших товарища, и не жалеют для репортеров историй о гениальном мальчике, оказавшемся героем и пожертвовавшем собой для спасения других.

И конечно, никто в лагере не верит этим рассказам. Разум спит, да, но не настолько крепко. Ему не снятся сказки.

Молва расходится без слов: никто из команды не говорил о Натаниеле, но слухи все же распространялись. В сознании людей возникала картина: темная вода и решительные лица: «*Он не будет живым героем, мы не станем больше участниками его триумфа. Хватит...*»

Темная вода и решительные лица. «Некуда! Нет места!» И руки, которые отталкивают и бьют, щиплют, впиваются ногтями в лицо и глаза. Слишком много рук и слишком много ненависти — вот что мерещится всем в лагере.

Но это тоже сон, хотя, быть может, этот сон ближе к истине.

Тревожную кнопку нашли привязанной в углу плота из каноэ, под водой, но с антенной, торчащей вверх. Привязанной и зажатой, сознательно включенной, и никто из команды об этом не упомянул.

Ее оставил там Натаниель, включил, оставил и пропал. И быть может, ребята в самом деле, как все втайне уверены, оттолкнули его, но тех из организаторов, кто знает о кнопке, мучит другое предположение.

Может быть, столкнувшись с активной, беспощадной враждебностью команды, Натаниель в ту минуту представил себе такой же целую жизнь и сделал свой выбор. Начни с нуля, учись быстро. Может быть, следуя подсказке пульсирующей раны в ладони, он незаметно привязал спасительную для них кнопку, и повернул, и уплыл от них.

Может быть, в конечном счете это они оказались недостаточно хороши, может быть, это мир проиграл. Эта мысль преследует тех немногих, кто знает. И нет, они не говорят об этом между собой.

Разум спит, и их прекрасные дети не остаются с ними.

Но в замке остается доктор, и жители деревни не отчаиваются. Они забывают о погасшем свете и всё ждут рассвета. В следующий раз, повторяют они про себя. В следующий раз, говорят они друг другу.

И в этот раз, и в следующий раз, и каждый раз они выстраиваются в очередь, чтобы отдать то, что могут, и отдают с радостью. Доктор оказывает им честь, принимая то, что они имеют. То, что ценят больше всего, они отдают легче всего, и что тут нового?

МЭНЛИ УЭЙД ВЕЛЛМАН

Pithecanthropus Rejectus[1]

Мэнли Уэйд Веллман (1903—1986) родился в португальской Западной Африке. В 1930-х и 1940-х годах он считался одним из крупнейших палповых беллетристов, на его счету семьдесят пять книг и более двухсот рассказов. За время своей долгой и успешной карьеры Веллман работал практически во всех жанрах, включая биографии, детективы, научную фантастику, фэнтези, хоррор, занимался подростковой и региональной литературой.

Писатель дважды завоевал Всемирную премию фэнтези, лучшие из его рассказов представлены в сборниках «Кто боится дьявола?» («Who Fears the Devil?») (экранизированном в 1972 году), «Худшее впереди» («Worse Things Waiting»), «Одинокие бдения» («Lonely Vigils») и «В низине» («The Valley So Low»).

«Pithecanthropus Rejectus» считается одним из лучших рассказов автора в жанре научной фантастики. И тем не менее это произведение вызвало возмущение молодого Лестера дель Рея, который, прочтя его на Рождество, сам взялся сочинять научную фантастку, чтобы доказать, что может лучше. Это было примечательное начало писательской карьеры.

Мои первые воспоминания не отличаются от воспоминаний обычного человеческого ребенка — детская, игрушки, взрослые, серьезно произносящие непонятные слова над картами, пленками и шкалами приборов. Нет, пожалуй, последнего, то есть наблюдений, было больше обычного. Моим постоянным товарищем был толстый голубоглазый младенец, который пускал слюни, курлыкал и с трудом ползал по линолеуму детской, когда я проворно бегал туда-сюда, взбирался на столы и столбики кровати, а то и на секретер.

Иногда мне бывало его жаль. Но он был на удивление радостным и здоровым и, по-видимому, никогда не испытывал пугающих приступов боли в голове и челюстях, которые временами мучили меня. Научившись говорить и понимать, я узнал причину этих болей. Мне рассказала о ней высокая улыбчивая светловолосая женщина, научившая меня называть ее мамой. Она объяснила, что я родился без отверстия в верхней части черепа — так необходимого для роста костей и мозга, и что вы-

[1] Отверженный питекантроп *(лат.)*.

сокий хозяин дома — «доктор» — сделал такое отверстие, управлял ростом мозга, а позднее закрыл дыру серебряной пластиной. И челюсти мне тоже надставили серебром, потому что мои были слишком мелкими и узкими, чтобы дать свободу языку. Он сделал мне подбородок и перекроил несколько мышц языка, так что я смог говорить. Я научился за несколько месяцев, раньше младенца. Я научился выговаривать «мама», «доктор» и называть младенца Сидни, а себя — Конго. Впоследствии я научился выражать свои потребности, хотя, как видно из этих записок, я так и не начал, и никогда не научусь, говорить бегло.

Доктор часто приходил в детскую и часами что-то записывал, наблюдая за каждым моим движением и ловя каждый звук. Он был коренастым, с прямыми плечами и мощной квадратной головой. Со мной он вел себя строго, почти сурово, но с маленьким Сидни играл очень нежно. Я обижался и шел за сочувствием к маме. У нее хватало нежности и на меня, и на Сидни. Она брала меня на руки, укачивала и смеялась — и подставляла мне щеку для поцелуя.

Раз или два доктор поморщился, а однажды я подслушал, как он выговаривал маме за дверью детской. Я тогда уже неплохо понимал, а позже уточнил подробности разговора.

— Говорю тебе, мне это не нравится, — резко произнес он. — Ты слишком много внимания уделяешь этому существу.

Она легко рассмеялась:

— Бедняжка Конго.

— Конго — обезьяна, несмотря на сделанные мной операции, — холодно ответил он. — Твой сын — Сидни, и только Сидни. Второй — эксперимент, такой же, как смешение химических веществ в колбе или прививка к садовому дереву.

— Позволь тебе напомнить, — все еще добродушно возразила мама, — что ты, когда принес его из зоопарка, сказал, что он должен жить у нас как человеческий ребенок, в равных условиях с Сидни. Вспомни, это было одним из условий эксперимента. Как любовь и общение.

— А, этот зверь, — процедил доктор. — Иногда я жалею, что взялся за эти наблюдения.

— Но ты взялся. Ты усовершенствовал его мыслительные способности и дал ему возможность говорить. Он сейчас умнее любого человеческого ребенка его возраста.

— Человекообразные быстро взрослеют. Он достигнет пика развития, а Сидни пойдет дальше. Так всегда происходило в подобных экспериментах.

— Прежде такие эксперименты проводились на обычных детенышах человекообразных, — сказала мама. — Твои операции сделали его, по крайней мере отчасти, человеком. Так и обращайся с ним как с человеком.

— Я самому себе напоминаю Просперо, создающего Калибана из зверя.

— У Калибана были добрые намерения. — Мама напоминала ему о чем-то, о чем я ничего не знал. — Словом, я ничего не делаю наполовину, дорогой. Пока Конго живет в доме, я не пожалею для него доброты и помощи. И он будет видеть во мне свою мать.

Я услышал, а со временем и переварил все это. Когда, на третьем году, я научился читать, то добрался до статей доктора обо мне и начал понимать, что все это значило.

Конечно, я сто раз видел себя в зеркале и знал, что я темный, кривоногий и длиннорукий, с выступающей нижней частью лица и волосатым телом. Но мне не казалось, что все это так уж отличает меня от других. Я был не похож на Сидни — но и мама отличалась от него внешностью, ростом и поведением. Я был к ним ближе — по речи и в таких вещах, как манеры за столом и самостоятельность, — чем он. Но теперь я понял и начал осознавать разницу между мною, с одной стороны, и Сидни, доктором и мамой — с другой.

Я узнал, что родился в клетке зоопарка в Бронксе. Моей матерью была большая обезьяна кулакамба, очень близкая к человеческому типу по размеру, сложению и интеллекту, — она не была ни карликом, как обычные шимпанзе, ни громоздкой и угрюмой, как гориллы. Доктор, великий антрополог-экспериментатор — такие слова давались мне легко, потому что постоянно звучали в доме доктора, — решил сравнить наблюдения за новорожденной обезьяной и собственным ребенком в случае, когда они будут расти вместе в равных условиях. Я был обезьяной.

Между прочим, в книге «Рожок торговца»[1] я прочел, что никаких кулакамб не существует, что это сказка. Но они существуют — нас очень много в лесах Центральной Африки.

Я так гладко рассказываю, потому что все это знаю. Доктор исписал горы бумаги, и оттиски всех его статей о кулакамбах хранились в библиотеке. Я добрался до них, когда стал старше.

Мне было четыре года, когда доктор отвел меня в большую белую лабораторию. Там он осмотрел и обмерил мои руки и озадаченно хмыкнул в бороду.

— Придется оперировать, — сказал он наконец.

— Обязательно? — Я струсил. Я знал, что значит это слово.

Он улыбнулся, но не слишком весело.

---

[1] *«Рожок торговца»* — книга Альфреда Алойзиуса Хорна (1861—1931), в которой он описывает свое путешествие по джунглям Центральной Африки.

— Ты будешь под наркозом, — пообещал он, словно оказывал мне великую услугу. — Надо подправить тебе руки. У тебя большие пальцы не противостоящие и кисть плохо подходит для хватания. Не человеческая, Конго, не человеческая.

Я боялся, но мама пришла меня утешить и сказала, что по большому счету для меня это к лучшему. Так что, когда доктор приказал, я лег на застланный простыней стол и глубоко вдохнул сквозь подушечку, которую он положил мне на лицо. Я уснул и видел во сне высокие зеленые деревья и людей, похожих на меня, которые карабкались и играли на них — строили гнезда и ели орехи, большие, как моя голова. Во сне я хотел быть с ними, но меня что-то не пускало — вроде стеклянной стены. От этого я плакал — хотя кое-кто говорит, что обезьяны не способны плакать, — и проснулся в слезах. Руки тупо ныли и были до локтей обмотаны бинтами. Через несколько недель, когда я снова смог ими пользоваться, я обнаружил, что мозолистые ладони стали мягче, а неуклюжие большие пальцы немного удлинились и на них появился новый сустав. Я стал таким ловким, что мог поднять булавку или завязать узел. Тогда была зима, и раз или два, когда я играл во дворе, у меня случались ужасные боли во лбу и в челюсти. Доктор сказал, что это от серебряных пластин и что мне нельзя выходить на улицу без шапки, а шарф надо наматывать до ушей.

— Это как чувствительный нерв в зубе, — объяснил он.

В семь лет я свободно расхаживал по всему дому и ловко помогал маме в работе. Теперь доктор не мог мною нахвалиться. Он обращался к нам за столом — мы с Сидни ели с ним, если не было гостей, — и говорил, что его эксперимент, во многом неудачный, оказался многообещающим в совершенно неожиданном отношении.

— Конго был обычным детенышем обезьяны, — твердил он, — а развился во вполне приличного во всех отношениях представителя низшего класса.

— Он вовсе не «низший класс», — каждый раз возражала мама, но доктор ее не слушал.

— Мы можем оперировать его родичей и создавать великолепную, дешевую рабочую силу. Да ведь Конго, когда вырастет, сможет работать за шестерых или семерых мужчин, а его содержание почти ничего не стоит.

Он испытывал меня в разных ремеслах: в работе по саду, плотницкой и кузнечной, с которыми я, кажется, вполне справлялся,— а однажды спросил, чем бы я хотел заниматься больше всего.

Я вспомнил сон, который видел, когда он меня оперировал и много раз после того.

— Больше всего, — сказал я, — мне хотелось бы жить на дереве, построить гнездо из веток и листьев.

— Ух! — чуть ли не с отвращением воскликнул он. — А я-то думал, ты становишься человеком.

После того случая он снова потребовал, чтобы мама уделяла мне меньше внимания.

Сидни в то время стал ходить в школу. Я оставался дома с мамой и доктором — мы жили в маленьком городке штата Нью-Джерси, — и мои занятия были ограничены домом и заросшим задним двором. Однажды, после небольшой ссоры с доктором, я сбежал и перепугал всех соседей. Домой меня привел нервный полицейский с пистолетом в руке. Доктор в наказание на три дня запер меня в комнате. За это время я о многом подумал и решил, что я отверженный. Людям я казался странным, страшным и совсем чужим. Корявое туловище и волосатая кожа обрекли меня на враждебность и плен.

К десяти годам я достиг полного роста. Я вырос до пяти футов шести дюймов и весил столько же, сколько доктор. Мое лицо, прежде светлое, почернело, подбородок оброс бородой, и над верхней губой появилась жесткая шерсть. Я ходил прямо, не опираясь кулаками на землю, как делают обезьяны, потому что в руках обычно держал книгу или инструмент. Слушая, как Сидни вечерами готовил уроки, я немного поднабрался школьной науки, а потом совершенствовался, постоянно и серьезно изучая его старые учебники. Мне говорили, что так же ведут себя обычные дети, изолированные от сверстников. Кроме того, я прочел много книг из библиотеки доктора — особенно о путешествиях. А художественной литературы я не любил.

— Зачем это читать? — спросил я, когда мама предложила мне «Тома Сойера». — Это неправда.

— Это интересно, — сказала она.

— Но если это неправда, значит, ложь, а врать нехорошо.

Она сказала, что читатели романов знают, что в книгах пишут неправду. На это я ответил, что читатели романов — дураки. Доктор, вмешавшись в разговор, спросил меня, почему я в таком случае радуюсь своим снам.

— Ты говорил, что тебе снится большой зеленый лес, — напомнил он. — В этом не больше правды, чем в книгах.

— Если это хороший сон, — сказал я, — проснувшись, я радуюсь, потому что он делает меня счастливым. Если сон плохой, я радуюсь, что сбежал из него, проснувшись. А главное, сны бывают, а романы — нет.

Доктор назвал это софистикой и на том закончил спор.

Я говорил, что я не настоящий писатель, и доказываю это, пропуская важные обстоятельства — множество визитов ученых.

Они приходили, чтобы понаблюдать и обсудить наблюдения с доктором и даже со мной. Но однажды пришли люди, которые не были учеными. Они курили длинные сигары, носили перстни с бриллиантами и шляпы дерби. Доктор час провел с ними в кабинете, а потом до ночи разговаривал с мамой.

— Восемнадцать тысяч долларов, — повторял он. — Подумать только!

— Прежде ты никогда не говорил о деньгах, — грустно отвечала она.

— Но восемнадцать тысяч! И, дорогая, это только начало. Мы повторим опыт с двумя обезьянками — ты сможешь нянчиться с двумя маленькими Конго.

— А первый Конго, мой бедный лесной приемный сын? — горевала мама. — Ему будет плохо без нас. Как ты можешь думать об этом, дорогой? Разве не твой дед сражался за освобождение негров?

— Те рабы были людьми, — отвечал доктор, — а не животными. Конго не будет несчастен. С его инстинктами обезьяны он будет счастлив в новой жизни. Для него это блестящее будущее. А нам нужны деньги на жизнь и новые опыты.

Разговор продолжался бесконечно, и мама плакала. Но доктор настоял на своем. Утром люди с сигарами вернулись, и доктор весело приветствовал их. Они дали ему чек — крупный, потому что они заполняли его с большим почтением. Потом он позвал меня.

— Конго, — сказал он, — ты пойдешь с этими людьми. Ты сделаешь карьеру, мой мальчик, ты будешь звездой шоу-бизнеса.

Я не хотел уходить, но пришлось.

Мои приключения театральной диковинки описывали газеты по всему миру, так что я упомяну их, но вкратце. Сперва меня обучили показывать силовые номера и заканчивать их клоунадой — диалогом между мной и человеком в костюме клоуна. Позже для меня был разработан более успешный номер, в котором я выступал один. Я работал на трапеции и на велосипеде, потом рассказывал о своей жизни и отвечал на вопросы зрителей. Снимался я и в кино с бывшим чемпионом по плаванию. Он понравился мне с первого взгляда, как не нравился никто из людей, кроме мамы. Он всегда был добрым и понимающим и не возненавидел меня, даже когда нам выплатили равные гонорары.

Первое время газетные репортеры считали меня фальшивкой — человеком в меховом костюме, — но это легко опровергли. Во многих городах, где я выступал, ко мне приходили ученые и буквально миллионы любопытствующих. На третий год выступлений я отправился в Европу. Пришлось выучить фран-

цузский и немецкий хотя бы настолько, чтобы зрители меня понимали и смеялись над моим выговором, не слишком правильным. Раз или два мне угрожали за то, что я говорил со сцены кое-что о политических лидерах, но в основном люди были очень дружелюбны.

Однако под конец я начал сильно кашлять. Мои владельцы ужасно обеспокоились и вызвали доктора, который прописал мне морское путешествие. В газетах появились сообщения, что я намерен посетить «родную Африку».

Конечно, я родился не в Африке, а в бронксском зоопарке, и все же сердце у меня дрогнуло, когда я, стоя у борта в длинном пальто, увидел западное побережье немного южнее экватора.

В тот вечер судно бросило якорь у маленького порта. Я перелез через борт в баржу, нагруженную ящиками. На ней я добрался до земли и проник в док, потом через жалкий маленький поселок и дальше, по руслу ручья, в жаркий зеленый лес.

Я рассказываю об этом так быстро и спокойно, потому что так я себя чувствовал. Я читал когда-то о леммингах, маленьких грызунах, которые направляются к морю и тысячами тонут в нем. Потому что иначе не могут. Нечто похожее тянуло меня к берегу Африки и вверх по ручью.

Я чувствовал себя там так же странно и неспокойно, как любой человек, впервые попавший в те места. Но что-то говорило мне, что природа подскажет, как поступать. Утром я отдохнул в чаще плодовых деревьев. Плоды были незнакомыми, но птицы их клевали, так что я понял, что они съедобные. Вкус оказался непривычным, но приятным. На второй день я далеко ушел от цивилизации. Ночь я провел на дереве, устроив там что-то вроде гнезда. Гнездо вышло не очень ладное, но казалось, что-то направляло мои руки, выполнявшие незнакомую работу.

Еще через несколько дней я нашел свой народ, кулакамб.

Они были такими же, как во сне, качались на вершинах деревьев, играли и собирали еду. Несколько молодых сновали по ветвям с криками, гоняясь друг за другом. Они разговаривали — и молодые, и старые, — у них был язык, с частями речи, словами, а может быть, и с грамматикой. Я видел деревушки из гнезд в развилках больших деревьев: искусно сплетенные укрытия с крышами. Их плели быстро и легко. Ничто не тревожило кулакамб. Они ни о чем не задумывались и жили одной минутой, не заботясь о следующей.

Мне хотелось подойти. Хотелось подружиться, выучить их обычаи и речь. Я мог бы научить их полезным вещам, а они научили бы меня своим играм. Давние мечты стали реальнос-

тью, и знакомая мне цивилизация сползала с меня, как слишком просторная одежда.

Я приблизился, показался им. Они увидели и затрещали, обращаясь ко мне. Я пытался подражать этим звукам — и не смог.

Тогда они заволновались и собрались на деревьях над моей головой. Они начали бросать вниз ветки, плоды и все такое. Я побежал, а они гнались за мной, воя от ярости, охватившей их ни с того ни с сего по непонятным мне причинам. Они гнали меня весь день, до темноты. Потом их спугнул леопард, и меня тоже.

Много дней спустя я вернулся в поселок на побережье. Мои владельцы уже были там и встретили меня громкой руганью. Я стоил им денег и беспокойства — в упомянутом порядке. Один из них собрался побить меня хлыстом. Я напомнил ему, что мог бы разорвать его на части, как жареного цыпленка, и разговора о порке больше не возникало. Однако меня держали под замком, пока вернувшееся судно не взяло нас на борт.

Впрочем, приключение, с точки зрения моих владельцев, обернулось к лучшему. Когда я вернулся в Лондон, меня расспрашивали репортеры. Я рассказывал им только правду, а они создавали фантастические сюжеты о возвращении обезьяночеловека в джунгли.

Я провел личную презентацию своего фильма, который к тому времени добрался до Англии. Через неделю с небольшим пришла телеграмма из Америки. Кто-то собирался экранизировать пьесу Уильяма Шекспира, и меня настойчиво приглашали на главную роль. Мы отплыли назад, были встречены в порту полчищами репортеров и поселились в отеле на окраине. До того у меня несколько раз возникали трудности с проживанием в гостиницах, но теперь я был широко известен как актер, снимающийся в шекспировской пьесе, и управляющие самых больших и богатых отелей рады были иметь меня своим постояльцем.

Мои владельцы сразу подписали контракт на мои съемки в «Буре» — мне дали учить роль Калибана, чудовища, которое было представлено грубым, неприветливым дикарем. Он был то злобным, то смешным. Читая о его неудачах и ошибках, я забыл свою давнюю неприязнь к книжному вымыслу. Мне вспомнился разговор доктора с мамой о Калибане, и я сразу понял, что чувствовало несчастное отродье Сикораксы.

На следующий день ко мне явился визитер. Это был доктор. В его волосах стало больше седины, но он выглядел здоровым, счастливым и богатым. Борода, прежде квадратная, была подстрижена клинышком, и на нем был белый жилет. Он пожал мне руку и сказал, что рад меня видеть.

— Ты — настоящий успех, Конго, — снова и снова повторял он. — Я знал, что так будет.

Мы немного поболтали о том о сем, а когда мои владельцы вышли из комнаты по какому-то делу, доктор склонился ко мне и похлопал меня по колену.

— Послушай, Конго. — Он ухмыльнулся. — Как тебе понравится обзавестись братьями и сестрами?

— Тоже кулакамбами?

Он кивнул:

— Да. С мозгами, умеющими думать, и челюстями, чтобы говорить. Ты — большой успех. Я бы сказал, прибыльный и занимательный. А следующие попытки будут еще успешнее, они будут более аккуратными. Новые и новые — каждый будет ценным имуществом и образчиком самой передовой хирургии и психологии.

— Не делайте этого, доктор, — сразу сказал я.

— Не делать? — резко повторил он. — Почему?

Я пытался подыскать убедительный ответ, но ничего не приходило на ум. Я просто сказал: «Не делайте этого, доктор», а я это уже говорил.

Минуту он, прищурившись, разглядывал меня, а потом фыркнул, совсем как раньше.

— Полагаю, ты скажешь, что это жестоко, — усмехнулся он.

— Да. Это жестоко.

— Ах ты... — Он остановился, не обозвав меня, но я чувствовал его обжигающее презрение. — Полагаю, тебе известно, что, если бы я не сделал с тобой того, что сделал, ты был бы просто обезьяной, чешущей себя под мышками.

Я вспомнил счастливых и беззаботных кулакамб в диком лесу.

Он продолжал:

— Я дал тебе разум, и руки, и речь — все, что делает животное человеком. А теперь ты...

— Да, — перебил я, вспомнив, что читал о Калибане, — речь, чтобы проклинать тебя.

Он сел прямо.

— А минуту назад ты умолял меня не делать чего-то.

— И опять умоляю, — ответил я, проглотив свой гнев. — Не уродуйте больше животных... как меня.

Он смотрел мимо меня и обращался как будто не ко мне, а к самому себе:

— Я прооперирую для начала пять, на будущий год десять и, может быть, найду ассистентов, чтобы делать еще больше. Через шесть или восемь лет наберется полная сотня таких, как ты, или даже лучше...

— Не смейте! — сказал я очень твердо и в свою очередь наклонился к нему.

Он подскочил.

— Ты забываешься, Конго! — рявкнул он. — Я не привык слышать «не смейте», тем более от существа, которое стольким мне обязано. И особенно когда я собираюсь облегчить бремя людей...

— Взвалив бремя людей на несчастных животных.

— И что ты можешь сделать? — бросил он.

— Я вас остановлю.

Он расхохотался:

— Не сумеешь. Все твои таланты ничего не значат. У тебя гибкий язык, мыслящий мозг, но ты — зверь по закону и по природе. Я, — он ударил себя в грудь, — великий ученый. Что ты против меня?

— Я вас остановлю, — повторил я и медленно поднялся.

Тогда он понял и громко завопил. Я слышал ответные крики снизу. Он бросился к двери, но я поймал его. Я помню, как легко сломалась в моих руках его шея. Как морковка.

Полиция пришла за мной с пистолетами, газовыми гранатами и цепями. Меня отвели в тюрьму и заперли в самую прочную камеру с железными решетками со всех сторон. За решеткой разговаривали офицеры полиции и адвокаты.

— Его невозможно судить за убийство, — сказал кто-то. — Он всего лишь животное и не подлежит человеческому суду.

— Он сознавал, что делает, — возразил полицейский. — Он так же виновен, как дьявол.

— Но нельзя же поставить его перед судом, — ответил один из адвокатов. — Да ведь газетные остряки выживут нас из страны... и карьере придет конец.

Несколько минут они размышляли. Потом один из офицеров хлопнул себя по бедру.

— Придумал! — сказал он, и все с надеждой уставились на него.

— К чему эти разговоры о суде? — воскликнул тот, которого осенило. — Если его нельзя судить за убийство того медика, то и нас не могут судить за его убийство.

— Не смогут, если смерть будет безболезненной, — поддержал другой.

Они заметили, что я слушаю, отошли подальше и тихо переговаривались добрых четверть часа. Потом закивали, словно сошлись на чем-то. Один полицейский капитан, толстый и седой, подошел к решетке и заглянул в клетку.

— Хочешь что-нибудь напоследок? — спросил он довольно добродушно.

Я попросил перо, бумагу и время, чтобы написать это.

ДЖОН БРАННЕР

Равносильно убийству

Начиная с 1950-х годов Джон Браннер считался одним из самых плодовитых и влиятельных писателей в жанре научной фантастики. Он завоевал множество литературных наград: получал премию «Хьюго», Британскую премию фэнтези, французскую премию «Аполло», дважды становился лауреатом Британской премии научной фантастики и итальянской премии «Cometa d'Argento».

Автор таких знаменитых романов, как «Всем стоять на Занзибаре» («Stand on Zanzibar»), «Воззрели агнцы горе» («The Sheep Look up»), «Зазубренная орбита» («The Jagged Orbit») и «Оседлавший шоковую волну» («The Shockwave Rider»), он также писал мистику, фэнтези и триллеры. Кроме того, Браннер опубликовал несколько рассказов в жанре хоррор в антологии «Темные голоса. Книга ужасов от „Pan"» («Dark Voices: The Pan Book of Horror») и в журнале «Weird Tales».

Представленное ниже произведение написано специально для этого сборника и совмещает в себе несколько жанров...

Еще час оставался до окончания дождливого и ветреного осеннего дня, но в кабинете маркиза де Вергонда царила тьма — и так вот уж более семи лет. Единственные лучи, коим было позволено существовать в этой комнате, освещали портрет безвременно ушедшей жены маркиза Сибилл, урожденной Серруйе, перед которым, как на алтаре, горели свечи и курились сладко пахнущие конусы благовоний. То было единственное ее изображение, а ведь де Вергонд планировал каждый год их совместной жизни заказывать новый портрет.

Очень малое количество людей видело эту картину, но те, кто удостоился такой чести, могли подтвердить, что от красоты женщины, изображенной на ней, перехватывало дыхание.

Вновь набравшись сил и вдохновения для достижения своей всепоглощающей цели, маркиз вышел из кабинета и тщательно запер дверь. В связке, что никогда не покидала пояса ученого, было всего два ключа: один открывал кабинет, другим же де Вергонд пользовался лишь раз и намеревался снять с кольца только в день своего триумфа, уготованного провидением. Маркиз пересек выложенный плитками пол просторного, хотя и запущенного аванзала и подошел к лаборатории, где каждый день сражался с великой тайной природы — тайной самой жизни. Его слуга и доверен-

ное лицо Жюль (если у того и было когда-то иное имя, то его уже давно позабыли все, кроме него самого) поднялся с дивана, где дремал, и принялся отодвигать неуклюжие железные засовы.

Именно в этот момент снаружи донесся звон разбитого стекла. Спустя секунду за ним последовал громовой стук в массивную входную дверь черного дуба.

Гости не приходили в этот дом.

Только захватчики.

Коньяк, сделавший багровыми нос и щеки еще совсем нестарого Поля Серруйе, питал и высокомерие, с которым он насмешливым взглядом окинул зятя. Каким же жалким тот выглядел! Небритый, обряженный в лохмотья, словно снятые с пугала, изможденный и пропахший химикатами, чей смрад шел из лаборатории, дверь в которую Жюль не успел закрыть...

И куда, кстати, исчез этот негодяй после того, как впустил гостей в дом? Почему он не кланяется, не расшаркивается перед ним, не предлагает взять промокшее пальто и потемневшую от дождя бобровую шапку? Почему не помогает раздеться его спутникам? На секунду радость триумфа, разгоравшаяся в душе Поля, слегка угасла. Хотя что значил какой-то там слуга? Серруйе знал, что добьется цели своего визита, ведь его спутники, как и он сам, крайне заинтересованы в успешном завершении этого дела, а потому поддержат любые его слова и действия. Очевидно, что первый же взгляд на château[1] убедил их в обоснованности обвинений в адрес маркиза. Кто, кроме безумца, смог бы жить в таких условиях? Паутины, свисающие со сводчатого потолка, походили на гобелены!

О, Жюль, скорее всего, пустился наутек, разумно предположив, что с его хозяином покончено.

— Меня ты знаешь, зять! — проскрежетал Поль. — Хотя мы давненько не виделись! Но ты не знаешь моих друзей, которые приехали сюда положить конец напрасным тратам того, что по праву принадлежит мне! Познакомься: мэтр Польтиэр, доктор гражданского права; месье Шэфер, huissier[2]. Также позволь обратить твое внимание на моего последнего, но очень важного гостя, доктора Мишеля Ларго, известного алиениста[3] из госпиталя Сальпетриер, который приехал вместе со своим помощником, санитаром Сержем.

Из-за долгой работы при плохом освещении и постоянного воздействия пагубных испарений зрение маркиза испортилось, он

---

[1] Замок *(фр.)*.

[2] Судебный исполнитель *(фр.)*.

[3] Устаревшее название психиатра.

долго искал и наконец нашел очки с толстыми линзами — как раз тогда, когда Поль Серруйе представлял ему Сержа. Тот возвышался над своим патроном, словно древесный ствол, поблескивая в полумраке бритой головой, круглой и гладкой, как пушечное ядро.

— Что... Чего вы хотите? — прохрипел де Вергонд.

— Справедливости! — возопил Поль. — Но сперва выпить! Здесь раньше был очень недурной погреб. Не забываю о нем со дня свадьбы сестры. Шэфер, посмотрите там, за дверью слева...

— Нет! Нет! — Крики маркиза больше походили на невнятное бормотание.

— Ты не хочешь, чтобы мы входили туда, так? — ухмыльнулся Поль. — Мне даже интересно — почему!

Одним быстрым шагом он подошел к двери, положил руку на стальной засов и распахнул ее настежь, чтобы маркиз не успел снова запереть комнату.

— Фу! — воскликнул Серруйе. От резкого порыва ветра в воздух поднялся слой пыли, скопившейся за долгие годы, и оплыли свечи, горящие перед картиной. — Серж, раздвинь эти занавески!

— Нет-нет! — Маркиз тщетно бил Поля слабыми кулаками. — У вас нет права! Это мой дом, а не ваш!

Юрист громко кашлянул:

— Прошу прощения, ваша милость, но на сей счет у нас есть кое-какие сомнения. Как нам сказали, вы уже семь лет притворяетесь, будто ваша жена жива, хотя она на самом деле мертва, с целью проживания в замке. Согласно бумагам он принадлежит вам, цитирую, только «пока она жива или же до...».

До совершеннолетия старшего сына, если таковой будет! Маркиз знал условия завещания покойного тестя наизусть, а также был прекрасно осведомлен о претензиях зятя, изложенных в многочисленных угрожающих письмах, посланных продажными адвокатами, вроде этого нового.

Тем не менее даже неумолимый голос юриста с каждым новым словом становился все тише. Серж раздвинул занавески, с которых дождем посыпались высохшие трупики мух и мотыльков, и угасающий дневной свет упал прямо на портрет Сибилл, великолепной в своей девятнадцатилетней наготе, от короны кудрявых светлых волос до маленьких ступней.

— Вы видите? — торжествующе воскликнул маркиз. — Она не мертва! Подобная красота не может умереть! Этого нельзя позволить! — Задыхаясь, он схватил за руку мэтра Польтнэра, привлекая внимание алиениста. — Я могу показать вам все ссылки на мою работу о Bufonidae[1]. Есть сотни свидетельств того, что

[1] Жабы *(лат.)*.

жабы выживают, заключенные в высохшей грязи или даже в камнях, включая данные из Австралии, где эти земноводные встречаются в особенно больших количествах. Мы нашли один экземпляр здесь, в поместье, замурованный в дереве!

Доктор Ларго поднял бледную руку:

— Одну минуту, если позволите. Следует ли нам верить словам вашего зятя? Когда его сестра и ваша жена умерла...

— Она не умерла!

— Со всем должным уважением...

— Да забудьте вы уже про уважение! — прорычал Поль. — Факт в том, что этот человек безумен! И не говорите про «знаменитого ученого»! Он просто не может принять...

— Но я доказал мою гипотезу! — Маркиз уже плакал, никого не стесняясь. — Воспользовавшись сведениями, полученными мною при изучении жаб, с полного согласия Сибилл, в тот самый момент, когда искра жизни покинула ее тело, я ввел в ее кровеносную систему ряд экстрактов, которые, согласно моим исследованиям, должны сохранить мою жену в состоянии временно приостановленной жизнедеятельности. — Маркиз вновь обрел самообладание и, вытерев глаза большим шелковым платком, продолжил: — После чего осталось лишь решить проблему воздействия воздуха. Препараты, использованные мной, предохраняют тело Сибилл от обезвоживания и разложения, но пока я не найду лекарства от ее болезни, она должна оставаться в неподвижности, не думать, не чувствовать. Поэтому я и наложил на ее мавзолей герметическую печать. Теперь же, если вы соблаговолите проследовать в мою лабораторию, я покажу вам, каких успехов я добился в нахождении лекарства. Я переписываюсь с наиболее видными врачами нашей страны, а также Германии, Англии, Америки и даже России, где проводятся опыты по оживлению истощенных клеточных линий... Что-то не так?

— Мавзолей? — презрительно усмехнулся Поль. — Это вот та хибара рядом с дорогой, над входом которой вырезано ее имя? К тому же криво вырезано!

— Да как вы... — начал маркиз, но, памятуя о своем невыгодном положении, опустил кулаки и пробормотал: — Должен признать, что я счел более уместным потратить свои средства на исследования, а не на...

— Чьи средства? — закричал Серруйе. И добавил юристу: — Обратите на это внимание! Хотя, по-видимому, это уже не имеет значения. — Он цинично засмеялся.

— Что... что вы имеете в виду?

— Когда делаешь такой огромный гроб, не надо вставлять в него стеклянные окна. Серж! Почему ты до сих пор не нашел нам ничего выпить, а, ленивый ублюдок?

Лицо маркиза буквально посерело, когда он понял суть слов Поля. Польтнэр напряженным голосом предупредил:

— Я бы посоветовал моему клиенту воздержаться от дальнейших заявлений касательно этого предмета...

Внезапно послышался цокот копыт. Все, кроме маркиза, в изумлении повернулись к входной двери, которую снаружи открыл Жюль. За ним следовал нахмуренный человек в промокшем плаще, а затем вошел еще один, несший большой кожаный портфель.

— Это наш достойный сосед, месье Вотриан, — объявил Жюль. — Он — juge d'instruction, судебный следователь. Из предосторожности монсеньор маркиз посоветовал мне в случае, если вы ворветесь к нам без приглашения, отправиться прямо к нему домой и под присягой официально обвинить вас в нарушении права владения, а также в лжесвидетельстве.

— Но... — Поль не нашел слов.

— Без всяких «но», — приказал Вотриан. — Давайте разберемся со всей этой чепухой. Антон, — он обратился к своему спутнику, то ли судебному приставу, то ли письмоводителю, — там есть обеденный зал. Мы можем сесть за стол.

— Одну минуту.

Голос маркиза казался столь же сухим, как и шорох крыльев жука.

— Правда, что он... — Он не смог договорить и сглотнул. — Правда ли, Поль, что вы разбили окно в опочивальне Сибилл?

— Ха! — ответил тот с вызовом. — Я не хотел. На ступеньках у меня кончился коньяк, а какой прок с пустой бутылки? Я ее выбросил, вот и все.

Маркиз явно смирился, тон его был почти безжизненным.

— Жюль?

— Да, господин.

— Его бутылка... Можешь не отвечать. Я все вижу по твоему лицу.

Вотриан нетерпеливо спросил:

— И что с того?

— Поль Серруйе прекрасно знал, что его действия, — голос маркиза больше походил на колокольный звон, отбивающий службу на похоронах, — повлекут за собой разрушение печати, а вместе с ней утрату единственного шанса моей жены на вторую жизнь.

— Да вы слышали когда-нибудь подобную чушь? — заревел Поль. — По крайней мере, он наконец признал, что она мертва. И поэтому не имеет никаких прав на это поместье!

— Дело обстоит именно так? — спросил Вотриан.

— Боже, и никак иначе! — поспешно встрял Польтнэр. — Оказалось, что все обстоит именно так, как говорил месье Серруйе. Семь лет маркиз пребывал в пучине безумия из-за смерти

жены. Он отказывался принять то, что она умерла. Даже на его собственных условиях, хотя... Доктор, вы хотите что-то сказать?

Алиенист смотрел на маркиза серьезно и сочувственно.

— Не нужно предаваться отчаянию. Наука не стоит на месте.

— Тихо! — прервал его де Вергонд. — Я долго боялся того, что Поль, человек столь же жадный и злой, сколь его сестра была праведна и прекрасна, найдет способ уничтожить годы моей работы. Я был так близок... Хотя какое теперь это имеет значение? Разве пожелала бы Сибилл вернуться в мир, где ее ближайший кровный родственник по собственному желанию лишил ее шанса на продолжение жизни?

Ларго сказал:

— Каждый знает о вашей репутации ученого...

— О да, мне кажется, я ее заслужил. И это могут подтвердить натурфилософы десяти стран. Но что движет мною сейчас? Моя жизнь лишилась цели... И если говорить о целях, то, предполагаю, ваша состоит в том, чтобы лишить меня состояния и даже свободы на основании того, что я обезумел. Прекрасно. Как я уже говорил, моя жизнь потеряла смысл и цель. Но не будете же вы столь жестокосердны, чтобы не позволить мне в последний раз взглянуть на мою возлюбленную?

Остальные переглянулись. Тишину нарушил Поль, неприлично расхохотавшись.

— Иди, если хочешь! Возьми с собой своего соседа! Будет замечательно, если juge d'instruction лично подтвердит, как далеко зашла твоя болезнь. Если желаешь, то возьми с собой и его huissier. Чем больше свидетелей, тем веселее. Тем временем я и мои друзья отпразднуем победу. Серж, Шэфер, какого дьявола вы еще не нашли коньяку? Жюль, покажи им, где искать!

Трех рюмок оказалось достаточно, чтобы привести всю компанию в благостное расположение духа: предполагаемого наследника, который не мог видеть, как зять тратит состояние, по праву принадлежащее Полю, в безумных попытках вернуть жену к жизни; пройдоху-адвоката, рассчитывающего целый год прожить безбедно, если дело увенчается успехом, и huissier, также не оставшегося бы без средств; алиениста, чья практика некогда приносила немалую прибыль, но теперь он нуждался в пациентах, которых мог бы привлечь представитель знати, ибо многие богатые семейства искали место, где бы могли скрыть плоды поколений кровосмесительства и невоздержанности, и, наконец, санитара-садиста, умевшего даже аристократов заставлять делать то, что приказано... Они сидели в обеденном зале, довольные столь полной и быстрой победой, когда из передней раздался крик. Прежде чем они успели отреагировать, дверь в

помещение широко распахнул Жюль. И в проем в глубоком обмороке рухнул маркиз. Как они поняли, кричал именно он.

Вскочив на ноги, вся компания столкнулась с Вотрианом, чье лицо более походило на грозовую тучу.

— Итак, ваше имя Шэфер? — повелительно и грубо спросил он.

— А... да!

— Вы — дипломированный huissier?

— Да!

— А я — законно назначенный juge d'instruction. Именем закона я требую вашего участия.

Медленно, в замешательстве, опустив еще недопитую третью рюмку — впрочем, за этот день это была, скорее, десятая или двенадцатая, — Поль Серруйе решил воздержаться от шутки, вертевшейся на языке, касательно того, как отдаст портрет своей обнаженной сестры в «Мулен Руж», где тот будет хорошо смотреться в фойе.

У Вотриана было выражение лица человека, явно не склонного к подобного рода остротам.

Он продолжил:

— Вы — Поль Серруйе, брат покойной маркизы де Вергонд?

— Какого черта вы здесь делаете?

Следователь глубоко вздохнул, на его лице застыло странное выражение, нечто среднее между отвращением и ужасом.

— Я беру вас под стражу и обвиняю в убийстве вашей сестры.

— Что? — Поль опрокинул бокал, пытаясь поставить его на стол. — Вы сошли с ума? Моя сестра уже семь лет как мертва!

Его зять, маркиз, поднялся, царапая грязный пол столь же грязными ногтями, похоже, в поисках очков. К нему поспешил Жюль.

— Я был так близок к успеху... — прошептал ученый. — Гораздо ближе, чем подозревал...

Вотриан не обратил на него внимания, продолжая допрашивать Поля.

— Вы действительно бросили пустую бутылку из-под коньяка в гробницу, где было запечатано тело маркизы де Вергонд, разбили стекло и позволили воздуху проникнуть внутрь помещения?

— Что? — Поль огляделся в поисках поддержки, но его спутники почувствовали что-то дурное и на выручку не спешили.

— Вам говорили, что ваша сестра может получить шанс на воскрешение, если печать не будет нарушена до того, как найдется лекарство от ее болезни, не так ли?

— Да кто обращает внимание на подобную ерунду? — истерически воскликнул Серруйе. — Моя сестра умерла семь лет назад! Как вы можете заявлять, что я ее убил?

Маркиз застонал, все еще извиваясь на полу.

— Но она не была мертва все эти семь лет, — сказал следователь. Он снова глубоко вздохнул, словно боялся, что иначе ему не хватит кислорода.

— Когда мы вошли в мавзолей, то нашли вашу сестру лежащей не на помосте, а на полу. В пыли вокруг нее были видны следы, ясно указывающие на то, что она поднялась, сделала три шага и потом упала.

Поль уставился на него, оглушенный невероятностью происходящего.

Пристав все это время держал руку за спиной. Теперь же он показал всем присутствующим, что скрывал в ней: пучок светлых волос.

Волос Сибилл.

— Ей хватило сил буквально на несколько секунд. При контакте со свежим воздухом все, что осталось от нее, кроме этих золотых локонов... — Он помедлил, сглотнув.

— ...Растворилось, — проскрежетал Жюль.

— Но она жила! — закричал маркиз, пытаясь встать на ноги.

Вотриан тяжело кивнул:

— Да, и достаточно долго. Монсеньор Серруйе, я повторяю свое обвинение. Вам говорили, что разрушение печати, защищающей вашу сестру, будет равносильно ее убийству...

— Но я не знал, что она жива! — завизжал Поль.

— Вы хотите сказать, что не верили в это, — поправил его судья. — Тем не менее факт ее жизни доказан.

— Я... я...

Поль посмотрел вокруг и не увидел ни в чьих глазах даже тени жалости. Словно все они безмолвно решили: «Маркиз действительно нашел способ воскрешать мертвых. А этот ублюдок настаивал, что он не может совершить подобного, так как хотел получить деньги, которые потратил бы на коньяк!»

Маркиз издал сдавленный стон, перекатился на спину и затих. Жюль проверил его пульс.

— Теперь мы никогда не узнаем, что изобрел мой хозяин, — сказал он мрачным голосом и перекрестился.

— Все из-за этого жадного дурака, — со злостью произнес Ларго, повернувшись к Вотриану. — Месье, вам не нужна помощь, чтобы арестовать его? Серж!

Опытные руки сомкнулись на шее Поля, отправив его в безвольное забытье. Правда, прежде он успел услышать:

— Лишить человечество воскрешения? Да жил ли когда-либо на свете больший мерзавец?

ГАЙ СМИТ

Последний поезд

Начиная с 1974 года, когда вышел в свет первый роман Гая Смита «Оборотень в лунном свете» («Werewolf by Moonlight»), этот плодовитый автор написал около шестидесяти романов ужасов, не считая триллеров, новеллизаций фильмов, детских книг и просто справочников для фермеров, спортсменов и ерегей.

Среди произведений Смита в жанре хоррор «Воскресший» («The Resurrected»), «Вампиры Найтон» («The Knighton Vampires»), «Хроники чумы» («The Plague Chronicles») и «Ведьмины чары» («Witch Spell»). Под псевдонимом Гевин Ньюмен он опубликовал триллер «Палач» («The Hangman»), а под именем Джонатан Гай выпустил романы о животных «Барсучий остров» («Badger Island») и «Рэк» («Rak»).

У писателя есть собственный бизнес: он занимается продажей старых книг через каталог. Его фирма «Black Hill Books», образованная в 1972 году, специализируется на детективах и романах ужасов. Отдельный каталог посвящен романам и сборникам самого Гая Смита. В 1992 году был основан фан-клуб Гая Смита.

Джереми было страшно. Очень страшно. По нескольким причинам.

В последний раз он посещал большой город, когда ему было двенадцать, и от той поездки в памяти не осталось почти ничего, разве только что тогда с ним были отец и мать. С тех самых пор он нигде не бывал один, исключая те редкие случаи, когда ему дозволялось самостоятельно поехать на рейсовом автобусе в ближайший городок, да и то мать дожидалась его возвращения на автобусной остановке. Как-то раз Джереми опоздал на автобус и приехал следующим рейсом, так с матерью случилась форменная истерика. Это произошло, когда ему было шестнадцать; сейчас ему стукнуло двадцать, и ничегошеньки не изменилось.

Джереми страдал оттого, что имел несчастье оказаться единственным ребенком фермерской четы, которая истово опекала его с первых лет жизни и не ослабила своей опеки до сих пор. Когда Джереми появился на свет, его матери сравнялось сорок; роды были трудные, мать и ребенок остались в живых только

чудом. Отец Джереми был на шестнадцать лет старше матери, и оба они даже теперь не доверяли сыну самостоятельно хозяйничать на ста акрах своей земли. Прежде чем приступить к самому обыденному делу, Джереми должен был посоветоваться с отцом и матерью, а после завершения это дело обычно подвергалось самой суровой проверке.

— Ты, Джерри, везунчик, — постоянно твердил отец, брызжа слюной из беззубого рта, и в груди его, прикрытой потертым бурым комбинезоном, непрерывно что-то сипело, хотя он никогда не баловался куревом. — Ты ведь мог жить и совсем рядом с городом, а там уйма всяких соблазнов. Здесь ты в полной безопасности, а когда мы помрем, ферма достанется тебе. Вот тогда-то тебе и придет пора жениться, раз уж некому будет тебя кормить и обихаживать. А сейчас у тебя есть мать, и, ежели будет на то Божья воля, она еще поживет на свете. Стало быть, и жена тебе пока ни к чему.

Вся жизнь Джереми прошла на ферме; шесть дней в неделю он работал, по воскресеньям дважды посещал церковь, и этот распорядок оставался неизменным. Ферма располагалась у проселочной дороги, в двух милях от шоссе, и единственным человеком, кого Джереми видел регулярно, не считая родителей, был почтальон, да и то чаще всего — в промелькнувшем в пыли красном почтовом фургоне.

Помимо воли Джереми сделался отшельником. То, что по пятницам он на тракторе с прицепом возил овец на ярмарку, никак нельзя было назвать выходом в свет. Само собой, вместе с ним ездил отец, и компанию на скотном дворе им неизменно составляли представители старшего поколения. Джереми чувствовал себя безмерно одиноким.

Игра в бинго в сельском клубе для истинного сына церкви была под строгим запретом, и отец пришел в ужас только оттого, что его сын мог даже помыслить об этом. Танцы, проводившиеся ежемесячно, были пустой тратой времени. Притом как бы Джереми потом добирался домой? Ведь автобусы в это время уже не ходят, а такси — чересчур дорогое удовольствие; к тому же молодому человеку надлежит ложиться спать пораньше, если он утром встает ни свет ни заря.

Джереми был молод, его мать всецело разделяла взгляды мужа; вот когда придет время и Джереми понадобится искать жену, тогда-то он и сможет ходить на танцы. К тому же на танцах тоже немало соблазнов, ходят слухи, что юная Милли Уэйн беременна, а ведь она вечно шастала в клуб на танцевальные вечера и заигрывала с парнями. «Мы же не хотим, Джереми, чтобы из-за тебя какая-нибудь девица попала в беду?»

Молодая плоть властно требовала свое. Не будь мать Джереми подслеповата, она наверняка разглядела бы пятна на его простынях и прочла бы ему нотацию о грехе, который доводит до слепоты. Мать, однако, ничего не замечала, и к двадцати годам вожделение, терзавшее Джереми, стало почти нестерпимым.

И вот как-то на скотной ярмарке ему пришла в голову восхитительная идея. В декабре должна была состояться ежегодная лондонская выставка «Смитфилд», и билеты были уже в продаже; в стоимость билета входили обратная дорога и ночлег в недорогом отеле. Покуда отец увлеченно судачил об опасном снижении цен на овец, Джереми купил билет. На одно лицо.

Мать была потрясена до глубины души:

— Зачем ты потратил деньги на такую ерунду?

— Потому что я хочу поехать на выставку. — Джереми предусмотрительно держал билет подальше от матери — с нее сталось бы отправить его прямиком в кухонную печь. — Это познавательно. И вообще, у меня ни одного выходного не было с двенадцати лет, когда вы возили меня в Лондон. Я хочу снова там побывать.

— Тогда с тобой были мы. — Нижняя губа матери предательски дрожала. — Лондон — плохое место для одинокого юноши. И для девушки тоже. И для кого угодно. Там полным-полно наркоманов, пьяниц, головорезов и...

Но Джереми все равно поехал в Лондон. Он дошел до деревни, сел на автобус, который ехал в ближайший городок, купил билет на междугородний рейс до Юстона...[1] и наконец добрался до столицы.

Он слыхал, что там в переулках и дверях магазинчиков торчат шлюхи, которые берут у мужчин деньги, а взамен одаряют их всякими жуткими хворями. Джереми, однако, готов был пойти на любой риск, только бы испытать запретную сладость, которую упорно замалчивали отец и мать, переключая канал на другой всякий раз, когда в телевизоре показывали нечто на их взгляд неподобающее.

Видит Бог, он поступает грешно, но, если надо, все воскресенья до конца своих дней будет замаливать этот грех в церкви. А сейчас найдет себе женщину, отдаст ей все деньги, что есть при нем, до последнего пенни — только бы эта женщина позволила сделать с собой то, без чего он жить уже не может. Джереми не заботило, худа она будет или толста, красива или уродлива — пускай только даст ему осуществить его заветное желание.

---

[1] *Юстон* — вокзал в Лондоне.

Он почти сдался. Он ходил по улицам до тех пор, пока не стер до волдырей ноги в лучших своих выходных ботинках. Подняв воротник, чтобы уберечься от промозглой зимней мороси, он шел все дальше и украдкой заглядывал во все дверные проемы, во все переулки, которые встречались по пути. Как выглядит шлюха? Как с ней заговорить? Джереми вдруг осознал, что ускоряет шаг, проходя мимо темных провалов, где только огонек одинокой сигареты намекал на то, что здесь кто-то затаился.

Уставший, удрученный, павший духом, Джереми вздрогнул, когда из темноты в проходе между двумя высокими домами его окликнул женский голос:

— Всего за десятку, дружок.

Каждый месяц Джереми давали карманные деньги, а на ферме, как говорил отец, он работал за стол и кров. И тратить эти карманные деньги было не на что, кроме как на новый комбинезон. Ну на сей раз он найдет им лучшее применение.

В кромешной тьме проулка Джереми не мог рассмотреть, как выглядит женщина, да его это и не волновало. Она потребовала плату вперед, а затем, широко расставив ноги, привалилась спиной к стене и расстегнула одежду — настолько, насколько сочла необходимым.

И вот тут-то с Джереми случилось самое ужасное. Годы эротических мечтаний о вожделенном наслаждении обернулись ничем: эрекция, столько раз мучившая его одинокими ночами, исчезла бесследно. Партнершу разозлило его бессилие, и эта злость еще хуже подействовала на его мужскую удаль. Женщина работала по принципу «время — деньги», и для нее сейчас время тратилось впустую.

Внезапно она развернулась и ушла, унеся в кармане потрепанного плаща десятифунтовую банкноту и бросив Джереми терзаться стыдом и отчаянием.

Вот тогда-то его и охватил ужас.

Крадучись он вернулся на безлюдную мглистую улицу, поглядел направо и налево. Мимо быстрым шагом прошли мужчина и женщина, но на Джереми даже не глянули. Все вокруг было незнакомо и чуждо, он не мог даже сообразить, в каком направлении шел и где находится станция метро, на котором он приехал в этот пользующийся дурной славой район.

Еще недавно машины шли по улице плотным потоком, но теперь движение почти замерло. На приближавшемся автомобиле горела неоновая надпись: «Такси». Джереми вскинул было руку, но вовремя опомнился: денег у него только и осталось что бренчавшая в кармане мелочь. В большом городе, ворчливо говорили отец и мать, негоже шляться по улицам с полными кар-

манами денег. Аккуратно сложенные банкноты остались припрятаны под ковром в скудном номере отеля. Мелочи, которая у него с собой, хватит только на одну поездку на метро...

Вот только куда ехать? Названия улиц и станций были Джереми совершенно незнакомы и легко вылетали из головы. Он оглянулся, услышав за спиной шаги. Кто-то приближался к нему, кто-то его выследил и теперь шел за ним по пятам. Джереми остановился — и шаги замерли, двинулся с места — шаги зазвучали вновь, заторопились, стремясь нагнать его.

Он побежал. Вполне возможно, что эти шаги были только отзвуком его собственных, но Джереми казалось, что преследователи тоже перешли на бег. Он свернул налево, в переулок, — топот ног за спиной не отставал. Джереми повернул вправо, опять влево, снова выскочил на широкую улицу. Люди, стоявшие на другой стороне улицы, тотчас уставились на него.

Все за ним охотятся. Все.

Джереми метался, пытаясь уйти от погони. Он был крепкий парень, дома каждый день ходил пешком через Дингл, а потом еще поднимался на верхние пастбища, чтобы проверить, все ли в порядке с овцами, — но городской асфальт под ногами быстро истощал его силы. Ныли лодыжки, широкая грудь ходила ходуном, давясь загрязненным воздухом огромного города. Он уже готов был поддаться отчаянию — остановиться и покорно ждать, когда его нагонят и схватят.

И тут увидел красный, перечеркнутый синей полосой круг: станция метро.

На миг Джереми обрел второе дыхание. Сломя голову он сбежал по длинной широкой лестнице, пересек вестибюль и прыжком перемахнул через турникет. Контролеров здесь не было — их заменяли автоматы.

Стоя на едущем вниз эскалаторе, Джереми пугливо оглядывался назад. Никого не видно — на время ему удалось оторваться от преследователей. Дай бог только, чтобы пришел поезд, а в каком направлении — не важно. Боже милостивый, думал он, пускай только там будет поезд... и прости меня за то, что я натворил.

У платформы и вправду стоял поезд. Длинный ряд вагонов ожидал Джереми, двери были открыты, внутри, похоже, не было никого. Джереми побежал вдоль платформы, разыскивая вагон, в котором окажутся ночные пассажиры, — сейчас ему, как никогда, нужны люди. В одиночку, в пустом вагоне он пропадет. «Смотри под ноги, не свались с платформы!»

Двери начали закрываться. Джереми рванулся вперед, вскочил в вагон и, потеряв равновесие, упал, когда поезд рывком тронулся с места и стал набирать скорость.

Он успел, успел на последний поезд! Ускользнул от тех, кто хотел напасть на него и сотворить с ним что-то немыслимо ужасное.

Только когда поезд вошел в туннель, Джереми обнаружил, что в вагоне он не один. Неуклюже плюхнувшись на сиденье, он принялся настороженно разглядывать случайных попутчиков. Судя по всему, эти трое ехали вместе.

Мужчина сидел напротив своих спутниц. Определить его возраст было невозможно, вид у него был довольно неухоженный, однако держался он так, словно слишком занят важными делами, чтобы тратить время на возню со своей внешностью. Его лысую голову окаймлял венчик мышиного цвета волос, которые явно соскучились по расческе. Косматые брови и крючковатый нос со следами засохшей слизи придавали незнакомцу облик хищной птицы.

Поношенный и засаленный плащ был стянут поясом на талии, из-под чересчур коротких брюк выглядывали носки, отчасти различавшиеся по цвету, — скорей всего, их извлекли из гардероба наугад, даже не приглядываясь. Отличительный признак человека, который целиком поглощен своими честолюбивыми помыслами.

Женщинам было на вид лет по двадцать с небольшим, судя по сходству — сестры, может, даже двойняшки. Одна была черноволосая, другая — крашеная блондинка, обе в облегающих жакетах и юбках, которые выставляли напоказ их стройные прелести. От красоты этих женщин захватывало дух — особенно у того, кто совсем недавно лапал уличную шлюху. И вместе с тем было в этой красоте нечто... пугающее.

Потому что их лица были лишены всякого выражения, глаза смотрели невидяще, без проблеска мысли, и сидели они неподвижно, неестественно прямо. Казалось, они раболепно внимают мужчине, который, подавшись к ним, что-то говорил вполголоса, едва слышно, и с его тонких губ слетали брызги слюны.

Рука блондинки резко дернулась, что-то протягивая мужчине. Может, у этой женщины артрит, как у матери? Джереми краем глаза напряженно следил за попутчиками. А может, блондинка угодила в аварию и ее покалечило? «А заодно и ее сестру», мысленно добавил Джереми. Может, они обе угодили в одну аварию?

Что-то зашуршало, переходя из рук в руки. Банкноты, десятифунтовые банкноты. Мужчина разгладил их, аккуратно сложил и, бесстыже ухмыляясь, сунул в карман плаща.

— Отлично, отлично! — проворковал незнакомец, поглаживая карман тонкими белыми пальцами. — Вы хорошо справились. Все сработало.

С этими словами он из-под нависших бровей украдкой глянул на попутчика. Джереми сжался, в животе у него похолодело, а во рту пересохло пуще прежнего. Этот тип явно сутенер. Както ночью, когда у овец был сезон окота, Джереми удалось посмотреть по телевизору передачу о проститутках. Сутенеры посылают этих женщин работать на улицах, а потом отбирают заработанные деньги. Наверное, этот человек следил за ними, чтобы они его не обманули. Теперь он везет их домой, а живут они, скорее всего, в принадлежащем ему притоне. Эти женщины — его рабыни.

Новое ощущение охватило Джереми. Пульс его участился, сердце лихорадочно застучало — и не только оттого, что ему довелось столько набегаться по улицам. Знакомый жар разгорался в паху. Джереми разозлился, вспомнив свой недавний провал, неудачную попытку достичь цели, о которой ему мечталось одинокими ночами. Эрекция, как назло, вернулась именно тогда, когда от нее никакого проку. Даже если эти женщины и впрямь шлюхи, ему нечем оплатить их услуги.

Теперь уже все трое смотрели на него: мужчина — из-под косматых бровей, женщины — неподвижно и в упор. Смотрели, точно сокол на неосторожного кролика.

Джереми неловко поерзал на сиденье, опустил взгляд и со смятением увидел, как непристойно натянулись брюки в паху. Все трое смотрели туда же, все прекрасно понимали, что с ним происходит.

— Совокупление — самая сильная страсть из присущих человечеству, — заговорил мужчина сильным низким голосом, как будто читал студентам лекцию по биологии. — Сильнее даже, чем инстинкт выживания. Сильнее, чем смерть. И я это недвусмысленно доказал!

С такой гордостью и самодовольством мог бы говорить великий Дарвин.

Женщины разом кивнули, напомнив Джереми марионеток из ярмарочного представления про Панча и Джуди, неодушевленных кукол, которые безоговорочно подчинены своему хозяину. Губы их раздвинулись в улыбке, которая больше напоминала хищную усмешку. Только по глазам и было видно, что в них вспыхнула похоть. Джереми пробрал озноб, и прежний страх вернулся к нему с новой силой.

— Еще! — вырвался слитный шепот из губ, которые вдруг перестали быть красивыми. Послышался звук, который Джереми вначале принял за шум несущегося поезда. Он ошибался. Эти кошмарные существа тяжело и громко дышали.

— Возможно, джентльмен не станет возражать, — проговорил мужчина. Вытянув шею, он разглядывал Джереми так, слов-

но тот был подопытным животным в его лаборатории. — Судя по крепкому сложению, он вынослив, здоров и явно вырос на свежем воздухе. Достойный объект для испытания трудов всей моей жизни, ошибок, проб и разочарований. Дорогие мои, вот вам окончательное испытание.

— Пожалуйста! — снова хором произнесли женщины, подавшись вперед на своих сиденьях. Предвкушение отразилось на их лицах, они даже не дрожали — тряслись всем телом, так им не терпелось услышать разрешение. Джереми различил едва слышное постукивание, хотя этот звук, возможно, производили колеса поезда.

— Что ж, ладно. — Незнакомец развернулся, обращаясь уже непосредственно к Джереми. — Быть может, сэр, вы не откажетесь получить немножко удовольствия, дабы удовлетворить моих... спутниц. Две по цене одной... понимаете намек? — Он хохотнул.

— Я не... понимаете, у меня нет денег, — пробормотал Джереми, вжавшись в сиденье. Ему было страшно, но бугор в паху под натянувшимися брюками выдавал его с головой. Эти женщины влекли его неудержимо, то были не просто шлюхи, торгующие своим телом в темных проулках. Да, они наводили ужас, но вместе с тем воплощали все его мечты.

— Пожалуйста! — прозвучало снова, будто игла патефона прошлась по старой заезженной пластинке. Женщины приподнялись с сидений, пригнувшись, словно готовы были прыгнуть по команде хозяина.

— Отлично. Джентльмену нынче повезло. Взять его!

И поезд, раскачиваясь на ходу, загудел, точно подал сигнал к началу нечестивого соития.

Джереми съежился, потрясенно уставясь на женщин. Они сбросили одежду, и красота их теперь обрела гротескный оттенок. Безупречно сложенные тела оказались испещрены шрамами, стежками и хирургическими швами — наскоро починенные манекены, которые прятались под одеждой, а теперь явились глазу во всей своей ужасной наготе. Руки и ноги дергались, скрепленные тросами и шарнирами, — мертвая плоть, соединенная с неживой материей.

Поезд качнулся на повороте. Брюнетка пошатнулась, ударилась головой о стойку — с такой силой, что голова должна была треснуть, как спелый арбуз. Но женщина даже бровью не повела.

Две пары рук протянулись к Джереми, ледяные пальцы вцепились в его одежду. Он пронзительно закричал, отбиваясь, но в этих сильных руках он был беспомощен, как младенец. Жадные рты, припавшие к нему, источали зловоние, и их хлюпающие поцелуи заглушили его душераздирающий крик.

Незнакомец, стоявший позади, раскачивался на пятках, сгибался, вертелся то вправо, то влево, упиваясь зрелищем с восторгом, который выдавал его извращенность. Он пыхтел и стонал, вторя звериным ликующим визгам своих подопечных, словно понукал их не останавливаться.

Наконец Джереми иссяк, но его чудовищные партнерши еще не насытились. Он закричал, когда острые зубы вонзились в его шею и стали рвать ее.

— Не сметь! — Восторг незнакомца тотчас сменился яростью, он вцепился в нагие тела своих подопечных, уперся ногой в сиденье, чтобы удержать равновесие. — Не сметь, нельзя!

Одна из женщин развернулась и оттолкнула его с такой силой, что он отлетел прочь. И вновь погрузила в жертву окровавленные клыки.

В глазах у Джереми помутилось, боль, терзавшая его, была невыносима. Он извивался, пытаясь вырваться, но женщины были чересчур сильны. Хриплый гортанный смех вылетал из их искусственных легких, и набитые кусками плоти рты исторгали вопли наслаждения.

Сознание Джереми гасло. Голова его бессильно скатилась на плечо, и он мельком увидел того, кто стал вдохновителем этого бесчинства. Незнакомец скорчился на сиденье, обхватив руками голову, словно мучения жертвы передавались и ему. Он глухо стонал, зажмурившись от безысходности.

— Опять то же самое! — вдруг пронзительно выкрикнул он, заглушая гудок поезда. — Одно и то же... вечно одно и то же! Каннибализм — вот самая сильная страсть, и она разрушает то, что я создал!

Женщины, обильно залитые кровью, оторвались от своей неподвижной жертвы и повернулись друг к другу с яростью, которая отторгала все человеческие инстинкты. Они насытились — и все же остались голодны.

Хозяин их обмяк на своем сиденье, ожидая неизбежного. В час торжества он потерял власть над своими созданиями. Опыт, которому он посвятил всю жизнь, на сей раз будет стоить жизни ему самому.

ПИТЕР ТРИМЕЙН

Собака Франкенштейна

Питер Тримейн — один из псевдонимов историка и знатока кельтской культуры Питера Берресфорда Эллиса, под которым он опубликовал более двадцати пяти книг в жанрах хоррор, фэнтези и детектив. В его романе «Отпущение убийством» («Absolution by Murder») действие происходит в седьмом веке, главная героиня-сыщик — сестра Фидельма, ирландская жрица и по совместительству «dalaigh» — адвокат ирландского суда Бреон. Фидельма также фигурировала в полудюжине рассказов, изданных по обе стороны Атлантики.

«Собака Франкенштейна» — первая из опубликованных (издательством «Mills & Boon» в августе 1977 года) работ Тримейна, однако не первая из написанных им. Первый роман автора «Дракула нерожденный» («Dracula Unborn»), известный также под названием «Право крови» («Bloodright»), был напечатан в «Corgi» тремя месяцами позже. События разворачиваются в Корнуолле, любимой писателем местности, которой он обязан своим псевдонимом. Тримейн (корнийское «tre» — означает селение, «таупе/таеп» — камень) — название небольшого поселения севернее Пензанса, в котором, по словам автора, расположен лучший в Корнуолле итальянский ресторан.

В нижеследующей повести читатель переносится в вымышленное селение Босбрадо на диком северном побережье Корнуолла за бесплодными бодминскими пустошами. Сочетающий в себе черты нескольких реальных мест, Босбрадо, с его живописной таверной «Морворен» («Русалка»), изображен Тримейном и в романах «Ее месть» («The Vengeance of She», 1977) и «Морго воскресает!» («The Morgow Rises!», 1982), а также в рассказе «Голодная трава» («The Hungry Grass»).

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Человек бежал по темной равнине, бежал, спасая свою жизнь. Темные грозовые облака неслись к западу по ночному небу с бледным кругом луны. Они летели все быстрее, сгущались, и ветер хлестал верхушки деревьев. Далеко внизу восточный горизонт выплюнул молнию, и в воздухе разнеслись раскаты грома. Ливень прерывисто хлестал по земле.

Вдали человек слышал низкий унылый вой гончей, выслеживающей дичь.

На мгновение он припал к мокрому гранитному валуну, задержался, хватая ртом воздух и пережидая ужасную боль в боку.

Человек был немолод, костюм его был сшит хорошим портным, но теперь изорвался и выпачкался в грязи. Из большой ссадины на лбу текла кровь, волосы слиплись от дождя и грязи. Круглые выпученные глаза блестели на мертвенно-бледном лице, он жадно дышал открытым в испуге ртом.

Его слух вновь уловил унылый вой. На этот раз близко, очень близко.

Человек, всхлипнув, повернулся и побежал по бесприютной ночной пустоши. Он не знал, куда бежит, но должен был бежать, спасаться, надеяться.

Перед ним черным жестким силуэтом встал холм. На вершине он увидел огромный монолит — памятник былых веков и племен. Огромные гранитные менгиры хранили память о религии древних. Человек, не задумываясь, начал взбираться по склону, задыхаясь от ужаса и всхлипывая. Сердце безумно колотилось у него в груди.

Шипы терновника и утесника рвали одежду, царапали лицо и руки. Он их не замечал. Он, временами падая на четвереньки, вскарабкался к вершине и вбежал в залитый луной круг камней.

Он упал ничком на черный менгир, рухнувший набок и лежавший теперь, подобно алтарю, в кругу камней.

Несколько секунд он глубоко дышал, успокаивая срывающееся дыхание. Когда хрип в легких стих, он вслушался.

Низкое рычание заставило его молниеносно обернуться. Даже в самых ужасных кошмарах, порожденных лихорадкой, не мог он вообразить зверя, какой выдвинулся теперь в лунный круг и остановился, сверкая зловещими красными глазами. Это была собака. Нет — злобная пародия на собаку величиной со льва и черная, как гагат. В глазницах пылали раскаленные докрасна угли. По оскаленным белым клыкам стекала слюна, окрашенная кровью. Человек застыл, пораженный ужасом, а зверь задрал морду вверх и издал низкий унылый вой.

Потом прыгнул вперед, и мощные челюсти сомкнулись.

ГЛАВА ВТОРАЯ

По темной дороге через пустоши мчалась, гремя и опасно раскачиваясь, карета, влекомая четверкой крепких лошадей. Лошади вытягивали шеи и в лад топали копытами, подстегиваемые криками возницы и жалящими хлопками кнута над прижатыми ушами. Они закатывали в ужасе глаза, на удилах смутно белела пена.

Временами вспышка молнии выхватывала черно-белый оттиск дороги, и потом карета снова погружалась во тьму. Толстые свечи в штормовых фонарях на ее бортах давали мало света и не освещали вознице пустынную дорогу. Выезжая на обочину, карета кренилась, угрожая перевернуться, подвернувшийся под колесо камень подбрасывал ее в воздух.

— Клянусь, этот дурень нас вывернет, — выдохнул молодой человек — один из двух пассажиров кареты. Его спутница, бледная девушка, невольно вскрикнула, когда карета вдруг дернулась и, казалось, совсем сошла с дороги.

— Сэр, умоляю вас, — пролепетала она, — попросите возницу придержать лошадей, потому что, боюсь, если он будет так гнать, со мной случится обморок.

Молодой человек озабоченно наклонился к ней. Он жалел, что в темноте не видит лица спутницы. Он увидел девушку, только когда она поднялась в почтовую карету «Бодминский скороход» на почтовой станции в Бодмине, а с тех пор она сидела в темном углу и почти не заговаривала. Если голос что-то значит, она была молода и хороша собой.

— Мадам, я врач. Доктор Брайан Шоу к вашим услугам. Вы нездоровы? — с профессиональной заботой осведомился он.

Девушка крепко вцепилась в ремни на стенке кареты и отозвалась тихим, усталым голосом:

— Я, сэр, была совершенно здорова, когда мы выезжали из Бодмина. Но этот человек гонит, словно спасается от фурий ада, и мне неспокойно. Поэтому прошу вас, сэр, попросите его ехать помедленнее.

Брайан Шоу встал, тщательно сохраняя равновесие, и, одной рукой придерживаясь за ремень, другой откинул клапан в крыше кареты, позволявший пассажирам сообщаться с кучером.

— Эй, вы, там, помедленнее! — крикнул он.

Его голос утонул в грохоте колес и лошадиных подков по камням.

Молодой человек решительно застучал по крыше:

— Кучер, вы меня слышите? Помедленнее!

В этот момент карета наклонилась на повороте и резко выправилась. Брайана сбросило на пол. Удар головой о дверцу кареты на миг оглушил его. Девушка негромко вскрикнула и, одной рукой ухватившись за ремень, склонилась вперед. Молодой человек ощутил аромат ее духов.

— Вы целы, сэр?

Брайан с сомнением покачал головой:

— Кажется, да, мадам. Но сумасшедшего возницу за это благодарить не приходится. Боже мой, он, верно, пьян! Я его остановлю.

Девушка прижала кулачок к губам, сдерживая испуганный крик, когда юноша распахнул дверцу кареты и выбрался на железную ступень снаружи.

— Осторожнее, сэр!

Молодой человек не ответил, а может быть, и не услышал ее. Стиснув зубы, он подтянулся наверх, схватившись за перильца на крыше, придерживающие багаж пассажиров. Затем, поставив ногу на край окна, вскочил на крышу и секунду-другую лежал, растянувшись среди багажа. Отдышавшись, он спрыгнул на козлы и оказался рядом с краснолицым кучером.

Тот от испуга издал неясный возглас и заслонился кнутом. Брайан вырвал кнут из его руки и перехватил вожжи, провисшие в пальцах обмякшего возницы. Пришлось налечь всем телом, чтобы сдержать четверку крепких лошадей и заставить их остановиться, фыркая и поводя мокрыми от пота боками.

Кучер сидел ссутулившись, словно обессилев после бешеной скачки.

Брайан обратил на него суровый взгляд.

— Вы что это, — строго спросил он, — убить нас задумали?

Тот пробормотал что-то оставшееся непонятным для Брайана, засунул руку под плащ и, вытащив бутыль, откупорил и приложился к горлышку.

Брайан презрительно фыркнул:

— Так я и думал. Пьян. Ну, уверяю вас, друг мой, вашим нанимателям об этом станет известно. Вы понимаете, что насмерть напугали молодую леди? Вы понимаете, что она больна от вашей адской гонки?

— Лучше болеть, лучше жить да болеть, молодой сэр, — забубнил кучер, вытирая губы мозолистой ладонью. — Бывают вещи и похуже.

Брайан пристально всмотрелся в его лицо:

— О чем это вы?

— Вы ведь нездешний, сэр? Вы из-за Тамара, а? А, знаем мы это. Вы теперь в Корнуолле, сэр. На бодминских пустошах, а через пустоши ночью не ездят. Мало ли что встретишь на пустошах ночью.

Молодой врач рассмеялся:

— Что за суеверная чушь, друг мой? Много ли вы отхлебнули из этой бутылки?

— Всего капельку, молодой сэр. Всего капельку. И не суеверия это, я вам скажу. Дорога на Босбрадо дикая, пустынная, и нехорошо оказаться на ней ночью... особенно в эту ночь.

Возница вздрогнул.

— Почему именно в эту ночь? — заинтересовался Брайан.

— Да ведь как же, сэр? — удивился кучер. — Нынче последний день октября... вы нешто забыли, что это за ночь? Канун Дня Всех Святых, когда зло выходит в мир, духи и призраки мстят живым.

Возница дико повел глазами и снова приложился к бутылке.

Брайан выхватил у него бутыль, забросил в темноту и обругал пьяным дурнем.

Как раз на эту минуту выпало затишье грозы, слышался только тихий плеск дождя. И как будто откуда-то неподалеку донесся протяжный собачий лай. Вспышка молнии и удар грома оборвали звук.

Кучер склонился к Брайану, крепко ухватил молодого человека за рукав:

— Слышали, сэр? Слышали? Гончая ада, сэр! Говорю вам, гончая ада! Пес старика Трегейгла.

Брайан с удивлением заметил, что возница весь трясется от страха.

— Послушайте, друг мой, если бы вы больше думали о деле и меньше — о выпивке, гончие ада, да и все прочие, вас не беспокоили бы.

— Ах-а, — кучер раскачивался на козлах, обхватив себя руками, — вы, нездешние, все такие, смеетесь над тем, чего не понимаете. А вот гляньте-ка туда, сэр, гляньте!

Брайан взглянул в сторону, куда указывал трясущимся пальцем возница. Ночь скрывала от взглядов равнину болотистых пустошей. Временами вспышка молнии выхватывала из темноты черные на фоне осветившегося неба верхушки деревьев и как будто скалистые вершины.

— Я не знал, что в Корнуолле есть горы.

Кучер сплюнул:

— Эт не горы, сэр. Эт холмы... Грубый Тор, Бурый Вилли... Не горы они. Нет, сэр, за ними. Там озеро Дормази, сэр.

— Озеро Дормази?

— Ага, пруд с черной водой примерно с милю по берегу, сэр. Там старик Дэн Трегейгл, минуй нас! Там стережет гончая ада!

Брайан устало вздохнул:

— Что за Трегейгл?

— Он дворецкий старого лорда Робартса, — хрипло зашептал бледный как луна возница. — Это давно было, во времена Карла Второго. Джен Трегейгл был дурной человек, суетный и безбожный. Говорят, он продал душу дьяволу. После смерти попал бы в огнь вечный, да он при жизни сделал одно доброе дело, и за то ему позволено коротать вечность, вычерпывая Дормази дырявой ракушкой от улитки. А только дьявол поклялся заполучить душу старика и все охотится за ним по равнине с адской гончей.

Кучер сжался от страха, вновь услышав в ночи одинокий вой собаки.

— Слышали, молодой сэр? Слышали?!

Брайан рассмеялся и вернул кучеру вожжи и кнут.

— Послушайте,— сдержанно заговорил он,— может, я и нездешний, но на такие сказки меня не купишь, хоть они и забавны. Мне рассказывали, что фольклор Корнуолла интересен, но пока он меня не слишком впечатляет.

Он сурово взглянул на возницу:

— Далее, я устал, а молодая леди из-за вашей скачки плохо себя чувствует. Так что берите поводья и пускайте коней неторопливой ровной рысью. Только смотрите, ровной! И если вы хоть раз пустите их вскачь, я вылезу и вас самого погоняю кнутом по равнине! Я понятно говорю, дружище? Ну, трогай, мы хотим попасть в Босбрадо до полуночи.

Кучер принял поводья и откинулся назад, бормоча что-то себе под нос.

Брайан слез вниз и вернулся в карету.

— Вам лучше, мадам? — осведомился он.

Девушка *наклонила* головку:

— Благодаря вашему вмешательству, сэр.

Когда кучер медленно тронул лошадей, снова послышался собачий лай. На этот раз он прозвучал совсем близко, и Брайан, высунувшись в окно кареты, с любопытством вгляделся в темноту.

На мгновение он готов был поклясться, что видел у дороги позади кареты что-то большое и темное. Наверняка не бродячая собака — гораздо больше. Но когда вспышка молнии осветила дорогу, Брайан убедился, что она пуста. Или ему померещилось, или молния играла шутки с тенями.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Когда «Бодминский скороход» продолжил путь по каменистой дороге через пустоши, ветер яростно набросился с юго-востока, застонал над неприступными холмами, между выщербленными валунами и монолитами, испещрившими болота. Он же разогнал низкие грозовые тучи, и вскоре над пустошами вольно засияла яркая луна. Ее призрачный свет проник в полумрак кареты, и Брайан Шоу с удовольствием заметил, что верно оценил свою попутчицу. Она в самом деле была хороша.

Под темным капюшоном дорожного плаща он разглядел бледное личико сердечком с прямым носом и нежными алыми

губками, с ямочками, выдававшими наклонность к улыбке. Цвет больших серьезных глаз трудно было разобрать, но они должны были оказаться серыми или зелеными.

— В Босбрадо ваш дом? — осведомился Брайан, желая рассеять повисшее между ними неловкое молчание.

— Я там родилась и живу с отцом, — ответила девушка и добавила, как будто припомнила: — Меня зовут Элен Треваскис.

— Треваскис? — обрадовался Брайн. — Ваш отец, случайно, не доктор Талбот Треваскис?

Девушка удивленно подняла брови:

— Он, сэр. Так вы знакомы с отцом?

— Мы не встречались, но я его новый партнер по медицинской практике.

Девушка в замешательстве прикусила губу, разглядывая красивого, щеголеватого молодого человека.

— Я знаю, что отец нашел партнера... из Лондона, кажется, но думала, это почтенный пожилой джентльмен, знакомый отцу со студенческих лет.

Брайан улыбнулся, качая головой:

— С доктором Треваскисом учился мой отец, тоже врач. Но он больше не практикует. Получив степень, я несколько лет работал в госпитале Сен-Люк в Лондоне, но мне нужен был опыт врача общей практики в провинции. Тогда мой отец написал доктору Треваскису по поводу партнерства, и он чрезвычайно любезно дал согласие.

Девушка послала Брайану быструю застенчивую улыбку:

— Босбрадо — неподходящее место для молодого честолюбивого врача, доктор Шоу. Там так мало светской жизни. Право, там очень скучно.

— Не могу поверить, ведь там живете вы! — горячо воскликнул Брайан.

Щеки девушки покраснели, но она охотно улыбнулась в ответ:

— Вы найдете его очень тихим после огромного Лондона, предупреждаю вас.

— Мисс Треваскис, — твердо возразил Брайан, — я намерен два года заниматься общей практикой в провинции с целью наблюдать и изучать болезни сельского населения. Однако, когда я приобрету этот опыт, я честолюбиво намереваюсь вернуться в Лондон и поступить в штат госпиталя для занятия научными исследованиями.

Они продолжали беседу, а карета тем временем свернула на дорогу в темный высокий лес, потом миновала открытый отрезок пути вдоль обрыва. В ноздри им ударил солсный запах моря, снизу донеслись ритмичные удары волн прибоя.

— Подъезжаем, — сказала девушка.

И в самом деле, через несколько минут почтовая карета застучала по улице городка. Возница натянул вожжи, остановив лошадей, и без нужды выкрикнул:

— Босбрадо! Босбрадо!

Босбрадо оказался маленьким поселком, растянувшимся вдоль неровного обрыва в четырехстах футах над морем, на северном побережье Корнуолла. От теснившихся друг к другу каменных домиков тропинка спускалась к маленькой бухте — крошечной гавани среди неприступных гранитных утесов береговой линии. В бухте протянулись старые причалы, а несколько рыбацких домишек упрямо цеплялись за склон вдоль вившейся по опасной круче тропы. Рядом падал в воды бухты небольшой ручей.

Кучер выбрал место для остановки у таверны — низкого обветшавшего здания, не слишком отличавшегося от жилых домов, только, конечно, гораздо больше. Деревянная вывеска над дверью изображала русалку, и под ней старинными буквами было выведено «Морворен». Впоследствии Брайан Шоу узнал от хозяина, что это корнийское слово обозначает морскую деву. Гостиница еще помнила те времена, когда на старом языке говорили от Полуострова до Тамара.

Выскочив из кареты первым, чтобы подать руку Элен, Брайан увидел на площади мерцающие огни и услышал пение. Казалось, все жители городка собрались у двух больших костров, выбрасывавших искры в темно-синее ночное небо.

— Что происходит? — обратился он к хозяину таверны, снимавшему его сундук с крыши кареты.

— Да ведь как же, сэр, — канун Дня Всех Святых! Деревенские разводят костры и поют, отгоняют злых духов. Сегодня такая ночь, когда всяческая нечисть бродит по земле и подстерегает неосторожных.

Брайан снисходительно усмехнулся и протянул руку выбиравшейся из кареты Элен Треваскис.

Он заметил, что при виде молодой девушки лицо хозяина свело беспокойством. Крупный мужчина неуклюже шагнул вперед и коснулся лба скрюченным пальцем:

— Ах, мисс Элен... а мы не ждали вас из Бодмина до конца недели.

Элен улыбнулась:

— Здравствуйте, Ноалль. Я вернулась пораньше. В Бодмине такая скука! Вы занесете мой саквояж? Красный, кожаный.

Трактирщик Ноалль открыл рот, собираясь что-то сказать, но, передумав, прикусил губу и занялся багажом. Брайан догадался, что у него есть что сказать девушке, вот только он не знает, как подступиться к делу. Его взгляд обратился к Элен, пребывавшей в блаженном неведении.

— *Вы надолго к нам, сэр?* — *спросил*, вернувшись с саквояжем девушки, хозяин.

Девушка ответила за него:

— Ох, Ноалль, это доктор Брайан Шоу из Лондона. Он новый партнер моего отца и будет жить у нас.

Краснолицый трактирщик бросил на Брайана недоверчивый взгляд и неохотно кивнул.

— Где мой отец, Ноалль? — продолжала Элен. — Я думала, он встретит карету, я дала ему знать, что возвращаюсь.

Трактирщик понурился и неловко переступал с ноги на ногу.

Элен нахмурилась:

— Что такое, Ноалль? Вы что-то хотите мне сказать?

— Мисс Элен... — начал тот, запнулся и прикусил губу, словно искал подходящих слов. — Такое дело, мисс Элен... доктор Треваскис...

— Отец! Что с ним?

— Он пропал. Уже два дня, как его нет.

Девушка побелела, пошатнулась и упала бы, *не подхвати ее* вовремя Брайан.

Элен Треваскис сидела перед гудящим камином в гостинице «Морворен» и пила подогретое вино.

— Теперь мне гораздо лучше.

Встревоженный Брайан увидел на ее губах легкую улыбку. И в самом деле, краска вернулась на ее бледные щеки, и голубые глаза, оттененные рыжими волосами, заблестели.

— Вы едва не упали в обморок, — укоризненно сказал он.

— Мне очень жаль, мисс Элен, — виновато проговорил трактирщик Ноалль. — Я старался сказать помягче, да не сумел...

— Все хорошо, Ноалль. Но расскажите мне, что случилось.

Тот почесал за ухом:

— Ну, это было позавчера. Доктор, ваш отец, пошел на обход около полудня. Мне говорили, что в последний раз его видели над обрывом по пути к Брека, к дому иностранца. Когда он к вечеру не вернулся, миссис Тревитик пришла сюда спросить, нет ли его здесь.

— Его искали? — вмешался Брайан.

Краснолицый хозяин потупил взгляд и передернул плечами:

— Был канун Дня Всех Святых, а вы же знаете, какой здесь обычай. Даже рыбаки в этот день в море не выходят. Не к добру оказаться слишком далеко от деревни.

— Проклятие! — воскликнул пораженный Брайан. — А если с ним случилось несчастье и он лежит раненый на пустошах?

— Тогда помоги ему Бог, — отозвался трактирщик.

Элен побледнела от гнева:

— Что я слышу, Ноалль? Верно ли я поняла, что никто не пытался отыскать отца?

— Мисс Элен, вы местная, вы здесь родились... вы знаете нашу деревенскую веру, обычай... знаете, что значит бродить по болотам в такой день?

— Не могу поверить, что вы оставите человека умирать! — воскликнул Брайан.

— Если он уже не умер, — огрызнулся трактирщик и тут же извинился: — Прошу прощения, мисс Элен, но лучше смотреть фактам в лицо.

Элен подавила подступившие к горлу рыдания:

— Не верю, что его оставят умирать, Ноалль. Отец двадцать пять лет прожил в Босбрадо, у скольких он принимал роды, скольких лечил, спасал жизни... и вот как ему отплатили!

— Позвольте мне сейчас же организовать поиски, — вызвался Брайан.

— Нет!

Они обернулись на хриплый голос. Говорил мужчина с обветренным докрасна лицом и копной седых волос. Коренастый, одетый во все черное, он стоял в открытых дверях таверны.

— Я сказал «нет», — повторил он, входя и закрывая дверь.

— А кто вы такой, сэр, что берете на себя смелость распоряжаться? — резко спросил Брайан.

— Брат Вилли Карев, глава нашей Христовой общины, сэр, — ответил тот, — и я воистину боюсь за бессмертные души. Ответственность за них наделяет меня правом приказывать. Ни один житель деревни ни в коем случае не ступит за околицу до завтрашнего утра.

— Значит, пусть человек пропадает где-нибудь в болоте, раз вы слишком трусливы, чтобы его спасти? — презрительно оскалился Брайан.

Глаза священника вспыхнули.

— Трусливы? Нет. Но мы добрые христиане и боимся дьявола и всех его деяний. Эта ночь — древний пир мертвых, когда души навещают свои прежние жилища, когда опасно покидать пределы деревни, потому что мертвые охотятся на живых и, стоит утратить осторожность, отсылают вопящую душу прямо в ад. Люди, как видите, жгут костры, поддерживают огонь от заката до рассвета, защищаясь от дьяволов, рыщущих в ночи в поисках добычи.

Священник повернулся к Элен:

— Я воистину сожалею о нашей потере. Ваш отец был хороший человек, христианин. Дай бог, чтобы утром мы сумели помочь ему.

Элен отвернулась. Священник пожал плечами и вышел. Только тогда девушка разразилась рыданиями.

Брайан взял ее за локоть:

— Я попробую поискать, если эти трусы укажут, куда идти.

Содрогаясь от плача, девушка отчаянно замотала головой:

— Вы здесь чужой, Брайан. Что вы сделаете один в темноте, не зная опасных мест?

Она впервые назвала его просто по имени.

— Но это лучше, чем сидеть без надежды, в бездействии, — настаивал он.

— Нет. Лучше будет дождаться рассвета. Тогда мы, может быть, убедим деревенских нам помочь.

— Этих трусов? — презрительно отозвался Брайан.

— Наверно, их можно понять, Брайан,— с грустью ответила девушка. — Мы, корнуольцы, странный и суеверный народ. Мы живем слишком близко к природе, к стихиям, к ветру, морю и земле. Поэтому мы суеверны. Мы храним старые мифы, древний фольклор и веру, родившуюся за тысячи лет до Христа. Может быть, мы так и не стали христианами, вопреки всем напыщенным фразам. И потому мы неохотно открываем сердца людям из-за Тамара, нездешним, как мы их называем. Давайте подождем до утра.

Она взяла Брайана за руку:

— Пойдемте в дом отца. Я достаточно окрепла.

Она позволила Брайану проводить себя от таверны по улице, полной отчаянно веселящихся, пляшущих у костров селян, к дому Треваскиса, стоявшему на краю деревни. На властный стук Брайана открыла заплаканная пожилая служанка, всхлипнувшая при виде Элен:

— Ох, мисс Элен, ягненочек мой милый!

Обняв девушку, она увлекла ее в дом.

Тогда Элен, уже не сдерживаясь, разрыдалась на щедрой груди миссис Тревитик. Домоправительница, а таково было ее звание, кудахтавшая как наседка над цыпленком, отвела девушку наверх в спальню. Брайан расположился у очага ждать ее возвращения.

Нерешительный кашель заставил его оглянуться. В дверях мялся худой пожилой мужчина.

— Доброго вечера, сэр. Я Тревитик, муж здешней домоправительницы. Я так понял, вы мисс Элен домой провожали, сэр.

— Совершенно верно, Тревитик, — ответил Брайан. — Я доктор Шоу, новый партнер доктора Треваскиса.

Старик насупился:

— О! Да, доктор вас ждал.

— Хорошо. Кажется, я должен был жить в этом доме?

— Да, сэр... э-э... доктор. Жена вам комнату приготовила, только проветрить надо.

— Хорошо. А теперь не могли бы вы что-нибудь рассказать об этой постыдной истории с исчезновением доктора?

— Боюсь, его уже нет в живых, доктор.

Брайан прищурился:

— Это почему же, Тревитик?

— Его последний раз видели, когда он шел вдоль обрыва к дому иностранца.

— Иностранца?

Тем же странным тоном упоминал «иностранца» Ноалль.

Тревитик кивнул:

— Там, говорят, странные дела творятся.

— Странные дела? Кто это говорит? И что за иностранец?

Глаза Тревитика забегали.

— Иностранец? Да он...

— Тревитик!

Тощий старик подскочил и виновато обернулся к вошедшей в комнату толстухе-жене.

— Я... я хотел... — забормотал он.

— Знаю, чего ты хотел, — оборвала его жена. — Тебя дела ждут, Тревитик. Ступай займись.

Мужчина чуть слышно вздохнул и, не взглянув больше на Брайана, покинул комнату.

Миссис Тревитик проводила его стальным взглядом.

— А теперь, сэр...

В ее голосе слышался вызов.

— А теперь, миссис Тревитик, как я объяснил вашему мужу, я доктор Шоу, новый партнер доктора Треваскиса. Полагаю, вы меня ждали.

Женщина прикусила губу:

— Понятно... — Она расправила плечи, словно оправляясь от пропущенного удара, и признала: — Доктор Треваскис вас ждал. Если вы не против пройти со мной, я покажу вам вашу комнату, сэр.

— Как мисс Треваскис?

— Ночной сон пойдет ей на пользу.

Взяв свечу, она проводила Брайана наверх, в маленькую спальню. Было холодно, но домоправительница подошла к камину с уже уложенными дровами, и через несколько минут в очаге заплясало яркое пламя.

— Я скоро вернусь, сэр, принесу грелки в постель. Что-нибудь еще?

— Вы могли бы объяснить, почему все смотрят на меня так подозрительно?

Миссис Тревитик громко фыркнула:

— Подозрительно, сэр? Вы в Корнуолле. Мы здесь неохотно принимаем чужаков с их обычаями. Ничего хорошего мы от них не видели. Не могу понять, отчего было доктору Треваскису не взять доброго корнуоллца вместо нездешнего.

Она вылетела из спальни, оставив Брайана размышлять над странностями своего прибытия в Босбрадо.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

На следующее утро Брайан поднялся до рассвета и, умывшись и одевшись, спустился вниз, пока все еще спали.

Улица была пуста и замусорена остатками вчерашнего пиршества. Брайан заметил, что все ставни и двери домов крепко закрыты. Только бродячая собака рылась в куче объедков.

Пожав плечами, он повернул обратно к дому Треваскисов, пройдя мимо церкви с квадратной башенкой и домиком викария, и уже открывал ворота, когда его окликнули:

— Доброго утра!

Обернувшись, он увидел мужчину среднего роста, который покрасневшими глазами разглядывал его из садика викария. Строгий костюм выдавал в нем духовное лицо, а судя по помятому виду, мужчина не спал всю ночь.

— Доброе утро, мистер?.. — ответил на приветствие Брайан.

— Пенкарро, сэр, Саймон Пенкарро. Я пастырь Христовых овец этого селения, сэр.

Брайан нахмурил брови:

— Простите, мистер Пенкарро, но я думал, брат Вилли Карев...

Пастор рассмеялся, не дослушав:

— Я, сэр, викарий англиканской церкви, вот этой. — Он махнул рукой на церковное здание. — Но, сэр, кто говорит: корнуоллец, говорит: последователь Джона и Чарльза Уэсли. Весь простой народ — методисты, все до одного. Моя паства состоит всего из трех душ, сэр. А вы не методист?

Брайан представился и пожал вялую ладонь пастора.

— Добро пожаловать в мой бедный приход, сэр, добро пожаловать.

— Почему церковь оставляет вас здесь, мистер Пенкарро, если вам некому проповедовать? — поинтересовался Брайан.

— Почему? О, заходите, выпейте со мной вина. Слишком рано? Точно нет, сэр? Немного вина на пользу чреву, гласит Добрая Книга. Нет? Вас не соблазнить. Ну что ж. Так о чем это я?

— Вы собирались рассказать, почему остаетесь здесь, если у вас нет паствы, — с улыбкой напомнил Брайан.

— А, в самом деле. Видите ли, сэр, я не обращался к епископу, потому что, сэр, места здесь красивые, а в мои годы не ищут новых пастбищ. Тихое место, где я могу на свободе предаться своей страсти антиквара.

— А что с доктором Треваскисом? — резко прервал Брайан. — Не пора ли организовать поиски?

Викарий со вздохом извлек из кармана серебряную фляжку и отпил щедрый глоток. Брайан уловил отчетливый запах рома и отметил дрожь тонкой руки.

— Не думаю, что люди проснутся до полудня, сэр. Вчера было выпито целое море.

— Тогда мне самому придется заняться поисками, мистер Пенкарро. Вы не пойдете со мной?

— Хотел бы, сэр, хотел бы, но я уже далеко не молод и обзавелся подагрой. Только это средство, — он кивнул на флягу, — и держит ее в узде, сэр. Но я желаю вам удачи, желаю удачи.

Брайан поморщился. Как будто мало ему целой деревни суеверных глупцов, так еще и пьяница-пастор. Надо найти кого-то из обладающих властью, быть может сквайра, кто пробудил бы народ от летаргии. Брайан обратился с вопросом к преподобному Саймону Пенкарро, но тот грустно покачал головой:

— Сквайр? Увы, нет, сэр. Последним сквайром Босбрадо был сэр Хью Тревенион, погибший в Европе в войне против корсиканского деспота. Теперь его особняк продан, у него не было наследников. День, когда умер сэр Хью, был печальным днем для Босбрадо. Печален был день, когда сюда явился иностранец.

— Ах да. — Брайан кивнул. — Иностранец. Кажется, доктора Треваскиса в последний раз видели на дороге к его имению. Возможно, стоит пойти и поговорить с ним. Этот человек может что-то знать.

Пастор содрогнулся и надолго припал к своей фляге.

— Иностранец, он странный человек, сэр. Странный человек! Странные дела творятся с тех пор, как здесь поселился иностранец, сэр. Он купил особняк сэра Хью, и с того дня черная туча опустилась на Босбрадо. Нет, сэр, я бы не советовал обращаться к нему за помощью.

Старик-пастор резко развернулся и ушел в дом, захлопнув за собой дверь.

Удивленный Брайан остался один.

Солнце поднималось в ярко-голубом осеннем небе. Не было ни облачка, крики кружащих над обрывом чаек оглушали Брайана. Обойдя дом, он вышел в сад, который заканчивался над самым обрывом. Отсюда открывался такой вид, что у молодого человека захватило дух.

— Брайан!

Он обернулся на срывающийся крик.

Перед ним стояла Элен, бледная, осунувшаяся, с покрасневшими уголками глаз.

— Брайан, кто-нибудь уже ищет отца?

Он закусил губу:

— Никто еще не пошевелился.

Девушка то ли воскликнула от негодования, то ли всхлипнула. Брайан взял ее за руку:

— Не тревожьтесь, Элен. Я говорил с мистером Пенкарро. Но думаю, будет полезнее обратиться к этому иностранцу, о котором столько толкуют. Кажется, в последний раз вашего отца видели, когда он шел в сторону его имения.

— Да-да, — закивала девушка, — так ведь сказал Ноалль, да?

— Скажите, что это за иностранец?

— Немец, кажется. Знатный... барон или что-то в этом роде. Отец бывал у него несколько раз, но, по-моему, его имени никто не знает. Он купил Тимернанс лет десять назад... так называется большой дом за руинами замка Брека. Когда-то он принадлежал сэру Хью Тревениону, но тот погиб под Ватерлоо.

— Тимернанс, — повторил Брайан. — Сразу за руинами. Я найду. Больше об этом человеке ничего не известно? Здесь его, как видно, не любят.

Она покачала головой:

— Да. Он живет отшельником и никого не принимает. Да теперь туда никто и не ходит.

— А в деревне он бывал?

— Насколько я помню, всего дважды за последние десять лет, — ответила Элен. — У него есть слуга, уродливый недоумок, которого он иногда присылает за провизией.

— Не тревожьтесь, Элен. Я уверен, что мы найдем вашего отца.

Он вышел на улицу и пошел вверх по склону, туда, где грозно вздымалась на фоне лазурного неба выщербленная каменная башня замка Брека.

Тропа вывела по откосу на густо заросшую лесом площадку, и Брайан остановился у старого дорожного указателя, чтобы оглядеться. Дома он не увидел, но решил, что особняк скрыт лесом, вплотную подступавшим к обрыву.

Он отправился дальше и на краю леса увидел высокую каменную стену, тянувшуюся от обрыва. В стене были двойные кованые ворота, но тропа к ним заросла, словно здесь годами никто не ходил. Брайан подумал было, что ошибся, что должна быть другая дорога в имение, однако прогнившая деревянная доска, скособочившаяся на одном гвозде, возвещала, что это и есть Тимернанс. Поколебавшись, Брайан ухватился за верхний брус ворот и, подтянувшись, перелез через стену. Тут им тотчас

овладело недоброе предчувствие. Густые кроны деревьев закрывали невысокое еще солнце и безоблачное синее небо ранней осени. В ноздри бил душный запах гниющих растений. Выросший в городе Брайан не обратил внимания на молчание птиц, но все же подумал, что в лесу на удивление тихо.

Не так уж трудно оказалось пробираться по заросшей дорожке. Только иногда куст или ветка немного задерживали его. Уходя все дальше от ворот, он начал задумываться, живет ли здесь хоть кто-нибудь. Его знобило в мрачной тени деревьев.

Он замер, услышав звук.

Неясный звук, он не взялся бы сказать, что это было. Возможно, хрустнул сучок или зашуршали ветки. Однако он чувствовал присутствие... это было трудно описать. Он чувствовал, что кто-то или что-то следит за ним из-за кустов.

Молодой человек резко обернулся, но никого не увидел. Лес молчал. Гулкая тишина, похожая на тишину могилы.

Он выбранил себя за то, что поддался эмоциям, порожденным суевериями местных жителей. Однако влажная прохлада леса, окружавшего Тимернанс, в самом деле создавала призрачную атмосферу.

Потом в подлеске что-то затрещало, закачались ветки и зашелестели листья — кто-то ломился через кусты прямо к нему.

Брайан застыл как вкопанный:

— Кто здесь?

Ему ответило молчание. Он сделал еще несколько шагов и задержался. Уродливое существо вдруг вывалилось из кустов, и, не успев и глазом моргнуть, молодой человек оказался сбит наземь. Горло ему сжали стальные тиски.

ГЛАВА ПЯТАЯ

На мгновение Брайана оглушило тяжестью навалившегося на него существа. Он вскинул руки в напрасной попытке ослабить душившую его хватку. Он открыл глаза, пытаясь разглядеть врага, но увидел только свалявшуюся массу грязных черных волос. Невозможно было понять, зверь это или человек.

Первая же попытка сопротивления обнаружила его тщетность. Противник был наделен стальными мышцами и силой дюжины человек.

Брайан уже терял сознание, когда пришло спасение. Удавка на горле ослабла, тело, заслонявшее ему свет, отодвинулось. Задыхаясь, он услышал щелчок и резкий мужской голос, отдававший приказ на незнакомом языке.

Брайан помотал головой и приподнялся на локте.

Он увидел статного человека, одетого в черное — от невысоких ездовых сапог до шляпы с высокой тульей. Под черным плащом на нем был черный костюм и черный шарф. Прорезала черноту лишь белизна лица, мертвенная восковая бледность трупа. Только глаза жили на этом лице, сверкая как раскаленные угли адского пламени. В правой руке человек держал хлыст, пощелкивая им в сторону припавшего к его ногам существа.

При взгляде на это существо Брайан подавился воздухом.

Крупное лицо с длинным мясистым носом над изогнутым подковой ртом, в котором виднелись щербатые острые зубы, слегка прикусившие нижнюю губу, отчего на щетинистый раздвоенный подбородок стекала струйка слюны. Глаза были ужасны: под кустистыми черными бровями крошечный левый глаз сидел так глубоко, что можно было подумать, будто заглядываешь в пустую глазницу, и только потом обнаруживался зловещий блеск в оправе красных век. Правый глаз был почти скрыт огромной бородавкой.

Если лицо вызывало ужас, то тело — омерзение.

На голове дыбом, как у бешеной собаки, стояли волосы, а над плечами выступал большой горб, и такой же горб уродовал грудь. Длинные мускулистые руки по-обезьяньи свисали до самой земли, а ноги были настолько кривыми, что Брайан усомнился, способно ли это создание передвигаться.

Хлыст поднялся снова, и ужасное видение шмыгнуло в кусты.

Высокий мужчина повернулся к Брайану, и тот с изумлением увидел на его лице заботу.

— Вы ранены? — с заметным акцентом проговорил он по-английски.

— Не думаю, сэр. Однако не откажусь от стакана воды.

Мужчина нагнулся и поднял его на ноги.

— Обопритесь на мою руку, сэр, я отведу вас в дом.

— Весьма благодарен, сэр. Вы и есть джентльмен из Германии?

— Я уроженец Женевы, швейцарец.

— Но вы — владелец Тимернанса? — настаивал Брайан.

— Да.

Брайан помолчал немного.

— Ради всего святого, — вырвалось у него, — что это была за тварь?

— Всего лишь мой слуга.

— Слуга?! — повторил пораженный Брайан. — Но он так уродив, почти животное!

— Он — создание природы, наделенное жизнью, как вы и я, — возразил мужчина. — Он некрасив, но, не возьми я его на службу, здешние жалкие невежды забросали бы его камнями.

Голос его был полон горечи, поразившей Брайана.

— Но ведь он опасен, его нельзя отпускать ходить на свободе.

— Только потому, что он бросился на вас? А что бы вы сказали, если бы сторожевой пес бросился на человека, вошедшего в ваш дом? Гуго знает, что мое имение закрыто для визитеров. Откуда он мог знать, что вы не желаете мне зла? Он не опаснее обычной сторожевой собаки. Он делает, что ему сказано, и, если справляется хорошо, получает награду. За проступки его наказывают. Такова его простая жизнь. Если вы не желаете мне зла, вам незачем бояться Гуго.

После этого они молчали, пока высокий человек вел Брайана через лес и широкую, неровно подстриженную лужайку перед большим старым домом, опасно притулившимся на самом краю утеса. Брайан отметил, что бо́льшая часть окон закрыта ставнями и все здание выглядит безлюдными руинами.

Его спутник заметил, какое впечатление произвел вид здания.

— Я отшельник, сэр, — пояснил он. — Ученому некогда тратить время на поддержание порядка. Мне для работы нужны только тишина и одиночество. Если меня оставляют в покое, я тоже никого не тревожу.

В последних словах прозвучал упрек.

— Я пришел к вам, — сказал Брайан, — поговорить об исчезновении доктора Треваскиса.

Ответом ему был быстрый испытующий взгляд. Хозяин пригласил Брайана в кухню и налил стакан воды из колонки.

— Итак, сэр? — произнес он, когда Брайан промочил горло и вернул стакан.

— Я — новый партнер доктора Треваскиса, доктор Брайан Шоу.

Человек в черном поклонился:

— Я... я барон Виктор Франкенберг.

От Брайана не ускользнула легкая заминка перед последним слогом имени. Он рассказал об исчезновении доктора Треваскиса. Лицо барона оставалось непроницаемым, как маска.

— Не хотите ли пройти со мной в библиотеку? — предложил он вдруг, повернулся и прошел вперед, не дожидаясь ответа.

Озадаченный Брайан проследовал за ним по пыльному коридору в большую светлую комнату, которой явно постоянно пользовались. Взгляд Брайана пробежал по полкам с сотнями томов книг на разных языках, посвященных, как он с удивлением заметил, в основном философии и химии.

— Стакан кларета?

Брайан покачал головой.

Он собирался выспросить у барона, что ему известно об исчезновении врача, когда библиотеку наполнил жуткий протяж-

ный вой. Вой собаки, слышанный им прошлой ночью на пустошах, только сейчас ему почудилось, будто собака воет в самой комнате.

Барон хладнокровно поставил недопитый стакан кларета.

— Прошу прощения, сэр, — сказал он, — за мои маленькие слабости. Я держу небольшую свору на случай, если мне придет охота погонять лисиц на своей земле. Сейчас одна из моих лучших гончих больна.

В последовавшем затем молчании барон долил свой стакан из серебряного графина и стал медленно смаковать, словно наслаждаясь ароматом.

— Прошу прощения, сэр. Так о чем мы?

— О докторе Треваскисе, сэр.

— Доктор за время, что я живу здесь, заглядывал ко мне всего несколько раз. Я, сам будучи медиком, не имел причин обращаться к нему. Впрочем, два дня назад я видел его на тропе через пустоши, но только издалека. — Барон встал. — Итак, сэр, ничем не могу помочь. Я сожалею об исчезновении доктора Треваскиса, но места здесь глухие и часто опасные. Будем надеяться на счастливый исход: возможно, он задержался у друзей или заблудился и скоро появится.

Он проводил Брайана к двери.

Тот задержался, кивнул на опушку:

— Что, если...

Барон растянул губы в невеселой усмешке:

— Гуго? Не беспокойтесь. Гуго выучил урок, как хорошая собака, и прекрасно запомнил.

Барон указал на стоявший у двери хлыст.

Тяжелая деревянная дверь захлопнулась перед носом у Брайана. Мгновение поколебавшись, он направился по тропе к чугунным воротам.

Молодой человек не мог сдержать дрожь при мысли о затаившемся в кустах уродливом чудище, готовом сомкнуть волосатые лапы у него на горле. Однако он твердо шагал вперед, высоко держа голову, и только взгляд его метался по сторонам.

Ощущение слежки вернулось внезапно, и он готов был поклясться, что слышит треск в подлеске и затрудненное дыхание.

Развернувшись, он увидел, что тропа увела его далеко от дома и на помощь барона рассчитывать не приходится.

Куст перед ним вдруг вздрогнул, и Брайан вскинул руку, пытаясь защититься, но тотчас удивленно попятился, увидев почти упавшую к его ногам женщину.

— Помогите мне, mein Herr[1], помогите! — выдохнула она.

---

[1] Мой господин *(нем.)*.

Брайан поспешно помог женщине встать с коленей. Он не мог определить ее возраст: ей могло быть и тридцать, и пятьдесят. Когда-то она, вероятно, была изумительно прекрасна. Лицо красивой формы, большие голубые глаза и губы розовые, как бутон. Но в глазах ее стояла смерть. В них не осталось ни капли жизни.

— Вы должны мне помочь, mein Herr, вы должны! — задыхалась она.

— Но что случилось, мадам? — спросил ошеломленный Брайан.

Женщина с ужасом оглянулась через плечо и разразилась потоком слов на немецком.

Брайан остановил ее, пожав плечами:

— Увы, мадам, я не понимаю вашего языка. Говорите ли вы по-английски?

— Он... барон. Не верьте ему, mein Herr. Я слышала вас в доме. Вы ему не верить. Он злой, злой! О, будь проклят день, когда я вышла за него!

Ее горячность поразила Брайана.

— Вы — баронесса Франкенберг?

Женщина презрительно расхохоталась, запрокинув голову:

— Grüss Gott![1] Франкенберг? Франкенберг?

Смех ее стал истеричным, и Брайан заподозрил, что она страдает одержимостью.

Женщина вдруг замолчала, стрельнув глазами на тропу, и склонилась к нему.

— Не доверять барону, — проговорила она на своем ломаном английском. — Он злой человек. Вы должны помочь мне спастись от него. Его имя не...

Что-то мелькнуло за деревьями.

Женщина побледнела и едва не упала. С криком отчаяния она развернулась и скрылась в чаще.

Брайан оглянулся в ту сторону, куда смотрела она.

Уродливая рожа зверообразного Гуго скалилась на него из кустов.

Сердце у него пропустило удар и бешено зачастило. Но урод не приближался, и Брайан, под барабанные удары пульса, медленно прошел по тропе до ворот, проворно перебрался через них и поспешил вниз к деревне. Он замедлил шаг и расслабился, только увидев за поворотом первый из белых домиков Босбрадо.

Элен Треваскис, все такая же бледная и несчастная, сидела в гостиной. Она быстро обернулась к вошедшему Брайану, и он увидел, как слабый свет надежды гаснет в ее глазах. Девушка все поняла по его лицу. Он коротко пересказал ей события этого утра.

---

[1] Господи! *(нем.)*

— Значит, отца в последний раз видели на пустошах? — переспросила она, дослушав.

Он кивнул.

— Я уговорила мистера Тревитика и еще нескольких мужчин проехать верхом по тропам через болота, — продолжала она. — Быть может, они что-нибудь найдут. О, если бы я была мужчиной! Сидеть так и ждать мучительно для моей натуры!

Брайан сочувственно взял руку девушки, она не отняла ее.

— Я уверен, Элен, его найдут. Я попробую собрать мужчин, знающих местность, и тоже отправлюсь на поиски.

— Вы так добры, Брайан. Не знаю, что бы я делала без вашей поддержки.

Он еще раз пожал ей руку и встал.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

У Брайана Шоу выдался утомительный день. Многие жители деревни, пересилив ужас перед Хеллоуином, присоединились к нему и преподобному Саймону Пенкарро в поисках на болотах, но, не найдя к сумеркам никаких следов, возвратились, не слушая отчаянных уговоров Элен, просившей продолжать при свете факелов. Брайан предложил проводить Элен в трактир «Морворен» и попросил Ноалля накормить их. Атмосферу в трактире нельзя было назвать радостной: все сидели молча, стараясь не встречаться с Элен глазами.

Ноалль усадил их в нише и принес горячий ростбиф и подогретое вино со специями. Ели в молчании. Брайан не заговаривал из уважения к чувствам Элен, а девушка — подавленная тяжелыми мыслями.

Внезапно тихий говор едоков совсем смолк.

Подняв глаза, Брайан и Элен увидели, как распахнулась входная дверь и в зал, волоча ноги, вошел уродливый слуга барона, Гуго. Он замер на мгновение на пороге, щурясь на всех маленькими глазками, а затем, подбоченившись, потащился к стойке.

Местные его знали, хотя Гуго не часто бывал в поселке. Барон посылал его изредка закупать провизию. Деревенские сторонились его так же, как не приближались к имению барона.

Урод остановился перед стойкой, за которой стоял Ноалль. Трактирщик смотрел на нового посетителя с нескрываемым отвращением.

Волосатая лапа бросила на прилавок несколько серебряных монет. Рот открылся, и из него вырвалось невнятное ворчание.

Эти звуки вызвали у крестьян нервные смешки. Рот скривился, перекосился и с натугой выговорил несколько искаженных, но разборчивых слов:

— Вина... хозяин хочет вина.

Ноалль, неприязненно косясь на покупателя, смел в ладонь и пересчитал монеты.

— Вина, значит? И что бы тебе с твоим хозяином отсюда не убраться? Звали вас сюда?

Урод вроде бы понурил голову.

Брат Вилли Карев крикнул со своего места:

— Скажи, скажи ему, Ноалль! В нашем богобоязненном селении не нужны отродья Сатаны!

Ноалль мрачно рассмеялся:

— Вино я продам. Но скажи хозяину, что нам здесь такие, как он, не нужны.

Его поддержал одобрительный хор:

— Убирайся, бабуин!

— Кривоногий!

— Черт!

Крестьяне с хмельной отвагой забрасывали зверочеловека оскорблениями, а тот стоял, глядя на них исподлобья.

Том Дженнер, перебравший рому, шатнулся к молчавшему Гуго и ткнул в него пальцем.

— Бьюсь об заклад, с такими ножками ты отличный танцор! — дружески шепнул он, вызвав взрыв хохота у всей компании.

Гуго свирепо оскалился.

— Вина, — с тупым упрямством повторил он.

— Что это он лопочет, Том? — осведомился Ивен Трегорран.

— Вина, говорит, хочет.

Том Дженнер бросил на стойку монету.

— Налей ему, хозяин, — властно приказал он.

Ноалль замялся:

— Не лучше ли оставить его в покое, Том?

— Дай ему вина.

В руке Гуго оказался стакан.

Урод с подозрением принюхался и осушил его залпом.

— Вино... хорошо, — промычал он, распробовав.

Ему ответили хохотом.

— А теперь, — оборвал его Том Дженнер, снова ткнув пальцем, — теперь покажи, как на таких ножках танцуют хорнпайп или джигу.

Гуго непонимающе пялился на него.

Том схватил скрипку и заиграл.

— Давай! — выкрикнули несколько голосов. — Пляши, пляши!

— Что, танцевать не умеешь? — презрительно спросил Ивен Трегорран и сам выдал несколько неуклюжих коленец.

Гуго с удивлением следил за ним, потом как будто сообразил, чего от него хотят. Рот его искривился в гримасе, означавшей у него улыбку.

Она заковылял на коротких ногах, издавая дикие звуки — *для него это был смех.*

Все быстрее играла скрипка Вилли Карева.

Все быстрее переступал ногами Гуго.

И вдруг, споткнувшись, мешком повалился к ногам Брайана.

Несчастное создание лежало, постанывая, среди раскатов смеха. Поднялось на ноги, ухватившись, чтобы подтянуться, рукой за край стола, за которым сидели Брайан с Элен. Брайан с удивлением увидел, что рука эта — хорошей формы, с тонкой кистью и длинными чуткими пальцами. На тыльной стороне ладони он заметил татуировку: морская дева восседала на двух китах, играя на дудочке. Татуировку пересекала яркая белая черта, в которой молодой врач распознал шрам. Рука удивила Брайана тем, что никак не сочеталась с обликом этого гротескного тела. Инстинктивно он перевел взгляд на другую руку Гуго и увидел, что она так же толста и уродлива, как остальное тело: волосатая, с толстыми тупыми пальцами.

Он готов был заговорить об этом, когда дверь трактира распахнулась со страшным грохотом.

Высокая мрачная фигура барона, с головы до ног одетого в черное, застыла, в угрюмом молчании озирая собравшихся. Холодный взгляд, обойдя зал, упал наконец на Гуго. Тот заскулил и скорчился под его взглядом.

— Гуго, — рявкнул барон, — Komm mit![1]

Слуга, подобно побитой собаке, заковылял к барону и присел у его ног.

Барон прошел к стойке и взял две бутылки вина, налитые для несчастного создания Ноаллем.

— Мое, я полагаю?

Голос барона звучал мягко, почти вкрадчиво.

— Да, сэр.

— Хорошо. Не хотите, чтобы Гуго еще для вас поплясал?

Холодный взгляд светлых глаз сверлил трактирщика.

— Мы просто шутили, сэр. Просто шутили!

— Да? Шутили?

Повисла неловкая пауза.

— В будущем, когда я пришлю сюда своего слугу, вы будете обращаться с ним уважительно. — Голос барона вдруг стал рез-

[1] Ко мне! *(нем.)*

ким. — Если я услышу, что кто-то его обидел, я сам возьмусь за хлыст, и жене этого человека достанется зрелище бесконечно более уродливое, чем лицо Гуго. Verstehen?[1]

Барон развернулся на каблуках и исчез в темноте. Гуго, припадая к земле, засеменил следом.

Все еще в тишине Брайан обернулся к Элен и вскрикнул от удивления. Девушка была в обмороке.

С помощью протрезвевшего Тома Дженнера ее быстро отнесли домой и устроили перед огнем в гостиной.

Она горестно рассмеялась, когда Брайан склонился к ней, чтобы пощупать пульс.

— Кажется, обмороки входят у меня в привычку.

Брайан жестом отпустил миссис Тревитик, стоявшую наготове с нюхательной солью.

— Откиньтесь и отдохните, Элен. Не тревожьтесь.

Но в глазах девушки полыхнуло пламя.

Она схватила и до боли сжала руку Брайана:

— Вы видели его ладонь?

Брайан кивнул:

— Вы о странной татуировке?

Элен сглотнула, словно от боли:

— Да-да, это она!

— Я удивился, что такое существо, как Гуго, украшает себя татуировками, — улыбнулся Брайан. — Но что с того?

— А шрам вы видели?

— Да.

Девушка прижала ладонь к губам и сдавленно вскрикнула.

Встревоженный Брайан склонился к ней:

— Элен, в чем дело?

— Брайан, эта рука... рука! Это была рука отца!

Брайан потянулся пощупать ей лоб.

Не слишком горячий. И пульс, хотя и частил немного, не указывал на жар.

— Вы слышали? — настаивала девушка. — Я сказала, это была рука моего отца.

Брайан закусил губу:

— Я вас слышал, но не уверен, что понял.

Девушка задохнулась в изнеможении:

— Я сказала не больше и не меньше, чем хотела сказать. Это ужасно! Ужасно!

— Вы хотели сказать, что у вашего отца была такая же татуировка? — с удивлением переспросил Брайан.

Девушка ударила сжатым кулаком по столу:

---

[1] Понятно? *(нем.)*

Рука, татуировка, шрам... не просто похожи, те самые! Именно те!

Брайан взял свою медицинскую сумку и молча начал перебирать содержимое. Достал желтую бутылочку с надписью «Лаудинум» и отсчитал несколько капель в стакан. Потом вызвал звонком миссис Тревитик и попросил принести горячей воды и меда.

Девушка молча наблюдала за ним.

— Послушайте, Элен, у вас был тяжелый день... — начал он.

— Вы считаете меня сумасшедшей? — выкрикнула она.

— Нет-нет, — мягко возразил он, — но то, что вы сказали, невозможно. Хотя татуировка могла быть похожа.

Вернулась миссис Тревитик с чайником. Брайан отослал ее и смешал напиток.

— Это поможет вам успокоиться.

— Но что с этим существом? Вы все равно не верите...

Он жестом остановил ее:

— Я вам верю. Но хочу, чтобы вы отдохнули и хорошо выспались за ночь. Конечно, этим делом необходимо заняться. Вы идите наверх и поспите, а я схожу поговорить с бароном. Быть может, он сумеет объяснить эту загадку. Его слуга мог скопировать татуировку.

Девушка хотела возразить, но передумала и послушно приняла от Брайана стакан.

Когда она ушла, Брайан налил себе рому и опустился в кресло.

Галлюцинация? Нет, он сам видел руку и, помнится, еще тогда подумал, как странно она выделяется и не соответствует общему уродству Гуго. Но сама мысль... урод с рукой, похожей на руку доктора... с его рукой! Абсурд!

Он позвонил. Миссис Тревитик посмотрела на него с обычной неприязнью:

— Вам что-то нужно, доктор Шоу?

— Да, миссис Тревитик, — ответил Брайан. — Вы много лет служили у доктора Треваскиса. Скажите, были ли у доктора особые приметы?

— Что, сэр? — нахмурилась домоправительница.

— Были ли у него отметины, по которым его можно отличить от других, опознать? Например, татуировки.

— Ах, это? — Женщина скривила губы в подобии улыбки. — Да, была у доктора татуировка на правой руке. Позвольте... морская дева на двух китах играла на дудочке или на рожке.

У Брайана похолодело под ложечкой.

— Да, а еще был шрам на той же руке. Он рассказывал, что однажды дрался на дуэли и его ранили шпагой.

Брайан молчал.

— Это все, сэр?

— Что? А, да, это все. Спасибо, миссис Тревитик, — сказал он, отпуская ее жестом.

Откуда у Гуго татуировка, как у врача? Может быть, он ее видел, и ему так понравилось, что он попросил кого-то сделать ему такую же? Но как он умудрился заполучить такой же шрам? Это невероятно. И Элен. Элен уверена, что это была рука ее отца. Это тоже невероятно. Разве можно пересадить чью-то руку другому человеку? Это потребовало бы такого развития хирургии, что... Нет, безумие даже думать об этом. Кроме того, доктор отсутствует всего два дня, значит, даже будь такая операция возможна, за это время рана не успела бы зажить.

Был только один способ разрешить тайну — а тайна, безусловно, наличествовала. Надо идти в Тимернанс, к барону, и просить объяснений.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Земля призрачно светилась под луной, когда Брайан Шоу шагал по тропе над обрывом к черному пятну леса, окружавшего Тимернанс. Грозовые облака, низкие и набрякшие дождем, летели по небу, временами закрывая луну и затмевая мириады звезд, серебряными булавками проколовших черную бездну. Трава шелестела под легким ветром, перебиравшим листья вечнозеленых растений. Его равномерное дыхание среди деревьев звучало почти человеческими стонами. Несколько раз, когда облака отрезали свет, Брайан споткнулся, проклиная темноту.

Он уже перелезал через чугунные ворота, когда начался дождь, и молодой человек порадовался, что надел плотный дорожный плащ.

Он чутьем угадывал заросшую тропу. На сей раз все его чувства были настроены на опасность. Несколько раз он останавливался, напряженно прислушиваясь и гадая, не следят ли за ним из теней глаза Гуго.

Медленно продвигаясь вперед, он достиг края лужайки перед некогда великолепным зданием.

Дождь лил уже ручьями, смешиваясь с солеными брызгами, принесенными ветром с моря. Близость его угадывалась по грозному рокоту волн, разбивавшихся о скалы где-то под обрывом. Деревья служили хоть какой-то защитой от ливня, и молодой человек постоял на краю леса, не сразу решившись рывком пересечь открытое место.

Ослепительная вспышка молнии внезапно протянула к нему тысячи теней, и дом в резком черно-белом освещении представился Брайану сценой из кошмара.

Лишь доля секунды отделила вспышку от тяжелого раската грома.

Затем вновь ударила молния. На этот раз Брайан был готов к вспышке.

Поразило его иное: раздвоенный зигзаг, казалось, ударил точно в старый особняк, и звук удара отозвался воем тысячи банши.

Заслонив лицо рукой от дождя, он дождался третьего и четвертого удара.

Нет, он не ошибся. На крыше башни, самой высокой части старинного здания, виднелось странное устройство — что-то вроде диска из поблескивающего металла. Он-то, кажется, и притягивал молнии, ударявшие в него снова и снова, отчего металл окрашивался желтым, красным, голубым и, наконец, белым свечением. Странным было это устройство, продолжавшее светиться и гудеть и тогда, когда гроза с молниями и громом откатилась к морю.

Как это понимать? Неужели барон для своих опытов укротил силы стихии?

Брайан догадывался, что назначение странного диска — преобразовывать энергию молний в вид, пригодный для использования в экспериментах. Диск светился в ночной темноте красным глазом, шипели же капли дождя, соприкасавшиеся с его раскаленной поверхностью. Брайан плотнее закутался в плащ и пошел через лужайку к двери.

К своему удивлению, дверь он нашел приоткрытой. Он осторожно коснулся ее, и она, заскрипев ржавыми петлями, распахнулась. Брайан остановился на пороге, вглядываясь в темный, неосвещенный коридор.

Где-то в глубине дома слышалось странное гудение, похожее на болезненное скулящее дыхание страдающего животного.

Брайан пошел на звук и попал в маленький зал, прежде, видимо, служивший помещением для прислуги, потому что, чиркнув спичкой, он увидел на стене ряд колокольчиков. Шнуры соединяли их с различными комнатами, откуда хозяева могли звонком вызывать слугу. Спичка уже догорала, когда он заметил свечной огарок и второй спичкой зажег его.

В этот зал выходили несколько дверей, но одна была приоткрыта, и за ней Брайан слышал гул, ставший тихим и ритмичным. За этой дверью он обнаружил несколько ступеней, которые вели в другой маленький зал. Здесь было две двери, и за одной из них виднелось бледное свечение, разгоравшееся и тускневшее в такт гулу.

Брайан медленно отворил тяжелую, обитую железом дверь. Он стоял на верхней площадке лестницы, ведшей, очевидно, в погреб. Несколько маленьких арок придавали ей нарядный вид. Беззвучно прокравшись под аркадой, Брайан спустился до половины лестницы и присел, вглядываясь вниз. Открывшееся за последней аркой зрелище ошеломило его.

Огромный погреб, больше похожий на пещеру, освещался несколькими фонарями, свисавшими со сводов, напоминавших своды собора. Погреб располагался под землей, но Брайану почудился в нем легкий бриз и соленые брызги. Обводя взглядом огромное пространство, он убедился, что прав.

С одной стороны открывался выход, вероятно, прямо на обрыв, к морю.

Над ровным свечением множества фонарей господствовало белое сияние, исходившее от огромной лампы, стоявшей в углу на большой металлической коробке. От нее тянулись к потолку несколько проводов, соединенных, как предположил Брайан, со странным диском, венчавшим башню. Другие провода тянулись к необычного вида ящикам с непонятными значками и клапанами и к другим приспособлениям. Сбоку стоял стенд с химическими препаратами, рядом ящики с хирургическими инструментами, каких Брайану за всю его врачебную карьеру видеть не приходилось.

В другом углу помещалось несколько коробок и стол, покрытый полотняной простыней. Рядом — несколько деревянных клеток, из которых неслось непрерывное поскуливание. Всмотревшись, Брайан решил, что в этих самодельных вольерах барон держит подопытных собак.

Но все внимание Брайана было приковано к центру подземной лаборатории.

Там был операционный стол, и перед ним стоял барон в хирургическом халате и маске. По другую сторону горбился Гуго. Оба смотрели на тело, неподвижно лежавшее на окровавленной простыне.

Тело гигантской черной гончей.

— Итак, Гуго... — в голосе барона слышалось торжество, — давай проверим нашу работу.

Склонившись над собакой, барон что-то поправил.

— Да-да, друг мой, швы в порядке.

Слуга издал гортанный звук.

— Да, Гуго, пора.— Барон убрал со стола хирургические инструменты и выпрямился. — Все готово, не хватает лишь искры жизни, однако...

Он прошел к огромному ящику — впоследствии Брайан убедился, что то был большой генератор, — и быстро осмотрел циферблаты и переключатели.

— Гроза дала нам достаточно энергии, друг мой. Остается только повернуть рубильник. Отойди!

Гудение механизма перешло в пронзительный визг, такой резкий, что Брайан зажал уши ладонями. Гуго попятился, отступая в дальний угол, к собачьим клеткам. Лампа на машине разгорелась ослепительным светом. Не веря своим глазам, Брайан смотрел, как сияние пробежало по проводам к недвижному телу на столе и как тело подпрыгнуло от удара тока, упало и вновь подскочило.

Барон опять щелкнул выключателем, и визг перешел в прежнее ритмичное гудение.

Барон бросился к собаке и приставил к ее груди стетоскоп. Несколько секунд он склонялся над животным, не замечая ничего вокруг. Потом отбросил стетоскоп, и Брайан увидел на его лице дикое торжество.

— Wunderbar![1] Wunderbar! Успех! Новый успех!

Гуго подбежал к хозяину и заглянул на стол.

— Посмотри на нее, Гуго, посмотри! Я дал ей жизнь, я вдохнул жизнь в собаку. Значит, успех прошлой операции на той неделе был не случайным, хотя первое животное и погибло. Это будет жить. Я знал, что сделанное однажды смогу повторить. Они... — голос его на миг сорвался, — они разбили мое оборудование, изорвали записи, уничтожили мои опыты. Но я знал, что рано или поздно сумею повторить эксперимент! Смотри, мой Гуго, собака жива... и это я дал ей жизнь. Скоро я вновь воссоздам человека.

Брайан с изумлением смотрел, как угрюмый барон пляшет по залу.

Черное тело на столе зашевелилось, перевернулось с бока на живот, приподняло уродливую голову на длинной шее и вывалило алый язык между гигантскими клыками. Даже издали это создание показалось Брайану порождением кошмара.

— Ну, Гуго, давай перегоним ее в клетку. Новые случайности, как в прошлый раз, нам не нужны. Это будет моя гончая ада... и со временем мои враги познакомятся с ее пастью. — Барон разразился лающим смехом.

Его слуга подтянул к столу клетку и, старательно избегая клыков просыпающегося животного, переложил его внутрь и захлопнул дверцу из проволочной сетки.

— Подумай, Гуго, — ликовал барон, — я дал ей жизнь. Следующий этап — создание человека, прекрасного человека, который заставит человечество забыть о моих былых ошибках и чтить меня как своего Бога!

---

[1] Чудесно *(нем.)*.

Гуго рыкнул и потянул восхищенного барона за рукав.

— А? Что такое, Гуго? Ах, ты? Да, ты. — Барон расхохотался в умоляющее лицо слуги. — Да-да, ты будешь следующим. Я ведь обещал, не так ли? Я воссоздам твое тело, часть за частью. Увидишь сам, друг мой. Разве я уже не подарил тебе прекрасную руку взамен прежней, уродливой? Два дня, а она уже как родная. Скоро исчезнут даже шрамы.

Гуго довольно закивал и замахал рукой, курлыча, как новорожденный младенец.

— Так будь спокоен, Гуго. Скоро мы заменим и другие твои члены, и ты станешь таким же высоким, как я. Я дам тебе новое лицо и тело, мой уродливый друг.

В этот момент Брайан осознал опасность. Барон с Гуго направлялись к лестнице. Он развернулся и начал взбираться вверх, к двери погреба. Уже на самом верху он оступился и растянулся ничком, съехав на несколько ступеней. И не успел шевельнуться, как мертвая хватка стиснула его локти.

Его без лишней нежности развернули, и прямо в лицо ему уставилась дьявольская рожа Гуго. За ней кривилось саркастической усмешкой мертвенное лицо барона.

— О, Гуго, при нашем медицинском эксперименте присутствовали зрители? Уверен, они способны оценить нашу работу. Добро пожаловать, доктор Шоу. Добро пожаловать в мою скромную лабораторию.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Брайан поднял глаза на белое как маска лицо барона. Его посадили спиной к большому ящику, крепко стянув руки за спиной и связав лодыжки. Гуго ушел, а барон сидел на табурете, глядя сверху вниз на несчастного пленника. На его тонких бескровных губах играла тень улыбки.

Он достал из кармана длинную черную сигару, откусил кончик и принялся закуривать.

— Вам это даром не пройдет, барон, — сквозь зубы сказал Брайан.

— Будет только справедливо сказать вам, что вы не уйдете отсюда живым, — отозвался барон как ни в чем не бывало. — Однако, будучи медиком, таким же ученым, как я, вы способны понять и оценить мои доводы, которые я вам сейчас представлю. — Мое имя, сэр, не Франкенберг. Я — барон Виктор Франкенштейн.

Он выдержал паузу, ожидая реакции молодого врача.

Брайану это имя ничего не говорило.

Барон горестно усмехнулся.

— Ах, тщеславие, — тихо произнес он. — Я думал, мое имя повсеместно известно. Да, но я забыл, что вы в то время были еще ребенком... Когда же это было? В тысяча восемьсот шестнадцатом — десять лет прошло. Долгий срок, а?

Брайан заметил, как остекленел взгляд барона, когда он углубился в воспоминания.

— Моим отцом был барон Альфонс Франкенштейн, из богатого и старинного женевского рода. Я, как говорили, подавал надежды и в семнадцать лет, окончив школу в Женеве, поступил в большой университет Инголштадта. Там я занимался у Кремпе, великого профессора натуральной философии, и у Вальдмана, учившего, что химия лишь ответвление натуральной философии.

Я так углубился в науку, что превзошел не только однокашников, но и учителей. Два года, увлекшись занятиями, я даже не ездил в Женеву навестить родителей, проводил время в лаборатории, стремясь вырвать у природы ее тайны.

Ах, мой юный друг, мной завладел вопрос о строении человеческого, да и любого другого организма, наделенного жизнью. Откуда, спрашивал я себя, происходит жизнь? Дерзкий вопрос, и ответ всегда почитался за величайшую тайну. Но я, Виктор Франкенштейн, дерзнул разрешить его.

Он помолчал. Глаза его сверкали от безумного возбуждения, бледное лицо осветилось странным сиянием.

Брайан наблюдал за ним с нарастающим отвращением.

Человек, вне сомнений, был сумасшедшим, но в его безумии просвечивал ужасный гений, отталкивавший и привлекавший молодого врача. Его шокировала аморальность услышанного, но важность научной проблемы заставляла слушать затаив дыхание.

Барон продолжил свою речь:

— Я нуждался в том, что я назвал искрой жизни, чтобы оживить тщательно подготовленное к жизни тело. Где найти эту искру? А, в самой стихии! Я отнял жизненную силу у самой природы — научился запасать природное электричество, обуздывать молнию и подчинять ее своей воле.

В то время, когда люди еще играли с электрической дугой, когда Сибек с помощью меди и висмута создал простейшую электрическую термопару, я, Виктор Франкенштейн, черпал животворную силу из самого ее источника. Власть, попавшая в мои руки, была так велика, что я долго колебался, как воспользоваться ею. И наконец решил создать существо, подобное мне самому.

Помнится, когда я завершил свои труды, стояла ненастная ноябрьская ночь. Я собрал свое оборудование и перелил искру жизни в безжизненное тело, созданное мною. Был уже час ночи, дождь отчаянно колотил по ставням, и свеча моя почти догоре-

ла, когда в гаснущем свете я увидел, как открылись тусклые желтые глаза моего творения. Оно трудно вздохнуло, и тело его конвульсивно задергалось.

Труды двух лет, посвященные одной цели — вдохнуть жизнь в бездушное тело, были окончены.

Но меня не поняли. Люди преследовали мое создание и меня самого. Они загнали нас в безжизненную арктическую пустыню, где созданный мною человек погиб. Меня же подобрал английский корабль, и в припадке отчаяния я поведал свою историю некоему Роберту Уолтону. Он ужаснулся и все же записал ее, а впоследствии опубликовал, воспользовавшись своей дружбой с женой английского поэта Мэри Шелли. Публикуя мой рассказ, он считал меня погибшим, ведь он видел, как я в отчаянии перепрыгнул с корабля на айсберг, который унес меня в темноту арктической ночи.

Барон откинулся назад и дико расхохотался:

— Бедный, бедный дурак! Я спрыгнул на айсберг, потому что понимал две вещи. Первое: что глупый моралист, едва мы причалим, сдаст меня властям, которые отошлют меня в Женеву, чтобы судить за убийства, совершенные моим несчастным созданием при защите своей жизни от людской ярости. А второе: я видел неподалеку от нас другой корабль, который должен был пройти мимо того же айсберга. Я всего полчаса провел на льдине, пока меня не сняла команда американской бригантины, с которой я сошел в Плимуте. Оттуда я послал за женой, и она доставила мне то, что осталось от моего состояния. Этого хватило, чтобы скрыться от нескромных глаз.

Барон встал, улыбаясь:

— Итак, друг мой, я провел последние десять лет в этой забытой богом глуши, продолжая исследования, пытаясь отыскать, в чем была моя ошибка. Потому что, должен признать, первое мое создание было несовершенно. — Глаза его загорелись. — Да-да, я допустил ошибку, создав бессмысленного монстра, между тем как пытался сотворить совершенного человека, прекрасного человека. Но я добьюсь успеха, вы слышите?

Голос его возвысился до истерической ноты. Барону понадобилось несколько минут, чтобы вновь овладеть собой. Он бросил на пол окурок сигары.

— А теперь, друг мой, я оставляю вас наедине с вашими мыслями. Завтра я начинаю работу над моим бедным Гуго. Я обещал ему красивое тело.

Барон захихикал:

— Это не сотворение жизни, но эта работа усовершенствует мою технику, а его уродливое тело станет достаточно ловким, чтобы помогать мне при главном опыте. Благодаря вашей помо-

щи, — барон скривил губы в злой усмешке, — и помощи столь же глупого доктора Треваскиса, вздумавшего вмешиваться в мою работу, Гуго получит отличное молодое тело.

Он развернулся на каблуках и вышел.

Несколько секунд Брайан оставался неподвижен, кусая губы и преодолевая панику, охватившую все его существо. Ветер, вырвавшийся из устья пещеры и бросивший ему в лицо соленые брызги, обратил его мысли к побегу. Брайан поспешно обвел глазами подземную лабораторию, отыскивая средства разрезать веревки. И ничего не нашел. Потом его взгляд упал на выброшенный бароном окурок. Над ним еще клубился слабый дымок.

Брайан перекатился на живот и медленно пополз к нему, перевернулся на спину, протянул к окурку руки, нащупал его кончиками пальцев. Он трижды обжигал руки, прежде чем сумел подтянуть тлеющий кончик сигары к одной из веревок, стягивающих ему запястья.

Затлевшая веревка обжигала кожу. Боль стала почти нестерпимой, но Брайан стиснул зубы и крепко прижимал свои путы к огню. Веревка лопнула внезапно, но ему понадобилось еще несколько минут, чтобы полностью распутать ослабевшие узы и освободить запястья.

Он поспешно развязал себе ноги и встал. Пришлось перетерпеть несколько минут мучительной боли, пока кровь наполняла онемевшие ступни. С трудом держась на ногах, он осматривался в поисках оружия на случай возвращения барона или Гуго. Бóльшая часть хирургических инструментов была убрана в запертые ящики у стен пещеры. Подойдя к одному из шкафов, Брайан безнадежно подергал дверцу. Подумал, не найдется ли лома или другого подходящего орудия среди приспособлений, разложенных на холсте рядом с коробками. Коробки эти были сложены рядом с клетками, где барон содержал подопытных собак. Бóльшая часть животных, по-видимому, была опоена наркотиком. Они смотрели на Брайана пустыми глазами, и только одна собака жалостно заскулила, заметив его приближение.

Свирепое рычание, раздавшееся совсем рядом, заставило его подскочить. Обернувшись, Брайан увидел огромную гончую, прооперированную бароном. Собака бешено сверкала красными от крови глазами, обнажив клыки и конвульсивно щелкая челюстями.

Брайан осторожно перекладывал коробки в надежде, что зверь не выдаст его лаем. Он поспешно начал копаться в ящиках. Неужели в них не найдется железного стержня или топорика? Может быть, под холстом?

Приподняв полотнище, он обнаружил несколько крупных стеклянных сосудов с пузырящейся жидкостью. При взгляде на

их содержимое сердце у Брайана подкатило к горлу и ему едва не стало дурно.

В первом плавала отрубленная голова. Несколько проволочек поддерживали ее на плаву, а слабый ток жидкости заставлял открываться и закрываться ужасные глаза на мертвом лице. Лицо это принадлежало пожилому человеку. Добродушное выражение застыло на нем и в смерти. Рот был открыт, язык вывалился наружу, седые волосы прилипли ко лбу. Лицо показалось ему странно знакомым.

С усилием Брайан заставил себя присмотреться пристальнее. Он уже не сомневался, что видит отрубленную голову доктора Талбота Треваскиса.

С оружием или без него, он решился бежать из этого обиталища смерти, вернуться в деревню и отыскать кого-нибудь из представителей власти, чтобы поведать им эту фантастическую историю.

Он медленно поднялся к двери погреба. Большая железная ручка подалась, и Брайан, проклиная в душе скрипучие петли, распахнул дверь. В коридоре было темно, но света хватало, чтобы различить лестницу, ведущую к помещению слуг.

Задержав дыхание, Брайан поднялся по ступеням и на миг затаился у двери. В доме было тихо.

Он бесшумно прокрался по коридору, стараясь держаться в тени стены. Добрался до двери, потянул ее и очутился в светлой лунной ночи. Грозовые облака плыли далеко над морем, дождь перестал. Лужайка между домом и лесом серебрилась — мокрая трава отражала лунный свет.

Брайан был уже на полпути к лесу, когда услышал крик. Не замедляя шага, он бросил быстрый взгляд через плечо и увидел Гуго, глядящего в его сторону от угла дома. Но Брайан уже скрылся за деревьями и мчался через кусты к каменной стене имения.

Один звук заставил замереть не только его самого, но и сердце у него в груди. У дома послышался вой одинокой собаки. К нему присоединились лай и визг других. Охотничью свору спустили на добычу.

Холодный пот прошиб Брайана, когда он понял, что барон выпустил своих собак. Он бросился бежать вслепую, натыкаясь на кусты, не замечая цепляющих одежду и царапающих лицо веток. Он думал только о том, чтобы добраться до стены, и этому отдавал все силы, перепрыгивая топкие канавы, отталкивая в сторону ветви, забыв о впивающихся в кожу шипах. Он бежал, как не бегал никогда, сердце его бешено колотилось. Пот струился по лбу, заливал глаза, ослепляя его. Дыхание с хрипом вырывалось из широко открытого рта.

Он чувствовал, как с каждым шагом слабеют мышцы ног.

Какой-то частью сознания он отмечал лай своры за спиной, слышал, как они ломятся сквозь кусты следом за ним. Лай собак приближался.

Он уже не мог бежать.

Наткнувшись на ствол дерева, он так и остался стоять. Сердце колотилось о ребра, в боку мучительно кололо.

Самая быстрая из своры вылетела на прогалину и, увидев его, торжествующе взвыла. Собрав остатки сил, Брайан размахнулся ногой и ударил носком сапога, попав по горлу рванувшейся к нему собаки. Животное без звука повалилось наземь, неестественно вывернув шею.

Но рядом были другие.

Он повернулся и потащился дальше. Ноги дрожали как студень. Далеко ему не уйти. Бесполезно.

Чуть не плача от бессильной ярости, он снова наткнулся на дерево. Он попытался собрать остатки сил, но тщетно. Им овладело равнодушие отчаяния. Что пользы бороться? Рано или поздно они его настигнут. Лучше покончить все разом.

Чья-то рука схватила его за локоть.

Он обернулся, и сердце забилось вдвое чаще.

Перед ним была женщина, называвшая себя баронессой.

— Komm, komm mit! — взволнованно вскричала она.

— Не могу. Не могу. Мне конец. Конец, говорю вам!

Она схватила его за руку и потащила.

— Сюда. — Она указывала подбородком на ручей.

Брайан позволил ей подтянуть себя к берегу и столкнуть в воду. Они вброд двигались вдоль русла, пока не добрались до нависающего берега, в котором темнела выемка, глубокая, как большой грот.

Брайана втолкнули в дверной проем в железной раме, но без дверной створки.

Он слышал плеск воды — собаки приближались.

Силы оставили молодого человека. Судорожно вздохнув, он опустился на пол узкого прохода, уже ни на что не надеясь.

Оскаленные клыки своры блестели совсем рядом, когда женщина протянула руку. Звякнула цепь, и решетка вдруг упала из невидимой прорези наверху, перегородив вход и оставив собак яриться и щелкать зубами за железными прутьями.

— Нельзя ждать, нас найдет Гуго, mein Herr, — настойчиво зашептала баронесса. — Надо идти.

Брайан поднял глаза и увидел лающих и скулящих за решеткой псов. Он пробормотал благодарственную молитву и, словно она вдохнула в него новые силы, поднялся, опираясь на женщину. Они прошли несколько извилистых коридоров, оставив за собой

несколько железных дверей. Каждую из них баронесса тщательно запирала. Их путь лежал по залитому водой лабиринту.

— Куда мы идем? — выдохнул Брайан.

— Вперед, в маленькую комнату. Я часто прячусь там, когда он... барон... не в настроении. Эти туннели — часть древней оловянной копи, они проходят даже под домом. Ведут в пещеру, где у барона лаборатория. Оттуда пещера выводит прямо на обрыв, и, спустившись по утесу, можно берегом добраться до бухты Босбрадо. Только надо быть осторожным: прямо под утесом — острые скалы.

Брайан слишком ослабел, чтобы продолжать разговор, и покорно следовал за ней через подземный лабиринт, пока оба не оказались в маленькой пещерке.

— Это мое убежище, — сказала баронесса, помогая Брайану лечь на кровать. — Я часто здесь прячусь.

Она дала ему немного полежать, он глубоко дышал, пока не восстановилось дыхание и не унялась боль в боку. Потом женщина поднесла ему воды. Холодная вода оживила Брайана.

— Вы — его жена? Баронесса Франкенштейн? — спросил он наконец.

Женщина мрачно кивнула:

— Ах, mein Herr, разве я не говорила, что он злой?

— Давно ли вы замужем за ним, мадам?

— Я вышла за него как раз перед тем, как он бежал из Женевы, сопровождаемый проклятиями жителей и своим злобным созданием. Я была тогда молода... молода и красива. — Она помолчала, задумавшись, и продолжала: — Мне кажется, за несколько лет я прожила несколько веков. Когда я выходила за Виктора, он был красив, богат и ему предвещали будущее великого ученого. Ах, если бы они знали, какие злые эксперименты он проводит.

Поверите ли вы, что я любила его вопреки всему? Я думала, он совершил трагическую ошибку, а люди несправедливы к нему.

Поэтому, получив от него известие, что он выжил, что его творение погибло и он хочет начать новую жизнь в Англии, я собрала все оставшиеся у нас деньги и поспешила — поспешила к нему.

Мы купили этот дом в Корнуолле, и вскоре Виктор снова взялся за опыты. Тогда я и поняла, что ужас содеянного повредил его рассудок, что он безумен, совершенно безумен. Я не могла его оправдать. Он сумел убедить себя, что равен Богу, что может сотворить жизнь. Но каким ужасным путем шел он к этой цели!

Она закрыла лицо руками и громко всхлипнула:

— Величайшее зло он совершил с Гуго.

— С Гуго? — переспросил удивленный Брайан.

— Да, с Гуго. — Баронесса не сразу нашла в себе силы продолжать. — Гуго был молодым человеком, учился в Сорбонне, в Париже, и заинтересовался экспериментами, которые проводил Виктор в Инголштадте. Ему, как и Виктору, хотелось открыть источник жизни. Этот молодой человек много лет отыскивал следы Виктора и наконец, пять лет назад, добрался сюда. Ему было двадцать два года — красивый, благородный юноша.

— Гуго? — изумился Брайан.

Женщина тихо улыбнулась:

— Вы не верите, что урод, которого вы видели, был красивым юношей?

— Это невозможно! — ахнул Брайан.

— Но это так. Виктор принял его в дом. Гуго был добр и внимателен. Настолько внимателен, что для меня, в моем одиноком отчаянии и муке, было только естественно обратиться к этому юному рыцарю. Мы полюбили друг друга, Гуго и я, и строили планы на будущее. Я не понимала одного: что, как бы велика ни была его любовь ко мне, его научные амбиции больше любви. Он стремился выведать у Виктора тайну жизни. Мы могли бежать, но побег откладывался, а Виктор начал подозревать и наконец разоблачил нас.

Баронесса разразилась рыданиями:

— Однажды ночью барон увел Гуго в лабораторию. Я слышала его ужасные крики. Я хотела войти, но дверь была заперта. Я больше никогда не видела Гуго, которого знала прежде.

Не в первый раз Брайану пришлось бороться с ужасом, когда он осознал, о чем говорит баронесса.

Женщина кивнула:

— Да, с помощью своего адского искусства Виктор перекроил Гуго, сделал из него ужасного монстра, которого вы видели, отомстив нам обоим за неверность. И он уничтожил разум Гуго.

— Господи! — вырвалось у молодого врача.

Баронесса схватила его за руку:

— Надо бежать. Вы должны помочь мне бежать! Виктор должен быть наказан за все зло, все кощунства!

Брайан заглянул в полные боли глаза женщины и кивнул:

— Не беспокойтесь. Мы уйдем нынче же ночью.

— Придется спускаться по утесу.

— Я справлюсь, — заверил Брайан. — Мне уже приходилось лазить по скалам.

— Вы мне поможете?

— Помогу. Но скажите, почему барон — после того, что он сделал с Гуго, — теперь воссоздает... — он помолчал, обдумывая выбор слова, — восстанавливает его тело?

— Думаю, ему нужна помощь Гуго в экспериментах. Он знает, что Гуго лишен разума, лишен памяти обо мне. Гуго теперь не более чем животное. Но смышленое. Виктор решил дать ему ловкое тело, способное выполнять задачи, которые поставит ему хозяин.

Брайан встал:

— Теперь нам надо уходить.

— Я уже десять лет готова к этому.

— Вы не пытались бежать сами?

— К кому бежать, mein Herr? Кто бы мне поверил? Виктор просто заявил бы, что я его несчастная помешанная жена. Меня вернули бы к нему или, хуже того, заперли бы в сумасшедший дом.

Баронесса вывела его из пещеры, прошла по лабиринту туннелей, поднялась на несколько ступеней и задержалась перед прогнившей деревянной дверью. Она сосредоточенно прислушалась, прежде чем открыть ее.

Брайан вслед за ней вошел в большой погреб-пещеру.

— Сюда, молодой Herr, — тихо позвала она.

Брайан за ней прошел к выходу из пещеры. В четырехстах футах внизу он видел светлые камни и белую пену прибоя. Слева выступ гранитной скалы загораживал вид на побережье, но направо открывался изгиб к маленькой бухте, над которой гостеприимно мерцали огоньки Босбрадо.

На первый взгляд утес казался неприступным, но, присмотревшись, Брайан разглядел несколько выступов, по которым опытный скалолаз мог одолеть первые сто футов. Оттуда пришлось бы намечать дальнейший маршрут.

— Я полезу первым, — сказал он, — а вы за мной. Держитесь ближе, я буду подсказывать, куда поставить ногу. Не убирайте ногу с уступа и не отпускайте рук, пока не убедитесь, что вторая стоит надежно.

Женщина кивнула.

Брайан осторожно свесился с края утеса и нащупал первый уступ. Он опустил голову, высматривая следующий, когда услышал вопль баронессы. На пороге погреба стоял барон Виктор Франкенштейн, и рядом с ним — уродливая, искаженная фигура Гуго.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Барон скривил губы в презрительной усмешке. Жестокий взгляд его бледных глаз перебегал с Брайана на жену, которая дрожала всем телом и зажимала руками рот.

— Вот чем ты платишь мне, моя верная супруга? — саркастически проговорил барон. — Ах-ах, что мне с тобой делать?

— Виктор... — безнадежно взмолилась она.

— Виктор! — передразнил барон. — Я мог бы дать тебе величие, Элизабет. Рано или поздно мир признает мой гений: неслыханное богатство и слава достанутся мне, когда мир поймет, что творение человека — не прерогатива Господа и что я, — он ударил себя в грудь и возвысил голос, — я, Виктор Франкенштейн, тоже способен сотворить жизнь!

Глаза баронессы наполнились слезами.

— Виктор, ты болен... болен, — всхлипнула она.

— Болен?! Я болен! Разве ты своим жалким умишком можешь осознать совершенство моего разума? И ты, не понимая меня, называешь меня больным!

Брайан стоял, удерживая равновесие на краю пещерного устья, и лихорадочно соображал. Если продолжить спуск, баронессу придется предоставить ее судьбе. Кроме того, этой твари, Гуго, не понадобится и секунды, чтобы броситься к нему и столкнуть на камни.

Но есть ли выбор? Вернуться и признать себя побежденным?

Нет, мрачно решил он, надо бежать. Надо рискнуть, и, может быть, он успеет привести помощь и спасти баронессу.

Барон повернулся к нему:

— Вижу, доктор Шоу, вы составляли компанию моей бедной помешанной жене, не так ли?

Он ждал ответа, но Брайан молчал.

— Жена моя, как видно, питает слабость к молодым, красивым ученым. Да ведь я и сам когда-то был молодым, красивым ученым! Вы с ней хотели бежать, а? Может быть, начать новую жизнь там, где я не сумею до вас добраться?

Брайан молча покачал головой.

Барон, несомненно, был сумасшедшим.

— Ну что ж, — мрачно рассмеялся барон, — до вас то же замышляли и другие, не правда ли, мой Гуго? Не так ли, мой урод? Schweinhund![1]

Гуго, услышав свое имя, закивал большой головой и издал ликующий крик.

Барон запрокинул голову и расхохотался:

— Да, Гуго, ты когда-то был молодым красавцем-ученым, хоть ты и забыл об этом. Ты тоже подбивал мою жену нарушить долг, как и этот молодой человек. И он также познает гнев Франкенштейна!

---

[1] Букв. «свинская собака», немецкое ругательство.

Взгляд Брайана метнулся вниз, на темный обрыв. Первые сто футов спуск так легок. Быть может, он успеет спуститься раньше, чем его настигнет Гуго. Надо попытаться.

Баронесса обернулась к нему и как будто прочитала его мысли.

— Бегите, молодой Нетт! Спасайтесь! Не думайте обо мне, я задержу погоню! Бегите, ради любви вашей матери!

Всхлипнув, она развернулась и схватила чугунный треножник, служивший подставкой для фонаря, взмахнув им как оружием.

— Брось! — зарычал барон.

— Нет, Виктор. Когда-то я любила тебя. Я должна была помешать твоим безумным замыслам много лет назад. Может быть, теперь уже поздно, но я исполню свой долг перед Богом и людьми, которые страдали от твоего зла.

Барон оскалил зубы:

— Ты будешь повиноваться мне или погибнешь!

— Нет, Виктор.

— Тогда умри!

Он повелительным жестом указал на нее Гуго.

Не дожидаясь дальнейшего, Брайан начал спуск, перебираясь с уступа на уступ. Когда его голова скрылась за краем скалы, баронесса вздохнула и занесла треножник.

Гуго в смятении глядел на нее. Во мраке точкой светился его глаз. Подняв неуклюжую волосатую руку, он почесал в затылке, словно пытался вспомнить что-то давно забытое.

— Убей ее! — крикнул барон. — Ну, Schwein[1], убей!

Баронесса жалобно вскрикнула и, зажмурившись, опустила треножник на уродливую голову, бормоча:

— Гуго, Гуго, о господи, прости, прости!

Гуго пошатнулся под ударом, но не упал. Его сверкающий глаз моргнул, и урод жалобно заскулил. Баронесса в ужасе открыла глаза и шагнула назад.

Гуго рявкнул и молниеносно метнулся к ней. Волосатые лапы вырвали у женщины оружие легко, как из рук младенца. Отброшенный в угол треножник загремел по камню.

— Убей! Убей! Убей! — неистовствовал барон.

На миг урод и женщина застыли, встретившись взглядами.

— Гуго, — прошептала женщина.

Тот напряг мышцы лица в усилии нахмурить лоб. Как будто какая-то мысль мелькнула у него в голове, слабая, как спичка, зажженная во мраке собора, — мелькнула и тут же погасла.

Неуклюже шагнув к баронессе, Гуго протянул лапы к ее тонкому горлу. Страх удесятерил ее силы. Она царапала зверочело-

[1] Свинья *(нем.)*.

ека и колотила его своими слабыми кулачками. Отбивалась и царапалась, пока урод не взвизгнул от боли. Две фигуры, сомкнувшиеся в смертельных объятиях, застыли в устье пещеры.

Баронесса кусалась, лягалась, отстаивая свою хрупкую жизнь от существа, бывшего некогда ее любовником. Они покачнулись раз-другой. Палец баронессы угодил Гуго в единственный здоровый глаз. Взвыв и не разжимая объятий, Гуго повалился вперед.

Двое в смертных объятиях сорвались с края обрыва. Гуго, падая, не издал ни звука, и только пронзительный крик баронессы отмечал их путь.

Брайан, остановившийся передохнуть в сотне футов ниже, видел, как мелькнули мимо темные тела, слышал страшный глухой удар о камни и затем... затем тишина, нарушаемая только тихим гулом прибоя.

Он взглянул наверх.

Над ним в устье пещеры белело лицо барона.

Его резкий голос слабо донесся до ушей молодого врача:

— Вы здесь, доктор Шоу? Здесь, я знаю. Ну, не думайте, что победа ваша. Победителем останусь я, вот увидите. Я Франкенштейн! Я — повелитель всего живого, потому что я властен *давать жизнь... и отнимать ее.* Победителем буду я. Увидите!

Лицо исчезло в темноте.

Брайан перевел дыхание и стал спускаться дальше.

Путь здесь был труден, на скале почти не было уступов, за которые он мог бы держаться. Брайан взглянул вниз, увидел волны далеко внизу и тут же ощутил, как сместился центр тяжести. Голова закружилась, ужасное притяжение бездны овладело им.

На несколько секунд он, обливаясь потом, приник к гранитной скале.

Потом медленно опустил одну ногу, за ней другую. На отвесном обрыве нащупал несколько неровностей, послуживших опорой. Каждые двадцать пять футов, насколько он мог судить о расстоянии, он останавливался, чтобы восстановить дыхание.

Одежда его пропиталась потом, усталые ноги дрожали и подгибались, несколько раз его пробирала неудержимая дрожь.

Казалось, спуск продолжался много часов.

Стук сердца уже терялся в рокоте волн на камнях под ним. В ткань одежды проникала новая влага — морские соленые брызги. С тревогой взглянув вниз, Брайан облегченно вздохнул, увидев, что начался отлив и между обрывом и водой открылась широкая полоса берега, ведущая к бухте.

Брайан помедлил перед последним участком спуска. Все его тело содрогалось от изнеможения.

Он опустил ногу на следующий уступ, но, едва перенес на нее вес, от внезапной судороги в икре нога согнулась. Он с криком упал на прибрежный песок и — так казалось ему — проваливался все глубже и глубже в черный бездонный пруд.

Почти сразу он пришел в сознание и в бледном лунном свете увидел, что сорвался с высоты не больше двенадцати футов. Пробормотав благодарственную молитву, Брайан принялся ощупывать себя, проверяя, нет ли трещин или переломов.

Казалось, прошло много часов, пока он, мокрый и облепленный песком, выбрался в бухту и по безлюдной улице добрался до дома доктора Треваскиса. Когда он поднимался по тропе к дому, из-за поворота вдруг вывернула карета. Маленькая черная пролетка с двумя воронымн в упряжке. Мелькнувшая на миг фигура возницы показалась Брайану странно знакомой. Повозка тут же скрылась за поворотом дороги на выезде из деревни.

На его настойчивый стук отворила потрясенная миссис Тревитик.

— Божс, доктор Шоу! А мы гадаем, куда вы подевались. Да вы, сэр, весь мокрый и грязный и... спаси господи, сэр, на вас кровь! Уж не ранены ли?

Брайан молча покачал головой.

— Вы только принесите мне горячей воды, миссис Тревитик, смену одежды и... ради бога, немного рому. Прежде всего рому! — крикнул он вслед убегающей служанке. — И сейчас же пришлите ко мне мужа.

Тревитик вошел, когда Брайан допивал второй стакан рома.

— Бегите за мистером Пенкарро!

К приходу Пенкарро он успел наскоро вымыться и одевался.

— Пенкарро, слава богу, что вы здесь. Я должен рассказать вам ужасную историю... Он вдруг спохватился. — Где мисс Треваскис? Не могла же она проспать мое появление? Шум разбудил бы и мертвого.

Мисс Тревитик фыркнула:

— Она устала и крепко уснула после лекарства, которое вы ей дали.

— Ах да, я забыл о лаудануме. Но боюсь, ее придется разбудить, миссис Тревитик.

Женщина неохотно пошла за хозяйкой.

Через минуту она вернулась, бледная и с круглыми глазами. В руке она сжимала клочок бумаги.

Брайан бросил на нее один взгляд и взлетел вверх по лестнице.

Спальня Элен была пуста, постель смята, как будто здесь шла борьба. Ни следа Элен.

Спустившись вниз, он услышал, как всхлипывает миссис Тревитик.

— Я... я нашла это у нее на подушке, сэр. — Она сунула ему листок.

Брайан взял и прочел краткую записку:

«Заложница вашего хорошего поведения. Франкенштейн».

— Это невозможно, — произнес бледный Пенкарро, дослушав рассказ Брайана.

Старый пастор был явно потрясен. Дрожащей рукой потянувшись к бутылке, он налил себе стакан рома.

Брайан молча наблюдал за ним.

— Конечно, я слышал о Франкенштейне. Да-да, теперь вспоминаю, был скандал в Швейцарии, и потом, та повесть Мэри Шелли. Но что Франкенштейн жив? И здесь? Это слишком фантастично.

— Может быть, и фантастично, мистер Пенкарро, — мрачно возразил Брайан, — но правда. Им убит доктор Треваскис, а теперь под скалой, на которой стоит Тимернанс, лежат еще два мертвых тела.

Старик испытующе взглянул на него:

— Что вы предлагаете, мой мальчик?

— Позвонить в церковный колокол, поднять деревню, вооружить жителей и атаковать дом! — вскричал Брайан.

Старик скорбно покачал головой:

— Барон захватил девушку как заложницу. Как вы думаете, что он сделает, услышав тревожный колокол и увидев людей, штурмующих его дом?

— Что же делать? — с отчаянием спросил Брайан.

Викарий поднял палец к губам и принялся сосредоточенно грызть ноготь.

— У вас есть оружие? — спросил он.

Брайан покачал головой:

— Я врач, сэр.

— Тогда побудьте здесь, доктор, пока я принесу кое-что, что может нам пригодиться.

Через несколько минут он вернулся с заржавленной саблей в руках.

— Вот, — пропыхтел он. — Возьмите, я не опытен в обращении с ножами.

Брайан горько усмехнулся:

— Да и я лучше управляюсь со скальпелем, чем с этим орудием убийства.

Выходя из дому, они встретили миссис Тревитик. В глазах ее стояли слезы.

— Помоги вам Бог спасти ее, я ведь нянчила мисс Элен с младенчества. Удачи вам, сэр, удачи!

До утеса они добрались без происшествий. На востоке затеплился слабый свет, и Брайан понял, что близится восход, хотя над Босбрадо небо было чернее чернил.

Он остановился у входа в имение, перед коваными чугунными воротами. На земле остался след: створки открывали, чтобы пропустить карету, в которой барон похитил Элен. Теперь ворота снова стояли запертыми.

Брайан поднес палец к губам и тихо обратился к Пенкарро:

— Отсюда надо двигаться молча. Боюсь, он ждет нас и приготовился к обороне.

Старик кивнул. Они перелезли через ворота и беззвучно спрыгнули на землю по ту сторону.

Брайан прошел вперед, держась в стороне от заросшей тропы, по которой проходил в прошлые разы. Отягощенные оружием мужчины пробирались к дому.

Из лесу они вышли на залитую лунным светом лужайку. Брайану казалось, что он изучил ее до последнего дюйма — столько раз он пересекал ее за один день.

К их удивлению, входная дверь оказалась распахнута.

Входя, они услышали крик, донесшийся из глубины дома.

— Мисс Элен! — воскликнул Пенкарро.

Брайан бросился бежать по темному коридору, крича через плечо:

— Скорей! В погреб!

Они промчались через помещение для слуг. Викарий, задыхаясь, сбежал за молодым врачом по ступенькам в следующий зал и сквозь обитую железом дверь в огромную пещеру лаборатории. Они остановились на верхней ступени лестницы, откуда сквозь арки виден был каменный пол. У обоих сердце замерло при виде Элен, привязанной к хирургическому столу посреди пещеры. Барон стоял над ней со сверкающим скальпелем в руке.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Он резко вскинул голову, и его бледные холодные глаза полыхнули яростью, какой Брайан не ожидал от этого человека.

К счастью, Элен была без сознания.

Несколько мгновений лицо барона отражало борьбу чувств, но вскоре снова застыло привычной для него бледной маской. Тонике губы растянулись, обнажив зубы.

Приступ безумного смеха сотряс все тело барона.

Брайан шагнул к нему.

— Назад! — завопил барон, размахивая скальпелем. — Назад, или она умрет!

Брайан опустил руки, но не выпустил рукояти сабли.

— Что дальше, Франкенштейн? — тихо спросил Пенкарро.

Барон захихикал:

— Франкенштейн! Вы произносите это великое имя с презрением, друг мой. Но однажды оно заставит мир содрогнуться. Франкенштейн, величайший ученый, какого знал мир. На колени, на колени, псы, ибо перед вами Бог!

Пенкарро закусил губу.

— Он совершенно сумасшедший, — шепнул он. — Доводы разума бесполезны.

Молодой врач кивнул.

— Нельзя ли сбить его прежде, чем он доберется до Элен?

— Нет, нельзя рисковать ее жизнью.

Барон подозрительно уставился на них:

— О чем это вы шепчетесь?

Брайан покачал головой:

— Ни о чем. Но что вы делаете? Зачем захватили мисс Треваскис?

Злобная усмешка исказила черты барона.

— Так, мой юный друг. Так ты задумал отнять у меня и мисс Треваскис? Как отнял жену? Говорю тебе, Гуго...

Брайан быстро взглянул на Пенкарро, но тот пожал плечами.

— Меня зовут не Гуго. Гуго мертв. Разве вам мало этой мести?

Барон озадаченно нахмурил лоб:

— Гуго мертв?

— Да, — подтвердил Брайан.

В голове у него зародился план. Если удастся отвлечь барона, быть может, они с Пенкарро успеют броситься к Элен и заслонить ее от скальпеля.

— Гуго не умер! Ты — Гуго! — взвизгнул барон. — Но... но ты изменился, Гуго. Ты выглядишь как прежде, до того, как... как я прооперировал тебя. Как ты это сделал? Ты знаешь секрет?

— Я не Гуго, — настаивал Брайан. — Гуго лежит мертвым под скалой... там.

Барон обернулся вслед его жесту, и Брайан воспользовался моментом, чтобы сделать еще шаг вперед.

Франкенштейн вновь с подозрением взглянул на него.

— Меня не обманешь, — сказал он. — Тебе следовало бы знать, Гуго...

— Я не Гуго, — твердил Брайан. — Гуго лежит там. Взгляните сами.

Барон приосанился.

— Меня не обманешь, — снова отчеканил он.

— Можете убедиться сами. Загляните под обрыв.

Поколебавшись, барон отошел к устью пещеры.

— Пора! — крикнул Брайан.

Они сбежали по ступеням раньше, чем барон с криком ярости отскочил назад и занес руку со скальпелем над девушкой. Пенкарро, с проворством, невероятным в его годы, первым подскочил к столу и кулаком ударил барона по руке.

Скальпель отлетел на пол.

Барон вскрикнул от боли и, зажав поврежденную кисть, повернулся за скальпелем.

В этот миг Брайан стоял у стола и отсоединял ремни, которыми была пристегнута Элен. Он отнес бесчувственную девушку к подножию лестницы. Она была под наркозом, врач уловил запах эфира. Уложив ее под лестницей, он вернулся на помощь к Пенкарро.

— Что нам с ним делать? — спросил пастор, махнув рукой на барона, лихорадочно рывшегося среди ящиков в поисках отлетевшего скальпеля.

Когда они двинулись к нему, барон, зарычав, отскочил назад.

Протяжный вой ответил его крику.

Глаза барона сверкнули демоническим светом. Он прыгнул вперед и сдвинул засов большой деревянной клетки.

Из темного ящика вырвалась собака, кошмарное творение Франкенштейна.

Пенкарро, стоявший впереди Брайана, закричал от ужаса и изумления и заслонился руками. Собака бросилась на него. Даже Брайан, видевший ее прежде, не мог совладать с ужасом, когда массивный черный зверь оказался под светом фонаря. Это была гончая, черная, как гагат. Из ее горящих раскаленными углями глаз, казалось, вырывалось пламя. По оскаленным клыкам с морды стекала слюна, окрашенная кровью от сырого мяса, которым кормил ее барон.

Злобное рычание, сменившееся устрашающим воем, приковало к месту Брайана и Пенкарро.

Жуткая тварь, размерами не уступавшая льву, сбила пастора, как глиняную фигурку.

У старика хватило все же самообладания, чтобы рукой оттолкнуть смертоносные челюсти и морду с маленькими, утопавшими в глазницах глазами, словно обведенными огненными кругами. Зубы несколько раз щелкнули у самого горла Пенкарро.

Брайан, выйдя из оцепенения, бросился вперед с саблей в руке, но пастор и пес, сцепившись, катались по полу, и он не мог выбрать мгновения, чтобы пронзить зверя. Он успел заметить, что барон, воспользовавшись борьбой, скрылся из пещеры.

Борьба между стариком и злобным созданием Франкенштейна была неравной. Исход ее был предопределен. Ужасный крик вырвался из горла пастора, когда тяжелые челюсти сомкнулись у него на шее. Пес стоял над жертвой, злобно рыча и все глубже вонзая клыки.

Бессильная рука старика машинально зашарила по полу в поисках оружия. В последний миг перед смертью он нащупал скальпель барона и сжал его в руке. Отдавая последние силы, пастор занес руку и ударил зверя в горло — раз, другой и третий.

Огромная пасть открылась, испустив вопль агонии. Старый Пенкарро уже не слышал его, лежа на полу со сломанной, окровавленной шеей.

Еще мгновение пес стоял над телом, склонив голову, задыхаясь и рыча. Потом поднял голову, и горящие глаза встретили полный ужаса взгляд Брайана. Тот увидел, как напряглись для прыжка могучие мышцы задних ног, увидел окровавленные зубы в распахнувшейся пасти, и — зверь прыгнул.

Но прыжок не достиг цели, и тело гончей бессильно рухнуло на пол. Пес был мертв. Последний удар Пенкарро перерезал артерии, и только противоестественная сила животного так долго удерживала его на ногах.

Минуту Брайан, содрогаясь, стоял над трупом зверя, а потом какой-то звук заставил его поднять взгляд.

Барон, сверкая глазами, двигался прямо на него. Он где-то раздобыл шпагу. И преобразился. Пропало безумие во взгляде, и Брайан снова видел перед собой холодного, сдержанного человека, безупречно владеющего собой. На его бледных губах играла легкая улыбка, а лицо вновь застыло маской.

Остановившись перед Брайаном, барон отсалютовал шпагой:

— Ну что ж, мой юный друг. Вы разрушили мой дом и погубили мое лучшее творение. Разве не так? За это придется платить, hein?[1]

Он испытал шпагу, взмахнув ею как хлыстом и со свистом разрезав воздух. Брайан узнал движение опытного фехтовальщика. Барон улыбнулся:

— Заметили, что мне приходилось держать оружие в руках, молодой Herr? Я был лучшим фехтовальщиком в Ингольштадте, а может быть, и во всей Швейцарии. Надеюсь, вы хоть немного владеете шпагой, потому что я хотел бы поиграть с вами, прежде чем убить... Schweinhund!

Барон внезапно бросился на Брайана, серебристый клинок блеснул и ударил. Брайан, которому почти не приходилось фехтовать, кое-как отбивал удары своей ржавой саблей. Скре-

[1] Не так ли? *(фр.)*

жет металла о металл сопровождался хриплыми вздохами противников.

Брайан едва успел уйти в сторону от выпада, и клинок прошел у него под мышкой, чудом не проткнув грудь.

Клинок барона блистал молнией, вынуждая Брайана приплясывать и изгибаться. Молодой врач не сомневался, что барон мог бы уложить его в любое время. Он, как и предупреждал, просто забавлялся, оттесняя его все дальше и дальше к... — отчаянный взгляд через плечо показал Брайану, что ему грозит, — ...к отверстию пещеры, к четырехсотфутовому обрыву над морем.

Франкенштейн отметил его испуг довольной улыбкой.

Брайан сделал безнадежную попытку перейти в наступление, взмахнув саблей.

Клинок блеснул в руке барона, и Брайан с ужасом ощутил, как рукоять вывернулась у него из пальцев и оружие со свистом отлетело в сторону.

Острие шпаги угрожающе замерло у него перед глазами.

— Увы, мой юный друг, не ждите coup de grâce[1]. Выход в лучший мир у вас за спиной.

Брайан услышал крик очнувшейся Элен, хотел повернуться к ней, но оступился и упал. Его тело наполовину свесилось из устья пещеры. Казалось, прошла вечность с тех пор, как он лежал здесь, а баронесса отважно прикрывала его бегство. Вечность, хотя стрелки отмерили всего несколько часов.

Барон поднял шпагу.

— Итак... — начал он, занося ногу, чтобы ударить по пальцам Брайана, отчаянно цеплявшегося за край.

Дверь погреба с грохотом распахнулась, и ступени залила толпа жителей деревни. Многие были вооружены пиками, серпами и горящими факелами.

— Бейте монстра!

— Вот он!

— Бей зверя!

— Жги его!

Барон гневно обернулся на яростный гомон.

— Так, — только и сказал он.

Брайан почувствовал, что руки его слабеют. Он взглянул на барона. Тот выронил шпагу и спокойно шагнул мимо Брайана в пустоту.

Удара тела о камни он не услышал. Все его силы ушли на то, чтобы самому удержаться от падения. Впрочем, скоро дружеские руки подхватили его.

---

[1] Удар милосердия *(фр.)*.

Люди вынесли его из пещеры, где другие громили и разбивали оборудование, ящики и инструменты. Кто-то поджег обломки факелом, и пламя жадно взметнулось вверх по стенам.

На лужайке перед домом Брайан нашел Элен и долго сжимал ее в объятиях под одобрительным взглядом Тревитика.

Внезапно раздался раскатистый грохот.

— Крыша провалилась в погреб, — пояснил Тревитик.

Брайан с Элен развернулись и направились назад в деревню.

Густой черный дым затмевал восход, поднимался столбом над мерзкой лабораторией Франкенштейна.

Стояло свежее осеннее утро. «Бодминский скороход» совершал еженедельный рейс от Босбрадо до Самелфорда и оттуда через пустоши к Бодмину. Карета была полна. Шесть пассажиров первого класса разместились внутри, а еще пятеро, кому по карману оказался только второй класс, сидели наверху вместе с кучером.

Возница, завернувшийся в плащ в утренней прохладе, то и дело пощелкивал кнутом, подгоняя бежавших ровной рысцой лошадок. Дорога шла через пустоши, далеко в стороне живописно поднимались над горизонтом Бурый Вилли и Грубый Тор, притворявшиеся скалистыми горами при своих тринадцати сотнях футов.

Осенние болота и пустоши были прекрасны. Бахрома листвы на деревьях окрасилась желтым, коричневым и багровым, цветы шиповника уже опали. Несколько кустов ежевики с поздними ягодами, цеплявшиеся за каменистые откосы, добавляли красок яркой картине. Над буро-зелеными пустошами болот, разбитыми грубыми выходами гранита, резко выделялись листья и кусты. Здесь и там блестела сетка ручьев, наполнившихся по осени и бодро журчавших и бурливших на пути к большим руслам. В покачивавшейся на ухабах карете мисс Элен Треваскис и доктор Брайан Шоу радостно улыбались друг другу. Они не замечали неодобрительных взглядов других пассажиров: толстого адвоката, направлявшегося на осеннюю сессию в Бодмине, пожилого пастора с чопорной остроносой женой и сельского сквайра в охотничьих сапогах, упорно отравлявшего атмосферу своей трубкой.

Брайан наклонился к девушке и взял ее за руку.

— Ты уверена в своем решении? — спросил он с беспокойством.

Элен накрыла его ладонь своей и улыбнулась вместо ответа. Улыбка сказала ему все, что он хотел знать, и счастливый молодой врач с облегчением откинулся назад.

— Теперь все будет хорошо, Элен, поверь мне. К концу недели мы доберемся до Лондона, и меня наверняка примут на работу в госпиталь. Мы сможем пожениться и...

Элен радостно кивала.

— Все будет хорошо.

— Но что... — она запнулась, — с ним? С бароном? Почему не нашли тела?

— Я бы не стал об этом тревожиться, Элен, — уверенно ответил Брайан. — Барон мертв. Я сам видел, как он шагнул в бездну. От устья пещеры до прибрежных скал четыреста футов. То, что осталось от тела, смыло волнами. Вспомни, как долго мы искали тела баронессы и бедного Гуго.

Элен задумчиво кивнула:

— После твоего рассказа я очень жалею баронессу и Гуго. Подумай, сколько мучений они пережили. Как мог барон быть настолько бесчеловечен?

Брайан покачал головой:

— Он, конечно, был сумасшедшим. Если человек воображает себя Богом, он перестает быть человеком. Но теперь все кончилось. Мы больше никогда не услышим о Франкенштейне.

Элен сжала его руку:

— Да, и у нас так много впереди.

Пятеро пассажиров на крыше кареты устроились с меньшим комфортом, нежели их попутчики внизу. Их подбрасывало в ритм движению, и они цеплялись за что попало, чтобы не вывалиться на дорогу.

Почти все ворчали, по обыкновению деревенских жителей, на холодный осенний ветер, румянивший им щеки и резавший глаза.

Временами из-за прозрачных белых облаков проглядывало негреющее солнце.

Только один из пассажиров второго класса держался особняком, молча сидя рядом с кучером, давно оставившим попытки разговорить соседа. Про себя кучер счел его гробовщиком или могильщиком. Мужчина был с ног до головы одет в черное, шляпа и намотанный на шею шарф почти скрывали мертвенно-бледное лицо.

Он сидел, уставившись в дорожную даль и крепко сжав тонкие губы.

Лишь изредка они изгибались в пародии на улыбку, когда в мозгу его рождались замыслы мести тем, кто погубил труд его жизни, его лучшее творение. А он уже обдумывал создание нового существа — существа, которое станет идеальным человеком.

ГРЭМ МАСТЕРТОН

Воссозданная мать

Сын офицера армии Сазерленда и внук эксцентричного ученого (несомненно, первого человека, который стал держать пчел в Центральном Лондоне, а также изобретателя люминесцентной краски), Грэм Мастертон родился в Эдинбурге.

Поработав журналистом, он стал редактором журналов «Mayfair» и «Penthouse», а затем выпустил свою первую книгу «Твои эротические фантазии» («Your Erotic Fantasies»). Следом вышли и другие практические пособия по сексу, включая бестселлер «Как свести мужчину с ума в постели» («How to Drive Your Man Wild in Bed»).

Дебютом Мастертона в жанре ужасов стал опубликованный в 1975 году роман «Маниту» («The Manitou») (в 1978 году на его основе был снят фильм). С тех пор Мастертон написал более тридцати произведений в этом жанре, самые известные из них «Похороны» («Burial»), «Неспящий» («The Sleepless»), «Плоть и кровь» («Flesh & Blood») и «Дух» («Spirit»). Первый сборник рассказов автора, «Две недели страха» («Fortnight of Fear»), появился в 1994 году. Мастертон очень популярен в Восточной Европе, все его романы в жанре хоррор опубликованы в России.

«Действие „Воссозданной матери" происходит в той части Мидлсекса, где мои родители жили, когда я был совсем юным, — поясняет автор. — Идею рассказа навеяли мне надушенные леди в вечерних нарядах, которые обычно приходили поцеловать меня перед сном. Они всегда были слишком ярко накрашены, с остекленевшими глазами и нетвердо держались на ногах и потому казались мне чуть ли не дьявольскими созданиями. Лишь повзрослев, я понял, что все дело было в слишком большом количестве джина с тоником».

Он оставил ее сидеть на веранде. Сквозь крону вишневого дерева пробивались солнечные лучи. Цветущие ветви склонились над ней, и белые лепестки нежно касались ее, словно конфетти в день свадьбы много лет назад.

Сейчас ей было уже семьдесят пять: волосы отливали серебром, шею покрыли морщины, глаза стали цвета омытых дождем ирисов. Но она все равно одевалась так же элегантно, как и всегда. Именно такой и помнил ее Дэвид. Жемчужные ожерелья,

шелковые платья. Даже сейчас, в преклонном возрасте, его мать все еще оставалась очень красивой.

Дэвид помнил, как они с отцом танцевали в столовой и отец называл ее Королевой Варшавы, самой ошеломительной женщиной, когда-либо рожденной в Польше, в народе, который славился своими красавицами.

«В мире нет женщины, равной твоей матери, и никогда не будет», — промолвил отец в свой восемьдесят первый день рождения, когда они медленно шли по берегу Темзы, у подножия крутого холма, ведшего в Кливден. Над сияющей водой метались стрекозы; прокричали гребцы, и весело засмеялась девушка. Через три дня отец мирно скончался во сне.

Замшевые туфли Дэвида с хрустом давили гравий. Бонни уже ждала его в старом голубом «MG» с открытым верхом, глядя в зеркало заднего вида, подкрашивая губы ярко-розовой помадой. Вторая жена Дэвида была моложе его на одиннадцать лет: блондинка с детским лицом, веселая, забавная и совсем непохожая на Анну, его первую жену, которая была очень серьезной брюнеткой и странно безжизненным человеком. Его мать до сих пор не одобряла брак с Бонни. Едва ли она что-то говорила, но Дэвид был уверен, что причина антипатии заключалась в том, что мать считала крайне дурным поступком уводить любящего мужа из семьи. Она была убеждена, что браки заключаются на небесах, пусть даже иногда они ниспровергают в саму преисподнюю.

— Твой отец сказал бы тебе очень многое, Дэвид, — промолвила она обиженно, склонив голову набок и воззрившись на сына. Ее пальцы играли с кольцом с бриллиантом, подаренным на помолвку, и обручальным кольцом. — Твой отец считал, что мужчина всегда должен быть верен одной, и только одной женщине.

— Отец любил тебя, мама. Ему легко было так говорить. Я совсем не любил Анну.

— Тогда зачем ты женился на ней, подарил ребенка и сделал жизнь бедной девочки совершенно несчастной?

Честно признаться, Дэвид до сих пор не знал ответа на этот вопрос. Они с Анной встретились в колледже и каким-то образом поженились. То же самое случилось с дюжинами его друзей. Лет через двадцать они сидели в домах в пригороде, за которые выплачивали ипотеку, уставившись в окно и недоумевая, что случилось со всеми теми смеющимися златокудрыми девушками, на которых они вроде как женились.

Что он знал точно, так это то, что любил Бонни так, как никогда не любил Анну. С Бонни он впервые смог понять, что же видел отец в матери. В его глазах она была почти ангелом:

невероятная женственность, удивительная мягкость кожи, сияние волос. Дэвид мог часами смотреть на Бонни, когда она сидела над своей чертежной доской, создавая рисунки для обоев. Если бы за это платили, он ни на секунду не отрывал бы от нее глаз.

— Как она? — спросила Бонни, когда Дэвид сел в машину.

Он был высоким мужчиной и выглядел настоящим англичанином, в коричневом свитере и твидовых брюках цвета ржавчины. От матери он унаследовал глубоко посаженные польские глаза и прямые волосы, но английское происхождение безошибочно угадывалось в вытянутом красивом лице, таком же, как у отца. Передалась Дэвиду и страсть водить самые небольшие из спортивных машин, даже несмотря на свои шесть футов и два дюйма роста.

— Она в порядке, — ответил он, заводя двигатель. — Хотела знать, где ты.

— Полагаю, надеясь при этом, что я оставила тебя навсегда?

Он сделал полукруг и повел машину по длинной аллее, вдоль которой стояли подстриженные липы. Именно из-за них дом престарелых был назван Липовым убежищем.

— Она уже не хочет развести нас, больше не хочет, — возразил Дэвид. — Она видит, как я счастлив.

— Быть может, в этом и заключается проблема. Возможно, она думает, что чем дольше мы с тобой будем вместе, тем меньше остается шансов на твое возвращение к Анне.

— Я не вернусь к Анне даже за всю вегетарианскую еду Линды Маккартни в ее морозилке. — Он проверил часы, «Jaeger-le-Coultre», принадлежавшие отцу. — Кстати, о еде. Нам лучше поторопиться. Помнишь, мы обещали на обратном пути заглянуть на чай к тете Розмари?

— Разве я могла об этом забыть?

— Да ладно тебе, Бонни. Знаю, тетя странная, но она многие годы была членом семьи.

— Мне все равно, пока она не начнет пускать слюни.

— Не будь такой злой.

Они доехали до ворот дома престарелых и повернули на восток, к шоссе на Лондон. Яркое солнце пронизывало лучами листву, так что казалось, будто они ехали через фильм Чарли Чаплина.

— А эта тетя Розмари когда-нибудь навещает твою мать? — спросила Бонни.

Дэвид покачал головой:

— Тетя Розмари мне на самом деле не тетя. Она, скорее, была личным ассистентом отца — доверенным помощником, секретарем, — хотя я никогда не видел, чтобы она выполняла какие-нибудь секретарские обязанности. Честно говоря, я даже

точно не знаю, кто она такая. Она пришла к нам, когда мне было двенадцать или тринадцать лет, и больше уже не уходила, во всяком случае до смерти отца. После этого у них с матерью случилось что-то вроде размолвки.

— Твоя мать не очень-то любит прощать, не так ли?

Какое-то время они ехали молча, а затем Дэвид сказал:

— Знаешь, что она показала мне сегодня?

— Ты имеешь в виду — кроме ее обычного неодобрения?

Пропустив замечание мимо ушей, Дэвид ответил:

— Она показала мне старую фотографию всей ее семьи — прадеда, прабабушки, матери и отца. Троих братьев и ее самой. Все они стоят около Вилянувского дворца в Варшаве. Очень красивые люди, насколько я увидел.

— Когда была сделана эта фотография?

— Думаю, около тысяча девятьсот двадцать четвертого года... матери было лет пять или шесть. Но снимок натолкнул меня на мысль о подарке на день рождения. Я подумал, что можно проследить ее жизнь с самого рождения... У отца были сотни фотографий, писем — всякого такого. Я мог бы сделать для матери подобие книги «Это твоя жизнь».

— А это разве не уйма работы? Тебе ведь еще надо написать приветствие ко Дню основания.

Дэвид покачал головой:

— Весь чердак заставлен альбомами с фотографиями и дневниками. Отец держал их в безукоризненном порядке. Такой уж был человек. Очень чистоплотный, очень точный. Перфекционист. Ну... считался таким.

— А где он встретил твою мать?

— В Варшаве, в тысяча девятьсот тридцать седьмом году. Я тебе не рассказывал? Он отправился в Польшу, чтобы сопровождать великого сэра Магнуса Стотхарда, когда того пригласили провести операцию графу Спондеру — удалить опухоль из позвоночника. Боюсь, все прошло неудачно. Моя мать пришла со своей семьей на один из обедов, что семья Спондер устроила в честь сэра Магнуса... Осмелюсь добавить, что это было *до* операции. Моя мать не была аристократкой, но ее отца очень уважали... Вроде бы он занимался судоходством. В те дни мать звали Катя Ардонна Гадовска. Она часто рассказывала мне, что была в сером шелковом платье с тесьмой на воротнике и пела песенку «Маленький дрозд». Судя по всему, отец не отрывал от нее глаз и стоял с открытым ртом. Он пригласил мать провести выходные в Челтенхеме, что она и сделала следующей весной. Конечно, в Польше обстановка к тому времени стала довольно устрашающей, и мать осталась в Англии. Потом они с отцом поженились. Вот так все и было.

— Твоя мать больше не виделась с семьей?

— Нет, — ответил Дэвид. — Ее братья вступили в польское Сопротивление. Никто так и не узнал, что с ними случилось. На отца и мать один партнер по бизнесу донес как на евреев, и их отправили в Биркенау.

Они уже подъехали к М4, и Дэвиду пришлось поправить зеркало заднего вида, которое Бонни повернула, когда красилась. Громадный грузовик просигналил им, и они вынуждены были дожидаться, пока он не промчится.

— Ты сам управляешь своей жизнью, — сказала Бонни. Когда они выехали на шоссе и набрали скорость, она добавила: — Помнишь ту программу, «Ваша жизнь в ваших руках»? Медицинская передача, где показывали людей, перенесших операции?

— Конечно, помню. Отец был на одной из них, когда делал пересадку печени.

— Правда? Я этого не знала.

Дэвид гордо кивнул:

— Они прозвали его Портным из Глостера, потому что его швы всегда были невероятно аккуратными. Он сказал, что проблема современной хирургии в том, что мамы никогда не учат детей шить. Он всегда сам пришивал пуговицы и подшивал брюки. Думаю, будь у него такая возможность, он украшал бы своих пациентов вышивкой.

Рука Дэвида покоилась на рычаге переключения передач, и Бонни накрыла ее своей рукой.

— Так странно думать, что, если бы какой-то старый польский граф не обзавелся опухолью в позвоночнике, а Гитлер не вторгся в Польшу, мы сейчас не были бы вместе.

Тетя Розмари жила в маленьком домике в Нью-Молдене, на скучной улочке, вдоль которой тянулись высоченные столбы линий электропередачи. Лужайка перед домом была забетонирована, причем каким-то безумным узором, а в самом центре возвышалась бетонная поилка для птиц с безголовой каменной малиновкой, прилепившейся с краю. Живую изгородь засыпало последними осенними листьями и пакетами из-под чипсов.

Дэвид позвонил, и тетя Розмари медленно направилась к двери. Когда она ее открыла, гости почувствовали запах лавандового средства для полировки мебели, мази для растирания и горьковатый запах давно не сменяемой воды в вазе для цветов.

Тете Розмари было за семьдесят. Она еще сохраняла остатки былой миловидности, но передвигалась кошмарной крабьей походкой, и все ее движения были судорожными и нескоординированными. Она сказала Дэвиду, что страдает хроническим арт-

ритом, ухудшимся из-за лечения, которое ей провели в Париже в 1920-х годах. В те дни самой новой методикой было введение золота в суставы больного. Техника оказалась разорительно дорогой и к тому же постепенно калечила несчастных.

— Дэвид, ты пришел, — выдавила она, изогнув нижнюю губу в пародии на улыбку. — У тебя будет время на чашечку чая?

— Мы с удовольствием, — отозвался Дэвид. — Правда, Бонни?

— О да, — согласилась жена. — С радостью.

Они сидели в маленькой полутемной гостиной, пили слабый чай «PG Tips» и ели каменные кексы с вишней. Тете Розмари приходилось постоянно держать в руке платок на случай, если чай с крошками польется из уголка рта.

Бонни старалась смотреть на что-нибудь другое: на часы на каминной полке, фарфоровые фигурки скаковых лошадей, золотую рыбку, плескавшуюся в мутном аквариуме.

Перед уходом Дэвид отправился в туалет. Бонни и тетя Розмари какое-то время сидели молча. Затем девушка спросила:

— Я уже спрашивала Дэвида, почему вы никогда не навещаете его мать.

— О, — промолвила тетя, прикладывая к губам платок. — Ну, одно время мы с ней были очень близки. Но она из породы людей, которые любят получать и никогда ничего не дают взамен. Очень эгоистичная женщина, ты даже не сможешь этого представить.

— Понятно, — произнесла Бонни, чувствуя себя крайне неуютно.

Тетя Розмари накрыла ее руку своей скрюченной рукой:

— Нет, дорогая. Не думаю, что ты действительно это понимаешь.

Дэвид почти все выходные провел на чердаке. К счастью, Бонни это не сильно заботило, потому что ей нужно было закончить рисунок для Сандерсонов: новое направление, основанное на тканевых узорах XIX века, созданных Артуром Макмурдо, все эти извивающиеся листья и переплетающиеся цветы в стиле прикладного искусства. На чердаке оказалось душно и слишком тепло, но света хватало. Мансардное окно выходило прямо на лужайку, рядом стоял мягкий диван, где Дэвид мог сидеть и просматривать некоторые из старых документов и фотоальбомов отца.

Альбомы пахли как старая заплесневелая одежда или запертый чулан: само воплощение прошлого. Там было несколько фотографий молодых улыбающихся студентов в 1920-е годы и людей в шляпах и летних полосатых блейзерах на пикнике. Его отец снимался со многими симпатичными девушками, но после

марта 1938 года он фотографировался лишь с одной — с Катей Ардонной Галовской. Даже несмотря на то, что она была его матерью, Дэвид ясно понимал, почему отец так ее обожал.

День их свадьбы — 12 апреля 1941 года. Мать была в элегантной, сдвинутой набок шляпке, похожей на ту, что носил Робин Гуд, и в коротком платье с болеро. На отце словно влитой сидел двубортный пиджак, а на ногах были гетры. Да, именно гетры! Отец и мать выглядели блестяще, словно звезды кинофильмов; как Лоуренс Оливье и Вивьен Ли. Глаза их светились странным, необъяснимым светом подлинного счастья.

А вот и Дэвид на руках матери спустя день после своего рождения. Этот снимок, только увеличенный, висел внизу в гостиной в серебряной рамке. Дэвид в одиннадцать месяцев, спит в объятиях матери. Его лицо освещено лучами солнца, падавшими через свинцовое стекло окна. Ее легкие сияющие локоны ниспадают, словно гроздья винограда. Глаза словно заволокло дымкой, как будто она мечтала или думала о далеких странах. Катя Ардонна была столь невероятно красива, что Дэвид едва смог перевернуть страницу, но, даже сделав это, он вернулся к ней, чтобы посмотреть еще раз.

На фотографии стояла дата: 12 августа 1948 года.

Он продолжал просматривать альбом. Здесь был сам Дэвид в два года, его первый поход в цирк. Первое «путешествие не по-детски». Странно, но далее не было ни одной фотографии матери — вплоть до января 1951 года. Здесь она снята у какого-то замерзшего пруда, укутанная в меха, лицо плохо видно.

Все так же едва различимо она продолжала появляться вплоть до сентября 1951 года. Вот она стоит на краю пирса, уходящего в море на острове Уайт (позднее этот пирс смыло штормом). На ней широкополая шляпа, украшенное цветами платье до щиколоток и белые туфли с ремешками. Лицо еле видно в тени шляпы, но мать, похоже, смеется.

А затем она, казалось, вновь исчезла. Фотографий не было до ноября 1952 года, когда она наконец появилась на свадьбе Лолли Бассетт в Лондоне, в Кэкстон-холле. В серой блузке и плиссированной юбке, Катя Ардонна выглядела невероятно худой, едва не просвечивала. Ее лицо было все еще красивым, но слегка одутловатым, словно мать перенесла побои или сильно не высыпалась.

Просмотрев первые пять альбомов, Дэвид обнаружил семь таких пробелов между появлениями матери, словно она брала семь долгих отпусков в его раннем детстве. И стоило ему задуматься, как он понял, что она действительно исчезала вновь и вновь, но за ним всегда так хорошо присматривала Ирис, его няня (незамужняя сестра отца), а затем тетя Розмари, что до

настоящего момента он не замечал, насколько длительным было ее отсутствие. Дэвид помнил, что тогда мать сильно болела и что ей приходилось оставаться в своей спальне целыми неделями, а окна тщательно закрывались плотными шторами. Он помнил, как забегал в спальню, чтобы поцеловать ее на ночь, и с трудом находил мать в темноте. Помнил, как касался ее необыкновенно мягкого лица и шелковистых волос; чувствовал аромат ее духов и чего-то еще, какой-то сильный, всепроникающий запах, похожий на антисептик.

А затем, в 1957 году, она появилась вновь, такая же сильная и прекрасная, как прежде. Яркое солнце освещало каждую комнату, отец смеялся, а сам Дэвид иногда думал, что у него лучшие родители, каких только может пожелать себе мальчишка.

Был еще шестой альбом, в обложке из черной кожи, но он оказался закрыт на замок, к которому Дэвид не смог найти ключ. Он мысленно сделал пометку поискать в столе отца.

Вернувшись к фотографии матери в 1948 году, он положил на нее руки, словно таким образом мог лучше понять случившееся.

На протяжении всего детства казалось, что мать то приходила, то исчезала, словно луч света в облачный день.

Дэвид припарковался у Нортвудской лечебницы. Казалось, собирался дождь, так что пришлось потратить какое-то время на то, чтобы поднять водонепроницаемую крышу «MG».

Он нашел кабинет регистратора в конце длинного коридора с линолеумом на полу, который блистал и источал запах мастики. Регистратором оказалась усталая женщина в лиловой кофте, которая с шумом жевала мятную жвачку, громко чавкая. Всем своим видом дама выражала, что визит Дэвида был в высшей степени утомительным и вместо него она могла бы делать что-то поважнее (например, заварить себе «Nescafe»).

Дэвид подождал, пока дама не пролистала книгу с записями, демонстративно просматривая каждую страницу.

— Да... вот мы где... третье июля тысяча девятьсот сорок седьмого года. Миссис Катерина Джеффрис. Первая группа крови. Медицинская история, корь, ветрянка, скарлатина. Родила мальчика — полагаю, это вы? — весом семь фунтов четыре унции.

Дэвид перегнулся через стол:

— Здесь еще одна запись, красными чернилами.

— Это потому, что кто-то проверял ее медицинские записи позднее.

— Понятно. А почему кому-то могло понадобиться это делать?

— Из-за несчастного случая.

— Несчастного случая? Какого несчастного случая?

Регистратор очень странно уставилась на него, ее глаза за очками казались огромными.

— А вы точно тот, кем представились? — подозрительно осведомилась она.

— Конечно. А почему я не должен им быть?

Регистратор эмоционально захлопнула книгу.

— Потому что мне кажется очень странным, что вы не знаете о том, что случилось с вашей собственной матерью.

Дэвид достал бумажник и показал регистратору свои водительские права и письмо из муниципалитета.

— Я действительно Дэвид Джеффрис. Миссис Катя Джеффрис — моя мать. Послушайте, вот наша с ней фотография вместе. Я не знаю, почему она никогда не рассказывала мне о несчастном случае. Возможно, не считала чем-то важным.

— Я бы сказала, что дело было невероятно важным, — по крайней мере, для вашей матери.

— Но почему?

Регистратор вновь открыла книгу и развернула ее так, чтобы Дэвид смог прочесть надпись, сделанную красными чернилами.

Внизу, уже черными чернилами и другой рукой, было написано: «Миссис Джеффрис скончалась 15.09.1948».

Дэвид поднял глаза, чувствуя себя так, словно надышался кислорода у дантиста: голова слегка кружилась, все вокруг двоилось и плясало.

— Должно быть, это ошибка, — услышал он собственный голос. — Она до сих пор жива и отлично себя чувствует, живет в «Липах». Я только вчера навещал ее.

— Ну, в этом случае я очень за вас рада, — промолвила регистратор, вновь чавкнув жвачкой. — А теперь, если позволите...

Дэвид кивнул и поднялся со стула. Он покинул лечебницу и успел сделать несколько шагов по улице, прежде чем дождь застучал по асфальту. А затем поднялся ветер.

Он нашел свидетельство о смерти в Сомерсет-хаусе. Миссис Катерина Ардонна Джеффрис умерла 15 сентября 1948 года в Мидлсекском госпитале, причиной смерти стали многочисленные внутренние повреждения. Его мать была убита, и вот доказательство.

Он заехал в офис «Uxbridge Gazette» и пролистал янтарного цвета подшивку с некрологами. Вот оно: в статье от 18 сентября, с фотографией. Спустя несколько минут после полуночи «триумф-роудстер» промчался на красный свет в Гринфорде

и столкнулся с грузовиком, перевозившим рельсы. Дэвид сразу узнал машину. Он уже видел ее на нескольких фотографиях дома, но раньше не задумывался, что она перестала появляться на снимках после сентября 1948 года.

Его мать была мертва. Умерла, когда ему исполнился всего год. Он никогда не знал ее, никогда с ней не говорил, никогда не играл с ней.

Но тогда кем была та женщина в «Липах»? И почему все эти годы она притворялась, что именно она была его матерью?

Он вернулся домой. Бонни приготовила обжигающе острый жгучий перец с мясом, одно из его любимых блюд. Но Дэвид смог съесть совсем немного.

— Что случилось? — спросила жена. — Ты такой бледный! Выглядишь так, словно тебе требуется переливание крови.

— Моя мать мертва, — выдавил он, а затем поведал всю историю целиком.

Они не стали ужинать, а уселись на софу с бокалами вина.

Бонни задумчиво промолвила:

— Чего я не могу понять, так это почему твой отец никогда не говорил тебе об этом. Я хочу сказать, тебя ведь это не огорчило бы, не так ли? Ты ее совсем не помнил.

— Он не только мне не говорил. Он не говорил вообще никому. Он назвал ее Катей и всем рассказывал, как они встретились в Польше перед самой войной... Обычно он называл ее Королевой Варшавы. Почему, если это вообще была не она?

Супруги вновь принялись рассматривать фотографии.

— Эти последние снимки, — сказала Бонни. — Она ведь выглядит в точности как твоя мать. Те же волосы, глаза, тот же профиль.

— Нет... вот здесь есть различие, — возразил Дэвид. — Вот, посмотри... на этой фотографии она держит меня в одиннадцать месяцев. Посмотри на мочки ушей. Они очень маленькие. Но взгляни на этот снимок, сделанный в тысяча девятьсот пятьдесят первом году. У нее тут, без всякого сомнения, другие уши.

Бонни отправилась к мольберту и вернулась с увеличительным стеклом. Они тщательно рассмотрели руки женщины не только на этой фотографии, но и на остальных.

— Вот здесь... у нее три родинки на плече. А на этом снимке их нет.

Просидев так довольно долго и прикончив бутылку, они в недоумении уставились друг на друга.

— Это та же самая женщина, но в то же время не та. Она меняется, едва уловимо, из года в год.

— Отец был блестящим хирургом. Может, он делал для нее пластические операции?

— Чтобы сделать мочки больше? Или добавить родинки там, где их не было раньше?

Дэвид покачал головой:

— Не знаю... вообще не могу этого понять.

— Тогда, возможно, нам стоит спросить у того единственного, кто точно все об этом знает, — у твоей матери, или кто она на самом деле.

Она сидела так, что половину лица скрывали тени.

— Я Катя Ардонна, — промолвила она. — Всегда была Катей Ардонной и останусь ею, пока не умру.

— А что с несчастным случаем? — настаивал Дэвид. — Я видел свидетельство о смерти моей матери.

— *Я* твоя мать.

Он снова и снова просматривал альбомы с фотографиями в поисках разгадки и почти сдался, когда нашел фотографию матери в Кемптон-парке на скачках в 1953 году, под руку с улыбающейся брюнеткой. Надпись гласила: «Катя и Джорджина, удачный день на скачках!»

На плече Джорджины отчетливо виднелись три родинки.

Отец Джорджины сидел у окна, невидящим взглядом уставившись через пыльные тюлевые занавески на поток транспорта по Кингстону. На нем был потертый серый кардиган. Сидевшая на коленях возмущенная пестрая кошка сверлила Дэвида пристальным неморгающим взглядом, подозревая в худших намерениях.

— Джорджина ушла на новогоднюю вечеринку в тысяча девятьсот пятьдесят третьем году, и это был последний раз, когда ее видели. Полиция делала все возможное, но не нашла ни единого следа, ничего. Я до сих пор вижу ее лицо, словно это было вчера. Она повернулась и сказала: «Счастливого Нового года, папа!» Я до сих пор слышу ее голос. Но после той ночи у меня не было ни одного счастливого Нового года, ни одного.

Дэвид обратился к матери:

— Расскажи мне о Джорджине.

— Джорджине?

— Да, о Джорджине Филипс, она была твоей подругой. Одной из ближайших подруг.

— Ох, ради бога, почему ты хочешь знать о ней? Она пропала, исчезла.

— Думаю, я выяснил, где она, — промолвил Дэвид. — Или, по крайней мере, я думаю, что знаю, где ее часть. Рука, так ведь?

Мать молча уставилась на него.

— Боже мой! — выдохнула она наконец. — Спустя все эти годы... никогда не думала, что кто-нибудь это выяснит.

Катя Ардонна стояла в центре комнаты, и на ней был лишь пеньюар бледно-персикового цвета. Бонни осталась в углу, испуганная, но завороженная. Дэвид стоял рядом со своей матерью.

— Он боготворил меня — вот в чем вся проблема. Думал, что я была богиней, что я ненастоящая. И он оказался таким собственником! Не позволял мне говорить с другими мужчинами. Всегда звонил, чтобы проверить, где я была. В конце концов я начала чувствовать себя как в ловушке, словно задыхалась в клетке. Я выпила слишком много виски и села за руль.

Я не помню саму аварию. Все, что я помню, — это пробуждение в клинике твоего отца. Я была ужасно переломана, грузовик проехал прямо по животу. Ты прав, конечно, я *была* мертвой. Но твой отец завладел моим телом и доставил меня в Пиннер.

Возможно, ты немного знаешь о работе твоего отца в области электрической гальванизации. Он нашел способ вдохнуть жизнь в мертвое тело путем введения отрицательно заряженных минералов и последующего применения сильного положительного разряда. Он усовершенствовал и отточил методику во время войны по заказу военного министерства... Конечно, они были просто счастливы снабжать его мертвыми солдатами, чтобы он мог на них экспериментировать. Первым человеком, которого он вернул к жизни, стал морской офицер, утонувший в Атлантике. Его память оказалась сильно повреждена, но позднее твой отец нашел способ исправить это, используя аминокислоты.

Она замолчала, но затем продолжала:

— Я погибла в той аварии много лет назад и должна была остаться мертвой. Твой отец оживил меня. Но он сделал не только это. Он перестроил меня, так что я стала почти столь же совершенной, как в день нашей первой встречи.

Мои ноги оказались раздроблены, и восстановить их было невозможно — он дал мне новые ноги. Мое тело превратилось в кашу — тогда он дал мне новое тело. Новое сердце, легкие, печень, почки, поджелудочную, новые руки, новые ребра, новую грудь.

Она спустила рукав пеньюара.

— Вот, посмотри на спину.

Дэвид с трудом разглядел шрамы, которые остались от операций отца. Тончайшие серебристые линии там, где рука Джорджины была пришита к чьему-то телу.

— Сколько в тебе от настоящей тебя? — выдавил он охрипшим голосом. — Сколько от Кати Ардонны?

— На протяжении многих лет, — продолжила мать, — твой отец использовал шесть разных женщин, восстанавливая по кускам то, чем я была.

— И ты позволяла ему это делать? Позволила убить шесть человек, чтобы он смог использовать части их тел только для тебя?

— Я не могла контролировать твоего отца. Его никто не мог контролировать. Он был великим хирургом, но он был одержим.

— Я все еще не могу поверить, что ты позволила ему сделать это.

Его мать натянула пеньюар на плечо.

— Дэвид, для меня это были годы агонии... годы, когда я едва ли отличала один месяц от другого. Жизнь во сне или в кошмаре. Иногда я думала, что и правда умерла.

— Но как он провернул все это, убивая женщин? Как избавился от тел?

Катя Ардонна сняла с шеи маленький серебряный ключ.

— Ты видел черный кожаный альбом на чердаке? Тот, что заперт? Ну, вот этот ключ откроет его. Расскажет все, что ты когда-либо хотел узнать, и даже больше.

Они молча смотрели снимки в альбоме. Это был полный фотографический отчет о хирургическом воссоздании отцом изуродованного тела матери. Яркие, словно в порножурнале, снимки. Страница за страницей, год за годом супруги смогли проследить весь процесс скрупулезного восстановления тела Кати Ардонны. Хирургические техники были просто невообразимыми, даже включали в себя зачатки микрохирургии для соединения нервных волокон и крошечных капилляров.

Прежде всего, они увидели, как отец Дэвида пришил новые конечности к искореженному телу его матери, а затем заменил ее грудную клетку, легкие и все внутренние органы.

Спустя годы женщина стала такой же совершенной, какой была сегодня. Та же красавица, которую его отец встретил в Польше в 1937 году, — почти безупречная, прекрасно сложенная и едва ли обладающая какими-либо шрамами.

Катя Ардонна улыбалась с фотографии как Королева Варшавы.

Но снимки рассказывали еще одну, темную историю. Одна кошмарная сцена за другой. Они повествовали о том, что отец Дэвида сделал с конечностями и органами, которые уже не были ему нужны для восстановления тела жены. Он не завернул их в газету, не сжег и не закопал, не растворил в кислоте. Нет,

он тщательно сшил их вместе, мускул за мускулом, нерв за нервом. На каждой фотографии громоздились вены, оболочки и окровавленная плоть. Открытые раны; зажившие раны. Алая кровь, сочившаяся из швов; те же швы, но уже без крови.

Ни Дэвид, ни Бонни никогда не видели, чтобы человеческое тело было так распотрошено. Это был кошмарный сад ужасающих овощей: печень блестела, словно баклажаны, кишки лежали грудами, словно кочаны цветной капусты, легкие походили на разбитые тыквы.

Из всех этих груд кожи, костей и требухи, из всего того, что осталось от тел убитых жертв, отец Дэвида сотворил другую женщину. Конечно, она не была такой красивой, как Катя Ардонна... Он выбрал лучшие куски из тел шести женщин, чтобы воссоздать красоту жены, сделать ее вновь такой, какой помнил.

Но эта другая женщина тоже оказалась достаточно представительной. И она дала ему возможность отточить свое искусство наложения швов и опробовать некоторые новые идеи в соединении нервных волокон.

И она была оживлена так же, как Катя Ардонна, — шесть убитых жертв соединились в одну живую женщину.

Несколько последних фотографий в альбоме запечатлели, как пришивались пальцы женщины, как срасталась кожа над разрезами там, где были пришиты ноги.

На самом последнем снимке с нового лица женщины сняли бинты. Оно было покрыто синяками, выражение оставалось отсутствующим, а глаза еще ничего не видели. Но с острым, тошнотворным чувством жалости и отвращения они увидели ужасное, перекошенное лицо тети Розмари.

АДРИАН КОУЛ

Наследство Франкенштейна

«Омарская сага» («The Omaran Saga») Адриана Коула, состоящая из четырех книг, и его роман «Звездный реквием» («Star Requiem») были опубликованы по обе стороны Атлантики. Среди других произведений автора героическое фэнтези «Кроваво-красный ангел» («Blood Red Angel») и роман «Путь Армагеддона» («Armageddon Road»).

«Мои первые воспоминания о Франкенштейне и его пугающем творении относятся к тому времени, когда мне было лет семь, — вспоминает писатель. — Тогда мы жили в Малайе[1]*, где мой отец служил в армии. Наш дом стоял рядом с каучуковой плантацией, и это была идеальная обстановка, дающая широкий простор бурному воображению. В послеобеденное время в этих тропических широтах стояла невыносимая жара, люди старались находиться в тени, и моя мать регулярно водила меня в местный кинотеатр, — разумеется, не на фильмы о Франкенштейне, — или мы обсуждали книги, которые читали, и фильмы, которые смотрели.*

Я хорошо помню, как она пересказывала мне сюжет фильма с Борисом Карлоффом, который произвел на нее неизгладимое впечатление, такое же, как ее описание на меня. Ей удалось передать ошеломляющий эффект игры Бориса Карлоффа, поразившей мир кино, и я словно видел все собственными глазами. Но ирония ситуации заключалась в том, что этот образ не столько напугал, сколько очаровал меня, вызвал сочувствие. С тех пор чудовище Франкенштейна стало одним из моих любимых героев: в школе я прославился тем, что перерисовал его изображение, позаимствованное из журнала „Mad", во все свои блокноты, тетрадки и прочие еще менее подходящие для этого места. Ну и, конечно же, я стал горячим поклонником фильмов о Франкенштейне, которые до сих пор пересматриваю.

В рассказе „Наследство Франкенштейна" передо мной стояла проблема: как объяснить тот факт, что Виктор Франкенштейн и его творение выжили? В романе Мэри Шелли ясно сказано, что ученый умер, а чудовище обречено на самоуничтожение. Но в какой-то момент меня осенило — ведь все это мы знаем только со слов Роберта Уолтона, не так ли? А ведь Уолтон был человеком, преследующим великую цель, человеком,

---

[1] *Малайя* — Британская Малайя, историческое название западной части современной Малайзии.

жаждущим славы, наделенным изрядной решимостью и хитроумием. Мог ли он устоять перед искушением использовать шанс, который предоставляла ему встреча с Виктором Франкенштейном? И действительно ли он был таким славным парнем, каким выглядит на страницах писем к своей сестре? Да и сами эти письма... Не знаю, не знаю...»

I

Свирепый ветер дул с Атлантики и, в своей хищной ярости, казался разумным существом. Его порывы гнали ревущие валы прибоя, разбивающиеся раз за разом о скалистые берега. Он смешивал пену волн с проливным дождем. Котел неба отражался в водовороте моря, кипящего серой пеной. Над водой раздувались и пульсировали тяжелые черные тучи, разрываемые вспышками молний. Притаившись за скалами, в глубине вересковой пустоши стоял одинокий дом, который будто старался пригнуться к земле, чтобы спрятаться от ярости бури. Ливень колотил по крыше, смывая неплотно прикрепленные полоски шифера. Они падали в водосточный желоб и мгновенно исчезали из виду.

Внутри дома, закрытого от буйства ночной стихии, Стэйвертон устало откинулся на высокую спинку кресла — он только что дочитал одну из многочисленных книг, теснившихся на стеллажах вдоль стен маленькой гостиной. Огонь в камине догорал, и Стэйвертон решил отправиться в постель, хотя для отхода ко сну было еще рановато. Но в такую непогоду даже в сарай за дровами не сходишь. Возможно, в молодости Стэйвертон радовался бы буре, но теперь, когда ему стукнуло пятьдесят, его кости начинало ломить при одной лишь мысли о порывах ледяного ветра. Ну что ж, это была цена, которую он заплатил за возможность уединения, за полную изоляцию от того мира, где когда-то жил.

Стэйвертон вздрогнул от внезапного стука в дверь, как будто отозвавшегося на эту мысль. Ветер не мог стучать так ритмично. Придется открывать, наверняка снаружи заметен свет.

Пробормотав проклятие, Стэйвертон подошел к двери и потянул на себя длинный засов. В дом ворвался поток ледяного воздуха. Стэйвертон невольно взмахнул руками, закрываясь от холода, и взглянул на стоящих перед ним людей. На него смотрели три замерзших взъерошенных парня. За ними, возле края утеса, застыл еще один — своего рода часовой, сгорбившийся от ледяного дождя и ветра.

У Стэйвертона не было времени разглядывать нежданных гостей. Они вошли в дом, и дверь вновь была закрыта на все замки, чтобы защититься от холода и бури.

— Доктор Стэйвертон? — заговорил один из них.

На вид ему было около двадцати. Побритый наголо, с глубоко посаженными темными глазами. В старой куртке, мешковатых брюках, вылинявшей рубашке с оторванными пуговицами, он выглядел как бродяга. Двоих других, таких же оборванных, можно было принять за его братьев. На путешественников, честно говоря, они были не похожи.

— Я не доктор, был хирургом. Сейчас не работаю, — проговорил Стэйвертон.

— Мы в курсе, — криво ухмыльнулся парень.

У него были плохие зубы и хищная улыбка.

— И у меня нечего красть...

— Нам здесь ничего не нужно. Кроме вас, — перебил Стэйвертона незнакомец. — Присядем?

Стэйвертону ничего не оставалось, как опуститься в кресло. Говорящий неловко устроился в кресле напротив, а его приятели замерли у дверей с отсутствующим видом.

— Я Тёрнер, вы меня не знаете, — начал незнакомец.

Его лицо блестело от дождя, Стэйвертон видел, что и куртка незнакомца промокла насквозь, однако, казалось, Тёрнера это совсем не беспокоило, и он едва ли обратил внимание на огонь, который все еще теплился в камине.

— Кто прислал вас? — встревоженно перебил его Стэйвертон.

— Не тот, о ком вы думаете. Не Уолтон.

Несмотря на все самообладание, Стэйвертон вскрикнул:

— Что вы знаете о нем?

— Вы работали на него в Институте. Несколько лет. — Крошечные глазки Тёрнера впились в лицо Стэйвертона пугающим пронзительным взглядом.

— Это было давно...

— Мой босс потратил много лет, чтобы отыскать вас. После того, как вы покинули Институт и вернулись в большой мир...

— Послушайте, но я ничего не знаю, и у меня ничего нет...

— Мой босс думает иначе.

— Он что, из полиции? — колко осведомился Стэйвертон.

Физиономия Тёрнера расплылась в подобии улыбки.

— Не угадали! Скоро вы с ним познакомитесь. И все о нем узнаете, он не причинит вам вреда. Вы нужны ему.

— А... Уолтон? Он имеет к этому какое-то отношение?

— Еще какое! — усмехнулся Тёрнер.

— Я не желаю видеть его, тем более сейчас...

— Звучит так, как будто вы его ненавидите.

Стэйвертон натянул на себя жесткую куртку:

— Уолтон — опасный и подлый тип. Он смешивает людей с грязью. Использует их, а потом выбрасывает прочь.

— А вы, должно быть, имеете представление об этом, не так ли? — Тёрнер наклонился вперед, и в его маленьких глазках вспыхнул зловещий огонек. — Но вы не знаете и половины всего. Хотите узнать?

Стэйвертон вздрогнул:

— Нет! И видите ли, я рад, что сейчас уже не имею к этому никакого отношения. Прошло то время, когда я мог быть ему полезен. Господи, как же я счастлив, что избавился от Уолтона!

— Пришло время узнать правду о нем.

Стэйвертон покачал головой:

— Нет. Сейчас я хочу только одного: чтобы меня оставили в покое!

— Понятно. Но моему боссу нужна ваша помощь. Он велел рассказать вам про Уолтона все, что мы знаем. И тогда вы должны будете нам помочь.

Стэйвертон поднял глаза на Тёрнера, затем взглянул на двух его товарищей. Они устало топтались у двери.

— Похоже, у меня нет выбора. — Он пожал плечами.

— Выслушайте меня, а уж потом решайте, — откликнулся Тёрнер.

Внезапно Стэйвертон почувствовал, как в теплом воздухе дома снова расползается пронизывающий холод. Это восставали из небытия зловещие тени его прошлого, но в ответ на слова Тёрнера Стэйвертон все равно кивнул. Его пугала неизбежность происходящего.

II

— Говорил ли вам когда-нибудь Роберт Уолтон что-нибудь о своем первом партнере, Викторе Франкенштейне? — начал Тёрнер.

Услышав это имя, Стейвертон задумался, но ответил отрицательно.

— Франкенштейн, помимо всего прочего, был блестящим хирургом, — продолжил Тёрнер, — Он жил в восемнадцатом веке, а вот когда он умер — никто не знает.

Стейвертон нахмурился:

— Но ты же сказал, что он был партнером Уолтона. Как это возможно?

— Уолтон не такой, каким кажется. Вы ведь знаете — он прекрасный хирург. Но Франкенштейн был гением! Его талант, его искусство — вот чем желал обладать Уолтон, и ему удалось это присвоить.

Двести лет назад одна женщина, Маргарет Сэвилл, получила несколько писем от своего брата — исследователя, отправившегося в полярную экспедицию. В одном из них ее брат — звали его Уолтон — рассказывает о том, как однажды в глубине ледяной пустыни он наткнулся на двух странных людей. Один из них называл себя Виктором Франкенштейном. Он был настолько обессилен, что находился фактически при смерти. Франкенштейн поведал Уолтону, как когда-то создал живое существо из одного мертвого тела и частей других трупов, дав этой сущности новую жизнь. Сотворенное им Чудовище взбунтовалось, впало в ярость, принялось крушить все вокруг и объявило войну человечеству. Монстр сбежал в полярную пустыню, а его создатель пустился за ним в погоню.

В своих письмах к сестре Уолтон рассказал, что Виктор Франкенштейн умер на борту корабля, а Чудовище направилось к полюсу, где и погибло. Насколько известно, и ученый, и его создание нашли свой конец в вечной мерзлоте. — С этими словами Тёрнер многозначительно взглянул на Стэйвертона: — Во всяком случае, так утверждал Уолтон в своих письмах.

— И этот Уолтон как-то связан с тем Уолтоном, которого я знал? — Стэйвертон был ошеломлен.

— Ха! — фыркнул Тёрнер. — Да это один и тот же человек! Последнее письмо к Маргарет Сэвилл было всего лишь уловкой — Виктор Франкенштейн вовсе не умер на том корабле. Уолтон выходил его, скрыл у себя и привез обратно в Англию. Тогда он был богат и имел множество связей. У Уолтона Франкенштейна держали как узника в тюрьме, хотя тот и не осознавал происходящего. Уолтон пил из него соки, как вампир высасывает жизнь из своих жертв. А главное — он высасывал знания!

— Но ведь это абсурд! — Стэйвертон пытался протестовать, но в его голове уже роились сомнения, склоняя к тому, чтобы признать невозможное.

— Это жизнь, — хмыкнул Тёрнер. — Бессмертие. Вот мечта человечества с первых его шагов. Франкенштейн сумел добиться этого. Уолтон захотел сделать то же самое, и даже еще больше. Он захотел бессмертия для себя.

В наше время хирурги каждый день трансплантируют жизненно важные органы, медицина идет вперед семимильными шагами. Но Франкенштейн был величайшим из всех гениев на этом поприще. Он пошел дальше, чем любой современный хирург. Он считал Уолтона своим другом и верил, что Чудовище

погибло. Уолтон дал Франкенштейну новые цели, вдохнул в него надежду. Искусно подстрекаемый Уолтоном, ученый начал новую работу. Франкенштейн не хотел создавать еще одного монстра, на этот раз он мечтал о том, чтобы проявить себя. И кто лучше вас, доктор, может понять его одержимость и безумные идеи? Он хотел пересадить человеческий мозг.

Стэйвертон собрался было возразить, но что-то его удержало.

Тёрнер продолжил:

— Уолтон упорно учился и стал хирургом, но он знал, что ему никогда не достичь такого блестящего уровня мастерства, которым обладал Франкенштейн. В работе Уолтона бывали ошибки, успешные операции и судебные разбирательства... Наконец его ждало последнее испытание. Уолтон хотел жить вечно, и Франкенштейн пересадил его мозг в тело более молодого мужчины. Операция увенчалась успехом — Уолтон получил то, что желал.

Стэйвертону показалось, что кровь застыла у него в жилах. В ужасе он закрыл лицо руками. Он мог бы назвать эту историю бредом, приведя тысячу аргументов, но — помоги ему Господь! — это давало ответ на многие вопросы, возникавшие у него о человеке, на которого он когда-то работал.

— Сколько раз, начиная с тех пор, Уолтон переносил себя в новое молодое тело? — язвительно спросил Тёрнер. — Кто знает? И в какой момент Виктор Франкенштейн стал ему больше не нужен? Держу пари, его тело давно уже зарыто где-нибудь в глуши или сожжено, а пепел развеян.

— Выходит, Роберт Уолтон живет на свете уже двести лет... — пробормотал Стэйвертон.

— Вы знаете достаточно о нем и его работе, доктор, чтобы понимать, что такое возможно. Вы единственный, кто может поверить в то, что это правда. Ведь вашей специализацией тоже был мозг.

Стэйвертон украдкой взглянул на свои руки.

Тёрнер холодно усмехнулся:

— В выдержке вам не откажешь. Крепкий как скала. Мой босс обрадуется. Будет лучше, если вы начнете собираться прямо сейчас.

Стэйвертон вздрогнул: возражать было бесполезно.

III

Они отправились в путешествие в старом фургоне: Стэйвертон сидел сзади, Тёрнер — в водительском кресле. Непрошеные гости настояли на том, чтобы выехать немедленно, не оставив

Стэйвертону ни минуты на размышление. Ему позволили лишь быстро собрать сумку и взять с собой немного одежды. Тёрнер молчал, сидя за рулем, фургон продвигался сквозь ночь и затихающую бурю. Стэйвертон мысленно погрузился в прошлое, вспоминая время, когда он работал на Уолтона...

Как и каждый хирург, да и вообще любой врач, Стэйвертон был наслышан об Уолтонианском институте. Уолтон пользовался в своем кругу большим авторитетом и вдобавок к этому унаследовал огромную сумму от своих родственников. Говорили, что дед Уолтона основал этот институт как частный исследовательский центр, специализирующийся в области нейрохирургии, а с недавних пор — и в генной инженерии. Периодически, правда, высказывались возражения против методов, используемых в Институте, и некоторых секретных программ, но у Уолтона были очень прочные связи в мире политики. Ходили слухи о нескольких удивительных успехах Института в области пластической хирургии. Так Уолтонианский институт получил парламентские льготы.

Уолтон организовал сеть по всей Европе: Институту удалось привлечь самых одаренных хирургов, невропатологов, генетиков, пусть даже на недолгое время. Стэйвертон был одним из них, в эту цитадель его заманили безграничные возможности Института, неисчерпаемые фонды, средства, недоступные другим. В течение пяти лет Стэйвертон был истинным рабом Института; находясь там, он трудился, полностью отрешившись от внешнего мира и наслаждаясь, именно наслаждаясь открывшимися перед ним возможностями. Но... пересадка мозга? Неужели Уолтону удалось этого добиться? Работа самого Стэйвертона заключалась в том, чтобы приводить этот мозг в порядок, восстанавливать его, корректировать, настраивать. Пересадка мозга из одного тела в другое все же представлялась Стэйвертону неосуществимой фантазией.

После пяти лет работы Стэйвертона внезапно вызвал к себе сам Уолтон и сообщил, что контракт с ним расторгается. Никаких объяснений не последовало: в свои тридцать восемь Стэйвертон полностью сохранил ясность зрения и точность движений — словом, все то мастерство, которого требовала от него наука. Но Институт, похоже, решил его заменить. Может быть, причина заключалась в том, что Стэйвертон стал слишком осведомлен и мог проболтаться. К тому же Стэйвертон начал критически относиться к некоторым методам, используемым в Институте.

Увольнение было для Стэйвертона тяжелым ударом, однако Уолтон выплатил ему невероятно щедрое пособие, поэтому, когда Стэйвертон покидал Институт, он чувствовал скорее разо-

чарование, чем гнев. Истинную горечь поражения он осознал позже, когда попытался вернуться к своей работе уже вне стен Института. Кто-то приложил немало усилий, чтобы Стэйвертона никто не взял на работу. Разумеется, за этим стоял Уолтон. Созданная им сеть была чрезвычайно эффективна. Поначалу деньги не особенно утешали Стэйвертона, но со временем он начал использовать их, чтобы смягчить чувство разочарования и потери. Однако, как бывший уолтонианец, Стейвертон подвергся остракизму. Сначала он даже думал, что в коллегах говорит профессиональная ревность, но постепенно понял, что всем этим заправляет Роберт Уолтон. Сколько еще сотрудников Института было уволено, подобно ему, каждый из которых знал свою часть страшной правды? Стэйвертон следил за судьбой кое-кого из бывших коллег, но никто из них ни при каких обстоятельствах не стал бы говорить об Институте. Страх цеплялся за них подобно савану.

Стейвертон почувствовал, как в нем снова закипает гнев, *стоило ему вспомнить эти понапрасну растраченные годы.* Он не спал, впившись глазами в дорогу, и видения прошлого постепенно таяли, размытые дождем и поглощенные серой рассветной дымкой.

— Есть хотите? — Тёрнер внезапно обернулся к своему пассажиру. Его полуприкрытые глаза с механической сосредоточенностью следили за движением фургона. — Мы скоро перекусим, — продолжил он, отвечая на собственный вопрос, — а днем отдохнем. Вечером вы уже встретитесь с моим боссом.

Снаружи ветер неистово бился о фургон, будто колотя по нему кулаками, но старые колеса продолжали тяжело катиться по дороге, неумолимо приближаясь к цели.

IV

Они поступили так, как сказал Тёрнер. Стэйвертон все-таки провалился в сон, а фургон в это время припарковался на обочине, там, где живая изгородь была достаточно высока, чтобы скрыть его от посторонних глаз. По-видимому, Тёрнер предпочитал действовать украдкой. Стейэвертон подумал, что и сам боится Уолтона, этого паука, заманивающего людей в свои сети.

К концу дня, когда Стейэвертон проснулся, буря утихла, но капли дождя еще падали с кустов и деревьев. Поля размыло, и на них, подобно маленьким озерцам, сверкали лужи. Тёрнер снова сел за руль, молчаливый и невозмутимый, как автомат.

Стэйвертон начал узнавать сельскую местность, по которой они двигались, — фургон приближался к Институту. Вскоре они въедут в глухие леса, окружающие Институт и отгораживающие его от внешнего мира. Удивительно, что это место находится всего в двадцати милях от Большого Лондона[1]. С таким же успехом оно могло располагаться и на Луне.

Стэйвертон проглотил остатки засохшего сэндвича, запив последний кусок чаем из термоса, который они купили по пути. Тёрнер остановил фургон на обочине, в сгустившейся тени. Стэйвертон вгляделся в лесной сумрак и увидел знакомую — высокую и черную — ограду, тянущуюся вдоль дороги.

— Выходим здесь, — коротко сказал Тёрнер.

Выбравшись из фургона, Стэйвертон снова почувствовал пронизывающий холод. Он взял свою сумку и с отвращением взглянул на железные ворота, возвышающиеся перед ними. Он хорошо знал это место: своего рода ориентир для посвященных, известный каждому, кто работал в Институте. Здесь начиналось старое кладбище, заброшенное с тех пор, как открыли крематорий. Обширная территория кладбища прилегала к Институту, финансируемому щедрым хозяином.

Один из подручных Тёрнера пристально наблюдал за дорогой, а сам Тёрнер, к удивлению Стэйвертона, достал из кармана большой ключ и открыл им огромный замок, висящий на воротах. Тёрнер жестом пригласил Стэйвертона войти внутрь. Спустя несколько мгновений ворота за ними захлопнулись, и все вместе они зашагали по узкой кладбищенской тропинке. Надгробия заброшенных и заросших бурьяном могил постепенно терялись в сгустившемся сумраке. Пугающе возвышались высокие готические кресты, в зарослях виднелись искрошенные плиты надгробий, редкие кусты и деревья завершали картину жуткого места.

Тёрнер шел по центральной дорожке, под его ногами хрустел гравий, сквозь который уже пробивались буйные заросли сорняков.

— Зачем мы идем сюда? — наконец осмелился спросить Стэйвертон. Все это время подручные Тёрнера шли следом за ним как тюремщики, готовые поднять тревогу в любой момент, если Стэйвертон вздумает хотя бы остановиться. — Институт ведь в другой...

— Он здесь, — перебил его Тёрнер.

Они свернули на боковую дорожку.

— Он любит ночь и уединение, — добавил Тёрнер. — Вам не стоит его бояться.

---

[1] *Большой Лондон* (Greater London) — регион на юго-востоке Англии.

Стэйвертон кивнул, но все, что он сейчас чувствовал, — это боль и мучения.

Тёрнер указал на массивное здание, частично скрытое кустами дикой ежевики. Похоже на мавзолей, приземистый и мрачный. Двойные колонны напоминали о прошлых веках, давно ушедших, как и его бывшие владельцы.

— Здесь...

У Стэйвертона не было выбора. Споткнувшись, он переступил через порог и с удивлением обнаружил внутри полоски света. Тёрнер с трудом захлопнул массивную деревянную дверь, оставляя снаружи в полумраке своих подручных. Он довел Стэйвертона до лестницы, подгнившие ступени которой уходили вниз. Снизу пробивался свет, необычный, как будто из иных времен.

Тёрнер кивнул, Стэйвертон нерешительно начал спускаться по ступенькам. Каменные арки поддерживали потолок, по обе стороны узкого прохода возвышались колонны. Стены были сложены из огромных каменных глыб. Их поверхность принимала пугающие очертания в желтом пламени факелов.

В дальнем конце этих катакомб Стэйвертон различил какую-то сгорбленную фигуру. Силуэт широкоплечего человека, склонившегося над чем-то, возможно над книгой. Тёрнер осторожно направился к странной фигуре, стараясь как можно тише ступать по каменному полу. Человек зашевелился, приподнял огромную голову и повернулся.

Стэйвертон понял, что это и есть хозяин Тёрнера. Когда человек обернулся, Стэйвертону пришлось схватиться за ближайший столб, чтобы не упасть. Ноги подкосились, а сердце было готово выскочить из груди.

Лицо, которое он увидел, было ужасным: мертвенно-бледное, почти серое, кожа казалась высохшей, как у мумии, глаза черные, словно провалы в ужасающую пустоту. Редкие пряди волос, спутанные и иссохшие, спадали на плечи. В сущности, это была голова трупа, двигающегося механически, как будто оживленного напоказ. Когда существо, как мысленно назвал его Стэйвертон, заговорило, он был глубоко потрясен и звучанием голоса, и манерой речи. Это был голос образованного, культурного человека, глубокий и мягкий, настолько не соответствовавший внешнему облику существа, что казалось, будто через эту отвратительную оболочку говорил кто-то другой.

— Вы — Даниэль Стэйвертон, — произнес незнакомец.

Он не поднялся и даже как будто сильнее сгорбился в своем кресле, так что его квадратные плечи оказались на уровне плеч Стэйвертона.

— Да... — Стэйвертон едва дышал.

— Вы в ужасе от того, как я выгляжу. Как, впрочем, и все остальные. Что ж, я живу с этим уже очень долгое время. Но если я расскажу вам, кто я, вы не будете меня бояться?

— Но... кто вы? — прошептал Стэйвертон.

— Тёрнер рассказал вам о Викторе Франкенштейне, не так ли? Я — его создание, его демон.

V

Существо начало рассказ о своей мучительной жизни, о том, как в арктических льдах за ним гнался его создатель, о бегстве на полюс.

— Я преследовал корабль Уолтона, пробираясь среди айсбергов. Стало ясно, что Франкенштейн вынужден прекратить свою безумную погоню за мной: силы его были исчерпаны. Уолтон взял его на борт и стал выхаживать день за днем. Я следил за ними. Ярость арктической стихии ничего не значила для меня. Я был выкован в первозданном пламени. Лед или огонь — мне было все равно! — Пустые, жуткие глаза существа подтверждали это лучше любых слов. — Они не знали обо мне. Я понял, что Франкенштейн больше не будет преследовать меня, неизвестно даже, выживет он или умрет. Я оставил их и отправился в сердце полярной пустыни, думая о том, что принесу себя в жертву на погребальном костре. Ах, но жизнь, какой бы она ни была невыносимой, какой бы ни представлялась пародией на саму себя, не так-то легко отпускает нас! Когда настал момент самоуничтожения, оказалось, что даже для такого омерзительного существа, как я, это так же противно, как и для вас. Огонь и холод не смогли одолеть меня.

Я бродил в холодной пустыне, среди бескрайних льдов, ни о ком и ни о чем не вспоминая. Моя душевная боль, горечь и отвращение к самому себе грызли меня как волки. Год за годом я носил в себе эти чувства, пока они не выцвели, жалкие обрывки былых переживаний, запрятанные глубоко в душе, безвольные и ничтожные. Все умерло внутри меня, все, кроме ненависти...

И тогда я вернулся.

— Из-за него? — осторожно спросил Стэйвертон.

— Да. Судьба связала нас так же крепко, как пуповина соединяет мать с младенцем. Я был ничем. Но Франкенштейн сотворил меня, вызвал к жизни.

— И вы нашли его?

— Нет. К тому времени, когда я разгадал и понял все детали, связанные с его жизнью после возвращения из Арктики,

моего создателя, разумеется, уже не было в живых. И у меня есть все основания предполагать, что он стал жертвой Роберта Уолтона. Франкенштейн мертв. Но Уолтон жив. Он, как и я, обманул смерть и продолжает искусно маскироваться. Кто же сможет поверить в истинное положение вещей?

Стэйвертон покачал головой:

— Ученые однозначно осмеяли бы эту историю, если только... — Стэйвертон напряженно взглянул на существо, сидящее перед ним.

— Если только я не заявил бы о себе? — подхватило оно. — Да, с моей помощью можно вывести Уолтона на чистую воду. Но я живу во тьме со дня моего возвращения. Я сделал своим домом кладбище, уединенное место вашего мира, где властвуют сумерки. И мои товарищи тоже принадлежат этому царству. Отбросы общества, отвергнутые им, как и я, они понимают меня и преданно мне служат. Время не имеет для меня значения, так же как и для Уолтона. Но сейчас я готов к встрече с ним, и он заплатит за все.

Стэйвертон вздрогнул — столько боли было в этих словах, как будто странное существо превратило свои страдания в грозное орудие возмездия.

— Хорошо, но при чем здесь я? Я не имею ничего общего с Уолтоном уже долгие годы.

— Вы, так же как и я, стремитесь к одиночеству. Вы живете один, без семьи, без родственников и друзей, затерявшись в глуши, оставив тот мир, который знал вас. Вы — призрак, Даниэль Стэйвертон, человеческая тень. Никто даже и не подозревает о том, что вы еще существуете. Но с вами осталось ваше искусство.

— Не знаю, так ли это...

— Вы нужны мне. И вы мне не откажете. Да и как бы вы могли? Вы так же сильно хотите увидеть падение Роберта Уолтона, как и я.

Стэйвертон и вправду не мог отказать. Конечно, его чувства с годами притупились, но Уолтон все еще мог разжечь в нем ненависть и гнев.

— Уолтон писал своей сестре, что я встретил смерть на погребальном костре и ликовал в агонии. Но меня не могут убить ни слова, ни чья-то сила. И Уолтону предстоит это узнать.

VI

Но лишь после того, как Стэйвертон выбрался из каменного прибежища живого мертвеца, его охватил настоящий ужас. Оказавшись наверху, он жадно глотал свежий воздух и чувствовал,

как волны страха накатывают одна за другой. Ночь обступала Стэйвертона, он обессиленно прислонился к стене напротив какого-то надгробия. За ним наблюдали вездесущий Тёрнер и его оборванные приятели.

— Видите, он существует, — сказал Тёрнер. — Ненависть создала его и заставляет жить. На свете нет ничего сильнее ненависти, доктор. Страх делает человека слабым, а ненависть — сильным. Помните об этом.

Стэйвертон кивнул. Он изо всех сил цеплялся за собственную ненависть, не позволяя отчаянному ужасу захлестнуть его.

Позже, глубокой ночью, они покинули кладбище, вновь залезли в фургон, и вскоре лесная чаща, темная и безмолвная, скрыла их в своих недрах. Тёрнер, по-видимому, хорошо знал дорогу, да и вся операция, как теперь понимал Стэйвертон, была спланирована почти с хирургической точностью.

Внезапно рядом с дорогой из мрака показалась высокая стена — граница Уолтонианского института, обнесенная колючей проволокой. Слишком много людей хотели получить от Института то, что причиталось им по закону: неудивительно, что к проволоке был подключен ток. Тёрнер свернул на узкую дорожку, где около стены уже был припаркован другой автомобиль. Из него вылезла гигантская фигура, и Стэйвертон осознал, каким чудовищно, неестественно огромным было это существо.

— Все необходимое вы найдете внутри, — сказал гигант, протягивая Стэйвертону кожаную сумку.

Она показалась Стэйвертону слишком тяжелой. Затем существо повернулось и молча наблюдало за тем, как подручные Тёрнера ловко собрали раздвижную лестницу и приставили ее к стене.

— Здесь же ток... — начал было Стэйвертон, но, увидев насмешливую гримасу Тёрнера, замолчал.

— Приготовьтесь двигаться быстро, док, вот и все, — сказал тот.

Тревога Стэйвертона переросла в ужас, когда существо потянулось к колючей проволоке и схватило ее обеими руками. Проволока зашипела, в воздух взлетели сверкающие искры, блеснула вспышка света, и повалил дым... Но существо просто разорвало провода, не чувствуя боли, позволяя своей плоти гореть и обугливаться. Используя свою чудовищную силу, гигант рвал один провод за другим. Наконец он выломал целую стойку, образовав в стене пролом, и тут же кинулся внутрь.

— Пошел! — рявкнул Тёрнер, и Стэйвертон неловко полез вверх по лестнице, едва удерживая сумку в руках.

Наверху запах горелого мяса стал невыносим, но Стэйвертон заставил себя перевалиться через стену. Кустарник с густым

подлеском смягчил удар от падения. В тот же момент рядом приземлился Тёрнер с подручными, они мгновенно убрали лестницу и спрятали ее.

— Они знают, что мы здесь, — заметил Тёрнер, — но это не имеет значения.

Над ним возвышался его хозяин.

— В лесу, где полно сторожевых собак, будет сложнее. Держитесь вместе, особенно это касается вас, Стэйвертон.

Стэвертон отвернулся, чтобы не видеть его обугленных рук, но тут он снова испытал приступ паники: Тёрнер и его товарищи вытащили мачете с длинными лезвиями.

Едва они успели войти в лабиринт из деревьев, как послышался яростный лай. Прятаться или отступать было некуда. И вот уже через секунду, выскочив из зарослей папоротника, огромные черные звери накинулись на маленький отряд. Гигант быстрым движением схватил одну из собак и сдавил ее шею руками, прежде чем она успела вонзить в него свои зубы. В ночи раздался звук хрустнувших костей. Собака повалилась на бок и издохла.

Другие псы атаковали Тёрнера и его помощников, но те ловко орудовали смертоносными ножами, и результат не заставил себя ждать. Стэйвертон присел, прикрывшись сумкой, как будто она могла спрятать его. Вокруг рычали взбешенные звери, сверкали ножи и лилась кровь. Собак было не меньше дюжины, но через несколько минут ни одной из них не осталось в живых. Одного из подручных Тёрнера какая-то из них все-таки цапнула за руку, выхватив изрядный кусок плоти, но его товарищи быстро остановили кровь, перевязав рану куском ткани, оторванным от одной из курток.

Они продолжили движение по лесу в глубоком молчании, но Стэйвертон был уверен, что незримые наблюдатели следят за каждым их шагом. Наверняка здесь работала система телевизионного слежения.

Они прошли еще пару миль, приближаясь к корпусам Института, и хотя слышали вдалеке злобный лай, собаки больше не появлялись. Дойдя до стоянки перед входом в Институт, все присели, спрятавшись за кустами живой изгороди, и осмотрелись.

— Вы знаете это место, — обратилось к Стэйвертону существо. — Скажите, как проще всего проникнуть внутрь?

— Мы никогда туда не попадем, — пробормотал Стэйвертон. — Собаки — это только начало. Помнится, здесь всегда было много вооруженной охраны, целая армия. Да вот посмотрите!

Он указал на группу мужчин, появившихся из-за угла массивного здания: одетые в униформу, подняв автоматы, они рассыпались веером, окружая кусты. Лучи прожекторов засверкали

над лесом и как ножами разрезали тьму, разыскивая непрошеных гостей. Институт был заполнен охраной.

Стэйвертон заметил, как безобразные черты существа исказило отчаяние.

— Я был глупцом, думая, что Уолтон не сможет защитить себя как следует! – пробормотало оно.

— Есть только один возможный путь, — неуверенно обратился к нему Стэйвертон. — Примерно в миле от Института, в самом конце сада, находится старая оранжерея. В зданиях вокруг нее есть подвалы, куда ведут подземные ходы, вырытые, еще когда эта часть Института была монастырем. Я слышал об этом, хотя сам никогда там не был.

— Ведите нас туда! — прохрипело существо.

VII

Они подгоняли Стэйвертона, пробираясь через подлесок и петляя, как сбежавшие преступники, в то время как лучи прожекторов рыскали по лесу. Однако охранники, судя по всему, не горели желанием углубляться в темную чащу и оставались на гравийных дорожках вокруг центрального здания, уверенные в том, что на территории Института от них никто не уйдет. Постепенно Стэйвертон и его странные спутники пробрались в густую лесную тень, и лай собак стал затихать вдали. Правда, еще дважды злобные псы выскакивали из чащи, обнаружив беглецов, но и они были уничтожены так же быстро, как и другие собаки.

Стэйвертон вспомнил, что вокруг оранжереи находился газон с аккуратно подстриженными кустами, который поддерживался в безукоризненном состоянии. Ему потребовалось немного времени, чтобы разыскать теплицы и парники: Тёрнер с товарищами решили, что уже можно воспользоваться фонариками, не навлекая на себя опасности. В одной из теплиц, где царил удушливый запах плесени, за полусгнившей дверью оказались ступеньки, ведущие вниз.

— Я уверен, что это здесь, — сказал Стэйвертон.

У подножия лестницы виднелась еще одна дверь, запертая на большой висячий замок. Существо с легкостью сорвало его и толкнуло дверь плечом. За ней тянулся низкий каменный коридор. Всем пришлось пригнуться, чтобы пройти. Стэйвертон оказался прав: проход тянулся под землей чуть больше мили, постепенно спускаясь все глубже и глубже. Когда они одолели этот отрезок пути, дорогу им преградила еще одна дверь.

Существо приложило к ней ухо и прислушалось.

— Вы знаете, что находится за ней? — спросило оно у Стэйвертона.

— Другой подвал, а возможно, и лаборатория, — пожал плечами тот. — В Институте было много мест, куда мы не имели права совать свой нос. Мы знали только, что существовали помещения, находящиеся глубоко под Институтом. Один бог знает, что мог устроить здесь Уолтон.

— Эти помещения охраняются?

— Выше точно есть охрана, но здесь — вряд ли. Возможно, кроме Уолтона, никто вообще не знает, что здесь что-то есть.

Существо кивнуло, вынужденное сложиться почти вдвое, чтобы поместиться в туннеле. Обгоревшими руками гигант принялся выламывать дверь, как если бы совсем не испытывал боли. Древесина трещала, не поддаваясь, с потолка обрушивалась пыль, но в какой-то момент дверь сломалась. Толстые доски выскочили из пазов, чего и добивалось существо: в одно мгновение оно сорвало дверь с массивных петель.

Перед ними открылся короткий коридор, освещенный факелом. Он заканчивался ржавой старой решеткой. И снова существо пустило в ход свою, казалось, неисчерпаемую силу, разрывая в клочья ржавый металл как простую занавеску. За сломанной решеткой обнаружились пещеры, сводчатые катакомбы, образованные множеством колонн, — целый каменный лес, выросший под землей.

Когда беглецы смогли выбраться из туннеля, нервы Стэйвертона были напряжены до предела. Он вздрагивал от малейшего звука. Здесь же его окружили непонятные шорохи и таинственные голоса, и Стэйвертон с трудом сдержал крик ужаса. Невнятное бормотание слышалось справа, приглушенное карканье — слева, странные звуки множились, эхом отражаясь от каменных сводов... Стэйвертон вспомнил какие-то давно забытые и похороненные в глубинах сознания слухи, ходившие по Институту, связанные с давним и неблагополучным периодом институтской истории... Но ведь эти слухи были лишь мифами, над которыми нередко подшучивали коллеги Стэйвертона. Но теперь эти мрачные легенды становились реальностью, словно поднявшись из бездны.

VIII

В свете факелов отчетливо показались контуры приближающихся фигур. Стэйвертон в ужасе покачнулся. Существо и его подручные приготовились защищаться, как будто не обращая внимания на то, как пугающе выглядят появившиеся из тени.

На первый взгляд это были человеческие фигуры, но с каждой из них было что-то не в порядке. Будто все они пострадали в катастрофе или стали жертвами генетической дегенерации. Они стонали, когда на них падали потоки света. Казалось, лучи резали их подобно лезвиям бритвы. Десятки этих странных существ толпились в запертых камерах, некоторые даже были прикованы. Сейчас они пытались выломать замки клеток и избавиться от цепей, стеснявших их движения.

И снова Стэйвертон был потрясен, когда понял, что эти монстры не собираются их атаковать. Скорее, они хотели чего-то, протягивая со всех сторон лапы с длинными когтями, как у зверей, и змеиной чешуей...

— Еда, — вдруг сказал Тёрнер, и его грубые черты лица исказились от отвращения. — Они хотят есть.

В жутком свете факелов Стэйвертон разглядел профиль чудовища, поймав его взгляд, в котором сквозь провалы глаз виднелось почти пугающее сострадание. Только существо до конца понимало муки этих полулюдей-полуживотных, заточенных в подземном аду.

Чудовище резко развернулось к Стэйвертону, и жалость в его глазах сменилась яростным гневом.

— Вы знали об этом?

Стэйвертон затряс головой, как будто факелы ослепили его. Но поразило его, разумеется, само зрелище, которое освещало пламя.

— Эксперименты над продолжительностью жизни, разной продолжительностью!.. — в ужасе бормотал Стэйвертон. — Вот они, побочные продукты преступных деяний Уолтона! Отходы! Но ради всего святого, почему он оставил их в живых?!

Чудовище отвернулось от него и направилось прямо в толпу страшных существ. Неуязвимое и бесстрашное, оно начало разрывать цепи, выдергивая их из стен, отбрасывая прочь, освобождая тех несчастных, которых можно было освободить. Тёрнер жестом приказал Стэйвертону следовать за своим господином. Теперь стало совершенно очевидно, что нападать на них никто не собирается.

— Что теперь будет с ними? — обратился Стэйвертон к чудовищу.

— Они отыщут дорогу в лес.

— Но там же они... — «умрут», хотел было сказать Стэйвертон, но промолчал.

На самом деле, может, этим несчастным было бы лучше умереть, чем продолжать свое существование заключенными в этой вонючей дыре. Да, именно то, чего желало бы и само чудовище. Пусть умрут, отомстив за себя, прихватив с собой столько своих мучителей, сколько смогут.

Чудовище пересекло камеру. Несколько скрюченных фигур двинулось за ним по пятам, словно оно отдало им безмолвный приказ. Похожие на зомби, раздувшиеся, серые, как оконная замазка, они уставились своими мертвыми глазищами на чудовище, как собака смотрит на хозяина в ожидании команды.

Тёрнер снова подтолкнул Стэйвертона вперед, остальные следовали за ними. Густая масса бесформенных существ постепенно редела: многие из них потянулись к выходу, причем казалось, что они находят его по запаху. Словно эти несчастные были способны уловить дуновение ночной свежести, находясь за милю от поверхности земли.

Чудовище взломало следующую дверь, за которой оказалась вполне современная лестница. Тёрнер погасил огни, оставив только один факел, для того чтобы освещать путь.

Охраны здесь не оказалось, видимо, никто не считал это необходимым. Присоединившиеся к чудовищу существа не издавали ни звука, и случайная вспышка света объяснила Стэйвертону, почему они молчат, — у бедняг не было рта. Было слишком темно, чтобы рассмотреть, чем же извращенный научный ум Уолтона заменил эту часть тела.

Чудовище жестом подозвало к себе Стэйвертона:

— Вы должны знать путь отсюда. Найдите Уолтона.

Спорить было бессмысленно. Стэйвертон повиновался, зная, что сейчас они находятся внутри основного блока Института. Уолтон мог оказаться здесь с той же вероятностью, как и в любой другой части своих владений. Сделав несколько бесшумных шагов по ковру, они внезапно наткнулись на вооруженного охранника. Тёрнер отправил одного из своих подручных разобраться с ним. Охранник не успел защититься от стальной хватки невесть откуда взявшегося врага. Напарник Тёрнера подтащил ошарашенную жертву к своим товарищам.

— Где Уолтон? — нервно спросил у него Стэйвертон.

Охранник выпучил глаза от ужаса, когда увидел, с кем имеет дело.

— Он неподалеку. В одном из главных залов. Но...

Стэйвертон едва подавил приступ рвоты, когда чудовище задушило охранника одним движением своих обожженных рук и отбросило труп в сторону, как тряпичную куклу.

Они шли по коридорам до тех пор, пока Стэйвертон не узнал двери, ведущие в главный зал. Охранника, стоявшего у входа, мгновенно оглушили. Одна из дверных створок была приоткрыта. Из зала доносились голоса, там оживленно спорили о чем-то.

Чудовище подняло свою массивную голову, его глаза налились ледяной ненавистью.

— Это он! Уолтон здесь!

Чудовище обернулось к существам-зомби, следовавшим за ним. Хотя оно не произнесло ни слова, всем стало ясно, что новые подручные чудовища получили смертоносную команду. И вот один из них тяжело прошел вперед, с грохотом распахнул двери и ворвался в зал.

Стэйвертон услышал сначала крики, а затем оглушительную пальбу из автоматов. Его ноги подогнулись, и Стэйвертон сполз по стене, вжимаясь в нее как можно сильнее, накрытый волной животного ужаса. Вот рядом с ним рухнуло чье-то тело, сокрушенное взмахом гигантского кулака... Какие-то люди — хирурги, охранники и прочие — стремились вырваться из зала, куда, казалось, явились силы ада. Чудовище и его подручные, стоявшие у входа, уничтожали своих врагов с беспощадностью и мастерством коммандос.

Через какое-то время Стэйвертон почувствовал, что его, все еще сжимающего в руках сумку, поднимают на ноги и тащат в зал с высокими потолками. Несмотря на то что лицо Стэйвертона заливали слезы, он увидел, что побоище закончилось. Перед ним предстало поле битвы: среди сломанной мебели валялись мертвые и покалеченные тела. Четверо зомби были выведены из строя и лежали, подергиваясь, среди своих жертв, двое других стояли, напоминая роботов, у которых отключили ток.

В центре побоища чудовище сошлось в схватке с единственным из оставшихся в живых, оно схватило противника за рубашку и развернуло. К величайшему ужасу, Стэйвертон оказался лицом к лицу со своим бывшим работодателем.

— Я знаю вас, — Уолтон задыхался, — вы...

Стэйвертона охватил гнев. Гнев за то, что погибло все, чего он хотел в этой жизни, за свою отставку и за то, что Уолтон оказался так дьявольски жесток. Эта ярость вытеснила все остальные чувства, и Стэйвертон сказал:

— Я был лучшим из всех, кто у вас был, Уолтон!

Существо крепче сжало плечо Уолтона.

— Если он не знал этого тогда, — заметило оно, — то скоро сможет убедиться в правоте ваших слов. Откройте сумку. Пора приступать к работе.

IX

Роберт Уолтон выглянул из высокого окна, внимательно изучая группу людей, садившихся в черные машины, которые вот-вот должны были отъехать от стен Института. Его холодные

глаза не выражали никаких эмоций. Удовлетворенный тем, что кортеж машин, везущих журналистов с их бойкими репортажами к Вестминстеру, скоро поглотит лес, Уолтон отвернулся от окна. Его движения казались слегка скованными, как будто он только что начал приходить в себя после незначительной аварии. Холодные глаза Уолтона встретились с настороженным взглядом Стэйвертона.

— У нас есть еще немного времени, — сказал Уолтон своим глубоким, мягким голосом. — Мой дорогой друг, вы, должно быть, совершенно измучены. Еще бы — такая сложнейшая операция. Но в ближайшее время вас ждет отдых, как, впрочем, и все, чего вы только пожелаете.

Стэйвертон с усилием выпрямился. Он выглядел так, как будто провел без сна несколько дней, — с посеревшим лицом и запавшими глазами.

— Пойдемте, — внезапно сказал Уолтон. — Давайте поскорее покончим с этим злосчастным делом.

Выйдя из кабинета, они прошли мимо двух вооруженных охранников, которые, казалось, смотрели на них слегка напряженно. Уолтон мягко заговорил с ними, его слова звучали успокаивающе, порядок был восстановлен, побоище объяснялось чрезвычайными обстоятельствами, кое о чем он предпочел умолчать... Затем Уолтон жестом пригласил Стэйвертона следовать за ним.

Они спустились в самое сердце Института. Охрана здесь отсутствовала, но дверь у подножия старой лестницы была надежно заперта. Уолтон достал из кармана ключ, открыл замок, кивнул, призывая Стэйвертона войти внутрь. Стэйвертон быстро и безропотно пересек порог страшной комнаты.

Ее освещали свисающие с потолка лампы. Почти пустая сейчас, лишенная своих жутких обитателей, комната была предоставлена в распоряжение одного-единственного пациента, растянувшегося на щите, похожем на надгробную плиту. Белая простыня покрывала человеческую фигуру целиком, оставляя открытым только лицо.

Уолтон склонил голову набок, и его глаза засияли.

— Ах, мы выбрали идеальный момент, чтобы навестить вас! — проворковал он.

Фигура зашевелилась, огромная, уродливая, с обезображенным лицом и спутанными свисающими волосами... Человек попытался сесть, но это ему не удалось.

— Пройдет некоторое время, прежде чем вы сможете двигаться, — заметил Уолтон. — Но вы научитесь.

Стэйвертон выглядел мрачным, ему казалось, что он наблюдает за ребенком, который мучит искалеченного паука.

— Я поздравляю вас, Стэйвертон! — Уолтон обернулся к нему. — Ваша работа, ваше... хм... изделие превосходно! Я бы даже сказал, уникально. Уверен, что наш новый друг согласится с нами. Скажите, как вам мое первое выступление?

Глаза существа, лежащего на щите, уставились на Уолтона со страхом и отвращением.

— Безупречно, — вздохнул Стэйвертон. — Никто не сможет этого понять. Никто никогда не узнает и не догадается. Вы стали Робертом Уолтоном. Вы получили его холодное равнодушие, его цинизм, его бессердечие. Все это вы освоили гораздо быстрее, чем новое тело.

Уолтон взглянул на распростертую фигуру:

— Да, это будет не так легко забыть! Все эти чудовищные формы, уродство, ограничения, лишения... Но вы, тот, кто был Робертом Уолтоном, — добавило существо, наклоняясь к глазам безмолвной фигуры и заглядывая в них, — имеете в своем распоряжении достаточно много времени, чтобы научиться управлять всем этим. Много-много времени... Практически вечность. А разве не об этом вы всегда мечтали?

ДЕННИС ЭТЧИСОН

Предел

«Деннис Этчисон — певец одиночества и отчуждения, — написал Рэмси Кэмпбелл в предисловии к первому сборнику автора „Темная страна“ („The Dark Country“). — Думаю, его „Трилогия трансплантации“ („Transplant Trilogy“) — величайшее достижение современности в жанре хоррор; в частности, первые же строки „Предела“ достойны звания самых ужасающих из когда-либо написанных».

Этчисон получил Всемирную премию фэнтези за антологию «Метаужас» («MetaHorror»). Опубликовав такие романы, как «Темная сторона» («Darkside»), «Человек-тень» («Shadowman») и «Калифорнийская готика» («California Gothic»), он продемонстрировал свой талант стилиста на масштабных произведениях. Однако когда Этчисон обращается к малой форме — взять, к примеру, «Собачий парк» («The Dog Park»), напечатанный в антологии «Темные голоса» («Dark Voices 5») и номинированный на премию Брэма Стокера, или представленное ниже произведение, — легко согласиться с Кэмпбеллом, утверждающим, что «Деннис Этчисон пишет рассказы, как никто другой в нашем жанре». Я лично это мнение искренне разделяю...

I

Этим утром я насыпал битого стекла в глаза моей жены. Она не заметила. Не издала ни звука. Как всегда.

Я взял со столика пустую бутылку. Завернул ее в полотенце, размахнулся и осторожно ударил о столбик кровати. Стекло разбилось со слабым, очень слабым звоном, словно колокольчики зазвенели на ветру в густом тумане. Никто, конечно, ничего не услышал, а Карен тем более. Потом я положил сверток на пол, наступил на него и принялся раскачиваться взад-вперед, пока не возникло ощущение песка под ногами. Тогда я опустился на колени, подцепил кончиком пальца несколько острых гранул, встал и уронил осколки в уголки ее глаз. Сперва в один, потом в другой. Она даже не моргнула. Это было легко.

Потом мне пришлось уйти. Явились лаборанты. Но было уже слишком поздно: вред причинен. Не знаю, найдут ли они остатки бутылки под кроватью. Кто-нибудь мусор обнаружит

наверняка. Возможно, уборщица или санитарка. Но они не придадут этому значения.

Я выскользнул за стеклянную стену палаты, когда техники-лаборанты начали тянуть провода, регулировать дыхательные аппараты, читать распечатки и бормотать замечания в свои карманные диктофоны. Помню, я подумал о них как о чистеньких, обученных в колледжах фермерах, обрабатывающих грядки, проверяющих состояние скорого урожая, откидывая одеяло там, расправляя бугорок тут, дотрагиваясь до кроватей с суетливостью садоводов, готовых мигом отсечь то, что требует рынок. Они могли и вовсе не заметить меня. А если бы и заметили, что из того? Я всего лишь заботливый муж, явившийся засвидетельствовать свое почтение любимой, разве не так? Мне могут прочесть лекцию о риске занести нежелательные микробы на территорию лечебницы, хотя кому, как не им, знать, насколько это маловероятно, со всем их высокоинтенсивным ультрафиолетовым излучением, ультразвуковыми очистителями и прочими санитарными предосторожностями. Впрочем, я на всякий случай по пути свернул к детскому инфекционному отделению; береженого бог бережет.

А потом, стоя в одиночестве перед окном, отрешенный и опустошенный, будто будущий отец, ожидающий, когда ему на руки положат наконец его плоть и кровь, я вдруг почувствовал твердую уверенность, что за мной наблюдают.

Но кто?

Лаборанты сейчас сосредоточены на своих данных.

Еще один посетитель? Едва ли; а кому еще придет в голову следить за мной? Не многие, терзающиеся чувством вины, проводят тут одинокие часы, ища немого прощения в друге, родственнике или любимом или просто удовлетворяя некое нездоровое любопытство; тех, чей мозг погиб совсем недавно, а прочие органы еще продолжают функционировать, сперва частенько навещают родные, исполненные сознанием долга, но свежее горе неизменно подавляется полнейшей безликостью процедуры, так что вскоре люди решают, что лучше им держаться отсюда подальше ради сохранения собственного рассудка.

Я продолжал внимательно следить за перемещением белых халатов по ту сторону стекла, готовый убраться прочь при первых же признаках необычной или чрезмерной суеты у постели моей жены.

И тут я увидел, как в стекле, за отражением моего лица, возникло ее лицо. Она была встревожена, и она стояла — впервые за восемнадцать месяцев, минувших после удара. Я стиснул перила так, что даже ногти побелели, вглядываясь в прозрачное отражение Карен и не веря своим глазам.

Я повернулся. И отпрянул, прижавшись к стене. Мой лоб, должно быть, усыпали капли холодного пота, потому что она неуверенно потянулась и дотронулась до моей руки:

— Вам нужна помощь?

Ее волосы снова сияли красотой, перестав быть свалявшейся тусклой массой, к которой я привык за последнее время. Свежая косметика — будто нанесена только что; губы, по внешнему краю немного темнее, сжаты неплотно, чуть приоткрывая теплую, розовую изнанку; зубы больше не обесцвечены, они опять светятся здоровой белизной. И ее глаза. Они восхитительны.

Меня качнуло к ней.

Она грациозно отступила в сторону, поддержав меня под руку. Мое лицо оказалось совсем близко от ее лица, я всматривался в него, стремясь задержать мгновение. Здесь ведь нет ничего предосудительного, не так ли?

— С вами все в порядке? — спросила она.

Она была так похожа на Карен, что мне пришлось стиснуть пальцы в кулак, чтобы удержать их, не дать погладить мягкую, тонкую жилку на ее виске, как они делали много, много раз. Ей всегда нравилось это. И мне, верно, тоже; это было так давно, что я почти забыл.

— Простите, — выдавил я. Одернул полы пиджака, пригладил волосы, поднятые дыбом воздушными потоками, веющими вокруг кроватей. — Я не очень хорошо себя чувствую.

— Понимаю.

Неужели?

— Меня зовут Эмили Рихтерхаузен, — проговорила она.

Я выпрямился и представился. Если она и видела меня в запретной зоне, то ничего не сказала. Но тогда ее быть здесь не могло. Я бы заметил.

— Родственник? — спросила она.

— Жена.

— Она... она тут давно?

— Да. Извините. Если позволите...

— Вы уверены, что с вами все нормально? — Она преградила мне путь. — Я могу принести вам чашечку кофе, ну, знаете, из автоматов. И себе взять тоже. Или глоток воды.

Ясно было, что она хочет поговорить. Ей это было необходимо. Возможно, и мне тоже. Я почувствовал, что мне нужно объясниться и исчезнуть, прежде чем она догадается о моих планах.

— Вы часто приходите сюда, Эмили?

Глупый вопрос. Я точно не видел ее тут раньше.

— У меня здесь муж, — сказала она.

— Понятно.

— О нет, он не один из... них. Пока нет. Он в интенсивной терапии. — Миловидное лицо исказилось. — В коме. Уже неделю. Говорят, сознание может вернуться. Один из врачей так сказал. Сколько это может продолжаться, вы не знаете?

Я подошел с ней к скамье в зале ожидания.

— Несчастный случай?

— Сердечный приступ. Он ехал на работу. Машина вылетела на встречную полосу. Это было ужасно. — Она шарила в карманах, нащупывая носовой платок. Я дал ей свой. — Сказали, чудо, что он вообще выжил. Видели бы вы автомобиль. Нет, не нужно вам его видеть! Никому не пожелаю увидеть такое. Чудо.

— Что ж, — сказал я женщине, стараясь ее утешить, — насколько я понимаю, «обычных» случаев комы нет. Кома может длиться бесконечно, пока не произойдет смерть мозга. Но до тех пор всегда есть надежда. Однажды я читал о молодом человеке, очнувшемся после четырех лет. Который тут же спросил, пропустил ли он домашнее задание. Вы, наверное, слышали...

— Смерть мозга, — повторила женщина, с трудом выговаривая слова.

Я заметил, что она содрогнулась.

— Таково последнее распоряжение Верховного суда. Но даже тогда, — быстро продолжил я, — надежда остается. Помните девушку из Нью-Джерси? Она все еще жива. И может выйти из комы в любой момент. — Я лгал. — Есть и другие вроде нее. Их, в сущности, очень много. Почему...

— Значит, надежда есть, да?

— Уверен, — заявил я, насколько мог искренне.

— Но если, — сказала она, — предположим... Что на самом деле происходит потом? Как это работает? О, я знаю об Акте поддержания и культивации. Врачи объяснили все еще в самом начале, просто на всякий случай. — Она оглянулась на отделение коматозников и вздохнула, глубоко и неуверенно. На самом деле ей ничего не хотелось знать. Только не сейчас. — Выглядит так мило и чисто, верно? Они еще могут оказать огромную услугу обществу. Почки, глаза, даже сердце. Это чудесно. Да?

— Это замечательно, — согласился я. — Ваш муж, он подписал бумаги?

— Нет. Он всегда отмахивался. Уильям никогда не любил думать о таких вещах. Он не верил, что можно накликать несчастье. Теперь я желаю только, чтобы он сумел поговорить со мной об этом, пока еще есть время.

— Уверен, до этого не дойдет, — немедленно отозвался я. Вид ее слез терзал мне душу. — Вот увидите. Все шансы на вашей стороне.

Мы сидели бок о бок в тишине, когда из лифта аккуратно выкатилась уборочная тележка из нержавеющей стали, проехав мимо нас в сторону зоны наблюдения. Я не мог не обратить внимание на особый запах кожи женщины. Весенние цветы. Как же это не похоже на больницу, где надо всем висят облака дезинфицирующей вони, которая мало-помалу впитывается в самые поры твоего тела. Я осторожно изучал женщину: крохотные, прелестные ушные раковины, кровь быстро и так естественно пульсирует под здоровой кожей. Где-то заурчал электронный ионизатор воздуха, и в конце коридора глухо зазвенел сигнал вызова.

— Простите меня, — снова заговорила она. — Мне не следовало бы спрашивать, но... Расскажите мне о вашей жене. — Женщина повернулась ко мне. — Не странно ли это? — Нас разделяли считаные дюймы. — Так утешительно поговорить с тем, кто понимает. Не думаю, что врачи по-настоящему понимают, каково нам, тем, кто ждет.

— Им не понять, — кивнул я.

— Я хорошо умею слушать, правда. Уильям всегда так говорил.

— Моя... моя жена подписала соглашение универсального донорства два года назад, — неохотно начал я, — когда обновляла водительские права. — «Действительное до ее следующего дня рождения», — подумал я. Как просто. Слишком просто. Карен, откуда тебе было знать? А мне откуда? Но я должен был знать. Должен был предвидеть. Должен был остановить твою руку. — И вот она здесь. Уже год. Ее электроэнцефалограмма была признана отвечающей требованиям почти немедленно.

— Вас, верно, утешает, — сказала она, — то, что вы знаете, что она не страдает.

— Да.

— Видите ли, я на этом этаже впервые. Как его называют? — Она трещала без умолку, наверное, чтобы отвлечься.

— Биохранилище.

— Да, именно так. Я подумала, что стоит посмотреть, как оно здесь, просто на всякий случай. Для моего Уильяма. — Она храбро попыталась улыбнуться. — Вы часто навещаете ее?

— Насколько возможно.

— Уверена, это очень важно.

«Для кого?» — мелькнула у меня мысль, но я не стал заострять на ней внимание.

— Не волнуйтесь, — сказал я. — Ваш муж поправится. С ним все будет в порядке. Вот увидите.

Наши ноги соприкоснулись. Как давно я не ощущал контакта с чувствующей плотью! А не предложить ли мне теперь, в свою очередь, ей чашечку кофе в кафетерии или что-нибудь еще? Выпивку, например.

— Хочется верить, — ответила она. — Это единственное, что еще держит меня на плаву. Все кажется таким нереальным, да?

Ее яркие дрожащие губы попытались сложиться в улыбку.

— А теперь мне правда пора идти. Я могу принести ему что-нибудь, не так ли? Знаете, из того магазинчика внизу? Мне говорили, здесь, прямо в здании, чудесная лавочка. И я приду в часы посещения и сделаю ему подарок. Когда он очнется.

— Хорошая мысль, — отозвался я.

Она решительно сказала:

— Не думаю, что я еще раз приду на этот этаж.

— Удачи, — пожелал я. — Но сперва, Эмили, если захотите, я тут подумал...

— Как звали... как зовут вашу жену? Ничего, что я спрашиваю?

— Карен, — ответил я. — Карен. — О чем я думаю? Простишь ли ты меня? Ты же простишь, да, милая?

— Какое красивое имя, — сказала она.

— Спасибо.

Она встала. Я не пытался задержать ее. Есть такие вещи, которые нужно уладить прежде, чем начинать что-то новое. Ты напомнила мне об этом, да, Карен? Я едва не забыл. Но ты мне не позволила.

— Наверное, мы больше не встретимся, — сказала женщина.

Кажется, в ее глазах блестела радость.

— Нет.

— Вы не... вы окажете мне одну маленькую любезность?

Я смотрел на нее.

— Как вы считаете, что мне подарить ему? У него столько славных вещиц. Но вы мужчина. Что бы вам хотелось иметь, если бы вы оказались в больнице? Не дай бог, — добавила она, ласково улыбнувшись.

Я сидел. Я не мог говорить. Я должен был сказать ей правду. И не мог. Это выглядело бы жестокостью, а жестокость не в моем характере.

Что подарить человеку, у которого нет ничего?

II

Я проснулся.

Телефон молчал.

Я залез в аптечку, проглотил очередную пригоршню таблеток L-триптофана и, не успокоившись, снова улегся, надеясь на долгий и милосердный сон без сновидений.

Скоро, слишком быстро, хотя и недостаточно быстро, я провалился в глубокую тревожную дрему.

А очнувшись, обнаружил себя запертым в глухом ящике.

Я стал колотить по крышке, я бил и пинал, пока пальцы на ногах не сломались, а содранные локти не залила кровь. Потом полез в карман за зажигалкой, древней «Zippo», щелкнул кремнем. Вспышка позволила мне прочитать выгравированную на приделанной к обитой атласом стенке табличке надпись. «ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ ГАРАНТИИ» — гласили каллиграфически выведенные буквы. Я закричал, надрывая горло. Язычок жара от зажигалки лизнул белые складки и набросился с жадными поцелуями на мое лицо. Огонь стремительно распространялся по моему корчащемуся телу. Я вдыхал пламя.

Вдруг крышка откинулась.

Двое санитаров в белом склонились надо мной, гася пожар бьющей из шланга водой. Один из них хихикнул.

«Интересно, как это случилось?» — сказал он.

«Самовозгорание?» — предположил его коллега.

«Это жутко облегчило бы нашу работу», — хмыкнул первый. Он смотал шланг, и я сквозь опаленные веки увидел, что пожарный рукав присоединен к крану, укрепленному на столе из нержавеющей стали. По краям стола тянулись желобки, а на конце зияло сливное отверстие.

Я снова закричал — беззвучно.

Санитары отвернулись.

Я забарахтался в гробу. Боли не было. Мыслимо ли это? Я принялся рвать на себе одежду, обнажая обожженную плоть.

«Видите? — кричал я. — Я жив!»

Они не слышали.

Я вцепился в свою грудь дымящимися пальцами, и обугленная кожа отслоилась, скатываясь под ногтями. «Видите кровь в моих венах? — надрывался я. — Я не один из них!»

«Что с этим-то делать? — спросил санитар. — Ну, обгорел чуток. Как знать, может, еще сойдет».

Я увидел выпотрошенные останки других, поблескивающие в раковине, в колбах и пластиковых мешках. Схватил скальпель. Полоснул себя по руке. Вспорол курящуюся ткань рубахи, вспорол кожу, оставляя свежие надрезы, похожие на приоткрытые белые губы, режа глубже и глубже, добираясь до мышц и костей.

«Видите? Разве из меня не льется кровь?»

Они не слушали.

Я побрел по бальзамировочной, натыкаясь на контейнеры и опрокидывая баки, расплескивая их бледное содержимое по полу морга.

Тело мое еще дымилось, когда я вывалился в холодный серый рассвет.

Куда мне идти? Что мне осталось? Должно быть место. Должно быть...

Ударили колокола, и я проснулся.

Лихорадочно нашарил телефон.

Женщина. Голос ее звучал с облегчением, но дрожал, когда она назвала мое имя.

— Слава богу, вы дома, — сказала она. — Я понимаю, уже поздно. Но я не знала, кому еще позвонить. Простите, что побеспокоила вас. Вы меня помните?

На этот раз не повезло. «Когда? — подумал я. — Сколько еще?»

— Вы слышите меня, — произнес я.

— Что? — Она пыталась сдержать истерику, но я уловил, как она зажала трубку и всхлипнула. — Наверное, плохая связь. Я вешаю трубку.

— Нет. Пожалуйста. — Я резко сел, стирая с лица невидимую паутину. — Конечно же, я вас помню. Здравствуйте, миссис Рихтерхаузен. — Интересно, который сейчас час? — Рад вас слышать. Как вы узнали мой телефон?

— Запросила информационную базу. Я не забыла ваше имя, не могла забыть. Вы были так добры. Мне нужно поговорить с кем-то, прежде чем снова вернуться в больницу.

Значит, пришел ее черед. Она предстанет перед бедой лицом к лицу; ничего уже не отложишь.

— Как ваш муж?

— Мой муж, — сказала она, не слушая. Помехи на линии на миг прервали ее голос. Сигнал восстановился, но нас по-прежнему разделяла решетка мембраны, словно мы находились в электронной исповедальне. — Сегодня в полпервого ночи его... как это называется?.. — Она закусила губы, но контролировать слезы не получалось. — Его ЭЭГ. Электроэнцефалограмма. Она... остановилась. Так мне сказали. Прямая черта. Ничего больше. Это, сказали, необратимо. Как это могло случиться? — в отчаянии воскликнула она.

Я подождал.

— Они хотят, чтобы вы подписали, да, Эмили?

— Да. — В голосе ее звучало мучение. — Это ведь хорошее дело, верно? Вы сами так говорили, днем. Вы знаете об этом. Ваша жена...

— Мы сейчас говорим не о моей жене, не так ли?

— Но мне сказали, так будет правильно. Доктор сказал.

— Что именно, Эмили?

— Обеспечение жизнедеятельности, — патетически произнесла она. — Поддержка. — Она все еще не понимала, о чем говорит. — Мой муж представляет большую ценность для науки, для

медицины. Не все годные к использованию органы можно забрать сразу. Какое-то время уйдет на поиск подходящих реципиентов. Вот почему поддержка так важна. Это гораздо надежнее и эффективнее хранения органов. Ведь так?

— Не думайте об этом как об «обеспечении жизнедеятельности», Эмили. Не заблуждайтесь. Нет больше никакой жизни, которую надо «поддерживать».

— Но он не умер!

— Нет.

— Тогда в его теле нужно поддерживать жизнь...

— Не жизнь, вовсе не жизнь, — сказал я. — Ваш муж теперь — и еще надолго — не жив и не мертв. Вы это понимаете?

Для нее это оказалось слишком. Она сломалась.

— К-как я могу понять? Я не могу попросить их отключить аппаратуру. Как я могу поступить так с ним?

— Так разве это не решение — не отключать аппараты?

— Но это ведь ради блага человечества — так мне сказали. Ради тех, кто еще не родился. Разве это не правда? Помогите мне! — взмолилась она. — Вы добрый человек. Мне нужно быть уверенной, что он не страдает. Как вы считаете, этого он хотел? Этого хотела ваша жена? По крайней мере, так вы можете навещать ее, видеть ее. Это ведь важно для вас, да?

— Он ничего не чувствует, если вас интересует именно это. Не чувствует сейчас и не почувствует никогда. Никогда больше.

— Тогда все в порядке?

Я промолчал.

— Она же пребывает в мире, несмотря ни на что, верно? Все это почему-то кажется таким ужасным. Я не знаю, что делать. Помогите мне, пожалуйста...

— Эмили, — с огромным трудом выговорил я. Но сказать *это* необходимо. — Вы понимаете, что произойдет с вашим мужем, если вы подпишете соглашение о Поддержке?

Она не ответила.

— А вот что. Слушайте, как это начинается. Сперва его подсоединят к компьютерному сортировщику клеток, чтобы отследить лейкоциты, тромбоциты, эритроциты, антигены, которые нельзя сохранить. Он станет круглосуточно производить бесконечный красный поток для переливаний...

— Но переливание крови спасает жизни!

— Не только для переливаний, Эмили. Его вены станут полем боя вирусов, пневмонии, гепатитов, лейкемии, раковых клеток. А потом его тело опустошат, точно тушу закодотой свиньи, и накачают его новыми экспериментальными токсинами, чтобы он мог продолжать вырабатывать антитела к ним. Слушайте меня, слушайте. Он начнет разлагаться изнутри, Эмили. Он станет

вместилищем разнообразнейших хворей, опухолей, паразитов. Он провоняет жаром лихорадки. Сердце его съежится, мозг разъест туберкулез, все полости тела дадут приют инфекциям. Волосы его выпадут, кожа пожелтеет, зубы раскрошатся и сгниют. Во имя науки, Эмили, во имя их драгоценных исследований.

Я сделал паузу.

— Вот так, если ему еще повезет.

— Но пересадка...

— Да, верно! Вы совершенно правы, Эмили. Если не кровь, тогда трансплантация. Они будут забирать орган за органом, клетку за клеткой. И это растянется на годы. Пока машины в состоянии качать легкие и сжимать сердце. И наконец, когда возьмут его глаза, почки и все остальное, придет черед нервной ткани, лимфоузлов, тестикул. Из него высверлят костный мозг, а когда он кончится, возьмутся за желудок и кишки, как только научатся пересаживать и эти органы. А они научатся. Поверьте мне, научатся.

— Нет, пожалуйста...

— И когда он будет досконально, стопроцентно выпотрошен — или когда его тело сожрет изнутри само себя, — когда не останется ничего, кроме дышащего мешка, набитого собственным дерьмом, знаете, что с ним сделают тогда? Знаете? Тогда с него начнут сдирать кожу: с рук, с ног, с черепа, по паре миллиметров зараз, для наращивания, пересадки и перепересадки, пока...

— Хватит!

— Заберите его, Эмили! Заберите вашего Уильяма оттуда сегодня же, сейчас же, прежде чем техники приберут его к своим кровавым рукам! Ничего не подписывайте! Везите его домой! Берите его и похороните навечно! Сделайте это для него. И для себя. Подарите ему покой. Сделайте ему этот последний, самый ценный подарок! Даруйте ему мир! Вы же можете это сделать, можете? Вы можете?

Далеко-далеко, на другом конце города, глухо стукнула брошенная на рычаг трубка. И только тогда я услышал другой звук — звук, который я счастлив был бы не слышать никогда.

«Удачи, Эмили, — подумал я, рыдая. — Удачи».

Я продолжил свое ночное бдение.

Я пытался очнуться — и не мог.

III

Перед дверью моего дома стоит машина. Она жрет людей, пережевывает их и выплевывает только то, что не может использовать. Она хочет добраться до меня, знаю, хочет, но я ей не дамся.

Звонок, которого я жду, никогда не раздастся.

Теперь я в этом уверен. Врач, или медсестра, или секретарь, или автоответчик никогда не известят меня о том, что все кончено, что процедура более нерентабельна и ее останки выдадут мне для захоронения или кремации. Ни вчера, ни сегодня — никогда.

Я резал ее артерии украденным скальпелем. Я вгонял ледоруб в ее мозг, надеясь повредить двигательные центры. Я защемлял ее нервные узлы. Я прокалывал ей барабанные перепонки. Я вгонял в нее иглы, пытаясь проткнуть сердце или легкие. Я прятал щелочь в складки ее шеи. Я повредил ей глаза. Но все бесполезно. Моих усилий никогда не достаточно.

Они никогда не отпустят ее.

Когда я сегодня приду в больницу, ее не будет в палате. Ее уже отдадут интернам для спинномозговых пункций и артериограмм, для хирургической практики на кадавре — не живом и не мертвом. Она окажется во власти мясников, студентов-первогодков с их ржавыми тупыми ножами, любителей поперечных разрезов...

Но я знаю, что сделаю.

Я обыщу все этажи, все лаборатории, распахну все потайные двери крыла, и, когда я найду ее, я ее тихонько выкраду; я обеспечу ей безопасный проход. Я же могу это сделать, могу ведь? Я доставлю ее туда, куда даже им не дотянуться, — за границы, отделяющие живых от мертвых. Я перенесу ее через порог в иной мир, где бы он ни был.

И там я останусь с ней, я буду с ней, найду с ней убежище среди мертвых. Я растерзаю свое тело, и пусть разложение приведет нас с ней в один тихий приют. И там я останусь и проживу со смертью срок, отпущенный мне вечностью.

Пожелайте мне удачи.

ЛИЗА МОРТОН

Папулин монстр

Лиза Мортон живет в Северном Голливуде. В 1989 году она дебютировала как киносценарист, написав сценарий к фэнтезийному фильму под названием «Знакомьтесь: Пустоголовые» («Meet the Hollowheads»), известному также как «Жизнь на грани» («Life on the Edge»), кроме того, Мортон выступила помощником продюсера этого проекта. На следующий год она попробовала себя в качестве автора песен к фильму «Приключения в городе динозавров» («Adventures in Dinosaur City» или просто «Dinosaurs»), снятому для «Disney Channels».

Писательница осуществила театральную постановку работ Филипа Дика («Свободное радио Альбемута» («Radio Free Albemuth»)) и Теодора Старджона («Кладбищенский читатель» («The Graveyard Reader»)), а также собственных одноактных пьес: «Территориальный императив» («The Territorial Imperative»), «Что за дебошир» («What a Riot») и «Нормальная реакция» («Sane Reaction»), получивших одобрение критиков как в Нью-Йорке, так и в Лос-Анджелесе.

Лиза Мортон написала сценарий к шестидесяти пяти сериям проекта «Дети Тунтауна» («Toontown Kids»), выпускаемого «Disney TV», и опубликовала рассказ в антологии «Темные голоса 6. Книга ужасов от „Pan"» («Dark Voices 6: The Pan book of Horror»).

В этот раз папуля бил ее больнее, чем обычно. Как только хлопнула дверь, она сразу поняла: придется туго. Он появился поздно, после десяти вечера, а няня Хезер, жившая по соседству на той же улице, ушла еще в семь.

Стейси растянулась перед телевизором, включенным на полную громкость, и с упоением начала трудиться над книжкой-раскраской «Аладдин». Девочка купила ее на тайно сэкономленные деньги, которые ей выдавали на ланч. Само собой, мультфильма она не смотрела, но любила разглядывать яркие картинки на обложке и черно-белые контуры внутри и представлять себе, что видела его. Вооружившись коробкой цветных карандашей в шестьдесят четыре цвета, она раскрашивала рисунки и сочиняла сюжет. Ей нравилось фантазировать, ведь то, что она выдумывала, всецело принадлежало ей, и папуля не мог это отобрать.

Он что-то бормотал себе под нос, когда вошел. И первым делом бросился к телевизору, чтобы выключить звук.

— Боже всемогущий, Стейси, зачем ты вечно включаешь телевизор на полную катушку? Меньше всего мне хочется выслушивать жалобы соседей.

Он повернулся и пнул коробку с карандашами. И они разноцветной дугой разлетелись по комнате.

— Ой! Это еще что за...

Папуля поднял с пола раскраску, взглянул на нее и ткнул Стейси книжкой в лицо:

— Сколько раз тебе говорить, Стейси, ты уже слишком взрослая для такой ерунды. Тебе уже десять лет, пора прекратить подобные детские глупости!

Стейси услышала, как под ботинками хрустнули карандаши. Ярко-красный, красновато-коричневый и васильковый — три растоптанных цвета, которыми ей больше никогда не суждено рисовать.

И все же она понимала, что папуля прав: в десять лет уже не принято возиться с раскрасками, наборами ферм от Фишер-Прайс или мягкими игрушками. Одноклассники уже обзаводились любимыми группами, проходили до конца компьютерные игры и вешали в своих комнатах плакаты красивых кинозвезд. Только не Стейси. Она знала, что ее считают либо странной, либо слабоумной, а одна учительница как-то раз назвала ее «отстающей в развитии». Тогда папуля засунул дочери в рот воронку и залил в нее отвратительную на вкус жидкость, которая, как он сказал, сделает ее умнее.

Но сегодня она ожидала другого. Он уже наполовину разделся и расстегнул тяжелый кожаный ремень, который болтался в шлевках дорогих брюк. Она не могла понять, о чем он говорит: что-то о мальчишке, который сегодня раскричался и укусил его за руку. Он показал ей крохотную красную отметину на пальце. Почему это так его взбесило? Ведь пару раз в месяц он сам оставлял на ее теле рубцы куда страшнее этой царапинки.

Он велел ей отправляться в комнату и лечь на живот. Она не сопротивлялась и не пыталась убежать, потому что знала: иначе будет еще хуже. Стейси пошла к себе в комнату и схватила плюшевого медведя Балу. Когда она крепче держалась за Балу, было не так больно. Не намного, но чуточку.

Папуля вытащил ремень и, сжимая его двумя руками, ввалился к ней в комнату. Он задрал ее коротенькую юбочку, стянул колготки и трусики. Стейси даже не отдавала себе отчета в том, что впилась зубами в ухо Балу. Кожаный ремень со свистом рассек воздух. Она изо всех сил пыталась не кричать и не

дергаться — порой это лишь усугубляло наказание. Ей оставалось беззвучно лить слезы и уповать на то, что сегодня папуля устал.

Закончив с поркой, он схватил ее за запястье и поташил в туалет. Щелкнула задвижка на двери снаружи. Потом он вышел из комнаты и наконец оставил ее одну.

Папуля даже не догадывался, что ей нравилось сидеть в туалете. Вместе с ней там были ее друзья: слон Бабар и оранжевый мохнатый Плуто. А еще маленький переносной телевизор, который в прошлом году ей подарила тетя Джина. Она даже хранила в туалете подушки и старое одеяло. Когда Стейси разулась, то почувствовала себя вполне комфортно. То есть так могло бы быть, если бы положение лежа не доставляло столько боли.

Она прижала к себе плюшевых зверей и включила телевизор, настроенный на канал, который с пяти утра начинал показывать мультфильмы. Но Стейси в общем-то было все равно, что по нему идет. Писклявые голоса и картинки на экране успокаивали ее, и она не чувствовала себя такой одинокой.

Через некоторое время она задремала, а когда проснулась, то обнаружила, что у нее жар и мягкое место мучительно горит. Стейси попыталась найти удобное положение и примостилась на боку, практически уткнувшись носом в экран, на котором она увидела мужчину в смешном костюме и с забавным акцентом, выступающего перед каким-то занавесом. Когда он закончил болтать, на экране показались слова. Только читала Стейси не очень хорошо. Впрочем, ей все равно было безразлично, что там написано. Потом появились глаза и начали вращаться вместе со словами...

Стейси заболела. Она знала, что такое жар, и чувствовала, что сейчас как раз такой случай. Когда мамуля была жива, она касалась дочкиного лба ладонью и сразу понимала, насколько сильно та больна. Стейси помнила, как однажды заболела с очень высокой температурой и мамуля вместе с ней легла в ванну с холодной водой и покачивала ее там до тех пор, пока температура не спала...

Очнувшись от грез о матери, Стейси переключилась на изображение на экране. Там был темноволосый мужчина с запавшими глазами и тонкими губами, похожий на папулю. Этот человек вместе с другом, сгорбленным и скрюченным, опирающимся на небольшую тросточку, на пару что-то вырезали из деревянной заготовки. Похожий на папулю человек сказал, что тело изувечено и бесполезно.

Стейси не могла уснуть по-настоящему. Она лежала с закрытыми глазами до тех пор, пока боль не вынудила их снова рас-

крыть. И вот опять она увидела того же человека, на нем был такой же белый халат, который папуля носил на работе. Мужчине с забавным акцентом он показывал, как пришил кисть к руке, которой она не принадлежала. Каким-то образом Стейси поняла, что похожий на папулю человек собрал Монстра, как они его называли, из всевозможных различных частей. На вид Монстр был ужасен, но боялся, что его могут сжечь, выпороть, посадить на цепь или застрелить. Стейси все это понимала.

Она даже поняла маленькую девочку — чуть моложе, чем она сама, — которая, используя цвета, просила Монстра, чтобы тот бросил ее в озеро.

После этого Стейси с облегчением поняла, что не одна, и уснула по-настоящему.

Утром папуля ее, конечно же, выпустил. На улице было около восьмидесяти градусов по Фаренгейту[1], но Стейси, как обычно, пошла в школу в толстом свитере, юбке и колготках. Она вспомнила о чудном голубом бассейне на заднем дворе соседского дома, в котором ей никогда не суждено плавать. На вопрос о манере Стейси одеваться ответ был однозначным: папа девочки — педиатр, он говорит, что дочь страдает неврологическим расстройством.

Это объясняло многое. Например, то, что Стейси часто засыпала на уроках и иногда слишком явно ожидала перемены, что ей сложно сконцентрироваться, запомнить или пересказать материал. Также все знали и о том, что шесть лет назад мама девочки умерла от рака и с тех пор отец растил дочь один.

Многие жалели отца Стейси — молодого педиатра, который так любил детей, что решился сам воспитывать слабоумную и болезненную девочку.

Этим вечером папуля рано вернулся домой, отослал няню и приготовил обед. Стейси он налил супа с отвратительным запахом и велел съесть горячим.

Над тарелкой поднимался пар. Девочка взяла ложку, зачерпнула из тарелки и поднесла ко рту. Суп жег язык и нёбо, но папуля говорил, что еда нормальная. И заставил ее все съесть, пока шел пар.

Потом Стейси вымыла посуду, пошла в свою комнату и свернулась калачиком на кровати, прижимая к себе Балу. Она вспоминала фильм, который вчера ночью видела по телевизору, и блуждала среди видений, забыв про жжение во рту.

---

[1] Около 26,7 °С.

Папа одет в белый халат, который обычно носит на работе, но кабинет его больше, темнее, с каменными стенами. Вдоль них расположена уйма непонятных приборов, некоторые искрят, словно фейерверк четвертого июля. Папа стоит спиной к ней, он склонился над рабочим столом и что-то ритмично делает руками. Картинка смещается, и вот Стейси отчетливо видит, что делает папуля.

На столе перед ним распростерто тело — человеческое, но недоделанное, лишенное некоторых частей. Руки без кистей, ноги без ступней и голова без лица. Стейси увидела, что папуля зажал в пальцах иголку с ниткой, и поняла, что он шьет так же, как мамуля, когда у дочки отрывались пуговицы или рвались штанишки.

Стейси приближается и видит, что именно он шьет. Он работает надо ртом, который зияет пустым черным провалом. В его левой руке зажат комок серой мертвой плоти, которая с одного края потемнела от стежков. А правая рука двигается вверх-вниз, вверх-вниз.

Он вшивает язык.

Так рождается Монстр.

На следующий день собственный язык Стейси болел. Он был покрыт волдырями от ожога. Папуля подлечил рубцы на ягодицах, и теперь они болели меньше, но из-за обожженного языка девочка стала еще менее разговорчивой, чем обычно. В школе только буфетчица мисс Вашингтон заметила это и спросила, что случилось.

Стейси не захотела отвечать. Перед глазами стоял образ папули с иглой и нитью. Но не в силах сдержаться, она выпалила:

— Папуля заставил меня съесть горячее.

Мисс Вашингтон прежде ни разу не разговаривала со Стейси и знала ее только в лицо, поэтому уточнила, кто такой папуля.

— Мой папа, — еле ворочая языком, ответила Стейси.

Мисс Вашингтон надолго задумалась. Потом мягко сказала Стейси:

— В следующий раз ты ответишь «нет», слышишь?

Стейси торопливо рассчиталась с мисс Вашингтон и быстро убежала. Вкуса еды она не ощущала, просто жевала и глотала.

Через неделю папуля пришел домой, весь пропитанный горьким запахом пива. Стейси сочиняла письмо воображаемому другу по переписке, тщательно подбирая слова и трудясь над правописанием; в письме говорилось о папуле. Он нашел исписанный листок, прочитал первое предложение и сказал Стейси, что если ей так нравятся эти слова, она может их съесть. Папуля

порвал бумагу на клочки и затолкал ей в рот, не давая выплюнуть. Таким образом ей пришлось съесть целый лист, а затем отправиться в кровать без ужина.

Ночью Стейси снова видит папулю за работой. Нынче его творение более оформленно — уже заметны зачатки черт лица. Он разрезал Монстра посредине и вживил нечто похожее на мерцающие сизо-голубые шары, наполненные желе с трубочками по сторонам. Он присоединяет их к тем, что уже находятся в Монстре, затем начинает сшивать.

Теперь у существа есть кишки.

На следующий день, в середине четвертого урока, Стейси стошнило. Девочку тут же отпустили домой. Пока в классе шла уборка, дети радовались незапланированному перерыву в занятиях. Уборщик обмакнул швабру в ведро, и тут что-то привлекло его внимание. Он наклонился. В желчных рвотных массах он увидел пожеванные обрывки бумаги, и среди них ясно различимые слова «и тогда папуля сделал».

Он подумал, рассказать ли об этом учителю, но потом пожал плечами и принялся за уборку.

Около месяца прошло без серьезных происшествий. Стейси уже начала думать, что папуля, верно, отказался от своего Монстра. Однако однажды он пришел домой раньше обычного и заплакал. Сегодня день рождения мамули. Папуля смотрел на ее фотографию в рамке и пил прямо из бутылки. Вслух вел речь о том, что мог бы спасти мамулю от рака, если бы был не педиатром, а настоящим врачом. Он заметил застывшую Стейси, которая смотрела на него, и бросился к ней. Первая ее реакция — скорее вытянуть вперед руки, отгородиться от него. Папуля взял ее маленькие ладошки в свои, грубо прижал к небритым щекам и зарыдал. Наконец, погрузившись в глубокую печаль, он отпустил Стейси. Она убежала в свою комнату. На сей раз ей не было больно, но воспоминание о прикосновении к коже папули почему-то вызывало отвращение.

Она смотрит, как папуля приделывает руки. Видит, что он потрудился на славу, — обмотанное бинтами существо выглядит вполне по-человечески. Ясно, что скоро папуля закончит работу.

Монстр почти готов.

На следующий день в школе у Стейси был урок рисования. Учитель мистер Торрес заметил, что Стейси рисует не на бумаге, а у себя на руках. Он отвел Стейси в сторону и расспросил

о странных красных отметинах, которые девочка нарисовала на каждом запястье. Стейси рассказала, что так папуля удостоверится, что руки останутся на месте. Мистер Торрес обвел взглядом класс: все ученики были заняты делом. Тогда он вывел Стейси из класса и сел вместе с ней на ступеньку.

— Стейси, — осторожно спросил он, — твой папуля когда-нибудь делает тебе больно?

До этого ее никто никогда об этом не спрашивал, поэтому она пожала плечами, не зная, что ответить.

— Скажи, Стейси, ты не против того, чтобы школьная медсестра тебя осмотрела?

И снова девочка пожала плечами. Мистер Торрес подписал ей карточку-разрешение на выход из класса и отправил к врачу, но до медкабинета Стейси так и не дошла. На полпути она вдруг запаниковала. Сердце трепетало где-то в горле, и ей показалось, что она вот-вот описается. Со всех ног Стейси помчалась домой и закрылась в туалете, крепко прижимая к себе Балу, Бабара и Плуто.

Через две недели — день рождения самой Стейси. В честь ее одиннадцатилетия папуля купил ей новое платье и повел в дорогой ресторан. Он пил столько, что забеспокоился даже официант в коротеньком пиджачке и галстуке-бабочке. На вежливый вопрос официанта папуля ответил взмахом кредитки. Тот удалился, а папуля захихикал вместе со Стейси. Он даже дал ей попробовать немного вина — «теперь, когда она стала такой большой девочкой», — и Стейси почувствовала прилив любви к нему, на миг позабыв о Монстре.

По пути домой папуля остановился у винного магазина и сказал Стейси, что она может выбрать любое мороженое с прилавка. Стейси взяла фруктовое, ананасовое, а папуля купил себе бутылку. И всю дорогу до дому они смеялись над желтым замороженным десертом, который вылезал из бумажного стаканчика.

Дома папуля надолго присосался к бутылке, а потом заметил, что Стейси десертом перепачкала подбородок и новое платье. Девочка ждала, что он рассердится, и напряженно замерла... Но вместо этого он сально улыбнулся и повел ее на кухню. Смочив бумажное полотенце, они нежно вытер подбородок и принялся за платье. Новый наряд был сшит из жатого бархата, и папуля сказал, что лучше его снять, чтобы не испортить. Он помог Стейси раздеться прямо на кухне. Она скрестила руки, прикрывая холодную грудь.

Папуля спросил, что она пытается спрятать, — разве он не видел ее прежде? Ее хотелось засмеяться, хотелось думать, что

это очередная шутка и игра в честь дня рождения, но папулин взгляд говорил совсем о другом. Папуля оторвал руки девочки от груди и начал ее поглаживать. Стейси попыталась вырваться, и на этот раз папуля рассердился. Он спросил, любит ли она своего папулю. Она не ответила.

Он спросил снова, только на сей раз завалил ее на стол. И Стейси почувствовала, как его горячее дыхание обжигает ухо.

Монстра сотрясает электрический разряд — первобытная сила, которую наслал папуля. Аппаратура подает сигналы и сверкает, Монстр дергается под бинтами, потом смятение прекращается, стол опускается.

Удар, немое сомнение — затем пальцы начинают медленно шевелиться и разгибаются, объемная грудная клетка вздымается, впервые всасывая воздух. Папуля расстегивает фиксирующие ремни и отходит назад, гордо глядя на плод своего труда.

Монстр живет.

Пошатываясь, папуля побрел в свою комнату, упал и заснул в пьяном угаре, оставив на полу кухни изувеченное тело дочери. Почти до самого рассвета она недвижимо лежала, не в силах шевельнуться от ужаса и боли. Она чувствовала во рту привкус крови, которая также горячей струйкой бежала между ног; один глаз заплыл и почти не открывался; что-то болело в груди.

Она попыталась выползти из кухни, но направилась не к себе в комнату, а к задней двери. По трем маленьким ступенькам она практически скатилась на газон, затем пробралась к щели в заборе между ее двором и соседским. Солнце стояло уже высоко, но сжигающий Стейси жар был так велик, что она не ощущала палящих лучей.

Не обращая внимания на вонзающиеся в руки занозы, она проползла в зазор между деревянными досками. Прямо перед ней расстилался большой голубой водоем, спокойные воды манили ее. Наконец она добралась до края бассейна. Достигнув цели, она бросилась в воду. Рука непроизвольно ухватилась за розовый куст. Шипы поранили пальцы, а по воде, как крохотные лодочки, поплыли лепестки роз.

Она слышит тяжелые шаги и знает, что он наконец пришел. Он увидит лепестки и по ним прочтет ее просьбу, а потом он поможет, потому что они понимают боль друг друга.

По другую сторону забора она видит тень. Ее сердце ёкает. Тень останавливается у щели в заборе, потом движется к воротам. Открывается калитка заднего двора, потом еще одна...

И Монстр здесь.

Стейси приветливо улыбается и бросает еще один лепесток. Монстр шатко идет вперед. Стейси видит, что он улыбается ей в ответ. И склоняется над ней. Стейси смотрит в его подернутые пленкой смерти глаза и видит в них только доброту. Он тянет к ней руки, и она чувствует, как ее тело покачивается в его гигантских объятиях.

Затем воды одеялом смыкаются над ней, совсем как тогда, давным-давно, когда мама качала ее в ванне...

И через толщу чистой воды она смотрит вверх и видит папулю.

В шоке она раскрывает рот; туда льется вода. Она позволяет ей заполнить тело и удивляется, что не чувствует ни боли, ни страха. Стейси просто плывет, восхитительно скользит в голубой толще воды, где никто не может добраться до нее, где она наконец в безопасности.

По другую сторону ее ждет нежный Монстр.

КАРЛ ЭДВАРД ВАГНЕР

Глубинное течение

До того как полностью посвятить себя писательской деятельности, Карл Эдвард Вагнер учился на психиатра. Его первая книга «Паутина тьмы» («Darkness Weaves with Many Shades»), вышедшая в 1970 году, знакомит читателей с колдуном-варваром Кейном. Этот персонаж появляется еще в двух романах — «Кровавый камень» («Blood Stone») и «Поход Черного Креста» («Dark Crusade»), а также в трех сборниках — «Тень Ангела Смерти» («Death Angel's Shadow»), «Ветер Ночи» («Night Wind») и «Книга Кейна» («The Book of Kane»). Вагнер планировал опубликовать еще один сборник о Кейне под названием «Серебряный кинжал» («Silver Dagger»). Для антологии «Элрик. Сказания о Белом Волке» («Elrick: Tales of the White Wolf»), повествующей о герое-альбиносе Майкла Муркока, Вагнер написал рассказ о встрече Кейна и Элрика.

С 1980 года Вагнер являлся составителем ежегодной серии «Лучшее за год. Ужасы» («The Year's Best Horror Stories»), выпускаемой издательством «DAW Books». Писатель участвовал в создании графического романа «Скажи мне, тьма» («Tell me, Dark») издательства «DC Comics». Его работы в жанре хоррор объединены в сборники «В безлюдном месте» («In a Lonely Place»), «Почему не ты и я?» («Why Not You and I?»), «Не боясь утреннего света» («Untreatened by the Mornin Light») и посмертном издании «Экзорцизмы и экстазы» («Exorcisms and Ecstasies»).

Автор признавался, что представленный ниже рассказ, вероятно, является его самым любимым произведением о Кейне. Вагнер говорил: «Структура „Глубинного течения" основана на фильме Алена Рене „В прошлом году в Марienбаде" („Last Year at Marienbad", 1962), где намеренное искажение линейного времени создает жуткое ощущение раздробленной реальности. Когда, будучи студентом колледжа, я впервые смотрел этот фильм, киномеханик запустил бобины в неправильном порядке. Никто из зрителей даже не заметил».

ПРОЛОГ

— Ее принесли незадолго до темноты, — прохрипел смотритель, по-крабьи семеня вдоль рядов молчаливых, укрытых саванами плит. — Ее нашел городской стражник и доставил сюда. Похоже, это та, которую ты ищешь.

Он остановился у одного из доходивших до пояса каменных «столов» и поднял грязную простыню. Искаженное, смотрящее вверх невидящим взором лицо девушки — раскрашенная и нарумяненная жуткая маска шлюхи. Капли свернувшейся крови — словно ожерелье из темных рубинов.

Человек в плаще покачал головой в капюшоне, и круглолицый смотритель опустил простыню на место.

— Не та, о которой я думал, — извиняясь, пробормотал он. — Иногда можно спутать, ты понимаешь, — ведь их так много, и они то и дело приходят и уходят.

Шмыгая носом на холодном ветру, смотритель протискивался между столами, остерегаясь касаться грязных, в пятнах крови, саванов. Нависая над провожатым, укутанный плащом незнакомец молча шел следом.

Светильники не разгоняли тьму в некротории Карсультьяла. В чадящих жаровнях жгли ладан. Его вязкая сладость казалась более тошнотворной, нежели запах смерти. В густом мраке звучало эхо монотонной капели тающего льда, временами слышался еще какой-то звук. Этим вечером муниципальный морг был переполнен, как всегда. Лишь несколько из сотни или более сланцевых лож пустовали, все прочие были заняты безликими фигурами под запятнанными простынями; некоторые лежали в неестественных позах, словно беспокойные мертвецы пытались вырваться из-под грубых покрывал. Над Карсультьялом уже опустилась ночь, но в этой подземной камере без окон ночь царила всегда. В тени, пронзаемой лишь слабым пламенем похоронных светильников, лежали неоплаканными безымянные покойники Карсультьяла, ожидая, чтобы их затребовал кто-либо. Если этого не происходило, мертвецов вывозили на телеге в неприметную общую могилу за городскими стенами.

— Кажется, здесь, — объявил смотритель. — Я сейчас принесу лампу.

— Покажи мне, — потребовал незнакомец под капюшоном.

Грузный чиновник смущенно глянул на спутника. В говорившем чувствовалась сила, даже величие — недоброе знамение в спесивом Карсультьяле, башни которого тянулись вверх, к звездам, соперничая, как шептались люди, лишь с подземельями, превосходящими своей глубиной их высоту.

— Здесь плохое освещение, — пожаловался смотритель, отдергивая саван.

Гость еле слышно выругался — в его голосе звучало не столько горе, сколько звериная ярость.

Представшее перед ним лицо с широко открытыми глазами было прекрасным в жизни; в смерти оно было лиловым, опухшим, искаженным от боли. Темная кровь испачкала кончик

торчащего языка, а шея казалась изогнутой под неестественным углом. Платье из светлого шелка было смято и запачкано. Девушка лежала на спине, со стиснутыми в кулаки руками.

— Ее нашел городской стражник? — спросил посетитель жестким тоном.

— Да, едва наступила ночь. В парке с видом на гавань. Она висела на ветке — там, в роще, где весной повсюду белые цветы. Должно быть, это случилось недавно — говорили, что ее тело было теплое, как жизнь, хотя морской бриз вечером нес прохладу. Кажется, она сделала это сама — забралась на ветку, завязала петлю и спрыгнула. И зачем только они это делают — она такая же хорошенькая и юная, как те, кого сюда приносят и о которых я уже позаботился.

Незнакомец стоял в напряженной тишине, уставясь на задушенную девушку.

— Ты вернешься утром, чтобы заявить на нее права, или хочешь подождать наверху? — поинтересовался смотритель.

— Я заберу ее сейчас.

Пухлый служитель ощупал золотую монету, которую бросил ему незадолго до этого посетитель. Его губы напряглись. В некротории нередко появлялись те, кто хотел украдкой забрать тела для странных и тайных целей, — обстоятельство, делающее прибыльным сие неприятное заведение.

— Не могу этого позволить, — возразил он. — Есть законы и формуляры — тебе вообще нельзя находиться здесь в этот час. Наверху захотят получить ответы на вопросы. И еще вознаграждение...

Зарычав от невыразимой ярости, незнакомец повернулся к нему. От резкого движения капюшон упал с головы.

Смотритель впервые увидел глаза посетителя. Он успел лишь коротко вскрикнуть от ужаса, прежде чем кинжал, которого он не видел, пронзил его сердце.

На следующий день работники, озадаченные исчезновением смотрителя, начали осмотр новых ночных обитателей некротория и были потрясены, обнаружив, что тот и не думал никуда исчезать.

I
НОЧНЫЕ БРОДЯГИ

Опять этот звук.

Маврсал оторвался от раздраженного созерцания почти пустой винной бутыли и тихонько поднялся на ноги. Капитан «Туаба» был один в своей каюте, а время было позднее. Последние

часы до него доносились лишь плеск волн, бьющих в обросшее ракушками днище корабля, скрип снастей и глухой стук старого дерева о пристань. Вскоре послышались тихие шаги и приглушенный шорох среди палубных надстроек за полуоткрытой дверью его каюты. Слишком громко для крыс — может, вор?

Маврсал угрюмо вынул из ножен тяжелую саблю и подхватил фонарь. Он беззвучно вышел на палубу, с горечью размышляя о своем никчемном экипаже. Несколько дней назад все они сбежали с корабля, все, от повара до первого помощника, разозленные отсутствием денег. Шторм, редкий в это время года, вынудил их сбросить бóльшую часть груза медных слитков, и «Туаб» приполз в гавань Карсультьяла с изодранными парусами, треснувшей грот-мачтой и дюжиной новых протечек, да и прочий старый такелаж был не в лучшем состоянии. Вместо ожидаемого богатства оставшаяся десятая часть груза едва покрыла расходы по ремонту оснастки. Но сразу после починки можно будет подыскать груз и тогда, из задатка, выплатить жалованье с премией за преданность. Команду не убедили ни его логика, ни обещания: она сбежала, осыпая капитана свирепыми угрозами.

«Не вернулся ли один из них, чтобы?..» Маврсал воинственно расправил мощные плечи и взвесил в ладони саблю. Хозяин «Туаба» никогда не уклонялся от драки, тем более от воришки или крадущегося наемного убийцы.

Ночные осенние небеса ярко сияли над Карсультьялом, делая фонарь почти бесполезным. Маврсал всмотрелся в мягкие тени на палубе, щуря внимательные карие глаза под густыми бровями. Но он уже расслышал тихое всхлипывание, так что ему незачем было обходить в поисках палубу.

Он быстро прошагал к сваленному у дальнего леера такелажу.

— Ладно, вылезай оттуда! — проворчал капитан, маня кончиком сабли едва различимую фигуру, забившуюся под рваный парус. Всхлипы оборвались. Маврсал нетерпеливо потыкал брезент сапогом. — Вылезай, черт побери! — повторил он.

Брезент дернулся, высунулась пара ступней в сандалиях, за которой последовали обнаженные ноги и округлые бедра, выступавшие под сбившейся материей платья. Маврсал задумчиво поджал губы, когда девушка вылезла и встала перед ним. В глазах, встретивших его взгляд, не было слез. Аристократичное лицо казалось вызывающим, хотя расширенные ноздри и крепко стиснутые губы намекали на то, что ее бравада была напускной. Девушка нервно разгладила шелковое платье и поправила плащ из темно-коричневой шерсти.

— В каюту. — Маврсал указал саблей на освещенное помещение.

— Я ничего не делала, — возразила девушка.

— Подыскивала, что бы украсть.

— Я не воровка.

— Мы поговорим в каюте. — Он подтолкнул ее вперед, и она хмуро повиновалась.

Войдя внутрь следом за ней, Маврсал запер дверь и поставил на место фонарь. Вернув саблю в ножны, он развалился в кресле, созерцая свою «находку».

— Я не воровка, — повторила она, теребя застежки плаща.

Возможно, так оно и есть, решил он, да и что могло заинтересовать вора на дряхлой каравелле вроде «Туаба»? Однако зачем она пробралась на борт? Она шлюха, предположил он, — какое иное дело заставило столь красивую девушку в одиночку бродить по ночной пристани Карсультьяла? Она и в самом деле красива, заметил он с растущим удивлением. Рассыпавшиеся по плечам небрежно подвязанные рыжие волосы обрамляли лицо, классическую красоту которого скорее усиливала, нежели умаляла россыпь мельчайших веснушек на тонкой переносице. Зеленые глаза смотрели на него с вызовом, в котором читалась какая-то обреченность. Девушка была высокой, гибкой. Прежде чем она накинула на плечи темный плащ, он успел заметить под плотно облегающим тело платьем зеленого шелка высокие острые груди и мягко очерченную фигуру. Ее руку украшал изумруд достойного качества, а широкий ворот платья стягивала застежка, и тоже с изумрудом, куда больше первого.

Нет, решил Маврсал, она слишком красива, а ее одежда слишком дорога для заурядной уличной девки, «бороздящей» эти воды. Его изумление усилилось.

— Чем же ты занималась на борту? — осведомился он вежливее.

Ее взгляд скользнул по каюте.

— Не знаю, — ответила девушка.

Маврсал раздраженно хмыкнул:

— Ты пыталась незаметно уплыть?

— Наверное, да. — Она чуть пожала плечами.

Морской волк фыркнул и выпрямился.

— Тогда ты чертовски глупа — либо принимаешь за глупца меня! Пытаться тайком уплыть на побитом старом вояке вроде «Туаба», когда он не везет груз и когда любому видно, что проклятый корабль обновляет такелаж! Да это кольцо, которое ты носишь, может купить тебе место до любого порта, к тому же на первоклассном судне! И бродить по этим улицам ночью! Допустим, это твое дело, и, допустим, ты не слишком осторожна, но в притонах на пристани обитает всякий сброд. Тебе просто глотку перережут... Я наслушался достаточно ис-

торий о зверских убийствах хорошеньких девушек вроде тебя, чтобы...

— Перестань об этом! — напряженно выдохнула она. Съежившись во втором и последнем из имевшихся в каюте кресел, она положила локти на грубый стол и уткнулась лбом в стиснутые кулаки. Рыжие локоны закрыли ее лицо подобно вуали, так что Маврсал не мог понять, что чувствует девушка. Под распахнувшимся плащом с ударами сердца подрагивали ее груди.

Маврсал со вздохом нацедил остаток вина в свою оловянную кружку и подвинул девушке. В его буфете имелась другая бутыль; он поднялся и вытащил ее заодно со второй кружкой. Когда капитан вновь занял свое место, девушка уже пила маленькими глотками.

— Послушай, как тебя звать? — спросил он.

Она на миг замерла, прежде чем ответить.

— Дессилин.

Это имя ни о чем не говорило Маврсалу, но, судя по тому, что девушка понемногу успокаивалась, он понял: она рассчитывала, что оно покажется ему знакомым.

Маврсал разгладил коротко подстриженную каштановую бороду. Его лицо выдавало бывалого бойца; нельзя было сказать, что он еще не достиг тридцати лет; а женщинам нравилось говорить ему о грубой красоте капитана. Его несколько беспокоило левое ухо, сильно изуродованное в кабацкой драке, но оно было скрыто нечесаной гривой волос.

— Что ж, Дессилин, — ухмыльнулся он. — Меня зовут Маврсал, и это мой корабль. И если ты озабочена поисками места, то *можешь провести ночь здесь.*

Ее лицо побледнело.

— Я не могу.

Маврсал нахмурился, принимая это за оскорбление, и начал было сердито возражать.

— Я не смею... оставаться здесь надолго, — перебила Дессилин со страхом в глазах.

Маврсал с досадой скривился:

— Девушка, ты пробралась на мой корабль, как воровка, но я намерен простить тебе твой проступок. Моя каюта уютна, девицы считают меня приятным компаньоном, и я не скуп. К чему уходить туда, где в первом же грязном переулке отмеченный оспой пьянчуга возьмет задаром то, за что я желаю заплатить?

— Ты не понимаешь!

— Конечно не понимаю. — Глядя, как она нервно крутит в руках оловянную кружку, он многозначительно добавил: — Вдобавок ты можешь здесь спрятаться.

— О боги, если бы я могла спрятаться! — вскричала она. — Если бы я только *могла* от него спрятаться!

Озадаченно сведя брови, Маврсал слушал сдавленные всхлипывания, доносившиеся из-под спутанных рыжеватых локонов. Он не ожидал столь обезоруживающего отпора. Думая о том, что каждая новая попытка проникнуть в тайну, окружающую Дессилин, оставляет его в еще большем неведении, капитан отмерил себе очередную порцию вина и прикинул, не извиниться ли ему за что-либо.

— Наверное, потому я это и сделала, — бормотала девушка. — Я смогла ненадолго ускользнуть. Потом пошла по берегу, увидела вдоль всей гавани корабли, готовые к отплытию, и подумала: как прекрасно быть такой же свободной! Взойти на борт чужого корабля и отплыть в ночь, к неведомой земле, где *он* никогда не найдет меня! *Быть свободной!* О, я знала, что никогда не сумею сбежать от него так просто, но, проходя мимо твоего корабля, я захотела попытаться! Мне показалось, что я смогу хотя бы притвориться, что убегаю от него! Но только я знаю, что от Кейна не убежишь!

— Кейн! — Маврсал беззвучно выругался. Разгорающийся в нем гнев вдруг погас, сменяясь страхом.

Даже чужаку в Карсультьяле, величайшем из городов, это имя внушало ужас. О Кейне рассказывали тысячи легенд; даже в этом городе чародейства, где утерянное знание доисторической Земли было вновь открыто, Кейн сделался личностью, окутанной благоговейным страхом и тайной. Несмотря на бессчетные истории, странные и завораживающие, почти ничего не было точно известно об этом человеке, кроме того, что его башня уже столетия высилась над Карсультьялом. Там он следовал тайными путями, которыми вел его собственный темный гений, и руку Кейна редко видели (хотя и часто ощущали) в делах Карсультьяла. Братья колдуны и властители мирских дел единогласно произносили его имя со страхом, а тем, кто осмеливался враждовать с ним, редко отводилось время раскаяться в собственной наглости.

— Ты женщина Кейна? — вырвалось у Маврсала.

В ее голосе сквозила горечь.

— Так считает Кейн. Его любовница. Его собственность. Хотя когда-то я принадлежала себе самой — прежде чем оказалась настолько глупа, что позволила Кейну увлечь меня в свою паутину!

— Ты можешь покинуть его — покинуть город?

— Тебе невдомек, какими силами управляет Кейн! Кто рискнет навлечь на себя его гнев, чтобы помочь мне?

Маврсал распрямил плечи:

— Я не присягал на верность ни Кейну, ни кому-либо в Карсультьяле. Возможно, этот корабль стар и непрочен, но он мой, и я плаваю на нем, где хочу. Если ты решилась...

Ее лицо исказил страх.

— Не вздумай! — выдохнула она. — Даже не намекай мне на это! Ты не в силах осознать, какой силой Кейн...

— Что это?!

Маврсал напрягся. В ночи звучали мягкие хлопки огромных кожистых крыльев. Когти заскребли по доскам палубы снаружи. Внезапно пламя в фонаре затрепетало и съежилось, в каюте сгустились тени.

— Он вспомнил обо мне! — простонала Дессилин. — Он послал его, чтобы вернуть меня!

Ощутив холод в животе, Маврсал вынул саблю и с трудом повернулся к двери. Пламя светильника превратилось в умирающий голубой отблеск. За дверью глухо простонала расшатавшаяся доска.

— Нет! Пожалуйста! — в отчаянии вскрикнула девушка. — Ты ничего не сможешь сделать. Отойди от двери!

Маврсал огрызнулся, на его лице отражались охватившие его ярость и страх. Дессилин потянула его за руку, оттаскивая от двери.

Ранее он запер массивную дверь каюты на тяжелый железный засов. Теперь невидимая рука потянула засов вбок. Медленно и тихо железный штырь повернулся и пополз вдоль удерживающих скоб. Замок со щелчком открылся. С кошмарной быстротой дверь широко распахнулась.

Снаружи висела тьма. На них смотрели горящие глаза. Они приблизились.

Дессилин отчаянно вскрикнула. Похолодев от страха, Маврсал неуклюже махнул саблей. Кромешная тьма потянулась к нему и с необоримой силой швырнула к стене. Боль взорвалось в его сознании, и осталась только темнота.

II
«НИКОГДА, ДЕССИЛИН»

Она вздрогнула и плотнее запахнула свой меховой плащ. Будет ли у нее когда-нибудь возможность снова ощутить этот безжалостный холод?

Кейн, суровое лицо которого казалось изможденным в неярком свете жаровни, стоял сгорбившись над алым перегонным кубом. Какими красными казались его волосы и борода, каким зловещим было синее пламя его глаз... Он напряженно скло-

нился, чтобы поймать последние капли светящегося эликсира в чашу из рубинового хрусталя.

Она знала, что он трудился над этой мерцающей жидкостью бессонными часами. Драгоценными для нее часами, потому что они были часами свободы — временем, когда она могла избежать его ненавистного внимания. Ее губы сжались. О, ужасный состав, из которого он приготовил свой эликсир! Дессилин снова вспомнила об изуродованном трупе юной девушки, который Кейн приказал слуге унести прочь. И снова судорога изогнула ее гибкий стан.

— Почему ты не отпускаешь меня? — услышала она свой равнодушный голос, повторяющий вопрос в... *который раз она задавала его?*

— Я не отпущу тебя, Дессилин, — устало ответил Кейн. — Ты это знаешь.

— Когда-нибудь я покину тебя.

— Нет, Дессилин. Ты никогда не покинешь меня.

— Когда-нибудь.

— Никогда, Дессилин.

— Почему, Кейн?

Он позволил нескольким каплям янтарной жидкости упасть в мерцающую чашу. Голубое пламя трепыхалось над ее поверхностью.

— Почему?!

— Потому что я люблю тебя, Дессилин.

Горький всхлип вырвался из ее горла.

— Ты любишь меня?! — Она вложила в эти слова все свое отчаяние. — Кейн, смогу ли я объяснить тебе, насколько сильно тебя ненавижу?

— Возможно. Но я люблю тебя, Дессилин.

Снова истерический смех.

Участливо поглядывая на нее, Кейн осторожно протянул ей чашу:

— Выпей это. Быстро — пока не исчезло свечение.

Она устремила на него потемневшие от ужаса глаза.

— Очередная горькая вытяжка какого-то гнусного препарата, чтобы привязать меня к тебе?

— Называй, как тебе угодно.

— Я не буду это пить.

— Будешь, Дессилин, ты выпьешь.

Его глаза удерживали ее ледяными цепями. Она машинально приняла алую чашу, позволила светящейся жидкости скользнуть между губ, просочиться в горло.

Кейн вздохнул и взял пустой кубок из ее вялых рук. Его мощная фигура содрогнулась от усталости, когда он провел широкой ладонью по глазам.

— Я покину тебя, Кейн.

Морской ветер ворвался в башенное окно и запутался в длинных рыжих волосах.

— Никогда, Дессилин.

III
В ГОСТИНИЦЕ «СИНЕЕ ОКНО»

Он называл себя Драгар...

Не пройди девушка мимо него несколько секунд назад, он, вероятно, не вмешался бы, услышав ее вопль. А может быть, вмешался. Он был чужим в Карсультьяле, юноша-варвар успел пожить достаточно в городах поменьше, чтобы обращать внимание на крики о помощи в ночи и чтобы безоглядно бросаться в темные переулки и ввязываться в схватку. Унаследованные им благородные идеалы сочетались с гордостью и уверенностью в необоримости правой руки и странного клинка, которым он был вооружен.

Думая о гибкости белокожих рук, которые он успел заметить, и об утонченной красоте лица девушки, холодно принявшей его любопытный взгляд, Драгар извлек из ножен тяжелый клинок и бросился назад по улице, на которую только что вышел.

Лунного света было достаточно, хотя переулок находился довольно далеко от ближайшего уличного светильника. Девушка билась в руках пары головорезов, ее плащ был отброшен, а платье разодрано на плечах. Третий головорез, настороженный торопливым стуком сапог варвара, злобно обернулся, чтобы встретить его, и устремил свой меч в живот юноше.

Драгар рассмеялся и отбил более легкое лезвие мощным ударом своего меча. Не замедляя атаки, он рассек руку нападающего ударом снизу, а когда меч головореза дрогнул, расколол ему череп. Один из двух негодяев, удерживающих девушку, ринулся было вперед, но Драгар уклонился в сторону и неожиданным выпадом вознил меч ему в грудь. Оставшийся бандит швырнул девушку в ноги варвару, моментально развернулся и помчался прочь по переулку.

Не обращая внимание на беглеца, Драгар помог ошеломленной девушке подняться на ноги. С лицом, искаженным ужасом, она машинально поправила порванный лиф своего шелкового платья. Лиловые царапины исполосовали бледную кожу ее грудей, нижняя губа распухла. Драгар подхватил упавший плащ и укутал им ее плечи.

— Благодарю тебя, — выдохнула она прерывистым шепотом.

— Не за что, — проворчал он. — Убивать крыс — хорошее упражнение. Но все ли у тебя в порядке?

Она кивнула и ухватила его за руку.

— Черта с два в порядке! Неподалеку есть таверна, девушка. Идем — у меня хватит серебра на бренди, чтобы вернуть жар твоему сердцу.

Она посмотрела на него так, словно могла отказаться, будь ее колени потверже. В полуобмороке девушка позволила ему внести себя в гостиницу «Синее Окно». Там он провел ее в незанятую кабинку и заказал бренди.

— Как тебя зовут? — спросил он, когда она пригубила крепкий напиток.

— Дессилин.

Он безмолвно повторил ее имя одними губами, чтобы ощутить его звук.

— Меня зовут Драгар, — отозвался он. — Моя родина лежит в горах, далеко на юге, хотя я уже несколько лет не охотился с людьми моего клана. Страсть к странствиям увлекла меня прочь, и с тех пор я следую за ее знаменем — или за другим, иногда даже за тенью моего собственного плаща. Наконец, наслушавшись достаточно историй, я решил убедиться, настолько ли чудесен Карсультьял, как о том говорят люди. Ты здесь тоже чужая?

Она покачала головой. Когда ее щеки порозовели, лицо уже не казалось столь надменным.

— А кажешься чужой. Иначе не решилась бы бродить по улицам Карсультьяла с наступлением ночи. Должно быть, что-то важное заставило тебя рискнуть.

Она небрежно пожала плечами, хотя в лице ее читалась настороженность.

— Никаких неотложных дел... хотя для меня это было важно.

Драгар вопросительно уставился на нее.

— Я хотела... просто побыть одной, уйти на время. Быть может, потеряться — не знаю. Не думала, что кто-то посмеет тронуть меня, зная, кто я такая.

— Кажется, эти подзаборные крысы трепещут перед твоим именем меньше, чем ты рассчитывала, — лукаво предположил Драгар.

— Все мужчины боятся имени Кейна! — горько возразила Дессилин.

— Кейн! — изумленно сорвалось с его губ. «Какое отношение имеет эта девушка к?..» Но Драгар снова посмотрел на ее утонченную красоту, ее роскошный наряд и начал догадываться. Он с гневом заметил, что его возглас заставил смолкнуть посетителей таверны. Несколько человек с испугом обернулись к нему.

Варвар хлопнул ладонью по рукояти меча.

— Здесь воин, который не боится имен! — объявил он. — Я слышал кое-что о самом страшном колдуне Карсультьяла, но произнести его имя для меня проще, чем испортить воздух! Сталь этого меча способна рассечь лучшее, что могут выковать известные на весь мир оружейники, она упивается кровью волшебников.

Дессилин уставилась на него как завороженная.

А что было потом, Дессилин?

Я... не уверена... Мой разум — я, наверное, была потрясена. Помню, как держала его голову, казалось, вечность. А потом помню, как смывала с нее кровь водой из деревянного таза, и вода была такой холодной и красной. Наверное, я накинула на себя одежду... да, и помню, как шла по городу... улицы и эти лица... Все эти люди, они смотрели на меня... Смотрели и отворачивались, смотрели и казались сочувствующими, иногда любопытными, смотрели и делали гнусные предложения... А некоторые не обращали внимания, вообще меня не видели... Я шла и шла, так долго... Помню боль... Помню мои слезы и боль, когда слез уже не осталось... Я помню... Мой разум был как в тумане... Моя память...

Не могу вспомнить...

IV
КОРАБЛЬ ПОПЛЫВЕТ...

Подняв глаза, он увидел ее стоящей на пристани — она следила за ним со странной игрой напряжения и нерешительности на лице. Маврсал удивленно хмыкнул и выпрямился над своей плотницкой работой. Должно быть, она была призраком — настолько бесшумно она к нему подкралась.

— Мне нужно было увидеть... все ли с тобой в порядке, — неуверенно улыбаясь, сказала ему Дессилин.

— Все — не считая трещины в моем черепе, — ответил Маврсал, глядя на нее с сомнением.

К рассвету он выполз из-под обломков мебели — в каюте все было перевернуто. Кровь запеклась на густых волосах у него на затылке, и в голове пульсировала оглушающая боль — так, что ему пришлось долго просидеть, пытаясь вспомнить ночные события. *Что-то* вошло в дверь, отшвырнуло его прочь как надоевшую куклу. А девушка исчезла — унесенная демоном? Ее предостережение относилось к нему; сама она не выказывала страха, скорее отчаяние.

А может, вернулись его люди, чтобы выполнить свои угрозы? Выпил слишком много вина, удар по голове?.. Нет уж, Маврсала не проведешь. Обидчики ограбили бы его, убедились в его смерти — в том случае, если нападающими были люди. Девушка назвалась любовницей колдуна, именно колдовство простерло свои черные крылья над его каравеллой. Сейчас девушка вернулась; и приветствие капитана было сдержанным, потому что теперь он знал, какая опасность угрожает ему.

По-видимому, Дессилин догадалась, о чем он думает. Она сделала движение, будто собираясь повернуться и уйти.

— Погоди! — окликнул он вдруг.

— Я не хочу более подвергать тебя опасности.

Капитан не выдержал:

— Опасность! Кейн может забавляться со своими демонами в аду, мне наплевать! Мой череп оказался для этой твари слишком прочен, и если он хочет потягаться со мной, я здесь и готов его поприветствовать.

Дессилин шагнула к нему, в ее широко открытых глазах светилась радость.

— Занятия магией истощили его, — заверила она капитана. — Кейн проспит еще много часов.

Маврсал с грубой галантностью перенес ее через леер.

— Тогда приглашаю тебя присоединиться ко мне в моей каюте. Уже слишком темно для плотницкой работы, и мне хочется поговорить с тобой. После прошлой ночи я, пожалуй, заслуживаю ответов на некоторые вопросы.

Он поднес огонь к лампе, повернулся и обнаружил, что она сидит на краешке кресла, не сводя с него испуганных глаз.

— Какого рода вопросы? — спросила она неохотно.

Маврсал неопределенно махнул рукой:

— Да любого. Как ты связалась с этим колдуном? Почему он удерживает тебя, если ты его так ненавидишь? Почему не можешь уйти от него?

Она ответила грустной улыбкой, от которой он почувствовал себя наивным.

— Кейн... обворожительный человек; в нем есть какой-то магнетизм. И я не отрицаю притягательности его гигантской силы и богатства. Имеет ли это значение? Достаточно сказать, что я любила его когда-то, но ненавидела его с тех пор слишком долго и слишком глубоко, чтобы об этом помнить.

Кейн продолжает любить меня по-своему. *Любить!* Это любовь скряги к его богатству, любовь знатока к изящной безделушке, любовь паука к своей плененной добыче! Я — его сокровище, его собственность, — а что значат чувства вещи для ее владельца? Уменьшит ли наслаждение, получаемое хозяином от

своей статуи, тот нелепый факт, что предмет его гордости ненавидит его? Уйти от него? — Ее голос дрогнул. — Клянусь богами, неужели я не пыталась?

Обуреваемый вихрем мыслей, Маврсал изучал измученное лицо девушки.

— Но к чему смиряться с поражением? Прошлая неудача не означает, что ты не можешь пытаться снова. Если ты достаточно свободна, чтобы бродить по улицам Карсультьяла ночью, твои ноги могут унести тебя еще дальше. Я не вижу цепи у тебя на шее.

— Не все цепи видимы.

— Я это слышал, хотя никогда этому не верил. Слабая воля может изобрести собственные оковы.

— Кейн не позволит мне покинуть его.

— Сила Кейна не более чем хвастовство.

— Кое-кто оспорил бы это, пожелай мертвецы поделиться мудростью, пришедшей к ним чересчур поздно.

В уставившихся на него зеленых глазах девушки читался вызов. Маврсал ощутил чары ее красоты, и в нем заговорил мужчина.

— Корабль поплывет туда, куда ему укажет хозяин, — и к черту все приливы и ловушки моря!

Ее лицо приблизилось. Золотисто-рыжие волосы коснулись его руки.

— В твоих словах звучит храбрость. Но ты мало знаешь о силе Кейна.

Дессилин сняла с пояса маленький кошель и бросила его капитану.

Поймав его, Маврсал развязал плетеный шнур и вытряхнул содержимое себе на ладонь. Его рука дрогнула. Сияющие камни высыпались на стол каюты. В его ладони осталось целое состояние в алмазах грубой огранки, изумрудах и прочих драгоценных камнях.

Маврсал застыл от изумления.

— Думаю, здесь хватит, чтобы починить твой корабль, заплатить команде... — Она помедлила; пламя вызова разгорелось в ее глазах ярче. — А может, и на место для меня до далекого порта — если ты осмелишься!

Капитан «Туаба» чертыхнулся.

— Я не шутил, девушка! Дай мне еще несколько дней, чтобы оснастить корабль, и я унесу тебя под парусами к землям, где никто никогда не слышал имени Кейна!

— Позже ты можешь передумать, — предостерегла Дессилин.

Она поднялась с кресла. Маврсалу показалось, что она хочет уйти, но он заметил, что пальцы девушки ослабили застежки на

поясе. У него перехватило дыхание, когда шелковое платье начало соскальзывать с плеч.

— Я не передумаю, — пообещал он, понимая, почему Кейн готов пойти на все, лишь бы удержать Дессилин у себя.

V
ЧУМА КОЛДУНА

— Твоя кожа напоминает чистейший мед, — воскликнул Драгал. — Клянусь богами, что ты и на вкус как мед!

Дессилин поежилась от удовольствия и прижала к груди буйную светловолосую голову варвара. Через миг она вздохнула и томно высвободилась из его объятий. Усевшись, она провела тонкими пальцами по спутанной гриве золотисто-рыжих волос, ниспадавших на ее нагие плечи и спину и льнущих влажными локонами к разгоряченной коже.

Мозолистая ладонь Драгара пленила ее узкую кисть, когда она попыталась подняться со смятой постели.

— Не убегай прочь подобно кающейся девственнице, девушка. Твой всадник спешился лишь для короткого отдыха — и готов промчаться галопом сквозь дворцовые ворота не раз, прежде чем солнце уйдет в море.

— Замечательно, но мне пора идти, — возразила она. — Кейн может заподозрить...

— К чертям Кейна! — выругался Драгар, притягивая к себе девушку.

Мощные руки сомкнулись вокруг нее, и их губы встретились. Ласкавшая маленькую грудь ладонь ощутила биение сердца, юноша рассмеялся и взял в ладони ее зардевшееся лицо.

— А теперь скажи мне, что предпочитаешь изнеженные ласки Кейна объятию мужчины!

Она нахмурилась, будто грозовая тучка пробежала по небу.

— Ты недооцениваешь Кейна. Он не мягкотелый слабак.

Юноша ревниво оскалился:

— Гнусный колдун, прячущийся в своей башне с незапамятных времен! У него пыль вместо крови и сухая ржавчина в костях! Отправляйся же к нему, если предпочитаешь его беззубые поцелуи и высохшие руки!

— Нет, милый! Мне нравится лежать в твоих объятиях! — воскликнула Дессилин, обнимая его и гася его гнев поцелуями. — Я просто боюсь за тебя. Кейн отнюдь не высохший седовласый старец. Не будь в его глазах безумия, ты принял бы его за воина в расцвете сил. И опасаться тебе следует не только

его чар. Я видела, как Кейн убивает своим мечом — он опаснейший боец!

Драгар фыркнул и напряг мощные мышцы.

— Ни один воин не прячется под мантией колдуна. Кейн — всего лишь имя, имя людоеда, которым запугивают детей. Но я не боюсь его имени, как и его магии, а мой клинок пил кровь бойцов, управляющихся с мечом получше твоего тирана с черным сердцем!

— Клянусь богами, — прошептала Дессилин, прижимая голову к его мощному плечу. — Почему судьба бросила меня в паутину Кейна, вместо того чтобы бросить в твои объятия?

— Судьба подчиняется воле человека. Если пожелаешь, можешь считать себя моей женщиной.

— Но Кейн!..

Варвар вскочил на ноги и свирепо уставился на нее:

— Хватит распускать нюни, девушка! Ты любишь меня или нет?

— Драгар, дорогой, ты знаешь, что люблю! Разве все эти последние дни...

— Эти дни были наполнены хныканьем о Кейне, и у меня болит живот, когда я это слышу. Забудь Кейна! Я забираю тебя от него, Дессилин! Несмотря на все славные легенды и сверхмощные башни, Карсультьял — вонючая чумная дыра, как и любой известный мне город. Что ж, я более не потрачу здесь ни дня. Я уеду из Карсультьяла верхом либо куплю себе место на корабле. Отправлюсь в такие земли, где смелый мужчина и сильный клинок могут завоевать себе богатство! Ты едешь со мной.

— Ты говоришь всерьез, Драгар?

— Если думаешь, что я лгу, оставайся здесь.

— Кейн последует за нами.

— Тогда он потеряет свою жизнь заодно с любовью! — ухмыльнулся Драгар.

Уверенными руками он извлек из ножен свой огромный меч из серебристо-синего металла.

— Видишь этот клинок? — спросил он, с легкостью играя массивным оружием. — Я называю его Чумой Колдуна, и тому есть причина. Взгляни на лезвие. Это сталь, но не та, которую выковывают ваши прославленные кузнецы в своих горнах, пышущих дыханием дракона. Видишь эти символы, вырезанные у рукояти? Этот клинок обладает силой! Его выковал давным-давно кузнец-мастер, который использовал в своем сплаве пылающее сердце упавшей звезды и начертал охранительные письмена. Тому, кто владеет Чумой Колдуна, нечего опасаться магии, ибо колдовство не властно над ним. Мой меч может рассечь дьявольскую плоть демонов. Он может отвратить чары колдуна и проткнуть его злое сердце!

Пусть Кейн посылает чудовищ, чтобы найти нас! Мой клинок защитит от его заклятий, и я отправлю его приспешников туда, откуда они вышли! Пусть он выползет из своего логова, если посмеет. Я скормлю ему по кусочкам его собственную печень и буду смеяться ему в лицо, пока он умирает!

Глаза Дессилин лучились обожанием.

— Тебе это удастся, Драгар! Ты достаточно силен, чтобы отнять меня у Кейна! Ни один мужчина не обладает твоим мужеством, любимый!

Юноша рассмеялся и взъерошил ее волосы.

— Ни один мужчина? Что ты о них знаешь? По-твоему, эти бесхребетные городские щеголи, дрожащие при виде дряхлого рогоносца, мужчины? Даже не думай о возвращении в башню Кейна, пока ты нужна своему хранителю. В эту ночь, девушка, я покажу тебе, как мужчина любит свою женщину!

Но почему ты уверяешь, что невозможно покинуть Кейна?

Я знаю.

Откуда ты знаешь?

Потому что знаю.

Быть может, эти оковы лишь в твоем воображении, Дессилин.

Но я знаю, что Кейн не отпустит меня.

Ты так уверена, потому что пыталась сбежать от него?

Ты действительно пыталась, Дессилин?

Пыталась с другим — и проиграла, Дессилин?

Ты будешь откровенна со мной, Дессилин?

А теперь ты отворачиваешься от меня в страхе!

Так, значит, был другой мужчина?

Невозможно сбежать от него — а теперь ты покидаешь меня!

Скажи мне, Дессилин. Как могу я доверять тебе, если ты не доверяешь мне?

Что ж, полагаюсь на твое слово. Другой мужчина действительно был...

VI
НОЧЬ И ТУМАН

Ночь вернулась в Карсультьял и накрыла туманным плащом узкие улочки и задумчивые башни. Голос города стих, превратился в приглушенный ночной шорох. По мере того как разгорался свет звезд, просачивающийся сквозь морской туман, улицы замирали, лишь изредка всхрапывая и рыча, подобно тяжело засыпающему псу. Вскоре огоньки, мерцавшие тут и там, нача-

ли ускользать украдкой, так что никто этого не заметил. Каждому было известно, что теперь городом безоглядно правят темень, туман и тишина. И ночь, которая здесь ближе, чем в любом из городов рода человеческого, вернулась в Карсультьял.

Они лежали тесно обнявшись — насытившиеся, но слишком беспокойные, чтобы спать. Они почти не говорили, только слушали биение своих сердец, прижимаясь друг к другу, как будто желая слить воедино этот звук. Щупальца тумана вползали в щели запертых на засовы ставень, неся с собой холодное дыхание моря и далекие крики кораблей, стоящих на якоре в ночи.

Тогда Дессилин защипела, как кошка, и вонзила ногти в руку Драгару так глубоко, что алые ручейки потекли вдоль напряженных мышц. Варвар потянулся к рукояти незачехленного меча, лежащего возле их ложа. Лезвие сверкнуло синевой.

Из ночи... Не порыв ли ветра потряс оконные ставни, превращая вымпелы тумана в крутящиеся вихри? Звук... Хлопанье огромных кожистых крыльев?

Страх повис над гостиницей липкой паутиной, окружившая их тишина была такой безысходной, что их сердца могли быть последними, бьющимися во всем обреченном Карсультьяле.

С крыши донесся скользящий металлический скрежет.

Меч Драгара замигал голубым колдовским пламенем. Резкие, неестественно черные тени съежились и отступили перед светящимся клинком.

Массивные ставни застонали и заскрипели от ужасного давления. Дубовые доски прогнулись внутрь. Уцелевшие железные засовы затряслись, затем вдруг задымились, раскаляясь до тускло-красного свечения. Туман устремился сквозь подающееся дерево, неся с собой запах невидимого моря.

Меч еще ярче засверкал радужным блеском. Ореол голубого пламени окружил готового к бою юношу и его испуганную подругу. Мерцающее голубое сияние, распространившись по комнате, коснулось стонущих ставней.

Дождем переливчатых искр сверкали раскаленные железные засовы. Ночную тишину разорвало тихое рычание, в котором угадывался зловещий вопль — хриплый звериный крик боли и ярости.

Прогнувшиеся ставни со скрипом встали на место, когда давление неожиданно ослабло. И снова ночь содрогнулась от ударов гигантских крыльев. Призрак удалился. Черная волна страха осела и откатилась прочь от гостиницы.

Драгар рассмеялся и потряс мечом. Все еще ошеломленная Дессилин завороженно уставилась на клинок, сиявший так же, как любая идеально полированная сталь. Все это могло быть пугающим сном, подумала она, прекрасно зная, что это не сон.

— Похоже, чары твоего хранителя не столь сильны, — насмешливо заметил варвар. — Теперь Кейн узнает, что его заклятия и трусливые трюки бессильны против Чумы Колдуна. Несомненно, твой древний чародей прячется под своей холодной кроватью, до полусмерти напуганный тем, что бесхребетные горожане когда-нибудь наберутся храбрости, чтобы разоблачить его!

— Ты не знаешь Кейна, — простонала Дессилин.

С грубоватой нежностью Драгар погладил нахмуренную девушку по щеке:

— Все еще напугана легендой? И это после того, как увидела его магию побежденной этим звездным клинком! Ты прожила в тени этого развращенного города чересчур долго, девушка. Через несколько часов будет светло, и тогда я выведу тебя в мир, где мужчины не продали свои души призракам древних рас!

Но согревающая уверенность варвара не рассеяла ее опасений. Дессилин прижималась к нему в темном безвременье, с беспокойно бьющимся сердцем, вздрагивая от малейшего звука, пронзавшего ночь и туман.

Наконец по темным улицам гулко зацокали копыта.

Вначале звук был таким слабым, что мог показаться игрой воображения. Вот он приблизился — приглушенный туманом стук железных подков по каменным плитам. Еще ближе — ритмичные мощные удары, оглушающие в абсолютной тишине. Цок-цок, цок-цок, цок-цок. Звук нарастал, неторопливо и неумолимо приближаясь к гостинице, окутанной туманом.

— Что это? — спросил Драгар, когда Дессилин вздрогнула и резко села в постели.

— Мне знаком этот звук. Это черный-черный жеребец с глазами, горящими подобно углям, и копытами, звенящими как железо!

Драгар хмыкнул:

— Ага! И мне знаком его всадник!

Цок-цок, цок-цок. Удары копыт раскатились дробью по двору гостиницы «Синее Окно». Ставни задребезжали... *Неужели никто не слышит этого леденящего грома?*

Цок-цок-цок. Невидимый конь резко остановился перед дверью гостиницы. Звякнула упряжь. *Почему не слышны голоса?*

Где-то внизу глухо застучали по полу падающие щеколды и засовы. Резкий скрип распахивающейся наружной двери. *Где же хозяин гостиницы?*

Шаги прозвучали по лестнице — мягкий шорох кожаных сапог по выщербленным доскам. Кто-то вошел в коридор, уверенно прошагал к их комнате.

Лицо Дессилин застыло от ужаса. Костяшки пальцев, которые она прикусила, подавляя рвущийся вопль, покраснели от крови. Глаза в страхе уставились на дверь.

Скользящим движением принимая боевую стойку, Драгар успел глянуть на крепко стиснутое в ладони оружие. Над мечом не колыхалось ни нимба, ни пламени — лишь смертельный блеск наточенной стали отражался во внезапно потускневшем свете лампы.

Шаги замерли перед дверью. Ему показалось, что он слышит за порогом чье-то дыхание.

Тяжелый кулак грохнул в дверь. Один раз. Одновременно и ультиматум, и вызов.

— Кто смеет!.. — хрипло проворчал Драгар.

Сильнейший удар потряс массивные деревянные стены. Щеколда и засов выпрыгнули из скоб, взорвавшись градом щепок и искореженного металла. Почти сорванная с петель дверь распахнулась и гулко ударилась о стену.

— Кейн! — вскричала Дессилин.

Могучая фигура шагнула через порог с проворством хищника. В левой руке вошедший с кажущимся пренебрежением держал тяжелый меч, но горящие смертельной яростью глаза не оставляли никаких сомнений.

— Добрый вечер, — холодно улыбаясь, процедил Кейн.

Ничуть не испугавшийся, несмотря на предупреждение Дессилин, Драгар опытным взором живо оценил противника. Так, значит, магия чародея все же сохранила ему лучшие годы... Кейн был на несколько дюймов ниже высоченного варвара, но явно превосходил его весом. Длинные руки и мощь плеч выдавали фехтовальщика значительной ловкости и силы, хотя юноша сомневался, что Кейн сравнится с ним в быстроте. Узкая кожаная лента с черным опалом охватывала спадающие на плечи рыжие волосы, а бородатое лицо было грубым, свирепым. Кейн вовсе не походил на чародея, скорее на солдата, а в его синих глазах горела жажда убийства.

— Пришел за своей женщиной, колдун? — осведомился Драгар, следя за клинком противника. — Мы думали, ты предпочтешь прятаться в своей башне, после того как я прогнал прочь твоих вездесущих слуг!

Глаза Кейна сузились.

— Так это... кажется, ты называешь его Чумой Колдуна. Вижу, легенды не лгали о силе этого клинка. Пожалуй, мне не следовало рассказывать о нем Дессилин, когда я узнал, что заколдованный меч появился в Карсультьяле. Однако обладание им до некоторой степени вознаградит меня за неудобства, которые ты мне причинил.

— Убей его, Драгар, любовь моя! Не слушай его басни! — вскричала Дессилин.

— Ты что-то сказал о Дессилин? — проворчал Драгар, до которого не дошел намек Кейна.

Воин-колдун сухо усмехнулся:

— Ты не догадываешься, романтичный олух? Не понимаешь, что умная женщина просто использовала тебя? Ну еще бы — благородный варвар полагал, что защищает беспомощную девушку. Жаль, что я позволил Лароку умереть. Он мог бы поведать тебе, насколько невинна его любовница...

— Драгар! Убей его! Он просто хочет застать тебя врасплох!

— Еще бы! Убей меня, Драгар, — если сможешь! Это был ее план, знаешь ли. Из своих источников я узнал об этом устрашающем клинке, который ты носишь, и рассказал о нем Дессилин. Но ее, кажется, утомили мои ласки. Она заплатила слуге, неоплаканному Лароку, чтобы тот подстроил изнасилование, полагая, что некий олух бросится ей на помощь. Как по-твоему, хороший замысел? А теперь у бедняжки Дессилин есть смелый защитник, магическое лезвие которого сможет защитить ее от злых чар Кейна. Любопытно, Дессилин, ты просто хотела сбежать с этим тупым воякой или собиралась устроить поединок, надеясь, что я *погибну и сокровища башни станут твоими?*

— Драгар! Он лжет тебе! — в отчаянии простонала девушка.

— Ибо если ты рассчитывала на второе, то, боюсь, твой замысел был не столь умен, как тебе казалось, — насмешливо заключил Кейн.

— Драгар! — Сдавленный мучительный вопль.

Варвар в смятении рискнул украдкой взглянуть на ее искаженное лицо.

Кейн сделал выпад.

Мгновенный отпор не ожидавшего нападения Драгара отвел в сторону клинок Кейна в последнюю долю секунды, и варвар отделался неглубоким порезом.

— Будь ты проклят! — выругался он.

— Уже проклят! — рассмеялся Кейн, легко отбивая молниеносный удар юноши. Его быстрота была сверхъестественной, а устрашающая энергия мощных плеч придавала его клинку смертоносную силу.

Их мечи скрещивались с оглушительным звоном, рождая молнии. Звездный металл с выгравированными рунами молотил по стали, выкованной в прославленных далеко за пределами Карсультьяла горнах, и звон казался криками пары сражающихся демонов — резкий, *звенящий болью и яростью.*

Обнаженное тело Драгара покрылось потом, на губах показалась пена. Прежде он лишь несколько раз скрещивал оружие с рав-

ным ему по силе противником, и тогда быстрота юноши приносила ему победу. Теперь же, будто в немыслимом кошмаре, ему противостоял искусный и хитрый фехтовальщик, не уступавший быстротой и обладавший еще большей силой. После того как его первая атака была ловко отбита, Драгар действовал мечом осторожнее, не столь уверенно. Он решил истощить противника, полагая, что выносливость колдуна не сравнится с навыком закаленного наемника.

Во всем мире не было иного звука, кроме звона их клинков и хриплого, резкого дыхания. Время застыло повсюду, оно текло только для двоих, и эти двое метались по всей комнате, нанося друг другу удары.

Драгар получил узкий порез поперек левого предплечья, едва успев отбить очередной удар. Драться с левшой ему не приходилось, и лишь мастерство спасало пока от смерти. Он неохотно осознал, что державшая меч рука Кейна не слабела, и юноше все чаще приходилось защищаться. Чума Колдуна покрылся зазубринами, а его рукоять сделалась липкой от пота. Более тяжелый меч Кейна тоже пострадал.

В тот миг, когда Кейн отбил мощный удар Драгара, юноша сделал быстрый выпад вращающимся лезвием, достаточный, чтобы его кончик наискось скользнул по лбу Кейна и рассек стянувшую волосы ленту. Мелкий порез — но хлынувшая ручьем кровь запачкала свалявшуюся гриву волос. Кейн отступил, стряхнул кровь и отбросил пряди волос с глаз.

Драгар снова сделал выпад. Слишком быстрый, чтобы отбить как следует, поэтому лезвие пропахало кровавую борозду вдоль левого предплечья колдуна. Длинный меч Кейна дрогнул. И варвар мгновенно ударил по гарде.

Меч выскользнул из руки Кейна, когда тот неуклюже отбил звездный клинок. На долю секунды он свободно взмыл в воздух. Драгар возликовал, что ему наконец удалось выбить меч, и размахнулся для смертельного удара.

Но правая рука Кейна перехватила вращающееся лезвие с натренированной легкостью. Взмахнув мечом с проворством, не уступающим его боевой левой руке, Кейн отбил мгновенный удар Драгара. Не успел испуганный варвар прийти в себя, меч Кейна пронзил ему ребра.

Поверженный юноша перелетел через кровать. Чума Колдуна выпал из онемевших пальцев и покатился по широким дубовым доскам.

Из горла Дессилин вырвался вопль невыразимой боли. Она кинулась к нему, положила его голову себе на колени и в отчаянии пыталась остановить беспомощными пальцами кровь, льющуюся из раны.

— Прошу тебя, Кейн, — всхлипывала она. — Пощади его!

Кейн уставился горящими глазами на изуродованную грудь юноши и рассмеялся.

— Я отдаю его тебе, Дессилин, — вызывающе сказал он. — Я ожидаю тебя в моей башне — разумеется, если вы, юные любовники, не планируете, как прежде, сбежать вместе.

Истекая кровью, держа в правой руке окровавленный меч, он вышел из комнаты и пропал в ночном тумане.

— Драгар! Драгар! — стонала Дессилин, целуя его изнуренное лицо и пузырящиеся кровавой пеной губы. — Прошу тебя, не умирай, любимый! Онтс, не дай ему умереть!

Слезы падали из ее глаз на его лицо, когда она прижималась к его бледному челу.

— Ведь ты не поверил ему, Драгар? Что, если я действительно подстроила нашу встречу, милый? Но я все равно люблю тебя, это правда! И всегда буду любить тебя, Драгар!

Он посмотрел на нее стекленеющими глазами.

— Сука! — сплюнул он и умер.

Сколько раз, Дессилин?
Сколько раз ты будешь повторять эту игру?
(Но это был первый раз!)
Первый? Ты уверена, Дессилин?
(Я клянусь!.. Как я могу быть уверена?)
А сколько раз после? Сколько кругов, Дессилин?
(Кругов? Откуда эта темнота у меня в голове?)
Сколько раз, Дессилин, ты была Лорелеей?
А сколько тех, кто познал твой манящий взгляд?
Сколько было тех, кто слышал твой крик сирены, Дессилин?
Сколько душ приплыли к тебе, Дессилин?
И сгинули от таящихся в глубине теней?
И теперь подводное течение увлекает их в ад?
Сколько раз, Дессилин?
(Я не могу вспомнить...)

VII
«ЕМУ ПРИДЕТСЯ УМЕРЕТЬ...»

— Ты знаешь, что ему придется умереть.

Дессилин покачала головой:

— Это слишком опасно.

— Но ясно, что намного опаснее оставлять его в живых, — мрачно заметил Маврсал. — Из того, что ты рассказала мне, очевидно: Кейн никогда не позволит тебе покинуть его — а это

не то же самое что уйти от какого-то ревнивого лорда. Щупальца колдуна тянутся дальше, чем щупальца легендарного Орайки. Что толку бежать из Карсультьяла лишь затем, чтобы магический удар Кейна настиг нас позже? Даже в бурном море его тень может преследовать нас.

— Но мы могли бы сбежать от него, — пробормотала Дессилин. — Океаны безбрежны, и волны не хранят следов.

— Кудесник найдет способы преследовать нас.

— И все же это слишко опасно. Я даже не уверена, что Кейна *можно* убить! — Пальцы Дессилин нервно играли изумрудом, ее губы были плотно сжаты.

Маврсал сердито наблюдал за тем, как ее пальцы теребят изумрудное ожерелье. Изящные дамы могут следовать этой моде здесь, в Карсультьяле, но его раздражало, что она не снимает это украшение даже в постели.

— Ты не освободишься от рабского ошейника Кейна, — ворчливо озвучил он свою мысль, — до тех пор, пока этот дьявол не умрет.

— Знаю, — тихо выдохнула девушка, в зеленых глазах которой сияло нечто большее, чем страх.

— Его может убить только твоя рука, — продолжал он.

Ее губы дрогнули, но она промолчала.

«Туаб» мягко качался на волнах, до капитана доносились шепчущие в ночи тихие голоса гавани. Дерево корабля скрипело и стонало, стукаясь о буферы изношенного пенькового такелажа на причале. Вдалеке на палубе слышались шаги вахтенных, тихий разговор указывал на присутствие других членов команды — не улегшихся в свои подвесные койки, несмотря на тяжелую дневную работу. В капитанской каюте медленно раскачивалась в такт волнам лампа, поочередно отбрасывая мягкие тени на находящиеся внутри предметы. Атмосфера в помещении была спокойная — почти уютная, если бы только каюта могла быть защищена от темного призрака, блуждающего в ночи.

— Кейн уверяет, что любит тебя, — лукаво настаивал Маврсал. — Он не приемлет твою ненависть. Другими словами, наедине с тобой он подсознательно теряет осторожность. Он позволит тебе встать у себя за спиной и даже не заподозрит, что твоя рука может пронзить его кинжалом.

— Это верно, — подтвердила она странным голосом.

Маврсал взял ее за плечи и повернул лицом к себе:

— Не понимаю, почему ты не попыталась сделать это раньше? Мешал страх?

— Да. Я ужасно боюсь Кейна.

— Или было еще что-то? Ты все еще втайне любишь его, Дессилин?

Она ответила не сразу:

— Не знаю.

Он чертыхнулся и взял в ладонь ожерелье. Привычка Дессилин настолько раздражала, что капитан грубо сорвал изумруд с шеи девушки. Ее пальцы метнулись к обнаженной плоти.

И снова он выругался.

— Это сделал с тобой Кейн?

Она кивнула с расширенными от волнения глазами.

— Он обращается с тобой как с рабыней, а у тебя не хватает духу взбунтоваться — или хотя бы возненавидеть его за то, что он с тобой делает!

— Это неправда! Я ненавижу Кейна!

— Так прояви немного мужества! Чем может усугубить твою нынешнюю участь этот дьявол?

— Я просто не хочу, чтобы умер и ты!

Капитан хмуро рассмеялся:

— Если ты останешься его рабыней ради спасения моей жизни, ты достойна того, чтобы за тебя умереть! Но умрет один лишь Кейн, если мы все как следует обдумаем. Ты попытаешься, Дессилин, ты восстанешь против этого тирана, завоюешь свободу для себя и любовь для нас обоих?

— Я попытаюсь, Маврсал, — обещала она, не в силах оторваться от его взгляда. — Но я не смогу сделать это одна.

— Никто от тебя этого не просит. Я могу проникнуть в башню Кейна?

— Даже армия не в силах взять эту башню, если Кейн пожелает защитить ее.

— Я об этом слышал. Но могу ли я проникнуть туда *один*? У Кейна должны быть потайные ходы в его логово.

Она прикусила стиснутые в кулак пальцы:

— Я знаю один из них. Наверное, ты сможешь войти туда незаметно для него.

— Смогу, если ты предупредишь меня о каких-то прячущихся стражниках либо о ловушках, — сказал он ей; голос его был чересчур бодрым. — Если ты можешь ускользать из башни, почему бы мне не прокрасться туда.

Дессилин кивнула, ее лицо уже не выражало прежнего страха.

— Когда Кейн погружен в свои занятия, он забывает обо всем на свете. Сейчас именно такое время, и он не прекратит работу до завтрашней ночи, а потом заставит меня участвовать в его темном ритуале.

Маврсал вспыхнул от гнева:

— Тогда это будет его последним путешествием в земли демонов — мы отправим его навеки в ад! Починка корабля почти за-

кончена. Если я потороплю людей и скорее запасусь провизией, «Туаб» сможет поднять паруса с приливом, на рассвете. Итак, это будет завтрашней ночью, Дессилин. Пока Кейн изнурен и занят своим черным колдовством, я проскользну в его башню.

Будь в это время с ним. Если он заметит меня, прежде чем я смогу ударить, погоди, пока он повернется, чтобы отразить мое нападение, и нанеси удар этим! — Он вынул из прикрепленных под изголовьем его койки ножен тонкий дирк.

Словно загипнотизированная его словами и блеском стали, Дессилин снова и снова вертела кинжал в руках.

— Я попытаюсь. Клянусь Онте, я постараюсь сделать, как ты говоришь!

— Ему придется умереть, — заверил ее Маврсал. — Ты знаешь, что ему придется умереть.

VIII
ИСПЕЙ ПОСЛЕДНЮЮ ЧАШУ...

Далеко внизу распростерся Карсультьял, туман кружил вдоль его широких улиц и кривых грязных переулков, колеблясь над приземистыми убогими жилищами и роскошными особняками, но надменные башни пронзали его пелену и в гордом величии тянулись к звездам. Рожденный двумя стихиями, воздухом и водой, туман то вился, то плыл, пытаясь отыскать и задушить третью стихию — огонь, но мог лишь чуть притушить слезами тысячи его горящих глаз. Пятна мутной желтизны в кружащемся тумане и огни Карсультьяла внушали иллюзию движения, так что нельзя было понять — смотришь ли ты на опутанный туманом город либо на погребенные в облаках звезды.

— Сегодня у тебя странное настроение, Дессилин, — заметил Кейн, тщательно поправляя пламя под перегонным кубом.

Она отошла от башенного окна.

— Это кажется тебе странным, Кейн? Меня удивляет, что ты заметил. Тысячи раз я говорила тебе, что колдовство мне отвратительно, но прежде мое настроение ничего для тебя не значило.

— Твое настроение значит для меня очень много, Дессилин. Однако, требуя твоего присутствия здесь, я лишь выполняю то, что должен.

— Неужели! — прошипела она с брезгливостью и указала на изуродованный труп молодой девушки.

Кейн устало проследил взглядом за ее жестом. С исказившей черты болью он сотворил знак и изверг поток резких, ла-

ющих слов. Открытое окно пересекла тень и упала на рассеченный труп. Когда она отстранилась, истерзанное тело исчезло и удаляющееся приглушенное хлопанье крыльев стихло во тьме.

— К чему тебе прятать от меня свои преступления, Кейн? Ты думаешь, я их забуду? Думаешь, я не знаю, что входит в состав этого дьявольского варева, которое ты заставляешь меня пить?

Кейн, нахмурясь, впился взором в светящийся пар, кружащийся в сосуде.

— Ты носишь на себе железо, Дессилин? В нимбе заметна асимметрия. Я просил тебя не вносить железо в эту комнату.

Кинжал неземным холодом леденил ее бедро.

— Твой разум слабеет, Кейн. Я ношу лишь эти кольца.

Не обращая на нее внимания, он поднял крышку и торопливо влил немного темной, наполовину свернувшейся жидкости. Сосуд содрогнулся и ярко вспыхнул изнутри. Капля фосфоресцирующей жидкости образовалась у кончика трубки. Кейн торопливо подвинул чашу, чтобы поймать каплю.

— Зачем ты заставляешь меня пить это, Кейн? Разве плохо служат узы страха, которыми ты приковал меня к себе?

Она ощутила на себе его пронзительный взор и, хотя виной тому могла быть игра алхимического пламени, была изумлена, заметив состарившие его лицо усталость и боль. Как будто бесчетные столетия, прикосновений которых избежал Кейн, вдруг настигли его: волосы развевались, лицо потемнело и вытянулось, а кожа приобрела нездоровый оттенок.

— К чему продолжать эту игру, Дессилин? Неужели тебе хочется увидеть, до каких пределов я дойду, чтобы удержать тебя рядом?

— Мне хочется лишь освободиться от тебя, Кейн.

— Раньше ты любила меня. И полюбишь меня снова.

— Потому что ты прикажешь мне? Ты глупец, если веришь этому. Я ненавижу тебя, Кейн. И буду ненавидеть всю оставшуюся жизнь. Убей меня сейчас или держи здесь, пока я не состарюсь и не иссохну. Я все равно умру, ненавидя тебя.

Он со вздохом отвернулся от нее и заговорил, роняя слова в пламя:

— Ты останешься со мной, потому что я люблю тебя, и твоя красота не увянет, Дессилин. Со временем ты сможешь понять. Ты когда-нибудь задумывалась об одиночестве бессмертия? Тебя не интересовали мысли человека, проклятие которого — странствия через века? Человека, обреченного на одинокое, бесконечное существование, избегаемого и ненавидимого всеми, кто слышит его имя. Человека, никогда не знающего покоя, тень которого оставляет всюду, где он проходит, лишь руины. Человека, осознавшего, что любое торжество мимолетно, а каждая радость кратковременна. Все, чем он стремится обладать, украдено у него

годами. Его империи падут, его песни будут забыты, а любимые женщины обратятся в прах. Лишь пустота вечности останется с ним — этот смеющийся скелет в плаще из воспоминаний, преследующий его днями и ночами.

Так ли ужасно, что этот человек смеет использовать свою темную мудрость, чтобы удержать любимую? Если сотня ярких цветов должна завянуть и умереть в его руке, будет ли злом, если он понадеется сохранить один, только *один* из них дольше, чем на краткий миг, уготованный ему временем? Даже если этому цветку ужасно не хотелось быть вырванным из почвы, разве не пожелает он сохранить свою красоту?

Но Дессилин не слушала Кейна. Колебание гобелена в отсутствие ветра привлекло ее внимание. Услышит ли Кейн почти беззвучный скрип потайных петель? Нет, он охвачен одним из столь частых приступов мрачных размышлений.

Дессилин попыталась заставить свое колотящееся сердце биться не так громко, а лихорадочное дыхание успокоиться. Она могла видеть застывшего в тени гобелена Маврсала. Казалось невозможным, что он сумеет подкрасться еще ближе, прежде чем сверхъестественное чутье Кейна обнаружит его. Спрятанный дирк обжигал ей бедро, словно ножнами ему служила ее плоть. Она потихоньку придвинулась поближе к Кейну, надеясь открыть Маврсалу его спину.

— Я вижу, эликсир готов, — объявил Кейн, выходя из своей задумчивости.

Добавив несколько янтарных капель в жидкость, он осторожно поднял чашу со светящимся напитком.

— Выпей это побыстрее, — приказал он, протягивая ей сосуд.

— Я не буду больше пить твое отравленное зелье.

— Выпей его, Дессилин. — Он не сводил с нее глаз.

И словно в повторяющемся кошмаре — *а были и другие кошмары*, — Дессилин приняла кубок. Она поднесла его к губам, ощутила, как коснулась языка горькая жидкость.

Через покои пролетел нож. Выбитый из ее вялых пальцев хрустальный кубок рассыпался о камень тысячью светящихся осколков.

— Нет! — вскричал Кейн страшным голосом. — Нет! Нет! — Он уставился на лужицу угасающего свечения, онемев от ужаса.

Выпрыгнув из укрытия, Маврсал кинулся к Кейну в надежде вонзить свою абордажную саблю в сердце врага, прежде чем колдун придет в себя. Но он не принял в расчет сверхъестественной реакции Кейна.

С нечеловеческой яростью Кейн бросился на капитана. Маврсал нанес клинком заурядный удар сверху вниз, не церемонясь перед лицом невооруженного противника.

С неуловимой для глаз быстротой Кейн шагнул под удар и перехватил опускающуюся кисть противника левой рукой. Маврсал услышал собственный крик, когда движение его руки было остановлено в воздухе сомкнувшейся вокруг запястья и ломающей кости мощной левой рукой Кейна. Сабля отлетела прочь и упала на камни.

С искаженным от звериной ярости лицом, Кейн схватился с морским капитаном. Маврсал, опытный боец в рукопашной, почувствовал себя хрупким ребенком. Пальцы другой руки Кейна сомкнулись на его горле. Капитан в отчаянии пытался ослабить хватку Кейна, ударить его изуродованным запястьем, но Кейн со свирепым смехом понес его назад, к стене, ухватив за шею, подобно сломанной кукле.

Красный туман застилал глаза... Кейн медленно душил своего противника, намеренно, откровенно наслаждаясь его беспомощностью.

Затем пришло ощущение падения.

Кейн ахнул, когда Дессилин вонзила свой кинжал ему в плечо. Кровь обрызгала ее скользкий от пота кулак. Когда Кейн повернулся к ней, тонкое лезвие застряло в лопатке и переломилось у рукояти.

Дессилин вскрикнула от удара наотмашь, повергшего ее на камни. Она лихорадочно подползла к Маврсалу, который лежал плашмя на полу — оглушенный, но все еще в сознании.

Кейн выругался и откинулся на свой верстак, опрокидывая перегонный куб, лопнувший подобно гнилой тыкве.

— Дессилин! — простонал он, не веря. Кровь струилась из раны. Левое плечо Кейна было изуродовано, но он стал теперь опасен, как раненый тигр. — Дессилин!

— Чего ты ожидал? — огрызнулась она, пытаясь поднять Маврсала на ноги.

Из окна внутрь устремились клубы тумана. Кейн что-то прокричал на нечеловеческом языке.

— Если ты убьешь Маврсала, лучше убей заодно и меня! — воскликнула Дессилин, прижимаясь к поднимающемуся на колени капитану.

Он бросил оценивающий взгляд на свою саблю. Слишком далеко.

— Оставь ее в покое, колдун! — прохрипел Маврсал. — Она виновна лишь в том, что ненавидит тебя и любит меня! Ты можешь сейчас покончить со мной, но тебе никогда не изменить ее волю!

— И кажется, ты любишь ее тоже, — мучительно произнес Кейн. — Ты глупец. Знаешь, скольких я убил прежде — других глупцов, думающих, будто они спасают Дессилин из зловещих объятий

колдуна? Это ее старая игра. Еще с той поры, когда первый глупец... всего лишь игра. Ее забавляет дразнить меня своими изменами, своими планами покинуть меня с другим мужчиной. Поскольку это забавляет ее, я позволяю ей это. Но она не любит тебя.

— Тогда почему она вонзила сталь в твою спину? — Отчаяние сделало Маврсала безрассудным. — Она ненавидит тебя, колдун, и любит меня! Оставь при себе свои басни, чтобы утешаться ими в безумии. Твои чары не изменят чувств Дессилин ко мне, не изменят они также истину, которую ты не хочешь видеть! Так что убей меня — и будь проклят. Тебе не дано изменить мир, и Дессилин тебе не удержать!

Голос Кейна звучал странно, его лицо отражало мучительное отчаяние.

— Убери ее с глаз моих долой! — проскрежетал он. — Убирайтесь отсюда, оба! Дессилин, я даю тебе свободу. Маврсал, я даю тебе любовь Дессилин. Забери свою красотку и покинь Карсультьял! Думаю, у тебя будет мало поводов благодарить меня!

Когда они, пошатываясь, направились к потайной двери, капитан сорвал украшенную изумрудом брошь Дессилин и швырнул ее Кейну.

— Оставь себе свой рабский ошейник! — проворчал он.

— Ты глупец, — тихо произнес Кейн.

— Как далеко мы от Карсультьяла? — прошептала Дессилин.

— В нескольких лигах — мы едва еще отплыли, — ответил Маврсал дрожащей рядом с ним девушке.

— Я боюсь.

— Тс-с. Ты покончила с Кейном и всем его колдовством. Скоро наступит рассвет, а мы будем далеко от города и зла, которое в нем познали.

— Обними же меня крепче, любовь моя. Мне так холодно.

— Морской ветер холоден, но чист, — сказал он ей. — Он унесет нас к новой жизни.

— Я боюсь.

— Тогда обними меня крепче.

— Кажется, теперь я вспоминаю...

Но уставший капитан уже заснул. Глубоким, глубоким сном — последним неомраченным сном, которым ему довелось уснуть.

Ибо на рассвете он очнулся в объятиях трупа, покрытого пятнами разложения трупа давно умершей девушки, которая когда-то повесилась от отчаяния, не перенеся смерти своего любовника-варвара.

РОБЕРТА ЛЭННЕС

Совершенная женщина

Роберта Лэннес родилась в Южной Калифорнии, где более двадцати лет преподавала английский язык, искусство и смежные дисциплины в средней школе. В начале 1970-х годов, непродолжительное время проработав в комеди-клубе, Лэннес стала писать для других комедийных актеров и литературных журналов.

В 1986 году она блистательно дебютировала в жанре хоррор, напечатав рассказ «Прощай, мрачная любовь» («Goodbye Dark Love») в антологии Денниса Этчисона «Острый край» («The Cutting Edge»). После этого оригинальные произведения Лэннес в жанре темное фэнтези появлялись в таких изданиях, как «Лорд Джон Десятый» («Lord John Ten»), «Fantasy Tales», «Грязные панки» («Splatterpunks») и «Грязные панки 2» («Splatterpunks II»), «Секс с чужаками» («Alien Sex»), «Хроники Брэдбери» («The Bradbury Chronicles»), «Все еще мертвый» («Still Dead»), «Темные голоса 5» («Dark Voices 5»), «Порт смерти» («Deathport»), «Оборотни» («Mammoth Book of Werewolves»), «Лучшие новые ужасы. Выпуск 3» («Best New Horror 3»), «Лучшее за год. Фэнтези» («The Year's Best Fantasy») и «Ужасы. Седьмой ежегодный сборник» («Horror Seventh Annual Collection»). Помимо писательской деятельности, она вместе со Стивом Барнесом вела шоу на радиостанции «KPFK» в Лос-Анджелесе.

Лэннес рассказывает о том, как у нее родилась идея «Совершенной женщины»: «Шел жаркий спор о причинах возникновения гомосексуальности. Тогда я по наивности полагала, что сексуальная ориентация зависит от воспитания, окружения, обстоятельств и личных предпочтений. Защищая свою позицию, я попыталась сформулировать причины, определяющие предпочтения, и воспользовалась такими психологическими терминами, как „моделирование" и „реактивное образование". Меня сразу же обвинили в том, что я полагаюсь на аргументы неточной науки. И тогда я поняла, что мне недостает знаний (о всем нам хорошо известно, знание — сила).

Рассердившись, я отправилась домой и принялась читать. Появившиеся недавно научные теории о генетической предопределенности пола, которые тут же подхватили и широко разрекламировали гей-сообщества, позволили мне в более широком контексте посмотреть на проблему гомосексуальности. Сексуальные предпочтения определяются нашими клетками. Этот рассказ написан для тех невежд, которые продолжают с упорством идиотов верить, что гомосексуалисты и транссексуалы имеют возможность выбора».

Я слепая и немая. У меня еще нет рук и ног. И, просыпаясь, я, к сожалению, не могу потянуться и пошевелить пальцами. Мне еще так много не хватает, и всякий раз, когда возникает желание провести рукой по волосам или увидеть играющий красками закат, мне становится очень грустно. Но в конце концов я сама согласилась на это.

В шесть утра приезжает медсестра и сообщает мне о времени суток. Другого способа определить, который час, у меня нет, остается верить на слово. А я отлично знаю, как лживы могут быть слова. По ночам со мной сидит сестра доктора. Она говорит, что у нее бессонница и ей нравится сидеть и читать, когда я сплю. Я ей не верю. Пытаться определить правдивость слов этих двух женщин — единственное, чем я время от времени себя развлекаю. На данной стадии я фактически только мозг.

Утренний ритуал ограничивается умыванием, кормлением и удалением моих скопившихся за ночь физиологических выделений. Одна из двух медсестер, что ухаживают за мной в дневное время, включает классическую музыку. Я улыбаюсь и издаю одобрительное мычание. Из них двоих она — моя любимая.

Умывание — процедура, с одной стороны, приятная и успокаивающая, с другой — весьма болезненная. Прочищаются трубки, которые вьются змеями от моих плеч и бедер вниз, напоминая собой странные одежды из синтетической кожи; области вокруг них моются щеткой, таким образом удаляются ороговевшие клетки, затем эти места смазываются антибактерицидной мазью. Эта часть процедуры особенно мучительная и сопровождается лишь моими страдальческими стонами. Если боль становится невыносимой, мне дают опиаты.

Когда я под допингом, я не могу наслаждаться самой приятной частью моего умывания. Одна из медсестер, моя любимая, водит мягкой мыльной губкой по моим новым соскам, а затем скользит вниз, к нежной и жадной плоти между моими будущими ногами. Я уверена, выражение моего лица и судороги тела, вызванные оргазмом и ей тоже доставляют удовольствие. Я слышу, как учащается ее дыхание.

После утренних процедур меня оставляют в полной темноте. Тихо, не отвлекая и не раздражая, играет музыка, так что я могу предаться мечтам о будущем, оплакивая свое печальное прошлое. Потом приезжает доктор.

Доктор. О! Я отлично помню его лицо и его руки с длинными тонкими пальцами, как у пианиста. Он высокий и стройный, у него вьющиеся каштановые волосы. Конечно, я сделала свой выбор не потому, что он привлекательный, умный и крас-

норечивый мужчина, хотя это в значительной степени повлияло на принятие решения. Я хорошо помню тот вечер, когда он пришел ко мне. В память врезалось каждое его слово.

Рак лишил меня груди и лимфатических узлов, я проходила курс жестокой химиотерапии и осталась без волос. Прогнозы были неутешительными. Доктор появился в палате после того, как завершились часы приема посетителей. Ко мне никто не приходил, никто не нарушал культивируемое отшельничество дожившей до семидесяти восьми лет писательницы. Поэтому, когда двое незнакомых мужчин в уличной одежде вошли в палату и направились к моей кровати, я смертельно испугалась и приготовилась звать на помощь медсестру.

Меня остановил мужчина постарше:

— Мисс Крейг, не волнуйтесь, я доктор. — У него был низкий приятный голос.

Я ответила в привычной для себя резкой недоброжелательной манере:

— Что вам нужно?

Он внимательно посмотрел на мои высохшие, обтянутые морщинистой кожей руки, которые я скрестила на груди, лишенной признаков женского пола.

— Я восхищаюсь вашими книгами. Вы изумительно описываете жизнь художников и особенно музыкантов эпохи Возрождения, так достоверно, с такими подробностями.

— Ну что ж, я вижу, вы мужчина со вкусом и сомнительными нравственными принципами. Вам нравится история, изложенная с некоторой долей сенсационности и местами смешанная со сплетнями и домыслами.

Он усмехнулся на мое замечание. Я помню, как мне в тот момент стало горько от мысли, что я ничем не могу привлечь внимание такого мужчины. Мужчины, который восхищался тем же, чем и я.

— Я надеюсь, вы не обидитесь на меня за то, что я ознакомился с вашей медицинской картой. Я не онколог, но мне показалось, что вы позволили себе некоторую неосторожность и запустили болезнь.

— А вам не кажется, что я сейчас сполна плачу за эту оплошность?

— Да, к сожалению. Но, несмотря на это, я хочу дать вам надежду на спасение.

Я попыталась сесть, он протянул руку, чтобы поднять повыше изголовье кровати. Я вскинула бровь и смерила его неодобрительным взглядом:

— С какой стати вы решили, что можете предложить мне нечто такое, чего не нашлось в арсенале целой группы врачей?

— Ваши прогнозы не внушают оптимизма, а возраст весьма преклонный. Я уже давал людям надежду на новую жизнь, хочу и вам это предложить. — Он кивнул в сторону своего молодого спутника.

Я покосилась на него поверх очков и не заметила в нем ничего примечательного.

— Ну и каким же образом вы хотите вернуть меня к жизни? Магическими заклинаниями? Эликсиром молодости? Серией хирургических операций?

— Это не панацея, мисс Крейг. Чтобы не вдаваться в подробности и не пугать вас медицинскими терминами, я скажу кратко: это трансплантация мозга в совершенно новое, жизнеспособное тело. — Он настороженно ждал моего ответа.

Если бы мне предложили подобное до того, как я заболела раком, я не знаю, как бы отреагировала, но сейчас, лежа на больничной койке, старая, лишенная остатков сил, раздавленная депрессией, без надежды когда-нибудь встать на ноги, я искренне рассмеялась. И лишь потом задумалась.

Доктор слегка растерялся, услышав мой смех. Полагаю, он ожидал, что я, скорее, удивлюсь или испугаюсь. Я и сама не знаю, почему рассмеялась, но мне это доставило удовольствие.

— Это вполне серьезное предложение, мисс Крейг. Существует много причин, заставивших меня остановить свой выбор на вас, и одна из них — ваш прагматизм.

Он казался мне таким молодым, таким уязвимым, охваченным искренним возмущением. Я просто влюбилась в него.

— Мой дорогой доктор...

— Доктор Чернофски... Кеннет.

— Доктор Чернофски, совершенно очевидно, что вы глубоко верите в то, что делаете. Но я думаю, вам никогда не доводилось быть на моем месте. Знаете ли, не каждый день обращаются с такими фантастическими предложениями.

— Да, это действительно фантастическое предложение. Исключительно редкое и потрясающее, как и вы сами, мисс Крейг. Ваш ум — уникальное явление. Нельзя допустить, чтобы он угас навсегда. Подумайте. Я могу создать для вас такое тело, какое вы только пожелаете. Когда дело касается хирургии, я и Леонардо да Винчи, и Микеланджело в одном лице. — Он обхватил за плечи своего молодого спутника и подвел его к моей кровати. — Я привел показать вам одну из своих работ. Она полностью завершена.

На этот раз я уже более пристально посмотрела на молодого человека.

— Вы хотите сказать, что, вопреки всем божественным законам рождения и смерти, вы уже делали подобного рода трансплантации?

— Да, но вы должны знать, что такие операции не разрешается проводить на территории Соединенных Штатов.

— Они нелегальны?

— Нелегальны в том смысле, что не защищены законом. Но они станут официальными, как только я представлю убедительное обоснование. Надеюсь, Саймон, другие пациенты и, возможно, вы мне в этом поможете.

Я задумалась о последнем шансе, который мне предлагала судьба — или сам дьявол.

— Молодой человек, скажите, это больно?

Я уже столько страданий натерпелась, но они, похоже, меркли перед тем, что мне, возможно, предстояло пережить.

Он усмехнулся:

— Хотелось бы сказать — нет, но буду честным — это очень больно. Хотя транквилизаторы и обезболивающие дают ощутимое облегчение. И сейчас, по прошествии достаточно длительного времени после всех этих операций, я должен признаться: это того стоило.

Я повернулась к доктору:

— Да здравствует современная наука! Как долго тянется этот процесс сотворения нового Франкенштейна?

Плечи доктора слегка напряглись. Я догадалась — больной вопрос. Он посмотрел на молодого человека:

— На то, чтобы довести Саймона до совершенства, ушел год.

— Год?! Не понимаю, почему так долго? — К этой минуте я уже устала от нашего разговора.

— Когда я только начинал свои эксперименты в этой области, я с филигранной точностью соединял поврежденные части тела: косточку с косточкой, мышцу с мышцей, артерию с артерией, глаза с глазными нервами... Вот здесь есть положительные отзывы о моей работе. — Он показал мне медицинский журнал, но я не стала смотреть. — Со временем я овладел техниками пластической хирургии и научился сшивать ткани, почти не оставляя видимых рубцов. Пересадкой мозга я занимался на протяжении двух лет, пока не достиг совершенства. Но и после этого еще требовалось пришивать конечности к туловищу. Это длительный и трудоемкий процесс, я бы даже сказал — кропотливая работа.

— Простите за глупый вопрос, но не легче ли пересадить мозг в уже готовое тело?

— Это совсем не глупый вопрос. Конечно, это сэкономит время. Но я никогда не опускался до того, чтобы бродить по кладбищам или крутиться возле каждого места аварии. Я получаю тела или части тел со всего света из различных частных

клиник. И мне еще никогда не присылали совершенно здоровое тело нужного мне внешнего вида. Вы поймете, насколько это важно.

— Ну, разумеется, если мне придется вытерпеть столько боли, я хочу, чтобы это того стоило. Итак, насколько я понимаю, длительной сборки тела по частям никак не избежать?

Доктор пожал плечами и покачал головой:

— Как только приходит нужная мне часть тела, я ее использую.

— А что, если я умру прежде, чем вы найдете подходящую голову для моего уникального мозга? — рассмеялась я.

— Этого не произойдет. Понимаете, у меня уже есть подходящая голова и торс. И у вас на принятие решения всего несколько часов.

— Часов? — Я почувствовала выброс адреналина в кровь.

— Она совершенна. Ее мне доставили сегодня во второй половине дня. Ее мозг практически мертв, но я поддерживаю в ее теле жизненно важные функции. Я не хочу, чтобы произошли необратимые изменения, поэтому оперировать нужно в кратчайшие сроки.

Передо мной встали вопросы, которые обычные люди себе не задают, разве что герои фантастических романов. Хочу ли прожить еще лет пятьдесят, если предоставляется такой шанс? Смогу ли я освоиться в совершенно чужом теле? Смогу ли заниматься тем, что я делала в своей жизни, и даже больше? И в конечном счете стоит ли игра свеч?

И действительно ли я умру в самое ближайшее время, если в сию минуту не приму решения? Я знала, что все эти тревоги и сомнения отразились на моем лице.

— Саймон, поговори с мисс Элисон Ниэри Крейг. — Назвав мое полное имя, доктор продолжил: — Саймон Ле Февре — последний из сотворенных мною мужчин.

Я не могла скрыть своего изумления:

— Писатель-романист? Но он давно мертв.

— Да, он был на пороге смерти, но этот порог он так и не переступил. Сейчас он носит другое имя.

Ни ушам, ни глазам своим я не верила.

— Он в девяносто лет умер от пневмонии. Я это хорошо знаю. Я читала об этом в газете. — Я уставилась на молодого человека.

— Перед самой его смертью я забрал его в свою клинику. Не буду обременять вас подробностями.

У меня голова пошла кругом. Я читала все написанные Ле Февре книги — замечательные, со сложными психологическими коллизиями. У него даже был роман о папе Юлии II, том са-

мом, что покровительствовал искусствам в эпоху Ренессанса. Безупречная работа. Я себя с ним даже сравнивать не осмеливалась.

Молодому человеку на вид было не более девятнадцати; среднего роста, нормального телосложения, приятной внешности, и ничего от той колоритности, что отличала Саймона Ле Февре. Но если у него мозг Саймона, какие величайшие произведения он способен написать! Доктор почувствовал мое изумление и восторг:

— Саймон, познакомься — Элисон Ниэри Крейг.

Юноша сжал мои руки. Меня переполняли чувства.

— Не могу в это поверить, — покачала я лысой головой.

— Очень рад с вами познакомиться. Я ваш большой поклонник. Ваши статьи в журнале «Искусство и культура Античности» восхитительны, они сами по себе произведения искусства. Именно они вдохновили меня написать роман «Папа». Сомневаюсь, что вы помните об этом, но я перед выходом романа отправил вам письмо.

— Так это вы?! Вы — живой!

— Да, живой благодаря Кеннету. Посмотрите. — Он начал показывать мне едва заметные шрамы на запястьях, на плече.

Я восхищалась их аккуратностью.

— А сейчас вы испытываете боль?

Саймон прижал руку к щеке:

— Иммуноподавляющие препараты вызывают у меня головную боль. Есть еще некоторые побочные эффекты — иногда я чувствую, как кости поскрипывают. Но это не идет ни в какое сравнение со старческой дряхлостью. Кроме того, с каждым днем мое состояние улучшается.

— Это обнадеживает. Вы продолжаете писать?

— Да, хотя пользуюсь псевдонимом. Призрак Саймона Ле Февре не самое подходящее имя для начинающего литератора. Теперь я Жан Люк Форшо.

— Вы только что опубликовали роман... «Гнездо орла»! Он есть в моей домашней библиотеке.

Я пристально смотрела на юношу, которому три года назад было девяносто лет. И страстно желала такого же чудесного преображения. Хотела стать красивой и молодой, полной энергии, чтобы писать без остановки — день и ночь. Я хотела будущего.

— Я не знаю, согласитесь ли вы принять предложение Кеннета, но, если согласитесь, я был бы рад поддерживать с вами связь. Я восхищаюсь вашими работами.

— Я приняла решение. Я согласна на операцию, доктор Чернофски. Согласна на трансплантацию... и на общение с вами. —

Я, как девчонка, улыбнулась двоим мужчинам. — Хочу снова быть молодой.

— Вечно... — пошутил доктор.

Из больницы меня вывезли тайно, устроив все таким образом, чтобы сложилось впечатление, будто я сама ее покинула. А на следующий день в номере мотеля нашли мое тело с простреленной головой и с пистолетом в руке. Мертвая женщина, в чью голову должен был быть перекочевать мой мозг, пожертвовала своим, чтобы картина была абсолютно достоверной. Моя предсмертная записка была короткой и мило сентиментальной.

Три недели спустя отечность продолговатого мозга спала, и я вышла из комы. Я пришла в себя в полной темноте, слышала только голос доктора. Он ознакомил меня с напечатанными в газетах некрологами, статьями обо мне, хвалебными отзывами, высказанными в мой адрес самыми различными людьми, начиная от присяжных и заканчивая специалистами по филологии. Затем доктор объяснил мне причину повреждения глазных нервов и временного безмолвия. И заверил, что скоро все это исправит. Попросил лишь запастись терпением.

Состояние, в котором я пребываю сейчас, длится уже два месяца. Вчера, во время своего визита, доктор сообщил мне, что из Германии отправили руку, совпадение тканей гарантировано. Я знаю, с одной рукой я смогу хотя бы почесать нос, погладить волосы, потрогать предметы вокруг себя. Но меня предупредили, что для регенерации нервных окончаний понадобятся месяцы. Каждая минута в новом теле требует от меня стойкости и колоссального терпения.

Слышу его шаги. Я узнаю их, как биение моего нового сердца.

— Мы получили твою руку. Она безупречна, как я и говорил. Грета подготовит тебя, и через несколько минут операция начнется.

Мне хочется сказать ему, что мне страшно, что боль будет невыносимой, что рука не будет двигаться и я не смогу владеть ею. Я пытаюсь издать звук, чтобы всем этим поделиться с доктором, но из моего горла вырывается только хныкающий стон. Доктор нежно гладит меня по голове:

— Все будет хорошо. И пока я пришиваю руку, я завершу работу по восстановлению глазных нервов. Глаза могут поступить в самое ближайшее время.

Он успокаивает и подбадривает меня, словно отлично знает, что я изо всех сил стараюсь быть стойкой и мужественной. Но я все равно боюсь. Доктор говорит мне то, что я хочу услышать, но я не желаю, чтобы меня принимали за идиотку.

По запаху антисептика, металла и кафеля я понимаю, что меня вкатили в операционную. Здесь прохладно, человеческие запахи полностью отсутствуют. Я слышу шорох бахил по кафелю. Маски приглушают голоса. Позвякивают раскладываемые инструменты. Я прокручиваю в голове наш последний разговор с Кеннетом о личном. Это было два дня назад.

Проваливаясь под натиском наркоза в забытье, я вспоминаю, как он, склонившись надо мной, говорил:

— Элисон, сегодня утром за завтраком я представлял, какой ты станешь, когда работа будет завершена. Мы сможем проснуться вместе в одной постели. — Он погладил мои волосы. — Я ничего не могу поделать с собой. Фантазии обуревают меня. Я помню пожилую женщину, которую увидел в больнице, но это была лишь оболочка. Я влюбился в женщину, скованную больным и дряхлым телом. Ты станешь прекраснейшей из женщин, с утонченной душой и блестящим умом — выдающимся умом нашего столетия. Как бы мне хотелось знать, думаешь ли и ты об этом! Мы будем яркой парой с безграничными возможностями.

Я потянулась головой к его руке в надежде, что это движение заменит тысячи слов, которые мне хотелось ему сказать. Он коснулся кончиками пальцев моих губ, затем приложил их к своим. Я поцеловала его чужими губами. От него исходил запах марципана и лимонной воды.

— Мне очень жаль, что я не слышу твоего голоса, тех слов, которые я так хочу от тебя услышать. Осталось подождать немного, и ты заговоришь. И тогда... мы будем мечтать вместе.

Ты, наверное, не знаешь, но я планировал нашу с тобой встречу задолго до того, как вошел в твою больничную палату, — несколько лет. Я видел тебя в телевизионных программах, смотрел короткий документальный фильм, снятый о тебе Рональдом Наппом. Я прочитал все, что ты написала, и все, что написали о тебе. Я изучил твою жизнь. Изучил тебя. Мне оставалось только встретиться с тобой, чтобы любить тебя. Твою яркую индивидуальность я разглядел даже сквозь оболочку старой, лишившейся волос женщины.

Если бы ты могла видеть свое новое лицо, ты оценила бы мой выбор. Оно прекрасно своей утонченностью. Ты не роковая красавица и не обольстительная милашка. Я подобрал тебе лицо, которое отражает красоту твоего внутреннего мира и блеск твоего ума. То, во что я влюбился.

Возможно, я чересчур самонадеян и мне всего лишь показалось, что между нами пробежала искра, прости. Но я хочу, чтобы ты знала: мною руководит не низменный эгоизм, а желание, как и в случае с Саймоном, продлить жизнь гению.

Мне посчастливилось подружиться с Саймоном. Возможно, мне повезет еще больше и ты согласишься стать моей... возлюбленной.

«Да, да, да! — кричал мой мозг. — Я согласна». На пороге смерти я встретила человека, который не просто вернул мне жизнь, но оказался мужчиной, о котором я давно мечтала.

Я так долго жила одна, страдая от интеллектуальной неразвитости мужчин, банальности их интересов и их животно-примитивной сексуальности. От безысходности я время от времени их терпела и страстно желала встретить свою мечту. Мужчины разочаровывали меня, и часто в этом не было их вины. Некоторых я просто жалела. Но Кеннет отвечал всем моим представлениям об идеальном мужчине. Заботливый, но не назойливый. Внимательный и в то же время независимый. Сексуальный, но не одержимый основным инстинктом. Привлекательный и умный. Талантливый, но без маниакальности сумасшедшего гения. И что самое главное, его восхищает мой ум.

Конечно, я буду его возлюбленной.

Первое, что я ощущаю, — это боль, она подавляет все остальные чувства. Кажется, плечи раздробили кувалдой. Прохлада рук медсестры — той самой, что мне особенно нравится, — прерывает мой стон.

— Мисс Крейг, я должна поставить вам капельницу с морфием. Но не для того, чтобы усыпить вас, а лишь чтобы облегчить боль. Доктору нужно, чтобы вы оставались в сознании.

Я мычу в знак согласия.

— Я рассматривала ваши новые руки. Всегда мечтала иметь такие ногти — длинные, с круглой лункой. У вас по-настоящему утонченные руки.

Руки?! Он пришил мне две руки — хотел сделать мне сюрприз! Ну конечно, это так в стиле Кеннета. Я пьяно улыбаюсь: морфий уже начал действовать.

— О господи, я выдала секрет. Только ему не говорите, пожалуйста.

Конечно не скажу. Я не могу говорить. Грета так добра ко мне. С ней так хорошо.

— Я слышу его шаги. Пожалуйста, сделайте вид, что вы удивились.

Шаги быстрые, легкие. Ему сообщили, что я пришла в себя. Он спешит ко мне, мой возлюбленный беспокоится обо мне. Как мне повезло!

— Элисон, ты проснулась. — Я чувствую движение прикрепленных ко мне трубок, слышу звук — его пальцы стучат по мерному флакону капельницы.

— Вижу, Грета уже начала вводить тебе морфий. Как твои плечи? Болят?

Я хочу резко кивнуть, но, опьяненная наркотиком, лишь безвольно качаю головой.

— Удивлена? Неужели ты думала, что я пришью тебе две разные руки? Писательница с несогласованными руками? Что за нонсенс! До сир пор не могу простить себе того, как я поступил с Саймоном. — (Я слышу, как скрипит ручка по бумаге, он заносит данные в клиническую карту. Он убирает волосы с моего лба. Кеннет говорил мне, теперь я золотистая блондинка.) — Вероятно, тебе будет интересно знать, что твои руки принадлежали восемнадцатилетней балерине. Представь их гибкость и красоту — изящные жесты сильфиды. Теперь эти руки — твои.

Его губы касаются моих. Щека прижимается к моей щеке. Влага. Слезы? Он плачет?

Как мне хочется протянуть руки и обнять его. Но вместо рук я чувствую только боль в том месте, откуда у меня недавно торчали трубки. Но... «Всему свое время» — так он говорит. Всему свое время.

Мое сознание то уплывает, то вновь ко мне возвращается. Временами мозг охватывает оцепенение. Дни сменяются ночами, ночи днями — бесконечная череда. Я чувствую только прикосновения моего Кеннета и Греты.

Должно быть, сейчас ночь, потому что Соня, сестра Кеннета, сидит рядом со мной и читает. Периодически мой слух ловит ее негромкий голос. Соня никогда не прикасается ко мне, даже когда я реву от боли. В таких случаях она просто зовет доктора. Я узнаю ее по голосу и шелесту переворачиваемых страниц.

Вдруг у меня непроизвольно вырывается низкий, гортанный стон. Он меня шокирует. Я напрягаюсь, выговаривая, и слышу произнесенное мною слово: «Помогите».

Соня роняет книгу и выбегает из палаты. Потянуло прохладным воздухом, и я понимаю, что она оставила дверь в коридор открытой. Затем я слышу ее неестественно напряженный голос, она говорит с кем-то по телефону.

— Да, черт возьми, она заговорила... нет, просто «помогите».

Человек, с которым беседует Соня, встревожен новостью. Голос Сони звучит осторожно, будто она извиняется, и вместе с тем взволнованно. Очевидно, происшедшее привело ее в смятение.

— Хорошо. Конечно. — Она вешает трубку.

Соня вбегает в палату, приближаясь к моей кровати, замедляет шаг. Удивительно, как люди заблуждаются насчет слепых.

Почему-то наивно думают, что слепота ограничивает сенсорное восприятие.

— Я позвонила Кеннету. Разбудила его. Он скоро будет здесь.

Я с усилием выдавливаю из себя слова: я могу говорить.

Голос у меня резкий и визгливый. После операции гортань, вероятно, еще полностью не восстановилась.

— Да, можешь говорить. — Голос у Сони притворно радостный. Очевидно, это событие ее сильно расстраивает.

Я жду, когда приедет Кеннет, чтобы поговорить с ним. Он влетает в палату и бросается ко мне. Поцелуями покрывает мое лицо и шею.

— Соня сообщила мне, что ты заговорила. Скажи только одно слово. Произнеси мое имя, пожалуйста.

Он держит мое лицо в своих ладонях. Я улыбаюсь. Сейчас я очень счастлива.

— Кеенннет.

— Чудесно! А теперь пусть связки отдыхают. Не хочу, чтобы ты их напрягала. Не могу поверить. Спонтанная регенерация!

Я киваю и улыбаюсь. Я буду делать так, как ты просишь. А завтра я скажу, что люблю тебя.

Я приготовилась вновь погрузиться в сон, я устала от пережитых волнений. В этот момент я услышала разговор в коридоре. Дверь практически закрыта, и я с трудом различаю слова.

— Голос как у нее, — саркастически говорит Соня.

— Работа с ее гортанью еще не закончена, он будет звучать как у Элисон. Никогда в жизни я больше не услышу отвратительно резкий голос той женщины. Никогда больше ее глаза не будут смотреть на меня с издевательской насмешкой.

— Кенни, я знаю, ты веришь, что все будет идеально, но уже сейчас ясно, что все будет ужасно.

— Соня, не надо так говорить.

Меня поразили не слова Кеннета, а интонация, с которой он их произнес. Я явственно услышала: «Еще раз скажешь нечто подобное, я тебя убью». И он не шутил.

Соня замолкает. Я слышу, как она входит в палату, садится и берет в руки книгу. Она дышит прерывисто. Ей страшно. Я ощущаю быстрое прикосновение ее руки к моему плечу. Теперь и меня охватывает страх.

Я уже не могу спать. Мой мозг, накачанный морфием, сочиняет различные сценарии развития событий. И каждый раз я выступаю в роли жертвы. В моем воображении Кеннет уже не искусный и любящий творец, а мясник, отсекающий от моего тела все, что ему не нравится и кого-то напоминает.

Входит Грета, чтобы сменить Соню. Я дожидаюсь, когда она начнет мыть мне лицо, и демонстрирую свой голос:

— Грета...

— Что? Вы что-то сказали? — Грету не поставили в известность о том, что я заговорила.

— Я боюсь.

— О господи. — Грета переходит на шепот. — Он знает, что вы можете говорить?

Я киваю и спрашиваю:

— Ты знаешь, кто я?

— Элисон Ниэри Крейг. Я прочитала одну из ваших книг. Я не большая любительница чтения. Я человек действия, понимаете, люблю смотреть, слушать.

— Я сейчас в теле женщины, которую доктор знал раньше?

— А разве вы не знаете, кто вы? — испуганно спрашивает Грета.

— Я — Элисон Ниэри Крейг. Но мое тело. Лицо. Доктор услышал мой голос и сказал сестре, что, пока жив, он не желает слышать его. И что он собирается его изменить.

— Ну, я не знаю. — (Разве? Я не верю Грете.) — Вы очень красивая... по моему мнению... вы же знаете, что я чувствую, когда...

Догадываюсь.

— Грета, я боюсь, это тело и лицо ему хорошо знакомы. И возможно, он удалил глаза и гортань только потому, что они ему кого-то напоминали.

— Мисс Элисон, — она взяла мое лицо в ладони, — я не дам вас в обиду.

Мы слышим в коридоре шаги доктора и замолкаем. Грета отходит к раковине, чтобы приготовить воду для дальнейшего мытья.

— Как ты себя сегодня чувствуешь? — Кеннет снимает легкое одеяло, которое укрывает мое обнаженное тело.

— Мне больно, — произношу я низким, скрипучим голосом.

— После умывания я увеличу дозу, и боль утихнет. У меня для тебя потрясающая новость. Ноги. Мне по факсу прислали фотографию. Я жду результаты пробы на совместимость тканей. Но практически уверен, они будут твоими. Дивной красоты. — В его голосе восхищение. Он счастлив. И мои страхи и сомнения отчасти рассеиваются.

— Великолепно, — скриплю я. — И тогда я для тебя станцую.

Он смеется, но без особого воодушевления:

— Будь терпелива.

Я ощущаю, как его пальцы пробегают вокруг сосков, заставляя их затвердеть. Руки не без удовольствия гладят грудь. Пальцы скользят вниз. И тут я вдруг испугалась за Грету. Она все видит. И ей это причиняет боль.

Грета чем-то гремит у раковины.

— Все готово.

Кеннет убирает руки.

— Вернусь через пятнадцать минут, — с придыханием произносит он.

Когда Грета моет мои руки, клянусь, я что-то чувствую. Она делает это слишком поспешно.

— Пожалуйста, Грета, не торопись.

— Теперь я тоже боюсь.

Мне хочется развеять ее страхи, но вместо этого я позволяю ей быстро закончить процедуру умывания. Никакие мои слова не помогли бы ей справиться со страхом. Я полностью разделяю ее беспокойство. Завершив, она что-то мямлит запинаясь, после чего принимается извиняться. Я пытаюсь убедить ее, что этого не стоит делать, хотя чувствую, что мне не хватает ее прикосновений. Грета вздыхает и выходит из палаты.

Кеннет возвращается, чтобы поставить мне капельницу.

— Сладких снов, любовь моя.

И я улетаю.

Туман рассеивается со скоростью горного потока. Я слышу, как доктор разговаривает с какой-то незнакомой женщиной. Медсестрой. Ощущаю запах операционной, слышу легкое эхо, гуляющее в пустом пространстве.

— Красивые ноги. Думаю, танцовщица, лишившаяся их, будет очень по ним скучать, если, конечно, выживет.

— Ей не сказали, что ноги ампутировали?

— В аварии ее брюшную полость развернуло так сильно, что в клинику ее доставили без сознания. Откуда она может знать, что ее ноги остались неповрежденными?

— Вы суший дьявол, доктор Чернофски. Если мне нужно будет поменять ноги, я знаю, к кому надо обращаться.

— Дебби, тебе это никогда не понадобится.

Женщина нервно смеется, на этом флирт обрывается. Я пытаюсь повернуть голову. На шее тугая повязка. Я не могу ни сглотнуть, ни вздохнуть. Я слышу сигналы приборов.

— Херб! Она просыпается. Добавь наркоз. Быстро!

И я снова проваливаюсь в сон.

Как только я прихожу в себя, Грета начинает процедуру умывания. Она шмыгает носом. Наверное, простудилась. Я пы-

таюсь заговорить, но горло чем-то забито, и я едва не задыхаюсь. Но быстро догадываюсь: у меня во рту трубка, через которую в легкие поступает воздух. Я мотаю головой.

— Мисс Элисон, пожалуйста, лежите спокойно. Вам прооперировали гортань. И некоторое время придется дышать через трубку, пока не спадет отек. За последние несколько недель вы перенесли много операций, так что не подвергайте себя дополнительному стрессу. Я позабочусь о вас. Сделаю все как надо. — (По ее интонации я догадываюсь, что мы в палате не одни. Есть посторонний. Я расслабляюсь под привычными движениями ее рук.) — Вот так-то лучше, дорогая. Вам нужны силы, чтобы восстановиться.

Я даже не в состоянии стонать от боли. Входит Кеннет, он чем-то расстроен.

— У меня сегодня две срочные операции. Я не могу побыть с тобой. Черт! Грета посидит. Ну все, капельница поставлена.

И я снова отключаюсь.

Я прихожу в себя, мои тазобедренные кости и плечи горят адским огнем, флакон с болеутоляющим средством пуст. В горле ощущения как у кота, подавившегося собственной шерстью. Ладони и пальцы покалывает, будто они отходят после обморожения. Я жду, когда Грета заметит мое пробуждение. Она стала мне родным человеком. Мы словно слились с ней в одно целое, и она так же остро, как и я, чувствует мою боль и мое наслаждение. Я жду, когда она обратит на меня внимание. Но никто не подходит.

И впервые за все это время я пытаюсь заплакать. Пытаюсь, потому что слез нет, вместо них — боль в глазных впадинах и в сердце.

Наконец приходит Грета.

— Я здесь. — (Я слышу, как она заменяет пустой флакон на полный кайфа. И я с легкостью перышка лечу в страну блаженства.) — Простите, я задержалась. Мне удалось прокрасться в его кабинет. Я заглянула в вашу карту, но ничего особенного не нашла, кроме разве что карт других женщин. Но так же было и у Саймона — карты еще нескольких мужчин. Сейчас вспомню... одну женщину звали Лидия, вторую — Шанталь и последнюю... э-э... Кэрол. — Грета прищелкнула языком. — Как жаль, что вы не говорите. Подсказали бы, что надо искать.

Я вяло качаю головой. Возможно, мне это только кажется и я на самом деле остаюсь неподвижной. Просто меня кружит и раскачивает, как на море во время легкого шторма.

— В субботу у меня будет выходной. У племянника день рождения. Но я не хочу, чтобы с вами что-нибудь случилось.

Если кто-то догадается, что мы подозреваем... — Грета гладит меня по голове. — Я принесу вам кусочек торта.

Не скоро я смогу его съесть.

Вначале у меня появились ощущения в правой руке. Мне удается соединить большой и указательный пальцы. Кеннет, как всегда, приходит в восторг. Я продолжаю ждать, когда он наконец вытащит из моего горла трубку и разрешит мне говорить. Я знаю, отек уже спал. А он продолжает монолог, обещая, что очень скоро доставят глаза. Я предаюсь мечтам. Мне хочется ему верить, но я не могу себя заставить.

Я вспоминаю последний визит Саймона, который состоялся шесть месяцев спустя после моего прибытия в клинику Кеннета. Саймон вошел в палату вместе с Кеннетом и остался, когда Кеннет убежал на какую-то срочную операцию.

— Кеннет рассказал мне о ваших успехах. Могу подтвердить, вы выглядите прекрасно.

Я сделала неловкое движение новыми руками. Грета научила меня языку жестов, с помощью которого общаются глухонемые. Кроме того, рядом с кроватью, на тумбочке, лежали большой блокнот и карандаш, оставленные Гретой на случай, если мне нужно будет что-то написать.

— Простите, я не понял.

Я села, взяла блокнот и карандаш и написала: «А мне бы хотелось увидеть, как прекрасно выглядите вы. У меня скоро будут глаза».

— О, я рад за вас. Кеннет сказал мне, что он полностью восстановил ваши голосовые связки. Когда он обещает вынуть трубку?

Я написала: «Спросите у него. Давно пора. Кажется, она торчит во мне целую вечность».

— Обязательно спрошу. Я вижу, Грета ухаживает за вами. Она была и моей медсестрой. Она лучше всех. Я бы без нее не справился. Кажется, к вам она особенно расположена.

Я быстро нацарапала: «Да. Она мой ангел-хранитель».

— Не могу разобрать... О да, она замечательная и отлично знает свое дело.

Затем Саймон заговорил о своей новой книге, и мы больше ни словом не обмолвились ни о Кеннете, ни о моих бесчисленных операциях. Примерно через час вернулась с обеда Грета, и Саймон заговорил с ней. Я была тронута их теплыми отношениями.

А Кеннет продолжал успокаивать и подбадривать меня.

Истекло девять месяцев моего пребывания в клинике. Месяц назад Кеннет вынул трубку из горла и заверил меня, что через

несколько дней я смогу говорить. И глаза вот-вот доставят! Я уже говорю, но из чувства самосохранения скрываю это от него.

Я слушаю его признания в любви, но не верю ему, хотя где-то в глубине души очень этого хочу. Во время своих визитов он учит меня разминать ноги, иногда прикасается ко мне, возбуждая. Уверяет, что скоро мы с ним займемся любовью. Когда у меня будут глаза. Но я не хочу, чтобы ко мне кто-то так прикасался, кроме Греты. Не понимаю почему.

Желания все эти месяцы копились во мне, и, как только появились ощущения в руках и ногах, они ожили. Я вновь хочу писать. Читать.

Доставили глаза. «Зеленые», — сообщает мне Грета. Кеннет уверяет, что зрительные нервы сохранены и теперь дело только за чудесами хирургии. Если он сумел пересадить мой мозг в новое тело, то он сможет сделать и все остальное. Я уверена.

Я прихожу в себя, на этот раз темноту создает плотная марлевая повязка. Я ее чувствую, хотя мне нельзя двигать мышцами глаз, но я не могу не покоситься в сторону Греты, когда она входит в палату. Боль можно терпеть. Я говорю Грете, что самое первое, что я хочу увидеть, — это ее лицо.

Грета обнимает меня. Я чувствую ее дыхание, в нем аромат гвоздики и меда, она только что пила чай.

— И я этого хочу. Но боюсь. Я знаю, как вы выглядите. Но меня вы никогда не видели.

— Разве после того, как я тебя увижу, я буду любить тебя меньше? С какой стати? Кеннет влюбился в меня, когда мне было семьдесят восемь. А я в тебя, совсем тебя не видя. У всех по-разному.

— Именно этого я и боюсь. Вы не беспокойтесь. Я все слишком близко приняла к сердцу. Знаете, нас, медсестер, учат не допускать эмоциональной близости с пациентами. Это опасно.

— Почему ты раньше это не прекратила? Ты же могла.

— Я думала об этом. Думала, какие мы разные. Я знаю, кем вы были в прошлой жизни. Знаю, что любили мужчин. Я тянула время, пыталась справиться со своими чувствами. Но когда я к вам прикасаюсь, между нами что-то происходит. Словно в нас ток одного напряжения, и он проходит через наши тела. Мы соединяемся в одно целое и значим больше, чем порознь. И это идет не от головы. У меня есть сила воли, и я могу заставить себя что-то прекратить. Но с этим я справиться не могу.

Я рассмеялась:

— Я тебя очень хорошо понимаю. Не знаю, как это назвать, но я не могу это контролировать. Понимаешь? У тебя нет причин бояться.

— Вы правы, — говорит она.

Смысл слов важнее дрогнувшего голоса Греты.

В эту ночь мне не спится. Я просто лежу на кровати с повязкой на глазах, а Соня тихо читает. Я слышу, как она встает и выходит в коридор. Она разговаривает с кем-то. Голос мне незнаком. Из предосторожности они говорят полушепотом. Но мой слух обострен. Я напряженно прислушиваюсь.

— Да, он практически закончил, — заговорщически сообщает Соня.

— Пересадил мозг умирающей писательницы-гетеросексуалки, и от Кэрол ничего не осталось. Пришлось изменить только ее голос.

— Ее ногам потребуются месяцы лечебной физкультуры. Господи, Рид, что, если он действительно ее переделал? Во всяком случае, ее тело. Он избавился от рук, которые его отталкивали, и ног, на которых она ушла от него. Он их заменил на другие. В соответствии со своим вкусом, должна заметить. Он всегда восхищался балеринами и танцовщицами, пластичностью их рук и ног. Но он хотел оставить голову и торс Кэрол. Где бы еще он мог найти нечто подобное? Такая красота — большая редкость. У нее была такая красивая грудь. По иронии судьбы у этой Крейг был рак груди. И ей обе успели удалить до того, как Кенни забрал ее к себе в клинику.

— Ирония судьбы или Божественное провидение. Если бы Кэрол не умерла таким образом... черт... слава богу, он немного успокоился и стал вести себя разумнее. Он был совершенно не в себе, когда узнал, что она просто использовала его, чтобы забеременеть, а потом бросила и ушла к своей любовнице. Я думал, он окончательно сойдет с ума.

— Рид, а в каком бы ты был состоянии, если бы твоя жена ушла к другой женщине?

— Этого никогда не произойдет.

— Кеннет точно так же думал. Это всего лишь мужское тщеславие, — презрительно фыркнула Соня. — Он так изменился и сам этого не осознает. И сейчас ему нужно отпустить прошлое.

— Он надеется, что новая Кэрол ему в этом поможет.

— Элисон. Теперь ее зовут Элисон. Тебе нужно это запомнить.

Конец диалога расслышать мне не удается. Подозрения подтвердились. Соня возвращается в палату, я притворяюсь спящей.

Сегодня снимают повязку с глаз. Каждый раз, когда мне ее меняли, я видела. Пусть только молочно-бледный свет, но я была

счастлива и этим. До сих пор мне удавалось скрывать свой новый голос от всех, кроме Греты. Мне хочется поговорить с Кеннетом, и я сделаю это сразу же, как только смогу видеть. Я так много должна ему сказать, и мне важно видеть его реакцию.

Входит Кеннет, чтобы снять повязку. Я слышу голоса медсестер и Рида. Грета поспешно сжимает мою руку и тут же отпускает ее. Кеннет обращается с речью к собравшемуся в моей палате персоналу:

— Моя Элисон может сидеть, есть, писать, и скоро она будет танцевать. А сегодня она увидит мир. Я рад, что вы присутствуете здесь и станете свидетелями появления моей первой доведенной до совершенства женщины. Некоторые из вас уже успели познакомиться с моим братом. Это — Рид. Он нейрохирург и специально приехал сегодня, чтобы увидеть Элисон.

Затем Кеннет поворачивается ко мне и представляет Рида.

— Наслышан и очень рад наконец познакомиться с вами лично. — Его рука касается моей.

Я киваю. Кеннет без особых усилий снимает повязку. Я обвожу глазами палату. Расплывчатые очертания. Я моргаю до тех пор, пока мутный прямоугольник не приобретает контуры двери.

— Что ты видишь?

Кеннет отрывает полоску пластыря, прилипшую к моему лбу. Вероятно, он полагает, что я потянусь за блокнотом и карандашом чтобы что-то написать.

Но я говорю:

— Вижу расплывчатые очертания объектов и людей. — Мой голос до невозможного похож на мой собственный, от голоса Кэрол в нем ничего не осталось.

Кеннет смеется, не в силах сдержать радости:

— Ты говоришь! Для меня это полная неожиданность. Вы слышите, Элисон говорит!

Раздаются слабые аплодисменты. Растерянность на лице Кеннета заметна всем.

Рид подносит к моему лицу офтальмологический инструмент и направляет свет мне в глаза.

— Сетчатка отлично реагирует на свет. Зрачки подвижны. Великолепная работа, Кеннет. Прими мои поздравления. Элисон, ты просто чудо. — Он слегка поднимает мою руку и тут же ее отпускает.

— Простите, я устала, я еще не готова к большим приемам.

Кеннет тут же выставляет всех за дверь, включая Грету. Я видела ее смутно — невысокая, темноволосая.

— Ты видишь меня? — Кеннет машет рукой перед моим лицом.

— Я полагаю, вы великий доктор Чернофски?

— О Элисон. — Его губы прижимаются к моим губам. Поцелуй оставляет меня равнодушной, не то что те, которыми мы обмениваемся с Гретой. Он целует меня, а я размышляю: обусловлено ли мое влечение к Грете клетками Кэрол? Или я просто плохо знала саму себя? В конечном счете это не имеет значения. Я больше не могу обнадеживать Кеннета, больше не могу быть объектом его мечтаний. Он уже давно перестал быть моей мечтой.

— Я хочу, чтобы мы вместе отправились в круиз по островам Греции. Это будет потрясающее путешествие! Ты согласна?

— Кеннет, я хочу вернуться к моей писательской работе. Это первое, что я собираюсь сделать.

На его лице разочарование.

— Послушай, когда ты только приехала в клинику, ты была такой нетерпеливой, а сейчас — воплощение истинного спокойствия. — Он похлопал меня по руке. — Как ты хочешь, Элисон. У нас впереди долгая жизнь.

Я пытаюсь улыбнуться, но выходит фальшиво. Кеннет нахмурился, хотя, возможно, мне это только показалось, мое зрение могло меня подвести.

— Я слишком форсирую события?

— Отчасти, мне нужно разобраться в себе. Понять, кто я. Ты дал мне новое тело. И новую жизнь. Я хочу осознать, что это такое.

В его голосе звучат нотки отчаяния:

— У меня такое ощущение, что я тебя теряю. Я не могу тебя потерять. — Кеннет отворачивается, но буквально на несколько секунд. Снова поворачивается и произносит: — Этого не будет. — И вновь тот же самый тон, каким он заставил замолчать Соню: «Еще раз скажешь нечто подобное, я тебя убью».

Я пытаюсь сохранить внешнее спокойствие, хотя мне по-настоящему страшно.

— Кеннет, ты слишком торопишься.

Он кивает, слегка смягчившись:

— Хорошо, отдыхай.

— Спасибо. — Я сжимаю его руку. Кажется, он мне благодарен за это.

Кеннет выходит, я закрываю глаза, настроение у меня отвратительное.

Грета, плотно притворив за собой дверь, бросается ко мне. Я вижу ее немного расплывчато, но ее губы ощущаю отчетливо, ее крепкие объятия дают мне чувство защищенности.

— Я люблю тебя, — шепчу я слова, которые долго хранила в себе.

Грета, не выпуская меня, слегка отстраняется, смотрит мне в лицо и ждет. Пелена перед глазами рассеивается, но лишь на краткий миг. Я вижу ее. Ее лицо кажется мне знакомым. Морщинистое и старое, как мое год назад. Я влюбилась в пожилую женщину. И когда мои новые руки обретут чувствительность и я смогу ответить на ее ласки в полной мере, я никогда не смогу ощутить шелковистую гладкость молодой кожи. И у нас нет впереди долгой жизни вместе.

Я молю Бога, чтобы мое разочарование не отразилось на лице. Я чувствую себя легкомысленной пустышкой, и мое настроение снова портится. Влюбилась бы я в Грету, если бы знала, как она выглядит? Я не могу за это поручиться. Мы не властны над своей природой, даже если, как Кеннет, пытаемся изображать из себя Бога.

Я открываю глаза. Грета уткнулась лицом мне в шею. Я чувствую кожей ее горячие слезы... и свои — впервые за все это время я плачу.

ДЭВИД ШОУ

Последний выход сыновей шока

Дэвид Шоу является автором таких романов, как «Убийственный рифф» («The Kill Riff»), «Ствол» («The Shaft») и «Освободители» («Liberators»). Его отмеченные различными премиями рассказы представлены в сборниках «Обезуметь» («Seeing Red»), «Падшие ангелы» («Lost Angels»), «Черная кожа обязательна» («Black Leather Required») и «Осторожно! У него нож» («Look Out, He's Got a Knife»). Он также выступал в качестве составителя антологии «Серебряный крик» («Silver Scream»).

Дэвид Шоу написал сценарии к таким фильмам, как «Кожаное Лицо: Техасская резня бензопилой 3» («Leatherface: The Texas Chainsaw Massacre III»), «Зубастики 3» («Critters 3»), «Зубастики 4» («Critters 4») и «Ворон» («The Crow»). В основу последнего фильма легла культовая книга комиксов Джеймса О'Барра, во время съемок от случайного выстрела погиб актер Брэндон Ли.

«Джон Бетанкур попросил меня написать что-нибудь о Франкенштейне для его антологии „Окончательный Франкенштейн" („Ultimate Frankenstein"), — вспоминает Дэвид Шоу. — На что я ответил: „Бредовая идея", но уже через двадцать четыре часа у меня был готов черновой набросок рассказа „Последний выход сыновей шока". Я его так хитро выстроил, чтобы заставить Джона поломать голову, в какую из трех „окончательных" антологий — „Франкенштейн" („Frankenstein"), „Дракула" („Dracula") или „Оборотень" („Werewolf") — его поместить. Я рассчитывал, что, зайдя в тупик, он напечатает произведение во всех трех.

С этими „окончательными" антологиями все окончилось тем (извините за каламбур), что рассказ явился тематическим продолжением моего более раннего произведения „Монстры на экране" („Monster Movies"). Крейг Спектор, Джон Скипп и я читали его по ролям в Вассар-колледже: Крейг читал за Дракулу, а Джон за Человека-волка. Жаль, что вас там не было — много потеряли...»

Блэнк Фрэнк[1] приглушил громкость *The Cramps*[2] и задержал взгляд на голубом мерцании эквалайзера — он любил пульсирующие огоньки. Песня «Тварь из Черной кожаной лагуны» зазвучала более спокойно.

---

[1] *«Blank Frank»* — песня Брайана Ино с его первого соло-альбома «Here Come the Warm Jets», выпущенного в январе 1974 г.

[2] *The Cramps* — американская рок-группа, образованная в 1973 г.; тематика их песен была часто связана с классическими фильмами ужасов.

Клуб назывался «Нежить». Аудиосистема перекочевала сюда из лос-анджелесской «Тропиканы» — места, где собирались поклонники боев в грязи, фокси-бокса[1] и кок-тиза[2], — и грохотала под стать шумным посетителям: низкие частоты со сладкой жестокостью выворачивали наизнанку все внутренности.

Блэнку Фрэнку это очень нравилось. Каждый раз, когда он думал о физическом контакте, ему представлялся удушающий захват типа «тиски».

Коробку «Столичной» он водрузил на мощное плечо, а коробку с бутылками виски зажал под мышкой — требовалось пополнить запасы бара. Выходные — дело ответственное. Блэнк Фрэнк мог за один раз, не пользуясь грузовой тележкой, унести и пять таких коробок. Дверной проем был недостаточно высок для Блэнка, поэтому ему все равно пришлось немного пригнуться, чтобы не удариться головой о притолоку. Дверь была похожа на те, что ставят в банковских хранилищах, — тяжелая, с массивным цилиндрическим замком.

Оставалось два часа до открытия клуба.

Блэнк Фрэнк любил этот короткий период тишины и ожидания. Он не забыл эту дату. Блэнк ухмыльнулся, глянув на постер, висевший на стене рядом с кассовым аппаратом. Он купил его в голливудском сувенирном магазине, выложив кругленькую сумму, даже несмотря на свою профессиональную скидку. Блэнк прикрепил его к планшету, чтобы разгладились складки и загибы, и регулярно смахивал пыль со стекла. Двухцветный кинопостер с огненно-пылающими буквами. Это был его первый фильм. И очень часто посетители «Нежити», тряся пачкой наличных, настойчиво просили продать постер. И каждый раз Блэнк Фрэнк говорил «нет» и улыбался — и наливал за счет заведения.

Он прибавил громкость — звучало длинное вступление «Бела Лугоши мертв» *Bauhaus*[3].

Персонал пил исключительно кофе и охлажденный чай. Блэнк Фрэнк предпочитал безалкогольный коктейль собственного изобретения, который он окрестил «Слепой отшельник». И сейчас Блэнк неспешно готовил его в хромовом блендере, положив одну руку на плазменную лампу, которую Мишель подарила ему четыре года назад, когда они стали популярными.

---

[1] *Фокси-бокс* — притворная драка между двумя (или более) женщинами.

[2] *Кок-тиз* (от *англ.* cock-tease — дразнить член) — шоу, в котором профессиональные стриптизерши возбуждают посетителей, выполняя действия сексуального характера.

[3] *Bauhaus* — британская рок-группа, образованная в 1978 г.; эталон готического рока.

Ладонью он ощущал округлость стеклянной сферы, кончиками пальцев ловил импульсы фиолетовых «молний», играл с их интенсивностью и амплитудой колебаний, словно овладевал энергией, подобно всемогущему Николе Тесле.

Блэнк Фрэнк любил пульсирующий переменный ток.

На его теле было достаточно много татуировок. Но одна, на тыльной стороне левой руки, той самой, что сейчас играла с плазменной лампой, особенно ему нравилась: стилизованное изображение земного шара с огибающим его крошечным самолетиком[1]. Татуировку он сделал так давно, что чернила успели изрядно поблекнуть.

Последние три десятилетия Блэнк Фрэнк был совершенно лысым, и только на затылке остался жидкий пучок волос. Блэнк заплетал его в аккуратную косичку и периодически подрезал ножницами на шесть дюймов. Косичка была абсолютно седой. Иногда, когда Блэнк накачивался алкоголем, она темнела, и он не знал почему.

Мишель работала стриптизершей до тех пор, пока владельцы клуба не перессорились и заведение не продали. А потом «Нежить» возродилась из пепла. И теперь Мишель нравилось работать официанткой, и ей нравился Блэнк Фрэнк. Она называла его «верзилой». Большинство посетителей считали их любовниками. Но они таковыми не были. Однако все эти вымыслы и домыслы отводили от них массу возможных и нежелательных проблем, особенно по ночам в выходные дни. Блэнк Фрэнк уяснил для себя, что всякие выдумки людям иногда нужнее, чем правда.

Блэнк Фрэнк тоже научился пускать пыль в глаза. Видели бы его сейчас байкеры — деликатный и внимательный. Заботливо хлопочущий.

Когда в «Нежити» кто-нибудь надирался сверх меры и затевал заварушку, Блэнк не часто играл роль вышибалы. Обычно он просто возникал за спиной нарушителя порядка и ждал, пока тот или та не оглянется и не извинится. В обязанности Блэнка Фрэнка входило «впечатлять массивными габаритами».

«И если одного впечатления недостаточно, — подумал, улыбаясь, Блэнк Фрэнк, — всегда есть „тиски“».

На экране монитора появилось такси «Ред-топ», оно остановилось у служебного входа в клуб. Блэнк Фрэнк почувствовал удовлетворение. Он как раз закончил драить барную стойку, и она блестела чистейшим ониксом. Блэнк снял входную дверь с сигнализации. Сейчас в нее три раза постучат.

---

[1] Имеется в виду старая заставка киностудии «Universal», выпустившей в 1930—1950 гг. серию классических фильмов о чудовищах: Франкенштейн, Дракула, Человек-волк, Мумия, человек-невидимка и т. п.

Блэнку Фрэнку нравились все эти электронные прибамбасы: камеры, узконаправленные микрофоны, усилители, стробоскопы — все, что производило мощный поток чистейшего переменного тока и составляло техническую основу шоу, конечно же с маэстро в центре. Блэнка интересовали тумблеры и переключатели и пульсирующие огоньки. Но больше всего на свете он любил мощь энергии.

«Тук-тук-тук». Все как всегда. Неизменные три стука.

— *Отлично,* — *пробормотал себе под нос* Блэнк Фрэнк.

Он поспешил к двери, в этот момент композиция закончилась, и пространство клуба наполнилось потрескиванием и шипением пустого эфира.

Уезжает на лимузине, приезжает на такси — одна из этих причуд планирования, гори они огнем. Вечным огнем.

Граф дал таксисту сумасшедшие чаевые: он привык иметь дело только с крупными суммами. И никогда не требует сдачи. Никогда в жизни Граф не платил налоги. В прошлом году он заработал сорок три миллиона, бóльшая часть этой суммы, за вычетом накладных расходов и затрат на отмывание, спокойно хранится в золотых слитках в банках за пределами страны.

Граф энергично постучал зонтиком в дверь «Нежити». Блэнк Фрэнк никогда не допускал, чтобы стук повторялся дважды.

Граф обрадовался, когда в смотровом окошке двери, полностью заполнив его, появилось лицо Блэнка. Затем его огромное тело закрыло весь дверной проем. Граф любил Блэнка Фрэнка, несмотря на его нелюдимость. Безусловная преданность Блэнка позволяла приятно расслабиться; казалось, чувство чести и элементарной справедливости было изначально заложено в это массивное тело. С этим громилой можно было просто сидеть, пить и вести непринужденный разговор об их общих знакомых, о том, что произошло за время, истекшее с их последней встречи, — никаких сплетен и злобных обсуждений, чисто дружеская беседа. А им было о чем поговорить.

Граф и Блэнк Фрэнк живут на земле так давно, что по возрасту им уступает любое из самых старых зданий Лос-Анджелеса.

Живут. Следует добавить в словарь несколько новых, более современных значений этого слова. Ученые могут спорить на этот счет, но Граф, Блэнк Фрэнк и Ларри, бесспорно, живые существа. В особенности Ларри. Искусственно созданные в лабораториях человекоподобные существа, зомби и ходячие мертвецы не станут усматривать в ежегодных тайных встречах их троицы в «Нежити» нечто сверхъестественное и невозможное.

Граф всегда чрезвычайно бледен, и оттого кажется, что его тонкая, как рисовая бумага, кожа, покрытая сетью мелких мор-

шинок, имеет легкий голубоватый оттенок. На лице не отразился груз прожитых лет, оно скорее напоминает испещренную линиями ладонь, по которой искусный хиромант легко прочитал бы книгу жизни. Ярко-голубые, как у сибирской хаски, глаза скрыты за непроницаемо черными стеклами очков ромбовидной формы. Волосы он неизменно зачесывает назад и смазывает гелем для придания влажного эффекта. Черные как смоль пряди от белоснежных висков и макушки нарочито театрально тянутся назад. Ларри называет это «причесоном от старомодного оперного дирижера». Губы у Графа тонкие, цвета вареной печенки. Его привычная диета уже не способствует крепости и полнокровию, а лишь не дает ему умереть. И это его утомляет.

Пока Блэнк Фрэнк шел открывать дверь, Граф успел прикурить папироску с кока-пастой и глубоко затянуться. Новая порция наркотика мгновенно его взбодрила.

Моросил дождь. Такси, шурша влажными покрышками, укатило в ночь.

Блэнк Фрэнк открыл дверь и, изображая важного дворецкого, держал ее, позволяя Графу войти.

Брови Графа сошлись на переносице.

— Ну что, друг мой, успел позабыть?

Благородный европейский акцент едва улавливался. Граф долгие годы обучался такой манере речи и сейчас мог заслуженно гордиться достигнутыми результатами. Иногда его принимали за канадца.

Блэнк Фрэнк придал лицу выражение провинившегося ребенка.

— О, простите, — кашлянул он, прочищая горло. — Не желаете ли войти?

Поддерживая игру, Граф, в своем двубортном костюме от Армани стоимостью несколько тысяч, театрально кивнул и вошел в прохладный, мрачный пустой бар. В любом случае всегда приятнее, когда тебя приглашают.

— Ларри? — спросил Граф.

— Нет еще, — ответил Блэнк Фрэнк. — Ты же знаешь Ларри, он всегда опаздывает. Он как в другом часовом поясе живет. Знаменитости полагают, что весь мир должен их ждать. — Он кивнул в сторону часов, словно они могли все объяснить.

Граф отлично видел в темноте, и даже непроницаемо черные стекла очков не могли ему в этом помешать. Когда он их снял, Блэнк Фрэнк заметил в его левом ухе серебряный крестик с распятием.

— Заделался металлистом?

— Понравилась штучка, — ответил Граф. — Хотя я никогда особенно не увлекался драгоценностями. Чем их у тебя больше,

тем у алчных людей острее соблазн разрыть твою могилу. Ларри это с легкостью подтвердит. С гробокопателями дружбу не водят.

Блэнк Фрэнк провел его к трем викторианским стульям с высокими спинками, которые принес из комнаты для отдыха и расставил вокруг коктейльного столика, прямо в круге света, падавшего от лампы. Получилось подчеркнуто театрально.

— Впечатляет. — Взгляд Графа метнулся в сторону бара.

Блэнк Фрэнк туда уже направлялся.

Граф сел и продолжил:

— Когда-то я был знаком с женщиной, она страдала ужасной аллергией на кошек. Но любилаа их безумно. И вот однажды... уф! Аллергия исчезла: никакого тебе насморка, красных глаз и потоков слез. Она перестала пить таблетки, от которых ее вечно клонило в сон. Ее любовь к кошкам заставила организм адаптироваться, и аллергия сама собой прошла. — Его пальцы коснулись серебряного крестика в ухе, некогда крест был для него предметом устрашения. — Я ношу его в знак того, что тело может само себя победить. Взять верх над происходящими в нем химическими процессами.

— Это как у меня с огнем. — Блэнк Фрэнк протянул ему ядерную смесь под названием «Гангбанг»[1].

Граф сделал глоток и, как кот, довольно зажмурился. Напиток, должно быть, имел чудовищную крепость. Раз подействовал на Графа, с его-то концентрацией веществ в крови.

Блэнк Фрэнк наблюдал, как Граф медленно, с наслаждением сделал еще один большой глоток.

— Знаешь, Ларри снова будет спрашивать, продолжаешь ли ты заниматься... ну, в общем тем, чем ты занимаешься.

— Я не люблю оправдываться. — (Но Блэнк заметил, как Граф выпрямился на стуле, словно готовясь обороняться.) — Я смотрю, у тебя здесь все по-старому. — Он указал в сторону бара.

Изменись Граф до неузнаваемости, жесты бы его выдали — величественные и грациозные. Эмоционально-выразительный язык тела.

— Все в рамках закона. Еда. Напитки. Сигареты.

— О да, вот в чем трудность[2]. — Граф потер переносицу. Он постоянно пользовался лекарствами, снимающими отечность.

Блэнк Фрэнк ждал, что вот сейчас он вытащит таблетки, но вместо этого Граф высыпал на оранжевато-розовую внутреннюю сторону ногтевой пластинки порцию кокаина. Сам ноготь

---

[1] Gang-bang — групповое изнасилование *(англ.)*.

[2] Ср.: «Уснуть! / И видеть сны, быть может. Вот в чем трудность; / Какие сны приснятся в смертном сне?» (У. Шекспир. Гамлет. Пер. М. Лозинского).

был черный, длинный, хорошо отполированный. И вместительный. Блэнк по опыту знал, что волосы и ногти продолжают расти и после смерти. Граф вдохнул эквивалент полноценного обеда в «Спаго»[1]. Включая капучино.

— Нет на планете такого уголка, где бы я не жил, — сказал Граф. — В Арктике. В малонаселенных районах Австралии. Среди болот Кении. В Сибири. Без единой царапины я прошел не одну зону боевых действий и горячих точек. На войне очень многое узнаешь о людях. Я пережил холокост и даже взрыв небольшой ядерной бомбы — просто хотел проверить, смогу ли я это выдержать. Можете обвинить меня в высокомерии, но какому бы риску я себя ни подвергал, с какими бы людьми я ни встречался, я сделал для себя один важный вывод: у людей есть черта, свойственная им всем без исключения.

— В их жилах течет красная жидкость, — шутливо вставил Блэнк Фрэнк. Ему не нравилось, когда разговор становился слишком мрачным.

— Нет. Они все стремятся к экстатическим состояниям. И не важно, каким образом они этого достигают. Телевидение. Секс. Крепкий кофе. Власть. Быстрые машины. Садистские игры. Эмоциональные встряски. Но чаще всего они прибегают к химическим препаратам. Для них это как растворимый кофе. Мгновенно покупается нужное состояние. Подчеркиваю, это состояние покупается, а не достигается естественным путем. Хочешь расслабиться или взбодриться, стать сильнее или глупее? Легко! Просто что-нибудь глотни, вдохни, вколи, и мир вокруг тебя сразу же изменится. Коммерчески процветают те отрасли, которые предлагают наипростейший способ. И проституция тому наглядный пример. Кровь, плоть, оружие, должности — все товар. Люди так много хотят от жизни.

Граф улыбнулся и сделал глоток волшебного напитка Блэнка Фрэнка. Он знал: конец жизни — это только ее начало. Сегодня первый день оставшейся тебе смерти.

— Прости, дружище, мою резкость. Понимаешь, я до такой степени рационализировал свое призвание, что готов говорить списками, демографическими выкладками. Только вот редко находится благодарный слушатель.

— Ты это долго репетировал.

Блэнк Фрэнк сразу почувствовал четкость хорошо поставленного голоса, она проявлялась у Графа каждый раз, когда он готовился произнести пафосную речь. В течение последних столетий Блэнка и самого столько кололи шприцами, что все вены ушли. Он попробовал Графов сверхчистый кокаин, но от него

[1] *«Спаго»* — итальянский ресторан.

становился нервным и раздражительным. Еще как-то действовали седативные средства, но и их приходилось употреблять в огромных количествах, каждый раз на грани передозировки. Да и успокаивали они ненадолго.

— Скажи мне... Наркотики... они на тебя действуют?

Блэнк Фрэнк видел, как Граф задумался, решая, насколько может быть откровенен. Затем по его тонким губам пробежала и тут же исчезла тень улыбки — особое проявление расположения к старому приятелю.

— Я пользуюсь различными паллиативными средствами. Скажу тебе истинную правду: они дают лишь иллюзию облегчения, так, пустяковое занятие для рук, чтобы отвлечься. Видя, что ничто человеческое мне не чуждо, в том числе пороки, мои клиенты успокаиваются, и переговоры проходят без сучка без задоринки.

— Сейчас ты рассуждаешь как заправский коммерсант, — сказал Блэнк. — В тебе не осталось ни капли королевского величия?

— Да, роль чисто номинальная. — Граф нахмурился. — Да и кто мои вассалы? Рок-звезды. Патологические ловцы острых ощущений. Монстры корпораций. Их моя родословная не интересует. Ни на йоту. Я живу как дизайнер высокой моды. Все мои мысли сосредоточены на коллекции следующего сезона. В восьмидесятые из давно забытых бутылок Мариани[1] я извлек кокаин и пустил его в массы. Затем адреналин, крэк, айс. Я — дизайнер наркотиков. Конечно же, ты уже знаешь об экстази. Но ты еще не знаешь о хроме и усилке. Ничего, скоро услышишь.

Неожиданно во входную дверь забарабанили так, словно прибыл целый отряд из Управления по борьбе с наркотиками. Блэнк Фрэнк и Граф удивленно повернули головы. Краем глаза Блэнк заметил кобуру с браунингом под левой подмышкой Графа.

«Это скорее для имиджа», — мелькнуло в голове у Блэнка.

Шум был такой, словно в дверь, завывая, лупил ногой какой-то сумасшедший. Блэнк Фрэнк поспешил туда. Но чем ближе он подходил, тем больше успокаивался.

Конечно же, это мог быть только Ларри.

— Черт побери, рад тебя видеть, мертвый громила!

Ларри был на голову ниже Блэнка Фрэнка. Но он напрыгнул на друга и облапил его в медвежьих объятиях.

---

[1] *«Вино Мариани»* — вино, созданное (патент с 1863 г.) французским химиком корсиканского происхождения Анджело Мариани (1832—1914) на основе вин бордо с добавлением экстракта листьев коки. На унцию напитка приходилось 6 мг кокаина, а при экспорте даже 7,2 мг. Вино Мариани повсеместно запретили к продаже в годы Первой мировой войны.

От вида Ларри рябило в глазах.

Украшенные блестками и бахромой красные брюки из лайкры плотно облегали ляжки. Желтовато-золотистые ковбойские сапоги поблескивали шпорами. Пряжка на тисненом ремне не уступала в размерах решетке на «ролле-ройсе». Аксессуаров на Ларри было как украшений на рождественской елке: в ухе массивный серебряный череп с перьями, целая связка браслетов из арсенала металлистов и рэперское, на три пальца, золоченое кольцо с гравировкой «вауууу!». Его массивная грудь бочонком выпирала из серебристой гонщицкой куртки с эмблемой «феррари-дайтона»; молния расстегнута, куртка смыкалась только кнопкой на поясе, так чтобы весь мир видел его обтягивающую майку неоново-алого, цвета вырви глаз с оттиском его карикатуры в желтом и вопиющей надписью «Настоящий Человек-волк». Даже в ночное время Ларри не снимал своих «Рей-Бен»[1] и при каждом движении громко звенел всеми побрякушками.

— А где же наш старик Бэтмен? А, вижу, прячется в темноте! — Ларри звучно хлопнул Блэнка Фрэнка по плечам и размашистым шагом направился к Графу. С ним он позволял себе только рукопожатие — сухое и предельно официальное. — Ну что, клыкастый пижон, выбрался с друзьями повидаться? Вечеринка начина-а-а-ется!

— Знаменитость осчастливила нас своим визитом, — сказал Блэнк Фрэнк. — Черт побери, что за дерьмо такое — «настоящий» Человек-волк?

Ларри скорчил гримасу, скаля зубы:

— Маленькая загвоздка с авторским правом, торговой маркой, принудительным отчуждением... и одним недоноском, который взял и зарегистрировался во Всемирной федерации рестлинга как Человек-волк. Оказывается, я сам его и укусил, лет уже двадцать назад. Так что мне пришлось добавлять «настоящий». На прошлой Рестлмании мы с ним выступили как тэгтим. Только вот приличного названия для команды так и не придумали.

— «Охвостье помета», — пошутил Граф.

— «Адские волчата», — подхватил Блэнк Фрэнк.

— Будьте так любезны засунуть свои драгоценные предложения поглубже и дважды провернуть. — Ларри натянул на лицо свой фирменный оскал, снял солнцезащитные очки и обвел взглядом «Нежить». — Что нам в этой волчьей яме предлагают? Черт побери, мне может кто-нибудь ответить, что это вообще за город?

---

[1] *«Рей-Бен»* — фирма, выпускающая солнцезащитные очки. Ее продукция получила широкую известность благодаря Голливуду и поп-культуре в 1960-х и 1980-х гг.

— У тебя сейчас турне? — Блэнк Фрэнк принял на себя роль гостеприимного хозяина.

— Да. В следующую пятницу в Атланте надо надрать задницу Джейку-Змею. Хотим с Дэмьеном задавить его, посмотрим, как питон это выдержит. Реально ломать его не собираюсь, но кровь ему попортить очень хочется, если понимаешь, о чем я.

Блэнк Фрэнк ухмыльнулся, он знал, что Ларри имеет в виду. Это означало ухватить противника левой рукой, а затем крепко сжать свое запястье правой рукой.

— Тиски.

Этот прием Ларри сам изобрел, по своей скандальной репутации он уступал только удушающему захвату. В прошлом тиски не раз помогали Блэнку справиться с каким-нибудь отъявленным буяном. Авторство принадлежало Ларри, и он мог им гордиться.

— По-настоящему кровь попортить! — пришел в восторг Ларри.

— Ш-ш-ш,— предостерегающе зашипел Граф. — Пожалуйста.

— О, прости, тот, для кого время стало вечностью. Эй! А помнишь ту пивоварню, они сделали три, что ли, рекламных ролика с Пивным Волком, прежде чем кампания загнулась? Так это был я!

Блэнк Фрэнк поднял свой бокал со «Слепым отшельником»:

— В таком случае за Пивного Волка. Пусть подольше вост на луну.

— За Пивного Волка, — сказал Граф.

— Мать вашу... — Ларри выпил залпом до краев полную кружку пива, рыгнул, вытер пену с губ и по-волчьи взвыл.

Граф промокнул губы салфеткой.

Ларри откалывал знакомые коленца, а Блэнк Фрэнк глядел на него, и воспоминание обожгло его мозг, как стопка крепкого на прицепе. Ларри всегда будут выдавать эти его нос, зубы и глаза-бусины. Да и сросшиеся на переносице брови в старые времена считались классической уликой. За исключением густых бровей, особой волосатостью Ларри не отличался. По крайней мере, в людском обличье. Руки покрывали тонкие рыжеватые волоски. Тренажеры и мордобой, которым Ларри зарабатывал на жизнь, внушительно увеличили его плечи. Обычно он носил футболки. Во время шоу Ларри разрывал их на груди. Он был грудой мышц, без единой складки жира. Ларри мог сжать банку с пивом так, что она открывалась с оглушительным хлопком. Пентаграмма на его мозолистой ладони выцвела, как татуировка Блэнка Фрэнка.

— Классно, — сказал Ларри, имея в виду крест с распятием в ухе Графа.

— Да и у тебя не менее рискованная штука, — ответил Граф, кивая на серебряную, в виде черепа серьгу Ларри. — Или это свет так падает?

Пальцы Ларри коснулись серебра.

— Да. Виноват. А давненько мы не вспоминали всю эту киношную лабуду.

— А мне нравилось. — Блэнк Фрэнк показал свою татуировку. — Хорошо было.

— Хор-рошо... — сказали Ларри и Граф в один голос, подшучивая над другом.

Все трое вообразили крошечный самолет, который, однажды поднявшись в воздух, обречен вечно летать вокруг черно-белого земного шара.

— И давно она у тебя? — спросил Ларри с ободком пены вокруг рта, отрываясь уже от второй кружки пива.

У Блэнка Фрэнка расширились зрачки, он пытался вспомнить, когда же у него появилась эта татуировка, и не мог.

— Лет сорок назад, — подсказал ему Граф. — К тому времени, как он решил сделать себе эту татуировку, они уже сменили логотип.

— Может быть, именно поэтому я ее и сделал, — все еще немного растерянно произнес Блэнк Фрэнк. Он водил по татуировке круговыми движениями, словно рассчитывая на наплыв и флэшбек с предысторией.

— Эй, но мы же тогда спасли эту чертову студию от банкротства, — разозлился Ларри. — Мы и Эббот с Костелло[1].

— Им тоже указали на дверь. — До сих пор Граф чувствовал себя уязвленным из-за того, что в общем бардаке его лицо использовалось с грубейшим нарушением авторских прав. Он видел свое изображение на каждом углу, но платить ему за это никто не собирался. Его деловому чутью был нанесен серьезный удар. И он отлично понимал, почему должен существовать «Настоящий Человек-волк». — Баду, Лу, тебе, мне, верзиле — нам всем после Второй мировой войны досталась одна бурда, сливки сняли другие.

— Я был на похоронах Лу, — сказал Ларри. — Ты в это время отсиживался в Карпатах. — Он повернулся к Блэнку Фрэнку. — А ты даже не знал о его смерти.

— Я любил Лу, — сказал Блэнк. — Разве я не рассказывал тебе, как случайно переломил его на съемочной площадке...

---

[1] *Бад Эббот* (Уильям Эббот, 1897—1974) и *Лу Костелло* (Луис Фрэнсис Кристилло, 1906—1959) — популярный комический дуэт. В фильме «Эббот и Костелло встречают Франкенштейна» (1948) фигурировали и Франкенштейн, и Дракула, и Человек-волк — все три классических монстра студии «Universal».

— Да, — в один голос произнесли Граф и Ларри.

Это разрядило напряжение, вызванное мрачными воспоминаниями об интригигах бездушных киностудий. Лучше вспоминать людей, а не события.

Блэнк Фрэнк предался воспоминаниям. Он направился к бару, чтобы сполоснуть свой бокал. Плазменная лампа тихо потрескивала, в прозрачном шаре бушевала буря, сотворенная человеческими руками.

— Я слышал, старина Эйс получил работу в Музее национальной истории, — сказал Ларри, имея в виду их друга по прозвищу Эластичный Бинт. Ларри всем давал клички.

— Принц[1], — поправил его Граф, — продолжает охранять принцессу. Она выставлена в Египетском зале. Принц заключил сделку с охраной музея. Он всю смену бродит по залам с костями — настоящее кладбище; он его охраняет. Они посадили Принца на синтетический аналог листьев таны. Препарат оказывает на него успокаивающее действие, как метадон.

— Да, ночной сторож, — протянул Ларри, очевидно задумавшись о мизерной зарплате. И о том, зачем Принцу могли понадобиться деньги смертных. — Трудно представить.

— А ты посмотри на себя в зеркало, — посоветовал ему Граф.

— Завидуешь? — фыркнул Ларри.

Блэнку Фрэнку не составило труда представить Принца блуждающим ночью по лабиринту пустых коридоров, звенящих тишиной. По сути ведь музей не что, иное как гигантский склеп.

Ларри был абсолютно уверен, что Рыбья Морда — еще одна кличка в их обиходе — сбежал из Сан-Франциско от сумасшедшего ученого, возможно, чтобы осесть где-нибудь в луизианской дельте[2]. Они с Ларри были особенно близки (солидарность млекопитающих и земноводных — не пустой звук), а также самыми неистовыми из всей старой компании. Ларри до сих пор лелеял надежду уговорить своего чешуйчатого приятеля на поединок в платном эфире. Однако ему никак не удавалось решить проблему со стальным аквариумом, необходимым для этого поединка.

— Гриффин?[3] — спросил Граф.

---

[1] То есть Имхотеп — герой еще одной классической «юниверсаловской» картины, «Мумия» (1932, реж. Карл Фройнд); его роль, как и чудовища Франкенштейна, исполнял Борис Карлофф.

[2] Имеется в виду герой картины Джека Арнольда «Тварь из Черной лагуны» (1954) — еще один классический монстр студии «Universal».

[3] *Джек Гриффин* — герой романа Герберта Уэллса «Человек-невидимка» (1897), экранизированного Джеймсом Уэйлом в 1933 г., еще один классический монстр студии «Universal».

— Да кто его знает? — пожал плечами Блэнк Фрэнк. — Он может стоять у нас здесь перед самым носом, и мы никогда об этом не узнаем, пока он не запоет «Майских психов»[1].

— Он был мизантропом, — сказал Ларри. — Как и его ненормальный сынок[2]. Вот до чего наркота доводит.

Колкость, разумеется, предназначалась Графу. Граф ожидал чего-то подобного от Ларри и потому пропустил ее мимо ушей. Сегодня ему совершенно не хотелось затевать спор об этической стороне употребления наркотиков.

— Иногда я мечтаю о том времени, — сказал Блэнк Фрэнк. — А потом опять смотрю фильмы. Мечты сбываются. Это пугает.

— До наступления этого столетия, — сказал Граф, — я никогда не беспокоился о том, что кто-то собирает на меня досье.

Из них троих Граф больше всех пекся о неприкосновенности частной жизни.

— Ты романтик. — Такими оскорблениями Ларри бросался только в своем кругу. — Для большинства людей очень важно считать нас монстрами. Мы не можем отрицать того, что так достоверно изобразил черно-белый кинематограф. Было время, когда мир нуждался в таких чудовищах.

Каждый задумался о своем роде занятий на текущий момент, и каждый пришел к выводу, что они все еще нужны этому миру.

— Никто не собирается досаждать тебе сейчас, — упорно продолжал Ларри. — Не стоит беспокоиться насчет своего прошлого и тем более пытаться переделать его. Сегодня твое прошлое — достояние общественности, оно только и ждет того, чтобы тебя опровергнуть. Мы делали свою работу. Много ты можешь назвать людей, кто стал легендой только благодаря своей работе?

— Легендой? — передразнил его Граф. — Будешь бросаться такими словами — волосы на руках вырастут.

— Накося выкуси. — Ларри показал фигу.

— Нет, спасибо, я уже обедал. Но я кое-что принес тебе. Вам обоим.

Блэнк Фрэнк и Ларри почувствовали, что Граф заговорил так, будто тяжелая камера Митчелла[3] отъезжает назад, куда-

---

[1] Песенка из одноименного фильма «Майские психи» («Nuts in May»), в русском прокате — «Сумасброды».

[2] Имеется в виду пародийный эпизод «Сын человека-невидимки» из комедии «Амазонки на Луне» (1987).

[3] *Джордж Альфред Митчелл* — основатель компании «Mitchell Camera Corporation», получил премию Американской киноакадемии за технические достижения в начале 1960-х гг.

то в темноту. Граф достал и протянул им два небольших свертка.

Ларри тут же принялся разворачивать свой подарок.

— Весит целую тонну!

Из упаковки появилась волчья голова — свирепая, с оскаленной пастью. В грациозной шее проделаны два отверстия.

— Это набалдашник трости, — сказал Граф. — Только он и остался.

— Ты не шутишь? — Впервые за вечер грохочущий голос Ларри сделался тихим. Казалось, волчья голова потяжелела в его руке. Глаза стали влажными.

Сверток Блэнка Фрэнка был и меньше, и легче.

— Подарок для тебя оказался настоящей головоломкой, — сказал Граф. Ему нравилась роль конферансье. — Выбор такой большой, трудно было решить, на чем остановиться. Выбрать ли землю Трансильвании? Воду из озера Лох-Несс? Камень из руин замка?

Когда Блэнк Фрэнк развернул упаковку, он увидел кольцо. Золотое. Старое настолько, что тонкая скань потерлась в некоторых местах. Маленький рубин в когтистой лапе. Блэнк Фрэнк поднес его к свету.

— Насколько мне удалось выяснить, кольцо некогда принадлежало мужчине по имени Эрнст Волмер Клампф.

— Кому? — удивленно переспросил Ларри. — Что за странное имечко?

Блэнк Фрэнк находился в замешательстве. Сквозь кольцо, как сквозь увеличительное стекло, он посмотрел на Графа.

— Клампф умер много лет назад, — сказал Граф. — Умер и был похоронен. А затем его эксгумировали. Потом некоторые части его тела были использованы искусным хирургом при сотворении одного нашего общего знакомого.

Лицо Блэнка Фрэнка прояснилось.

— Фактически часть Эрнста Волмера Клампфа до сих пор ходит по земле... и угощает своих друзей в баре.

Графа порадовало то выражение лица Блэнка, с каким он начал примерять кольцо. Оно с трудом налезло ему на левый мизинец.

Чтобы не задохнуться подступившими слезами, Ларри решил пошуметь. Одним прыжком, рисуясь, он перемахнул через барную стойку и сам наполнил свою кружку.

— У меня тост, — громогласно произнес он, высоко поднимая кружку и расплескивая налитое до краев пиво. — За покойных друзей. То есть за нас.

Граф достал несколько капсул из изящной жестянки, закинул их в рот и запил остатками «Гангбанга». Блэнк Фрэнк одним глотком разделался со «Слепым отшельником».

— О счете даже не думайте, — сказал Блэнк, помня привычку Графа всегда за все платить.

Граф улыбнулся и благосклонно кивнул. Порядок в оплате счетов был его пунктиком. Блэнк Фрэнк крепко, по-дружески похлопал Графа по плечу, поскольку до Ларри было не дотянуться. Граф не любил физических контактов, но сейчас стерпел, все-таки это Блэнк Фрэнк.

— Мать вашу, парни, мы же можем сделать наш собственный сиквел, все таланты в сборе! — воскликнул Ларри. — Можно подключить кого-нибудь из новичков и устроить слет монстров.

Вполне реальная идея. Троица многозначительно посмотрела друг на друга. Промелькнуло чувство вины, смешанной со стыдом, будто кто-то коварно, исподтишка испортил воздух в небольшой, тускло освещенной комнате.

«Бери выше — в тускло освещенной камере пыток», — подумал Блэнк Фрэнк, помня, как важно всегда оставаться в образе.

Блэнк Фрэнк задумался о сиквелах. О том, как когда-то студии дергали их за марионеточные нити и заставляли, пошатываясь, возвращаться. Снова и снова. Добавляли новых монстров, когда интерес публики угасал. И так, пока не выжимали весь возможный доход, после чего выбрасывали за борт, заставляя страдать от ностальгии.

В каком-то смысле это было подобно проживанию смерти.

И эти встречи, повторяющиеся из года в год, стали, по сути, тоже сиквелами.

Осознание этого вызывало депрессию. К концу вечера у Блэнка Фрэнка всю душу выворачивало наизнанку. Он старался оставаться дружелюбным и, насколько получалось, разговорчивым, но настроение портилось с каждой минутой все больше и больше.

Ларри выдул столько пива, что слегка окосел. Граф, употребивший целый букет различных веществ, глубоко осел внутри своего дорогого пиджака, казалось, он подбородком упирался в рукоятку пистолета, который всегда носил с собой. Ларри сделал глубокий глоток и завыл волком. Граф заткнул ухо пальцем.

— Лучше бы он этого не делал, — сказал он вполголоса с интонацией актера, стоящего на авансцене, а значит, раздражение было скорее показным.

Когда Ларри в очередной раз переваливался через барную стойку, как всегда двигаясь размашисто, с нарочитой демонстративностью, он умудрился всадить свой массивный локоть прямо в застекленный постер Блэнка Фрэнка. Раздался треск, в стекле осталась вмятина, оплетенная паутиной мелких тре-

щин. Ларри выругался и мгновенно расстроился. Затем принялся сбивчиво предлагать заплатить за разбитое стекло.

Граф, в свою очередь, как и следовало ожидать, предложил купить постер, поскольку это теперь была поврежденная вещь.

Глядя на своих друзей, Блэнк Фрэнк покачал большой квадратной головой:

— Это всего лишь стекло. Я его заменю. В первый раз, что ли.

Пришедшая в голову мысль, что он уже делал это, вконец испортила ему настроение. Он видел свое отражение, паутиной трещин разделявшее лицо на отдельные неровные фрагменты, а за ним зловещее изображение в красных всполохах. Он тогда. И он сейчас.

Блэнк Фрэнк провел ладонью по лицу, словно оно было не его, а чье-то чужое.

Ногти у него всегда были черными, но сейчас это было даже модно.

Ларри пребывал в расстройстве от своей неуклюжести, а Граф каждые пять минут посматривал на свой «Ролекс», словно опаздывал на важную встречу. Что-то испортило всем настроение, и Блэнк Фрэнк злился, потому что никак не мог понять, что именно. А когда злился, он мог взорваться в любую минуту.

Граф поднялся первым — этикет превыше всего. Ларри снова принялся извиняться. Блэнк Фрэнк оставался подчеркнуто любезным, хотя ему вдруг захотелось как можно быстрее выставить гостей вон.

Граф чопорно поклонился. Его лимузин подъехал минута в минуту. Ларри сжал Блэнка Фрэнка в крепких объятиях.

— *Au revoir*[1], — сказал Граф.

— Пусть все тебя боятся, — сказал Ларри.

Блэнк закрыл дверь черного хода и задвинул щеколду. Сквозь крошечное смотровое окошко он наблюдал, как бесшумно и плавно исчез в темноте лимузин Графа, как растаяли в темноте блестки, усыпавшие одежду Ларри.

До открытия оставалось еще полчаса. «Нежить» начинала заполняться посетителями только после полуночи, и было маловероятно, что кто-то нечаянно пострадает.

Блэнк Фрэнк врубил музыку на всю громкость и неуклюже отбил чечетку. Надгробная речь под аккомпанемент. Он любил Ларри и Графа безгранично и преданно и надеялся, что они поймут его поступок. Блэнк думал, что его ближайшие друзья достаточно проницательны, чтобы не счесть его сумасшедшим.

Он не сумасшедший и, конечно же, не монстр.

---

[1] До свидания *(фр.)*.

Пока музыка гремела, Блэнк достал из-за стойки бара две небольшие пластиковые бутылки с керосином для лампы и щедро полил им старое дерево. Поджигатели называют такие легковоспламеняющиеся жидкости «катализатором».

Во всех сценариях неизменно присутствовала либо опрокинутая лампа, либо факел, брошенный из толпы сельчан, — и вспыхивал финальный очистительный пожар. Лаборатории безумных ученых, особняки и даже каменные крепости горели и взрывались, уничтожая опасных монстров, но только до той поры, пока в них вновь не появлялась надобность.

Темные нити змеями скользнули сквозь крошечную косичку на затылке Блэнка Фрэнка. Все эти «слепые отшельники»...

Темно-красная электрическая дуга потянулась к его пальцу и мягко прошла сквозь него. Он осторожно выдернул из розетки шнур плазменной лампы, обхватил ее своей громадной рукой и прижал к себе. Постер с разбитым стеклом он оставил висеть на стене.

Чиркнул спичкой о ноготь большого пальца. Пламя с шипением поглотило зеленовато-желтую головку. «Нежить» сотрясли басы *D. O. A.*[1] Острый запах фосфора разорвал плотность спертого воздуха. Спичка горела ровным голубым пламенем в оранжево-желтом ореоле. Пламя трепетало в больших черных зрачках Блэнка Фрэнка. И, словно в колышущемся свете свечи, он смотрел на свое отражение в разбитом стекле постера, осколками рассеченное на сегменты. Его прошлое. У него в руках плазменный шар — девственно-чистый, ждущий новой зарядки. Его будущее.

Он вспомнил весь свой прошлый опыт общения с огнем. Бросил спичку в лужицу «катализатора», поблескивавшую на поверхности барной стойки. Пламя растеклось.

«Хорошо».

Блэнк Фрэнк направился к выходу, за спиной вспыхнуло белое зарево. Он закрыл за собой дверь. Ночь была прохладной и влажно-туманной. Плазменный шар запотел, он заметил это, когда остановился под фонарем, чтобы получше рассмотреть кольцо на мизинце. Он не нуждался ни во сне, ни в пище. Он будет скучать по Мишель, ну и вообще по народу, собиравшемуся в «Нежити». Но он не похож на них. У него впереди бесконечность и друзья, которые будут с ним вечно.

Блэнк Фрэнк любил мощь энергии.

---

[1] *D. O. A.* — панк-группа из Ванкувера, Канада; ее название расшифровывается как Dead on Arrival — «мертв по прибытии».

БРАЙАН МУНИ

Чандира

Хотя Брайана Муни нельзя назвать плодовитым писателем, он опубликовал немало произведений начиная с 1971 года, когда в сборнике «Лондонская мистика. Избранное» («London Mystery Selection») вышел его первый рассказ «Арабская бутыль» («The Arabian Bottle»). Работы Муни печатались в таких журналах и антологиях, как «Книга ужасов от „Pan". Двадцать первый выпуск» («The 21st Pan Book of Horror Stories»), «Темные голоса 5» («Dark Voices 5»), «Антология фэнтези и сверхъестественного» («The Anthology of Fantasy & the Supernatural»), «Оборотни» («The Mammoth Book of Werewolves»), «Тени над Иннсмутом» («Shadows Over Innsmouth»), «Fantasy Tales», «Последние тени» («Final Shadows»), «Кадат» («Kadath»), «Темные горизонты» («Dark Horizons») и «Фиеста» («Fiesta»).

«„Чандира" принадлежит к тем счастливым произведениям, которые возникают в голове целиком, от начала и до конца, словно уже написанные, — говорит автор. — Отправной точкой для этого рассказа послужили две идеи: то, что большинство созданий, подобных Франкенштейну, внушает скорее жалость, нежели страх, и то, что многие фильмы ужасов, которые мне довелось видеть, завершаются огнем.

Тогда я вспомнил о сати, обычае, который вполне приемлем для индусов, но решительно отторгается европейским сознанием. Затем я увидел обстоятельства, при которых сати стал бы приемлем и для европейца. Мой герой непременно должен был быть европейцем, чтобы воспринимать сати как чуждое явление, кроме того, он должен был обладать некой властью и к тому же быть достаточно молод и независим, чтобы не закоснеть в навязанной ему роли. Отсюда взялся молодой окружной чиновник во времена британского правления, который родился в Индии, а потому куда лучше понимает ее культуру...»

Я теперь старик и с каждым днем все чаще думаю о смерти. Я думаю о смерти, а затем вспоминаю некоторые события, случившиеся в конце прошлого столетия... и тогда мне становится страшно.

Я старик, промозглый зимний холод гложет мои кости и терзает суставы, и я проклинаю отвратительный климат моей так называемой родины. Вечера даже в более теплое время года

я провожу возле камина и потягиваю из стакана превосходный виски. И порой жар огня и вкус виски отгоняют от меня страх смерти.

Однако не всегда же мне доводилось так зябнуть. Львиную долю жизни, за вычетом времени ученья, я провел под знойным солнцем Индии — солнцем, которое дубило мою кожу и разжижало кровь. И опять-таки не всегда я страшился смерти. Это началось, когда мне сравнялось двадцать.

Родился я неподалеку от Пуны, где мой отец служил окружным чиновником, и уже в детские годы бегло говорил на маратхи и гуджарати[1], а впоследствии к этим языкам прибавились и другие. Стоит ли удивляться тому, что, возмужав, я счел естественным для себя поступить на службу в колониальную администрацию? Воистину Индия гораздо больше была мне родным домом, нежели угрюмые торфяные болота моих пращуров, и возвращение на Индостан в качестве мелкого — в высшей степени мелкого — чиновника принесло мне величайшую радость.

В те дни, давно ушедшие в прошлое дни британского правления в Индии, почти обычаем было отправлять юнцов, подобных мне, во всевозможные отдаленные местности. Таким образом испытывалось наше рвение, так проверялось, годны ли мы для службы и для грядущих, быть может, повышений. Я частенько посмеивался, слыша, как сетуют на свою долю младшие офицеры британской армии. Большинству из них приходилось беспокоиться лишь о том, чтобы разжиться приличной лошадкой для очередной охоты с пиками на кабанов или подыскать себе партнершу для полкового бала, либо же, наконец, о том, как удержать в подчинении своих грубых и неотесанных солдат. Я же в свои двадцать лет был ревизором, попечителем, советником, сборщиком налогов, администратором, судьей, посредником и непререкаемым авторитетом — словом, один во многих лицах.

В нынешние дни я порой — все реже и реже — отправляюсь в город, чтобы провести денек-другой в своем клубе. Мои приятели по клубу иногда не прочь послушать рассказ-другой об Индии, а юнцы добродушно подтрунивают надо мной, расспрашивая о фокусе с веревкой и тому подобных баснях.

Бог с ним, с этим фокусом, он и взаправду сущая басня. Мне доводилось видеть, как факиры проделывали действительно удивительные штуки, хотя то были скорее проявления физической выносливости, нежели сверхъестественных сил.

---

[1] *Маратхи и гуджарати* — распространенные в Индии языки.

Однако же я и впрямь знавал одного риши[1], что был во сто крат могущественней этих дешевых фокусников. Именно воспоминания об этом человеке и пробуждают во мне страх, когда я думаю о смерти. То, на что он оказался способен, до такой степени впечатлило и ужаснуло меня, что я никогда прежде не рассказывал об этом ни единой живой душе, и главным образом потому, что был уверен: меня непременно сочтут сумасшедшим. Впрочем, теперь, когда после тех событий прошло шестьдесят с лишним лет, мне уже нет дела до того, что обо мне подумают.

Вверенный моим заботам участок занимал две-три сотни квадратных миль, на которых располагалось изрядное количество деревень. Мой непосредственный начальник, старший окружной чиновник Барр-Тэйлор, раз в две или три недели заглядывал ко мне, чтобы выслушать мой доклад, обсудить насущные проблемы, при необходимости дать совет, а порой и сопроводить меня в поездке по округу. Бóльшую же часть времени я был предоставлен самому себе, и единственным моим помощником был пожилой, исполненный достоинства пуштун из Белуджистана, который звался Муштак-хан.

Именно во время одного из визитов Барра-Тэйлора я впервые услыхал о том самом риши. Мой начальник и старший товарищ решил остаться у меня на ночь, — вероятно, для того, чтобы оценить мои светские навыки, поскольку окружным чиновникам иногда доводилось развлекать проезжих высокопоставленных гостей.

В преддверии ужина мы сидели на веранде, потягивали джин с тоником и, прислушиваясь к вечерним звукам, непринужденно беседовали обо всем на свете.

Мы обсуждали расписание моих поездок по округу, когда Барр-Тэйлор вдруг спросил:

— Скажите-ка, Роуэн, вы еще не были в Катачари?

Катачари была из тех деревень, которые располагались по соседству с моей резиденцией, однако же я до сих пор ни разу не наведался туда. Я предпочитал посещать более отдаленные селения, полагая, что люди, живущие по соседству, узнают о моей деятельности из местных сплетен и сами обратятся ко мне, ежели у них возникнет в том нужда.

Все это я объяснил Барру-Тэйлору и в ответ услышал:

— Вот вам мой совет: съездите туда как можно скорее. Тамошнего заминдара[2] зовут Гокул. Когда увидитесь с ним, передайте ему мои самые сердечные пожелания: мы с ним давние

---

[1] *Риши* — в индуизме святой человек, подвижник.

[2] *Заминдар* — в Индии помещик, землевладелец.

друзья. Однако на самом деле я хочу, чтобы вы познакомились вовсе не с Гокулом. Там, в деревне, живет риши, некто Адитья.

Он предложил мне манильскую сигару, и мы закурили, пуская едкие клубы дыма в ненасытных москитов, которые как раз вылетели на вечернюю охоту.

— Этот Адитья, — продолжал мой начальник, — весьма любопытный тип. Появился он в Катарачи пару лет назад, объявил местным жителям, что его судьба, дескать, умереть здесь. Местные, как и следовало ожидать, сочли, что им оказана высокая честь, построили для риши и его жены небольшой домик и с тех пор всячески заботятся о нем. Все это, само собой, делалось отчасти в ожидании ответной услуги: предполагалось, что риши будет молиться за жителей деревни, выступать посредниками между ними и богами, нести утешение страждущим и дряхлым... ну и тому подобное.

Вы, Роуэн, родились в Индии, так что я вовсе не пытаюсь просветить вас в том, что вы сами знаете. Полагаю, вы думаете сейчас, что во всем этом нет ничего необычного, что случай этот вполне заурядный. Однако же этот Адитья — весьма незаурядный тип. Он утверждает, что ему две с лишним сотни лет и что он жив до сих пор только благодаря необыкновенной силе воли. Я не говорю, что верю этому, но все же он и вправду весьма почтенного возраста и о некоторых событиях говорит так, словно был их очевидцем, описывая их в высшей степени убедительно. В этом человеке и впрямь сокрыта некая необъяснимая сила. Я служу в администрации уже тридцать с лишним лет, но в присутствии Адитьи чувствую себя сущим юнцом.

Барр-Тэйлор поморщился и глубоко затянулся сигарой.

— И это еще не все, — прибавил он. — Должен признаться, что, хотя Адитья не дал мне никакого повода для подобных чувств, есть в нем нечто... пугающее.

Он ткнул в меня костлявым пальцем, подчеркивая этим жестом важность своих слов.

— Поезжайте в Катарачи, Роуэн, не мешкайте. Это ваш округ, и если где-то могут возникнуть проблемы, вам надлежит узнать об этом в первую очередь. — Барр-Тэйлор поднял голову и принюхался. — Что это так пахнет — корма?[1] Пойдемте-ка глянем, что там приготовил на ужин Муштак-хан.

Не могу сказать, что я тогда придал особое значение рассказу Барра-Тэйлора. Святых подвижников, и риши, и садху, в Индии великое множество — точно так же, как и буддийских монахов. Одни из них кочуют по всей стране, другие ведут осед-

[1] *Корма* — индийские пряности.

лый образ жизни, но все живут за счет подаяния, и, как правило, щедрого. Тем не менее старшему окружному чиновнику удалось изрядно раздразнить мое любопытство.

А потому я при первой же оказии отправился в Катарачи. Как обычно, меня сопровождал Муштак-хан, заботившийся о моей безопасности. Когда-то, едва вступив в должность, я пытался спорить со старым воином, утверждая, что в поездках ничего дурного со мной не может случиться, что местные жители почтительно отнесутся к моему чину.

— Может, оно и так, Роуэн-сагиб, — ворчливо ответил тогда Муштак-хан. — Я не сомневаюсь, что ваш Бог и мой Аллах не оставят вас своей заботой. А все ж не помешает, чтобы рядом с вами видели и меня. Вид пуштуна превосходно пробуждает в этих нечестивцах уважительный трепет.

Я вынужден был признать его правоту. Когда Муштак-хан восседал на коне — усы встопорщены, у пояса грозного вида кривой кинжал, поперек седла винтовка Мартини — Генри, — подобное зрелище могло пробудить уважительный трепет и во мне, грешном. Мне думалось, что на пару с ним мы запросто разогнали бы самую опасную шайку местных разбойников.

Дорога в Катарачи шла через лес, местами едва проходимый, а иногда настолько редкий, что на тропу перед нами падали золотисто-изумрудные пятна просеянного сквозь густую листву солнца. Под пологом леса царила приятная прохлада, и воздух был напоен ароматами ярких цветов и зреющих плодов, к которым примешивался влажный запах гниющей растительности. Над нами порхали, звонко перекликаясь, разноцветные пташки, и обезьянки в ветвях лопотали друг с другом, то и дело осыпая нас неразборчивой бранью.

Беседа, которую мы вели, выходила довольно односторонней: Муштак-хан говорил, а я слушал. Хотя формально старый пуштун был моим подчиненным, мне хватало здравого смысла понимать, что я многому могу у него научиться, и бьюсь об заклад, что речи его намеренно представляли собой некий скрытый урок. Я был далеко не первым сосунком, вверенным попечению Муштак-хана, и порой немало дивился его поистине безграничному терпению.

Мы проехали, вероятно, три четверти пути, когда я стал замечать, что вдалеке меж деревьев виднеется какое-то каменное строение.

— Что это? — спросил я у Муштак-хана, указывая в том направлении.

— Древний индуистский храм, сагиб, — отвечал пуштун. — Его бросили на волю джунглей много лет назад, задолго до того, как на эту землю пришли сагибы.

— Я хотел бы его осмотреть, — заявил я. Муштак-хан пожал плечами и дернул поводья, направляя своего коня вслед за моим.

Когда-то — бог весть сколько столетий назад — вокруг этого храма наверняка была обширная вырубка, но теперь лес безраздельно хозяйничал здесь. Серые, изъеденные непогодой стены беспорядочно оплела зеленая паутина ветвей, побегов и лоз, и гроздья ярких цветов свисали со стеблей растеньиц, которые обосновались в трещинах между каменными плитами.

Как обычно бывает в индуистских храмах, все здание снаружи в изобилии украшали ряды каменных фигур, изображавших сцены из местных мифов. Боги и герои сражались друг с другом, застывшие в битве, конец которой могло положить только обрушение здания. Танцовщицы, блудницы и храмовые девственницы замерли в зазывных позах, предлагая взгляду свои каменные прелести, безжалостно изъеденные временем.

Некоторые фигуры на фризе изображали откровенно непристойные сцены, и я, боюсь, залился румянцем, раздираемый естественными порывами молодой плоти и строгими заветами общества, которое меня взрастило.

Самая приметная часть композиции, располагавшаяся над тем местом, где раньше, вероятно, был главный вход в храм, размерами намного превосходила все прочие. Судя по всему, то было изображение Притхиви, индуистской богини земли и плодородия. Богиня благожелательно улыбалась мне, приветственно простирая руки. Волею случая природа украсила облик ее пышными цветами гибискуса, и оттого издали чудилось, будто Притхиви осыпана спелыми плодами.

Более всего, пожалуй, поразило меня, какой безмерный покой царил здесь. Зачарованный, я почти позабыл обо всем на свете — и тут меня привело в чувство недовольное хмыканье. Оглянувшись, я заметил, что по лицу старого пуштуна мелькнула тень. На мгновение я упустил из виду, что приверженцы ислама неодобрительно относятся к так называемому идолопоклонству.

Притворившись, что ничего не заметил, я достал часы и глянул на время.

— Да, Муштак-хан, это весьма любопытно, — сказал я. — Однако же я думаю, что нам следует поспешить.

До сих пор я гадаю, что за выражение блеснуло в глазах моего спутника: то ли он одобрял мои слова, то ли забавлялся тем, что видел молодого сагиба насквозь.

Получасом позже мы уже въезжали в деревню. Лес редел, расступаясь перед нами, промелькнули хижины хариджанов — неприкасаемых, а вслед за ними и жилища беднейших крестьян. Мы свернули на более широкую дорогу, и вокруг сразу стало

оживленно. Мужчины, согнувшиеся под бременем тюков, погонщики запряженных волами телег, женщины в ярких, словно крылья бабочек, нарядах, несшие к реке корзины с бельем, старики, сидевшие в теньке, — все громко приветствовали нас, когда мы проезжали мимо. Понемногу вслед за нами увязались ребятишки. Чем дальше углублялись мы в деревню, тем внушительней становилась наша свита из проказливых сорванцов, которые радостно пропускали мимо ушей призывы Муштак-хана уважать достоинство сагиба.

Мы направили коней к деревенской площади, и тотчас в ноздри мне ударила смесь навязчивых запахов: пыли, пряного жаркого, коровьего навоза и прочих неповторимых ароматов Индии.

Нас с почтительным видом поджидали несколько человек. Когда мы спешились, один из них вышел вперед и совершил намасте[1].

— Наконец-то, Роуэн-сагиб, я имею честь приветствовать тебя в Катарачи. Мое имя Гокул, я здешний староста и землевладелец.

Я ответил на приветствие Гокула и передал ему добрые пожелания от Барра-Тэйлора. Меня проворно познакомили со всеми прочими — разношерстной компанией, составлявшей совет деревни. Через несколько минут мы уже сидели и, попивая сладкий горячий чай, беседовали о насущных делах деревни и всего округа. Трое обосновались чуть поодаль: два брамина, которым законы касты запрещали тесное общение с не исповедующими индуизм, и Муштак-хан, движимый не столько нелюбовью к неверным, сколько обычной для старого воина бдительностью.

Вдруг наши гостеприимные хозяева разом смолкли и один за другим, склоняя при этом головы, поднялись на ноги. За спиной у меня прозвучал сухой старческий голос:

— Довольно, Гокул, потчевать нашего гостя обыденными разговорами. Могу поклясться, Роуэн-сагиб изо дня в день выслушивает подобные речи, а кому интересно толковать о землепашестве, кроме самих землепашцев? Как бы то ни было, я полагаю, что сагибу посоветовали проделать путь сюда для того, чтобы встретиться со мной.

Я тоже встал и, повернувшись, оказался лицом к лицу с обладателем голоса. При одном только взгляде на пришельца у меня перехватило дух, словно меня на мгновение окунули в ванну с ледяной водой. Адитья оказался невысок ростом и, что обыкновенно для подвижников, необычайно худ. Он был обла-

[1] *Намасте* — индийское приветствие сложенными перед грудью ладонями.

чен в белое одеяние, поверх которого ниспадали волнами длинные белоснежно-седые волосы и такая же борода. Меня, однако, более всего заворожили гипнотический взгляд темных, глубоко посаженных глаз и ощущение неописуемой мощи, которая исходила от этого человека.

Помимо воли я склонил голову и, сомкнув ладони, совершил намасте святому подвижнику. Поступок такой удивил меня самого, ведь, по правилам этикета, Адитья должен был первым приветствовать меня. Удивление мое усилилось, когда краем глаза я заметил, что Муштак-хан также поклонился и сделал салам.

Риши накрыл мои ладони своими:

— Ступай со мной, сын мой, пойдем в мое жилище и поговорим.

С этими словами он повернулся, и я без единого слова последовал за ним. И вновь меня поразило поведение Муштак-хана. Вместо того чтобы, как обычно, следовать на приличном расстоянии за мной, старый воин вернулся на место и продолжил пить чай.

Жилище риши, как и следовало ожидать, оказалось невелико и скромно. Мне пришлось согнуться, чтобы через небольшой проем войти в единственную комнату, тускло освещенную огоньками фитилей, плававших в чашках с маслом. Тут и там на полу были расставлены бронзовые чеканные курильницы, в которых дымились палочки благовоний, наполняя помещение густым приторным ароматом. К нему примешивался иной, едва различимый запах, который я не сумел распознать. Возможно, то был запах старости.

Жилище было обставлено весьма скудно. В разных концах комнаты располагались две койки, укрытые тонкими одеялами, посредине — низкий столик, окруженный табуретами, а у задней стены виднелась небольшая печь, возле которой стояли несколько глиняных горшков. В нишах глинобитных стен были расставлены статуэтки различных божеств.

И еще в комнате была женщина, которая, едва мы вошли, поднялась и стояла, опустив глаза. Подобно Адитье, она была одета в белое, однако же облачением ей служило не привычное сари. То была бурка, закрывающая все тело одежда, какую носят обычно мусульманки. Чужому взгляду оставались открыты только ее глаза, кисти рук и ступни ног.

— Роуэн-сагиб, — сказал риши, — добро пожаловать под мой кров. Это — Чандира, моя жена. — И, обратившись к женщине, добавил: — Чандира, принеси нашему гостю чаю со специями.

Та направилась к печи, дабы заняться приготовлением чая, а риши, прежде указав мне жестом на табурет, уселся в позе

лотоса на одной из коек. И закрыл глаза, недвусмысленно давая понять, что нам лучше воздержаться от разговоров, покуда не будут соблюдены все требования этикета.

Я воспользовался этим случаем, чтобы пристальней рассмотреть жилище хозяина. Адитья мало походил на подвижников, каких мне доводилось встречать. В индуизме имеются — не считая браминов — две разновидности святых подвижников: риши, которые могут жениться, если пожелают, и садху, дающие обет безбрачия.

Когда речь заходит о святых подвижниках индуизма, большинство людей представляет себе садху. Те ведут скитальческий образ жизни, путешествуют нагими или почти нагими, и тела их присыпаны пеплом и пылью. Многие садху умерщвляют плоть во имя многочисленных индуистских богов, однако и риши порой, дабы показать высокую степень духовности, с небрежением относятся к своему бренному телу.

Адитья же выглядел опрятно и на первый взгляд казался вполне обычным человеком, если не считать аскетической худобы. Он, безусловно, был стар, но все же я сомневался, чтобы ему сравнялось две с лишним сотни лет.

Погруженный в размышления, я вздрогнул, когда рядом со мной вдруг возникла жена Адитьи. Она поставила на столик чай и блюдо с ломтиками фруктов. В ноздри мне ударил густой мускусный аромат духов, которыми эта женщина, похоже, окатила себя с головы до ног. Сам по себе запах был довольно приятный, однако чересчур уж приторный. Я поблагодарил, стараясь при этом не глядеть на хозяйку слишком пристально, поскольку понимал, что такое внимание может показаться неприличным. Все же я успел разглядеть, что у нее красивые глаза и изящные руки. Затем женщина отошла в угол и безмолвно присела на корточки на земляном полу.

Внезапно Адитья открыл глаза, и его пронизывающий взгляд встретился с моим. Мгновение спустя глаза его словно подернулись дымкой, и он гостеприимным жестом предложил мне приступить к угощению.

Пара глотков чая отчасти смягчила владевшее мной напряжение, и я не сумел сдержать любопытства.

— Адитья-сагиб, — начал я, — твоя жена — мусульманка?

Подобные смешанные браки, хотя и были редкостью, все же иногда случались.

— Мусульманка? — переспросил он, искоса глянув на женщину. — Нет, Чандира не мусульманка. — Адитья улыбнулся. — Ты не женат, Роуэн-сагиб. — То был не вопрос, а утверждение.

— Да, я холост. — Риши все так же смотрел на меня в упор, и я отчего-то почувствовал потребность объясниться. — В на-

шем обществе не принято, чтобы молодой человек вступал в брак в самом начале жизненного пути. Мы считаем, что он прежде должен прочно встать на ноги.

— Странно, очень странно. — Адитья выбрал ломтик апельсина и принялся его жевать. — Юношам твоего народа доверяются необыкновенно важные, необыкновенно ответственные посты, дабы вы могли утолить порывы духа, но притом именно в это время наивысшего расцвета всех сил от вас требуют смирить куда более естественные порывы плоти. Скажи, Роуэн-сагиб, неужели не досаждает тебе неутоляемый зов твоих чресл? Неужели не мечтаешь ты о том, чтобы долгими ночами тешило тебя нежное нагое тело любящей и покорной женщины?

Мне припомнились соблазнительные сцены, изображенные на фризах лесного храма Притхиви, и я ощутил, как приливает к лицу жар. Хвала Богу, что в хижине было темно; хвала Богу, что риши не мог увидеть моего смущения.

— Прошу прощения, риши-сагиб, но у нас не принято говорить об этом, — пробормотал я уклончиво, всей душой желая, чтобы собеседник сменил тему.

Подвижник разразился скрипучим, довольно неприятным смехом.

— Как же ваш народ еще молод, вы сущие дети, — задумчиво проговорил он. — Вот я, к примеру, был женат не единожды, ибо разве не этого требует от нас естество? Иных своих жен я ценил выше, чем прочих. Позволь рассказать тебе о любимых моих женах, о том наслаждении, которое могли они подарить мужчине.

Адитья поднес к губам чашку и шумно отхлебнул чаю.

— Кумуд была очень, очень хороша собой. Лицо ее представляло собой безупречный овал и подобно было свежесорванному персику, сбрызнутому утренней росой. Глаза ее обещали небесное наслаждение, а йони[1] исполняло эти обещания. Радхика была дочерью кашмирского брамина, и кожа у нее была светлая, лишь самую чуточку смуглее, чем у белого сагиба. В ней мои чувства более всего услаждало тело. От шеи до бедер была она идеальна, а груди... думаю, ваша Библия наиболее красноречиво описала их, уподобляя сосцы возлюбленной молодым сернам, пасущимся между лилиями. По обычаю древней знати, волосы у нее на теле были тщательно выщипаны, и лишь узенькая стрелка указывала путь к раю... и, ах, сагиб, то был истинный рай!

По правде говоря, я уже не знал, куда деваться, слушая эти откровенные — чрезвычайно откровенные, на мой взгляд, — речи.

---

[1] *Йони* — в индуизме противопоставление лингаму, буквально: женское лоно.

В отчаянии я оглянулся на Чандиру. Риши верно истолковал мой взгляд, однако снова разразился сухим неприятным смехом:

— Не тревожься, Роуэн-сагиб, что наша беседа может смутить Чандиру. Разве она не дочь Индии? Для нас разговоры о чувственных наслаждениях отнюдь не запретны.

Итак, на чем же я остановился? Ах да, мои любимейшие жены. Самые красивые руки были у Шамин, самые длинные стройные ноги — у Фулан. Шамин своими руками могла так тесно привлечь к себе, что мы с ней словно становились единым существом. А ноги Фулан были сильными, как питоны, и, когда я входил в нее, эти ноги крепко обхватывали меня и не отпускали до тех самых пор, покуда мы оба не достигали вершин наслаждения.

Говоря все это, риши не сводил с меня глаз и улыбался так, словно насмехался над моей целомудренностью. Взяв еще один ломтик фрукта, он продолжал:

— Харпал была слепа, и с ранних лет ее обучали искусству массажа. Кисти рук и ступни ног у нее были прекрасны, отменно ухожены, сильны и в то же время изящны. В умелых ладонях ее мужское естество обретало невиданную выносливость, и наслаждение, испытываемое мужчиной, длилось бесконечно.

Чувствуя потребность сказать хоть что-то — хотя бы затем, чтобы скрыть свою неловкость, — я спросил:

— Неужели возможно, чтобы у человека было столько жен?

И опять прозвучал тот же смех, от которого у меня уже мурашки бежали по коже.

— А как ты думаешь, юноша, сколько мне лет?

Я замялся, и тогда Адитья жестко проговорил:

— Барр-Тэйлор уже сказал тебе об этом, и однако же оба вы не верите мне.

— Откуда тебе известно, что говорил мне Барр-Тэйлор?! — воскликнул я.

— Я обладаю могуществом, непостижимым для твоего ума. Когда вы сидели на веранде, курили и попивали виски, Барр-Тэйлор сказал тебе, что мне свыше двух сотен лет. Это правда. Более того, сагиб, мне дано не только это. Боги одарили меня непоколебимой волей, и именно этот дар помог мне обрести долголетие.

Манера подвижника вдруг резко изменилась, голос его стал менее резким и зазвучал мягче:

— В моем понимании, Роуэн-сагиб, две самые могущественные силы в мире — это плотское влечение и смерть, и я обладаю полной властью над ними обеими. Несмотря на мой более чем почтенный возраст, я могу с гордостью сказать, что мы с Чандирой по-прежнему наслаждаемся частыми и кипучими соитиями.

Адитья широким жестом обвел комнату:

— Оглянись по сторонам, молодой сагиб, взгляни на богов, которых я держу в своем жилище. Вот Притхиви, а там восседает Яма, Владыка мертвых. Здесь расположился Кама, повелитель наших чувственных желаний, а вон там — Разрушители, Шива и Кали. Однако, — продолжал подвижник, — даже я не в силах вечно оттягивать свою смерть. — Невеселая усмешка скользнула по губам риши. — Оттого-то я и поселился в этой деревне, что именно здесь суждено мне закончить свои дни.

Адитья внезапно встал:

— Ступай со мной, Роуэн-сагиб. Я покажу тебе, какова моя власть над смертью.

И с этими словами он вышел из хижины прежде, чем я успел осознать, что происходит.

Уже на пороге я обернулся, чтобы поблагодарить жену риши за гостеприимство. Слова мои прозвучали неуклюже, с запинкой, потому что я до сих пор испытывал безмерное потрясение от того, сколь откровенные речи вел Адитья в присутствии этой женщины.

После сумрака, царившего в хижине, солнечный свет слепил глаза, и риши взял меня за руку, дабы повести в нужном направлении. Следуя рядом со мной, он негромко проговорил:

— Сагиб, ты мог бы оказать мне одну услугу.

— Разумеется — если только это будет в моих силах. Что за услуга?

— Узнаешь, когда придет время, — ответил риши. — Ага, думаю, это подойдет.

Он привел меня на дальний край деревни, и я лишь тогда осознал, что откуда-то тянет нестерпимой вонью.

Пройдя пару шагов от опушки джунглей, Адитья раздвинул ногой густую поросль травы, и нашему взору предстал разлагающийся труп бродячей собаки. Над ним взлетела, жужжа, громадная стая мух, и с ними поднялось в воздух удушливое зловоние смерти. Разложение придало трупу причудливую форму, и я заметил, что из заднего прохода выползают и вновь заползают туда цепочки деловитых муравьев. Ребра мертвого пса торчали наружу, и там, где уже потрудился какой-то мелкий падальщик, торчали ошметки внутренностей. Глазницы трупа были пусты — глаза, верно, выклевали вороны.

— Полагаю, Роуэн-сагиб, ты не сомневаешься в том, что эта собака мертва?

— Не сомневаюсь, — выдавил я, прижимая ко рту и носу платок и изо всех сил сдерживая приступ тошноты.

— Тогда, будь любезен, отойди на несколько шагов и смотри, что сейчас произойдет.

Я послушно отступил и остановился, не сводя взгляда с риши. Он замер на месте, и глаза его закатились так, что видны были только белки. Вокруг воцарилось пугающее безмолвие — стихла даже привычная сумятица лесных звуков. Затем я услыхал странное ворчание, и взгляд мой помимо воли устремился на собаку.

Мертвое животное рывками поднималось, беспомощно и неуклюже дергаясь, словно марионетка с полуоборванными ниточками. Наконец пес кое-как утвердился на лапах и двинулся ко мне, шатаясь и умильно виляя остатком хвоста. Сбоку из пасти его свешивался распухший, почерневший, отчасти кем-то обглоданный язык, и пустые глазницы невидяще уставились мне в лицо. Я успел разглядеть, что в глубине их шевелятся трупные черви, и...

...И кажется, именно тогда я завопил точно резаный и бросился бежать. Я был вне себя от ужаса и не стыжусь в этом признаться.

Я промчался по деревенской площади, где в обществе местных столпов по-прежнему восседал Муштак-хан, вскочил на коня и галопом поскакал прочь. Только позже я обнаружил, что на боках бедного животного остались кровавые следы — так неистово я его пришпоривал, чего никогда не делал прежде.

Старый пуштун нагнал меня где-то через милю, уже на дороге, и, схватив поводья моего коня, железной рукой вынудил его остановиться.

— Что такое, сагиб, что случилось?

— Тот подвижник... — Я помотал головой. — Нет, Муштак-хан, я не могу тебе этого сказать. Он... показал мне кое-что. Это было ужасно. Я просто хочу забыть, забыть обо всем и никогда больше не встречаться с этим человеком.

— Пойдем со мной, сагиб, пойдем туда, где царит мир.

И Муштак-хан, вероятно вопреки всем своим нравственным устоям, отвел меня в тот самый заброшенный храм в джунглях. Долго стоял я там, неотрывно глядя на доброжелательное лицо богини и усердно стараясь обрести душевный покой.

Жизнь текла своим чередом. Я написал Барру-Тэйлору краткий отчет о посещении Катарачи, упомянув, что Адитья пригласил меня в свое жилище. Ни единым словом не обмолвился о разговорах с рищи, и уж ничто на свете не заставило бы меня рассказать о происшествии с мертвой собакой.

Я погрузился с головой в дела, изъездил весь округ, посещая другие деревни, — словом, делал все, чтобы забыть о пережитом ужасе. Пару недель мне снились кошмары с участием мертвых животных, потом они прекратились. Постепенно я убедил себя в

том, о чем должен был бы подумать с самого начала. Я уверился, что риши либо чем-то опоил, либо загипнотизировал меня.

Как-то вечером я сидел в своем кабинете, курил сигару, потягивал из стакана лимонный сок и пытался свести концы с концами в ежемесячном финансовом отчете. Было душно, и ленивые взмахи опахала не могли растормошить неподвижный горячий воздух. У меня духу не хватало требовать большего старания от паренька, которому платили две-три анны[1] за этот нехитрый труд. Вполне вероятно, он так же был изнурен жарой, как и я сам.

Я встал, чтобы потянуться и размять затекшие плечи и шею, когда вдруг краем глаза заметил какое-то движение. Я повернулся — и увидел перед собой Адитью. Понятия не имею, как ему удалось так бесшумно войти в комнату. Ладони риши были сложены в намасте, глаза закрыты, на губах играла едва приметная улыбка. В тот самый миг, когда я уже собирался несколько раздраженным тоном поздороваться с ним, он вдруг исчез, а я обнаружил, что стою, уставясь в темный угол.

«Иисусе!»

Струйки пота, стекавшие по моей коже, тотчас заледенели, и я метнулся через всю комнату к застекленному шкафчику со спиртным. И тут последовало еще одно потрясение. В тот самый миг, когда я трясущимися пальцами пытался откупорить бутылку с виски, снаружи, с другой стороны веранды, донеслось едва различимое царапанье. Не задумавшись ни на миг, я выхватил хранившийся в ящике стола пистолет системы «Вебли» и решительно распахнул ставни.

И увидел перед собой перепуганное лицо Ясима, пожилого хариджана, которого наняли ухаживать за садиком при моем бунгало. Я шумно втянул воздух, испытав безмерное облегчение.

— Ясим! Что ты здесь делаешь? С какой стати крадешься в темноте, словно вор? Будто не знаешь, что, если захочешь поговорить со мной, тебе следует постучаться в дверь! Что тебе нужно, старина?

Мой ночной гость отчаянно помотал головой и прижал палец к губам:

— Роуэн-сагиб, мне нельзя было сюда приходить, это очень, очень опасно. Я пришел рассказать вам, что в округе неспокойно. Говорят, что риши Адитья при смерти. Может быть, он сейчас уже и помер.

Не могу сказать, что меня сильно огорчило это известие. Имя святого подвижника тотчас вызвало в моей памяти ужас-

---

[1] *Анна* — индийская разменная монета.

ную сцену на опушке леса, и первой моей мыслью было, что чем скорее он умрет, тем лучше.

Затем я вспомнил слова риши: «Ты мог бы оказать мне одну услугу... узнаешь, когда придет время». Что же я видел сейчас в кабинете — явление духа, видение, галлюцинацию? Возможно, это была некая разновидность мысленного воздействия? Может быть, таким образом риши требовал от меня той самой услуги?

— Значит, я должен поехать в Катарачи, — сказал я вслух. — Адитья-сагиб наверняка хотел бы, чтобы я присутствовал на погребальном обряде как представитель британской власти.

В глазах садовника мелькнул нешуточный испуг.

— Сагиб, если меня кто-то спросит, я стану отрицать, что рассказал тебе об этом, — так велика опасность. Знай, утверждают и то, что жена святого подвижника хочет совершить сати.

Сати! При этом слове я похолодел. Я знал, что оно означает, — да и кому из тех, кто родился и вырос в Индии, оно не было знакомо? Кто из начитанных людей или бывалых путешественников не содрогался при мысли об этом чудовищном, чуждом европейскому духу обряде? Кто из окружных чиновников британской администрации не молил Бога о том, чтобы никогда не столкнуться с ним?

Сати. Слово на санскрите. Буквальное его значение — «добродетельная женщина». На практике в индуизме оно означает ритуальное самосожжение, которое совершает вдова на погребальном костре своего мужа, поскольку считается, что добродетельной женщине незачем жить после смерти супруга. И это далеко не всегда самосожжение — известны случаи, когда вдову против ее воли связывали и бросали в огонь.

Этот обычай был объявлен вне закона лет шестьдесят или семьдесят тому назад, однако администрация негласно смирялась с тем, что его продолжали практиковать в отдаленных местностях. Теперь же сати должен был совершиться здесь, в Катарачи, и мой долг состоял в том, чтобы предотвратить его.

Рано поутру я поднялся прежде всех и незаметно выскользнул из бунгало. Оседлав коня, я отвел его как можно дальше от дома и лишь тогда вскочил на него и двинулся в путь.

Когда я добрался до Катарачи, деревня уже просыпалась. Над разожженными с утра пораньше очагами поднимались в воздух тонкие струйки дыма, пахло свежевыпеченными лепешками наан[1] и закипающим чаем. Слышно было, как крестьяне оживленно переговариваются с домочадцами и соседями, но, когда я въехал на площадь, все разговоры стихли. Я увидел, что

[1] *Наан* — разновидность местного хлеба.

какой-то мальчишка со всех ног припустил к дому Гокула — и вот уже заминдар в сопровождении небольшой свиты торопливо шагал мне навстречу.

— Роуэн-сагиб! — с тревогой воскликнул он. — Что ты делаешь здесь? И почему явился в такую рань?

— Разве Катарачи не входит в мой округ? — надменно осведомился я. — Уж верно, я имею право появляться здесь, когда захочу.

Гокул опустил глаза и промямлил:

— Да, сагиб.

— Как бы то ни было, я узнал, что риши нездоровится, и прибыл его навестить.

Гокул испустил тяжкий вздох:

— В таком случае я сожалею, что Роуэн-сагиб проделал столь долгий путь понапрасну, потому что святой подвижник умер несколько часов назад. Погребение будет совершено завтра на рассвете, и сейчас, сагиб, тебе нет нужды задерживаться здесь.

— Я весьма опечален твоими словами, — солгал я. — Что ж, тогда мне, безусловно, надлежит выразить свои соболезнования вдове риши.

— Это против всех приличий.

Я смерил Гокула жестким взглядом.

— С чего бы это? — процедил я. — В моей стране выразить сочувствие безутешной вдове — долг всякого воспитанного человека. Я представляю здесь ее величество королеву Британии и намерен высказать соболезнования от ее имени. Неужели это против приличий, Гокул-сагиб?

Заминдар в отчаянии оглянулся на своих дружков, но, похоже, никто из них не спешил прийти к нему на помощь.

— В любом случае, — продолжал я, совсем немного кривя душой, — риши хотел, чтобы я оказал ему услугу, позаботившись о его вдове. Он сам сказал мне об этом во время нашей встречи. Не хочешь же ты пойти против воли Адитьи?

Заминдар нехотя сдался и проводил меня к хижине риши. Чандира стояла на пороге хижины, словно поджидала меня. На ней по-прежнему была бурка. Когда я приблизился, женщина совершила намасте и проговорила:

— Входи, Роуэн-сагиб, добро пожаловать под наш кров.

Гокул, похоже, намеревался торчать на пороге, но я одарил его суровым взглядом, и он с явной неохотой убрался восвояси. Убедившись, что он действительно ушел, я принял любезное приглашение Чандиры.

Казалось, что нынче утром в хижине воскурили еще более одуряющие благовония, а Чандира щедрей обычного полила се-

бя приторными духами. Впрочем, это можно было понять, поскольку даже сквозь облако сладких ароматов я уловил слабый, едва различимый запах тления.

Я огляделся в поисках Чандиры и увидел, что она пристроилась в дальнем конце комнаты, у небольшой печи, в которой плясал низкий огонь.

Покойный Адитья, все так же облаченный в белое, возлежал на своей кровати. Руки его были сложены на груди, шею обвивала гирлянда из пестрых цветов. Я шагнул ближе и окинул взглядом мертвеца. Кожа Адитьи обрела серый оттенок, скулы и закрытые глаза уже понемногу западали. Я разглядывал бесчисленные морщины и складки на мертвом лице, и вдруг мне подумалось, что заявления Адитьи о том, насколько он стар, вполне могли быть правдой.

Я повернулся к Чандире и, решив, что многословные вступления будут сейчас неуместны, напрямик сказал:

— Тут болтают, будто ты хочешь совершить сати.

Женщина едва заметно склонила покрытую белой тканью голову.

— Это не болтовня, Роуэн-сагиб, — сказала она. — Так и есть.

Я тяжело вздохнул и уселся на табурет у столика:

— Зачем тебе это?

— Затем, что я этого хочу — превыше всего в мире.

Я пренебрежительным жестом указал на недвижное тело Адитьи:

— Ты имеешь в виду, что этого хотел он?

— Нет, сагиб, — покачала головой Чандира, — это мое желание, скажу даже больше — заветное желание. Если бы того захотел *он*, а я могла бы презреть его волю — я бы именно так и поступила. Ибо он обращался со мною дурно, и у меня есть веские причины ненавидеть его.

— А тебе известно, что сати объявлено незаконным? — спросил я. — И что мой долг — предотвратить твою смерть.

— Быть может, я сумею уговорить сагиба, чтобы мне разрешили совершить сати.

С этими словами Чандира откинула бурку. Я увидел лицо, совершенное по своей красоте, — так прекрасна могла быть храмовая статуя, если бы она вдруг ожила. Темные влекущие глаза женщины были густо насурьмлены, сочные припухлые губы покрыты ярко-алой помадой. У меня перехватило дыхание.

Чандира сбросила с головы покров и начала снимать с себя одежду.

Волна вожделения захлестнула меня, борясь с пламенем гнева. Чандира готова была предложить мне свое тело, чтобы получить взамен право умереть на завтрашнем костре.

Роуэн, молодой холостяк, порывался броситься к женщине и заключить ее в объятия, однако Роуэн, вымуштрованный чиновник, сумел побороть этого юнца.

— Прекрати, Чандира! — грубо прикрикнул я. — Я знаю, в чем мой долг, и твои прелести не заставят меня его нарушить!

Женщина на миг замерла, а потом рассмеялась. То был невеселый безжизненный смех, и я, услыхав его, сразу почувствовал себя напыщенным дураком.

— Будь покоен, Роуэн-сагиб, — проговорила она. — Я не собираюсь предлагать тебе свою любовь — ни искренне, ни притворно. Однако я должна тебе кое-что показать, чтобы ты все понял.

Миг спустя бурка соскользнула на пол, и теперь Чандира стояла передо мной нагая. Что-то в ее голосе остудило мой пыл, и теперь я мог смотреть на нее без вожделения.

Чандира была стройна и привлекательно сложена, однако же в полумраке хижины ее фигура отчего-то показалась мне как-то странно несоразмерной. Кроме того, цвет ее кожи был отчего-то не везде одинаков, а многие части тела — шея, например, коленные и локтевые сгибы — оказались обведены причудливыми, похожими на браслеты татуировками. Женщина двинулась ко мне и, только подойдя совсем вплотную, остановилась.

Она протянула мне правую руку, и я против воли взял эту руку. Кожа Чандиры оказалась шелковисто-гладкой и совершенно холодной. Свободной рукой женщина указала мне на отметины, окружавшие запястье:

— Смотри внимательно, сагиб.

Я так и поступил, а затем стремительно вскочил и схватил Чандиру за плечи. Она не дрогнула, бесстрастно дожидаясь, пока я осмотрю все прочие татуировки.

Татуировки? Нет, то были широкие полосы стежков, сотни тончайших, плотно примыкавших друг к другу швов, искусно наложенных поверх едва видных, давно затянувшихся шрамов.

В памяти моей зазвучал, точно наяву, голос Адитьи:

«Кумуд была очень, очень хороша собой... В Радхике мои чувства более всего услаждало тело... Руки Шамин... Ноги Фулан... Кисти рук и ступни Харпал...»

Я отдернул руки и попятился, смутно надеясь, что для ужаса, который вдруг охватил меня, нет веских оснований.

— Это невозможно... — запинаясь, пробормотал я.

Одинокая слезинка выкатилась из уголка глаза и поползла вниз, оставляя на щеке Чандиры свой горестный влажный след.

— Да, невозможно... однако же так оно и есть. Чандирой назвал он это свое... создание. Не мог он смириться с тем, что смерть отнимала у него любимейших жен, а потому брал от каждой из них самое лучшее, чтобы сотворить... Чандиру.

Я обессиленно рухнул на табурет. Если б я этого не сделал, то, наверное, упал бы в обморок.

— Но как же... как... — пролепетал я.

— И тебе, и Барру-Тэйлору он рассказывал о том, какой обладает силой воли, о том, что может побороть смерть. За минувшие годы он говорил это многим сагибам. Ни один ему не поверил. Тебя он ужаснул, показав свою власть над смертью, однако же ты, без сомнения, решил, что он тебя загипнотизировал. Всякий раз после смерти любимой жены воля его уберегала от тления... нужную ему часть. И годами хранил он добытое, пока не набралось столько, чтобы сложить из этих частей цельное существо и вдохнуть в него жизнь. Таково было его могущество, что я живу и сейчас, даже после его смерти. Однако же сила, которая до сих пор поддерживала мое существование, постепенно слабеет.

С этими словами Чандира вновь протянула руку, но на сей раз осторожно поднесла ее к самым моим ноздрям. Вначале я чуял только мускусный аромат ее навязчивых духов, но затем осознал, что сквозь эту экзотическую завесу пробивается иной, едва различимый запах — запах тления. В хижине пахло смертью, и причиной тому были не только бренные останки Адитьи.

Я поднялся и, не сказав более ни слова, вышел из дома Чандиры. Около моего коня переминался Гокул. Он о чем-то спросил, но о чем именно — не помню. Я отделался каким-то уклончивым ответом и покинул деревню.

Доехав до того места, где скрывался в джунглях заброшенный храм, я натянул поводья и неуклюже спешился. У меня мелькнула мысль, что, возможно, принять решение мне поможет Притхиви. Наш старенький школьный священник пришел бы от этой мысли в ужас. Равно как и армейские капелланы, служившие в британских войсках по всей Индии. Да и Муштак-хан, узнай он об этом, наверняка бы рвал и метал. Однако же, рассуждал я, дело это касается приверженцев индуизма, а значит, индуистская богиня скорей сведуща в нем, нежели Иегова, Иисус или Аллах.

Пройдя между деревьями, я приблизился к тому месту, где восседала богиня. Что-то здесь переменилось. Цветы, так обильно украшавшие изваяние Притхиви, увяли и сморщились, словно старушечья кожа, и я увидал, как из каменной ноздри выползло какое-то огромное насекомое, извиваясь, точно могильный червь, жадно пирующий *в мертвой плоти.*

На следующее утро я снова поднялся ни свет ни заря. На сей раз, когда я вышел из бунгало, на ходу прилаживая к поясу большую кобуру с верным Веблей, меня уже поджидал Муштак-хан.

— И куда ты теперь собрался, сагиб?

— Мне нужно поехать в Катарачи по важному делу, — ответил я. — Тебе нет нужды сопровождать меня.

— Если ты, Роуэн-сагиб, надеешься в одиночку предотвратить сати, то ты глупый, очень глупый молокосос, — заявил старый пуштун. Скрестив руки на груди, он сверлил меня сердитым взглядом. — Аллах свидетель, индусы кротки, как овечки, но, когда дело касается их верований, у этих овечек сразу отрастают когти и клыки!

А ты, Роуэн-сагиб, упрям, так же упрям, как молодые воины моей горной родины. Будь я твоим отцом, я бы сильно тревожился за тебя. Тревожился и... да, гордился бы тобой. Мне не под силу отговорить тебя от исполнения долга, так и ты не мешай мне исполнять свой долг. Пойдем, сагиб, наши кони оседланы и ждут.

Когда мы въехали в Катарачи, там было безлюдно и тихо. Деревня словно вымерла — лишь пара бродячих собак шныряла по улицам, несколько кур копалось в пыли, выискивая добычу, да иногда хрипло каркали вороны.

Муштак-хан указал вперед, за пределы деревни.

— Место для погребальных костров примерно в миле отсюда, — сказал он, и мы поскакали дальше.

Вскоре до нашего слуха стал долетать монотонный размеренный гул. Звук этот, пока еще едва различимый, уже казался зловещим. С каждым шагом он становился все громче и наконец зазвучал совершенно отчетливо. То было пение множества слитных голосов, завораживающе твердивших лишь одно: «Рам-рам... рам-рам... рам-рам...»

Наконец мы увидели перед собой огромную, тесно сбитую поющую толпу. Здесь явно были не только жители Катарачи — наверняка многие прибыли издалека, чтобы присутствовать на ритуальном сожжении. С высоты седла нам поверх голов было ясно видно, что происходит впереди.

Погребальный костер — помост, сплетенный из веток и сучьев, которые были обильно пропитаны горючим маслом, — был высотой в человеческий рост, примерно столько же в длину и фута четыре в ширину. Наверху него покоилось усыпанное цветами тело Адитьи, а рядом с покойным, сложив перед собой руки, стояла на коленях Чандира. Взамен бурки на ней было простое белое сари. В воздухе явственно пахло маслом и тлением.

Мы спешились и медленно двинулись к толпе. Некоторые из скорбящих, которые стояли в задних рядах толпы, заметили нас и одарили недружелюбными взглядами.

Я отстегнул от пояса кобуру с револьвером и вручил ее Муштак-хану.

— Жди меня здесь, — приказал я.

— Сагиб, они же разорвут тебя на части! — горячо возразил он.

— Жди меня, — повторил я и хлопнул старика по плечу. — Все будет хорошо.

— Ладно, сагиб, — ворчливо согласился пуштун, и его хищные глаза недобро сверкнули. Одну руку он положил на рукоять кинжала, в другой сжимал мой пистолет. — Но пусть только один из этих неверных собак посмеет поднять на тебя руку — и они узнают, что такое связываться с пуштуном! Если мы и погибнем, то погибнем вместе и прихватим с собой немало врагов!

Я протолкался через толпу, которая безмолвно расступалась передо мной. То ли мне помогала собственная бравада, то ли меня спасало изумление индусов такому безрассудству. Я дошел до костра, у которого распевали свои молитвы брамины. Сбоку костра стоял Гокул, сжимая в руке горящий факел. При виде меня брамины прервали моления и разразились возмущенными криками.

Я протянул руку и властно приказал:

— Дай мне факел, Гокул-сагиб.

— Прочь отсюда! — прошипел заминдар. — Прочь отсюда, глупый мальчишка, мы не хотим твоей смерти!

— Дай мне факел! — повторил я со всей холодной свирепостью, на какую был способен.

Гокул неохотно подчинился. Толпа замерла, ожидая, по всей вероятности, приказа растерзать меня.

Я повернулся к женщине, которая стояла на коленях у трупа риши. Лицо ее заметно постарело, и кое-где были уже заметны синеватые трупные пятна. Скулы выдавались сильнее, щеки ввалились, и потускневшие глаза уже западали в глазницы.

— Намасте, Чандира, — проговорил я.

Женщина чуть склонила голову:

— Намасте, Роуэн-сагиб.

Голос у нее был хриплый, как воронье карканье.

— Твой муж как-то сказал, что я мог бы оказать ему услугу. Я пришел сюда, чтобы это сделать.

Шагнув вперед, я с силой воткнул факел в трут погребального костра — и проворно отскочил, когда пропитанное маслом дерево с оглушительным ревом занялось пламенем.

Мне хочется верить, что прежде, чем Чандиру охватил очистительный огонь, на ее увядающем лице отразились благодарность и безмерный покой.

КИМ НЬЮМЕН

Рай для комплетиста[1]

Давно и широко известный как кинокритик, а также составитель и автор ряда нехудожественных книг, в том числе премированных, в последнее время Ким Ньюмен добавил к своему послужному списку новую позицию — успешного романиста. Из-под его пера вышли романы «Ночной мэр» («The Night Mayor»), «Дурные сны» («Bad Dreams»), «Яго» («Jago»), «Кворум» («The Quorum»), культовый «Эра Дракулы» («Anno Dracula») и его продолжение, «Кроваво-красный барон» («The Bloody Red Baron»).

Ньюмен регулярно публикуется в таких антологиях, как «Темные голоса. Книга ужасов от „Pan"» («Dark Voices: The Pan Book of Horror») и «Лучшие новые ужасы» («Best New Horror»). Его рассказы выходили в авторских сборниках «Первоначальный доктор Шейд и другие истории» («The Original Dr Shade and Other Stories») и «Знаменитые монстры» («Famous Monsters»). На пару с Полом Макоули он выступил составителем антологии «В снах» («In Dreams»). Под псевдонимом Джек Йовил — публикует романы из игровой вселенной «Warhammer Fantasy».

Сам автор комментирует следующий рассказ так: «На мысль написать „Рай для комплетиста" меня навел печальный случай с одним приятелем, подорвавшим рассудок и здоровье поиском всяких мелких деталей для серии киносправочников. От печеньевой зависимости сам я давно избавился. Но меня реально бесит, когда американские журналы пишут о несуществующем фильме „Кошколюди". Я дважды вытаскивал свою кассету „Людей-кошек" („Cat People"), чтобы убедиться, как они не правы...»

---

[1] Откомментировать в этом рассказе все, что хотелось бы, от обсерватории Джодрелл-Бэнк до заглушенных раскатом грома в фильме 1931 г. слов доктора Франкенштейна «Теперь я понимаю, каково это — чувствовать себя Богом», не представляется возможным: объем примечаний превысил бы объем самого текста по меньшей мере втрое. Все же несколько слов по порядку ведения: абсолютно все упоминающиеся в тексте имена, названия и ситуации либо очевидно реальны (трость с характерным серебряным набалдашником у Человека-волка, барон Латош в щегольском плаще), либо очевидно фантастичны (Джон Уэйн в «Форте Франкенштейн», порнозвезда Трейси Лордс в роли монстра Франкенштейна). Так что — *Google* в помощь. *(Здесь и далее прим. перев.)*

Я ловлю дополнительные каналы аж из Хильверсума и Макао. С каждым поворотом верньера тарелка за окном крутится, как параболические антенны джодрелл-бэнковской обсерватории в тех кадрах из фильмов о Куотермассе, которые Вэл Гест для экономии позаимствовал в фильмотеке. Над садом вспыхивает молния, как врезка из сцены в лаборатории безумного ученого с Карлоффом и Лугоши.

Невообразимые картинки и звуки льются с небес. С новыми рефлекторами эта спутниковая система способна поймать не только все, что транслируется, но и все, что когда-либо транслировалось. Программы, считавшиеся утраченными или стертыми, летят к альфе Центавра; теперь их можно вернуть на Землю и раскодировать.

Это мое изобретение. Подпитываемый кофе и пирожными с кремом, я, по сути, собрал всю систему сам — как Рекс Ризон собрал интерлокьютор в «Этот остров Земля». Интересная была техническая задача — подсоединить столько усилителей сигнала и откалибровать тарелку с точностью до угловой секунды. В общем, свое выходное пособие я потратил не зря, что бы там ни говорила Киэрэн перед тем, как хлопнуть дверью в последний раз.

Готов даже с ней согласиться: я и вправду могу провести остаток дней, питаясь одним печеньем и смотря старые телепрограммы. Меня ждет столько сюрпризов, столько открытий...

Настраиваясь на самые первые каналы, я уже ловлю «Доктора Кто» с Патриком Тротоном, официально не сохранившегося, и неуверенно сыгранный телеспектакль о Шерлоке Холмсе, транслировавшийся вживую в конце сороковых. Если кто-нибудь на Марсе или Скаро[1] делает телепрограммы, моя тарелка их поймает. Честно говоря, выходить из дома вообще нужды нет, если только за продуктами. Что бы то ни было, когда бы то ни было транслировавшееся, с пленки или с видео, рано или поздно попадется. Энциклопедия телевидения превратилась в телефонную книгу.

Рай для комплетиста, и только.

У того, кто распределяет частоты, своеобразное чувство юмора, и шутка не всегда понятна сразу. По 5-му каналу реклама парфюмерии. Ну да — «Шанель» номер пять. На каналах с 18-го по 30-й — любительская съемка пьяных англичан, безобразничающих на отпуске в Греции под аккомпанемент закольцованного «Танца маленьких угят» на повторе. По 69-му каналу датское порно. По 86-му крутят «Напряги извилины»[2] — Максвелл

[1] Планета из сериала «Доктор Кто», родина далеков.

[2] «Get Smart» (1965—1970) — американский пародийный сериал Мела Брукса и Бака Генри; в главной роли агента Максвелла Смарта — Дон Адамс.

Смарт был агентом 86. В эпизоде с вампиром я замечаю Мартина Кослека и делаю мысленную зарубку — занести это в его карточку. По 101-му отвратительный, стилизованный под документальную съемку хоррор — жуки, крысы, погребение заживо; через минуту я вспоминаю, что в «1984» комната 101 содержала то, чего вы боитесь больше всего на свете.

Что же тогда крутят по 1984-му каналу?

По 666-му — то ли режиссерская версия «Знамения», то ли разоряется телепроповедник-сатанист. Каналы после тысячного, как правило, привязаны к определенной дате. По 1066-му — историческая драма на норманнском французском, без субтитров[1]; по 1492-му коллаж фильмов о Колумбе: Джима Дейла пытает Марлон Брандо[2]; по 1776-му — та серия «Билко», действие которой происходит во время Войны за независимость. По 1789-му показывают мини-сериал о Французской революции: Джейн Сеймур благородно отправляется на гильотину, а Морган Фейрчайлд лихорадочно вяжет в первом ряду, спицы так и мелькают. Ни у Молтина, ни у Шойера, ни у Хэллиуэлла ничего подобного не зафиксировано, значит, вещь новая. Мини-сериалы я не считаю фильмами, так что дальше не смотрю, но, когда падает косое лезвие, успеваю заметить, что палача играет Регги Нэлдер.

Ловлю канал 1818. Диан Торн с этими ее арбузами, выпирающими из-под мундира майора СС, кого-то пытает, картинка черно-белая. Девушка в драной крестьянской рубашке ненатурально визжит, пока крыса ест холодную лазанью с ее голого живота. Такого варианта «Ильзы, волчицы СС» я никогда не видел. Лезу в мою картотеку и не нахожу на карточке с описанием ничего подобного этой крысиной пытке. Вот за такие откровения я и плачу абонентскую плату; не исключено, что этой версии фильма никто раньше и не видел. Беру красную шариковую ручку и готовлюсь записывать. Надо же пополнять сокровищницу человеческого знания.

Мой звездный миг настал, когда я отправил письмо в «Видеоищейку» с опровержением всех домыслов насчет продолжительности немецкой версии картины «Ликантроп», также известной как «Оборотень в женском общежитии» и «Я вышла замуж за оборотня». Киэрэн по этому поводу особенно ехидничала. Многие не понимают, но без должной точности любая

---

[1] В 1066 г. норманны победили англосаксов в битве при Гастингсе, закрепив свое завоевание Англии.

[2] Джим Дейл играл Колумба в комедии Джеральда Томаса «Колумб, за работу!» (1992), Марлон Брандо — инквизитора Томмазо де Торквемаду в драме Джона Глена «Христофор Колумб: Открытие» (1992).

исследовательская работа бесполезна, так что мы обязаны как минимум договориться о терминологии. Сверхзадача же моя в том, чтобы заставить все периодические и справочные издания числить «Мэтью Хопкинса, охотника на ведьм» под буквой «М» («Мэтью»), а не под «О» («охотник»). Многочисленные невежды, включая исходных прокатчиков, совершали эту ошибку с 1968 года. Язычники же, числящие фильм с Майклом Ривзом «Червь-победитель» под буквой «П» вместо «Ч», недостойны даже презрения.

Фильмы о Ильзе цветные, так что я подкручиваю настройку. Трещат помехи, жертва продолжает визжать. На экране появляется «снег», но картинка остается черно-белой. Ильза достает электрические зажимы для сосков и, скалясь, объявляет с жутким акцентом: «СС приветствует вас в экспериментальном лагере „Секс"». Камера отъезжает назад, и на соседнем с бедной девушкой столе однозначно распознается «юниверсаловский», пирсовско-стрейнджевско-карлоффский — в неуклюжих ботах, с плоской головой и электродами в шее — монстр Франкенштейна.

Я озадаченно грызу имбирный ломтик в шоколадной глазури.

В низу экрана появляется бегущая строка: «Канал 1818 представляет — „Франкенштейн встречает волчицу СС"».

Название незнакомое, но картина-то наверняка известная. Если дадут цвет, я сразу ее узнаю. Снова подкручиваю настройку, эффекта ноль.

Я выкапываю уэлдоновскую «Психотронную энциклопедию», глатовский «Каталог Франкенштейна» и джонсовский «Иллюстрированный путеводитель по фильмам о Франкенштейне». Ни в одном из этих стандартных источников «Франкенштейн встречает волчицу СС» не значится. Тогда закапываюсь глубже: смотрю «Справочник фантастического кино» Ли (увы, устаревший), трехтомник Уиллиса «Хоррор и научная фантастика в кино», самолично переплетенную подборку рассылок Джо Боба «Мы — миф»[1], несколько давних выпусков фэнзина «Шокэкспресс» и такие переменной надежности источники, как «Видеогид-максимум» от «Фантома» и загадочный «Гофмановский

[1] Джо Боб Бриггс (Джон Ирвинг Блум, р. 1953) — американский комик и кинокритик; выступая в амплуа отъявленного «реднека», обозревает «эксплуатационное» кино, категорию «Б» и честный трэш. «Мы — миф» («We Are the Weird») — так называлась его пародия на благотворительный видеоклип Майкла Джексона и компании «We Are the World» («Мы — мир»), вызвавшая в 1985 г. изрядный скандал с последующим изгнанием колонки Джо Боба из газеты «Dallas Time Herald»; так же он назвал впоследствии свою рассылку.

справочник по научной фантастике, хоррору и фэнтези в кино». Кроссовер Франкенштейн — Ильза нигде не упомянут. Пахнет настоящим открытием! С восторженным предвкушением кладу перед собой чистую каталожную карточку и вписываю название. Но что ж я за идиот — пропустил титры.

В любом случае это дело надо отметить. Закидываю в рот сырный крекер и жду, пока он напитается слюной и полностью размякнет. Языком пропихиваю кашицу глубже, маленькими порциями. Ощущение — феерическое.

Официально фильмов про Ильзу всего три («Ильза, волчица СС», «Ильза, хранительница гарема нефтяного шейха», «Ильза, тигрица Сибири»), но иногда сюда же причисляют «Грету, свирепую тюремщицу» Хесуса Франко, она же «Ванда, злая надзирательница», с Торн в заглавной роли Греты — Ванды. Может, мне попалась некая ранее не всплывавшая картина из того же цикла или очередной апокриф о приключениях какой-нибудь Греты, Герты, Ирмы, Хельги, Эрики или Моники, не отличимой от Ильзы? Синхронизация чуть сбита, но я уверен, что фильм снят по-английски, а не дублирован. Подчиненный щелкает каблуками: «Хайль Гитлер, майор Ильза!» — значит, это все-таки часть канона. Но меня по-прежнему беспокоит черно-белая картинка. Может, флэшбек по ходу цветного фильма? Для Ильзы слишком художественно.

Фашистская архистерва у себя в кабинете, брызжет слюной. Это определенно Диан Торн (ее арбузы, раз увидев, уже не спутаешь), и, судя по тому, что морщин на лице немного, определенно середины семидесятых. На удивление качественная черно-белая картинка, будто не плохой выцветший контрнегатив, а и вправду специальное освещение под монохром. На экране вечереет, в углах кабинета густеют тени, и сцена выглядит куда лучше, чем мне помнится по другим Ильзиным фильмам. Может, не на уровне Джеймса Вонга Хоу, но хотя бы на уровне Джорджа Робинсона.

Пролистываю Глата и Джонса, пытаюсь найти Торн в каком-нибудь Франкенштейне семидесятых. Конечно, из того, что фильм называется «Франкенштейн встречает волчицу СС», совершенно не следует, что это франкенштейновский фильм. Например, «Кровавый ужас Франкенштейна» — это фильм про оборотня, а некоторые японские фильмы о гигантских чудовищах выходили в немецкий прокат с Франкенштейном в названии, потому что в Германии Франкенштейн — это видовое имя всех чудовищ. Похоже, мой сегодняшний фильм был переименован уже после выхода Глата, потому что франкенштейновские фильмы не о Франкенштейне Глат перечисляет. С тем, сколько нынче мимолетных видеодистрибьюторов и кабельных каналов,

у некоторых фильмов набираются десятки вариантов названия. Так, «Ужас кровавых чудовищ» занимает у меня три каталожные карточки, и «Не будите спящих трупов» тоже. Однако, судя по фигуре, мелькающей иногда на заднем плане, это не просто нечто незнакомое из серии про Ильзу, но и действительно франкенштейновский фильм.

Заглатываю несколько бурбонных печений чуть ли не целиком, жую их, как собачьи галеты.

Что-то все-таки странное с этим Франкенштейном, который встречает волчицу СС. Я уверен, что фильм был снят на черно-бедую пленку. Вот Ильза шагает по «юниверсаловской» центральноевропейской деревне (знакомая декорация, построенная для «На Западном фронте без перемен», она всплывает во всех их фильмах о чудовищах), с пухлыми статистами-эсесовцами. Где бы Ильза ни стояла, ее огромные буфера всегда оказываются, такое впечатление, в середине кадра.

По сюжету, она устраивает в разрушенном замке лагерь для медицинских опытов. Крестьяне робко жмутся по углам, прячась от Ильзиных приятелей с их гусиным шагом. Деревня зовется Визария. По замыслу, она, вероятно, чешская или польская, но трудно сказать: вид у нее обобщенный восточноевропейский, без конкретных привязок. Бургомистр носит «ледерхозен» и альпийскую шляпу с павлиньим пером.

Визария...

Листаю Глата, потом Джонса в обратную сторону, ловлю за хвост зудящую в памяти деталь. Ага, я был прав. Визарией звалась деревня в поздних фильмах ужасов от «Юниверсал», уже сороковых годов, вроде «Дома Дракулы» или «Франкенштейн встречает Человека-волка». Сценарист «Франкенштейн встречает волчицу СС», кто бы он там ни был, явно помешан на подобных мелочах. Значит, в эпизоде должен мелькнуть Форри Аккерман[1] и с лабораторного оборудования Кена Стрикфадена сотрут пыль. Чувствуется мастерская рука Эла Адамсона, который вечно норовил позаимствовать старые «юниверсаловские» декорации для какой-нибудь запредельной дребедени вроде «Дракула против Франкенштейна». Но для Адамсона это как-то слишком хорошо (ни тебе трипа под ЛСД, ни Расса Тамблина, ни байкеров). Как бы то ни было, я на правильном пути. Может, это вещь примерно того же разлива, что и «Блэкенштейн», где карлоффообразное чудовище носило приплюснутую прическу афро.

---

[1] *Форрест Аккерман* (1916—2008) — одна из ключевых фигур американского фантастического фэндома, коллекционер, издатель журнала «Знаменитые монстры кинематографа» (1958—1983).

Записываю: «1972—1975? США. В гл. роли Диан Торн (Ильза). Жертва пытки похожа на Уши Дигард».

И тут появляется Лайонел Этвилл в роли местного полицейского инспектора с протезом руки и в фуражке с орлом, а с ним Дуайт Фрай и Скелтон Нэгтс в роли самых робких из робких крестьян. Все трое — из сороковых годов, как и декорации, и операторская работа, и я не знаю, что и думать.

Крошки от печенья обращаются во рту моем в горький пепел.

Даже если — что немыслимо — я ошибаюсь и главную роль исполняет не Диан Торн, а ее двойник, все равно сцену с крысой и зажимами для сосков никак не могли снять в сороковые. Даже для приватного услаждения гостей Лайонела Этвилла. Плюс Ильза совсем не похожа на женщин из тогдашних фильмов ужасов, с их помадой и перманентом. Ее хиппанский макияж и лесбийская прическа так и вопиют о семидесятых годах, до самых корней крашеных волос.

Сглотнув, я вынужден предположить, что это какой-нибудь прикол вроде «Мертвые пледов не носят», где смонтированы кадры из разных старых фильмов. И переозвучены шутниками из «В субботу вечером в прямом эфире». Я прислушиваюсь к диалогу — Ильза распекает инспектора Этвилла — и не улавливаю нарочитого кэмпа. Диалог снят восьмеркой, и я пытаюсь углядеть нестыковки в фоновой картинке. Нестыковок не видать.

Тут Ильза стаскивает длинную, до локтя, перчатку черной кожи и хлещет ею Этвилла по лицу. Ильза — Торн из семидесятых оказывается в одном кадре с этвилловским инспектором из сороковых, их взаимодействие слишком сложное для монтажного трюка. Ильза раздирает Этвиллов мундир с его многочисленными пуговицами, сдергивает с обрубка руки протез и усаживается на культю верхом, лихорадочно работая бедрами. Ее оргиастические стоны звучат, по обыкновению, фальшиво, ну да Этвилл, судя по виду, вполне доволен. Так и не удовлетворенная, Ильза встает, оправляет свою эсэсовскую юбку и приказывает Этвилла расстрелять. Из его лопнувшего глаза брызжет черная кровь. Кетчуп семидесятых в экспрессионистской черно-белой картинке сороковых смотрится куда злее, натуральнее.

Звонит телефон, и срабатывает автоответчик. Это Киэрэн, негодует насчет алиментов. Она трещит и трещит, но голос у нее какой-то неуверенный, и я сосредоточиваюсь на том, что важно.

Да, этот фильм явный кроссовер. Чертовски жаль, что я не включился с самого начала и не видел карточки для титров — родная она или вмонтирована позже. Ну да в любом случае

искать этот фильм бессмысленно. Как бы он ни назывался на самом деле, такого просто не может быть.

Казалось бы, Ильза как Ильза — только все персонажи второго плана взяты из «юниверсаловских» фильмов о чудовищах. Майор Ильза — последняя внучка исходного Генриха Франкенштейна, это ее родовой замок. Ту же роль играла Илона Мэсси во «Франкенштейн встречает Человека-волка». У Диан Торн даже такая же родинка, как была у Илоны Мэсси, только в одной сцене родинка на левой щеке, а в другой — уже на правой, типичная для фильмов про Ильзу халтура. Ильзе поручено вывести для Гитлера новую породу сверхчеловека, но она занята не столько вкладом в оборонные усилия, сколько пытками и постельными извращениями.

Из концлагерей Ильза извлекает доктора Преториуса, безумного ученого-гомика из «Невесты Франкенштейна» в исполнении Эрнеста Тезигера, а также Игоря, перекособоченного, со сломанной шеей цыгана из «Сына Франкенштейна» и «Призрака Франкенштейна» в исполнении Белы Лугоши, — будут помогать ей ставить опыты. Преториус все поправляет свой розовый треугольник, чтобы лучше смотрелся с белым лабораторным халатом, а Игорь жутко скалится на Ильзу, вывалив язык чуть не до пола.

Постельные сцены — практически хардкор, но совершенно смехотворные. Чтобы достичь полного удовлетворения, Ильзе нужен мужчина, который мог бы держать эрекцию всю ночь и еще добрую часть утра. Она думает, ей наконец повезло, когда наступает полнолуние и Ларри Тэлбот рвет на себе одежду в клочья. Беспрецедентный кадр: промежность Человека-волка зарастает густой, как у яка, шерстью. Да уж, нелегко, должно быть, дался Джеку Пирсу и Лону Чейни-младшему этот переход наплывом. Ильза и Человек-волк носятся по всему замку, пристраиваясь то тут, то там, нелепо рыча и пыхтя под аккомпанемент свадебных колоколов Франца Ваксмана из «Невесты Франкенштейна», однако на рассвете Ильзу ждет большое разочарование, когда луна блекнет и вервольф опять превращается в старого, глупого, дряблого Ларри — Лона. Ильза обкладывает ничего не понимающего хромого американца свирепыми матюгами и забивает до смерти тростью с серебряным набалдашником.

После этого Ильза, совсем осатанев, спихивает надоедливую дочку бургомистра в сернистые ямы под замком. Над девочкой смыкается желтоватая жижа, и тут же, после монтажной склейки, мы видим Игоря — Белу, он зловеще хихикает, держа лампу под самым подбородком, чтобы выглядеть страшнее.

Теоретически действие тех «юниверсаловских» фильмов происходит тогда же, когда они были сняты: «Дракулы» — в 1931 году,

«Человека-волка» — в 1941-м. Так что с их продолжениями должно быть аналогично. «Призрак Франкенштейна» (1941), «Франкенштейн встречает Человека-волка» (1943), «Дом Франкенштейна» (1944) и «Дом Дракулы» (1945) — так сказать, визарийские картины, — у всех них действие происходит в обобщенной Восточной Европе: толпы крестьян с факелами, цыгане-музыканты, подтянутые полисмены. И хотя Этвилл в «Сыне Франкенштейна» жалуется, что пропустил Первую мировую из-за того, что в детстве чудовище оторвало ему руку, никто и словом не упоминает войну, которая идет. Так что, на свой безумный лад, «Франкенштейн встречает волчицу СС» — более «реалистичная» картина. Отражение Второй мировой в наци-порно семидесятых просочилось в замкнутый мир хоррора от «Юниверсал».

Глотаю вперемешку чипсы «Кеттл» и яффское печенье, запиваю яблочным «Эпплтайзером».

Как и следовало ожидать, на закате в замок прибывает почтенный гость, в нарядном белом смокинге и в цилиндре, длинноносый и с гипнотическим взглядом. Джон Кэррадайн представляется бароном Латошем. Ильза препровождает его в свой будуар, а длинный, до пят, баронов плащ взвивается крыльями. На Ильзины буфера приземляется мультипликационный нетопырь, трепыхается, опрокидывает ее на старую кровать под балдахином. Снова приняв человеческое обличье, Дракула щекочет усами Ильзе между ног. Расстегивает на безупречно отглаженных брюках ширинку, извлекает свое вампирское достоинство, длинное и белое, и ублажает Ильзу ночь напролет. Впрочем, финал неизбежен. С первыми лучами солнца Дракула рассыпается в прах на неудовлетворенной, негодующей Ильзе.

Вспышка озарения: канал 1818 показывает не те фильмы, которые были сняты, а те, какие можно вообразить.

«Эпплтайзер» пошел у меня носом при таком концептуальном прорыве.

Концовку нетрудно предугадать: доктор Преториус пропускает через монстра ток, и монстр, встав с лабораторного стола, оказывается тем самым неутомимым жеребцом, какого Ильза искала весь фильм. Гленн Стрейндж, в одних асфальтоукладчицких ботах, обрабатывает Ильзину мякотку час за часом, а тем временем партизаны и взбунтовавшиеся крестьяне разносят вокруг них замок по кирпичику. Монстрово хозяйство габаритами под стать самому монстру и все в рубцах от коллодиевых примочек. Когда Ильза наконец кончает, поистине взрывоподобно, на кровать рушатся горящие потолочные балки и по экрану ползут финальные титры.

Как это часто бывает на дешевых каналах, титры обрубаются на полуслове и даты выпуска я не вижу. С воплем досады от-

брасываю каталожную карточку. Ничего конкретного — что смотрел фильм, что не смотрел.

В гневе колочу по диванным подушкам. И — снова прилипаю к экрану. Потому что поверх стоп-кадра с Борисом Карлоффом в битловском парике ползет программа канала 1818 на остаток вечера.

«Кинг-Конг встречает Франкенштейна». Заветный проект Уиллиса О'Брайена.

«Братья Маркс встречают чудовищ». Из-за ошибки Иголини (Чико) профессор Вулф Дж. Франкенштейн (Граучо) пересаживает монстровский мозг в череп Гарпо. Маргарет Дюмон играет дочь Дракулы.

«Дом Человека-волка». 1946 год, «Юниверсал», постановка Жана Ярбро. Отто Крюгер и Рондо Хэттон легкомысленно экспериментируют с мозгами Лона Чейни, Белы Лугоши и Гленна Стрейнджа.

«Доктор Орлофф, сексуальный раб Франкенштейна». Постановка Хесуса Франко, в ролях Говард Вернон и Деннис Прайс, плюс хардкор-порносцены, вмонтированные лет через десять после смерти Прайса.

«Франкенштейн встречает космическое чудовище: Режиссерская версия». Расширенный трехчасовой вариант, добавлены песни и пляски с пляжной вечеринки.

Мочевой пузырь переполнен и давит, но отлучиться в туалет я не могу, вдруг пропущу что-нибудь уникальное. Канал 1818 — это настоящая сокровищница. Еще посижу посмотрю — и увижу титры, и все зафиксирую. Стану источником подлинной информации. Уэлдон, Глат, Джонс — все пойдут ко мне на поклон. Моя интерпретация будет окончательной и бесповоротной. «Золотую энциклопедию хоррора» Харди можно списать в утиль. История хоррора написана на песке.

После анонса идут трейлеры: Питер Кашинг пришивает новые ноги королеве дискотеки (Кэролайн Монро) в «хаммеровском» «Франкенштейне — 1971»; часовая копия эдисоновского «Франкенштейна» 1910 года[1]; барон Россано Брацци поет «Вечером при свете молний» в мюзикле Роджерса и Хаммерстайна «Франкенштейн!»; Питер Кашинг и Борис Карлофф в той же лаборатории; У. К. Филдз в роли слепого отшельника презрительно скалится: «Никогда не работай с детьми или горбатыми помощниками»; уэйловский «Франкенштейн» 1931 года, только в роли доктора Лесли Говард, в роли Элизабет — Бетт Дэвис, а еще живой Лон Чейни-старший, выпучив глаза и оскалив зубы, играет монстра; Джон Уэйн во главе отряда кавалерии преследует

[1] Известна только 18-минутная копия.

монстра через Долину монументов в «Форте Франкенштейн» Джона Форда; восстановленная «Жизнь без души» 1915 года с Перси Дарреллом Стэндингом; стереоскопический «Франкенштейн — 1980» с доработанным сценарием; Джеймс Дин и Уит Бисселл в «Я был подростком-Франкенштейном».

В 1818 году Мэри Шелли опубликовала «Франкенштейн, или Современный Прометей». Канал 1818 — это франкенштейновский канал.

Мочевой пузырь дает течь, но мне плевать. Добраться до кухни я не могу, не отрывать же взгляд от экрана, так что придется обойтись подножным кормом. Как обычно, под рукой у меня достаточно печенья и прочих хрустиков. Без сна как-нибудь обойдусь. У меня есть призвание.

Рука бойцов строчить устала — названия, имена. У меня есть обязанности.

«Франкенштейн» Дэвида Кроненберга. «Франкенштейн» Дарио Ардженто. «Франкенштейн» Ингмара Бергмана. «Франкенштейн» Вуди Аллена. «Франкенштейн» Мартина Скорсезе. «Франкенштейн» Валериана Боровчика. «Франкенштайн» Джерри Уоррена. «Фуранкэнсютен» Акиры Куросавы. «Франк Штейн» Эрнеста Хемингуэя. «Франкенслизь» студии «Трома». «Фланкенштейн» Уильяма Кастла. «Хренгенштейн» Джима Винорски. «Данкеншейн» Уэйна Ньютона[1]. «Фувоньштейн» от «Одорамы».

Я смотрю, а вокруг меня разбросаны справочники — бесполезные, устаревшие все как один. Перед глазами мелькают монстры и безумные доктора, горбуны и толпы, слепцы и убитые девочки, плавучие льдины и лаборатории.

На экране вспыхивает логотип канала 1818. Живот подводит, но я креплюсь, жую бумажную упаковку от последней пачки печенья. Сэмми Дэвис-младший приглаживает набриолиненные волосы в «Крысостайштейне», пока Фрэнк Синатра и Дино приглаживают электроды[2].

Распознаю наконец, что это за странный запах такой — мой собственный. За диванными подушками достаточно крошек, чтобы прокормиться. Выколупываю их, как горилла — блох, и раскусываю по одной.

---

[1] *Уэйн Ньютон* (р. 1942) — американский певец и шоумен, всю жизнь связанный с Лас-Вегасом; за 40 лет дал там 30 000 концертов и был прозван Мистером Лас-Вегас. Его главный хит — песня «Danke Schoen» (1963).

[2] «Крысиная стая» (Rat Pack) — шутливое прозвище голливудской компании, сформировавшейся в конце 1940-х гг. вокруг Хамфри Богарта и Лорен Бэколл. В конце 1950-х — начале 1960-х гг. ядро компании составляли Фрэнк Синатра, Сэмми Дэвис-младший и Дин Мартин.

Неряшливо одетые чернокожие музыканты раскапывают могилы блюзменов в бесконечном сериале «Франкенштейн». Ридли Скотт снимает цикл рекламных роликов «Банкенштейн» для «Барклайс-банка», в них мелкий предприниматель Стинг просит ссуду, чтобы напитать своего монстра током. Джейн Фонда аэробикой сводит шрамы на бедрах в видеоклипе «Ритмогимнштейн».

Я сижу завороженный. Можно было бы взгляд и отвести — ну а вдруг что-нибудь пропущу? Я грежу электронной грезой, потребляю воображаемые образы, воплощенные на целлулоидной пленке.

Невесты, сыновья, призраки, проклятия, мести, грехи, ужасы, мозги, псы, крови, замки, дочери, дома, дамы, братья, могилы, громилы, руки, возвращения, истории, муки, преисподние, миры, эксперименты, палаты ужасов... Франкенштейна.

Врезаюсь в стену изможденья и прожигаю ее насквозь. Мои жизненные функции на столь низком уровне, что я могу продолжать так бесконечно. Я подключен к каналу 1818. Мой долг в том, чтобы держаться до конца.

Эбботт и Костелло, Мартин и Льюис, Релфорд и Ньюмен, Астер и Роджерс, Микки и Дональд, Танго и Кэш, Роуэн и Мартин, Бонни и Клайд, Фрэнки и Аннет, Хиндж и Брэкетт, Бэтмен и Робин, Солт-энд-Пепа, Тич и Кряк, Эмос и Энди, Гладстон и Дизраэли, Моркамб и Вайз, Майна и Вира... встречают Франкенштейна.

Я еле шевелюсь, но глаза мои открыты.

По экрану бегут титры, слишком быстро, чтобы записать. Эти фильмы существуют на один просмотр, а затем утрачиваются. Каждый кадр уникален, воспроизведению не подлежит. Я не осмеливаюсь даже выйти из комнаты за блоком чистых видеокассет. Надежда только на меня самого. Я должен все увидеть и запомнить. Мой разум — экран, на котором играют эти Франкенштейны.

Роль монстра Франкенштейна исполняют... Бела Лугоши (в 1931-м), Кристофер Ли (в 1964-м), Лейн Чандлер, Харви Кейтель, Сонни Боно, Бернард Бресслоу, Мерил Стрип, Брюс Ли, Невилл Брэнд, Джон Гилгуд, Айс-Ти, Рок Хадсон, Трейси Лордс.

Опыт воистину бесценен. За окном восходит красное солнце, я задергиваю шторы.

— Теперь я понимаю, каково это — чувствовать себя Богом, — хрипит Эдвард Робинсон.

Я останусь на этом канале.

— Наше место среди мертвых, — гудит Дон Нотте.

Я буду смотреть.

— За новый мир богов и монстров, — поднимает тост Даффи Дак.

ПОЛ МАКОУЛИ

Искушение доктора Штейна

Пол Макоули живет в Шотландии и занимается биологией. Его первый роман «Четыреста миллиардов звезд» («Four Hundred Billion Star», 1988) получил премию Филипа Дика, за ним последовали «Тайные гармонии» («Secret Harmonies»), «Вечный свет» («Eternal Light») (вошедший в шорт-лист премии Артура Кларка) и «Красная пыль» («Red Dust»). Автор также опубликовал сборник рассказов «Король горы» («The King of the Hill»). Совместно с Кимом Ньюменом он выпустил антологию «В мечтах» («In Dreams»), посвященную семидюймовой пластинке и мифам, ее окружающим.

Рассказ «Искушение доктора Штейна» был написан специально для данного сборника в жанре альтернативной истории, как и роман автора «Ангел Паскуале» («Pasquale's Angel»), где изобретения Великого Инженера, Леонардо да Винчи, превращают Флоренцию в главную мировую державу. В рассказе все события вращаются вокруг некоего доктора Преториуса, персонажа фильма «Невеста Франкенштейна» («Bride of Frankenstein», 1935), сыгранного великолепным английским эксцентриком Эрнестом Тезигером, а действие происходит в Венеции, за десять лет до событий фильма...

Памяти Эрнеста Тезигера посвящается

Доктор Штейн считал себя человеком рациональным. И когда, переехав в Венецию, он приобрел привычку слоняться в свободное от работы время по городу, то не захотел признаться себе, что делает это из убеждения, будто дочь его до сих пор жива и он может наткнуться на нее среди здешней многонациональной толпы. Однако он лелеял крошечную тайную надежду, что ландскнехты, грабившие в Лодзи дома иудеев, утащили с собой его дочь не для того, чтобы обесчестить и убить, а чтобы сделать прислугой в каком-нибудь богатом прусском доме. Это было так же маловероятно, как и то, что ее могли привезти именно сюда, поскольку Совет Десяти нанимал ландскнехтов для защиты города и своих заморских владений.

Жена доктора Штейна больше не разговаривала с ним на эту тему. На самом деле в последнее время они вообще почти не разговаривали. Она умоляла объявить неделю траура, способно-

го унять горе, как будто бы они действительно предали тело дочери земле. Они жили в съемных комнатах у кузена жены доктора Штейна, банкира Абрама Сончино, и доктор Штейн не сомневался, что эту идею внушили жене женщины семейства Сончино. Кто знает, о чем болтают женщины, запираясь на всю ночь в купальне, когда совершают обряд очищения после месячных? Ни о чем дельном — в этом доктор Штейн не сомневался. Даже Сончино, добросердечный человек, обожающий свою супругу, убеждал доктора Штейна устроить траур по дочери. Сончино сказал, что их семья позаботится о ритуальной трапезе и вся община будет скорбеть вместе со Штейнами всю неделю до субботнего богослужения, и тогда с помощью Бога чудовищная душевная рана начнет заживать. Доктору Штейну пришлось собрать все силы, чтобы вежливо отказаться от этого великодушного предложения. Сончино — хороший человек, но дела Штейнов совершенно его не касаются.

Надвигалась зима, как казалось доктору подгоняемая безмолвными укорами жены. Доктор Штейн почти каждый день выходил на многолюдные улицы. Иногда компанию ему составлял капитан ночной стражи, англичанин Генри Горралл, чьим неофициальным помощником заделался доктор — он устанавливал причину смерти людей, которых частенько вылавливали из каналов на окраинах города.

За прошедшее лето убийств произошло больше обычного и бесследно исчезли несколько молодых женщин из хороших семей. Помогать Горраллу доктора Штейна заставили старейшины бет-дина, раввинского суда, — уже поползли слухи, будто иудеи убивают христианских девственниц, чтобы с помощью их крови оживить Голема. И было кстати, что иудей — более того, иудей, который работает в городской больнице и обучает студентов медицинской школы новейшим хирургическим приемам, — помогает в разрешении загадки.

К тому же доктору Штейну нравилось общество Горралла. Нравилась уверенность капитана, что все на свете, каким бы странным ни казалось, имеет рациональное объяснение. Горралл был гуманист, и его нисколько не смущало, что его видят в обществе человека, обязанного носить на одежде желтую звезду. Вышагивая вместе по городу, они, не обращая внимания на уличную сутолоку, беседовали о новых веяниях в философии, слившихся в мировоззрении великого флорентийского инженера, Леонардо да Винчи.

Корабли из двадцати стран мира теснились вдоль набережной в вытянутой тени Кампанилы, а их матросы слонялись по улицам. Целая флотилия маленьких лодочек с зазывалами, расхваливающими свой товар, покачивалась на волнах, оставляе-

мых проходящими барками и галеонами. Гондольеры разражались цветистыми проклятиями в адрес мелких суденышек, которые пересекали Гранд-канал прямо перед носом длинных стремительных гондол. Время от времени по Гранд-каналу поднимались флорентийские суда с ходовыми винтами, двигатели Хироу оставляли после себя шлейфы черного дыма, и прохожие останавливались, чтобы посмотреть на такое чудо. Банкиры в меховых пальто и высоких фетровых шляпах заключали сделки на площади перед церковью Сан-Джакометто под грохот новомодных заводных счет.

Горралл, рослый мускулистый человек с колючей черной бородой, который имел привычку жевать табак и постоянно сплевывать, кажется, был знаком со всеми банкирами и купцами, торговцами шелком и парчой, продавцами бумазеи и бархата, аптекарями, мастерами золотых и серебряных дел, производителями белого воска, продавцами скобяных изделий, бондарями и парфюмерами, которые держали магазинчики на тесных маленьких улицах у моста Риалто. Капитан знал по именам и многих проституток в желтых шарфах, хотя это как раз нисколько не удивляло доктора Штейна, поскольку он познакомился с англичанином, когда тот пришел в больницу за ртутью для лечения сифилиса. Горралл знал даже (или делал вид, будто знает) клички истинных хозяев Венеции — котов, которые путались под ногами у прохожих или же лениво валялись на холодных камнях, греясь в лучах неверного зимнего солнца.

И как раз в одной из парфюмерных лавок на улице Мерсери доктор Штейн, как ему показалось на миг, увидел свою дочь. В дверях лавки стоял седой старик и орал на молодого человека, который пятился от него и кричал в ответ, что он ни в чем не виноват.

— Ты ведь его друг!

— Сударь, я понятия не имею, что именно он написал, и я не знаю и знать не хочу, с чего ваша дочь так рыдает!

Молодой человек держал руку на рукояти длинного ножа, поэтому Горралл раздвинул собравшихся зевак и велел обоим спорщикам утихомириться. Кипящий от негодования отец скрылся в лавке, а через секунду появился снова, волоча за собой девочку лет четырнадцати с такими же длинными темными волосами и таким же высоким белым лбом, как и у дочери доктора Штейна.

— Ханна! — невольно вырвалось у доктора Штейна, но, когда девочка повернулась, оказалось, что это не она. Не его дочь. Девочка заливалась слезами и прижимала к груди лист бумаги — письмо от покинувшего ее ухажера, как предположил доктор, и Горралл затем подтвердил, что именно так и есть. Молодой че-

ловек сбежал на флот, что было обычным делом в эти дни, когда Совет Десяти даже издал указ, чтобы осужденных преступников отправляли на военные галеры, поскольку вольнонаемных гребцов не хватало. Еще немного, и весь город окажется рассеянным где-то между Корфу и Критом, а то и где-нибудь подальше, ведь Флоренция уже уничтожила флот Кортеса и открыла американский берег.

Доктор Штейн не стал рассказывать жене, что видел. Вечером он долго сидел на кухне, согреваясь догорающими углями и читая при слабом свете сальной свечи «Трактат о воспроизведении движения» Леонардо, когда раздался стук в дверь. Это случилось вскоре после полуночи. Доктор Штейн взял свечу и направился было к двери, и тут из спальни выщла жена.

— Не открывай, — проговорила она. Одной рукой она теребила ворот рубахи, а другой сжимала свечу. Длинные черные волосы спадали ей на плечи.

— Мы же не в Лодзи, Белита, — возразил доктор, возможно с ненужной резкостью. — Возвращайся в постель. Я сам разберусь.

— Все равно здесь полным-полно пруссаков. Один на днях плюнул в меня. Абрам говорит, нас винят в похищении покойников, поэтому за врачами приходят в первую очередь.

Стук повторился. Муж с женой воззрились на дверь.

— А вдруг это пациент, — произнес доктор Штейн и отодвинул засов.

Они жили на первом этаже просторного дома, который выходил на узкий канал. Ледяной ветер несся вдоль канала, и стоило доктору открыть тяжелую дверь, как порыв ветра сейчас же задул свечу. За дверью стояли два городских стражника, а между ними — капитан Генри Горралл.

— Нашли еще одно тело, — произнес капитан с грубоватой прямотой. — Девушка, которую мы с вами видели недавно. Пойдемте со мной, поможете установить, убийство ли это.

Женское тело заметили, когда оно проплывало по Рио-ди-Ноале.

— Еще час, — сказал Горралл, пока они гребли через темный город, — и вода поднялась бы и унесла ее в море. И нам с вами не пришлось бы трястись от холода.

А ночь и в самом деле выдалась холодная — как раз после Дня святой Агнессы. Назойливый береговой бриз сдувал снег с крыш и острых шпилей. Только что намерзший лед с хрустом ломался под носом гондолы, крупные льдины стучали в ее корпус. Немногочисленные огни на фасадах палаццо, выстроившихся по берегам Гранд-канала, казались тусклыми и подерну-

тыми туманом. Доктор Штейн закутался поплотнее в поношенное пальто из грубой шерсти и спросил:

— А как по-вашему, это убийство?

Горралл сплюнул в черную ледяную воду:

— Она умерла из-за любви. Это очевидно. Ведь мы с вами были свидетелями ссоры сегодня днем. В воде девушка пробыла недолго, и от нее до сих пор несет спиртным. Напилась для храбрости и прыгнула. Однако необходимо в этом убедиться. Возможно, это неудавшееся похищение или чья-то жестокая выходка, приведшая к трагическому финалу. Слишком много в городе солдат, которые изнывают от скуки, дожидаясь отправки на Кипр.

Утонувшая девушка лежала на булыжной мостовой рядом с каналом, прикрытая одеялом. Даже в такой поздний час собралась небольшая толпа, и, когда стражник по просьбе доктора откинул одеяло, некоторые из зевак ахнули.

Это была та самая девушка, которую доктор с капитаном видели днем, дочка парфюмера. Мокрое платье, прилипшее к телу, казалось белым на фоне мостовой. Длинные черные волосы падали на лицо. Изо рта еще шла пена, а губы уже приобрели синюшный оттенок. Мертвая, она уже нисколько не походила на дочь доктора Штейна.

Доктор Штейн ущипнул кожу на руке девушки, надавил на ноготь, затем закрыл ей глаза большим и указательным пальцами. Снова с осторожностью прикрыл тело одеялом.

— Она погибла меньше часа назад, — сообщил он Горраллу. — Следов борьбы нет, а по выделениям изо рта можно наверняка утверждать, что она утопула.

— Скорее всего, сама утопилась, если кто-нибудь ее не столкнул. Полагаю, причина самая банальная, по которой ее парень и удрал на флот. Не хотите побиться об заклад?

— Мы оба знаем ее историю. Я могу установить, беременна ли она, но только не здесь.

Горралл улыбнулся:

— Я забыл, что иудеи не бьются об заклад.

— Напротив. Но боюсь, что в данном случае вы правы.

Горралл приказал своим людям доставить тело в городскую больницу. Пока утопленницу грузили в гондолу, он сказал доктору Штейну:

— Она напилась, чтобы собраться с духом, а потом бросилась в воду. Но не в этот маленький канал. Самоубийцы предпочитают сводить счеты с жизнью в красивых местах, чаще всего в своих любимых. Мы осмотрим мост Риалто — ведь это единственный мост через Гранд-канал, и прилив движется с той стороны, однако там обычно толчется уйма народу, и, если мы

не поторопимся, какой-нибудь нищий унесет и бутылку, и записку, которую она, возможно, оставила. Идемте, доктор! Необходимо выяснить, как погибла девушка, прежде чем появятся ее родители и начнут задавать вопросы. Мне придется что-то им отвечать, а не то они воспылают жаждой мести.

Если девушка и спрыгнула с моста Риалто, никакой записки она не оставила — или же записку похитили, как и предсказывал Горралл. Капитан с доктором Штейном поспешили в городскую больницу, однако тело еще не привезли. А через час патруль обнаружил в заводи привязанную гондолу. Один стражник был мертв — у него на шее зияла рана от меча. Второй был оглушен и ничего не помнил. Утопленница исчезла.

Горралл пришел в бешенство и отправил на поиски похитителей всех своих свободных людей. Негодяи осмелились напасть на двух солдат из ночной стражи, бушевал капитан, и когда они попадутся ему в руки, то отправятся петь фальцетом под кнутами на галерах. Однако расследование ни к чему не привело. С каждым днем становилось все холоднее, и разразившаяся эпидемия плеврита означала, что доктора Штейна в больнице ждет много работы. Он не вспоминал о происшествии целую неделю, пока к нему не зашел капитан Горралл.

— Она жива, — сказал Горралл. — Я ее видел.

— Вероятно, девушку, на нее похожую. — На мгновение доктору Штейну представилась его дочь, бегущая к нему с широко раскинутыми руками. Он произнес: — Я не мог ошибиться. Пульса не было, легкие были полны воды, и она была холодная, как те камни, на которых лежала.

Горралл сплюнул:

— Значит, она ходячий мертвец. Вы помните, как она выглядела?

— Отлично помню.

— Она была дочерью парфюмера, некоего Филиппо Ромпьязи. Члена Большого совета, хотя я бы сказал, что из всех его двух с половиной тысяч членов Ромпьязи обладает наименьшим влиянием. Для благородного семейства однажды настали трудные времена, и им пришлось научиться торговать. — Капитан был не слишком высокого мнения о многочисленных аристократах Венеции, которые, по его разумению, не столько управляли республикой, сколько плели интриги, чтобы выдоить из нее побольше денег. — Тем не менее, — проговорил Горралл, скребя бороду, — нехорошо, если дочка патриция будет бродить по городу, когда врач, ведущий дело, констатировал смерть.

— Не помню, чтобы получал за это гонорар, — заметил доктор Штейн.

Горралл снова сплюнул:

— А с чего мне платить тому, кто не в состоянии отличить живого от мертвого? Докажите, что я не прав, и я заплачу вам из собственного кармана. С известным хирургом в качестве свидетеля я смогу наконец довести это дело до конца.

Девушка находилась у одного лекаря-шарлатана, который называл себя доктором Преториусом, хотя Горралл не сомневался, что это не настоящее его имя.

— В прошлом году его изгнали из Падуи за то, что занимался врачебной практикой без патента, а до того он сидел в миланской тюрьме. Я приглядываю за ним с тех пор, как летом он сошел на берег с прусской угольной баржи. Месяц назад он исчез, и я уже подумал, что теперь этот доктор станет головной болью властей другого города. А он, оказывается, просто залег на дно. И вот теперь заявляет, будто девушка исцелилась благодаря какому-то чудесному новому методу лечения.

В Венеции было множество шарлатанов. На площади Сан-Марко высилось пять-шесть помостов для выступлений, в которых знахари прославляли свойства своих особенных инструментов, порошков, эликсиров и снадобий. Венеция терпимо относилась к этим безумцам, потому что миазмы, поднимающиеся из окрестных болот, дурманили разум горожан, которые к тому же были самыми тщеславными людьми на свете, готовыми поверить во все, что обещает чарующую красоту и долгую жизнь.

В отличие от прочих шарлатанов, доктор Преториус выступал перед избранной публикой. Он снял заброшенный винный погреб на окраине Фондако, прусского торгового подворья, в том квартале Венеции, где корабли стоят в узких каналах сплошными рядами, а дома — это исключительно торговые склады. Даже вышагивая рядом с капитаном стражи, доктор Штейн чувствовал себя здесь крайне неуютно, ему казалось, что все глаза прикованы к желтой звезде у него на груди, которую он носил, подчиняясь закону. Всего несколько дней назад синагога подверглась нападению, а мезузу на двери одного почтенного банкира вымазали свиным навозом. Рано или поздно, если похитителей тел не схватят, толпы начнут врываться в дома зажиточных иудеев под предлогом поисков легендарного Голема, желая уничтожить то, что существует только в их воспаленном воображении.

Горралл с доктором Штейном и еще примерно пятью десятками человек, в основном богатыми пожилыми дамами со служанками, перешли высокий, выгнутый дугой мост над темным, беззвучно струящимся каналом, а затем, уплатив негодяю в воротах по сольдо за оказанную честь, вошли во двор, освещенный дымными факелами. Как только головорез на входе затво-

рил и запер за ними ворота, в высоком открытом окне, обрамленном красными портьерами, возникло два человека.

Мужчина — одетый во все черное, с копной белых волос. А за ним — женщина в белом, которая была наполовину погружена в подобие ванны, наполненной колотым льдом. Голова ее была склонена набок, а лицо закрыто черными волосами. Горралл толкнул доктора Штейна локтем и сказал, что это та самая девушка.

— По мне, так она вполне мертвая. Только покойник может сидеть в ванне со льдом, не трясясь от холода.

— Подойдем поближе и посмотрим, — предложил Горралл, закуривая вонючую сигариллу.

Седовласый мужчина, доктор Преториус, поприветствовал публику и разразился длинной хвастливой речью. Доктор Штейн почти не слушал его, с интересом разглядывая оратора. Доктор был сутулым, похожим на птицу человеком с тощим лицом и темными глазами под кустистыми бровями, сходившимися на переносице каждый раз, когда он завершал фразу. У него была привычка указывать на слушателей пальцем, еще он постоянно пожимал плечами, как бы потешаясь над собственной похвальбой. Он не особенно верит своим утверждениям, решил доктор Штейн, что весьма странно для шарлатана.

Доктор Преториус, как оказалось, имеет честь представить публике истинную Невесту Моря, недавно погибшую, но оживленную посредством древнего египетского знания. Он потратил долгие годы, пытаясь овладеть старинной наукой, он подвергался многим опасностям, чтобы принести знание в Европу и усовершенствовать его. Доктор заверил слушателей, что поскольку эта наука способна побеждать смерть, то, усовершенствованная им, она будет побеждать и старость, ведь что есть старость, как не медленная победа смерти над жизнью? Доктор Преториус щелкнул пальцами, и ванна, подчиняясь его движению, выехала вперед, под свет факелов, чтобы собравшиеся сами убедились, что Невеста Моря, сидящая в ней, мертва.

В длинные черные волосы утопленницы были вплетены стебли водорослей. На грудь свешивалось ожерелье из морских раковин.

Доктор Преториус указал на доктора Штейна, обратившись к нему:

— Я вижу, среди нас присутствует врач. Я узнал вас, сударь. Мне известно, какую огромную работу вы проделываете в госпитале при церкви Пьеты, а также то, что вам ведомы новейшие методы хирургии. Как человек ученый, не окажете ли вы мне честь, подтвердив, что эта бедняжка в данный момент мертва?

— Давайте, — велел доктору Горралл, и Штейн выдвинулся вперед, сгорая от любопытства и в то же время чувствуя себя одураченным.

— Итак, ваш вердикт, — попросил доктор Преториус, отвесив учтивый поклон. И добавил sotto voce[1]: — Это истинное чудо, доктор. Поверьте. — Он поднес к алым губам девушки маленькое зеркальце, спросив доктора Штейна, наблюдает ли он хоть какое-нибудь дыхание.

Доктор Штейн отметил про себя густой навязчивый запах: смесь бренди и розового масла. Вслух он произнес:

— Я ничего не наблюдаю.

— Громче, чтобы слышали наши добрые зрители.

Доктор Штейн повторил свой ответ.

— Прекрасно. А теперь возьмите ее за руку. Ее сердце бьется?

Рука девушки была холодна как лед, из которого доктор Преториус поднял ее. Если и был какой-то пульс, то чрезвычайно редкий, и доктору Штейну просто не дали времени услышать его. Доктор Преториус оттеснил его, поднял руку девушки за пальцы и с видимым усилием вогнал ей в ладонь длинный гвоздь.

— Вот видите, — проговорил он с нарастающим воодушевлением, потрясая рукой девушки так, что проткнутая гвоздем кисть замоталась из стороны в сторону. — Видите! Крови нет! Ни капли! Видите? И разве живой человек смог бы безропотно сносить такую боль?

Доктор казался взволнованным этим представлением. Он метнулся вглубь помещения и притащил к окну странное приспособление — стеклянный сосуд, насаженный на стеклянную трубку высотой в человеческий рост. Лента алого шелка извивалась внутри сосуда и спускалась к колесу в нижней части трубки. Доктор Преториус нажал на педаль, и шелковая лента начала вращаться по кругу.

— Немного терпения! — проговорил шарлатан, когда публика загудела. Он глядел на толпу из-под кустистых бровей, нажимая ногой на педаль. — Совсем чуть-чуть. Аппарат должен набрать необходимые обороты.

Доктор говорил, слегка задыхаясь от напряжения. Любой уважающий себя шарлатан, подумал про себя доктор Штейн, нанял бы мальчика, чтобы тот жал на педаль, обнаженный и покрытый золотой краской, с херувимскими крылышками за спиной. И еще обязательно под барабанную дробь. Однако это странное представление захватывало куда сильнее, чем театральные эффекты проходимцев, выступавших на площади Сан-Марко.

---

[1] Вполголоса *(ит.)*.

Со дна стеклянного сосуда выходили золотые нити, которые тянулись к большой банке, наполовину наполненной водой и заткнутой пробкой. Наконец доктор Преториус перестал нажимать на педаль, коротко поклонился публике — лицо его лоснилось от пота — и с помощью палки направил золотистые нити, выходящие из стеклянного сосуда, прямо в лицо девушке.

Послышался слабый хруст — с таким звуком на свадьбах крошится под ногами разбитая посуда. Девушка открыла глаза и огляделась, недоумевающая и смущенная.

— Она ожила, но всего на несколько минут, — пояснил доктор Преториус. — Поговори со мной, милочка. Наверное, ты сама захотела стать Невестой Моря?

Горралл зашептал доктору Штейну:

— Это ведь точно та девушка, которая утопилась на днях?

И доктор Штейн кивнул в ответ. Горралл достал серебристый свисток и трижды коротко свистнул в него. И сейчас же на высокие стены взлетел целый отряд стражников. Некоторые старухи из публики закричали. Головорез, стоявший на входе, бросился на Горралла, но тот выхватил многозарядный пистолет с зубчатым колесом над стволом. Капитан выстрелил трижды, и после каждого выстрела колесо проделывало полный оборот, доставляя на нужное место новую порцию пороха и пулю. Бандит повалился на спину, умерев раньше, чем во дворе отгремело эхо выстрелов. Горралл развернулся и направил дуло пистолета в окно с красными занавесками, но там уже полыхало пламя, а доктор Преториус и мертвая девушка в ванне со льдом исчезли.

Горралл со своими подчиненными затоптали огонь и обыскали винный погреб. И только доктору Штейну удалось отыскать единственную улику — одинокую сломанную ракушку рядом с люком. Когда крышку люка подняли, под ней, несколькими braccia[1] ниже, оказалась черная вода — проход, как тут же выяснил Горралл, соединяющийся с каналом.

Доктор Штейн никак не мог забыть мертвую девушку, ледяное прикосновение ее руки, ее внезапное воскрешение, недоумение, застывшее в глазах. Горралл был уверен, что она только казалась живой, тело было просто набальзамировано, глаза блестели из-за глицерина, а губы были алыми благодаря той краске, которую аптекари делают из растертых жучков.

— Публика хотела верить, что видит перед собой живую женщину, а в мерцающем свете факелов казалось, будто она движется. Надеюсь, вы выступите свидетелем.

---

[1] Локтями *(ит.)*.

— Я прикасался к ней, — ответил доктор Штейн. — Тело не было набальзамировано. Иначе кожа бы задубела.

— Но мы же сохраняем зимой мясо во льду, — возразил Горралл. — Кроме того, я слышал, будто в Индии есть знахари, которые умеют погружаться в такой глубокий транс, что им не требуется даже дышать.

— Но она не из Индии. К тому же странно, что было столько возни с этим агрегатом. Он такой нелепый, что производит впечатление настоящего.

— Я разыщу этого Преториуса, — пообещал Горралл, — и мы получим ответы на все наши вопросы.

Но когда через пару дней доктор Штейн встретил капитана и спросил, как продвигается расследование дела Преториуса, англичанин только покачал головой и сказал:

— Мне велели прекратить следствие. Вроде бы отец девушки надоел Большому совету своими просьбами, а друзей у него там нет. Больше мне знать не положено. — Горралл сплюнул и произнес с неожиданной горечью: — Знаете, Штейн, можно проработать на них четверть века, и даже если они признают тебя полноправным гражданином, все равно не станут делиться с тобой своими секретами.

— Вероятно, кто-то могущественный верит утверждениям доктора Преториуса.

— Если бы и я мог поверить! А вы-то верите?

— Нет, конечно.

Однако это была неправда, и доктор Штейн сам приступил к расследованию. Он хотел узнать правду, и вовсе не потому, уверял он себя, что изначально ошибочно принял девушку за свою дочь. У него исключительно профессиональный интерес: ведь если смерть можно победить, то это, без сомнения, величайшее знание, каким только может обладать врач. И его пропавшая дочь тут вовсе ни при чем.

Сначала доктор расспросил своих коллег в городской больнице, затем начал расспрашивать врачей из других больниц и нового госпиталя при Арсенале. И только управляющий этого нового госпиталя хоть что-то ему ответил и предостерег, что у доктора Преториуса имеются влиятельные покровители.

— Это я уже слышал, — заверил доктор Штейн. И неосмотрительно добавил: — Жаль только, что я не знаю, кто они.

Управляющий госпиталем был человек напыщенный, добившийся своего положения благодаря интригам, а не дарованиям. Доктор Штейн видел, что того так и подмывает выложить все, что ему известно, но в итоге управляющий сказал только:

— Знание опасно. Но если вы хотите что-нибудь выяснить, то начинайте лучше снизу, а не сверху. Не стоит заноситься, доктор.

Доктор Штейн пришел в негодование, однако промолчал. Он просидел без сна целую ночь, снова и снова обдумывая обстоятельства дела. Этот город полон тайн, а он здесь чужак, иудей, бежавший из Пруссии. Из-за подобных расспросов его запросто могут принять за лазутчика, и еще неизвестно, сможет ли Горралл помочь, если доктора вдруг обвинят в этом. В конце концов, начальство капитана не одобрило ведь попытки арестовать доктора Преториуса.

Однако доктор Штейн никак не мог забыть лица утопленницы: как она вздрогнула, как ее глаза раскрылись под паутиной золотых нитей. Мучимый видениями, в которых он находил могилу дочери и воскрешал Ханну, доктор метался по кухне, и уже под утро его осенило, что управляющий госпиталем Арсенала сказал ему правду, пусть даже сам об этом не подозревая.

Утром доктор Штейн вышел из дома, не сказав жене, куда направляется. Он догадался, что доктору Преториусу необходимы ингредиенты для опытов, поэтому принялся ходить от аптекаря к аптекарю, описывая каждому внешность шарлатана. Нужного аптекаря доктор отыскал уже ближе к вечеру, в маленькой паршивой лавчонке на calle[1], примыкающей к площади, над которой царил яркий фасад недавно построенной церкви Санта-Мария-ди-Мираколи.

Аптекарь оказался молодым человеком с приятным лицом, но маленькими, алчно блестящими глазками. Он глядел на доктора Штейна из-под черной засаленной челки и так горячо отрицал свое знакомство с доктором Преториусом, что доктор Штейн ни на секунду не усомнился: парень врет.

Монета развязала аптекарю язык. Он признался, что, кажется, среди его клиентов есть человек, похожий на описанного доктором Штейном, и доктор Штейн сейчас же поинтересовался:

— Не покупал ли он квасцы или эфирные масла?

Аптекарь выразил недоумение:

— Он же врач, а не бальзамировщик.

— Да, конечно,— согласился доктор Штейн, воспрянув духом.

Вторая монета купила доктору право доставить Преториусу последний заказ — бутыль серной кислоты, обернутую для безопасности соломой.

Отправившись в направлении, указанном аптекарем, доктор Штейн петлял в сложном лабиринте из calles и площадей, оказавшись в итоге во дворе размером с чулан. Со всех сторон поднимались высокие стены домов, и выйти отсюда можно бы-

[1] Улица в Венеции *(ит.)*.

ло единственным путем — тем, каким пришел. Доктор понял, что заблудился, но не успел он развернуться, чтобы выйти, как кто-то схватил его сзади. Чья-то рука стиснула горло. Штейн принялся вырываться и уронил бутыль с кислотой, которая не разбилась только благодаря счастливой случайности и соломе. В следующий миг доктор уже лежал на спине, глядя на клочок серого неба, который стремительно уносился прочь, уменьшаясь до точки размером с мерцающую звезду.

Очнулся доктор Штейн от сурового гула церковных колоколов. Он лежал на сырой постели в комнате, увешанной пыльными гобеленами и освещенной высокой сальной свечой. Горло болело, в голове пульсировало. Над правым ухом была припухлость, однако в глазах не двоилось, и голова не кружилась. Тот, кто его оглушил, прекрасно понимал, что делает.

Дверь оказалась заперта, окна были закрыты прочными дубовыми ставнями, надежно приколоченными к раме гвоздями. Доктор Штейн как раз пытался оторвать ставню, когда дверь отперли и в комнату вошел пожилой человек. Иссохший карлик в бархатной тунике и камзоле, которые больше пристали юному щеголю. Морщинистое лицо старика было припудрено, на впалых щеках горели пятна румян.

— Мой хозяин поговорит с вами, — проговорило это странное существо.

Доктор Штейн спросил, где он находится, и старик ответил, что это дом его хозяина.

— Когда-то он принадлежал мне, но я подарил его хозяину. В качестве вознаграждения.

— А, так вы были больны и он исцелил вас?

— Я был болен жизнью. Он убил меня и оживил снова, чтобы я мог вечно жить после смерти. Мой хозяин — великий человек.

— Как вас зовут?

Старик засмеялся. У него во рту торчал один-единственный зуб, да и тот представлял собой почерневший пенек.

— В новой жизни крещение мне еще только предстоит. Идите со мной.

Они поднялись по широкой мраморной лестнице, которая проходила через некогда величественное палаццо. Внизу остались два этажа, где пол был выложен черной и белой плиткой и походил на шахматную доску. Они поднялись еще на два этажа, на самый верх.

Некогда в вытянутой комнате располагалась библиотека, однако теперь глубокие стеллажи вдоль стен были пусты, остались лишь цепи, удерживавшие тяжелые тома. Комната была осве-

щена расставленными в беспорядке свечами, которые мерцали, не столько освещая пространство, сколько порождая сбивающие с толку тени. Одна ниша для книг была забрана решеткой, и там, в полумраке, бродила свинья. Доктор Штейн успел бросить на животное взгляд и увидеть, что на спине свиньи имеется что-то чужеродное, но вот что — этого он не рассмотрел. В следующий миг ему под ноги бросилось какое-то существо размером с мышь. Потрясенный доктор увидел, что оно передвигается на задних ногах, сутулясь и шаркая.

— Мои детки, — произнес доктор Преториус.

Он сидел за столом, заваленным книгами и бумагами. Полки у него за спиной были уставлены пузырьками и банками с реактивами. Утопленница сидела рядом, в кресле с высокой спинкой. Ее лоб обхватывал кожаный обруч, не дававший голове завалиться набок. Глаза в провалившихся темных глазницах были закрыты. Позади ее кресла стоял тот самый механизм, который доктор Штейн видел в винном погребе. Сладкий запах розового масла был необычайно силен.

Доктор Штейн произнес:

— Это же просто мышь или небольшая крыса.

— Вы верите в то, что до́лжно, доктор, — произнес Преториус, — но я надеюсь открыть вам глаза на те чудеса, какие мне удалось воплотить. — Он обратился к старику: — Принеси нам закусить.

Старик попытался возразить, сказав, что хотел бы остаться, но доктор Преториус тотчас подскочил в ярости и запустил в слугу чернильницей. Чернила растеклись по напудренному лицу, и доктор Преториус разразился смехом.

— Болван! — произнес он. — Принеси гостю вина и мяса. Это все, что я могу предложить, — обратился он к доктору Штейну. — Кстати, вы пришли сюда по своей воле?

— Полагаю, аптекарь сообщил вам, что я задавал ему вопросы. Если, конечно, он аптекарь.

Доктор Преториус проговорил, коротко улыбнувшись:

— Мне кажется, вы хотели видеть девушку — она перед вами. Я заметил, с какой нежностью вы глядели на нее тогда, пока нас не прервали, и теперь я снова вижу в ваших глазах то же выражение.

— Я ничего не знал о намерениях моего спутника.

Доктор Преториус свел вместе кончики пальцев, дотронулся ими до бескровного рта. Пальцы у него были белые и длинные, — казалось, будто на них имеются лишние суставы. Он произнес:

— Не надейтесь, что он сумеет вас найти.

— Это меня не пугает. Вы доставили меня сюда, потому что хотели, чтобы я сюда попал.

— Но вы должны бояться. Здесь жизнь и смерть в моей власти.

— Старик сказал, что вы подарили ему вечную жизнь.

Доктор Преториус отозвался беззаботно:

— Во всяком случае, он в это верит. Полагаю, этого достаточно.

— Но он умирал? И вы вернули его к жизни?

Доктор Преториус ответил:

— Это зависит от того, что вы подразумеваете под жизнью. Фокус не в том, чтобы поднять покойника, но сделать так, чтобы смерть больше не предъявляла на него свои права.

По приезде в Венецию доктор Штейн видел пантеру, привезенную с Дружественных островов вместе с большой стаей попугаев. Пантера была так истощена, что под гладкой черной шкурой отчетливо выпирали все кости, и она непрестанно металась взад-вперед по маленькой клетке, а ее глаза горели. Животное обезумело от долгого путешествия, и доктору Штейну казалось, что Преториус так же безумен, как та пантера, — он потерял способность что-либо чувствовать за долгое путешествие в неведомые края, которые, как он уверяет, ему удалось покорить. На самом же деле это они поработили его.

— Я почти все время держу ее во льду, — произнес доктор Преториус. — Но несмотря на это, она все равно начала разлагаться. — Он приподнял подол платья девушки, и доктор Штейн увидел на ее правой стопе черные пятна, похожие на старые синяки. Несмотря на розовое масло, в воздухе отчетливо ощущался запах гниения.

Доктор Штейн сказал:

— Девушка мертва. Я собственными глазами видел, как ее выловили из канала. Ничего удивительного, что она разлагается.

— Все зависит от того, что вы подразумеваете под смертью. Вам когда-нибудь доводилось видеть рыбу в пруду, скованном льдом? Рыбы становятся такими вялыми, что уже не движутся, однако они живы, и стоит льду растаять, как они снова поплывут. Мне довелось побывать на Готланде. Ночь зимой длится там целые сутки, и от дыхания индевеет борода. Однажды там нашли живого человека, который пролежал в снегу двое суток. Он здорово напился и заснул. Алкоголь спас его от замерзания, хотя он и лишился ушей и пальцев на руках и ногах. Девушка тоже выпила довольно много, и смерть не смогла окончательно наложить на нее свою лапу. Я вернул несчастную к жизни. Хотите увидеть, как это делается?

— Хозяин? — Это заговорил старик.

С подобострастным поклоном он поставил поднос, на котором оказался запечатанный сургучом серебряный кувшин, блю-

до с куском говядины, крепко посоленной и позеленевшей по краям, и черный хлеб.

Доктор Преториус сейчас же накинулся на слугу. Еда и вино полетели в разные стороны, доктор Преториус схватил старика за шею и опрокинул на пол.

— Мы заняты, — проговорил он совершенно спокойным тоном.

Доктор Штейн принялся вместе со слугой собирать еду на поднос.

Доктор Преториус дал пинка старику, и тот уковылял прочь на четвереньках. Преториус произнес нетерпеливо:

— Оставьте эти глупости. Я докажу вам, доктор, что она жива.

Стеклянный сосуд запел под его длинными ногтями, он с нежностью разгладил моток потрепанной красной ленты. Поглядев искоса на доктора Штейна, он произнес:

— На южной оконечности Египта обитает племя, которое на протяжении трех тысяч лет работает с металлами. Тамошние мастера наносят на металлические изделия тонкий серебряный орнамент, сперва погрузив изделие в раствор нитрата серебра, а затем помещая его в сосуд, где в соленой воде находятся пластины из свинца и цинка. Разделяемые разными металлами, противоположные сущности соленой воды расходятся в разные стороны и, достигая орнамента, извлекают из раствора серебро. Я неоднократно сам проделывал этот опыт, но каждый раз, когда я заменял соленую воду кислотой, движение энергии замедлялось. Это, — он постучал по сосуду из стекла, который зазвенел, словно колокол, — устроено по тому же принципу обуздания энергии. Я только увеличил размеры и нашел способ сохранять энергию, которая накапливается в процессе работы. Потому что энергия эта находится и внутри нас и подчиняется потоку, идущему от механизма. Двигаясь внутри стеклянной емкости, шелк порождает эту энергию, и я сохраняю ее здесь, в банке. Посмотрите поближе, если хотите. Это всего лишь простое стекло и простая вода, заткнутая пробкой, однако внутри содержится жизненная энергия.

— Чего же вам нужно от меня?

— Я многого достиг в одиночку. Но, доктор, вдвоем мы смогли бы достичь гораздо большего. У вас отличная репутация.

— Мне повезло, что мне позволили обучать здешних докторов некоторым приемам, какие я изучил в Пруссии. Но ни один хирург не оперирует мертвецов.

— Вы скромничаете. Я слышал историю о глиняном человеке, которого ваши соплеменники сотворили, чтобы защитить себя. Я знаю, что эта история основана на истинном случае.

Глина не может ожить, даже вымоченная в крови, однако вода, похороненного в глине, возможно оживить снова. Вы не согласны?

Доктор Штейн понял, что шарлатан уверовал в собственную выдумку. Вслух он сказал:

— Я вижу, вы отчаянно нуждаетесь в деньгах. Ведь человек ученый продает книги только в самом крайнем случае, а в этой библиотеке не осталось ни одного тома. Вероятно, ваши покровители разочаровались и не заплатили того, что обещали, хотя это, разумеется, не мое дело.

Доктор Преториус ответил резко:

— Выдумкам, изложенным в этих книгах, уже тысяча лет. Нет в них никакого проку. Кроме того, можно сказать, что вы сами мне задолжали. То прерванное представление стоило мне не меньше двадцати дукатов, потому что именно столько человек хотели попробовать на вкус возрождающую энергию жизни. Поэтому, мне кажется, вы просто обязаны мне помочь. Ну а пока смотрите и изумляйтесь.

Доктор Преториус принялся жать на педаль своего механизма. В библиотеке слышалось только его тяжелое дыхание и мягкий посвист шелковой ленты, которая все вертелась и вертелась. Наконец доктор Преториус поднял золотые проволоки, свисающие со дна стеклянного сосуда, и они упали на лицо девушки. В сумраке комнаты доктор Штейн увидел, как на концах проволоки загорелись на миг яркие синие огоньки. Девушка вздрогнула всем телом. Ее глаза открылись.

— Чудо! — произнес доктор Преториус, тяжело дыша после упражнения. — Каждый день она умирает. И каждую ночь я возвращаю ее к жизни.

При звуке его голоса девушка огляделась. Ее зрачки были разных размеров. Доктор Преториус шлепал ее по щекам, пока лицо немного не порозовело.

— Видите! Она жива! Спросите ее о чем-нибудь. О чем угодно. Она вернулась с того света и знает гораздо больше нас с вами. Спрашивайте!

— Мне не о чем спрашивать, — отозвался доктор Штейн.

— Она знает будущее. Расскажи ему о будущем, — прошипел он в ухо девушке.

Рот утопленницы задвигался. Грудная клетка расширилась, как будто она сделала вдох, и девушка проговорила едва слышным шепотом:

— Во всем обвинят иудеев.

Доктор Штейн отозвался:

— Да ведь так всегда и бывает.

— Но вы ведь по этой причине пришли?

Доктор Штейн выдержал угрюмый взгляд доктора Преториуса.

— Сколько народу вы убили во время своих опытов?

— Ну, большинство из них были уже мертвы. Они пожертвовали себя науке, как в стародавние времена жертвовали языческим богам невинных дев.

— Те времена давно миновали.

— На смену им идут великие времена. И вы поможете. Я знаю, что поможете. Сейчас я расскажу, как мы с вами ее спасем. Ведь вы не откажетесь ее спасти, правда?

Голова девушки склонилась к голове доктора Преториуса. Они оба смотрели на доктора Штейна. Губы девушки шевельнулись, беззвучно произнося всего два слова. И холодный озноб пробрал доктора Штейна. Пока он помогал старому слуге собирать с пола еду, под руку ему попался нож, и вот теперь он пустит его в дело, если сумеет.

Доктор Преториус повел доктора Штейна в загон, где шуршала соломой свинья. Он высоко поднял свечу, и доктор Штейн отчетливо увидел, что из спины свиньи растет человеческая рука. В следующий миг все скрыли тени.

Но то была человеческая рука, отсеченная кисть, торчащая из шкуры животного, словно из рукава. Рука казалась живой, ногти и кожа розовые, как у поросенка.

— Долго они не живут, — пояснил доктор Преториус. Кажется, он был доволен произведенным на Штейна впечатлением. — Либо умирает свинья, либо конечность начинает разлагаться. В разных видах крови имеется что-то несовместимое. Я даже пытался давать свиньям перед операцией человеческую кровь, но тогда они умирают еще быстрее. Возможно, с вашей помощью я сумею усовершенствовать процесс. Я прооперирую девушку, заменю гниющую ступню здоровой. Я не хочу, чтобы она лишилась своей красоты. Я сделаю ее даже лучше. Я усовершенствую ее, фрагмент за фрагментом. Сделаю из нее настоящую Невесту Моря, чудо, каким будет восторгаться весь мир. Вы мне поможете, доктор? Доставать тела так трудно. Ваш приятель причиняет мне столько хлопот... но вы-то ведь сможете приносить мне тела хоть каждый день! Зимой умирает столько народу. Кусочек оттуда, кусочек отсюда. Мне даже не нужны тела целиком. Что может быть проще?

Он отшатнулся, когда доктор Штейн схватил его за руку, однако доктор действовал быстро: он выхватил свечу и швырнул в загон. Солома занялась тут же, свинья выскочила, стоило доктору немного отодвинуть решетку. Животное кинулось на доктора Преториуса, словно помня, каким мучениям он его подверг, и сбило шарлатана с ног. Человеческая кисть моталась из стороны в сторону, словно приветствуя их.

Девушка, кажется, погрузилась в дрему, но сейчас же открыла глаза, как только доктор Штейн коснулся ее ледяного лба. Она силилась заговорить, но у нее уже не было сил, и доктору Штейну пришлось приложить ухо к ее груди, чтобы услышать те два слова, которые она еще раньше произнесла одними губами:

— Убейте меня!

Позади них огонь захватывал новые участки пола и стеллажей, пламя бушевало уже по всей библиотеке. Доктор Преториус метался по комнате, преследуемый свиньей. Он пытался хватать мышеподобных тварей, которых пламя пожара выгнало из укромных уголков, однако они, даже на двух ногах, двигались гораздо быстрее его. В библиотеку вбежал старик, и доктор Преториус прокричал:

— Помоги же мне, старый дурак!

Однако старик вместо того промчался мимо хозяина, прорвался через стену пламени, разделившую комнату на две части, и накинулся на доктора Штейна, который склонился над юной утопленницей. Старик был слаб, словно дитя, но, когда доктор Штейн попытался его оттолкнуть, он укусил доктора за руку, и нож упал на пол. Они оба отпрянули назад и перевернули бутыль с кислотой. В тот же миг повалили белые хлопья. Старик катался по полу и бил себя по дымящейся, пропитавшейся кислотой одежде.

Доктор Штейн отыскал нож и провел острым кончиком вдоль голубой вены на предплечье утопленницы. Кровь потекла на удивление быстро. Доктор Штейн погладил девушку по голове, и она сосредоточила на нем взгляд. Мгновение казалось, что она вот-вот что-то скажет, но доктор не мог ждать, потому что сзади подступала стена огня.

Доктор Штейн выбил ставни скамьей и забрался на подоконник. Как он и надеялся, внизу плескалась черная вода: как и другие палаццо, это выходило на Гранд-канал. Вокруг поднимались клубы дыма. Доктор Штейн услышал за спиной крик Преториуса и прыгнул, отдавая себя на волю стихиям: сначала воздуху, затем воде.

Доктора Преториуса схватили на рассвете следующего дня, когда он пытался бежать из города. Пожар, устроенный доктором Штейном, погубил весь верхний этаж палаццо, и в огне погиб старик. Он был последним представителем старинного патрицианского рода, для которого настали тяжелые времена: только это палаццо и запись в Libro d'Oro[1] остались от их былой славы и богатства.

[1] *Золотая книга (ит.)* — список знатных фамилий Венеции.

Генри Горралл сказал, что нет необходимости упоминать о роли доктора в этой трагедии.

— Пусть мертвые покоятся с миром. Не стоит тревожить их нелепыми россказнями.

— Совершенно верно, — согласился доктор Штейн, — пусть мертвые остаются в мире мертвых.

Он слег с сильнейшим приступом ревматизма и лихорадки после прыжка в ледяную воду. Зимнее солнце просачивалось сквозь ставни спальни, украшая пол светлыми полосками.

— По всей видимости, у Преториуса действительно могущественные друзья, — сказал Горралл. — Не будет ни суда, ни казни, хотя он заслужил и то и другое. Он сразу же отправится на галеры, и я нисколько не сомневаюсь, что уже довольно скоро с чьей-нибудь помощью сбежит оттуда. Так обычно и бывает. Разумеется, его имя вовсе не Преториус. И вряд ли он сам знает, откуда родом. Может быть, он что-нибудь рассказал вам о себе?

За дверями спальни послышались голоса — это жена доктора Штейна вышла встретить Абрама Сончино и его домочадцев, которые принесли по случаю недели траура множество блюд из яиц.

Доктор Штейн ответил:

— Преториус уверял, что жил в Египте до того, как приехал сюда.

— Да, но кто там только не бывал с тех пор, как Венеция завоевала эту страну? Кроме того, насколько я понимаю, идею своего механизма он позаимствовал вовсе не у дикарей, а у самого великого флорентийского инженера. Что еще он говорил? Мне хотелось бы знать. Не для рапорта, а для себя лично.

— На загадки не всегда находятся ответы, — сказал доктор Штейн.

Пусть мертвые покоятся с миром. Именно так. Теперь он твердо знал, что его дочь погибла. Он отпустил на свободу воспоминания, отпуская несчастную девушку, которую доктор Преториус вернул из мира мертвых. Слезы заблестели у него в глазах, а Горралл неловко пытался утешить доктора, ошибочно приняв их за слезы горя.

МАЙКЛ МАРШАЛЛ СМИТ

Получать лучше

Майкл Маршалл Смит завоевал Британскую премию фэнтези в номинации «Лучший рассказ» за свое дебютное произведение «Человек, который рисовал котов» («The Man Who Drew Cats»), опубликованное в антологии «Темные голоса 2» («Dark Voices 2»), и в следующем году снова получил эту же премию за рассказ «Темная земля» («The Dark Land»), опубликованный в антологии «Темные земли» («Darklands»). В 1991 году Смит стал обладателем премии «Лучший новичок».

Дизайнер-фрилансер и сценарист радиопостановок, Майкл Маршалл Смит является автором многочисленных рассказов, печатавшихся в антологиях «Темные голоса» («Dark Voices»), «Оборотни» («The Mammoth Book of Werewolves»), «Зомби» («The Mammoth Book of Zombies»), «Антология фэнтези и сверхъестественного» («The Anthology of Fantasy & the Supernatural»), «Тени над Иннсмутом» («Shadows over Innsmouth»), «Постучи по дереву!» («Touch Wood»), «Лучшие новые ужасы» («Best New Horror») и «Лучшее за год. Фэнтези и хоррор» («The Year's Best Fantasy and Horror»). Его первый роман «Только вперед» («Only Forward») вышел в издательстве «Harper Collins» в 1994 году и получил положительные отзывы.

Автор уверен, что следующий рассказ говорит сам за себя, но добавляет: «Образ синих туннелей преследовал меня около десяти лет, и я очень рад, что наконец нашел для него место упокоения».

Хотел бы я поехать на машине, но, естественно, не умею ее водить, да к тому же перепугаюсь, как хрен знает кто. Да, автомобиль бы мне не помешал. Для начала, тут очень много народу. Просто невероятное количество людей. Куда ни повернись, везде они — усталые, помятые, но целые. Это самое странное. Все целые.

На машине было бы быстрее. Раньше или позже меня выследят, и нужно убраться куда-нибудь, прежде чем это случится. Метро — дерьмо полное, кстати говоря. Столько времени стоишь в набитом вагоне, в котором чем-то воняет, потом еще долго ждешь пересадки на другую линию, а времени-то у меня нет. К тому же здесь неприятно и страшновато. Люди смотрят. Смотрят и смотрят, даже не подозревая, чем рискуют. Ведь че-

рез минуту кто-нибудь из них задержит на мне взгляд буквально на секунду дольше, чем надо, и тогда я ему лицо порву, а это плохо. Для него и для меня.

Потому я отворачиваюсь и смотрю в окно. Там, правда, не на что глазеть, ведь мы под землей, и приходится зажмуривать глаза, чтобы не закричать. Вагон похож на еще один туннель, только с окнами, и кажется, словно меня закопали слишком глубоко. Я вырос в таких вот туннелях без окон. Построившие их люди особо не заморачивались и не притворялись, будто там есть на что смотреть или есть чего искать. Не было там ничего. Ничего оттуда и не приходило, если не считать какого-нибудь урода с ножом. Потому строители и не притворялись. Отдаю им должное хотя бы в этом: напрасными надеждами они никого не питали.

А вот Мэнни в каком-то смысле делал это постоянно, вот почему у меня к нему сложные чувства. С одной стороны, он — это самое лучшее, что вообще с нами случилось. Но если посмотреть с другой, то, может, без него всем было бы лучше. Впрочем, я сейчас чушь несу. Без Мэнни стало бы еще хуже, тридцать лет полной бессмыслицы. Я бы об этом, конечно, не знал, зато сейчас знаю и рад, что не вышло по-другому. Без Мэнни я бы сейчас не оказался там, где стою, — в вагоне метро, чувствуя, как кончается время.

Пассажиры уступают мне место, сторонятся, хотя это не удивительно. Отчасти, дело в моем лице. И ноге. Люди такого не любят. Но главная причина кроется во мне самом. Я-то знаю, чувствую ярость, которая расходится от меня во все стороны. Так вести себя неправильно, прекрасно это понимаю, но и вся жизнь у меня была неправильная. Побывайте в моей шкуре, тогда поглядим, какими спокойными в конце концов станете.

Есть еще одна причина, по которой я немного странно отношусь к Мэнни. Я не понимаю, зачем он это сделал. Зачем помог нам. Сью-2 говорит: это не имеет значения, — но я думаю, имеет. Если это был лишь эксперимент, увлечение, хобби, то тогда дело предстает в несколько ином свете. Думаю, при таком варианте я бы относился к Мэнни хуже. Только сдается мне, у него были совсем другие резоны и все случилось из-за человечности, правда, хрен знает, чего означает это слово. Если бы Мэнни проводил над нами эксперимент, то, по моему разумению, час назад все пошло бы иначе. Для начала Мэнни, скорее всего, остался бы в живых.

Если все идет по плану, то Сью-2 сейчас уже на месте, гораздо ближе к цели, чем я. Кстати, вот привычка, от которой стоит отказаться. Теперь она — Сью, просто Сью. Никаких но-

меров. А я — старина Джек или стану им, если доберусь туда, куда мне надо.

Первое воспоминание, самый ранний проблеск сознания — что голубой цвет. Сейчас-то я понимаю, что́ тогда видел, но в то время не знал ничего иного и решил, что в мире больше не существует других цветов. Мягкий, туманный, он всегда имел одну и ту же промозглую температуру, и в нем что-то успокаивающе гудело.

Из метро надо выбираться. Катаюсь уже час, да и ближе на нем все равно не подъехать. Тут очень шумно, причем не просто какое-то приглушенное жужжание, а ужасающий лязг. Очень не хочется вот так провести время, которого у меня, скорее всего, мало осталось. Вокруг волнуются люди, и всем им есть куда идти. В первый раз за всю свою жизнь я окружен людьми, которым действительно есть куда идти.

Туннель неправильного цвета. Туннели должны быть голубыми. Я не могу понять туннель, если он не голубой. Насколько могу судить, первые четыре года своей жизни я провел именно в таком. А если бы не Мэнни, то сидел бы там и до сих пор. Когда он пришел работать на ферму, то я сразу понял: это совсем другой человек. Не знаю как: я тогда даже думать не умел, куда уж там говорить. Может, он просто вел себя с нами не так, как предыдущий хранитель. Я потом выяснил, что у него умерла жена, рожая уже мертвого ребенка. Может, все дело было в них.

Для начала он выбрал некоторых из нас и позволил жить вне туннелей. Сначала немногим, а потому чуть ли не половине набора «запасок». Из оставшихся одни так и не приняли мир снаружи таким, какой он был. Они выходили время от времени, шатались туда-сюда с безнадежным видом, открывая и закрывая рот, и кожа их казалась голубоватой, как будто свет туннеля проник им внутрь. Некоторые же так и не выбрались наружу, но это потому, что их слишком много использовали. Три года, а уже нет рук. Ну, расскажите мне, насколько это целесообразно, суки...

Мэнни позволил нам свободно ходить по комплексу, а иногда даже выпускал наружу. Ему приходилось соблюдать осторожность, так как неподалеку от фермы проходила дорога. Кто-нибудь мог заметить голых людей, неуклюже переваливающихся в траве, и, конечно, мы были голые, ведь нам не дали даже гребаного куска тряпки прикрыться. До самого конца у нас не было одежды, и годами я думал, что снаружи всегда идет дождь, так как только в такую погоду Мэнни выпускал нас наружу.

Сейчас на мне один из его костюмов, а Сью раздобыла себе голубые джинсы и рубашку. От брюк кожа ужасно чешется, но я все равно чувствую себя настоящим принцем. Принцы обычно

владеют замками, сражаются с чудовищами, женятся на принцессах, а потом живут долго и счастливо. Я знаю о принцах. Мне о них говорили.

Мэнни рассказывал нам о разных вещах, учил. Ну, пытался, по крайней мере. Для большинства было уже поздновато для уроков. Для меня-то уж точно. Я не могу писать. Не могу читать. Знаю, в голове у меня огромные пробелы. Иногда пытаюсь что-нибудь сделать, выучить, подумать и понимаю, чувствую: по большей части ничего у меня не получится. Вещи падают в пустоту. Не задерживаются. Ну, хотя бы говорю неплохо. Я был одним из любимчиков Мэнни, он со мной много разговаривал. Я от него научился. Отчасти я так охрененно зол потому, что, наверное, мог стать по-настоящему умным. Так Мэнни говорил. И Сью. Только поздно теперь. Слишком поздно, вашу мать.

В первый раз за мной пришли в десять лет. Мэнни позвонили, и он неожиданно страшно запаниковал. «Запаски» разбрелись по всему комплексу, и ему пришлось побегать, собирая их вместе. Он загнал нас в туннели как раз вовремя, и мы там сидели себе, не зная, чего и думать.

Потом Мэнни вернулся с каким-то мужиком, большим и наглым. Они вошли внутрь, и громила пинками расталкивал всех с дороги. И все понимали достаточно для того, чтобы молчать: Мэнни предупредил об этом заранее. Те из нас, кто никогда наружу не выходил, как обычно, ползали и шаркали вокруг, стукаясь о стены, а здоровяк просто отбрасывал их в сторону. Они падали кучами мяса, а потом снова начинали двигаться, издавая разные нечленораздельные звуки.

В конце концов Мэнни подошел ко мне. Руки у него тряслись, а на лице было такое выражение, будто он еле сдерживает слезы. Мужик схватил меня и выволок из туннеля, затащил в операционную, а там двое уродов в белых халатах положили меня на стол и отрезали два пальца.

Вот потому я и не могу писать. Я — правша, а они мне отрезали пальцы правой руки, твари. Потом продели нитку в иголку и зашили мне руку наспех, словно торопились куда-то, а громила отвел меня обратно к туннелю, открыл дверь и зашвырнул внутрь. Я ничего не сказал. Я не сказал *ни единого* слова за все то время, пока это длилось.

Позже меня нашел Мэнни, а я отполз от него, сжался, думал, им опять что-то нужно. Но он обнял меня, и разницу я почувствовал, а потому позволил отвести себя в главную комнату. Мэнни посадил меня на стул, вымыл окровавленную руку, побрызгал на нее какой-то штукой, от которой раны стали болеть меньше. А потом все рассказал. Объяснил, где я и почему.

Я был «запаской» и жил на ферме. Когда богатые люди заводили ребенка, доктора брали клетку у зародыша и клонировали еще одного, точную копию будущего малыша. Растили его, пока тот не мог дышать самостоятельно, а потом отправляли на ферму.

«Запаски» жили здесь, а если с настоящим ребенком приключалась беда и он повреждал какую-нибудь часть тела, медики приезжали на ферму, отрезали кусок от клона и пришивали его хозяину. Так было легче из-за клеточного совпадения и всего в таком духе, чего я толком не понимаю. Они зашивали запчасть и отправляли ее обратно в туннель, где та сидела, пока оригинал опять чего-нибудь не выкидывал. А когда это происходило, доктора появлялись снова.

Мэнни рассказал мне. Я рассказал остальным. Так мы все и узнали.

Нам очень, очень повезло. Мы это понимали. Вокруг была куча подобных ферм, и в каждой голубые люди ползали туда-сюда по туннелям, чистые листы бумаги, на которых никто ничего не написал. Мэнни рассказывал, что некоторые хранители подрабатывали, по ночам запуская внутрь посетителей. Эти настоящие люди пили пиво и смеялись над «запасками», иногда трахали их. Об этом никто не знал, и никому не было дела. Нет смысла учить клонов. Нет смысла давать им жизнь. Зачем? Все равно в конце концов от них ничего не останется.

С другой стороны, так, возможно, было легче. Когда знаешь, в чем дело, очень трудно становится все принять. Как и все остальные, сидишь, ждешь, вот только прекрасно понимаешь, что с тобой сделают. И ты в курсе, кого винить.

Например, моего брата Джека. В десять лет он зажал два пальца в дверях. И это было только начало. В восемнадцать парень разбил свою дорогую машину и раздробил все кости ноги. Вот вам еще одна причина, по которой я не хочу находиться долго в этом долбаном метро: такие увечья люди замечают сразу. Впрочем, как и криво заросшую рану на левой стороне лица, где они вырезали у меня трансплантат, когда какая-то женщина плеснула в этого урода кипящей водой. Из-за него я лишился и части желудка. Тупой дебил любил остренькое и пил слишком много вина. Я, конечно, не знаю, что это за вещи, но они не могут быть очень хорошими. А в прошлом году Джек пошел на какую-то вечеринку, ввязался в драку и ему вышибли правый глаз. Так я лишился своего.

На ферме так весело. Просто круто. Чистый восторг. Вокруг ковыляют люди, из них течет, они хлопают в ладоши без пальцев и испражняются в колостомические мешки. Даже непонятно, кому хуже: тому, кто знает, что происходит, и чувствует

ненависть, раком разрастающуюся внутри, или тем, кто рикошетом бьется о стенки туннеля, как какой-нибудь жук. Иногда последние почти не двигаются или начинают отчаянно суетиться. Предсказать их поведение невозможно, ведь в их головах никого нет. Именно это Мэнни и сделал для нас. Для меня, Сью и Дженни. Он поместил людей в наши головы. Иногда мы сидели все вместе, болтали о подлинниках, представляли, чем они занимаются, каково это — быть ими, а не нами. Мэнни говорил, что ничего хорошего из этого не выйдет, но мы его не слушали. Даже «запаскам» дозволено мечтать.

Так могло продолжаться вечно или до тех пор, пока оригиналы не начали бы стареть и разваливаться. Мне говорили, что тогда конец приходит быстро. Существует предел, дальше которого резать уже нельзя. По крайней мере, он должен быть. Когда видишь слепых клонов без рук и ног, извивающихся в темных углах, то начинаешь в этом сильно сомневаться.

Но однажды днем зазвонил телефон, мы все послушно встали и похромали в туннели. Я шел со Сью-2, мы сели рядом друг с другом. Мэнни часто говорил, что мы любим друг друга, только хер знает, так ли это. Когда она рядом, я чувствую себя счастливым, вот и все. У нее нет зубов, левой руки, вырезаны яичники, но она мне нравится. Рядом с ней я смеюсь.

В конце концов пришел Мэнни с громилой, и я увидел, что хранитель в этот раз выглядел хуже некуда. Он долго ходил вокруг да около, пока этот мужик не заорал на него, и только потом нашел Дженни-2 и указал на нее пальцем.

Она была одной из его любимиц. Она, Сью да я. С нами он часто говорил. Мужчина забрал ее, Мэнни проводил их взглядом, а когда закрылась дверь, сел и заплакал.

Настоящая Дженни пострадала при пожаре. У нее сгорела вся кожа. Дженни-2 отправили на смерть.

Мы сидели с Мэнни, ждали, и вдруг он неожиданно встал. Схватил Сью за руку, сказал идти за ним, отвел в свою комнату и принес вот эту одежду, которая сейчас на мне. Дал денег, сказал, куда идти. Думаю, каким-то образом он понял, что произойдет. А может, просто не мог больше так жить.

Мы еле успели одеться, когда все пошло к чертям. Спрятались, когда за Мэнни пришли, и все услышали.

Дженни-2 заговорила. Они пользуются наркотиками или анестезией, только когда «запаска» может действительно умереть от шока. А так чего суетиться? Дженни-2 отправили на смертельную операцию, поэтому оставили в сознании. Когда над ней встал человек, который, улыбаясь, приготовился срезать порцию кожи с лица, она не смогла сдержаться, и я ее не виню.

— Пожалуйста, — сказала она. — Не надо.

Три слова. Не так и много. Совсем немного. Но достаточно. Она вообще не должна была говорить.

Мэнни попытался остановить их, когда они попытались открыть туннели, а потому его застрелили и все равно вошли. Мы сбежали, и я не знаю, что там дальше произошло. Не думаю, что остальных убили, ведь у большинства оставалось еще много частей. Возможно, вырезали часть мозга.

Мы бежали, шли. В конце концов добрались до города. Я попрощался со Сью около метро. Она пошла домой пешком. Мне надо было проехать дальше, к тому же нас, скорее всего, станут искать, пришлось разделиться. Мы понимали, в этом есть смысл, и я ничего не знаю о любви, но готов потерять обе руки, только чтобы Сью сейчас была рядом со мной.

У нас обоих мало времени, но мне плевать. Мэнни дал нам адреса, и мы знаем, куда идти. Сью думает, мы сможем занять их места. Я так не считаю, но ей ничего не сказал. Мы сразу спалимся, ведь почти ничего не знаем. У нас нет шансов. Это всегда было лишь мечтой, темой для разговора.

Но одну вещь я все-таки сделаю. Я его встречу. Найду дом Джека, подойду к двери и посмотрю своему брату в лицо.

И прежде чем меня найдут, прежде чем за мной придут, я кое-что заберу у него назад.

ДЭВИД КЕЙС

Тупик

Дэвид Кейс родился на севере штата Нью-Йорк, но по большей части живет либо в Лондоне, либо в Греции. Он написал более трехсот книг в разных жанрах под разными псевдонимами, среди них — романы ужасов «Волчьи следы» («Wolf Tracks») и «Третья могила» («The Third Grave»).

Среди сборников страшных рассказов Кейса можно отметить «Клетка и прочие ужасы» («The Cell and Other Tales of Horror») и «Фенгриффин и другие истории» («Fengriffin and Other Stories»), опубликованные в 1969 и 1971 годах соответственно. Два произведения автора были экранизированы: на основе рассказа «Фенгриффин» снят фильм «А теперь начинается крик!» («And Now the Screaming Starts!», 1973), а классический триллер об оборотнях «Охотник» («The Hunter») лег в основу телефильма «Волчий вой» («Scream of the Wolf», 1974). Рассказы Дэвида Кейса публиковались в таких антологиях и журналах, как «Fantasy Tales», «Темные голоса. Лучшее из Книги ужасов от „Pan"» («Dark Voices: The Best From the Pan Book of Horror Stories»), «Темные голоса 6» («Dark Voices 6») и «Оборотни» («The Mammoth Book of Werewolves»).

Автор всегда считал, что его нижеследующую повесть совершенно незаслуженно обходят вниманием. Он абсолютно прав, и я рад восстановить справедливость, печатая это произведение здесь...

Официант плеснул немного красного в мой бокал и застыл, ожидая, когда я попробую вино. По ту сторону стола Сьюзен старательно избегала моего взгляда. Она смотрела в окно на размытые силуэты машин, стремительно проносящихся мимо по Маршам-стрит. Официант скромно стоял рядом, непроницаемый и отстраненный. Здесь мы когда-то были счастливы, и не однажды, но теперь все не так. Я кивнул, и официант, наполнив оба наших бокала, удалился.

— Сьюзен...

Наконец она посмотрела на меня.

— Прости.

Сьюзен пожала плечами. Ей было очень больно, а мне — очень горько. Разве не горько сказать женщине, которую любишь, что не собираешься жениться на ней? Мне, наверное, следовало выбрать для этого другой ресторан, но я отчего-то

решил, что тут требуется знакомое место, где мы окажемся наедине, но в окружении людей. Подход, конечно, трусливый, хотя для того, чтобы расторгнуть помолвку, требуется немало смелости. А ведь я больше всего на свете хотел жениться на Сьюзен, но теперь это невозможно.

— Я ожидала этого, Артур. Твои слова не стали таким уж потрясением.

— Сьюзен...

— Теперь я могу сказать. Все стало иначе. Ты изменился. Я ожидала этого с тех самых пор, как ты вернулся из Южной Америки. Да, ожидала. Я предполагала, что ты встретишь кого-то...

— Нет. Пожалуйста, поверь.

Горькая улыбка скользнула по ее губам.

— Я люблю тебя, Сьюзен. Так же сильно, как раньше. И даже сильнее. Сейчас, когда я понял, как много теряю, я хочу тебя больше, чем прежде.

— Артур, с твоего возвращения мы даже не спали вместе. Как же мне верить тебе?

— Сьюзен, я не могу.

— Тогда скажи почему.

Я покачал головой.

— Ты должен сказать мне, Артур. Должен хотя бы это. Объясни. Что бы это ни было, я пойму. Если у тебя кто-то есть, если ты устал от меня, если ты просто хочешь свободы, я пойму. И мне не будет так горько. Но ты не можешь все разорвать, даже не объяснив почему. Это бесчеловечно.

Возможно, она и поняла бы. Сьюзен, одна из всех, могла бы понять. Но это было слишком ужасно, и я не мог рассказать ей. Никому не мог. Я промолчал даже у врача, поинтересовавшегося, что, собственно, он должен у меня искать. Груз этой страшной тайны я обязан нести в одиночку.

— Сьюзен, я не могу сказать тебе.

Она снова уставилась в окно. Свинцовые переплеты искажали внешний мир. Я подумал, что она сейчас заплачет, но она не заплакала. Только губы ее дрожали. Официанты сновали мимо нашего столика, посетители выпивали и закусывали, убивая собственное время, а я сидел в одиночестве. Сьюзен была здесь, но я сидел в одиночестве.

— Если бы только ты не уезжал, — прошептала она.

Да. Если бы я не уезжал. Если бы человек мог начать жить заново и исправить сделанное. Но я уехал и вот теперь вглядываюсь в мерцающее в моем бокале вино и думаю о том, как это все случилось; вспоминаю те кошмарные события, которые никогда и ничем не исправишь...

Трудно поверить, что всего два месяца назад сумрачным лондонским утром директор музея вызвал меня к себе. Такие вызовы приводили меня в беспокойство; я шагал к его кабинету по древним коридорам в сопровождении гулкого эха собственных шагов, преисполненный ожидания. Я прекрасно знал о том, что Джеффрис, глава отдела антропологии, планирует в конце года уволиться, и надеялся занять его место. Помню, какие противоречивые мысли метались в моей голове: соображения о том, не слишком ли я молод, чтобы ожидать подобного повышения, перевешивались сознанием того, что за время моей службы здесь я неплохо поработал, и, хотя моя точка зрения на какую-либо проблему часто не совпадала с директорской, я знал, что директор уважает разумные возражения и подыскивает таких подчиненных, которые, не смущаясь, выдвигают собственные теории, а еще я думал — возможно, в основном — о том, как обрадуется Сьюзен, когда у меня появится возможность сообщить ей о своем повышении, какие изменения это внесет в наши планы. Сьюзен хотела детей, но готова была подождать пару лет, пока мы не сможем себе их позволить; она хотела собственный дом за городом, но соглашалась переехать в мою городскую квартиру. Возможно, теперь нам не придется ждать всего этого. Картины счастья и успеха плясали перед моим внутренним взором тем утром, как нередко бывает, когда человек молод, воодушевлен и полон надежд.

Два месяца назад мне было тридцать один, хотя сейчас я стар.

Да, всего два месяца назад.

Доктор Смит выглядел образцом музейного директора, шаблоном, по которому следовало бы кроить каждого, занимающего столь высокий пост. Он носил старомодный, но безукоризненный двубортный сюртук, перечеркнутый золотой цепочкой от часов, и возвышался над своим массивным столом, стоящим посреди обитого кожей кабинета подобно незыблемой каменной глыбе.

— А, Брукс. Садитесь.

Я сел и стал ждать. Теперь, лицом к лицу с директором, уже трудно было чувствовать себя столь уверенным, как раньше. Он аккуратно набивал закопченную трубку, утрамбовывая табак широкой подушечкой большого пальца.

— Те сообщения, которые я посылал вам третьего дня, — произнес доктор Смит.

И сделал паузу, раскуривая трубку, а я смотрел, как скручивается, догорая, тонкая спичка. Смотрел, полный разочарования. Я-то рассчитывал, что наша встреча будет посвящена куда

более важным вещам. Спирали табачного дыма поплыли между нами туманом.

— Вы изучили их?

— Да, сэр.

— И каково ваше мнение?

Я, мягко говоря, удивился. Я удивился еще тогда, когда он послал мне эти бумаги. Они принадлежали к той категории информации, к которой обычно относишься скептически: ничем не подтвержденные сообщения с архипелага Огненная Земля о странном существе, виденном в горах, — существе, внешне похожем на человека, но ведущем себя как животное. Оно якобы убило несколько овец и напугало несколько людей. Музей получает множество подобных писем такого рода, продиктованных либо желанием подшутить, либо жаждой славы, либо чересчур развитым воображением. Надо признать, было несколько сообщений об этом существе, и очевидная связь между их авторами не просматривалась, однако я считал себя человеком науки, которому не пристало слишком доверять подобным слухам.

И все же Смита они чем-то заинтересовали.

— Ну, я точно не знаю. Какой-то вид приматов, возможно. Если вообще что-то есть.

— Великовато для обезьяны.

— Если бы речь не шла о Южной Америке, я подумал бы о гориллe...

— Но в данном случае речь именно о Южной Америке, не так ли?

Я промолчал.

— Вы упомянули о приматах. Это явно не мартышка, а также, как выяснилось, не горилла. Что же остается?

— Человек, естественно.

— Да, — отрезал он.

Директор разглядывал меня сквозь дымную завесу.

— Конечно, индейцы в тех местах весьма примитивны, — заговорил я. — Возможно, они на сегодняшний день самые примитивные из людей. Они наверняка очаровали бы Дарвина, бегая голышом при их-то климате и поедая сырые ракушки. Это существо вполне может быть человеком, каким-нибудь отшельником, например, или аборигеном, ухитрившимся избежать контакта с цивилизацией.

— И очень сильным к тому же, — добавил Смит.

— Полагаю, вот и ответ.

— А я отчего-то сомневаюсь.

— Не понимаю...

— Это существо видели несколько местных жителей. Наверняка они признали бы в нем человека, подобного им самим.

— Возможно. Но нет никаких доказательств того, что это нечто отстающее в развитии от человека. А насчет вероятности обнаружить существо, подобное пресловутому йети, вам известна моя точка зрения.

Смит улыбнулся, вежливо, но сухо. Я проводил кое-какие исследования, касающиеся снежного человека, довольно хорошо принятые, хотя мои заключения и были резко негативны. Однако Смит склонен был допускать возможность существования данных особей.

— Я думал точно так же — поначалу, — сказал он.

— Поначалу?

— Я немало размышлял об этом. Особенно впечатлил меня рассказ того полукровки из Ушуаи, как бишь его?..

— Грегорио?

— Да, именно. Едва ли человек способен вообразить себе нечто подобное, не полагаясь на некое истинное событие. Итак, я послал телеграмму своему тамошнему знакомому. Его зовут Гардинер. Он служил управляющим в «Эксплотадоре», когда компания была действительно велика. Уйдя в отставку, он решил, что уже слишком стар, чтобы начинать новую жизнь в Англии, и остался там. Отличный парень, знает всех. В последний раз он очень помог нашей тамошней полевой группе. В любом случае он мне ответил, и, по его словам, этот Грегорио — человек, заслуживающий доверия. Так что я задумался, не может ли тут быть что-то большее, чем я предполагал ранее. И потом, с другой стороны...

Трубка его потухла. Потребовалось несколько минут — и несколько спичек, — чтобы снова разжечь ее.

— Что вам известно о Хьюберте Ходсоне? — спросил наконец директор.

— Ходсон? Он еще жив?

— Ходсон на несколько лет моложе меня, — хмыкнул Смит. — Да, он все еще вполне жив.

— Он принадлежит другому времени. В наши дни не особо уважаем, несколько устарел. Но конечно, я читал его труды. Нонконформист, отвергающий традиции и выдвигающий любопытные теории, несокрушимый упрямец в том, что касается его взглядов, но первоклассный ученый. Двадцать лет назад некоторые его теории произвели фурор.

Смит кивнул. Кажется, он был доволен, что я слышал о Ходсоне.

— Впрочем, с его работами я знаком смутно. Он специализировался на эволюционной генетике, как мне кажется. Не совсем моя область.

— Он специализировался во многом. И слишком разбрасывался, по-моему. Но он умница. — Прищурившись, Смит уда-

рился в воспоминания. — Ходсон выдвинул много теорий. Некоторые — полная чушь, некоторые, возможно, и нет. Он считал, что голосовые связки являлись главнейшим элементом в эволюции человека, утверждал, например, что любое животное, получи оно дар людского общения, со временем обретет вертикальный позвоночник, противопоставленный остальным большой палец и даже — человеческий мозг. Что человеческий разум не более чем побочный продукт совместного опыта и мышление не необходимо для развития. Теория громадных возможностей, конечно, но Ходсон есть Ходсон — он швырнул ее как перчатку, как вызов наивысшему человеческому дару — рассуждать. Он представил ее так, будто сопротивление и испуг предпочитал одобрению. Та же история и с теорией мутации: он заявил, что эволюция не есть процесс постепенный, а движется резкими скачками в различные моменты времени, интервалы которого различны и зависят от места. Нет, его идеи отнюдь не бредовые, но манера их подачи такова, что даже самые безобидные концепции встречаются аудиторией враждебно. Помню, как он стоит на кафедре, обвиняюще тыча в собравшихся пальцем, с всклокоченной шевелюрой, с горящими глазами, и кричит: «Посмотрите на себя! Думаете, вы конечный продукт эволюции? Да один каприз мутации в олигоцене[1] — и вы не более чем наши дальние родственники, землеройки. Думаете, вы и я имели общего предка? Мы имели общую мутацию, и только. И я лично нахожу это прискорбным!» Можете себе вообразить реакцию просвещенной аудитории. А Ходсон лишь улыбнулся и заявил: «Возможно, я выразился резковато. Возможно, ваши родственные отношения с землеройками не столь уж и дальние». Да, я ясно помню тот день и должен признать, что речь его меня больше позабавила, чем возмутила. — Смит улыбнулся, не выпуская изо рта трубки.— Но окончательно он оскорбил человека, объявив, что вся эволюция идет по женской линии. Насколько я помню, он утверждал, что самец не более чем катализатор, что мужчина, будучи слабее, становится жертвой этих нерегулярных мутаций, и сей фактор, в свою очередь, подталкивает женщин к прогрессу и изменениям. Самец, по его словам, необходим лишь как вдохновитель женского развития. Мужчины, и даже ученые мужи, естественно, не готовы были согласиться с этим. На Ходсона злобно набросились со всех сторон, и, как ни странно, на этот раз язвительные атаки, кажется, глубоко ранили его. Раньше он наслаждался произведенным фурором, но тут он удалился от общества и в конце концов исчез вовсе.

---

[1] *Олигоцен* — последняя эпоха палеогенового периода, начавшаяся 33,9 миллиона лет назад и закончившаяся 23,03 миллиона лет назад.

— Похоже, вы хорошо осведомлены о нем, сэр, — заметил я, — с учетом того, как мало он известен.

— Я уважал его.

— Но как это связано с сообщениями из Южной Америки?

— Ходсон там. Туда он уехал, покинув страну двадцать лет назад, и с тех пор проживает там. Вот почему о нем давно ничего не слышно. Но бог знает чем он там занимается. Он ничего не публикует, ничего не заявляет, и это так не похоже на Ходсона. Он принадлежит к тем людям, которые утверждают что-либо только ради того, чтобы шокировать слушателей, и не важно, верят они сами в то, что говорят, или нет.

— Возможно, он удалился от дел.

— Только не Хьюберт.

— И вы полагаете, что его присутствие на континенте связано с теми сообщениями?

— Понятия не имею. Но я удивился. Видите ли, никто точно не знает, где он, — впрочем, не думаю, что кто-либо пытался всерьез его разыскать, — но он обитает где-то в чилийском районе Огненной Земли, в юго-западном секторе.

— И именно оттуда поступили письма.

— Точно. Это-то меня и насторожило.

Мы оба замолчали, задумавшись на пару минут, пока директор вновь раскуривал трубку. Затем я, кажется, уловил изъян в его рассуждениях:

— Но если он там уже двадцать лет... а сообщения-то поступают нам лишь последние шесть месяцев. Где же взаимосвязь?

— Не понимаете?

Нет, я не понимал. Некоторое время он пыхал трубкой, выпуская клубы дыма.

— *Это существо, которое, возможно, видели, а возможно, и нет.* Размером оно с человека. Таким образом, можно допустить, что оно взрослое. Скажем так, двадцати лет от роду, а?

— Ясно. Вы считаете... то есть я хочу сказать, вы рассматриваете возможность того, что Ходсон, услышав что-то об этом существе двадцать лет назад, отправился на разведку. И искал его все эти годы.

— Или нашел.

— Но ведь он наверняка не сумел бы скрыть такой огромный секрет, да и не стал бы скрывать?

— Ходсон — странный человек. Его задела критика выдвинутых им гипотез. Возможно, он ждал, пока у него соберется неопровержимое документальное обоснование, — завершал работу всей своей жизни, тщательно все перепроверяя и доказывая. Возможно, он нашел это существо. Или этих существ. Мы

имеем полное право предположить, что если оно есть, то у него были и родители. Близкие родственники, брат с сестрой например. Я считаю, наиболее вероятно то, что Ходсон обнаружил родителей и изучал их потомство или все племя. Даже, возможно, жил среди них. Это в его стиле.

— Все это кажется... ну, немного натянутым, сэр.

— Да, верно, кажется. Сюжет из области научной фантастики. Как это обычно называют? Утраченное звено? — Он хмыкнул. — Общий предок, на мой взгляд, точнее.

— Но вы же не верите в то, что подобное создание может существовать в наше время?

— Я полагаю это наименее вероятным. Но не то же ли было с латимериями[1], до того как обнаружили живую особь?

— Но это было в море. Бог знает что может скрываться там. Мы, верно, никогда и не узнаем. Но на земле, продолжай оно существовать, его давным-давно бы уже открыли.

— Огненная Земля — место дикое, бесплодное. Природа сурова, население немногочисленно. Я лишь допускаю такую возможность.

— Вы осознаете, что индейцы Огненной Земли — доисторические персонажи, если можно так выразиться? — спросил я.

— Естественно.

— И все же допускаете возможность того, что замеченное кем-то существо является чем-то иным, нежели одним из них?

— Допускаю.

— И все-таки — оно человек?

Смит взмахнул трубкой:

— Скажем так, оно представитель рода человеческого, но не из подвида разумных.

Я был поражен. И никак не мог поверить, что Смит говорит серьезно. И произнес как можно сдержаннее то, что считал явным преуменьшением:

— Звучит весьма маловероятно.

Смит пришел в замешательство. Когда же он заговорил, он словно хотел объясниться:

— Я уже упоминал о том, что глубоко уважаю Ходсона. А еще он вызывает во мне безмерное любопытство. Он не из тех, кто отказывается от своей науки, и он провел последние двадцать лет, что-то делая в том забытом богом углу. Это само по себе интересно. Ходсон в первую очередь лабораторный червь. Он почти не уделял времени экспедициям, считая их подходящим занятием для людей с менее развитым воображе-

[1] *Латимерия* — рыба отряда целакантообразных, единственный современный представитель кистеперых рыб.

нием и интеллектом. Он полагал, что нижестоящие должны собирать информацию для ученых его калибра, чтобы те истолковывали данные. И вдруг, весьма внезапно, он исчезает в какой-то глуши. Этому должна была быть причина, нечто такое, чему он решил посвятить остаток жизни. И Ходсон бросил на алтарь все, что имел, лишь бы завершить начатое. Возможно, те сообщения тут совершенно ни при чем. Вероятнее всего, ни при чем. Но чем бы он ни занимался, это, безусловно, интересно. То, чего он добился за двадцать лет, должно быть поразительным, и не важно, каков результат его трудов. Я частенько подумывал послать кого-нибудь на розыски Ходсона, но всегда отметал эту идею. А сейчас, похоже, настало подходящее время убить двух зайцев одним выстрелом. Или, возможно, заяц-то всего один.

Я кивнул, хотя директор и не убедил меня.

— Полагаю, вы думаете, что я хватаюсь за соломинку, — сказал Смит, заметив мои колебания. — Я знал Ходсона. Не слишком хорошо, не как друга, но я знал его. Чтобы понять мои чувства, и вам не мешало бы узнать его. Я был одним из последних, с кем он говорил перед своим исчезновением, и я никогда не забывал той нашей беседы. Он был многословен, возбужден и самоуверен. Сообщил мне, что работает над чем-то новым, чем-то очень серьезным. Он даже допускал, что результаты его трудов могут опровергнуть некоторые его ранние теории, а это что-то да значит в устах человека, ни разу в жизни не признавшего возможность собственной ошибки. И он сказал, что на сей раз никто не получит шанса глумиться, сомневаться или не соглашаться, потому что, когда он закончит, у него будет более чем теория — у него будет конкретное доказательство.

Смит выбил пепел из трубки. Он, казалось, устал.

— Вы никогда не были в Южной Америке, не так ли? — спросил он.

— Нет.

— А хотели бы побывать?

— Очень.

— Думаю, я пошлю вас туда.

Смит выдвинул ящик стола и принялся рыться там, среди заполненных вручную карточек, в поисках каких-то бумаг.

— Начать следует с Ушуаи. Я телеграфировал Гардинеру, чтобы он ожидал вас, он окажет вам помощь. Можете потратить несколько дней на личную проверку тех сообщений. Затем попробуйте отыскать Ходсона. Возможно, Гардинер знает, где он. Ему наверняка известно, где он покупает припасы, так что действуйте, опираясь на факты.

— Вы уверены, что он закупает нужное в Ушуае?

— Уверен. Больше-то негде.

Внезапно все завертелось ужасно быстро.

— Итак, я бронирую вам номер в гостинице, — заявил Смит, переворачивая страницу и читая записи. — «Альбатрос» или «Гранд-Парк»? Ни там ни там нет ни горячей воды, ни центрального отопления, но человек, посвятивший себя науке, едва ли обращает внимание на такие мелочи.

Я мысленно подбросил монетку:

— «Альбатрос».

— Как скоро вы сможете отправиться в путь?

— Когда пожелаете.

— Завтра?

Наверное, я вздрогнул.

— Если вас устраивает, — добавил Смит.

— Да, все в порядке, — пробормотал я, размышляя, что скажет Сьюзен, лишенная времени, чтобы привыкнуть к мысли о разлуке.

— Отлично, — подытожил директор, завершив беседу.

Я был удивлен и полон скепсиса, но если Смит уважал Ходсона, я уважал Смита. А перспектива полевой работы всегда вдохновляла меня.

Я поднялся.

— Да, Брукс...

— Сэр?

Я уже стоял у двери и повернулся к нему. Директор в очередной раз набивал трубку.

— Вам известно, что Джеффрис в конце года уходит в отставку?

— Я слышал об этом, сэр.

— Да. Это все, — сказал он.

Вот тут-то я взволновался по-настоящему.

Огненная Земля.

Открытый намек Смита на повышение обрадовал меня, но, пожалуй, еще больше возбуждала возможность посетить этот восхитительный архипелаг. Полагаю, любого антрополога, начиная с Дарвина, вдохновил бы шанс пожить там, изучая примитивного человека. Отделенная от собственно Южной Америки Магеллановым проливом, принадлежащая в равной степени Аргентине и Чили, Огненная Земля состоит из большого острова, пяти островов поменьше, бесчисленных островков, полуостровков, каналов, заливов и фиордов, придавленных низкими тучами и свирепыми ветрами; там громоздятся Анды, там горы перемежаются узкими проливами, там пенятся бурные водопа-

ды; там мыс Горн окутан туманами края света... Для цивилизации тут мало привлекательного: двадцать семь с половиной тысяч квадратных миль диких бесплодных земель, пригодных лишь для овцеводства, лесозаготовок и рыболовства, недавно обнаруженные скудные залежи нефти на северо-западных равнинах — и обаяние людей каменного века.

Они были там в тысяча пятьсот двадцатом, когда прибывший Магеллан нарек эту землю Огненной из-за сигнальных костров, дымившихся вдоль ветреного побережья; группа человеческих существ того времени и той степени развития осталась незамеченной, ведя свою естественную доисторическую жизнь. И они все еще там, уменьшившись в числе из-за контакта с цивилизацией, не в силах справиться со щупальцами современного мира, ухитрившимися проникнуть даже в эти запретные места, вынужденные обитать в жалких лачугах на окраинах городов. Их осталось мало. Создания, бесстрашно встречавшие ветры и снега, не нуждаясь в одежде, не сумели справиться с ходом времени.

Но погибли, несомненно, не все. И это, предчувствовал я, станет ответом на слухи о диком существе: оно окажется аборигеном, отказавшимся терять собственное достоинство и дикую свободу и до сих пор скитающимся, первобытным и нагим, по горам и каньонам. Решение, куда правдоподобнее выдвинутого Смитом, а изучать такой случай не менее интересно. Я полагал, что именно этим Ходсон и занимался все эти годы, но наш директор, никогда не отличавшийся скептическим складом ума, подавленный силой своего восхищения перед бывшим коллегой, дал волю воображению. В связи с Ходсоном он допускал самое невероятное.

Или, возможно, Смит таким образом проверял меня? Не подталкивает ли он меня к тому, чтобы я сделал собственные выводы как будущий глава отдела?

Мысль была интригующей, и мне, конечно, хотелось во что бы то ни стало выдержать экзамен. Ни к чему мне несостоятельные слухи и смутные теории: возможностей, которые таит в себе Огненная Земля, уже вполне достаточно.

Оставалось лишь одно «но». Что подумает Сьюзен о столь спешной и длительной разлуке? Я знал, что она не станет возражать, не из тех она женщин, которые ревнуют мужчин к работе, но расставание, безусловно, расстроит ее. Конечно, и меня не тешила мысль о жизни вдали от нее, но предваряющее путешествие возбуждение смягчало грусть. Тому, кто остается, всегда тяжелее.

Мы еще никогда не расставались. Познакомившись полгода назад, мы уже через две недели обручились — произошла одна

из тех редких и замечательных встреч душ и тел, что, как говорится, предначертаны судьбой. Мы соглашались друг с другом во всем и были блаженно счастливы вместе. Мы уже достигли того возраста, чтобы понимать, что это именно то, чего мы хотим, — и все, чего мы хотим, — и наше будущее не вызывало у нас сомнений. Я знал, что Сьюзен поймет необходимость нашей разлуки, и муки совести по поводу того, что придется сообщить ей, не терзали меня; меня тревожило лишь то, что она огорчится.

Тем вечером Сьюзен приготовила ужин у себя, в небольшой квартирке в Южном Кенсингтоне, где она несколько раз в неделю практиковалась в кулинарном искусстве не ради того, чтобы проложить путь к сердцу мужчины, которым она и без того владела, но движимая восхитительно-старомодной идеей сделаться идеальной женой. Направляясь к ней, уже под вечер, я все еще пребывал в приподнятом настроении, совершенно не придавая значения надоедливой мороси, хотя не замечать дождя я не мог, поскольку чувства мои были обострены и я воспринимал все в мельчайших подробностях. Небо темнело, и уже зажглись фонари, окруженные бледным ореолом. Машин на улицах было много, но двигались они отчего-то почти бесшумно. Прохожие торопились домой с работы, подняв воротники и опустив головы. Они все казались мне одинаково угрюмыми, скучными существами, которые обязательно позавидовали бы моей жизни и моему будущему, моей женщине и моей работе, если бы знали о них. Ах, если бы я мог остановить сейчас какого-нибудь незнакомца и рассказать ему о своих успехах, показать фотографию Сьюзен, и не из тщеславия, а, скорее, из чувства признательности. Впервые на моей памяти мне хотелось рассказать кому-нибудь о себе. Друзей у меня было немного, с большинством я общался лишь по работе и никогда прежде не чувствовал потребности поотровенничать с кем-то. Впрочем, во мне еще никогда не бурлили столь радостные ожидания. Я ускорил шаг, торопясь оказаться рядом со Сьюзен.

У меня был ключ от ее квартиры, и я сам открыл входную дверь, бегом преодолел пару пролетов до ее этажа и вошел. Дома было тепло и уютно, из граммофона лилась причудливая мелодия, исполняемая арфой и флейтой, и я слышал, как Сьюзен позвякивает посудой на крошечной кухне. Секунду я постоял в дверях, наслаждаясь созданной Сьюзен — с великим тщанием, вкусом и совсем недорого — обстановкой и чувствуя, как всегда, когда оказывался здесь, невыразимое, переполняющее душу спокойное довольство. Только сейчас я понял, как буду скучать по Сьюзен.

Моя любимая услышала стук двери и вошла в комнату. На ней было простое черное платье, которое очень нравилось мне, волосы ее падали на плечи, переливаясь всеми красками и оттенками лесного пожара. Улыбаясь, она подошла ко мне, мы поцеловались. Затем она, должно быть, поняла что-то по выражению моего лица, потому что брови ее вопросительно изогнулись.

— Ты выглядишь задумчивым, дорогой.

— Немудрено, я ведь думаю.

— О чем же?

Я шагнул к кушетке. Сьюзен не стала настаивать на немедленном ответе.

— Обед будет через пятнадцать минут, — объявила она. — Шерри?

— Неплохо бы.

Она налила шерри из хрустального графина, подала мне стакан, а потом уселась рядом, подобрав под себя длинные ноги. Я отхлебнул спиртного, и тут кончилась и перевернулась пластинка. Заиграла увертюра «Гебриды»[1].

— Так о чем же? — только теперь заговорила Сьюзен.

— О двух вещах. Во-первых, сегодня я встречался со Смитом. Он особо подчеркнул уход Джеффриса.

— Но это же чудесно, Артур!

— О, ничего определенного. В смысле, он не сказал, что именно я следующим займу его пост, ничего такого.

— Но он явно это подразумевал.

— Да, полагаю, что так.

— О дорогой, я так рада! — Она нежно поцеловала меня. — Знаю, ты на это надеялся. Отпразднуем?

Я улыбнулся — не слишком весело.

— Что-то не так?

— Ну, не то чтобы...

— Но ты чем-то озабочен.

— Что ж, есть еще кое-что.

— Хорошее?

— В некотором смысле. Дело в том, что... ну, я не знаю, что ты подумаешь насчет этого.

Она взглянула на меня поверх ободка своего бокала. Ее зеленые глаза были прекрасны. Она вся была прекрасна.

— Расскажи, — попросила она.

— Мне придется уехать в Южную Америку.

Сьюзен моргнула.

---

[1] *«Гебриды, или Фингалова пещера»* — концертная увертюра Феликса Мендельсона.

— О нет, не насовсем. Просто научная командировка от музея. Чудесная возможность, правда, только это значит, что нам придется какое-то время жить в разлуке.

— Ты ожидал, что я стану возражать?

— Нет, конечно, я ведь знаю тебя.

— Как долго тебя не будет?

Я понятия не имел, но сказал:

— Два или три месяца, полагаю.

— Я буду очень скучать по тебе, милый. Когда тебе нужно отправляться?

— Завтра.

— Так внезапно? Но почему?

— Ну, это причуда Смита. Я с ним не согласен, но возможность все равно изумительная. И мое повышение может напрямую зависеть от того, что я там сделаю.

Сьюзен на минуту погрузилась в размышления, потом улыбнулась. Все в порядке. Она поняла, как я и думал, а противоречивые эмоции боролись в ней лишь несколько секунд, покорившись наконец логике, столь редко встречающейся у женщин.

— Я счастлива за тебя, дорогой. Правда счастлива.

— Это же ненадолго.

— Ты очень взволнован предстоящей поездкой, да?

— Да. Повторюсь, это дивная возможность. Но вот разлука с тобой...

Она махнула рукой, обрывая эту тему:

— Расскажи мне все.

И я рассказал ей об Огненной Земле, о Хьюберте Ходсоне, о недавних сообщениях и моих собственных соображениях. Сьюзен слушала, заинтересованная, потому что это интересовало меня, привыкая к мысли о нашем расставании, уравновешивая их преимуществами, последующими за моим потенциальным продвижением по службе. Потом мы ужинали при свечах, с вином, и Сьюзен была оживлена и весела, как всегда. Я очень любил ее, уже чувствуя боль разлуки, грустную нотку нашего последнего совместного вечера — и легкий трепет новой грядущей встречи после моего возвращения.

Мы перенесли бренди на узкий балкончик, опоясывающий здание, и стояли рука об руку у перил, глядя на темные глыбы домов и ущелья улиц большого города. Над крышами ярко и безвкусно сияли огни аэропорта Западного Лондона. Они напомнили мне о предстоящем полете, делая перспективу более конкретной и непосредственной, и, возможно, то же случилось и со Сьюзен. Став серьезной, она крепко сжала мою руку.

— Господи, я буду так скучать, — вздохнула она.

— Я тоже.

— Но ты не задержишься дольше, чем это необходимо, дорогой?

— Нет-нет.

— Мне будет ужасно одиноко.

— И мне.

Она взглянула на меня и дурашливо нахмурилась, притворяясь глубоко озабоченной.

— Но не настолько, чтобы искать утешения в объятиях другой женщины, надеюсь, — сказала она.

Сказала в шутку, чтобы снять напряжение. Сьюзен знала, что я не хочу никого, кроме нее, и никогда не захочу. Я и представить себе не мог такую ситуацию, чтобы женщина стала для меня главнее работы, но, если бы в тот момент она попросила меня не ехать, я остался бы с ней.

Ах, почему же она не попросила?

II

Я вновь наполнил свой бокал.

Сьюзен к вину не прикоснулась. Я вспомнил, как счастливы мы были в ночь перед моим отлетом, и оттого нынешняя печаль обострилась вдвойне. Стало гораздо хуже, хотя и так было хуже некуда. Официант метнул взгляд в сторону нашего столика, убедился, что мы ничего больше не желаем, и быстро отвел глаза. Мужчина, ужинающий в другой половине зала, вожделеюще пялился на Сьюзен, восхищаясь ее стройными ножками и янтарными волосами, но, когда я зыркнул на него в упор, потупился. Сьюзен без труда найдет себе другого мужчину, стоит ей только захотеть, и от этой горькой мысли меня до костей пробрало холодом, ледяным холодом, так как я знал, что ей не нужно никого, кроме меня, а я не мог жениться на ней. Моя рука дрожала от тяжести бутылки, и сердце дрожало — от тяжести отчаяния.

Сьюзен посмотрела на меня, не поднимая ресниц, — это можно было бы принять за кокетство, если бы глаза ее не были тусклы от горя.

— Что произошло на Огненной Земле, Артур? — спросила она, умоляя дать ответ и надеясь, поняв причину происходящего, справиться с горечью понимания.

Я качнул головой.

Я не мог рассказать ей.

Но я помнил...

Рейс Буэнос-Айрес — Ушуая.

По сравнению со временами Дарвина современные скорости, вероятно, кажутся неправильными и разочаровывающими. Дарвин путешествовал здесь на «Бигле», корабле ее величества, с тысяча восемьсот двадцать шестого по тысяча восемьсот тридцать шестой год, исследуя пролив, на берегу которого расположена Ушуая. И пролив, соответственно, назвали Биглем. А моя дорога от Буэнос-Айреса заняла пять часов, которые я провел, сидя рядом с немолодым американским туристом, мучась мыслью о том, что в городе, где есть аэропорт и куда начинают слетаться праздные любопытные, открывать уже нечего.

А туристу хотелось поболтать, и, пожалуй, ничего, кроме откровенной грубости, не заставило бы его замолчать.

— Летите в Ушуаю? — спросил он.

Я кивнул.

— Я тоже.

Что ж, это, в общем-то, очевидно, поскольку именно туда направлялся наш самолет.

— Меня зовут Джонс. Клайд Джонс.

Его круглое, лощеное лицо точно служило обрамлением гигантской сигаре.

— Брукс.

Джонс протянул мне широкую ладонь. На мизинце его поблескивал рубиновый перстень, на шее висела дорогая камера. Рукопожатие его оказалось весьма крепким. Наверное, он был довольно приятным парнем.

— Вы англичанин? А я янки.

Он замешкался, словно размышляя, а не требуется ли тут еще одно рукопожатие.

— Вы турист? Я турист. Много путешествую, знаете ли. После смерти жены я путешествую все время. Был в вашей стране. Объездил всю Европу. Провел там два месяца прошлым летом, повидал все. Кроме коммунистических частей, конечно. Не хочу туда ехать и дарить им иностранную валюту.

— Совершенно верно, — заметил я.

— Известно ли вам, что эта Ушуая — одна из самых южных обитаемых точек мира? Я хочу посмотреть Ушуаю. Почему — сам не знаю. Потому что она есть, полагаю. Я как покоритель вершин, а? Ха-ха.

Я смотрел в иллюминатор. Позади остались плоскогорья и ледниковые озера севера, местность начинала повышаться, прорастая корявыми горбами гор, извилистые реки мелькали внизу сквозь облака, густые и низкие, как дым от сигары Джонса. Дразнящая, возбуждающая земля, но я был подавлен. Джонса, казалось, вид не интересовал. Полагаю, он не замечал ничего,

что не попадало в объектив его камеры. Он дружелюбно болтал, а меня охватило чувство, что я родился слишком поздно, что ничего нового для открытий не осталось и что всем нам приходится лишь изучать прошлое.

Никто и никогда еще не ошибался так жестоко.

После приземления мрачный настрой почти покинул меня. Аэропорт находился на окраине города, и Джонс уговорил меня взять одно такси на двоих. Он тоже направлялся в «Альбатрос». Такси оказалось огромной американской машиной, моделью современной, как ракета, но отчего-то это не встревожило меня, наверное, потому, что я вступил в контакт с землей. Словно именно автомобиль не вписывался в место и время, а не сама земля изменилась. Джонс, должно быть, тоже ощутил этот анахронизм, потому что примолк и будто со страхом ждал чего-то, возможно ощущая свою чуждость этому пространству, чью душу еще не высосали фотокамеры туристов. Я смотрел из окна, и чем дольше мы тряслись по ухабистым улицам, тем большее возбуждение снова овладевало мной.

Ушуая походила на швейцарскую горную деревеньку, приютившуюся в каком-нибудь фиорде. Островерхие деревянные коттеджи выстроились рядами на крутых склонах, а над ними поблескивали ледники на вершинах, впечатляющие и бесстрастные. Дальше к западу вздымался к низким облакам пик Дарвина. Неожиданно такси затормозило, да так, что меня швырнуло вперед. Мы остановились позади сгорбившегося под пончо мужчины на лошади. Лошадь сонно брела посреди дороги. Наш водитель загудел, но всадник никак не отреагировал — согнувшись еще больше, он продолжал двигаться собственным неторопливым аллюром. Шофер злобно и беспомощно выругался, с горя дал газу, так что движок дико взревел на холостых оборотах, и развел руками. Я был счастлив.

Наконец такси остановилось у «Альбатроса», и мы вышли. Пронизывающий ветер кружил по улицам. Давно перевалило за полдень. Джонс настоял на том, чтобы самому оплатить проезд, и отмахнулся от моих протестов, заявив, что позже я могу поставить ему выпивку. Он поеживался в своем костюмчике от братьев Брукс. Нам пришлось самим тащить багаж к стойке, а после регистрации я сразу поднялся к себе в номер, пока Джонс оглядывался в поисках мальчишки-носильщика или лифта. Я был благодарен за шанс побыть одному и остался доволен комнатой. Пусть и примитивная, она оказалась вполне приемлемой, хотя сомневаюсь, что Джонса устроили такие удобства.

Умывшись и побрившись без горячей воды, я подошел к окну. Смеркалось, и я решил, что уже поздно звонить Гардинеру.

Это не расстроило меня. Я собирался больше следовать собственной теории, чем домыслам Смита, и если и стремился встретиться с Ходсоном, то в основном потому, что он был выдающимся ученым в моей области науки, а не оттого, что он мог оказаться звеном в неправдоподобной цепи измышлений директора. Я решил провести остаток дня, бродя по городу, пропитываясь атмосферой Ушуаи, обретая, так сказать, точку опоры к постижению этой земли.

Я взгромоздил свой чемоданчик на кровать, открыл его, достал и надел теплое пальто, сунул в карман карандаш и блокнот и покинул номер. По пути мне пришлось пройти мимо входа в бар, и я заглянул внутрь. Джонс уже обосновался там, фамильярно беседуя с барменом. Он меня не заметил. На улице было холодно и сыро, порывистый ветер с юга усиливался. Я поднял воротник, закурил под прикрытием здания и зашагал по улице. Ветер раздувал мою сигарету, пока она не запылала, точно фитиль, разбрасывая по сторонам искры, когда я поворачивал голову.

У меня была карта города, но я не стал ее разворачивать. Не намечал я и точного маршрута, а просто шагал в направлении порта, по крутым улочкам, мимо зданий торговых компаний, снабжающих весь район, навстречу мощному ветру. Автомобили и запряженные лошадьми повозки делили улицу с разношерстным населением многих национальностей, выходцами из разных стран: Англии, Испании, Югославии, Италии, Германии; в приграничных полосах неизменно скапливается подобная расовая смесь, тут встречаются колонизаторы и конкистадоры, моряки и поселенцы, фермеры и пастухи, нищие, переболевшие золотой лихорадкой, и бродяги, ускользнувшие с нефтяных месторождений севера, тот, кто пришел искать, и тот, кто бежал туда, где его не найдут, и, конечно, парочка туристов, раздраженных, чувствующих себя неуютно и дивящихся, какого черта их занесло сюда. Воистину, социальный антрополог пришел бы в восторг, но, увы, это не моя сфера, и я лишь мельком разглядывал тех, кто решил поселиться здесь. Меня интересовали те, кто жил тут задолго до того, как сюда явился кто-либо, а в городе осталось очень немного местных. Их притянуло к этому форпосту цивилизации, но с ядром они не слились, а остановились, скопившись на окраинах.

Стоя на набережной, я вглядывался в тяжелые воды пролива Бигля и пустынные острова, маячащие в тумане. По океану ломаными черно-белыми полосами катилась зыбь, и одинокий ястреб безмятежно парил в воздушных потоках. Человек, почти невидимый под древним кожаным плащом, вел прямо на меня навьюченную ламу, так что я вынужден был отступить от пара-

нета. Мужчина не заметил меня, хотя животное, бредя мимо, скосило любопытный глаз в мою сторону.

Я зашагал обратно, вверх по склону. Зимнее пальто защищало от холода, но ветер проникал сквозь ткань и ерошил волосы. Ощущение не из неприятных, так что меня пока не тянуло вернуться в отель. Я двинулся в другую сторону, удаляясь от центра города.

Ночь уже залила черной краской небо за помрачневшими тучами, когда я обнаружил, что оказался в конце современного мира — на окраине Ушуаи. И явственно ощутил, что стою у барьера. Позади меня сверкал электрическими и неоновыми огнями город, но границы освещенной области прорисовывались четко. Сюда, в этот неровный многоугольник, пробилась цивилизация, но слой ее тонок, корни слабы и ненадежны, она подобна еще не прижившемуся саженцу. Передо мной земля будто разламывалась, то взмывая вверх, то рушась вниз, иззубренная, голая, усеянная гроздями лачуг из листового железа, размалеванных ярчайшими цветами: оранжевым, желтым, красным. Ржавые трубы бодро дребезжали на ветру, из них узкими плоскими лентами тянулся дым. Керосиновые лампы тщетно силились рассеять мрак за дверными проемами, где-то во тьме двигалось несколько смутных силуэтов.

Значит, вот где живут местные. Сюда их увлекло, и здесь они остановились — те, кто капитулировал. А за пределами этой полосы, возможно, есть те, кто не дал себя притянуть магниту времени.

Не торопясь я вернулся в гостиницу, лег в постель, уснул, и спал хорошо.

III

Проснулся я утром от резкого холода. В прямоугольник окна врывался яркий свет. Я быстро оделся и подошел к окну, ожидая увидеть солнце, но свет сочился сквозь сплетение туч, затянувших все небо. Улицы, лишившись теней и контрастов, выглядели до странности нечеткими, а день казался еще холоднее, чем был в действительности. Прежде чем спуститься к завтраку, я надел еще один свитер. В зале больше никого не было. Недавно разожженный камин пока не изгнал из помещения холод, и долго смаковать кофе настроения не было. Хотелось послать телеграмму Сьюзен, известить ее о том, что я прибыл благополучно, а потом надо связаться с Гардинером. Я уже уходил, ко-

гда появился Джонс, осунувшийся и какой-то изможденный. Он улыбнулся мне чисто механически.

— *Вы еще не пробовали писко? — спросил он.*

Я не знал, что это такое.

— Здешняя бурда. Виноградная водка. От нее жуткое похмелье, клянусь честью.

Он затряс головой и рухнул в кресло. Я ушел, пока он заказывал черный кофе, размышляя, удалось ли ему ночью выбраться из местного бара. И все же на свой манер он узнает об этом городе то, что мне узнать не придется.

Я дошел до телеграфа, отправил сообщение Сьюзен, закурил первую за день сигарету и зашагал обратно к гостинице. На проводах, на равном расстоянии друг от друга, сидели, точно курицы на насесте, три ястреба, и мне в голову пришла забавная мысль — а известно ли им о моем послании, текущем сейчас под их когтями? У отеля остановилось, высаживая пассажира, такси, и я спросил водителя, не знает ли он, где живет Гардинер. Он знал, и я забрался на заднее сиденье, чтобы спокойно курить и смотреть в окно. Мы проехали мимо древнего индейского кладбища по свежему шуршащему песку утренней дороги, мимо кладбища, заваленного растрескавшимися шинами и побелевшими выхлопными трубами, ясным днем, когда жизнь так и переполняет тебя.

Большой дом Гардинера приткнулся к леднику и казался почти двумерным силуэтом. Я сошел с дороги, и Гардинер распахнул дверь прежде, чем я постучал. Он был в красном шерстяном халате, со стаканом в руке.

— Вы, верно, Брукс.

Я кивнул.

— Смит предупредил меня о вашем появлении. Хотя я ждал вас еще вчера вечером.

— Я приехал довольно поздно.

Он отступил, впуская меня. Гардинер еще не побрился, а руки его так тряслись, что джин-тоник едва не выплескивался на пол. Мы прошли в просторную комнату, в которой, как ни странно, не оказалось никакой мебели. Зато на стене висело ружье, покрытое искусной гравировкой, а у камина лежала ковром овечья шкура.

— Надеюсь, что не помешал вам, — сказал я.

— Вовсе нет. Рад помочь, чем смогу. И рад компании. Джин, бренди?

— *Еще слишком рано.*

— Чепуха.

Он протянул мне джин и сел у огня.

— Смит говорил, что вы очень помогли нам в прошлом, — начал я.

— Я не ученый, но, полагаю, об этом месте мне известно не меньше, чем остальным, а то и больше. Провел тут тридцать лет. Теперь здесь особо заняться нечем. Малость охоты и море выпивки. В прежние дни все было по-другому, до того как земельные реформы изничтожили компанию. — Он покачал головой, но не факт, что осуждающе. — Но вас, пожалуй, интересует не это.

— Да, я больше интересуюсь здешними уроженцами.

— Ну конечно. — Он с задумчивым видом снова покачал головой. — Когда явились белые, тут было три племени. Алакалуфы, яганы и онасы. — (Я все это знал, но слушал внимательно.) — Это были абсолютно доисторические, голые дикари. И наверное, очень счастливые. Они не понимали белых и не доверяли им. И правильно делали. Когда они опрометчиво украли парочку овец у белых, белые, естественно, пристрелили парочку дикарей. Вреда тут, признаться, немного. Но потом пришли просвещенные белые. Миссионеры. Они явились, пыша жаром реформ, и увидели незадачливых овечек Господних, разгуливающих в непристойном неглиже, как у них повелось отроду, и подарили им одеяла — для тепла и соблюдения скромности. Одеяла не были продезинфицированы, так что они заодно подарили индейцам чуму. Вымерли все онасы и большинство остальных. Но зато как-никак они перестали бегать нагишом, не так ли?

Гардинер вздохнул и налил еще джина.

— Вы остановитесь здесь? — спросил он.

— Я уже поселился в гостинице.

— А... — (Думаю, он обрадовался бы гостю.) — Что ж, тогда чем я могу помочь?

Я рассказал ему о слухах и письмах и о предположениях Смита. Гардинер кивнул. Он и сам, конечно, слышал все это.

— Как думаете, здесь что-то есть? — поинтересовался я.

— Что-то должно быть. Все слухи основываются на каком-либо факте. Но сомневаюсь, что отыщется что-нибудь интересненькое. Ничего такого, что допускает Смит. Я раньше не видел ничего подобного, и не слыхал тоже, и кабы оно существовало, то наверняка было бы уже открыто. Или хотя бы оставило какие-то свидетельства своего существования.

— Вот и я так считаю.

— Я подумывал о дикой собаке или, возможно, о человеке — хотя бы беглеце-каторжанине, заживщем дикарем.

— Это объяснило бы мертвых овец. Но как насчет того мужчины, который утверждал, что видел это существо? Ну, о котором вас спрашивал Смит.

— Грегорио. Да. Конечно, когда я отвечал на телеграмму Смита, я не знал, отчего его заинтересовал Грегорио. Решил, что он замыслил использовать его как проводника, на Грегорио в таких делах можно положиться. Но раз речь идет о том странном создании... — Гардинер сделал паузу, словно обдумывая вопрос со всех сторон. — Что ж, полагаю, он видел что-то, до чертиков напугавшее его, но, уверен, оно не было тем, о чем он подумал. Он парень суеверный и с богатым воображением, и, уверен, на своей истории он наживаться не планировал, так что вероятность того, что он все выдумал, мы можем отмести сразу.

— Мне хотелось бы поговорить с ним.

— Вреда от этого не будет.

— Вы знаете, где его можно найти?

— Знаю. Он живет в хибаре к западу от города. Наскребает на жизнь, подряжаясь помощником фермера или проводником туристов, которые как раз стали удостаивать нас своим посещением. — При мысли о туристах Гардинер содрогнулся. — Он сносно говорит по-английски. Кстати, я не стал бы обещать ему много денег, а то он решит, что должен вам захватывающую историю, и все приукрасит.

— Кого еще мне следует повидать?

— Можете потолковать с Макферсоном. У него тут неподалеку небольшое хозяйство. И пару его овец прикончили. В том, что касается достоверности, он не чета Грегорио.

Фамилию Макферсона я встречал в сообщениях, полученных Смитом.

— Где мне его найти?

— А он как раз сейчас в городе.

— Отлично. Где именно?

Гардинер налил себе еще джина.

— Где ж ему быть? — хмыкнул он. — В баре «Гранд-Парка». Я сам отвезу вас и познакомлю с ним, если хотите.

Гардинер, изрядно рисуясь, вел древний «паккард». Когда мы, тяжело громыхая, въезжали в город, я спросил его о Ходсоне.

— Ходсон? Не видел его много лет.

— Смит, кажется, уверен, что он все еще здесь.

— О, он тут. Но никогда не появляется в Ушуае.

— Не представляете, где он живет?

— Понятия не имею. Он нелюдим. — Похоже, чья бы то ни было замкнутость вызывала у Гардинера презрение. — Торчит где-то в горах. Может, Грэму известно больше. Он управляет торговой компанией, и, думаю, Ходсон закупает там припасы. Но никогда не является за ними лично.

— Если бы вы представили меня Грэму...

— Естественно.

Гардинер сосредоточился на дороге, вцепившись в руль обеими руками. На нем были шоферские перчатки с раструбами и твидовый картуз. Мы одолели крутой подъем, и тут дорогу нам перекрыла медленно шагающая в нашу сторону лошадь со всадником. Мне показалось, что мы едем до ужаса быстро. Я закричал, предупреждая Гардинера, но тот уже действовал — мгновенно сбросил скорость, резко переключив передачу, так что двигатель взвыл. Он не ударил по тормозам, не стал гудеть и едва шевельнул рулем. Всадник натянул повод, отводя лошадь в сторону, и перед моим окном мелькнул бок животного. Вспомнив затруднения таксиста, я решил, что Гардинер пользуется тут доброй славой.

— Естественно, представлю, — повторил Гардинер.

Мы уже подъехали к торговому дому и затормозили у входа. Старый «паккард» бежал значительно лучше, чем останавливался. Он покачнулся, как усталая скаковая лошадь, отказывающаяся прыгать через барьер. Гардинер первым вошел в огромное здание, беспорядочно загроможденное всевозможнейшими товарами и продуктами. Грэм оказался седым, словно покрытым пылью, коротышкой, стоящим за пыльным деревянным прилавком, и, когда Гардинер представил нас, он сказал:

— Бе-е.

Полагаю, я выглядел удивленным.

— Местное приветствие, — пояснил Гардинер. — Как-то связано с овцами, полагаю.

— Точно, — буркнул Грэм. — Бе-е.

— Бе-е, — кивнул я.

— Брукс пытается выйти на Ходсона. Он еще закупается у тебя?

— Точно.

— Вы знаете, где он живет? — спросил я.

— Не-а. Не видел его. Вот уж три или четыре года.

— Как же он доставляет себе припасы?

— Он не доставляет. Посылает за ними человека.

— Хорошо, а вы не знаете кого-нибудь, кто мог бы отвести меня к нему?

Грэм почесал в затылке:

— Как-то так сразу никто в голову не приходит. Смешно. Думаю, лучше всего будет дождаться человека, который приедет за товаром.

— Меня это устраивает. Хотелось бы поговорить с ним в следующий раз, когда он придет сюда.

— Не поговорите.

— Э?

— Не поговорите. Он немой.

Я ощутил разочарование. Гардинер ухмылялся. Потом спросил:

— А часто он появляется?

— Ага. А как иначе. Дело-то в чем: лагерь Ходсона, или что у него там, где-то высоко в горах. Может, на чилийской стороне. Там дорог нет, так что приходится возить груз на вьючных лошадях. А на спину лошаденке много не взвалишь, вот он и спускается каждые пару недель. Сейчас со дня на день может приехать, между прочим.

— Не могли бы вы дать мне знать, когда он объявится?

— Ну а то.

— Я остановился в «Альбатросе».

— Угу.

— Я буду рад...

— Не обязательно, — фыркнул Грэм, предвидя предложение денег. — Если вам самому понадобятся припасы, какие угодно, купите их здесь.

Об этом-то я и не подумал.

— А что мне понадобится, чтобы добраться до Ходсона?

— Сложно сказать, я ж не знаю, где он. Ну, лошадь нужна, вьюк. Я подготовлю для вас кое-что, если хотите. Пусть лежит, пока не прибудет человек Ходсона.

— Это было бы замечательно.

Я не был уверен, что это будет замечательно. На лошади я не сидел много лет, но какая-то скрытая гордость вступила в моей душе в сомнительную борьбу с тягой попросить подыскать мне смирную кобылку. Гордость победила. Полагаю, общение с самоуверенными переселенцами не прошло для меня даром.

Мы вернулись к машине.

— Подъем в горы весьма труден, — предупредил Гардинер, заведя двигатель, но оставив его пока работать вхолостую. Возможно, на моем лице отражались сомнения. — Надеюсь, вы хорошо управляетесь с лошадью?

— Я ездил верхом, — сказал я. — Когда-то.

— Лучше всего позволить вьючной лошади самой выбирать дорогу. Здешние животные умны и выносливы.

— Ну, худшее, что может со мной случиться, — я упаду.

Гардинер был шокирован.

— Джентльмен никогда не падает, — провозгласил он. — Его сбрасывают.

И с радостным хохотом тронул машину.

Макферсона в «Гранд-Парке» не было.

Это безмерно расстроило Гардинера, ненавидевшего ситуации, когда люди ведут себя нехарактерно, а также когда его

предсказания оказываются неточны. Впрочем, мы нашли его в следующем же баре дальше по улице, так что случай оказался не столь уж непростительным. Макферсон был классическим рыжим шотландцем, как ни банально это звучит. Он облокотился на стойку, беседуя со злодейского вида мужчиной с висльми усами и в отличных сапогах явно ручной работы.

Гардинер потянул меня в дальний конец бара:

— У них деловой разговор. Подождем здесь, пока он не закончит.

— Какой примечательный тип!

— Мак?

— Нет, другой. Похожий на мексиканского бандита.

Гардинер хмыкнул:

— Весьма традиционен, а? Он югослав. Вольный торговец.

— В каком смысле?

— Контрабандист. Курсирует отсюда до Рио-Гранде через перевал Гарибальди. Парень весьма уважаем в своей среде, насколько я понимаю. Но я, конечно, не стал бы иметь с ним дела. — Гардинер выглядел довольным.

Бармен-испанец поднялся, запустил кружку вдоль стойки, и Гардинер заказал джин с тоником, взглянув вначале на часы, чтобы убедиться, что время переключаться на послеполуденный виски еще не пришло. Полагаю, он жил, соблюдая строгие правила — во всем. Бармен поставил перед нами стаканы и вытер руки той же тряпкой, какой он только что протирал стойку.

Гардинер провозгласил:

— Будем здоровы, — и сделал огромный глоток.

Я не привык пить так много, тем более с утра, так что отхлебнул с опаской. А Гардинер пил быстро. Я видел, что Клайд Джонс вписывается в здешнее общество с куда большим удовольствием — и успехом, — чем я; видел, что мое первое впечатление было поспешным, грубым и односторонним. Но я воспротивился искушению пить быстрее.

Наконец югослав удалился, гордо звеня шпорами, и мы пересели к Макферсону. Гардинер представил нас друг другу, и я заказал фермеру выпивку. Он пил скотч, но, думаю, его правила поведения объяснялись скорее национальностью, чем распорядком дня.

— Давно здесь живете? — спросил я.

— Слишком давно, — ответил Макферсон. Потом пожал плечами. — Ничего, жизнь тут не так уж плоха. Все путем.

— Брукс интересуется той тварью, что прикончила твоих овец, — вставил Гардинер.

— Да?

— Прилетел сюда из Лондона, специально чтобы провести расследование.

— Мне казалось, тут не слишком много хищников, не так ли? — заметил я.

— Ну, всякие лисы, ястребы и все такое. Ничего подобного прежде не случалось.

— Любопытное дельце, судя по тому, что я слышал.

— Вот именно.

— И что вы об этом думаете?

Он погрузился в размышление, потребовавшее нескольких минут — и нескольких глотков скотча; лоб шотландца избороздили морщины.

— Ну, это не серьезно, правда. Убыток небольшой. Потерял полдюжины овец, и только. Но то, как они были убиты, — вот что меня тревожит.

— И как же?

— Разодраны в хлам. Изуродованы. Разорваны глотки, проломлены черепа. Никогда не видывал ничего подобного. Тот, кто сотворил такое, не только силен, но и жесток. А загадочнее всего то, что мои собаки оказались беспомощны.

Гардинер щелкнул пальцами, заказывая новую круговую, и Макферсон, кажется, снова глубоко задумался в ожидании, когда бармен принесет стаканы.

— Вы пытались отыскать хищника?

— Конечно. Один раз едва не поймал его. Вот тут-то и начинается самое странное. Примерно месяц я выслеживал его. Носил с собой ружье, водил четырех собак. И что же, натыкаемся мы на только что убитую овцу. Мертва всего пару минут, не больше. Туша в клочья, еще дымится. Я спустил псов, они залаяли, зарычали, принялись обнюхивать все вокруг, напали на след и кинулись за тварью. Земля там каменистая, сам я следов не видел, но собаки точно шли по ним. Я — за псами, пара сотен ярдов — и мы у оврага. Ну, решил я, тут-то он и попался. Но собаки вдруг застыли как вкопанные, отчего, почему — не понять, но они вдруг как заскулят всей сворой, как примутся пятиться, поджав хвосты! У меня аж волосы дыбом встали, точно говорю. Псы кинулись назад так быстро, что едва не опрокинули меня, и, подвывая, прижались к моим ногам. Странное это чувство, знаете ли. Я уж и пинал их, и бил, но будь я проклят, если мне удалось заставить их войти в этот овраг. Даже когда я сам подошел к краю, они не последовали за мной. Я огляделся, прошелся вдоль оврага туда-сюда, да только что толку — на дне лощины густая трава, кусты, стенки — сплошь камень, так что найти убийцу овец без собак было совершенно невозможно. Но я уверен, он сидел там, выжидал.

Макферсон помолчал немного, словно колеблясь.

— Честно говоря, я побоялся спускаться туда за ним.

Шотландец явно был не из тех, кто боится чего-либо.

— А в последнее время что-нибудь случалось? — спросил я.

— Да нет, не то чтобы... Но тварь все еще где-то там, черт ее побери. Я пробовал ставить капканы, начинил отравой одну из туш, но все без толку. Хитрая бестия. Мне даже кажется, ну, знаете, как это бывает, что все время, пока я готовлю ловушки, убийца овец следит за мной.

— Может быть, это дикая собака или нечто подобное?

— Сомневаюсь. Никакая собака не нагнала бы такого страху на мою свору. И никакой собаке не удастся так проломить овцам черепа. Никакой собаке из тех, что я видел.

— А человеку?

— Возможно. Я думал об этом. Индейцы время от времени таскают овец. Но воруют они, чтобы есть. А эта тварь просто кромсает туши и бросает где попало. Может, и сжирает пару кусков, но трупы так искалечены, что точно сказать нельзя. Вот так-то.

— Мало кто из зверей убивает только ради удовольствия, — заметил я. — Росомаха, иногда леопард... и человек, конечно.

— Если это и человек, то он безумен.

Теперь Макферсон заказал круговую. Один стакан я все еще держал в руке, два других ждали на стойке бара, и я чувствовал, что скоро буду не в состоянии проводить какое бы то ни было расследование.

— Нельзя ли мне будет пожить у вас, если я сочту необходимым начать поиски этого монстра? — спросил я.

— Можно, конечно. Не знаю, удастся ли вам его найти, но я помогу, чем смогу. И провожу вас. Вам самому мое жилище нипочем не найти. Оно в горах к западу отсюда, туда нет дорог, и карты еще не прорисованы. Я даже не уверен, в Чили я или в Аргентине.

— Мне сперва нужно доделать кое-что, — объяснил я. — Еще не знаю, придется ли мне воспользоваться вашей гостеприимностью.

— Надеюсь, вы сцапаете ублюдка. Какое у вас ружье?

Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осмыслить вопрос.

— Я приехал не для того, чтобы застрелить его.

Макферсон заморгал:

— Тогда какого черта вы собираетесь делать?

— Это зависит от того, кем он окажется.

Шотландец хмыкнул. Затем заговорил серьезно:

— Что ж, это не мое дело, но, если вы хотите найти его, ружье лучше иметь при себе.

— Но он ведь не нападает на людей?

Макферсон пожал плечами:

— Ты не видел тех овец, сынок. А я видел. Поверь мне, ружье тебе пригодится.

Нельзя не признать — слова его и тон, которым он их произнес, произвели на меня должное впечатление.

Полдень миновал, и Гардинер переключился на виски. Макферсон его поддерживал. Мы не закусывали, а Гардинер с Макферсоном, кажется, вознамерились провести весь день в баре. Я выпил более чем достаточно, и в следующий раз бармен принес мне кофе вместо скотча. У стойки толпилось еще несколько посетителей, они пили и разговаривали. Я едва замечал их, думая лишь о рассказе Макферсона. История, по существу, была той же самой, что и в сообщениях, но услышать ее лично и увидеть человека, изложившего ее, — это совсем другое дело, чем читать письмо в серой безопасности Лондона. Скептицизма во мне поубавилось, я готов был поверить практически во все, что угодно. Возможно, алкоголь подстегнул мое воображение и уж точно распалил нетерпение и жажду докопаться до сути загадки. Теперь я был убежден, что нечто очень странное действительно рыщет в здешних почти неприступных горах, и не желал больше понапрасну терять время в баре.

— Сейчас удобно повидаться с Грегорио? — поинтересовался я.

— Хоть сейчас, хоть когда, — ответил Гардинер.

— Если бы вы указали мне...

— Я отвезу вас туда. Это недалеко.

Перспектива покинуть бар явно расстроила его.

— Это не обязательно. На самом деле я с радостью прогуляюсь, подышу свежим воздухом, проветрюсь.

— Вы уверены?

— Абсолютно. Кстати, заодно и огляжусь. Скорость вашей езды лишает меня такой возможности.

Гардинер рассмеялся. Он уже был основательно под градусом. Макферсона алкоголь, казалось, вообще не брал. Я вытащил блокнот, чтобы записать адрес, но Гардинер снова захохотал, и, когда он приступил к объяснениям, я понял почему. Его указания были четки, но несколько необычны. Грегорио жил в третьей оранжевой хижине на западной окраине города. У лачуги под жестяным навесом должен стоять серый конь. Навес зеленый, конь выхолощенный. Данный метод определения мес-

тоположения наверняка был куда точнее, чем названия улиц и почтовых округов, которыми огорошивают спрашивающего направление приезжего в Лондоне.

Я допил кофе.

— Еще стаканчик на посошок? — предложил Гардинер.

— Спасибо, в другой раз. Вы будете здесь?

— Несомненно.

Я повернулся к выходу и увидел входящего в бар Джонса, в лиловой безрукавке и с улыбкой на устах. Похоже, он излечился от похмелья, залив душу рюмкой-другой сильнодействующего лекарства.

— Привет, Брукс. Выпьете?

— Сейчас не могу. У меня дело.

Он опешил. Обладая чисто американским дружелюбием, он был сейчас очень одинок. Я представил его Гардинеру и Макферсону, и он энергично пожал им руки.

— Ваши приятели живут здесь? Дивное место, да.

Джонс заказал выпивку и легко влился в компанию. Я чувствовал себя обязанным подождать пару минут, чтобы не оставлять его с незнакомцами, но это оказалось излишним. Он отлично вписался. Когда я уходил, Гардинер рассказывал ему, что на самом деле территорией управляет компания «Эксплотадора» и как она дает указания губернатору, а Джонс соглашался, что правление частных предприятий намного превосходит подход демократов и коммунистов.

Я выбрался за пределы города.

Встер здесь, в отсутствие стен крепких городских зданий, усилился. Мимо проскакал pasajero[1], ведя в поводу вьючную лошадь, нагруженную, кажется, всем его имуществом, в сопровождении своры паршивых дворняг. Хибары стояли по обе стороны дороги, чудовищно яркие и громыхающие на ветру железом. В дверных проемах и на перекошенных крылечках сидели на корточках индейцы. Обветренные, словно выдубленные на солнце, скрученные как жгуты, они апатично провожали меня взглядами — без всякого интереса, просто реагируя на движение, точно так же, как следили за обрывком газеты, танцующим на ветру; угрюмые, равнодушные и непонимающие, возможно чувствующие, что их изменившаяся жизнь неестественна, но не осознающие своего поражения. За лачугами паслось, отвернувшись от ветра, несколько овец, безмятежных и вечных. Овцы эти, быть может, являли собой единственный мостик между настоящим и прошлым.

[1] Путешественник *(исп.)*.

Грегорио сидел на сучковатой колоде возле своих дверей, куря трубку. Чем он ее набил — черт знает. На нем было пончо с грубо пришитым капюшоном, затеняющим лицо. Как ни странно, руки Грегорио выглядели необычайно изящными, несмотря на ороговевшие мозоли, пальцы были тонки и подвижны. Он подозрительно уставился на меня. Что ж, Грегорио имел достаточно опыта в общении с цивилизацией, чтобы встревожиться, в отличие от индейцев, смотревших тупо и безразлично.

— Ты Грегорио? — спросил я.

Голова под капюшоном опустилась.

— Говоришь по-английски?

И снова кивок.

Я присел на корточки рядом с ним:

— Меня зовут Брукс. Мне хотелось бы поговорить с тобой пару минут, если ты можешь уделить мне время.

Никакой реакции.

— Я заплачу не скупясь.

Он опять кивнул, и я начал сомневаться, действительно ли он говорит по-английски.

— Это насчет существа, которое, по твоим словам... которое ты видел в горах.

Грегорио поежился под своим пончо, и капюшон откинулся. У него были черные, даже на вид жесткие как проволока волосы и лицо, подобное корнуолльскому фермерскому дому, — мрачное и серое. Но в глазах горел разум и, возможно, что-то еще — уж не страх ли?

— Bestia hombre[1], — произнес он хрипло.

И я, глядя в его лицо, ощутил внезапную уверенность в том, что этот человек не мошенник и не притворщик. Он видел что-то, и это что-то было действительно ужасным.

Я вытащил из кармана листок чековой книжки и протянул ему. Он взял бумагу, даже не взглянув на сумму, ибо гордость его давно покорилась необходимости. Взял — и скомкал в кулаке.

— Расскажи мне, что ты видел.

Он медлил.

— Этого достаточно?

Он презрительно шевельнул рукой с чеком:

— Этого достаточно. — По-английски он говорил на удивление чисто, со слабыми северо-американскими интонациями. — Но воспоминания не из приятных, сеньор.

Он затянулся, так что на месте тощих щек образовались глубокие впадины. Я понимал, что он собирается не только с мыслями, и нетерпеливо, с тревогой ждал.

---

[1] Зверочеловек *(исп.)*.

— Когда я рассказал им, они не поверили мне, — сказал он, скосив глаза в сторону города. — Они смеялись. Они думали, я видел то, чего не было.

— Я тебе верю.

Взгляд его вновь вернулся ко мне.

— Я прибыл из Лондона, чтобы поговорить с тобой, и найти то, что ты видел.

— Ты станешь искать это? — выдохнул он, не в силах осознать, что кто-либо добровольно возьмется за поиски существа, которое он видел — или считал, что видел. Любопытная смесь недоверия и уважения читалась на его лице.

— Да. И я найду, если ты мне поможешь.

— Помогу?

— Расскажешь то, что сможешь вспомнить.

— Я расскажу, да.

— Когда ты видел это существо?

— Несколько недель назад. — Он пожал плечами. — У меня нет календаря.

— Ты был в горах?

Он кивнул и посмотрел на запад. Местность в той стороне постепенно повышалась, и тучи, казалось, накренились, чтобы встретиться с далекими горами. Грегорио уставился вдаль. И так, не глядя на меня, начал говорить. Чужие английские слова звучали из его уст как музыка, но музыка невеселая — трагическая увертюра, предваряющая мрачную тему.

— Я искал работу на овечьих ранчо. У меня был конь и две собаки. — Он выбил трубку, постучав ею о зеленую стену жестяной хибары. — Конь вот. А собаки... — Он замолчал, по-прежнему не оборачиваясь, и я увидел, как напряглись жилы на его шее. — Собаки бежали за мной. Они радовались, оказавшись далеко от города, в горах. Это были хорошие собаки. Особенно один пес, очень смелый, очень сильный. Его звали Эль Роджо. Не породистый, но верный. Он был моим много лет, хотя мне предлагали за него кучу денег.

Он снова умолк. Руки его беспрестанно двигались. Потом он вроде как пожал плечами, хотя плечи его на самом деле не шевельнулись.

— Мы ехали по узкой тропе между деревьями. Деревья сухие, вывернутые с корнями из-за великого ветра. Ветер выл очень громко, и лошадь звонко цокала копытами по камням. Наступала ночь. Не знаю, который был час, у меня нет часов. Но пора было ставить лагерь, и я искал место. Свернул с тропы, оказался среди темных деревьев. И вдруг — шума нет. Как перед бурей эта тишина. Но никакой бури, небо ясное. Это было что-то другое. Что-то нехорошее, я знал. И собаки знали. Одна

оскалила, а у Эль Роджо шерсть на загривке встала дыбом. Я чувствовал, как дрожат между моими коленями бока мерина. Всеми ногами чувствовал, и глаза у него стали белыми, ноздри расширились. Я бил его пятками, но он не шел.

Наконец Грегорио повернулся ко мне. Ужас до неузнаваемости исказил его лицо. Он заново переживал те моменты, и, возможно, тогда он выглядел точно так же. Едва ли он сейчас осознавал мое присутствие, взгляд его был обращен в прошлое.

— Потом я услышал звук. Рычание. Совсем не собачье. Предупреждение, может, вызов. Не знаю, что это было. Я повернулся на звук и увидел его. Он был в зарослях, но я видел ясно. Я смотрел на него, он — на меня. Мы изучали друг друга. Я не мог шевельнуться, горло перехватило. Хребет сковало льдом. Он был невысок. Наклонился вперед, руки длинные. Широкая грудь, тяжелые плечи. Много густых волос, а там, где волос нет, кожа темная. Некоторое время мы ничего не делали, потом он снова издал звук. Задняя часть туловища приподнялась, словно он напряг хвост. Но хвоста у него не было. Под ним на земле что-то лежало. Думаю, овца. В шерсти, красное от крови, и у него рот был красным. С зубов тяжело капала кровь. Но это были зубы. Не клыки зверя, зубы. И взгляд все это время не отрывался от меня. Взгляд человека...

Произнося это, Грегорио смотрел мне прямо в глаза. Его трубка потухла, но зубы полукровки все равно крепко стискивали чубук. Я не шевелился, боясь разрушить чары памяти, сковавшие его, и веры, охватившей меня.

— Я хотел убежать от него, но коня переполнил страх. Он не поскакал бы. И я тоже застыл. Только Эль Роджо был достаточно смел. Он ничего не боялся, этот пес. Он кинулся к твари. Вторая собака была не так храбра. Она побежала. Увидев это, конь опомнился и поскакал. Он бежал скорее, чем мог. Скорее, чем может бежать любая лошадь. Я знаю лошадей. Всю свою жизнь я езжу на лошадях и этого мерина знаю хорошо. Но, сеньор, я не мог остановить его, как не могу остановить ветер. Да мне и не хотелось.

Он снова обращался ко мне, и я решил, что история окончена. Но Грегорио опустил голову и заговорил снова, гораздо тише.

— Но я смотрел назад, — сказал он. — Я не мог отвести взгляд от этого существа. Я видел, как мой пес припал к земле. Он зарычал и оскалил клыки, и тогда тот двинулся к собаке. Эль Роджо оказался недостаточно быстр. Или тварь слишком быстра. Они сплелись и упали оба, и я больше ничего не видел. Но я слышал, что случилось. Слышал крик пса, крик боли и смерти. Сперва громкий, потом не такой громкий, а потом

я больше не слышал собаку, я слышал ту тварь. Звук был другой, не тот, что раньше. Гораздо ужаснее. Худший звук из всех, что доводилось слышать человеку. Я ничего не мог сделать. Конь не останавливался долго, а когда наконец остановился, я дрожал больше, чем он. Я думал о псе. Я любил эту собаку. Но я не вернулся.

Грегорио замолчал. Он выглядел изможденным, как после тяжелой работы. Кулак с чеком он так и не разжал. Прошло несколько минут, прежде чем он поднял голову.

— Вот что случилось, — сказал он.

— Ты представляешь, что это могло быть?

Он пожал плечами.

— Может, какое-то животное? Животное, которого ты раньше не видел?

— Это был человек.

— Ты сказал, было темно...

— Света было достаточно.

— Значит, человек. Индеец?

Он терпеливо качнул головой:

— Человек и зверь. Зверочеловек. Человек, какого никогда еще не бывало.

Человек, какого никогда еще не бывало? Или все же бывало?

Потом я ушел. Сказал, что, возможно, захочу еще раз поговорить с ним, и Грегорио пожал плечами. Он снова набил трубку, и когда я оглянулся с дороги, он сгорбился, сидя на колоде, точно так же, как когда я пришел. История произвела на меня глубочайшее впечатление. Я поверил ему. Возможно, Грегорио и ошибался, но он не дурачил меня. Он видел что-то слишком кошмарное, что-то, что и вообразить нельзя, и эмоции, вызванные воспоминанием об этом, были слишком искренни, чтобы предположить притворство. Где-то среди этого бездорожья, среди диких пустошей существует некто. Я не знал кто, но знал, что найду его.

И я подумал о совете Макферсона.

Мысль о том, чтобы таскать с собой оружие, мне не нравилась, но я решил, что придется. И еще одна идея пришла мне в голову — идея, которая нравилась мне еще меньше...

IV

Следующие три дня я провел в Ушуае.

За это время я получил возможность понаблюдать за здешними примитивными людьми, как мне и хотелось, но мой ин-

терес к этому занятию значительно поиссяк. Местных жителей уже изучали другие, до меня, это, конечно, довольно интересно, но не идет ни в какое сравнение с возможностью открытия. Истории, рассказанные мне Грегорио и, в меньшей степени, Макферсоном, воспламенили мое воображение. Я никогда не делал поспешных заключений, основываясь на неполной информации, и все же та самая идея, которая казалась абсурдной в тихом, темном кабинете Смита, те же утверждения из попавших в музей сообщений, которые я небрежно отмел, сейчас обрели иную, новую реальность; так солнце сквозь затянутое облаками небо озаряет эту землю иным, новым светом.

Меня безудержно тянуло продолжить расследование, а необходимость ждать расстраивала донельзя. Но в первую очередь следовало все же найти Ходсона. Именно за этим Смит послал меня сюда, и глупо будет устремиться на розыски чего-то другого, не повидав ученого и не сделав из этой встречи соответствующих выводов. А где находится Ходсон, похоже, не выяснить, пока не прибудет за припасами его человек.

Я заглядывал к Грэму каждое утро, и каждый раз меня ждало разочарование. Грэм уже собрал для меня рюкзак и переметные сумки и договорился с ближайшей конюшней, чтобы у них в любой момент была готова лошадь. Среди припасов имелись портативная плитка, продукты в легких пластиковых контейнерах, а также предметы, удивившие меня, но Грэм считал, что они могут оказаться нужными, если не жизненно необходимыми, в столь трудном путешествии, которое *меня ждет*: маленький топорик, складной нож, несколько мотков веревки и ремней — вещи, обретающие ценность в экстремальных условиях. Был там и спальный мешок, и плащ-палатка. Мне не приходило в голову, что существует вероятность провести ночь на открытом воздухе, и я был благодарен Грэму за прозорливость, хотя несколько историй о людях, потерявшихся в горах, которые он мне поведал, весьма меня расстроили. Вняв его советам, я приобрел подходящую для путешествия одежду: тяжелые брезентовые штаны, шерстяную клетчатую рубаху, стеганую ветровку с капюшоном и крепкие, с трехслойной подошвой, высокие ботинки, подходящие и для верховой езды, и для хождения по неровной местности. Я ощущал определенное удовлетворение от того, что так хорошо подготовлен, и это худо-бедно скрашивало ожидание.

А тем временем я проводил дни в многомильных прогулках по окрестностям. В новой одежде я привыкал к свободе необычного для меня стиля и в таком виде как будто лучше знакомился с землей. Я не ставил себе целей, не задумывался, что именно исследовать, не вел записей. Все, что я узнавал, я про-

сто впитывал без каких-либо усилий сознания, положившись на чувства, доверив разуму прокручивать массу планов и возможностей. Я не пытался ограничивать мысли тем, что мне известно, или тем, что я могу доказать. Для меня это нехарактерно, но сейчас я находился вне знакомого мне мира и стремился попасть в мир, о котором говорил Грегорио.

Не скрою, его рассказ заворожил меня, околдовал своей правдивостью, пусть фантастичной, но такой порою бывает истина. Однако впечатлило меня не совсем то же, что и Грегорио. Его, похоже, больше всего поразили глаза существа, но я не стал бы заострять на этом внимание. Глаза многих животных кажутся почти человеческими, разумными, и зачастую это глаза самых отвратительных зверей — крыс, например, или мурен. Грегорио легко мог быть введен в заблуждение. Но, по его утверждениям, существо обладало зубами, а не клыками, и о его передних конечностях он упомянул как о руках, а не как о ногах или лапах, свойственных большинству животных, — полукровка не акцентировал внимание на этих небольших подробностях, но именно они убедили меня. И, более всего прочего, действие, описанное Грегорио, — подъем несуществующего хвоста. Я нередко размышлял, почему людей так оскорбляет хвост, которым обладали его предки; почему так часто именно его выбирают объектом насмешек те невежды, кто, мало зная, издевается над процессом эволюции. Уж не по той ли причине, по которой дьявола рисуют хвостатым? Чувство превосходства, по всей видимости, утешает человека, утратившего полезную и функциональную часть тела. Наверняка человек вроде Грегорио пририсовал бы хвост своей выдумке или, будучи суеверным, добавил его игре света. Хвост — неотъемлемая часть животного зла, и кажется резонным предположить, что неведомая тварь должна его иметь. Но хвост отсутствовал. Существо было бесхвостым, однако двигалось так, словно он был.

Разум мой танцевал среди минувших эпох, дополняя факты вымыслом, а настоящее прошлым, втискивая два измерения в одно пространство, — ибо я готов был поверить практически чему угодно. Я творил фантазии, тончайшие и подробнейшие, не препятствуя воображению возводить эти хрупкие строения, в основе которых лежал краеугольный камень истины. Поскольку где-то, когда-то существовало создание, стоявшее ниже человека, во многих смыслах даже ниже примата, и в какой-то момент времени пути развития разошлись, и расходились чем дальше, тем больше. Это случилось однажды, и в картине эволюции возник новый элемент, еще нигде не отображенный, появился оттиск, который наверняка мог быть повторен в различных местах, в подходящее для этого время. Я всегда верил

в синхронность эволюции, находя ее куда более правдоподобной, чем давно затонувшие земли-мосты между континентами, и фантастические переправы через океан на примитивных плотах, силящиеся объяснить присутствие рода человеческого в Новом Свете и на островах. Единственной загвоздкой была система отсчета времени, но теперь эта проблема уже не казалась непреодолимой — здесь, на земле, незатронутой изменениями внешнего мира. Могла ли старая схема заработать вновь, следуя тем же принципам, что в незапамятные времена помогли населить целый мир? Воссоздать ту же эволюцию, что и миллионы лет назад?

Столь дикие мысли удивили даже меня самого, когда я вдруг осознал, о чем думаю. Но желания посмеяться над собой у меня не возникло.

Вечером третьего дня я прошел мимо новой итальянской колонии и свернул с тропы, чтобы взобраться на каменистый склон. Валуны мягко ложились под тяжелые подошвы ботинок, к тому же я прихватил крепкую трость, служившую мне чем-то вроде третьей ноги и немало помогавшую при подъеме. Какой-то мелкий зверек прошуршал, оставшись невидимым, в кустах, когда я достиг плоской вершины холма. Одинокий скрюченный бук поднимался из низких зарослей; в чаще, окаймляющей бахромой северный хребет, заухала сова. Моросил дождь, и ветер дул сильнее обычного. Стоя под кривыми ветвями дерева, я курил, глядя на запад. Сгустившийся туман мешал обзору, но я знал, что где-то там есть горы и каньоны, не отмеченная на картах граница Чили, а за ней — некое место, где я найду Ходсона. Я стал размышлять, велики ли мои шансы, если я сам отправлюсь на его розыски, что только подстегнуло мое нетерпение. Попытка, конечно, оказалась бы более чем безнадежной. Придется ждать.

Так что, опираясь на трость, я спустился с холма и зашагал обратно в город под тихим темным дождем.

Утром я встретил на лестнице Джонса, и мы спустились вместе. Я намеревался проследовать в столовую, но там уже засели три вдовствующие туристки, прибывшие вчера и привезшие с собой суету и неразбериху, фырканье и гогот. Они громогласно требовали отдельных счетов и спорили, кто съел лишний рогалик. Полагаю, они были из Милуоки. В результате я свернул в бар вместе с Джонсом.

Мы сели у стойки. Джонс заказал черный кофе с перно.

— Такие женщины, как они, вынуждают меня стыдиться того, что я тоже турист, — признался он. Гнусавые отголоски их дебатов долетали до нас и тут, но мы были вполне уверены, что

в бар леди не явятся. — Вечная проблема туристов. Они приезжают куда-то и, вместо того чтобы расслабиться и получать удовольствие, носятся как угорелые, стараясь увидеть все, что возможно, нагруженные путеводителями и составленными заранее планами, что нужно посмотреть. Что до меня, я первым делом нахожу приятный бар с хорошей компанией и заказываю выпивку. Встречаюсь заодно с интересными людьми. Вот что я называю быть туристом. — Он слегка разбавил перно водой, с восхищением наблюдая за сгустившимися в стакане струйками. — Черт, вам повезло. Можете путешествовать, не называя себя туристом. Гардинер сказал мне, что вы известный ученый.

— Не такой уж известный.

— Что изучаете?

— Антропологию. Я в командировке по заданию музея.

— Вы что ж, не работаете над созданием атомной бомбы и все такое?

Он выглядел несколько разочарованным.

— Определенно нет. Моя задача — открыть, откуда появился человеческий род, пока он не исчез вовсе.

Джонс задумчиво кивнул:

— Ну да, хотя, полагаю, мы должны иметь атомные бомбы и прочее, раз уж они есть у коммунистов. Лучше бы, конечно, их ни у кого не было. Так вы работаете в музее? Мне лично музеи нравятся. Я был во всех больших музеях Штатов и Европы. И не просто для галочки. Мне там нравится — вот и все. У нас в Америке есть несколько отличных музеев, знаете ли. Никогда не подумывали присоединиться к потоку утечки мозгов? У нас ученые получают куда больше денег, чем в вашей Англии.

— Нет, я не задумывался об этом.

— А стоило бы. В смысле, наука и все такое — это здорово, и Англия ваша — великий маленький остров, но парень должен прилично зарабатывать себе на жизнь, а? Верно ведь, так? Надо сперва позаботиться о себе, а потом уж заботиться обо всем мире. Это касается и науки, и политики, и Церкви, и вообще.

— Что ж, вы правы.

— Хотите что-нибудь покрепче кофе?

— Нет, благодарю.

— Что до меня, так дома я много не пью. Но когда путешествуешь, чуток спиртного действует расслабляюще. Мне нравится пить в вашей стране. Эти пабы — отличные заведения, только вот они всегда закрыты, когда человека мучит жажда.

Бармен снова наполнил наши чашки и налил Джонсу еще перно.

— Кстати, а что вы делаете здесь? — спросил Джонс.

Я едва не приступил к подробному объяснению, но вовремя спохватился:

— Изучаю местных жителей, более или менее.

— Вот как? Не много же тут изучать, а? В смысле, они несколько примитивны.

— Именно поэтому я и изучаю их.

— О, — только и сказал Джонс.

В дверях, моргая, стоял мальчишка. Посыльный из торгового дома Грэма. Я поднял руку, он заметил меня и подошел к бару:

— Мистер Грэм велел найти вас и передать, что человек Ходсона здесь.

— Я пойду с тобой, — тут же вскочил я.

— Рюмочку перед уходом? — предложил Джонс.

— Извините. Спешу.

— Естественно. Делу — время, потехе — час, так?

Я оставил Джонса у стойки и вышел следом за мальчиком на улицу. Утро выдалось ясным и неожиданно теплым. На фоне солнца парило с полдюжины ястребов. Бодрый и возбужденный, я шагал к Грэму. Именно этого момента я ждал так долго.

Перед зданием было привязано три лошади, а Грэм суетливо собирал различные припасы, сверяясь с каким-то списком. Он взглянул на меня и кивком указал куда-то в глубину помещения:

— Там тот, кто вам нужен.

В тени ящиков и полок было темно, и сначала я никого не увидел. Потом, постепенно, смутные очертания стали четче, и я невольно разинул рот. Не знаю, чего я ожидал, но определенно не человека со столь ужасающе свирепой внешностью. Это был великан. Рост его приближался скорее к семи, чем к шести футам; мускулистый гигант отличался безупречным телосложением, его грудь и спину перечеркивали ремни cacciпa[1], а плечи, руки и бока оставались открытыми. Он стоял совершенно неподвижно, скрестив на широченной груди тяжелые руки, но даже в этой расслабленной позе мускулы четко прорисовывались на коричневой коже. Лицо, как будто высеченное тупым зубилом из красного дерева, полностью соответствовало телу. Голова его — необычайно курчавая — была повязана темным лоскутом, стянутым узлом на широком лбу, над самыми глазами; потрепанные концы тряпицы свободно болтались.

— Каков парень, а? — ухмыльнулся Грэм.

[1] Патронташ *(исп.)*.

— Весьма впечатляющ. Не представляете, к какому племени он может принадлежать? Он не похож ни на кого из индейцев, которых я видел в городе.

— Нет. Я слышал, Ходсон привез его откуда-то с севера. С Амазонки, кажется. Это его личный слуга. Непонятно только, отчего старик решил завести себе именно такого помощника по дому.

— И он, вы сказали, не говорит?

— Никогда не слышал от него ни звука. Думаю, он нем как рыба. Привозит список припасов, ждет, пока я все упакую и погружу, а потом сразу уезжает. Каждые пару месяцев доставляет банковский чек, чтобы оплатить счет, но едва ли он знает, что это такое.

— Вы можете общаться с ним?

Грэм пожал плечами:

— Конечно. На языке жестов, точно так же, как общаюсь с любым из них, не понимающим по-английски. Он довольно прост. И универсален.

— Спросите, пожалуйста, могу ли я сопровождать его?

Грэм нахмурился:

— Ну, я могу сказать ему, что вы поедете. Как спросить, не знаю. И смысла нет. Что он ответит? Куда идти, не скажет, и не стоит наводить его на мысль, что он может запретить вам присоединиться к нему. Я просто дам ему знать, что вы отправляетесь с ним, а остальное уж ваше дело. В смысле, не отставайте от него. Не то чтобы он попытался оторваться и нарочно потерять вас, но ставить на то, что он будет дожидаться, если вы грохнетесь с лошади, я бы не стал. Он, скорее всего, и не заметит.

— Ясно.

— Не стоит беспокоиться о том, чтобы поспевать за ним, ему же еще вести в поводу двух коняг. Очень быстро не поедет. Но наверняка он решит не делать привала, пока не доберется до места, так что готовьтесь к долгой тряске в седле.

— Я справлюсь.

— Ага. Ну и хорошо.

Грэм закончил наваливать у двери груду товаров. Индеец не обращал внимания ни на меня, ни на торговца. С того момента, как я вошел, он даже не пошевелился. Я заметил, что он носит на поясе мачете, а на ногах — ничего. Он воистину восхищал меня, и я буквально не мог отвести от него взгляда.

— Можешь начинать грузить это все, — велел Грэм мальчику, но вдруг вскинул руку. — Нет, погоди. Лучше сперва забери из конюшни лошадь мистера Брукса. Седлай ее и готовь к выезду прежде, чем навьючишь тех лошадей.

Мальчик убежал. Грэм зашел за прилавок и достал мои переметные сумки и рюкзак.

— Ну, теперь посмотрим, что мы сможем втолковать ему, — сказал он, и мы вместе отправились в глубину склада.

Чем ближе мы подходили к индейцу, тем выше он мне казался. Как-то не тянуло становиться с ним рядом. Грэм задвигал руками, делая знаки — очень простые, я и сам так мог бы. Он показал на меня, на великана, а потом махнул в сторону лошадей. Затем последовали еще какие-то неуловимые жесты. Индеец наблюдал за всем этим, не изменившись в лице, не демонстрируя ни понимания, ни несогласия, так что никто не мог сказать, что именно до него дошло.

— Это все, что мне удалось сделать, — заявил Грэм.

— Он понял?

— Черт знает.

— Может, предложить ему денег?

Грэм нахмурился:

— Не думаю, что он пользуется ими. Боюсь, даже не знает, что это. Можете предложить ему что-то другое, какой-нибудь подарок. Хотя будь я проклят, если знаю какой.

Но идею подарка я отверг — это было бы слишком похоже на безделушки и бусы, которые вручали дикарям. Мы с Грэмом вернулись к двери. Гигант не двинулся с места. Я выглянул наружу и увидел мальчика, ведущего вдоль стены склада мою лошадь, некрупную, высокую в холке, с длинной изогнутой шеей. Животное шагало, опустив голову, и не выглядело особо ретивым.

— Глядеть особо не на что, — сказал Грэм. — В таком походе резвый скакун вам ни к чему. А эта кобылка спокойная и надежная, как раз то, что надо.

— Уверен, все будет в порядке, — сказал я, размышляя, а не Гардинер ли повлиял на выбор именно такой лошади.

Кобылка широко расставила ноги и подалась назад, пока мальчик седлал ее, но выглядела она достаточно крепкой — скорее скучающей, чем старой или усталой.

Я надел рюкзак. Он удобно лег на спину. Мальчик принялся подтаскивать припасы Ходсона к вьючным лошадям и ловко грузить их, а мы с Грэмом наблюдали за ним от дверей. Я закурил, чувствуя, как нервное напряжение скручивает живот; под возбуждением в предчувствии приключения скрывалась тревога.

Грэм махнул рукой индейцу. Лошади были готовы. Великан прошествовал мимо нас — и будто над нами — и сошел по лестнице. Он проверил крепление и равновесие тюков, и бицепсы его вздувались шарами, когда он тянул ремни. Потом он собрал все поводья в кулак и двинулся к своей лошади. У той

на спине лежало одеяло, седло отсутствовало, а индеец был так высок, что сел на лошадь, практически перешагнув ее. Он выпрямился — и животное зашагало, и вьючные лошади за ним.

Я поспешно взобрался в седло. Грэм спустился ко мне.

— Удачи, — буркнул он.

Беспокойство улетучилось. Я чувствовал себя отлично. Хотелось галопом вылететь из города, вздымая клубы пыли. Но я лишь мягко пришпорил лошадь, и мы двинулись шагом, следом за вьючными животными, что было куда как разумнее.

V

Индеец не обращал на меня ни малейшего внимания. Он, казалось, даже не подозревал о моем присутствии, что вызывало во мне жутковатое чувство, особенно когда Ушуая осталась позади и мы с ним оказались единственными людьми в обозримом пространстве. Двигались мы размеренным шагом, я держался ярдах в десяти от вьючных лошадей, заново осознавая, сколько энергии требуется для верховой езды по пересеченной местности, даже если передвигаться так медленно. Индеец же будто бы вовсе не прилагал никаких усилий. На коне он восседал с небрежной грацией, расслабившись и покачиваясь в такт движению: весьма функциональная техника, отлично подходящая для длинного путешествия. И хотя его лошадь не была низкорослой, под этим гигантом она выглядела чуть ли не пони, и ноги седока разве что не волочились по земле.

Солнце сияло необычайно ярко, и я под тяжелой одеждой начал потеть; соленые капли выступили и на висках. Помучившись немного, я сбросил рюкзак и, пристроив его на переднюю луку, стянул утепленную ветровку и сунул ее в седельную сумку, после чего снова надел рюкзак. Производя эти манипуляции, я заметно отстал от великана, так что пришлось пустить лошадь рысью. Почва была твердой, и меня сильно трясло. Я знал, что вскоре у меня занозит и затечет все тело, но неудобства в столь важном походе не тревожили меня; легкая ломота в суставах означает лишь то, что ты, несомненно, жив. Скучно было бы существовать без боли.

Ландшафт постепенно менялся.

Так далеко я не забредал во время своих пеших прогулок, так что сейчас с интересом изучал окрестности. Пейзаж наводил на мысли о лунной поверхности. Повсюду возвышались огромные гладкие валуны, и наша тропа петляла между ними и вокруг них. Признаков цивилизации не наблюдалось. Честно говоря,

и признаков жизни тоже. Несколько чахлых деревьев росло около камней, а то и прямо на них, тусклый мох затянул всё и вся, дикая овца пялилась на нас с немыслимой высоты, любопытный страус поднял голову и изогнул длинную шею так, что стал похож на одно из скрюченных деревьев. В самом начале меня посещала мысль составить хотя бы грубую карту нашего путешествия, но я отказался от нее, даже не пытаясь осуществить замысел на практике. Ориентиры тут отличались редким однообразием, так что опознать их было бы весьма трудно или же просто невозможно, с моим-то ограниченным знанием картографии и неважным умением ориентироваться по компасу. Я знал лишь, что мы движемся в западном направлении, но не строго на запад. Тропа, там, где она была, извивалась и петляла, следуя неровностям местности. Она то устремлялась к небесам, то ныряла в низины, однако в итоге мы все же неуклонно взбирались вверх. Солнце преследовало нас, пока не заняло место чуть севернее, верное своему извечному пути над экватором, и наши короткие тени бежали от него. Блики на скалах ослепляли. Время утратило значение, жара, езда, однообразный рельеф действовали отупляюще, и я не собирался смотреть на часы. Я не завтракал, пустой желудок бурчал, но открывать мешок и жевать в седле казалось делом, требующим слишком больших усилий. В горле пересохло, но я даже не приподнял бурдюк. Я просто трясся в высоком испанском седле — и ехал, и ехал, и ехал.

Потом — уже, наверное, после полудня — я стал замечать, что пейзаж меняется. Перемена была вроде бы неуловимой, но вдруг мы оказались у настоящего предгорья, равнина осталась позади — мы начали восхождение.

Тут не было и подобия тропы, продвижение стало труднее, деревья — толще, скалы — выше. Индеец, казалось, знал дорогу досконально, поворачивая и меняя направление без видимых причин, не останавливаясь и не возвращаясь назад. Моя лошадь ступала уверенно. Камни выкатывались из-под ее копыт, жидкая грязь, угнездившаяся между скалами, чавкала под ногами, но кобыла ни разу не сбилась с шага, разве что пошатывалась, но мгновенно и невозмутимо восстанавливала равновесие. Грэм сделал мудрый выбор.

Солнце обогнало нас. Теперь оно светило прямо в лицо и припекало жарче прежнего. Обернувшись, я обнаружил, что равнина уже скрылась за изгибами гор. Я понял, что заблудился, что самому мне никогда не вернуться в Ушуаю. Интересно, пересекли мы уже границу Чили? Сказать наверняка нельзя, определить невозможно, да и какое это имеет значение? Время

и расстояние стали абсолютно субъективны, меня охватило полное равнодушие; так или иначе, мы достигнем места назначения, так зачем мне знать что-то еще, к чему тревожиться о чем-либо?

Пребывая в таком настроении, я едва не проехал мимо индейца, который успел спешиться; в сущности, я этого и не заметил, пока моя лошадь не остановилась сама. Я неуклюже соскользнул с седла и потянулся, разминая затекшее тело. День был в самом разгаре. Размеренный шаг увел нас, казалось, весьма далеко, но дорога так петляла, что трудно было сказать точно, далеко ли мы продвинулись на самом деле.

Нас накрывала тень огромной, поросшей лесом горы, затянутой, будто для красоты, желтым мхом и густым кустарником. Ветви деревьев качались, сплетаясь и расплетаясь, и рисунок теней постоянно менялся. Я хотел спросить своего безмолвного проводника, надолго ли мы остановились, но тут же понял, что это бессмысленно. Он присел на корточки возле лошадей, еще больше уподобившись гигантскому нерушимому валуну. На поясе его висел кожаный мешочек, он вынул оттуда кору дримис Винтера[1] и принялся жевать ее. Острый, вкусный запах повис в воздухе. Ароматическая кора, взбадривающая и тонизирующая, обеспечивала, видно, это огромное тело всеми питательными веществами, необходимыми в столь длительном путешествии. Насмотревшись, как методично работают его челюсти, я открыл и свой мешок. Понятия не имея, хватит ли у меня времени на то, чтобы приготовить еду, я лишь торопливо сжевал кусок сушеного мяса и плитку шоколада. И не ошибся. Не успел я еще убрать мешок в переметную сумку, как индеец выпрямился и одним махом взгромоздился на своего коня, тут же сгорбившегося под неимоверным весом. Я с трудом вскарабкался обратно в седло, и, хотя все мускулы мои ныли, седалище, как ни странно, не болело. Испанское седло с его высокой квадратной задней лукой очень удобно. Пришпорив лошадь, я поравнялся с тронувшимся индейцем и недвусмысленными жестами предложил ему дать теперь мне повести вьючных животных. Нет, он не отказался. Он просто словно и не заметил меня, и секунду спустя я снова трясся позади гиганта.

Чуть погодя мы достигли неглубокого ручья, струящегося у самой кручи, с мягкими глинистыми берегами, и некоторое время двигались вдоль него, но против течения. Вода бежала очень быстро, так как поток был мелок, и пенилась, налетая на вы-

[1] *Дримис Винтера* — южноамериканский вид деревьев и кустарников, ароматическая кора которых используется как тонизирующее и противоцинготное средство.

ступающие со дна камни. Корни растущих рядом деревьев тянулись к ручью, замшелые ветви аркой изгибались над водой. Мы ехали, раздвигая листву, мох лип к плечам, раскисшая земля затягивала конские копыта. Индейцу стало трудновато вести вьючных лошадей, и пришлось замедлить ход. Я сократил расстояние между нами, чтобы моя кобыла ступала точно по следам его коня, и оказался так близко, что заметил длинный шрам, по диагонали пересекающий ребра великана и спускающийся на бедро. Это был старый шрам, почти не видный на темной, запыленной коже, но свежая рана наверняка была ужасной; после нее осталась глубокая борозда с отметинами помельче по обе стороны шрама, недостаточно ровная, чтобы причиной увечья были нож или пуля, но все же очень прямая, что говорило о том, что рана не была получена случайно. Возможно, шрам оставили когти какого-то сильного хищника, решил я, удивленно размышляя, какой же зверь осмелился напасть на такого гиганта.

Мы приостановились на берегу, возле сухого оврага; здесь индеец направил своего коня вниз. Гигант откинулся назад, пока конь на напряженных ногах соскальзывал к воде. Вьючные лошади последовали за ним неохотно, а моя просто остановилась, нервно мотая головой в поисках иного пути. Натягивание повода и пришпоривание ни к чему не привели. Индеец удалялся, двигаясь по середине ручья, и на миг меня охватила паника — а вдруг мне не удастся заставить лошадь спуститься и я останусь тут в одиночестве; я сильно дернул поводья, разворачивая кобылу. Она сделала шаг в сторону, оступилась, потеряла равновесие, и мы поехали вниз боком, неловко; лошадь фыркала и лягалась, но все-таки каким-то образом устояла на ногах. Я облегченно вздохнул, лошадь тряхнула головой и двинулась за остальными. Русло ручья изобиловало камнями, из-под копыт вьючных животных на меня летели брызги, даря свежесть. Некоторое время, возможно час, мы ехали по воде, а потом поднялись на противоположный берег, кренясь и оскальзываясь на коварной грязи.

На этой стороне ручья местность опять изменилась. Мы оказались в дремучем лесу. Скалы и валуны по-прежнему были повсюду, но деревья и кусты окутывали и скрывали их. Сквозь густой подлесок я даже не видел ног лошади ниже колен, однако животное твердо ступало по пропавшей земле. Лишайник оплел мои плечи и свисал с шеи этакой гавайской гирляндой. Стало прохладнее, так как густая листва не пропускала солнечные лучи, почва была сырой. Я снова натянул ветровку. Мы миновали открытую поляну и вернулись в полумрак; листва колыхалась, и пляска пятен теней и света отпечатывалась на сет-

чатке и врезалась в сознание. Я все еще потел, но теперь влага неприятно холодила тело — притупленные жарким полуднем ощущения, к сожалению, обострились. Я вновь обрел чувство времени и, поглядывая на часы, надеялся вскоре добраться до места. Кстати, меня удивило, что уже семь. Мы ехали, практически без перерывов, десять часов. Индеец выглядел таким же свеженьким, как и в самом начале пути, а кто знает, как долго он скакал, чтобы добраться до Ушуаи, с утра. Казалось невероятным, чтобы кто-нибудь, пусть даже и этот экстраординарный человек, путешествовал тут в ночи, и все же мы продвигались, не задерживаясь и не останавливаясь.

И вновь мы выбрались на открытое пространство, к холму, усеянному пнями. С южного склона, искрясь, срывался водопад; упавшее дерево, точно подпора, прислонилось к утесу внизу. На полпути к вершине мы проехали могилу: четкий прямоугольник вскопанной земли и кособокий крест, приткнувшийся к пеньку. Это поразило меня. Какой одинокий пастух или отшельник-лесоруб скончался в этом забытом богом углу и кто потом похоронил его? И все же заброшенная могила некоторым образом вселила в меня чувство безопасности. Я не достиг края света, нога человека уже ступала здесь, если и не цивилизованного, то, по крайней мере, христианина, и люди еще придут сюда. В Ушуае я горел желанием бежать от цивилизации, искать неоткрытые тайны в диких местах, но где-то в процессе затянувшегося путешествия эти мысли трансформировались: наука сдалась инстинкту. С какой радостью я сейчас выпил бы с Клайдом Джонсом...

Мы приблизились к вершине холма и новому ряду деревьев, чьи накренившиеся под немыслимыми углами силуэты четко вырисовывались на темнеющем небе. Маленькие птички наблюдали за нами с безопасной высоты, бабочки порхали в зарослях, и их яркие крылышки вспыхивали в последних лучах заката. Мы подъехали ближе, и вдруг резкое хлопанье крыльев заставило меня вздрогнуть и обернуться: что-то темное поднялось с земли за моей спиной, на миг зависло в воздухе, а потом устремилось ввысь, медленно и тяжело, — гигантский кондор, с размахом крыльев около дюжины футов, оторванный от своей малоаппетитной для человека трапезы. Индеец словно и не заметил птицу, как не замечал меня. Я же съежился и пригнулся к передней луке седла. Когда мы огибали дерево, я оцарапал щеку о грубую кору, но от усталости совершенно не почувствовал боли; я не обращал внимания даже на маячащие впереди горы, покрытые снежными шапками и исполосованные белым — будто какой-то исполин вытер о склоны свои вымазанные краской пальцы. Горы казались не слишком высокими,

но потом я смутно осознал, что мы сами забрались высоко, что мы достигли пика гребня и перед нами простерлось длинное ущелье.

Ухватившись за луку, я расслабил ноющие колени, зная, что двигаться дальше у меня уже нет сил, и надеясь, что мы скоро приедем или что наступит ночь, вынудив нас остановиться. Ночь уже надвигалась, туман висел низко, свет потускнел. Лошади тоже устали, повесили головы и ноги ставили неуверенно. Сейчас мы двигались по ровной местности, пересекая плоскую вершину горы и направляясь к склону. Миновав разверзшееся перед нами сухое русло ручья, мы вышли на поле, где когда-то росли деревья. Сейчас они все были изломаны, выворочены с корнями, а в сухих ветвях завывал ветер. Укрытия не было, ветер властвовал тут безраздельно. Застонав над нами, он, вдруг обезумев, бешено хлестнул по земле, по лошадям, по нам, едва не выбив меня из седла. Лошадь заржала, я вцепился в гриву, в луку и откинулся назад. Даже индеец вроде бы покачнулся от этого неожиданного порыва. Мох заструился по земле, точно кто-то поволок за собой длинные желтые ленты, мертвые деревья затрещали. Это был не кружащийся вихрь Ушуаи, а лобовой залп с края света, пустивший в полет тяжелые ядра туч.

Крепко держась за лошадь, я повернулся лицом к ветру. У меня перехватило дыхание. Я увидел последние скалы, замершие на краю земли; их подножия тонули в серых соленых волнах, а вершины — в черном океане туч. Лишь один миг я видел картину ясно, а потом хлынул ливень и океан скрылся в тумане. И доли секунды не прошло, как наступила непроглядная ночь.

Даже индеец спасовал перед бурей. Он повернул лошадей назад к деревьям и спешился, найдя скудную защиту у скалы, словно в воздвигнутом самой природой замке, чьи башни, колонны и шпили были из древнего камня, гладкого с южной стороны и поросшего цепким мхом с северной. Лошади стояли спокойно, мордами к скале, и хвосты их трепал ветер. Индеец снял с животных поклажу. Что ж, очевидно, этот уголок станет нашим пристанищем на сегодняшнюю ночь или на время бури. Я не знал, долго ли мы пробудем тут, не знал, собирался ли великан сделать привал, или его вынудил к этому ураган, да, в общем-то, мне было все равно, главное, что мы все-таки остановились. Я с трудом спустился на землю; суставы не разгибались, и боль пронзала все тело, словно сам костный мозг окаменел за время езды.

Я расседлал лошадь, вытащил спальный мешок и плащ-палатку, действуя чисто механически. Стреножив кобылу, надел ей на шею мешок с овсом, как показывал Грэм, и, хотя сам от голода был пуст, как воздушный шар, я слишком устал, чтобы

тратить силы на еду. Лошадь поковыляла к остальным животным, которые сбились кучкой; их силуэты смутно чернели на фоне деревьев. Индеец, завернувшись в одеяло, прилег у подножия скалы. Я едва видел его. Кончики одеяла приподнимались, когда ветер старался добраться до нас, тыкался в углы и метался между скальными колоннами, чтобы потом обрушить всю свою ярость на деревья.

Я скользнул в тепло спального мешка, слишком окоченевший, чтобы придавать значение тому, что лежу на твердых камнях, и повернул лицо к прохудившемуся небу. Стрелы дождя вонзились в глаза, и я поспешно перекатился на бок. Секунду я думал о Сьюзен, об уюте ее квартирки, о том, как хорошо с ней, и, решив, что я сумасшедший, раз притащился сюда, провалился в бездну сна.

Разбудил меня какой-то звук.

Было рано и светло. Мир стал свеж и ясен, ветер снова взмыл куда-то к облакам. Я сел, хотя все мышцы мои противились движению, и увидел, что индеец уже погрузил мешки на лошадей. Интересно, подумал я, неужели он уехал бы, оставив меня спящим, и испытал уверенность, что да, уехал бы, не питая злых умыслов, а просто вследствие безразличия.

Вылезать из спального мешка было мучительно, и я, вспомнив собственные вчерашние мысли — о том, что настоящего ученого дискомфорт не смущает, — решил, что этот принцип может завести слишком далеко. Но необходимость заставляла поторопиться.

Лошадь терпеливо стояла, пока я седлал ее и разматывал веревки на ногах. Индеец уже въехал в полосу изломанных деревьев, и я, превозмогая боль, уселся в седло. Мышцы живота свело судорогой, бедра и ляжки, стиснувшие лошадиные бока, гудели. Я сомневался, что продержусь еще день, но выбора не было. Я не мог повернуть назад, не мог двигаться, сам выбирая темп, мне приходилось следовать за индейцем, приспосабливаясь к его скорости, и молиться о том, чтобы мы нашли Ходсона прежде, чем я рухну замертво.

Странно, однако, что второй день оказался не так уж плох, как предвещало его начало. Теперь мы спускались, так что работать стали новые мышцы; они, конечно, тоже напрягались и уставали, но, по крайней мере, не немели, а тупая боль во всем теле уже стала привычной, и я не придавал ей значения. Сохранять равновесие, не прилагая к этому сознательных усилий, у меня получалось довольно легко, и я даже, не отстав от своего проводника, подкрепился сушеным мясом и шоколадом. К тому же, вероятно, мы двигались медленнее, чем вчера, так как и

лошадей утомил долгий переход. Только индейца, казалось, не брала усталость, но он был достаточно разумен, чтобы не понукать животных, чья выносливость тоже имела пределы.

Сначала я отвлекался от неудобств, озирая окрестности, а потом задумался о постороннем и ушел в себя. Очнувшись от размышлений и вернувшись к реальности спустя какое-то время, я с удивлением обнаружил, как хорошо мое тело переносит тяготы путешествия — гораздо лучше, чем я ожидал от себя этим утром, с болью взгромождаясь в седло. Я даже ощутил гордость и самоуважение, а может, тут присутствовала и капля тщеславия, но поскольку передо мной все время находился пример — безустанный и несгибаемый индеец, я, глядя на него, понимал, что держусь только благодаря везению.

Я совершенно не представлял, как далеко мы заехали, когда, уже поздним вечером, мы наконец добрались до Ходсона.

VI

Мы обогнули какой-то холм, и вдруг внизу возник дом Ходсона, стоящий на дне узкого ущелья. Солнце клонилось к западу. Оно освещало вершины ближайших гор, но в лощину лучи не проникали, и дом окутывал мрак. Суровое строение с неотесанными бревенчатыми стенами и крытой покоробленным железом крышей с трех сторон защищали от ветра земляные валы, а сзади возвышалась крутая скала.

Я был удивлен. Я ожидал либо чего-то большего, либо чего-то меньшего — либо простой полевой лагерь, либо цивилизованный дом, возможно даже лабораторию. А оказался возле грубого самодельного здания, довольно крепкого, но будто недостроенного. И все же его вид вполне соответствовал тому, что я знал о Ходсоне. Он не нуждался в изысках современных удобств; к тому же, возможно, лишенный стабильного дохода, оперируя лишь собственными ограниченными накоплениями, он не мог позволить себе ничего иного.

Мы стали спускаться по твердой земляной тропе, бегущей между двумя приткнувшимися друг к другу возвышенностями. Угол зрения изменился, и я заметил, что дом, видимо, соединен со скалой позади него — нет, не опирается на нее, а именно выступает из камня; строители, должно быть, воспользовались естественной пещерой или расселиной.

Мы уже достигли дна ущелья и повернули к дому, когда в дверном проеме показалась фигура человека, наблюдающего за нашим приближением. Это был крепкий, коренастый мужчина,

в котором я без труда узнал Хьюберта Ходсона, такого же, каким видел его на фотографиях, сделанных много лет назад, чуть располневшего, чуть поседевшего, но, несомненно, того же самого здоровяка, весьма представительного в шерстяной рубахе и тяжелых сапогах, с обветренным, загорелым лицом и лбом таким же морщинистым, как крыша над головой хозяина. Он смотрел на меня и явно был не слишком доволен.

Мы остановились перед домом, и индеец соскользнул с коня. Я кивнул Ходсону. Он тоже кивнул мне в ответ и, повернувшись к гиганту, быстро задвигал руками. Индеец ответил таким же манером и взглянул на меня. Кажется, впервые за все это время он по-настоящему меня увидел. Ходсон сделал какой-то завершающий жест и шагнул с крыльца. Он подошел к моей лошади. Полурасстегнутая рубаха обнажала широкую, мускулистую, поросшую волосами грудь. Пожилой мужчина больше походил на лесоруба, чем на ученого, и его несомненная сила обязательно поразила бы меня, не будь рядом великана-индейца.

— Вы хотели меня видеть? — спросил Ходсон.

Очевидно, индеец все-таки сумел это понять.

— Да, очень.

Ходсон фыркнул:

— Что ж, входите тогда. Оставьте лошадь, индеец о ней позаботится.

Любопытно, однако, что он упомянул своего слугу так, не назвав его имени. Я спешился и протянул поводья гиганту, а он увел животных куда-то за угол дома. Ходсон шагнул к дверям, и я последовал за ним. Он уже хотел войти, но вдруг отступил, пропуская меня вперед,— показная вежливость, целью которой, вероятно, было показать, что наша встреча будет носить формальный характер. Этикет и Хьюберт Ходсон никогда не были совместимы.

— Я видел, как вы ехали, — заявил он. — Думал, что вы — заблудившийся в горах путник. Очевидно, ошибся. Вечно я делаю поспешные выводы. Хотя обычно я все равно оказываюсь прав.

Внутри дом оказался таким же невзрачным, как и снаружи. Мы стояли в скучной комнате с самодельной мебелью и голыми стенами; в маленькое оконце едва просачивался скудный свет, не разгоняющий полумрака. На двух дверных проемах, ведущих в другие помещения, висели занавески из нанизанных на бечевки крупных бусин. Единственной уступкой комфорту было только потертое кожаное кресло.

— Кто вы?

— Брукс. Артур Брукс.

— Кто я, вам известно, — сказал Хадсон. И протянул руку, опять-таки механически. Пожатие его оказалось крепким, но едва ли это был сознательный жест, скорее всего, он просто не умел иначе. — Боюсь, по части гостеприимства я мало что могу вам предложить. Садитесь.

Я сел на простой стул с твердой прямой спинкой, покачнувшийся на шатких ножках.

— После ночи в горах это просто роскошь.

— Возможно.

— Ваш слуга задал безжалостный темп. Примечательный человек. Не знаю его имени...

— Я называю его индейцем. Вы, полагаю, тоже. Мысленно, я хочу сказать. В любом случае он нем, так что нет смысла давать ему имя. Классификация всегда лучше названия. Плюс избежание фамильярности. Едва на вещь навешен ярлык, вы начинаете думать, что постигли ее суть. Проблема не решается. Вечная беда общества: люди склонны обозначать, а не выявлять. Всему дать имя, будь то необходимо или нет. Этикет. Срам. Чушь. Но полагаю, лучше предложить вам выпить, несмотря ни на что.

Сей отрывистый монолог понравился мне. Я убедился, что он именно тот Ходсон, *которого я ожидал увидеть*, тот же иконоборец и бунтовщик, и уже одно это означало, что он все еще работает и, более того, возможно, захочет поговорить о своей работе. Таков уж парадокс Ходсона. Он отвергает общество и цивилизацию и все же горит желанием высказать свои идеи коллегам, нуждаясь в объектах для насмешек.

— У меня есть бренди. Немного. Местной дряни хоть залейся, *если вы в силах ее проглотить*.

— Спасибо, я с удовольствием выпью.

Ходсон громко хлопнул в ладоши. И выжидающе уставился на меня. Движение в глубине комнаты заставило меня обернуться. Я увидел женщину, вошедшую сквозь одну из занавесок из бусин, отвел взгляд и тут же обнаружил, что снова смотрю на нее. Она приближалась к нам и была, бесспорно, прекрасна.

Никогда прежде я не видел столь совершенного образчика рода человеческого, и сомневаться в собственном восприятии не приходилось, поскольку одежда на ней отсутствовала как таковая. Ходсон глядел на меня, а я — на девушку. Она была высокой и стройной, кожа ее светилась, как золотистая медь, волосы были так черны, что на них даже не играли блики. Она мило улыбнулась, блеснув белоснежными зубами и глазами, такими же темными, как волосы. При таких обстоятельствах оказалось *необычайно трудно сложить губы в вежливую улыбку*, и Ходсона мои усилия явно позабавили.

— Это Анна, — сказал он.

Я не знал, что делать.

— Анна говорит по-английски. Анна, это мистер Брукс. Он приехал навестить нас.

— Здравствуйте, мистер Брукс, — произнесла девушка и протянула руку. Английский ее оказался безупречным, рукопожатие — корректным, разве что чуть робким. — Гости — это замечательно. Кажется, никто не гостил у нас прежде? — Она посмотрела на Ходсона.

— Принеси мистеру Бруксу выпить, дорогая.

— О да. Конечно.

Она снова улыбнулась и повернулась, на миг показав сбоку крепкие груди, и двинулась к двери, соблазнительно покачивая тугими ягодицами. Девушка скользнула сквозь бусы с мягкой природной грацией, отнюдь не из арсенала женских уловок — нет, так естественно движется разве что кошка.

Ходсон ждал моих комментариев.

— Прелестная юная леди, — выдавил я.

— Приводит в замешательство, не так ли?

— Должен признать, я был слегка ошеломлен. Ее гармоничностью, конечно, а не наготой.

Ходсон рассмеялся:

— А я думал, как вы... но не важно.

Я чувствовал, что сдал какой-то экзамен, хотя и не знал, по какой шкале он оценивал мои реакции.

— Она индианка?

— Да. Не местная, естественно. С Амазонки. Я нашел ее еще ребенком — лет пятнадцать назад, а то и больше. Купил из мимолетной прихоти.

— Купили?

— Конечно. А как иначе? Не думаете же вы, что я ее похитил? Или идея торговли людьми оскорбляет вашу нравственность?

Это мне не понравилось.

— Моя нравственность недвусмысленно субъективна. Но я заметил, что ей вы дали имя. В отличие от индейца. Это, во всяком случае, что-то да значит?

Ходсон нахмурился. Потом ухмыльнулся:

— Это было необходимо для эксперимента. Дал ей индивидуальность, чтобы посмотреть, к чему это приведет. Но должен признать, весьма трудно говорить об Анне как о... гм... объекте наблюдения. Некоторые вещи попирают даже мои принципы.

Анна вернулась с двумя стаканами, отдала нам спиртное и снова выпила из комнаты. Ходсон подвинул кресло и сел напротив меня, балансируя на самом краю, словно давая понять, что беседа не затянется надолго.

— Итак. Зачем вы явились сюда, мистер Брукс?

— Я из музея. Полагаю, вам знаком Смит. Он послал меня отыскать вас.

— Смит? — Мгновение он словно пребывал в недоумении. — Да, я знаю Смита. Один из немногих разумных людей. Не издевается, ничего не поняв. Но зачем он послал вас сюда?

Я вытащил портсигар и предложил Ходсону закурить. Он отказался. Тогда я решил пойти на прямое сближение. Ходсона, с его острой проницательностью, наверняка возмутят любые уловки. Надо говорить откровенно. Я щелкнул зажигалкой и приступил к рассказу о письмах и умозаключениях Смита. Ходсон слушал с интересом, положив руки на колени, а взгляд его бегал, словно ученый пытался отследить мечущиеся в голове мысли.

— И вот я здесь, — завершил я.

Ходсон откинулся на спинку кресла, закинул ногу на ногу.

— Ну, не я пустил эти слухи, — заявил он. — Не вижу никакой связи с моей работой.

— Такова идея Смита.

— Ошибочная идея.

— Наверняка вы и сами что-нибудь слышали?

— Допущение неверно. Я, как вы убедились, живу в полном уединении. Единственный контакт с миром осуществляется через индейца.

— Что ж, теперь вы услышали.

— Да, то, что вы мне рассказали.

— И не заинтересовались?

— Необоснованные и фантастичные байки.

— И я так считал. Но не Смит. А теперь, когда я поговорил с людьми...

Ходсон махнул рукой:

— Моя сфера — генетика. Сообщенное вами меня не касается, даже если бы это и было возможным.

— Да, я знаком с вашими работами. Скажите, что удерживает вас здесь вот уже двадцать лет?

— Все то же. Исследования. Оформление документации по большей части. Кое-какие эксперименты. У меня тут лаборатория, несколько примитивная, но мне годится. В этих краях меня привлекают изоляция и отсутствие внешних раздражителей, и только. Вы ошиблись, предположив, что мои исследования как-то связаны с территорией, на которой я провожу их. — Он осушил свой стакан. — Видите ли, Брукс, я неисправимый оптимист. Я постоянно переоцениваю коллег. Когда меня окружают люди, я неизменно хочу одарить их плодами своих трудов. Это отнимает время и оказывается в результате более чем бес-

полезным. Вот почему я здесь, в одиночестве, продвигаюсь вперед мирно и размеренно. Все идет хорошо. Вы, кстати, первая помеха за все эти годы.

— Простите, если...

Хадсон отмахнулся от моих извинений.

— Мне понятен ваш интерес, — сказал он. — Я наблюдал за этими людьми. Изучать Анну, к примеру, восхитительно. Она одна из немногих живущих на свете, оставшаяся совершенно естественной и незапятнанной. Ибо избавлена от пагубного влияния общества. И не обязательно современного общества, отнюдь. Любое общество портит. Если бы я не купил девчонку, ее бы уже загубили, наполнив суевериями и мифами, табу и запретами. Порой мне действительно кажется, что так называемый примитивный человек деградирован больше цивилизованного; он более подчинен сверхструктуре. Анна вышла из дикого племени и стала роскошной женщиной, совершенной и физически, и эмоционально. Ее нагота, например. Она невосприимчива к капризам природы так же, как и к стыду, она невинна, не зная ни ухищрений современного мира, ни жертвоприношений кровавой религии своих предков. Если бы я встретил женщину вроде Анны, когда был молод, Брукс, я, возможно... но нет, я, похоже, родился женоненавистником.

Ходсон разошелся. Говорун, двадцать лет лишенный возможности высказаться, он, возможно, сам того не желая, все-таки говорил.

— Или индеец, — продолжал он. — Интеллект и инстинкты зверя, и все же он абсолютно предан и верен мне — и это не приобретенное свойство вроде патриотизма, вбиваемого в головы молодежи, его привязанность естественна — так пес привязан к своему хозяину. Не важно, добр хозяин или жесток, хорош или плох. Это все равно. Самый интересный аспект человека, такого, каким его создала природа.

— Значит, вы изучаете местных жителей? — спросил я.

— Что? — Ходсон моргнул и вспыхнул так, что его обветренная кожа стала совсем багровой. — Нет, не изучаю. Это вторично. Наблюдения никак не связаны с моей работой.

— Вы расскажете мне о ней?

— Нет, — отрезал он. — Я еще не готов. Возможно, скоро. Это новая область, Брукс. Не имеющая отношения к исследованию примитивных людей. Пусть этим занимаются социальные антропологи, благодетели и миссионеры. Лично вы, если пожелаете. Пожалуйста, никто не мешает.

— А эти слухи?

— Может, я и слышал что-то. Возможно, кто-то из местных, один или двое, пытающиеся жить своей жизнью. Один их вид

способен потрясти любого, и, конечно, никто никогда не объяснял им, что нехорошо убивать овец.

— Но это ведь тоже очень интересно.

— Только не мне.

— Вы меня удивляете.

— Неужто? Вот почему я здесь, один. Потому что удивляю людей. Но мне нечего предложить вам, Брукс.

Он махнул рукой в сторону окна. Солнце выглянуло из-за волнистых склонов западных гор, и на пол падал неровный прямоугольник света.

— Можете поискать вашего дикого человека там. А здесь вы не отыщете подсказок.

Это уверенное утверждение завершило первую фазу нашей беседы. Некоторое время мы сидели в напряженной тишине. Я был разочарован и раздосадован тем, что после столь напряженного ожидания в Ущуае, после трудного путешествия по горам все окончилось ничем. Я винил себя за то, что ожидал слишком многого, и злился на Ходсона, хотя и признавал его право возмущаться по поводу моего визита. Раздражению плевать на справедливость.

Ходсон, казалось, размышлял о чем-то, что меня не касалось, или, скорее, о чем-то, что он не хотел, чтобы коснулось меня. Мое присутствие и радовало его, и мешало ему одновременно, и он, возможно, решал, обращаться ли со мной как с собеседником, которого он был так долго лишен, или как с помехой, от которой нужно избавиться. Я понимал, что не стоит вторгаться в его мысли, и сидел тихо, глядя, как пылинки под окном танцуют в луче заката.

Наконец он снова хлопнул в ладоши. Анна, должно быть, ожидала зова, поскольку мгновенно появилась с новыми стаканами, сияя все той же преисполненной любопытства улыбкой, несомненно озадаченная моим появлением и, думаю, наслаждающаяся хоть каким-то разнообразием. Ушла она неохотно, с интересом оглядываясь через плечо, — с интересом невинным, поскольку ей неоткуда было узнать, что он может быть иным.

Ходсон заговорил снова. Настроение его за эти минуты молчания изменилось, он больше не излагал и не растолковывал. Беседа стала действительно беседой, а не монологом. Мы говорили в общих чертах, и Ходсон интересовался некоторыми новейшими теориями, еще не добравшимися сюда, хотя собственных суждений не высказывал и не стремился углубиться в эти вопросы. Я, к слову, сослался на некоторые его ранние труды, и он, казалось, был польщен тем, что я знаком с ними, но сам назвал их ошибочными и устаревшими. Поворот разго-

вора произошел естественно, вновь вернув нас к его нынешней работе, только под другим углом, и Ходсон забыл о скрытности.

— Последние двадцать лет или больше, — сказал он, — я занят процессами воспроизводства нуклеиновых кислот. Я верю — в сущности, я точно знаю, — что моя работа опережает все сделанное в этой области прежде. Это не домысел и не предположение. Я действительно провел и успешно завершил эксперименты, доказывающие мои теории. Нет, не теории, а уже непреложные законы.

Он бросил на меня быстрый взгляд, оценивая мою реакцию, движимый своим вечным стремлением потрясать.

— Все, что мне нужно сейчас, — это время, — продолжал он. — Время применить мои находки. Ускорить процесс, не влияя на результат, конечно, невозможно. Еще год-два, и первая модель будет готова. А потом — кто знает?

— Вы расскажете мне что-нибудь об этих открытиях?

Он метнул на меня странный, подозрительный взгляд:

— В общих чертах, естественно.

— Вы обладаете какими-нибудь знаниями в этой области?

Я не знал, насколько большую осведомленность следует проявить, — какой степени интерес вдохновит его продолжать, не внушив подозрений, что я слишком уж в теме, чтобы намекнуть мне на свои секреты. Впрочем, мое знакомство с этой гранью науки было весьма поверхностным. Он говорил о генетике, связанной с антропологией лишь звеном мутации и эволюции, — в этой точке цепи двух разных наук соединялись, пусть и прочно, но дальше тянулись в разных направлениях.

— Не слишком большими, — признался я. — Мне, конечно, известно, что нуклеиновые кислоты определяют и передают наследственные характеристики. Я знаю, что нуклеиновые кислоты подразделяют на ДНК и РНК. В последнее время считается, что ДНК служит шаблоном, или лекалом, передающим генетический код РНК, прежде чем она покинет ядро.

— В общих чертах верно, — заметил Ходсон.

— Боюсь, очень в общих.

— А что произойдет, если код передан неправильно? Если лекало, скажем так, искривилось?

— Мутация.

— Гм... Какое безобразное слово для столь необходимого и фундаментального аспекта эволюции. Скажите, Брукс, что вызывает мутацию?

Я не понимал, к чему он клонит.

— Ну, радиация, например.

Он рубанул рукой воздух:

— Забудьте об этом. Какова причина мутации со времен возникновения жизни на этой планете?

— Кто ж знает...

— Я, — произнес он очень спокойно и просто, так что мне потребовалась пара секунд, чтобы осознать услышанное. — Поймите меня правильно, Брукс. Я знаю, как это работает, и почему это работает, и какие условия необходимы для этой работы. Я знаю химию мутации. Я могу заставить ее работать.

Я погрузился в размышления. Ученый наблюдал за мной горящим взором.

— Вы хотите сказать, что можете вызвать мутацию и заранее предсказать результат?

— Точно.

— И говорите не о селекционном разведении?

— Я говорю об обособленном акте репродукции.

— Но это же фантастика!

— Это реальность.

Голос его был мягок, но взгляд тверд. Я понял, как он внушил Смиту такое уважение. В присутствии Ходсона трудно было сомневаться в его словах.

— Но — если вы можете это сделать — наверняка ваша работа завершена — и вы готовы передать ее науке?

— Теория наследственности — да, завершена. Я могу сделать с единичной репродукцией организма то, на что требуются поколения селекции, и сделать это — да, сделать это куда точнее. Но помните, я не генетик. Я антрополог. Я всегда утверждал, что изучение человеческой эволюции возможно только посредством генетики, которая в основе своей наука лабораторная. Сейчас у меня есть доказательства этого, и я требую права применить мои открытия на избранном мной поле, прежде чем вручить их зацикленным на самих себе умам. Эгоистичная позиция, возможно. Но тем не менее это моя позиция.

Я ничего не сказал, хотя Ходсон, кажется, ждал комментариев. Я размышлял над тем, что он сообщил мне, пытаясь определить, насколько правдивы его утверждения и искренне стремление обнародовать их, с учетом склонности ученого к поспешным заключениям и предумышленным сенсациям. А Ходсон глядел на меня, прикидывая, быть может, что перевесит — моя понятливость или моя доверчивость.

Не знаю уж, как он рассудил, но вдруг Ходсон вскочил, неожиданно и импульсивно.

— Хотите осмотреть мою лабораторию? — спросил он.

— Безусловно.

— Тогда идемте.

Я проследовал за ним в дальний конец комнаты. Занавеска из бусин качнулась при нашем приближении, точно за ней кто-то стоял, но там никого не оказалось. Соседнее помещение, узкое и темное, вело в третью комнату, тоже отделенную от второй не дверью, а шторой. Дом был больше, чем выглядел снаружи. В конце третьей комнаты обнаружилась деревянная дверь, запертая на засов, но не на замок. Ходсон отодвинул щеколду, и, когда дверь распахнулась, я увидел, отчего дом, казалось, выступал из скалы. Причина была простейшей — и самой очевидной к тому же. Так оно и было на самом деле. Мы шагнули из комнаты в настоящую пещеру. У дома, в этой части по крайней мере, не имелось задней стены, а кусок железной крыши здания длиной в несколько футов плотно прилегал к каменному потолку.

— Вот, в частности, почему я выбрал именно это место, — пояснил Ходсон. — При строительстве здания в таком отдаленном районе удобно использовать природные ресурсы. Если даже дом рухнет, моя лаборатория уцелеет.

Он вытащил из настенного держателя электрический фонарь и щелкнул выключателем. Проход впереди был узок и угловат, скорее трещина, чем пещера, он клином сходился над нашими головами. Сырой, скользкий камень порос мхом, спертый воздух пропах тлением. Ходсон направил луч на неровный пол, и ярдов десять я тащился за ученым по этой щели, а потом она вдруг расширилась. Ходсон шагнул в сторону, а секунду спустя загудел генератор и вспыхнул свет. Перед моим изумленным взором предстала необычайная лаборатория Ходсона.

Она совершенно не вписывалась в окружение, контраст между помещением и тем, что в нем находилось, ошеломлял. Естественная пещера в скале, овальное пространство с голыми каменными стенами и сводчатым потолком, нетронутая и неизменная, ярко освещалась подвешенными на равном расстоянии друг от друга лампами. Приличного входа не было, узкая расщелина, сквозь которую мы попали сюда, просто резко расширялась, образуя подземные апартаменты, возникшие благодаря какому-нибудь древнему смещению пластов земли. Но в центре пещеры была устроена современная и, насколько я мог видеть, отлично оснащенная лаборатория. Мебель выглядела куда крепче и надежнее той, что стояла в доме, а на разнообразных столах и в шкафчиках красовалось множество пробирок, и колб, и мензурок всех форм и размеров, пустых и наполненных — то наполовину, то до самых краев. Здесь и там торчали папки-скоросшиватели, и нагромождение их говорило о том, что дело успешно движется. В дальнем конце комнаты виднелась дверь в каменной стене, похоже единственное, что было добавлено к естественной структуре пещеры.

— Здесь я работаю, — объявил Ходсон, широким жестом как бы охватывая все помещение. — Тут все накопленное годами. Заверяю вас, эта лаборатория оборудована так же хорошо, как и любая другая в мире. У меня есть все, что нужно для работы. Все, что нужно, плюс время.

Он подошел к ближайшему столу и взял пробирку. За стеклом колыхнулась густая кроваво-красная жидкость. Ходсон протянул мне склянку, точно сигнальный огонь, — этакий человек-маяк.

— Ключ к роду человеческому, — произнес он. Его выразительный голос и колебания жидкости гипнотизировали. — Ключ к эволюции не погребен в каких-нибудь египетских пирамидах, не скрыт в остатках древних костей и окаменелостей. Ключ к человеку лежит в самом человеке, и умелый слесарь изготовит такой ключ и отопрет ту далекую дверь.

Голос его метался между каменными стенами. Я не мог отвести взгляд от пробирки. Ходсон, возможно, и был гением, но он также, несомненно, обладал отличной техникой подачи своей веры. Он производил фурор и вызывал враждебность в основном своей манерой, а не своими теориями.

Я огляделся, по большей части не понимая, что именно вижу, желая прочесть его записи и расчеты, но понимая, что он определенно откажется показать их мне. Ходсон вернулся ко входу, ему не терпелось уйти именно сейчас, когда я увидел лабораторию, но еще не разобрался, что к чему. Он считал, что поверхностного впечатления мне вполне достаточно.

Я задержался у двери с противоположной стороны помещения, которую считал деревянной, но, приглядевшись, понял, что она железная и покрашена тускло-зеленым.

— Там тоже оборудование? — осведомился я.

И повернул ручку. Дверь оказалась закрыта.

— Просто кладовка, — ответил Ходсон. — Ничего интересного. Идемте. Ужин уже, наверное, готов.

Любопытно, однако, что кладовка тщательно заперта, тогда как собственно лаборатория никак не закрыта, а ключ от двери в коридор, ведущий к ней, запросто висит у входа. Но я не думал, что сейчас подходящее время высказываться по этому поводу. Следом за Ходсоном я вернулся по туннелю в дом.

Стол был накрыт в передней комнате-зале, там, где состоялся наш первый разговор с Ходсоном. Анна подала еду и села обедать с нами. Индеец за столом не присутствовал. Анна по-прежнему блистала наготой, но отчего-то это перестало смущать меня. Ее поведение было таким естественным, что даже такой абсурдный жест, как накрывание салфеткой голых бедер, не ка-

зался неуместным; столкновения между общественными приличиями и близостью к природе не произошло. Пища была незнакомой и непривычной, пряной и ароматной, с каким-то ореховым привкусом. Я спросил Анну, она ли готовила еду, девушка безыскусно улыбнулась и сказала, что да, она, и сдержанно обрадовалась, когда я похвалил стряпню, наигранно или нет, не знаю. Ходсон вновь погрузился в свои мысли, ел быстро, не обращая внимания, что́ он глотает, а я болтал с Анной. Девушка была очаровательна. Она не ведала абсолютно ничего, что выходило за границы ее существования в этом уединенном месте, но недостаток знания в ней казался простым и прекрасным. Я отлично понял, что имел в виду Ходсон, сказав, что жизнь его, возможно, изменилась бы, если бы он встретил такую женщину, когда был молод, — и с удивлением обнаружил, что мои мысли текут в том же направлении, что я думаю о том, что если бы я не повстречал Сьюзен...

Я изгнал эти мысли из головы.

Мы пообедали, и Анна принялась убирать со стола.

— Вам помочь? — спросил я.

— Ни к чему, это женская работа, — спокойно ответила она.

Интересно, по какому образцу, по какому закону обучал ее Ходсон, но, как бы то ни было, избранный им курс между естественным и искусственным был лучшим для обоих миров, руководствовался ли он при выборе собственным удобством, эмоциями или же логическими рассуждениями.

Освободив стол, Анна принесла кофе, бренди и коробку отличных гаванских сигар, поставила все перед нами и удалилась, подчиняясь, видимо, заведенному порядку, которого придерживался Ходсон, несмотря на свои громогласные отказы от общественных обычаев. Мы все равно что поужинали в какой-нибудь лондонской гостиной, волшебным образом превратившейся в этот неказистый дом и, если уж на то пошло, ставшей благодаря преображению куда более приятной. Я ощущал покой и расслабленность. Дымок сигар плыл над нами, бренди согревал изнутри. Меня тянуло продолжить беседу с этим любопытнейшим человеком, но у него снова внезапно изменилось настроение.

Разглядывая меня поверх ободка своего стакана, он заявил:

— Что ж, теперь, когда вы убедились, что я не имею ничего общего со всеми этими слухами, вам, вероятно, не терпится убраться отсюда и продолжить свои расследования, руководствуясь другими версиями.

Его тон не оставлял сомнений в том, кто именно из нас жаждет моего отъезда. Радостный энтузиазм иссяк, и его вновь охватило беспокойство — Ходсон был человеком настроения,

задор сменился депрессией, он, должно быть, чувствовал, что снова пал жертвой своей старой прискорбной привычки — разболтал слишком много и слишком быстро, и сразу же пожалел об этом.

Он взглянул на часы.

— Вам, конечно, придется остаться на ночь,— буркнул он. — Сможете найти дорогу обратно?

— Боюсь, что нет. Не хотелось бы обременять вас, но...

— Да. Ну ладно, может, это и к лучшему. По крайней мере, мое местонахождение останется тайной. Без обид, но вы уже помешали моей работе. Индеец помогает мне кое в чем, а теперь он должен тратить время, провожая вас обратно через горы. Что ж, мне урок на будущее, больше подобной ошибки я не допущу. Как мне раньше не пришло в голову втолковать ему, что из Ушуаи он должен возвращаться один. — Он улыбнулся. — Не представляю себе человека, который стал бы возражать индейцу, коли дело дойдет до спора.

Все это он произнес без тени личной неприязни, словно обсуждая кого-то отсутствующего, и говорил он спокойно, хотя слова и были грубоваты.

— Индеец, возможно, один из самых сильных людей на земле, — продолжил он. — Я видел, как он творит такое, что и не поверишь... настоящие силовые трюки, и к тому же ему и в голову не приходит, что он делает нечто выдающееся. Трижды он спасал мне жизнь, подвергая себя огромной опасности, но ни секунды не колеблясь. Заметили вы шрам у него на боку?

— Да.

— Он заработал его, выручая меня.

— Каким образом?

Ходсон чуть нахмурился, видно вспоминая неприятный случай:

— Это случилось на Амазонке. На меня набросилась дикая кошка — ягуар. Индеец пришел на помощь в последний момент, еще миг — и было бы поздно. Я не боюсь смерти, но мысль о том, что я умру, не завершив работу, невыносима.

— Я думал об этом шраме. Ягуар, вы сказали? Рана была нанесена клыками или когтями?

— Ну, точно не скажу — я тогда был немного взволнован, что нетрудно представить. Хищник ударил передней лапой, полагаю. Но случилось это давненько. Хотя, как ни странно, индеец совершенно не изменился. Он будто бы человек без возраста. Неуязвимый и бесценный для меня — в делах, требующих силы и выносливости. Он может ехать много дней подряд без сна и пищи в самых выматывающих условиях.

— Это я узнал на собственном опыте.

— И несомненно, узнаете снова завтра. — Хадсон улыбнулся и налил еще бренди.

Мы проговорили остаток вечера, но мне не удалось вернуть его к теме работы, и было еще довольно рано, когда он предложил разойтись по спальням, снова упомянув, что мне завтра рано вставать и отправляться в поход. Я не мог не согласиться с ним, и Ходсон, хлопком призвав Анну, велел ей показать мне мою комнату. Он все еще сидел за столом, когда я следом за девушкой, миновав занавеску из бусин, прошел в маленькую каморку, где мне предстояло провести ночь. Это была крохотная комната с приткнувшейся к стене койкой и полным отсутствием иной мебели. Электричества тут не оказалось, и Анна зажгла свечу, чтобы постелить мне. Замешательство вновь овладело мной — видеть ее при свете свечи, обнаженной, склонившейся над постелью и не испытывать при этом волнения оказалось не так просто, как за обедом. Мягкие отблески плясали на ее медной коже, не давая отвести взгляд от колеблющихся теней, то скрывающих, то выставляющих напоказ части совершенного тела. Она шевельнулась. Тени поплыли, плоть словно запульсировала. Нагнулась — и налитые груди повисли, точно спелые плоды, ждущие сборщика урожая, соблазняя и вводя в искушение. Мне пришлось твердить себе, что было бы гнусно воспользоваться ее невинностью, и я не без труда переключил мысли на Сьюзен, ждущую меня в Лондоне. Я считаю, что мужчина от природы полигамен, и стану категорично утверждать, что это плохо, но потребовались немалые усилия воли, чтобы не думать об очевидном.

Девушка с улыбкой выпрямилась. Постель была готова.

— Вам понадобится что-нибудь еще? — спросила она.

— Спасибо, ничего.

Она кивнула и ушла, а комната с ее исчезновением стала холодна и сурова.

Я скорчился на жесткой койке.

Уснуть не получалось.

Было еще слишком рано, и, хотя все тело мое ныло и протестовало после сурового путешествия, разум оставался деятелен и взбудоражен. Мысль о том, что с рассветом придется снова пускаться в путь, была неприятной, и ее усугубляло то, что все мои усилия почти ни к чему не привели. Возможно, Ходсон попросит индейца ехать помедленнее, хотя не стоило бы на это рассчитывать, после того как ученый заявил, что ему будет очень не хватать слуги, вынужденного терять время на мои проводы. Обидно, обидно, и то, что поездка оказалась напрасной, обидно вдвойне.

Наконец я начал погружаться в сон, тело одержало верх над мозгом, увлекая меня в полубессознательное состояние. Перед

моим мысленным взором возникло лицо Сьюзен, а потом, когда грезы стали сильнее дум и подсознание сбросило оковы воли, видение изменилось, явив мне прелестную Анну, которую я уже не мог и не желал отвергать. И я сдался этому разнузданному ночному внутреннему «я», поддался превращению мыслей в сон.

Я спал.

И проснулся в ужасе...

Меня разбудил некий звук.

Я не выкарабкивался из грез постепенно, я пробудился сразу, в одно мгновение обретя способность мыслить здраво, зная, что это был не сон, и в ту же секунду поняв, что это был за звук. Слова Грегорио ярко вспыхнули в памяти — звук, которого не слышал никто из людей, — и я знал, что звук был тот самый.

Это был крик, низкий, нарастающий вначале, вибрирующий в конце, крик, который могут издать лишь голосовые связки, хотя я и не слышал, чтобы хоть какие-то голосовые связки могли осилить такое. Крик неописуемый и незабываемый, вой мучащегося существа.

Я лежал, дрожа, глядя в темный потолок. Свеча догорела, и страх мой был непроглядней тьмы в комнате. Кажется невероятным, чтобы звук, любой звук, заставил человека чувствовать себя беспомощным, и все же я окаменел. Я всегда считал себя не трусливее любого, но это ощущение выходило за пределы человеческой смелости — и вообще за пределы человеческих понятий. Мне отчаянно хотелось остаться на месте, застыть во тьме неподвижным безмолвным клубком, но я знал, что никогда не прощу себе такого малодушия, и я, превозмогая мучения, заставил себя двигаться дюйм за дюймом — все кости, казалось, немилосердно скреблись друг о друга.

Портсигар и зажигалка лежали на полу возле койки, и я, пошарив вокруг, зажег свечу. Тени снова запрыгали по стенам, вынуждая меня, съежившись, дожидаться, когда реальность обретет форму. Прошло немало секунд, прежде чем мне удалось встать и натянуть одежду на ледяное и мокрое от пота тело. Потом, держа перед собой свечу, точно оберег против зла, я двинулся к двери и шагнул сквозь занавеску из бусин.

В доме было тихо. Слишком тихо.

Когда раздается такой звук, едва ли кто-либо может продолжать спать, и все же суеты пробуждения слышно не было. Как будто обитатели дома бодрствовали и были готовы к шуму. Кричали очень близко, и звук колебался, словно эхо металось где-то в тесноте, и я подумал о пещере позади дома; более того, я отчего-то был твердо уверен, что звук исходил именно оттуда;

осторожно пройдя по коридору к передней комнате, я из нее двинулся по второму проходу, ведущему ко входу в пещеру. Вопль больше не повторялся, но тишина, повисшая после него, ужасала по-своему. Жуть сковывала меня, мурашки щипали тело, я так дрожал, что сам себе казался змеей, готовящейся сбросить кожу. Страх — эмоция, но этот страх был первобытным, связанным скорее с инстинктами, чем с сознательным представлением об опасности. Мне хотелось найти источник звука, но ужас мой был так глубок, что я даже не мог подобрать ему определение; какое-то отвращение атавистическим осколком прошлого таилось во мне до поры, какая-то чудовищная наследственная память вдруг пробудилась.

Я заставил себя перейти во вторую комнату. Дверь в пещеру была открыта, за ней темнел туннель. В конце его, там, где проход расширялся, маячил слабый свет, но мрак коридора оставался непробиваем, а шагнуть в черноту означало погрузиться в ледяные, тошнотворные волны паники. Не знаю, какое решение толкнуло меня вперед, какие резервы силы воли заставили ноги механически подниматься и опускаться, но, держа перед собой свечу, я зашагал по туннелю.

Круг бледного колеблющегося света сопровождал меня, скользя по неровным каменным стенам и оживляя зловещие тени. Он тянулся навстречу сиянию в конце коридора, теряясь в нем, отступая от печей, от груды тряпья, преградившей мне путь.

Тряпья, которое шевелилось.

Я закричал бы, не откажи мне голос, и застыл, превратившись в немую статую, когда лохмотья переместились, обрели форму и передо мной возникло лицо, искаженное, морщинистое, но человеческое, обмотанное какими-то грязными тряпками, с горящими под нависающим лбом глазами. Это была женщина, старуха, горбатая и перекошенная. Она приближалась ко мне. Потом остановилась, широко раскинув руки, омерзительной пародией на распятие перекрыв дорогу; растрепанные лохмотья свисали с ее локтей, точно продолжение тела, точно какая-то перепонка, соединяющая руки с боками.

Она зашипела, выплюнув восклицание, возможно слово, на неизвестном языке, раскачиваясь из стороны в сторону на кривых ногах, а потом за ней возникла другая фигура, отшвырнула старуху и двинулась ко мне. Сердце мое остановилось, а потом взорвалось, едва не затопив мозг горячей волной крови. Я уронил свечу и увидел в луче бьющего с пола света индейца, с раздувающимися ноздрями и глазами, тонущими в овалах теней, брошенных на глазницы выступающими скулами. Пальцы его сомкнулись на моем плече — с немыслимой силой, словно им

ничего не стоило раздавить мне кости. Честное слово, я ожидал, что умру в тот же миг.

Потом хватка ослабла. Я смутно осознавал, что Ходсон крикнул что-то из лаборатории; слышал глухой лязг закрывшейся железной двери. Потом индеец развернул меня и, подталкивая перед собой, повел обратно тем же путем, что я пришел сюда. Я не сопротивлялся, и он не проявлял чрезмерной грубости, хотя эти руки были не способны к нежности. Он шел за мной, пока мы не добрались до моей комнаты, потом показал на кровать четырьмя растопыренными пальцами и стоял в проеме, пригнувшись, пока я, скорчившись, вползал на койку. Когда я повернулся на бок, он ушел. Штора из бусин прошелестела, прощаясь с ним, и я обмяк на постели, расплылся безвольной лужей, и мне не стыдно признаться в этом.

Прошло некоторое время, прежде чем мой разум освободился от эмоций и я вновь обрел способность думать. Хотя мысли метались беспорядочно. Кто издал тот звук? Что там, в комнате за лабораторией? Кто эта древняя карга, каковы ее обязанности, что сделал бы со мной индеец, не крикни Ходсон? Где была Анна? Каковы взаимоотношения живущих в этом доме, каковы их роли в чудовищном спектакле, разыгрываемом здесь, какую цель они преследуют? Я не находил ответов и едва ли хотел их отыскать, не готовый к тому, чтобы ужасное знание растравливало мозг, когда плечо мое все еще горело после страшных тисков гиганта-индейца, а кошмарный крик вибрировал в памяти.

Утром в мою комнату вошла Анна.

Она вела себя так, словно ничего необычного этой ночью не произошло, просто сказала, что завтрак готов. Я так и не разделся, соленый пот подсох на моей одежде беловатыми разводами, но она этого не заметила — или воздержалась от комментариев. Я сразу встал и последовал за девушкой в гостиную; Ходсон уже сидел за столом. Выглядел он усталым и опустошенным. Я сел напротив него.

— Хорошо спалось? — осведомился он.

Я промолчал. Анна налила кофе из глиняного кувшина. Руки Ходсона почти не дрожали, пока он пил.

— У меня не получилось уснуть, — небрежно проговорил он. — Я часто встаю посреди ночи и делаю какую-нибудь работу.

— Работу? Какую работу?

— Прошу прощения? — Его досада и удивление, вызванные моим тоном, казались искренними.

— Ради всего святого, что за крик был этой ночью?

Ходсон задумался на несколько секунд, вероятно прикидывая, что мне ответить, если вообще стоит отвечать, и взвеши-

вая, удовлетворить ли мое любопытство или отругать за дерзость.

— А, вы имеете в виду — как раз перед тем, как вы явились в лабораторию?

— Вот именно.

— А я-то все думаю, чего это вам вздумалось бродить в темноте.

— А я все думаю о причине того звука.

— Я слышал его, — сказал Ходсон. — Да, если поразмыслить, неудивительно, что он возбудил ваше любопытство. Но знаете, это просто ветер. Слышали, как он воет выше в горах? Так вот, иногда порывы проникают в трещины скал и проносятся по пещере. Меня в первый раз тоже ошеломил этот звук. Так и подмывало отыскать щель и законопатить ее, но, к сожалению, она необходима для естественной вентиляции. Иначе, видите ли, в лаборатории будет так же душно, как в туннеле.

— Это был не ветер.

— Не тот ветер, звуки которого вы когда-либо слышали, Брукс. Но тут странное место, и ветер приходит оттуда, где еще не рисковала ступать нога человека.

И я засомневался. Раньше я был точно уверен, но ведь существовала вероятность того, что Ходсон говорит правду. Я заметил, что воздух в лаборатории свежий, следовательно, отверстия в скале имелись. Но кошмарный звук до сих пор жил в моей памяти, вынуждая сомневаться в объяснениях Ходсона.

— Извините, если индеец напугал вас, — продолжил Ходсон. — Я, понимаете, дал ему указание никого не впускать в лабораторию без меня. Он просто исполнял свои обязанности.

— Если бы вы не крикнули...

Ходсон молчал, держа кружку у губ.

— Он убил бы меня?

— У вас слишком живое воображение для ученого, — хмыкнул Ходсон и отхлебнул кофе. — Я, знаете ли, не Франкенштейн. Не безумный профессор из плохого фильма. Хотя, должен сказать, тупая толпа обычно недопонимает безумных ученых и дурно обращается с ними.

— Кто та старуха?

— Вас это не слишком касается, но отвечу — она старая служанка. На самом деле не такая уж и старая, но местные дряхлеют быстро. От нее уже нет никакой пользы, но я разрешил ей остаться. Ей некуда больше идти. Но вы же наверняка не заподозрили злого умысла в несчастной пожилой женщине, а?

Насмешливое выражение его лица разозлило меня.

— Очень благородно с вашей стороны позволить ей остаться, — вызывающе заявил я. — И снабдить ее столь экстравагантным одеянием.

В его глазах мелькнуло что-то — однако не возмущение.

— Мои дела — это мои дела, — отрезал он. — А вам, кажется, пора отправляться. Индеец уже оседлал вашу лошадь и ждет вас.

У дверей я обернулся:

— Извините, что побеспокоил вас.

Ходсон пожал плечами. Анна стояла рядом с ним.

— Ничего, — сказал он. — Возможно, мне было на пользу поговорить с кем-то. Удачи вам в ваших расследованиях.

— До свидания, — сказала Анна.

Мы торжественно пожали друг другу руки, как того, по ее представлениям, требовало прощание. Она осталась у дверей даже после того, как Ходсон вернулся в комнаты. Индеец вывел лошадей из-за угла, и я заметил, что оба животных нервничают, бьют копытами и фыркают. Когда я поставил носок ботинка в стремя, моя кобыла шарахнулась в сторону, и мне пришлось прыгать за ней на одной ноге, цепляясь за гриву и заднюю луку, прежде чем удалось все-таки взобраться в седло. Раньше лошадь была очень спокойной. Индеец взлетел на своего коня и первым двинулся вверх по тропе. Я оглянулся и помахал Анне. Она тоже подняла руку, но неуверенно, видимо, незнакомая с этим жестом. Потом она скрылась в доме.

«Что ж, вот и все», — подумал я, когда мы выбирались из узкой лощины. Но потом заметил еще кое-что. Северный склон горы порос кустарником, зелень тянулась до самого подножия, и, когда мы проезжали над зарослями, я разглядел примятую полосу, возможно в ярд шириной, бегущую с вершины холма, а там, где она заканчивалась, грудой валялись сломанные ветки, словно скрывая что-то. Сквозь переплетение сучьев смутно виднелось что-то серое. Казалось, что что-то стащили вниз с края горы и поспешно спрятали. Определить, что это, я не мог. Когда мы достигли верхней точки тропы, я увидел в небе два темных крылатых силуэта, которые, покружившись, начали осторожно снижаться, вытянув длинные шеи, опустив головы с острыми кривыми клювами. Отвратительные падальщики медленно планировали к северному склону; потом их скрыла возвышенность, мы двинулись дальше, и я больше ничего не видел.

VII

Ну и видок же был у меня, наверное, судя по выражению лица Грэма, когда я остановил лошадь перед его складом. Я был грязен, небрит и вымотан до предела. Но выглядел я, пожалуй, не хуже, чем чувствовал себя. Темп обратного путешествия от-

нюдь не снизился, и последовало оно слишком быстро после первого, чтобы тело успело оправиться от напряжения и закалиться в дороге. Однако двужильный индеец даже не передохнул, прежде чем отправиться назад к своему хозяину. Когда мы наконец добрались до начала тропы, ведущей через плоскогорья к Ушуае, он ткнул в сторону города все тем же своим любопытным манером — четырьмя растопыренными пальцами, резко развернул коня и двинулся обратно в горы.

Грэм помог мне спешиться.

— Все в порядке? — спросил он.

— Да. Только одеревенел и устал.

— Выглядите как раненый бандит, неделю бежавший от полиции, — заметил торговец.

Я ухитрился улыбнуться, чувствуя, как трескается засохшая грязь в складках кожи лица.

— Не ожидал, что вы вернетесь так скоро.

Грэм накинул свернутые петлей поводья на столбик, и мы прошли в здание.

— Я тоже. Боюсь, Ходсон был не слишком-то рад мне.

Грэм нахмурился. Негостеприимность на приграничных территориях — большая редкость.

— Всегда считал этого Ходсона странноватым, — проговорил Грэм. — Чем он там занимается?

— Честное слово, не знаю.

Я стал шагать взад и вперед по складу, пытаясь размять напряженные, твердые как камень мышцы. Грэм позвал мальчика и велел ему отвести мою лошадь в конюшню.

— Далеко вы заехали?

— Бог знает. Как быстро способна перемещаться лошадь в здешних горах? Мы ехали больше суток.

— Ага, верно. Бог знает. Но, держу пари, наш индеец способен покрыть самое большое из всех возможных расстояний за это время. Удивительно, как эти люди находят кратчайшие пути. Впрочем, все равно не понимаю Ходсона.

Он пошарил за прилавком и достал бутылку; протянул ее мне, и я хлебнул прямо из горлышка. Это был бренди, и я сразу почувствовал себя лучше.

— Ну, что теперь? — спросил Грэм.

— Не знаю. Первым делом погружусь в горячую ванну. Потом завалюсь спать до утра. В таком состоянии я не могу принимать решения.

— Верно говорите.

Я поблагодарил торговца за помощь, сказал, что загляну к нему завтра, после того как определюсь, какие еще припасы или какая подмога мне потребуются, и захромал к гостинице. Клерк

у стойки вежливо приподнял бровь, оценив мой вид, и я попросил его послать горничную согреть мне ванну. Думаю, он счел мое пожелание вполне обоснованным и даже поинтересовался, не надо ли мне помочь подняться по лестнице. Я, однако, справился сам, а едва оказавшись в комнате, стянул грязную одежду, закутался в халат и присел на кровать в ожидании ванны. Секунду-другую спустя я откинулся на спину и прикрыл глаза — только на минуточку.

Я не слышал стука горничной, а когда проснулся, было уже утро...

День я провел расслабляясь; написал два письма, сидя за столиком в баре. Джонс, несмотря на нежелание следовать проторенными туристскими маршрутами, все же поддался соблазну слетать чартерным рейсом на мыс Горн, так что отвлекающий фактор отсутствовал — разве что я сам размышлял о том, как он поладил с тремя вдовицами, и о том, что и сам бы не отказался взглянуть на мыс Горн.

Первое письмо предназначалось Смиту. Прежде чем начать писать, я некоторое время раздумывал, а потом подробно изложил свои беседы с Грегорио и Макферсоном и рассказал о визите к Ходсону, боюсь излишне подчеркнув, какой преданности долгу потребовала эта поездка. Я кратко обрисовал характер работы Ходсона, руководствуясь тем, что мне сообщил сам ученый, и спросил мнение Смита о вероятности успешного завершения подобных трудов скорее просто из интереса, чем в связи с моими собственными изысканиями, пояснив, что все это умозрительно, так как Ходсон явно больше не потерпит моего любопытства. Я упомянул об индейце и Анне, о первом — с благоговейным страхом, о второй — с восхищением, и сам удивился тому, какое глубокое впечатление произвела на меня эта девушка. В заключение я написал, что считаю дальнейшее расследование оправданным, несмотря на показное безразличие Ходсона и отсутствие его видимой связи с сообщениями о странном существе.

Но я ничего не сообщил о ночном крике.

Я обнаружил, что отчего-то не способен выразить чувство, внушенное мне этим звуком, и определенно не могу ни описать его, ни сравнить с чем-либо. Сейчас, в уютной тишине отеля, мне почти хотелось отмести мысль о связи Ходсона с приведшими меня сюда слухами. Его лабораторная работа не имела к молве никакого отношения, делать успехи в работе ему никто не запретит, а объяснение ученого — ветер, воющий в расселине, — звучит довольно резонно и даже буднично, хотя от воспоминаний меня до сих пор бросает в дрожь. Но чувство было

слишком субъективным, чтобы облечь его в письменную форму, и я даже не стал пытаться.

Второе письмо было для Сьюзен. Перед тем как взяться за перо, я перечитал то, что написал об Анне, и ощутил себя изменником. Я вспомнил, что чувствовал, наблюдая, как она, обнаженная, склоняется над кроватью, как играет свет свечи на ее коже; вспомнил, как напряглись от страсти мои чресла и как близок я был к тому, чтобы устремиться к ней. Я всегда хранил верность Сьюзен и никогда прежде не испытывал ни малейшей тяги к какой-то другой женщине, но там, в тесной каморке, в далеком и грозном краю, мне пришлось бороться с желанием столь мощным...

Ничего. Я устоял и был очень рад этому и писал теперь Сьюзен с любовью.

VIII

Я очнулся от мыслей о прошлом, о том далеком месте, о минувших бесконечных неделях, вернувшись к дню нынешнему. Официант собирал тарелки, озабоченный тем, что мы едва прикоснулись к еде, но слишком хорошо вышколенный, чтобы показывать это; он понимал, что у нас что-то случилось — что-то очень плохое.

— Что-нибудь еще, сэр? — тихо предложил он.

— Выпьешь?

— Да. Что-нибудь покрепче, — попросила Сьюзен.

Она никогда не пила много. Я заказал двойной бренди для нас обоих, и Сьюзен первым же глотком опустошила бокал наполовину.

— Я сохранила твое письмо, — сказала она, как будто прочла мои мысли. — Письмо, которое ты послал из Ушуаи. Ты еще любил меня, когда писал его, да? Или оно тоже было ложью?

— Никакой лжи, Сьюзен. Ни тогда, ни сейчас. Я люблю тебя так же сильно, как и всегда.

— Да, то, что *изменило* тебя, случилось, видимо, после того, как ты написал мне. Любовь в письме неподдельная, я знаю.

Она допила бренди.

— Но я не стану больше пытать тебя.

— Еще?

— Да, — ответила она и тут же перевернула пустой стакан вверх дном. — Нет, не надо. Я хочу уйти, Артур.

— Хорошо.

Я сделал знак официанту.

— Я хочу уйти одна, Артур, — проговорила Сьюзен.

— Сьюзен, дорогая...

— О господи. Это невыносимо. Я ухожу сейчас же.

Она вскочила и быстро зашагала к выходу. Я отодвинул стул, начал вставать, но вместо этого тяжело опустился на сиденье. Официант застыл у столика, Сьюзен натягивала пальто у стойки.

— Счет, сэр? — спросил официант.

Я тряхнул головой:

— Нет. Пока не надо. Еще бренди.

— Двойной, сэр?

— Да.

В тот день, когда Грегорио появился в баре «Альбатроса», я тоже пил двойной бренди. Это было *на второй день после моего возвращения от Ходсона. Я послал мальчика Грэма за Грегорио, рассчитав, что получу преимущество, сделав ему предложение в гостинице, а не в его лачуге,* — поговорю, так сказать, на своей территории, вдали от реальностей жизни Грегорио.

Он застыл в дверях, рядом с мальчиком. Я кивнул, и мальчишка, показав на меня, юркнул наружу. Грегорио подошел к бару и встал рядом со мной.

— А, это ты, — сказал он не слишком радостно. — Забыл имя.

Создавалось впечатление, что если бы он помнил, то не пришел бы.

— Что будешь пить?

— Писко, — ответил он, пожав плечами.

Бармен *налил виноградный спирт* в большой бокал. Грегорио не торопился пить, ноги его нервно елозили по полу.

— Я искал твоего bestia hombre, — сообщил я.

Он кивнул, словно ожидал этого. И поднял стакан.

— Моли Бога, чтобы он не искал тебя, — произнес он.

— Ты поможешь мне, Грегорио?

— Я? Как?

— Проводи меня туда, где ты видел его.

— Нет. Я не пойду туда снова.

Он не просто отказывался, он будто констатировал непреложный факт. Грегорио вытащил *непромокаемый* кисет и закопченную трубку и начал набивать ее какой-то экзотической смесью.

— Я хорошо заплачу.

Он злобно зыркнул в мою сторону, чиркнул спичкой и продолжал разглядывать меня поверх пламени, раскуривая трубку в клубах дыма. Табак почернел, полез наружу, и Грегорио утрамбовал его мозолистым пальцем. Несколько тлеющих крошек упали на пол.

— Мне нужны деньги, — сказал он. — Нам всем нужны деньги. Но не за то место.

— От тебя больше ничего не требуется. Просто проводи меня. Разве это опасно?

— Опасно? Кто знает? Возможно, нет. Но то место, это... это нехорошее место. О нем очень плохие воспоминания. Я больше не молод и больше не храбр. Пес был храбр.

Он снова пожал плечами.

— Ладно, а ты можешь показать на карте?

— На карте?

Я подумал, он не понял слова.

— Кар-та, — произнес я раздельно.

— Да, я знаю, что это. Но что карта? Нет карты того места. Подробной нет.

— Ты можешь нарисовать карту сам?

— Без пользы для тебя. Я прожил здесь всю свою жизнь, и я немолод. Я знаю землю. Но рисовать карту — что показать на ней? Тут скалы, деревья, холмы. Как их различишь? Я, может, различу, но я знаю их. А на карте все одинаково.

Все верно. И моя просьба была необдуманной. Но так или иначе, мне нужен был проводник, человек, знакомый с местностью и желательно знающий, где Грегорио видел то существо. А кроме самого Грегорио, таких не было.

— Я уже был там, — сказал я.

— Да.

— Я слышал тот звук. Грегорио, я слышал его и знаю, что ты говорил мне правду.

Его глаза расширились. Мне хотелось поразить его.

— Я слышал его в ночной тьме.

— И все же ты хочешь найти того, кто кричал?

— Да.

— Ты очень храбр, сеньор. Храбрее, чем я.

— Потому что я знаю, что опасности нет. Да, я испугался, когда услышал тот звук. Но это кричало живое существо. Не демон, не дух; кем бы оно ни было, оно живое, а мы будем хорошо вооружены. Оно не причинит нам вреда.

Я пытался выглядеть уверенным, даже беспечным, и Грегорио, кажется, поддался. Он вытащил изо рта трубку, выпил, снова поднес трубку к губам, затянулся, так что щеки ввалились, а между бровями обозначилась глубокая складка.

— У меня тоже будет ружье? — спросил он.

Я кивнул. На самом деле я не знал, собираюсь ли, вопреки своим принципам, брать оружие, но понимал, что уступлю, если это потребуется, чтобы сломить упрямство Грегорио.

— Я хочу убить его, — заявил он.

— Только в целях самозащиты...

— Я очень хочу отомстить за пса, да. — Скулы его напряглись. — Но пес мертв. Это ему не поможет. Моя испанская кровь — вот что взывает к мести.

Он облокотился на стойку, опустил голову. Из-под холщового пончо будто рвались острые лопатки, а из-под наморщенного лба — острые мысли.

— Я буду очень бояться, — признался он, не глядя на меня. Стиснутая крепкими зубами трубка хрустнула.

— Но ты покажешь мне?

Помолчав, он поднял взгляд.

— Сколько ты мне заплатишь? — спросил Грегорио.

Но я знал, что деньги для него сейчас не имеют значения.

Мы решили отправиться в путь через два дня — этого времени вполне достаточно на сборы, и я как раз отойду от предыдущего путешествия. На самом деле я чувствовал себя довольно неплохо. Вернувшись, я делал кое-какие упражнения, занимался зарядкой, чтобы не немели мышцы, и полагал, что нагрузки укрепили меня достаточно, чтобы не страшиться повторного похода. Кроме того, на этот раз я сам смогу диктовать темп передвижения. И хотя мне хотелось поскорее попасть туда, где Грегорио встретил существо, я не видел нужды торопиться, пока мы окончательно не подготовимся к путешествию, и не чувствовал того нетерпения, как то, что обуревало меня в ожидании появления человека Ходсона, когда время и расстояние были неизвестными величинами. На этот раз мы в состоянии все рассчитать точно и взять все снаряжение и припасы, необходимые для длительного пребывания в горах.

Грэм и Грегорио обсуждали, что нам потребуется, и я предоставил выбор им, полностью доверяя их суждениям, беря напрокат, что возможно, и покупая остальное, руководствуясь их советами. Для себя лично я купил только комплект одежды, аналогичный тому, что был на мне в первом походе, и пару легких сандалий на смену тяжелым ботинкам. И настолько не обращал внимания на все прочее, что вечером перед походом очень удивился размеру горы скопившихся принадлежностей.

Мы брали с собой две маленькие палатки, спальные мешки, плащ-палатки и одеяла для защиты от холода и ветра; кучу съестных припасов как для себя, так и для лошадей, всяческую кухонную утварь, хранящуюся в специальном ящичке, аккуратно подогнанную друг к другу, а также двухконфорочную газовую печку, которую Грегорио считал немыслимой роскошью и даже не презирал, хотя на прочие блага цивилизация смотрел свысока; полную аптечку со средствами первой помощи, лопату и топор — складные, для удобства перевозки и упаковки, море

писко, обладающего тройной функцией — функцией питания, обогрева и лечения — и нравящегося мне все больше с учетом цены — несколько шиллингов за бутылку. Сваленные в кучу, все эти припасы заняли довольно много места в углу склада Грэма, но он заверил меня, что легко распределит все это между двумя вьючными и двумя верховыми лошадьми.

Он уже озаботился наймом вьючных животных и той самой кобылы, на которой я ездил прежде, — по моей просьбе, так как я убедился в ее надежности и моей способности управлять ею. Грегорио собирался взять собственного коня, серого мерина, и я добавил стоимость проката одной лошади к той сумме, которую платил ему как проводнику.

Пока я проверял припасы, Грэм занялся другим покупателем. Грегорио стоял рядом со мной.

— Что ж, у нас, похоже, есть все, что может понадобиться, — заметил я. — Вы основательно подошли к делу.

Грегорио кивнул, потом нахмурился.

— Что такое?

— Ружья? — напомнил он.

Я действительно забыл о них. Я колебался, боясь, что Грегорио сотворит что-нибудь опрометчивое из ненависти, или из страха, или из желания отомстить. Но он смотрел на меня выжидающе, и я знал, что не смогу его уговорить выступить без оружия. Винить его я не мог, понимая, что мысль о том, что мы, если что, сумеем защитить себя, позволит нам обоим чувствовать себя увереннее.

— Да, *я позабочусь о них*, — пообещал я.

Грэм закончил разговор с покупателем, и я, подойдя к прилавку, осведомился об охотничьих ружьях. Грегорио не отставал от меня, словно желая лично убедиться в том, что мы их получим.

— Я об этом не подумал, — признался Грэм. — Не знал, что вам понадобится оружие.

— Я твердо убежден, что оно нам не понадобится.

— Гм, сам я не торгую оружием. У всех моих постоянных клиентов имеются свои ружья, а туристов, собравшихся пострелять, обычно оснащают их бюро путешествий.

Грегорио придвинулся ближе:

— Но где-то же их продают.

— О да. Но почему бы вам не занять парочку стволов у Гардинера? — Видимо, мысль о том, чтобы послать меня к конкуренту, претила ему. — Гардинер иногда охотится, и у него есть несколько лишних ружей. Хотите, я попрошу его?

— Я сам попрошу, — сказал я. Идея казалась хорошей, и я был уверен, что Гардинер не откажет. — Сейчас же отправлюсь к нему.

Грегорио вернулся к вещам, удовлетворенный моими усилиями, а я вышел на улицу и, поймав такси, дал шоферу адрес Гардинера.

Он, как обычно, обрадовался, заполучив собеседника, и, как обычно, поднес мне выпивку, пока мы обсуждали мою поездку к Ходсону и мои планы касательно второго путешествия. Когда я закончил, он спросил, не может ли чем-нибудь помочь мне. Вот тут-то и попросить бы его об одолжении, но я отчего-то смутился — нелепо как-то взять и потребовать ружья.

Как можно небрежнее я проговорил:

— Я тут подумал, а не стоит ли прихватить оружие? Как вы думаете?

— Оружие?

— Ну, ружья.

— Из спортивного интереса, чтобы добывать пищу или для защиты?

— Для защиты, полагаю, — ответил я, чувствуя себя глупо.

Гардинер улыбнулся:

— Значит, вы поверили этим слухам, так?

— Не знаю. Но возможность признаю.

Он задумчиво кивнул и стал серьезен.

— В любом случае идея ведь неплоха, а? Если, например, лисы или еще кто попытаются утащить наши припасы...

— Идея чертовски хороша, если вам интересно мое мнение, — заявил он. — Нет ничего плохого в том, чтобы быть в безопасности. И кстати, от этих слухов волосы встают дыбом, и не важно, кто там убил овец Мака.

— Что бы вы посоветовали мне взять? — задал я вопрос, так и не решившись попросить напрямую, но Гардинер сам избавил меня от такой необходимости.

— Могу ссудить вам ружье, если хотите, — предложил он.

— Я был бы весьма благодарен, если это не затруднительно.

— У меня есть несколько запасных ружей. Что тут делать, если не постреливать время от времени, ружья копятся, как клюшки для гольфа, или теннисные ракетки, или дротики, — во что бы вы ни играли, всегда появляется что-то новенькое, что хочется заполучить. Так-так, что же вам подойдет? Трудно решить, если не представляешь, в кого вам придется стрелять. — Он, кажется, обдумывал вопрос совершенно серьезно. — Дробовик или винтовка, что вы предпочитаете?

— Думаю, с дробовиком мне было бы удобнее. Но если вы можете одолжить два ствола, Грегорио взял бы винтовку.

— Конечно. Вот и решение проблемы. Грегорио наверняка будет чуточку счастливее с оружием в руках.

— Да. Он верит в то, что видел, вне зависимости от моего мнения.

Гардинер в очередной раз наполнил наши бокалы и вышел из комнаты; вернулся он быстро, уже вооруженный, и протянул мне дробовик. Это было великолепное ружье, такое же как то, что висело на стене, украшенное гравировкой каким-то искусником из Бильбао.

— Двустволка, двенадцатый калибр, — объяснил он. — На левом стволе дульное сужение для кучности боя.

Секунду я восхищался мастерством оружейника, потом перехватил оружие половчее, прикидывая его вес. Я был почти такого же роста, как Гардинер, так что дробовик оказался мне по руке.

— Прекрасное ружье. Отлично мне подойдет.

— Думаю, и у Грегорио с этим проблем не возникнет. — Старик отдал мне винтовку. Это был «Саваж» триста третьего калибра, модель рычажного принципа действия веса пера, легкая и эффективная в горных и лесистых местностях, где длинная винтовка только обременяет. — Бьет сильно, стреляет быстро, — добавил Гардинер, мрачно глядя на меня. Наверное, ему передалась моя нервозность, потому что говорил он более чем серьезно. — Просто на всякий случай.

— Да. Вероятность воспользоваться вашим оружием у нас мала, верно?

— Прежде чем вы уйдете, я дам вам патроны и заряды для дробовика.

— Я, конечно же, заплачу.

Он махнул рукой.

— От имени музея, естественно.

— А, ну хорошо, тогда ладно. А лучше попросите Смита послать мне полдюжины бутылок того чудного бренди, которое он собирает.

— Конечно, — кивнул я.

Я не знал, что Смит коллекционирует бренди, чудное или нет. Много было вещей, о которых я не знал.

Когда я вышел из такси с ружьями, Грегорио сидел на ступенях склада. Он одобрительно кивнул, и я протянул ему винтовку. Он несколько раз щелкнул курком, потом ловко закинул оружие за плечо. Видно было, что ему не впервой носить винтовку. Удовлетворенный, он снова кивнул:

— Хорошо. Это мне?

— Точно. Но, Грегорио, обещай, что не воспользуешься оружием без крайней необходимости.

— Необходимости?

— Только если нам будет грозить опасность.

Он улыбнулся, сверкнув зубами.

— Да, обещаю, — сказал он. — Но если мы найдем ту тварь, думаю, необходимость будет крайней...

IX

Мы выехали рано утром. Шел дождь, ветер рвал темные тучи, разбрасывая клочья по небу. Грегорио вел вьючных лошадей, я ехал рядом с ним; немного напряженные мышцы только приветствовали дополнительную физическую нагрузку. Грегорио ехал почти так же, как индеец, чуть подавшись вперед и расслабившись, хотя не пренебрегал седлом и сапогами. Мы оба натянули капюшоны, защищаясь от ливня, и почти не разговаривали. Я сосредоточился на дороге, сообразив, что мы удаляемся от города тем же путем, что и индеец, — очевидно, кратчайшим или единственным, ведущим к горам. Я приметил несколько ориентиров, которые уже видел раньше, — необычной формы скалы, особо корявые деревья, тот же головокружительный выступ, с которого безмятежно следила за нами, возможно, та же самая дикая овца. Мы продвигались медленно и размеренно и остановились позавтракать раньше, чем достигли подножия гор; передохнув пару минут, мы продолжили путешествие. Грегорио раскурил трубку, и теперь она торчала из-под его капюшона, дымясь и шипя, когда капли падали в тлеющую смесь. Небо оставалось мрачным, погода — отвратительной. Бреши, проделанные ветром в низких тучах, тут же затягивали другие, еще более темные облака, опустившиеся сверху. Дождь, казалось, решил лить много дней подряд.

Когда мы добрались до подножия холмов и начали подъем, все казалось знакомым, но ничего, в отличие от ориентиров на плато, не бросалось в глаза, и я догадался, что это оттого, что все кругом одинаковое, даже любопытные и необычные нагромождения повторялись много раз, становясь банальными. Я понятия не имел, продолжаем мы следовать тропой индейца или нет. Грегорио, несомненно, знал местность, но ему не хватало безошибочного чувства направления слуги Ходсона, так что он время от времени останавливался, прикидывая, куда двигаться дальше, руководствуясь зрительной памятью, чего индейцу не требовалось. Мы часто ошибались, так что приходилось возвращаться, но не настолько, чтобы это сильно замедлило наше продвижение. Несколько раз мы подкреплялись глотком виноградной настойки. Дождь не прекращался, похолодало; поводья

сделались скользкими, влага начала просачиваться сквозь ткань ветровки, добавляя к дискомфорту неприятное ощущение сырости и запах мокрой шерсти. Я только обрадовался, когда Грегорио предложил остановиться на ночь, хотя и знал, что мы не преодолели и половины расстояния, которое покрыли с индейцем в первый день пути.

Мы разбили лагерь, решив не возиться с газовой печкой и палатками, пока не выберем более или менее постоянное место стоянки, а просто устроились под прикрытием скал, завернувшись в спальные мешки, поболтали немного и умолкли. Трубка Грегорио еще тлела какое-то время, а потом мы уснули.

Утром лило по-прежнему. Костер погас, и пришлось снова разжигать его, чтобы сварить кофе. Мы позавтракали консервами под пристальными взглядами повесивших уши лошадей. Продвижение еще больше замедлилось, когда мы взобрались выше и вокруг сгустился лес. Возникла необходимость двигаться цепью, и я перебрался в конец колонны. Мы ехали несколько часов и оказались у ручья. Не знаю, был ли это тот самый ручей, который мне пришлось пересечь, следуя за индейцем, — именно тогда я обратил внимание на шрам на его боку, — но даже если и так, мы определенно подошли к воде в другом месте. Берега были пологими, и мы без проблем переправились вброд. Я подумал, что ручей, наверное, тот же, но мы сейчас находимся севернее. Противоположный берег круто поднимался, и я уже подозревал, что мы вот-вот достигнем вершины, так как, по моим грубым прикидкам, мы к этому моменту прошли столько же, сколько за двенадцать-тринадцать тяжких часов моего первого путешествия, но мы продолжали подниматься, а земля все не понижалась, и это утвердило меня в мысли, что наш путь лежит севернее, там, где горная гряда тянется к Тихому океану. Либо так, либо мы едем гораздо медленнее и кружим гораздо больше, чем я надеялся.

Верхней точки мы достигли в разгар пасмурного дня — вся земля теперь лежала под нами. На западе маячили горы, полускрытые туманом и пеленой дождя, кажущиеся почти нереальными. Я спросил, сколько мы уже проехали, и Грегорио ответил, что больше половины пути. Прозвучало это ободряюще и в то же время не внушило большого желания ускорить темп. Пройдя еще несколько миль, мы нашли укрытие среди деревьев и скал и разбили наш второй лагерь.

Сидя у костра после обеда, Грегорио открыл коробку с патронами и принялся молча заряжать свою винтовку. Он поставил ее на предохранитель, но держал рядом с собой. Мой дробовик в разобранном виде — приклад отдельно, стволы отдельно, ак-

куратно завернутые в тряпицу, — так и лежал в мешке. И мне совершенно не хотелось его доставать. Дурные предчувствия не напоминали о себе, и земля уже не казалась такой дикой, как в первый раз, — сейчас мы двигались медленнее, и я мог хотя бы поговорить с проводником. Но возможно, Грегорио предпочел бы, чтобы и я вооружился.

— Мне тоже вытащить оружие? — спросил я.

Он пожал плечами.

— Мы не очень близко, — сказал он. — Я просто нервничаю. Никогда раньше я не был в горах без собаки, которая разбудила бы меня в случае опасности. Я оставил собаку другу...

Интересно, подумалось мне, та ли это собака, которая убежала, когда погиб Эль Роджо? Но я не стал спрашивать.

Все утро третьего дня мы постепенно спускались. Дождь поутих, хотя небо оставалось сумрачным, серо-стальным вперемешку с черным. Проехали мы немало, и, хотя к северу и югу от нас земля по-прежнему уходила вниз, оглядываясь, я видел, что пики остались далеко позади. Местность была открытой, и я снова мог ехать рядом с Грегорио, но он пребывал в мрачном настроении. С винтовкой за спиной мой проводник походил на бандита из какого-нибудь голливудского фильма. Когда мы остановились перекусить, он мало интересовался едой, но выпил куда больше писко, чем обычно, будто чтобы протолкнуть куски в желудок, и даже отказался от неизменной послеобеденной трубки, чтобы скорее выступить в путь.

Проехав около мили, мы свернули с относительно ровной дороги и стали спускаться в каньон, протянувшийся в северном направлении. Справа на удивление ровными рядами росли деревья, устало склонившие ветви под весом цепких лишайников и надоедливого дождя, а кряж слева крутыми уступами уходил вниз. Потом я увидел, что впереди склоны смыкаются, и понял, что мы подъехали к началу длинного ущелья. Грегорио откинул капюшон, ветер растрепал его жесткие волосы. Он то и дело оглядывался, встревоженно и озабоченно, и я испугался, не заблудились ли мы.

Потом он осадил мерина, снял с плеча винтовку и положил ее поперек луки. Конь нервно бил копытом.

— Что такое? — спросил я.

— Там.

— Что?

Он показал пальцем в сторону деревьев у начала каньона:

— Там я видел его.

Кивнув, я спешился. Грегорио секунду смотрел на меня сверху вниз, потом и сам спрыгнул с коня.

— Ты мне покажешь?

— Я пришел сюда. Я не очень храбр, но я и не трус. Я покажу тебе.

Сейчас он выглядел настоящим испанцем, надменным и гордым. Мы привязали лошадей к дереву и зашагали в сторону рощицы. Я помнил о темноте и тишине, фигурировавших в рассказе Грегорио, но ничего не чувствовал. Место не казалось пугающим. Грегорио продирался сквозь кусты, повесив винтовку себе на грудь, я следовал за ним. Потом растения расступились, и мы оказались на поляне. Там ничего не было. Грегорио двинулся через открытое пространство наискось, низко опустив голову; сапоги его вязли в мягкой земле.

Неожиданно он резко остановился. Я подошел к нему. Костяшки сжимающих винтовку пальцев Грегорио побелели, став такими же белыми, как зубы, которые он обнажил в оскале, и, когда он шевельнул носком сапога, я увидел на земле еще что-то белое. Я опустился на колени, и боль сочувствия пронзила меня. В грязи белел треснувший собачий череп. Череп храброго пса.

Мне хотелось сказать что-то, но что ж тут скажешь... Грегорио секунду с каменным выражением лица смотрел на череп, потом пожал плечами.

— Здесь все, — произнес он.

И только. Затем он молча вернулся к лошадям.

X

Постоянный лагерь мы разбили на некотором расстоянии от поляны. Мне не хотелось слишком удаляться от ключевой точки, а Грегорио не желал находиться вблизи места, запомнившегося ему таким ужасным, хотя сейчас там определенно ничего не было. Я методично обыскал все вокруг, рассчитывая обнаружить следы или клочки волос, выдранные шипами, но нашел лишь еще несколько костей, разбросанных по прогалине и совершенно чистых. Падальщики поработали на славу.

Место, выбранное нами для лагеря, выглядело куда мрачнее поляны. Конечно, Грегорио руководствовался удобством и возможностью укрыться от непогоды, а не живописностью уголка, но было здесь какое-то мрачное очарование страшной сказки. Неподвластная времени, тягостная и неменяющаяся атмосфера окутывала скалы и деревья; в воздухе висел запах начавшегося, но не продолжившегося разложения, точно первобытное болото вдруг сковало льдом вечности.

Пятачок шириной в дюжину ярдов огораживал неровный овал скал всевозможных форм и размеров, гигантских глыб и простых булыжников и деревьев, растущих под разными углами между камнями и вокруг них, кривизной своей приспособившихся к недвижимым утесам и согбенных от постоянных ветров. Некоторые деревья росли группами, прижавшись друг к другу стволами, переплетясь ветвями, хотя валуны разделяли их корни; другие раскололись, наткнувшись на узкий каменный выступ, и тогда у двух деревьев были общие корни. Камни поросли скользким мхом и плесенью, землистого цвета ползучие побеги свисали с ветвей деревьев.

Я держал лошадей, а Грегорио полез на скалу и исчез за покачивающейся занавесью вьющихся растений. Вскоре он вернулся, удовлетворенный видом овального пятачка, решив, что он являет собой идеальное место для лагеря. Сюда не проникал ветер, деревья создавали крышу над головой, а главное — меж замшелых камней, обдавая их свежими брызгами, бежал быстрый ручей, исток которого находился где-то неподалеку в горах.

Только вот с лошадьми возникли трудности. Они не желали пересекать скалистый барьер, и пришлось вести их по одной, аккуратно, помня о каменных осыпях и скользкой почве, но внутри овала они уже были в безопасности, и нам не приходилось тревожиться о них. Добровольно они не полезут через преграду, так что нет нужды привязывать или стреножить их, а также таскать им воду из ручья, самим каждый раз шагая по предательской почве, — а ведь пришлось бы, оставь мы животных снаружи.

Я ставил палатки, а Грегорио в это время сооружал внутреннюю перегородку из камней и валежника, чтобы отделить лошадей от жилых помещений нашего странного прибежища, и при помощи складного топора превратил старую колоду в удобную кормушку. Потом я установил печку и присоединил газовый баллон, а мой проводник выложил перед палатками каменный круг, обозначив место для костра. Печь хороша для готовки, но нам нужен был и живой огонь, дарующий тепло и свет. Затем мы вместе распаковали остальные припасы и накрыли их брезентом. Лагерь был готов, непритязательный, но отвечающий нашим требованиям, и пришла пора решать, каким будет наш следующий шаг. Я закурил, обдумывая варианты. Грегорио собирал более или менее сухой хворост. Что ж, место назначения достигнуто, но мне вдруг показалось, что все напрасно. Мы здесь, а что толку в том, что мы одолели столько миль? Не знаю, какую наглядную подсказку я рассчитывал отыскать, но тут не было совершенно ничего, никаких признаков присутствия загадочного существа и никаких причин полагать, что оно все еще

здесь. Оставалось только ждать, наблюдать и надеяться — действия пассивные и ведущие к цели весьма окольным путем. Я решил посоветоваться с Грегорио, который уже разжег костер и пошел за водой для кофе.

Запах кипящего на костре кофе способен поднять самое упавшее настроение, а возможность добавить в чашку капельку виноградного спирта радует еще больше. К тому времени, как мы, чуть горбясь, спасаясь от сырости, уселись у огня с дымящимися жестяными кружками в руках, Грегорио вроде бы стряхнул с себя уныние. Да и я снова ощутил умиротворение. День подходил к концу, но ночь под этими затянутыми тучами небесами — штука неопределенная. Дождевые капли барабанили по листьям окружающих нас деревьев, ища бреши в густой зелени, и падали в костер, точно слетевшиеся на свет мотыльки. Хмурая тьма, обступившая нас, будто выползла из мира ночных кошмаров. Веселый плеск горного ручейка никак не вязался с завываниями ветра над головой, а острый аромат курева Грегорио казался фальшивой нотой в симфонии мокрой растительности и сырой земли.

Наконец, чувствуя, что надо сделать что-то конструктивное, я достал планшет и развернул лучшую карту здешних мест. Ей прискорбно недоставало подробности, многое было указано весьма приблизительно — мол, здесь какая-то возвышенность, и только. Я спросил Грегорио, где мы, и он нахмурился, склонившись над картой. Тяжелая капля упала на Магелланов пролив и струйкой стекла с листа.

— Здесь. Где-то здесь.

Он ткнул пальцем в центр одного из белых пятен. Это ни о чем мне не говорило — кроме разве что того, что мы находимся на высоте пяти тысяч футов над уровнем моря.

— Ну а есть тут какие-нибудь ориентиры, что-то, от чего можно оттолкнуться?

Грегорио на секунду задумался, водя пальцем по карте.

— Ранчо Макферсона ближе всего, — сказал он, рисуя ногтем кружок значительно севернее, но все же в пределах непрорисованной области. — Где-то тут. Туда я ехал, когда искал работу. Когда увидел ту тварь.

Что ж, это вселяло надежду, и я мысленно обругал себя за то, что не выяснил заранее, где живет Макферсон. Существо наведывалось туда несколько раз, и по крайней мере однажды после того, как его видел Грегорио, а это свидетельствовало о том, что оно все еще частенько появляется здесь. Впрочем, я прекратил самобичевание, осознав, что все равно не нашел бы ферму Макферсона на карте и не подозревал, что Грегорио ведет меня именно сюда, но решил, что стану строить другие версии на этой основе.

— Ты знаешь, где живет Ходсон?

Грегорио покачал головой:

— Не слышал этого имени. Там ранчо?

— Нет. Просто дом. В лощине.

Он улыбнулся:

— Лощин много. Домов не видел. Севернее — точно. Я знаю, что тут, на севере, я здесь работаю иногда.

Я осторожно свернул карту и убрал ее в планшет.

— Как же мне искать это существо?

Он пожал плечами, глядя на огонь. Отсветы плясали на его лице, как солнечные зайчики на гранитном памятнике.

— Жди, — сказал он. — Ты должен ждать.

— Но почему оно должно прийти сюда?

— По двум причинам, наверное. — Он снова улыбнулся, но это была странная, напряженная улыбка. — Первая — вода. — Грегорио кивнул в сторону ручья. — Это единственная питьевая вода по эту сторону горы. Есть маленькие ручьи, они появляются и исчезают, и пруды, которые превращаются в болота, а тут все время свежая вода, другой нет на много миль вокруг. Она берет начало неподалеку и кончается сразу за грядой. Так что, если эта тварь нуждается в питье, думаю, она будет пить где-то тут.

Объяснения восхитили меня, хотя я и почувствовал себя дилетантом, не додумавшимся до такой простой и такой важной для розысков вещи; хорошо, что Грегорио — человек здравомыслящий. Он все еще улыбался костру.

— А вторая причина? — спросил я.

— Вторая — потому что мы здесь, — ответил он.

Мне потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, что он имеет в виду. Костер жарко дышал в лицо, и все же меня вдруг пробрал холод. Грегорио встал, подошел к груде мешков и припасов, а потом вернулся с дробовиком и протянул его мне. Что ж, куда уж яснее. Я собрал ружье и положил его в свою палатку.

Утром я направился на поиски истока ручья. Грегорио заверил меня, что это недалеко и что наш поток — продолжение подземного или, точнее, подгорного русла. Я надел тяжелые ботинки, чтобы карабкаться по скалам, и прихватил дробовик. Грегорио хотел сопровождать меня, но я счел это необязательным, так как собирался идти вдоль ручья и не боялся заблудиться, поскольку всегда мог тем же путем вернуться обратно.

Поток врывался на территорию лагеря миниатюрным водопадом, втискиваясь в узкую щель между камнями и с комической яростью рушась вниз с высоты в пару дюймов: этакая

Ниагара мира насекомых. Невозможно было бы следовать за извилистой струей, огибающей скалы и ныряющей под них, но в этом и не было необходимости. Я пересек барьер в самом удобном месте и шагал вдоль периметра, пока не нашел участок, где вода текла по кругу. Ручей тут струился медленно, и я сделал вывод, что скалы, сквозь которые ему приходится пробиваться, сжимают и ограничивают поток, иначе откуда взяться такой лилипутской свирепости по нашу сторону? Но на открытом пространстве ручей неторопливо тек по болотистой местности, и не так-то просто оказалось отследить главное русло. Несколько раз я обнаруживал, что свернул на боковое ответвление, которое сужалось, а потом и вовсе исчезало, впитавшись в землю. Однако я по-прежнему не опасался сбиться с курса, так как двигался вверх по склону и мог видеть окружающие лагерь деревья, и чем дальше я шел, тем шире и глубже становился ручей.

Минут через десять-пятнадцать я услышал впереди рокот и понял, что источник близко. Я почти добрался до гребня холма, позади которого возвышался на фоне неба огромный утес. Ручей еще больше разлился, и когда я поднялся на вершину, то увидел водопад, рушащийся с соседнего холма. Точно такой же, как каскад в нашем лагере, только увеличенный во много-много раз. Вода рвалась из длинной расселины в утесе и устремлялась вниз, пренебрегая ветром, ныряя в бурлящую заводь у подножия неприступной каменной стены. Некогда лавина разворотила тут землю, образовав у водопада мутную лужу, и избыток воды, которая переливалась через край, обернулся ручьем.

Я прибавил шагу и вскоре уже стоял возле бассейна. Меня обдавало брызгами, рев рвал барабанные перепонки. Это был настоящий источник, который любое крупное животное предпочтет мелководному ручейку, и я тут же увидел следы этих животных, опознав те, что оставили лисица, ондатра и дикая овца, и не определив, кому принадлежит множество иных отпечатков.

Я обогнул водоем по берегу и оказался на другой стороне.

И там увидел очень четкий, почти человеческий след. Я смотрел на него какое-то время, не в силах поверить, что обнаружил то, что искал, так быстро и просто. Но след никуда не делся. Да, он походил на отпечаток босой человеческой ноги — но не во всем. Пальцы были слишком длинными, и большой палец сильно отстоял от остальных, совсем не так, как обычно. Но, без сомнения, след оставил примат, и крупный примат. С отчаянно колотящимся сердцем я кинулся на поиски иных свидетельств, но след был только один. Впрочем, с этого места существо, оставившее оттиск своей ноги на земле, легко могло перепрыгнуть на ближайшие камни, так что обнаружен-

ного единственного доказательства хватило, чтобы убедить меня, что это место — то самое и все, что мне нужно сейчас, — это терпение. Если я стану ждать, спрятавшись возле источника, рано или поздно существо появится.

Но тут неожиданно возникла иная проблема, которую я до сего момента умышленно игнорировал. Если — и когда — я обнаружу существо, что мне делать? Или что оно сделает? Я ведь совершенно не знал, что оно собой представляет, человек ли это, или зверь, или и то и другое сразу? Если есть хоть малейшая вероятность, что это человек, я не смогу поймать его в ловушку или захватить силой. Разрешить эту моральную каверзу я был не в состоянии, поскольку, не видя существо, не мог ни отнести его к какой-либо группе, ни понять, кто это, хотя бы приблизительно.

Я вернулся в лагерь, преисполненный возбуждением и желанием поскорее рассказать Грегорио о моей находке. Когда я, оскальзываясь, спустился со скал, мне на секунду показалось, что мой проводник исчез, но потом я увидел его возле лошадей. В руках он держал винтовку, направленную стволом в землю, но я успел заметить уголком глаза движение и догадался, что Грегорио выжидал, прицеливаясь, едва заслыша звуки моего приближения. Опять меня охватили дурные предчувствия и подозрения насчет того, что он может поступить опрометчиво; я даже не сомневался в том, что, будь на моем месте то существо, Грегорио без колебаний воспользовался бы оружием.

И я промолчал об отпечатке ноги. Однако сказал, что был у водопоя и собираюсь ждать там в укрытии.

— Когда начнешь ждать? — спросил Грегорио.

— Как можно скорее. Сегодня ночью.

— Ночью? — В голосе его звучало более чем недоумение — он просто не мог постичь смысла поступка, с которым был не согласен.

— Думаю, вероятность увидеть то существо ночью больше. И мне наверняка будет легче спрятаться в темноте.

— Да. Это правда, — кивнул он, подчеркнув «это». И не стал меня отговаривать — ибо, по всей вероятности, считал, что с сумасшедшими не спорят.

XI

Над тучами показалась луна, и длинные тени потянулись по земле, точно пальцы скелета. Еще днем одинокий водопад выглядел довольно зловеще, но в лунном свете скалы словно об-

рели собственную жизнь — жизнь гротескных, корчащихся и извивающихся монстров, место которым не на земле, а на освещающей их луне.

Я лежал на животе и наблюдал за серебряными брызгами, в одной руке сжимая приклад дробовика, а в другой — карманный фонарик. Лежал я очень тихо, едва дыша, ощущая мягкую землю и мокрую траву под собой, вслушиваясь в ночные шумы, пробивающиеся сквозь глухой рев воды, и в стук собственного сердца. Не знаю, сколько прошло времени. У моих часов был светящийся циферблат, и я оставил их в лагере, чтобы не выдать нечаянно своего укрытия.

Неожиданный звук заставил меня окаменеть. В кустах возле меня что-то прошуршало, словно какое-то небольшое животное пробежало едва ли в дюжине футов от моей правой руки и секунду спустя появилось у источника. Я расслабился и даже позволил себе выдохнуть. Это была лиса, всего лишь лиса. Она настороженно огляделась, а потом начала пить. Сова зыркнула на зверька с ближайшего дерева, а потом отвела взгляд круглых желтых глаз, ища дичь поменьше. Наверное, было часа три ночи, веки мои отяжелели. Я готов был смириться с тем, что мое первое дежурство пройдет впустую, хотя и намеревался остаться тут до рассвета. Большая туча, черная, с рваными, словно заиндевевшими, краями закрыла луну, и все длинные тени нырнули в озерцо. Потом хлесткий удар ветра разорвал пелену и свет блеснул снова.

Я вдруг напрягся.

Лиса перестала лакать воду. Она подняла голову, острые ушки тревожно подрагивали. Я ничего не слышал и был уверен, что сам не шумел, но поведение животного говорило о том, что оно опасается или боится. Сова улетела, лишь силуэт лисы замер на фоне водопада. Потом зверек неожиданно кинулся к зарослям, резко остановился — и метнулся в другую сторону. Затрещали кусты, и лиса исчезла. Я перевернулся на бок, пытаясь проследить за животным, не включая фонарика. Как раз над тем местом, где скрылась в кустах лиса, качалась ветка, тяжелый сук качался так, словно только что освободился от какой-то тяжести.

Я рывком подтянул к себе дробовик, мельком подумав, как я боялся возможной опрометчивости Грегорио и что его страх, перекинувшись на меня, может заставить меня поступить не менее безрассудно. А потом пришла пора задуматься всерьез.

Ветка качнулась снова, нагнувшись под тяжестью чего-то большого и темного. Пятно переместилось к стволу, заслонив свет. На суку что-то было, что-то тяжелое, скорченное, притаившееся. Потом оно исчезло, ветка выпрямилась, избавившись

от груза, и что-то двинулось по лесу, удаляясь от прогалины. Шум становился все слабее, и вот уже только вода и ветер нарушают ночную тишь.

Я не стал ничего предпринимать. Довольно долго я лежал неподвижно, ожидая, надеясь, что оно вернется, и в то же время чувствуя облегчение оттого, что оно ушло. Кем бы оно ни было, существо ухитрилось явиться, оставшись не замеченным мною; я ничего не видел и ничего не слышал, оно вполне могло сидеть на дереве прямо над моей головой. Я перекатился на спину — проверить, не так ли это. Но на дереве никого не было, голые ветви скрестились на фоне неба, и то, что пришло, ушло. Я не пошел следом.

Наступил рассвет, сырой и холодный. Я поднялся, пошатнулся, потом потянулся — онемение от неподвижности было куда неприятнее, чем от усталости. Я закурил и вышел из-за деревьев. Увидел лисьи следы возле источника, наклонился, зачерпнул немного воды и выпил; потом плеснул влагу на лицо и вымыл руки. Вторая часть вахты пролетела очень быстро, и я никак не мог припомнить, какие сумбурные мысли теснились тогда в моем мозгу.

Потом я пошел в лес, туда, куда убежала лиса, разглядывая землю и не зная, что хочу отыскать. В одном месте был вывернут ком земли с травой, и я нагнулся, чтобы рассмотреть его. Ничего особенного. Когда же я выпрямился, мне на щеку упала капля, слишком тяжелая для дождевой. Я смахнул ее, мельком взглянул на руку — ладонь стала красной. Решив, что поцарапался о сучок, я потер щеку другой рукой и проверил, нет ли крови. Крови не было.

И вдруг на моих глазах кровь появилась. Густая алая капля упала прямо мне на ладонь.

Я отдернул руку и взглянул вверх, но на дереве никого не оказалось. Кровь медленно капала с какого-то комка на нижнем суку. Что это, я не разобрал, хотя с леденящей душу уверенностью ощутил, что знаю. Сломав первую попавшуюся ветку, я потянулся, подцепил непонятный сгусток и сбросил его на землю. И меня едва не стошнило. Это была задняя часть туловища лисицы, с окровавленным хвостом, оторванная от тела.

Я искал, хотя, признаюсь, не слишком тщательно, остальное, но так и не нашел.

Грегорио сидел на корточках у костра. Едва я вышел из-за камней, он протянул мне кружку с кофе. Я пил, руки мои тряслись, и он, конечно, заметил, как я бледен. Что ж, неудивительно. Я провел ночь на мокрой, холодной земле, без всякого укры-

тия. Нырнув с кружкой в палатку, я переоделся в сухое. Меня знобило так, что пришлось набросить на плечи одеяло, а когда я закурил, сигарета показалась такой мерзкой, что я затушил ее. Грегорио откинул полог палатки и протянул мне бутылку писко. Ему, похоже, хотелось поговорить, но он увидел, что мне не до того. Он не спросил, обнаружил ли я что-нибудь, полагая, вероятно, что я все равно потом расскажу — или, возможно, все равно не расскажу. Я, мало что соображая, попеременно глотал то писко, то кофе. Дождь неритмично барабанил по брезенту — капля, пауза, две капли, три капли, пауза, и я незаметно для себя сконцентрировался на этом рваном темпе: подсознание изобрело для себя этакий вариант китайской пытки водой, лишь бы занять разум и избежать необходимости принимать решения и делать выводы. Я тряхнул головой, выходя из ступора, заставляя мозги снова работать.

Что-то было на том дереве. Это неопровержимый факт. И возможно, единственный неопровержимый. Оно казалось большим и нескладным, но лунный свет обманчив, и сказать наверняка я ничего не могу. Просто — нечто. Крупная птица? Нет, я знал, что это не так, и удивлялся себе — отчего я ищу варианты, когда надо принять то, что напрашивается само собой. Я чертовски хорошо представлял, что это было, и знал, что должен радоваться как сумасшедший оттого, что знаю, и никакой скептический рационализм этого знания не изменит. И хотя логика заставляла подбирать разные ответы, я верил в силу эмоций.

Я выпил еще писко и вновь погрузился в размышления.

Кем бы оно ни было, оно достаточно сильно, чтобы разорвать несчастную лису пополам. Отметины клыков или когтей на части тушки отсутствовали, зверек не был ни разрублен, ни разгрызен. Просто разорван с чудовищной силой. Все произошло бесшумно, разве что деревья шелестели, никакого предсмертного воя, никакой борьбы. Значит, лисицу либо задушили, либо убили так быстро, что она и взвизгнуть не успела.

Так, неувязочка получается. Я отлично помнил жуткий звук, который слышал в лаборатории Ходсона, тот самый звук — а я был в этом уверен, — который издало существо, убив Эль Роджо. Почему же этой ночью оно молчало? Может, услышало меня, или учуяло, или еще как-то засекло мое присутствие и испугалось? Или лиса была слишком ничтожной жертвой, не стоящей победного клича? Если существо учуяло меня, вернется ли оно? Возможно, я упустил единственную возможность. Почему я не включил фонарик? Из предосторожности, из страха или...

Меня тряс Грегорио.

Я открыл глаза, с трудом осознав, что впал в полубессознательное состояние, провалившись то ли в глубокие раздумья, то

ли в кошмарные грезы. Зубы стучали, желудок выворачивало, лоб горел. Меня сотрясала лихорадка. Грегорио положил свою длинную, изящную ладонь на мой лоб и хмуро кивнул. Его озабоченное лицо придвинулось ближе, потом удалилось, раздулось, как воздушный шар, и снова сдулось. Я видел все сквозь какую-то дымку, сквозь рваный туман, то разделяющийся, чтобы приоткрыть реальность, то смыкающийся снова. Я смутно осознавал, что сильные руки Грегорио помогают мне забраться в спальный мешок, потом четко увидел, как принимаю две маленькие белые пилюли из тех, что рекомендовал Грэм, ощущал на языке их горечь, чувствовал горлом их округлость. Потом действительность опять поблекла, но разум будто перепрыгнул на другой уровень и беспристрастно решал, пал ли я жертвой какой-нибудь экзотической лихорадки или просто простыл на ночной сырости. А потом я провалился в тревожный сон.

Проснулся я вечером. Снаружи горел костер, и обращенная к огню стена палатки казалась сделанной из чистого золота. Я смотрел, как сияет грубая ткань, примечал мельчайшие оттенки, видел каждое волоконце, оставаясь все на том же четком, беспристрастном уровне сознания. Потом полог откинулся и в палатку заглянул Грегорио.

— Лучше? — спросил он.

— Не знаю, — ответил я. — А что со мной?

— Жар. Озноб. Кто знает? Не серьезно, думаю. Несколько дней тебе нужен отдых и тепло.

— Сколько сейчас времени?

— У меня нет часов, — ответил он.

Мои часы лежали на ящике, которым я пользовался как столом. Я кивнул в ту сторону, и Грегорио протянул часы мне. Было десять.

— Я собирался и сегодня пойти к водопаду.

Он пожал плечами:

— Сейчас это невозможно.

— Да, думаю, да, — сказал я с облегчением.

Успею еще, когда поправлюсь; сейчас, когда я так слаб, я не смогу внимательно наблюдать и, несомненно, заболею еще серьезнее. К тому же, чувствуя, должно быть, необходимость подыскать более веское оправдание, чем собственная немощь, я сказал себе, что существо могло почуять мое присутствие и насторожиться. Куда разумнее подождать.

Я принял еще две пилюли, выпил стакан воды и заснул, на этот раз куда крепче.

Утром мне стало лучше. Жар еще не спал окончательно, но в голове прояснилось, и любопытная раздвоенность мира на

мутную реальность и обостренное восприятие мелочей исчезла. Днем я даже прогулялся немного, а вечером заставил себя поесть и решил, что, скорее всего, простудился, а не подхватил какую-нибудь заразу. Но слабость и головокружение меня не покинули, так что и речи не шло о том, чтобы возобновить ночное дежурство. Грегорио заметил, что отсрочка расстроила меня.

— Я могу последить, — предложил он не слишком уверенно.

— Нет. Ни к чему. Я сам должен увидеть это существо; ты его уже видел.

— Это так, — кивнул он и отпраздновал временную отсрочку кружкой писко.

Я улегся рано и стал читать, но керосиновая лампа чадила, и буквы расплывались. Тогда я прикрутил фитиль и закрыл глаза. Сонливости я не чувствовал, но сон накатывал на меня волнами. Помню, как досадовал на то, что упустил возможность, и винил свою слабость, задержавшую расследование; помню, как говорил себе, что должен найти существо, пока оно еще где-то здесь, что другого шанса может не выпасть. Помню, как твердо решил, что завтра ночью отправлюсь к водопаду.

Но возвращаться туда не пришлось. Оно само нашло нас.

XII

Я проснулся от рычания, раздававшегося снаружи. Уже второй раз меня разбудил шум в ночи, но на этот раз я не мешкал — это рычание не пригвоздило меня к месту, как тот чудовищный крик. Я выскользнул из спального мешка и схватил дробовик. Глаза едва не лезли из глазниц, во рту пересохло. Рычание повторилось, и я услышал, как заржали лошади. Я откинул полог и выскочил из палатки, выставив перед собой ружье. Костер почти потух, и вне узкого круга света было темно. Грегорио уже стоял с ружьем на изготовку, взгляд его глаз, в которых плясали отсветы пламени, казался диким. Он смотрел в сторону лошадей.

Животные точно взбесились. Они лихорадочно метались в своем загоне. Я шагнул в сторону, чтобы костер не мешал обзору, и в это время одна из лошадей перескочила через груду валунов, наваленную Грегорио. Это был серый мерин. Конь слепо ринулся ко мне, и я едва увернулся, успев увидеть, как животное наткнулось на мою палатку, и услышать, как захлопал сорвавшийся с колышков брезент. Когда я встал, широкий барьер пыталась перепрыгнуть другая лошадь — отчаянно стучали копыта в поисках точки опоры, а потом лошадь рухнула, застряв

между камнями, и забилась в попытках подняться. Две оставшиеся нарезали безумные круги, одна за другой, круг за кругом. В промежутке между стремительно летящими телами я увидел то, что находилось в центре загона.

Что-то сгорбленное припало там к земле.

Свет костра едва доползал туда, вычерчивая лишь смутный силуэт на фоне барьера. Существо стояло на всех четырех, но плечи располагались значительно выше бедер, и вес приходился на заднюю часть туловища, когда оно поворачивалось, следя за лошадьми. Пока я смотрел, существо вскинуло сомкнутые в замок руки.

— Что-то там, в загоне! — крикнул я.

И тут существо пришло в движение. Широко замахнувшись, оно вцепилось в лошадиный бок. Животное всхрапнуло, забило передними копытами, встало на дыбы — но поднялось слишком высоко и опрокинулось назад, скрыв от меня тварь. Я вскинул ружье, готовый стрелять, в человека ли, в зверя — все равно. Но я не мог выстрелить, не попав в лошадь. Грегорио, с искаженным лицом, застыл на своем месте, целясь. Лошадь била копытами воздух, пытаясь встать, но существо уже насело на нее, оно рвало и драло, приглушенно рыча.

Громыхнул дробовик — невероятно громко для моих и без того обострившихся чувств. Я пальнул в воздух — не знаю, случайно ли, намеренно или инстинктивно, — но дробь ударила по листве, а эхо заметалось между скалами.

Лошади все же удалось подняться, она пятилась и хрипела, и тут существо повернулось ко мне, приземистое и квадратное, замерев на миг. Потом его длинные руки качнулись, костяшки скользнули по земле, и я опустил дробовик; всего секунду я глядел на существо поверх ствола, держа палец на втором курке. Я мог застрелить его в эту секунду, но я посмотрел ему в глаза. И оно посмотрело на меня, дикое и разъяренное, но еще и любопытное, и ошеломленное грохотом. Я не смог спустить курок. Существо развернулось — несмотря на мощное телосложение, весьма проворно — и двинулось к каменному барьеру. Я повел стволом следом за ним; я видел, как оно прыгнуло в тень; я слышал выстрел винтовки Грегорио, резкий и трескучий по сравнению с дробовиком.

Существо с воем упало, корчась от боли. Потом вскочило снова. Грегорио передернул затвор, выбрасывая пустую гильзу, — та, сверкая, полетела в огонь. Когда мы выстрелили снова, существо было уже среди деревьев, и я услышал, как пули расплющились о скалу. Мы переглянулись. Существо ускользнуло.

Грегорио успокаивал серого; он обнял коня за шею и тихо говорил с ним, а мерин дрожал, опустив голову. Лошадь, подвергшаяся нападению, металась по загону, белая пена капала у нее изо рта, она постоянно ржала, обнажая квадратные зубы. Из бока животного был вырван огромный кусок мяса, а из длинных ран торчали ребра. Это была моя кобыла, та, на которой я ездил и к которой успел привязаться, и желваки перекатывались на моих скулах.

Отвернувшись от несчастного животного, я направился к разгромленной палатке. Колышки вылетели из земли, полотнище валялось на земле. Среди развалин я нашел свои брюки и с грехом пополам вытащил их. Лошадь, упавшая на барьер, еще пыталась подняться, но она крепко застряла между двумя гладкими валунами и только стонала от боли.

— Теперь ты видел его, — сказал Грегорио.

Я кивнул.

— Вот как умер пес, — проговорил он скорее с грустью, чем с ненавистью.

Серый вскинул голову, поднял уши, и Грегорио снова ласково зашептал что-то коню. Четвертая лошадь неуверенно двинулась к нему, то и дело поглядывая на раненую бедолагу. Я стянул брезент с наших припасов, отыскал коробку с зарядами для дробовика, переломил ружье и перезарядил правый ствол, а остальные патроны рассовал по карманам ветровки. Теперь я уже не боялся. Действия прогнали ужас. Сейчас я был целеустремлен и зол и не сомневался, что в следующий раз, если понадобится, я обязательно воспользуюсь ружьем. А еще я знал, что, кем бы ни было это существо, оно не в достаточной степени человек, чтобы претендовать на человеческие права. В этот момент я был больше мужчиной, чем ученым. В сыром воздухе висел острый запах пороха, с простреленных веток упало несколько листьев. Я подошел к Грегорио.

— Ты пойдешь за ним? — спросил он.

— Да.

— Оно ранено.

Я кивнул. Грегорио попал в него, а не многих зверей триста третий калибр не валит замертво. Я не сомневался, что теперь найду его.

— Кто-то должен остаться с лошадьми, — напомнил Грегорио.

— Да. Останешься ты.

— Оно может поджидать тебя.

— Со мной все будет в порядке.

Грегорио обратил ко мне взгляд своих индейских глаз. Ему хотелось быть храбрым, и он был храбрым. Серый мерин все

еще дрожал под его рукой, когда мой проводник кивнул. Все правильно, кто-то должен остаться с лошадьми. Но он опустил голову и не смотрел, как я ухожу из лагеря.

Я слышал, как кричит лошадь в скалах за моей спиной. Когда я проходил мимо, животное скосило на меня глаза. У него была сломана нога, и оно беспомощно ворочалось, заклиненное между камнями, немо моля о помощи, которую мы не могли оказать. Я позвал Грегорио и пошел дальше. Раздался треск винтовки, и лошадь замолчала. А я почувствовал жестокое удовлетворение, обнаружив кровавый мазок, отметивший путь существа. Пятно было большим и темным в свете моего фонаря, и я был уверен, что создание не сможет двигаться быстро.

Я не ошибся. За скалами я увидел, как оно ковыляет вверх по склону, ведущему к водопаду. Нападая на лошадь, тварь развернулась стальной пружиной, гибкой и стремительной, но теперь хромала, как перебравший пьянчуга. Ноги существа были короткие и кривые, и при ходьбе оно опиралось на длинные руки. Возможно, его специфическая походка не годилась для путешествий по открытой местности, да и пуля нанесла тяжелый урон, лишив бестию части силы.

Я переместился правее, к деревьям, чтобы иметь возможность пресечь его попытки скрыться в зарослях, где оно умеет двигаться гораздо тише и быстрее, чем я. Но оно не пробовало спрятаться. Существо направлялось строго по прямой, точно не убегало, не спасалось, а направлялось в строго определенное место. Левой рукой я сжимал фонарь, правой поглаживал ружье. Скрываться и осторожничать, пока оно находилось в поле моего зрения, нужды не было, и я следовал за ним довольно быстро. Оно находилось всего в трех-четырех сотнях ярдов от меня, и я без особых усилий сокращал расстояние.

Добравшись до вершины холма, существо остановилось и оглянулось на меня — силуэт на фоне неба с горящим лунным светом взглядом. Я знал, что у него зрение ночного животного, и радовался изобретению карманных фонарей. Оно разглядывало меня несколько секунд, покачивая тяжелой головой, потом развернулось и исчезло за гребнем. Я побежал, не желая упускать его из виду, но не беспокоясь. Местность была знакомой — дальше растянулся второй холм, и подъем на него был так длинен, что существо просто не успело бы преодолеть его раньше, чем я взберусь на первый склон. Я запыхался, мягкая земля то затягивала ботинки, то выскальзывала из-под ног, но я бежал, бежал и наконец достиг вершины.

Существа нигде не было. Я заметил лужицу крови в том месте, где оно задержалось и обернулось, и несколько темных

пятен неподалеку, ближе к водопаду. Но само оно исчезло. Склон дальнего холма расстилался впереди, гладкий и покатый, спрятаться там невозможно. Деревья справа я видел, пока взбирался. За водопадом поднимался отвесный, неприступный утес. Существу некуда было уйти, кроме как к источнику, и я зашагал вниз, уже медленно и осторожно, держа большой палец на выключателе фонарика, а указательный — на спусковом крючке.

Добравшись до чавкающей грязи, окружавшей водоем, я включил фонарь. Что-то сверкнуло на скале, и я замер, подумав, что это глаза ночного зверя, но понял, что это всего лишь свет фонарика отразился от гладкого камня, отполированного сильными струями. Луч пошарил в камышах, но не нашел ничего; а потом, у себя под ногами, я обнаружил следы. Они были четкими и глубокими, влага только-только начала просачиваться в них. Отпечатки стоп с широко расставленными пальцами и оттиски костяшек по обе стороны от следов ног вели к краю бассейна. Я направил свет фонаря на воду, но зыбкая поверхность не наградила меня разгадкой. Очень медленно я прошел вдоль берега на другую сторону и изучил землю там. Следы отсутствовали. Существо вошло в воду — и не вышло из нее. И все же его там не было. Объяснение могло быть только одно, и я направил луч на ревущий водопад. Искрящаяся вода рушилась с вертикального серого утеса, и там, где они встречались, узкая полоска черноты отвергала мое освещение.

Я взобрался на скалу, вода заплескалась у самых моих ног, ружье стукалось о бедро, и там, наверху, я нашел пещеру. Вход в нее зиял за водопадом — щель около трех футов высотой, отлично укрытая от любого, кто смотрел бы прямо на нее, даже днем. Вода в бассейне стояла чуть выше, чем пол пещеры, и бежала внутрь, образуя довольно глубокую лужу. А на краю камня краснел свежий мазок.

Придя к водопаду, я нашел больше, чем место водопоя существа. Я нашел его дом.

Потребовалась ли вся смелость, которой я обладал, и даже больше, чтобы войти в черную расселину, или мои чувства и эмоции настолько притупили лихорадка и возбуждение, что я не боялся вовсе? Знаю лишь, что вошел в адский мрак не колеблясь и почти ничего не ощущая. Я просто сделал это, без раздумий и без сомнений. Разве что почувствовал, как капли орошают мою шею и спину, когда я проходил под водопадом. В пещере я опустился на колени. Чуть дальше пол поднимался, вода разлилась лишь на несколько ярдов. Я посветил фонари-

ком в туннель, но луч не сумел пронзить черноту вдали. Проход казался бесконечным, и я вдруг испугался, что он где-то снова выводит на поверхность и существо уйдет от меня. Неприятная мысль подстегнула меня. Сначала мне пришлось пробираться ползком, но потом я обнаружил, что потолок достаточно высок, чтобы идти пригнувшись. Туннель был узким — руки без труда касались стен — и прямым. Опасность невелика. Я вооружен фонарем и дробовиком, а существо может напасть только спереди. Если я буду вынужден убить его, я смогу это сделать. Хотя мне этого не хотелось. Гнев, вызванный видом мучений моей лошади, поутих, и теперь я снова стал больше ученым, чем охотником. Я твердо решил, что приложу все усилия, лишь бы не убивать его; если придется стрелять, сначала я буду целиться в ноги. Но возможно, существо уже умирает и поползло домой, чтобы претерпеть предсмертные муки в одиночестве. Если это так, то жестоко, наверное, преследовать его, но наверняка я не знал, поэтому двигался вперед, следуя за лучом фонаря.

Поросшие зеленоватым мхом стены были скользкими, их рассекали бесчисленные трещины, возникшие из-за сдвига горных пород многовековой давности. Было очень тихо. Мои тяжелые ботинки ступали бесшумно; капель крови на полу становилось меньше, и располагались они все дальше друг от друга. Пещера постепенно расширялась, из стен выступали фантастические каменные нагромождения, сталактиты и сталагмиты свисали с потолка и вырастали из пола. Я приближался к ним осторожно, но за «колоннами» никто не прятался. Туннель по-прежнему бежал прямо, и, кажется, я шагал уже довольно долго.

Потом луч света наткнулся на стену, растекшись по камню почти ровным кругом. Я было решил, что впереди тупик, но затем увидел, что туннель сворачивает направо строго под прямым углом — и такие бывают капризы природы. Я приблизился к повороту очень медленно. Если существо поджидает меня, оно наверняка там.

Не дойдя до угла нескольких шагов, я остановился; пристроил фонарик под прикладом так, чтобы луч шел параллельно стволам, а я мог держать оружие обеими руками; вдохнул поглубже, набираясь решимости, и сделал один широкий шаг, сразу оказавшись за углом.

И застыл как вкопанный.

Нет, существо не подкарауливало меня там. Там не было ничего. Ничего, кроме зеленой железной двери...

Тяжелая дверь распахнулась. И Хьюберт Ходсон сказал:

— Полагаю, вам лучше войти.

XIII

Ходсон забрал у меня дробовик. Я был слишком ошеломлен, чтобы сопротивляться. Очевидно, я прошел гору насквозь, а мы случайно разбили лагерь прямо напротив дома Ходсона; нас отделяла друг от друга неприступная скала, но соединял подземный проход; дверь, которая, по утверждению ученого, вела в кладовку, на самом деле открывалась в туннель. Я прошел за Ходсоном, ожидая, что окажусь в лаборатории, но ошибся. Тут было еще одно помещение — небольшая, скудно освещенная комната с точно такой же зеленой дверью в дальней стене. И вот за ней-то сияла всеми огнями лаборатория. Ходсон закрыл за нами дверь, повернул ключ и подтолкнул меня вперед.

Рядом раздалось утробное рычание. Я резко развернулся, смахнув со своего плеча руку Ходсона, и застыл. Существо было здесь, в комнате. Оно скорчилось в углу, за тяжелой стальной решеткой, и глядело на меня осознанно и с ненавистью. И тут все детали сложились в моем сознании в одну целую, поразительную и яркую картину. Решетка крепилась к стене с одной стороны при помощи петель, так что могла открываться и закрываться. Существо сидело в клетке с тремя созданными природой каменными стенами, всего в нескольких шагах от меня, — чудовищная карикатура на человека. Бочкообразная грудь, покатые тяжелые плечи, длинные руки. Короткие, жесткие волосы щетинятся на всем теле, но лицо гладкое и коричневое, широкие ноздри трепещут, маленькие глазки горят под низким нависающим лбом. Я увидел темный, влажный пластырь у него на боку, пятна крови на полу и стоящую между нами, держась одной рукой за решетку, старуху. Она повернулась и зыркнула на меня, и в глазах ее полыхнула злоба куда более жгучая и нечеловеческая, чем тлела в зрачках странного существа.

А существо рванулось ко мне. Гигантская рука дернула решетку, и сталь зазвенела, завибрировав. Я хотел закричать, предостеречь старуху, но существо ею не интересовалось. Оно просто игнорировало ее. Оно тянулось ко мне, растопырив когтистые пальцы, и рычало, обнажив желтые зубы. Я попятился, и Ходсон вновь опустил руку мне на плечо:

— Идем. Не надо нам оставаться тут. Он знает, что вы ранили его, и я бы не стал полагаться даже на эти стальные прутья, если он выйдет из себя.

— Но женщина...

— С ней ничего не случится, — перебил он.

И подтолкнул меня к лаборатории. Рычание поутратило ярость, и я услышал, как старуха заговорила на каком-то непо-

нятном языке — заговорила, обращаясь к существу. А потом вторая железная дверь с лязгом захлопнулась за нами.

Ходсон отвел меня в комнату, указал на стул и принялся рыться в ящике стола. Я заметил, что он сунул в карман шприц.

— Вы собираетесь воспользоваться этим? — спросил я.

Он кивнул и открыл большую коробку с медикаментами.

— Транквилизатор, — пробормотал Ходсон.

— Но оно разорвет вас, едва вы приблизитесь.

— Женщина удержит его, — сказал он. — Ждите здесь. Я вернусь, когда исправлю то, что вы натворили.

Он ушел за занавеску. Я сидел и ждал.

Вернулся Ходсон, с закатанными рукавами рубахи, налил два больших стакана и протянул мне один.

— Рана несерьезная, — сообщил ученый. — Он выживет.

Я кивнул. Ходсон уселся напротив меня. Вкус спиртного показался мне странноватым, должно быть, оттого, что во рту пересохло, к тому же лихорадка возвращалась. Мне хотелось задать множество вопросов, но я ждал, чтобы Ходсон заговорил первым.

— Значит, вот оно, правильное изучение человека? Стрельба в человека?

— Это человек?

— Несомненно.

— Оно напало на мой лагерь. Убило лошадь. У нас не было выбора.

Ходсон кивнул:

— Все верно. Такова природа человека. Убивать и не иметь выбора. — Он устало покачал головой и вдруг рассмеялся. — Итак, вы раскрыли мою тайну. Что теперь?

— Не знаю. Тайна осталась тайной. Мне бы хотелось осмотреть существо.

— Нет. Это невозможно.

— Но вы-то досконально исследовали его, полагаю?

— В физическом смысле? — Он пожал плечами. — Мне интереснее изучать его поведение. Вот почему я разрешаю ему бесконтрольно бегать на воле.

— И все же оно возвращается сюда? Возвращается в клетку по собственной воле?

Он снова рассмеялся:

— Я же говорил вам. Природа человека — не иметь выбора. Он возвращается, потому что он — человек, а человек приходит домой. Основной инстинкт. Чувство собственности.

— Вы уверены, что это человек?

— Гоминид[1]. Да, абсолютно.

— Вы расскажете мне о нем?

— Сейчас поздновато для секретов.

— Как вы можете быть убеждены, что это человек? Или человекообразное? А не, скажем, новый вид примата? Каким определением, каким критерием вы пользуетесь?

— Критерием? Вы так ничего и не поняли. Есть только одно определение человека. Я пользуюсь абсолютным критерием.

Я ждал, но объяснений не последовало. Он пил, прихлебывая мелкими глотками, кажется предвкушая вопросы.

— Вы открыли его здесь, так?

— В определенном смысле — да.

— Давно вам известно о нем?

— Много лет.

— И есть другие?

— На данный момент нет.

Все это ни о чем мне не говорило.

— Почему вы ждали так долго, зачем скрывали? Что вам дало ваше молчание?

— Время. Я уже говорил вам как-то. Время — самое важное. Я изучал его как человека, а не как диковинку. Естественно, ему нужно было время, чтобы повзрослеть. Разве можно судить о поведении человека по ребенку?

— Значит, вы нашли его, когда он был еще очень мал?

— Да. Воистину очень мал.

Он таинственно улыбнулся.

— И когда вы определили, что это человек?

— До того, как я... нашел его.

— Это бессмысленно! — воскликнул я. — Зачем говорить загадками? Каково ваше определение человека?

— Я не нуждаюсь в определении, — заявил он, явно наслаждаясь.

Ходсону хотелось рассказать мне все, неодолимая тяга ошарашивать коллег вернулась к нему, поднимая настроение.

— Видите ли, я не совсем открыл его, — сказал он. — Я знал, что он человек, потому что создал его.

Последовало долгое молчание, во время которого ученый наблюдал за мной.

— Вы имеете в виду мутацию?

— Особую форму мутации, совершенно особую. Это не изменение, а регрессия. То немногое, что я сообщил вам в ваш

---

[1] *Гоминиды* — семейство наиболее прогрессивных приматов, включающее в том числе и людей. Ранее к гоминидам относили только людей и их вымерших предков.

прошлый незваный визит, было правдой, да только не всей правдой. Я сказал, что открыл способ контроля мутации, но на самом деле зашел гораздо дальше. Управляя мутацией, я обнаружил, что она — ключ к клеточной памяти. Закон мутации может быть применен для разблокирования забытых репликаций.

Ходсон осушил стакан. Лицо его пылало румянцем.

— Понимаете, клетки забывают. Вот почему мы, например, стареем. Наши клетки забывают, как воспроизводить молодость. Но это знание, пусть и забытое, все еще в них. Точно так же то, что забывает человек, хранится в его подсознании. Так же, но на другом уровне. И вот как подсознательное можно извлечь при помощи гипноза, так и клетку можно заставить вспомнить при помощи химической обработки. В этом-то, Брукс, и есть корень жизни. Возможно, даже ключ к бессмертию среди прочего. Мы в силах научить наши клетки не забывать репликацию молодости. — Он пожал плечами. — Но человек, каков он есть, недостоин вечности, и я не заинтересован в том, чтобы дарить ему бессмертие. Пока не время. Меня интересует человеческая эволюция, и я применил свои знания к этой области. Я первый и единственный человек, видевший, как происходит эволюция. Брукс, я создал своего предка!

На лице его был написан не только энтузиазм. Что-то сродни безумию искажало черты Ходсона.

— Но как...

— Вы еще не поняли? Я обработал родителей, химически воздействовав на их гены. Их отпрыск, существо, которое вы видели, переброшен в прошлое через множество эпох, он несет черты, давным-давно забытые нашими клетками. Я, вероятно, мог бы зайти еще дальше, вернувшись к первым формам жизни — одноклеточным существам периода зарождения жизни на планете. Но это меня тоже не интересует. Я ограничил себя человеком.

Он взял мой стакан, пересек комнату и снова наполнил его.

— Как вы классифицируете это существо? — спросил я.

Ходсон сел, нахмурившись:

— Точно я не уверен. Предок ветви современного человека. Возможно, не нашей ветви, а параллельной. Человек, каким он мог быть десять миллионов лет назад. Или пять миллионов лет. Время неопределенно.

— И оно действительно отпрыск ныне здравствующих родителей?

— Отец его мертв. Боюсь, что его потомок — или предок, как вам будет угодно, — несколько лет назад разорвал папаше глотку, — с равнодушием врача сообщил Ходсон. — А мать... вы

удивлялись, как может старуха справиться с ним? Почему он возвращается сюда, когда ему больно? Она его мать.

Помолчав, я выдохнул:

— О господи!

— Шокированы или удивлены? — осведомился Ходсон.

— Как можно было создать нечто столь чудовищно противоестественное?

Он презрительно взглянул на меня:

— Вы ученый или моралист? Вам, несомненно, известно, что наука — единственное, что имеет значение. Что вам до этой старой карги? Или до нескольких мертвых овец? Или даже нескольких мертвых людей — ноль цена всему этому. Я наблюдал поведение одного из предков человека, и разве это не стоит любых страданий? — Он говорил быстро, энергично жестикулируя, сверля меня горящим взглядом. — И дальнейшие варианты бесчисленны. Возможно, на этот раз, если мне не помешают работать, я смогу повернуть процесс в обратную сторону. Да-да, даже так! Научусь продвигать клеточную память вперед. Подтолкну эволюцию куда пожелаю. Знание должно быть уже там, клетки этому просто еще не научились; они учатся постепенно, забывая старое. Но оно там, Брукс. Оно было там, еще когда первая жизнь выползала из моря. Будущее и прошлое бок о бок. Подумайте об этом! Создать человека, каким он будет через миллион лет!

Я раздваивался. На поверхности лежали сомнения, верить ему или нет, но глубже, там, где я не мог не верить, зачарованный его голосом, мои реакции снова расходились в разные стороны. Сам факт и вытекающие из него возможности были безмерно удивительны и непостижимы, но детали устрашали, использование в экспериментах человеческих существ казалось чудовищным. Мысль о том, что живая женщина родила сидящего в клетке монстра, вызывала отвращение. Возможно, в некоторых вопросах я действительно был моралистом, и научный интерес боролся во мне сейчас с омерзением.

— Только подумайте! — повторил Ходсон, закатывая глаза, сам, видимо, погружаясь в раздумья.

Костяшки его сжатых на стакане пальцев побелели. Возможность поговорить о своих открытиях глубоко взволновала его, тяга разбить двадцатилетнее молчание оказалась неодолимой. Мы беседовали уже очень долго. За окном забрезжил сероватый рассвет; снаружи зачирикала какая-то птаха. В окрестных горах начинался день, пробуждались дневные создания, а ночные возвращались в свои норы и логова, следуя путями природы и не замечая путей науки. Но наука настигала природу и овладевала ею. Я закурил и втянул едкий дым глубоко в легкие. Нет, то,

что совершил Ходсон, нехорошо, и дело не только в попранной морали.

— Это неправильно, Ходсон. Так обойтись с примитивными людьми, не понимающими, что вы с ними делаете. Эта старая женщина...

Удивительно, но он кивнул соглашаясь. Но по иным причинам.

— Да, это была ошибка. Я недооценил эффективность своего процесса и, что гораздо важнее и менее простительно, не учел теории параллельной эволюции. Это существо не первая моя попытка, но оно первое выжившее. Остальные не выдержали нагрузки, хотя вскрытие трупов многое прояснило. Но на ошибках учатся, и я наконец доказал, что все современные люди не произошли от одного общего предка. Полагаю, это стоящее открытие. Эволюция в Новом Свете, по крайней мере в этой части Южной Америки, развивалась без связи с остальным миром, более того, совсем в другой период истории.

Он говорил тихо, почти устало, но вдруг ораторский тон вернулся к ученому, и взгляд его опять загорелся.

— Двадцать миллионов лет назад, где-то в конце кайнозойской эры и где-то в Азии, род древних приматов разделился на две линии. Одна вела к современным обезьянам, другая — к существам, неуклонно становившимся людьми. Миллион лет назад эти существа обернулись Homo. Сорок тысяч лет назад они превратились в sapiens. И они наши предки, Брукс. Ваши и мои. Но эти люди не пришли в эту часть мира. Тот же самый процесс разделения произошел и здесь, почти так же и почти по тем же причинам, но много веков спустя. Люди, развивавшиеся тут, как и обезьяны Нового Света, были другими по многим признакам. Они менее продвинуты по наследственной шкале, потому что появились гораздо позже и в более жестких условиях для выживания. Климат — основной фактор, ответственный за различия. Гоминиды приспосабливались к местному враждебному климату, их сопротивляемость повышалась, они становились крепче, им, голым дикарям, были нипочем пронизывающий ветер и ледяная вода. В этом смысле они продвинулись дальше нашей ветви. Но здесь меньше естественных врагов, местные стали доминирующей формой жизни и боролись за выживание только со стихиями. В то время как наша линия человечества развивала орудия труда, большие пальцы, прямые спины, голосовые связки и, наконец, мозг, чтобы существовать в окружении сильных хищников, здешние люди не испытывали нужды двигаться теми же путями. И естественно, не делали этого. Кто сильнее, тот и выживал и продолжал род, передавая эти черты по наследству, а разум, не дающий больших преимуществ, стал жертвой законов

эволюции, он развивался гораздо медленнее. Эти существа так же отличаются от азиатов или европейцев, как ламы — от верблюдов, как капуцин — от резуса. Кто знает, может, эта ветвь и лучше? Со временем они могли бы развиться в суперменов. Но у них нет этого времени. У нас была фора, и мы развились слишком быстро. Мы стали путешествовать. Мы пришли сюда с севера, и местные не смогли жить, борясь с нами, или просто возле нас. Они вымерли. Возможно, мы убили их, привезя неизвестные им болезни, возможно, наши продвинутые мозги помогли нам захватить всю доступную пищу. В любом случае они не выжили. Но ведь имело место и скрещивание. Оно было избирательно, потомки унаследовали качества обеих ветвей — разум одной, силу другой. Они отлично приспосабливались к жизни. Местная линия оборвалась, но гибрид продолжал существовать наравне со свежим побегом. Бог знает как давно произошло это скрещивание, возможно пятьдесят тысяч лет назад. Они все еще были здесь, когда явился Дарвин, я знаю это. Но мало-помалу местные черты слабели в индивидуумах. Сначала они, может, и преобладали, но их вытеснили числом, и сейчас если кто и обладает ими, то это случайный атавизм.

Он умолк, подбирая слова, а я онемело ждал, околдованный его речами.

— Старуха — пример такого атавизма и, насколько мне известно, последняя из живущих на свете людей, способная передать по наследству исчезающие признаки. Вот почему я выбрал ее для своего эксперимента. Ее гены ближе к прошлому, память погребена не слишком глубоко, древние черты доминируют. Да, вот почему я выбрал ее — и тут-то и промахнулся. Вы начинаете понимать? — спросил он.

За его спиной засеребрилось окно — солнце выглянуло из-за холмов. Я горел в лихорадке, но иной жар опалял мой мозг. Я кивнул.

— Эксперимент удался слишком хорошо, — продолжил он. — Результат — вы видели результат. Он — человек, потому что рожден женщиной, но не тот человек, которого мы представляем, произнося это слово. Это интереснейшая и неправдоподобнейшая особь, определенно живой предок угасшей ветви рода человеческого, но не наш предок. Не ваш, не мой и лишь отчасти — старухин. И таким образом, мы заходим в тупик, получив существо, чьи потомки уже вымерли. Конечно, можно многое приобрести, изучая его, но мы ничего не узнаем о человеке. Я воспроизвел теоретического предка больше не существующих существ, извините за тавтологию, но это все равно что отследить происхождение странствующего голубя или же додо. Чувствуете, какое это разочарование?

— Ради бога, такая возможность...

— Вероятно. Но это не моя сфера. Я передам полученные знания миру, когда применю их в своей области. Еще один эксперимент, исключающий ошибку. Если только я проживу достаточно долго, чтобы увидеть его результаты. С тем, что я уже узнал от этого существа, наблюдая, как оно растет и созревает, с чисто клиническим интересом... — Теперь его мысли где-то бродили, где-то между приобретенным знанием и знанием будущим, которое он предвкушал. — Оно убило своего отца, едва достигнув двенадцати лет от роду. Оно развивалось куда быстрее человека. Думаю, продолжительность его жизни составит лет тридцать, не больше, но оно не состарится. Как и все, кто принадлежал к этой ветви, оно сохранит физические силы до достижения отпущенного ему срока, а потом умрет. А с ним умрут и его гены. Возможно, вскрытие окажется интересным. Но изучение его жизни принесло мне одно расстройство. Оно не может говорить. Голосовые связки имеются, но воспроизводят они только звериные звуки, и это самое большое разочарование. Подумайте только, если бы удалось поговорить на своем собственном языке с доисторическим человеком! Объем его черепа около полутора тысяч кубических сантиметров — почти как у неандертальца, но мозг практически лишен извилин. Эта ветвь не нуждается в разуме, ей необходимы лишь сила и выносливость. Видели, как горят в темноте его глаза? Это оттого, что их внутренние стенки покрыты гуанином, как у большинства ночных животных. Возможно, для этого существа сие гораздо ценнее мышления. Едва ли оно вообще думает. Оно чувствует — и действует, повинуясь инстинктам. Кажется, основной инстинкт для него — убивать. Сейчас только старуха может хоть как-то удержать его. Индейцу удается управляться с ним благодаря своей неимоверной мощи, но скоро наш питомец станет слишком сильным и яростным даже для великана. Однажды оно набросилось на меня. Тогда-то, разумеется, индеец и заработал свой шрам. Он спас мне жизнь, но теперь даже гигант боится этой твари. Только старая карга... существо проявляет признаки инстинкта любви к матери, оно убило своего отца, но повинуется женщине, которая его родила, не нуждаясь в том, чтобы понимать ее...

Я содрогнулся. Что-то жуткое было в этом своеобразном уважении зверя к человеку, но еще более кошмарным казалось то, что эта несчастная старуха относится к монстру как к своему дитяти. Я с ужасом подумал, а не дала ли она ему имя. Зажмурился... бесполезно. От ужаса, что сидит внутри, не спастись, закрыв глаза.

Ходсон встал, взял мой опустевший стакан, а когда он принес его наполненным до краев, я сделал огромный глоток.

— Вы собираетесь продолжить эксперимент? Создать еще одно существо вроде этого?

— Конечно. Впрочем, не такое, как это. Следующее должно быть нашим предком. Тот же самый процесс, но с родителями из нашей линии рода человеческого. Необходимо только обработать мужчину, хотя регрессивная мутация заложена в женщине. Кстати, индеец может стать идеальным образцом.

— Вы не посмеете! — выдохнул я.

Глаза Ходсона изумленно расширились.

— Это злодейство!

— А, снова наш моралист. Вы считаете то существо злом? Брукс, если бы вы родились через миллион лет — как бы оценили люди далекого будущего ваше поведение, а?

— Не знаю, — очень медленно проговорил я.

Слова складывались с трудом. Какая-то тяжесть мешала языку шевелиться, какая-то тяжесть давила на веки. Горящие глаза Ходсона вдруг потускнели. Пламя, раздутое откровениями, угасало в них, и ученый стал мрачен, осознав, должно быть, что снова поддался старому соблазну — рассказал слишком много.

— Вы поверили мне? — спросил он улыбаясь.

— Не знаю, — повторил я.

И покачал чугунной головой из стороны в сторону. Шея согнулась под тяжким весом, и голова моя упала. Я глядел в пол. Откуда-то издалека доносился голос Ходсона.

— Не требуется большого воображения, чтобы мечтать о подобных вещах, — говорил он. — Но лишь фантастические открытия могли бы помочь претворить их в жизнь. Возможно, я просто играл с вами, Брукс. Вы же знаете, как я люблю шокировать людей. Возможно, все это просто мистификация, а? Как думаете, моралист? Обманул я вас или нет?

Я снова попытался покачать головой. Но она висела низко, колени, казалось, придвинулись к самому лицу. Стул куда-то проваливался. Борясь со странностями гравитации, я что было сил рванулся вверх и встал, оказавшись лицом к лицу с Ходсоном. Он все еще улыбался. Комната вертелась и кувыркалась, лишь лицо старика оставалось в фокусе, я не мог оторвать взгляда от его зубастой ухмылки.

— Вам нездоровится, Брукс? — спросил он.

— Я... кружится... я...

Пальцы все еще сжимали пустой стакан. Я посмотрел на него, увидел, как блестит на ободке отраженный свет ламп, увидел крохотные гранулы белого порошка на дне... Больше я ничего не видел.

XIV

Я медленно выплывал на поверхность сознания, и лицо Ходсона маячило надо мной, жутковато освещенное откуда-то снизу. Я мимолетно удивился, отчего он перестал ухмыляться, а потом понял, что я уже не в гостиной, что пролежал в обмороке какое-то время. Я был одет, но сапоги куда-то исчезли. А, вот они, на полу возле свечи, пляшущий свет которой и искажает черты Ходсона и не в силах озарить углы комнаты. Той комнаты, в которой я спал в прошлый раз, и сейчас я лежал спиной на жесткой койке.

— Ага. Вы очнулись, — сказал Ходсон.

Я моргнул. Все вроде бы в порядке.

— Что со мной случилось?

— Потеряли сознание. Метались в жару, очевидно, вы были больны. Я этого не знал, иначе не стал бы преднамеренно столь чрезмерно шокировать вас. Прошу прощения.

— Питье... вы меня одурманили!

— Чепуха. Вы просто упали в обморок. В лихорадочном состоянии вы слишком серьезно восприняли мое маленькое развлечение. Ха, на пару минут мне показалось, что вы действительно поверили, что я говорю правду.

— Вы говорили... все эти вещи...

— Чистая подделка. О, в основе, конечно, факты; я действительно проводил подобные эксперименты, но безуспешно. Боюсь, я просто не мог упустить возможность... ну, скажем так, подразнить вас. Естественно, если бы вы мыслили ясно, то сразу поняли бы, что мои рассказы — просто выдумка.

— Но я же видел существо.

— Обезьяна. Уверяю вас, всего лишь обезьяна сродни горилле. Любопытная помесь приматов Старого и Нового Света, результат одного из моих экспериментов по контролю мутаций. Неудачный, с моей точки зрения, так как это всего лишь гибрид, а не мутант, и, уж конечно, регрессией тут и не пахнет. — Он хихикнул, точно предлагая оценить абсурдность подобного допущения.

— Я не верю вам.

Ходсон пожал плечами:

— Как хотите. Ваше мнение меня уже не интересует — теперь, когда игра окончена.

— Значит, вы позволите мне исследовать существо? Вреда от этого не будет, если оно всего лишь обезьяна.

— К сожалению, это невозможно. Рана, которую вы нанесли ей, оказалась серьезнее, чем казалось вначале. Были задеты внутренние органы, а я отнюдь не хирург. Боюсь, что обезьяна издохла.

— Меня удовлетворит и обследование тела.

— Не имею такого желания — удовлетворять вас. Если бы не вы, обезьяна была бы жива. В любом случае останки уже анатомированы и уничтожены.

— Ужс?

— Вы спали... — он посмотрел на часы, — около десяти часов. Достаточно времени, чтобы извлечь крупицы научной прибыли из почившего неудачного гибрида. Можете ознакомиться с моими записями, если угодно.

— Так все, что вы рассказали мне, было ложью?

— Не ложью. Что такое ложь? Скорее, изучением человеческой доверчивости. Объективной оценкой влияния абсурда на легковерного слушателя. Вы, несомненно, осведомлены о том, как мне нравится шокировать людей необоснованными теориями? Я получаю удовольствие не от разгневанного приема моих заявлений, а от наблюдения за последующей реакцией коллег. Это в своем роде тоже изучение человечества. То есть, Брукс, как раз моя сфера, со всеми ее бесчисленными аспектами.

Я качнул головой. Поверить ему сейчас было куда легче, чем раньше. Но мне отчего-то это не удавалось. Тону его недоставало прежнего энтузиазма и возбуждения — энтузиазма как следствия успеха и гордости своими свершениями. И все же тогда сознание мое мутилось, я был болен, слаб, восприимчив, а Ходсон — мастер намеренного очковтирательства. Мысли мои суматошно метались, ища веские доводы, но я никак не мог ухватить нить размышлений.

— Отдыхайте, — сказал Ходсон снова откуда-то издали. — Утром вы еще посмеетесь над собой.

Он забрал свечу. В комнате стало темно, но это была уютная чернота, она тихонько подталкивала меня ко сну, и в мозгу разбухала пустота...

Когда я снова открыл глаза, свет вернулся.

Возле моей кровати со свечой в руке стояла Анна. Занавески за ее спиной покачивались, в доме стояла полная тишина. Девушка с озабоченным видом улыбнулась мне сверху вниз:

— С вами все в порядке?

Я кивнул.

— Я беспокоилась за вас.

Она неуверенно склонилась надо мной. Нет, она не стеснялась, так как не знала ничего о приличиях и стыде, но выглядела нерешительной.

— Можно сесть рядом с вами? — спросила она.

— Конечно.

Я подвинулся. Анна присела на краешек кровати. Я все так же был в рубахе и брюках, она по-прежнему оставалась обнаженной. Подогнув под себя ногу, девушка поставила свечу на пол, посмотрела на нее, а потом зачем-то передвинула на несколько дюймов. Улыбка ее была застенчивой, хотя что такое стеснительность, она не знала. Прохладная девичья ладонь опустилась на мой лоб. Жар уже не мучил меня, но эта прохлада показалась живительной, и я положил свою руку поверх ее. Анна чуть наклонилась ко мне, и ее тугая грудь скользнула по моему предплечью. Я вспомнил, как сильно хотел ее в первый раз, когда мы оказались наедине в этой крохотной каморке, осознал, что сейчас страсть стала еще неистовее, и подумал, знает ли она, понимает ли и не потому ли она пришла, что чувствует то же самое?

— Я не мешаю вам? — спросила она.

— Нет, что ты, ничуть.

— Мне уйти?

— Нет. Останься.

Она не кокетничала, не поддразнивала, что в обычаях многих женщин, она имела в виду в точности то, что говорила, честно и безыскусно.

— Вы еще не здоровы...

Я коснулся ее бедра. Кожа Анны была шелковистой и теплой; волосы казались черной дырой в мироздании, они каскадом ниспадали на плечи, полностью поглощая свет свечи, без отблеска и сияния. Рука моя двинулась, гладя упругую плоть, и разум отринул все мысли о том, что правильно, а что — нет.

— Мне лечь? — спросила она.

Я притянул ее к себе, так что наши тела прижались друг к другу. Сквозь грубую одежду я чувствовал тепло ее гладкого тела, и ее губы податливо приоткрылись навстречу моим поцелуям.

— Я не знаю, как это делается, — сказала она.

— Ты никогда не занималась любовью?

— Нет. Ты покажешь мне как?

— Ты тоже хочешь меня?

— Очень.

Она обняла меня, неуверенно, но крепко. Я повернулся, приподнялся на локтях, и она откинулась на спину, наблюдая и ожидая меня. Страсть сияла только в ее глазах, и это возбуждало меня еще сильнее, потому что Анна не знала общепринятых движений, демонстрирующих желание.

— Правда? Никогда? — повторил я.

Моя рука нежно скользила по ее телу.

— Никогда. Здесь не было никого, кто научил бы меня.

Очарование мгновения разбилось вдребезги. Она пришла не потому, что хотела меня, а просто потому, что я оказался первым доступным ей мужчиной. Моя ладонь застыла на ее плоском животе, и девушка нахмурилась, вглядываясь в мое лицо.

— Что-то не так?

На горизонте сознания забрезжила новая мысль, смутная тревога обрела точку опоры в секунду ослабления желания. Я пока еще не понимал, в чем причина...

— Ходсон знает, что ты пришла ко мне? — спросил я.

— Да.

— И он не возражал?

— С чего бы ему возражать?

— Я не... Анна, когда я был без сознания, Ходсон делал со мной что-нибудь?

— Привел в порядок. Сделал хорошо.

— Что он сделал?

Сердце отчаянно колотилось, пытаясь разогнать по артериям кровь, застывшую в жилах колючими айсбергами.

— Что не так? Почему ты перестал любить меня?

— Что он сделал?!

— Не знаю. Он сделал тебе хорошо. Забрал в лабораторию и полечил, чтобы ты был в порядке, когда я приду...

Она произнесла все это так, словно говорила о самой естественной вещи на свете. Айсберги таяли в закипевшей крови.

— Почему ты остановился? — спросила она. — Разве я не хороша для занятий любовью?

Черная волна паники накрыла меня.

Я стоял у койки с башмаками в руке. Не помню, как поднялся. Анна смотрела на меня, уязвленная и разочарованная, силясь понять, в чем она допустила ошибку, — как ребенок, наказанный без причины. Но какую причину я мог назвать ей? Она была из другого мира, и я не мог ничего ей сказать. Я задыхался, но уже не от страсти. Мне хотелось лишь одного — бежать из этого дьявольского места, и грациозное тело Анны стало мне отвратительно.

Я двинулся к двери. Анна не отрывала от меня взгляда. А я не мог даже попрощаться с ней, не мог даже попросить, чтобы она не поднимала тревоги. Она все еще смотрела, когда я шагнул в проем, и занавески сомкнулись, разделяя нас. Нет, нас разделили не только эти бусины на нитках, а нечто большее. Я прошел по коридору в гостиную. В доме было по-прежнему тихо, Анна не последовала за мной и не звала меня. В зале никого не было, мои босые ноги ступали бесшумно. Не знаю, что предпринял бы Ходсон, обнаружь он меня, не знаю, захотел

бы он удержать меня силой или даже убить, — я не боялся его. Тупой ужас ситуации был слишком огромен, чтобы делить место с какими-либо иными эмоциями, слишком велик, чтобы я мог его осознать; разум застыл, оберегая себя от полного разрушения.

Я пересек комнату, вышел наружу и зашагал по узкому дну лощины, — наверное, со стороны могло показаться, что я иду медленно и лениво. Ночь была холодна и черна, тело перемещалось в пространстве как раскаленный стержень, запущенный в абсолютный вакуум, — курс предопределен, и никакая сила трения не остановит его. Земля поднималась, и я начал восхождение в горы, смутно осознавая, что взбираюсь по склону, над которым кружили стервятники, когда я в первый раз покидал дом Ходсона, но это не задело меня. Сейчас все было несущественным, кроме висящего передо мной облачка образовавшегося от дыхания пара и низкого, затянутого облаками неба, навстречу которому я шагал.

Мысли мои были поверхностны и чисто функциональны, разум отвергал кошмар положения, сосредоточиваясь лишь на текущем моменте, прокладывая логический курс. Мне надо подняться в горы, держась северо-восточного направления, и я окажусь восточнее скалы, под которой проложен туннель, потом спущусь с противоположного склона на северо-запад, компенсируя отклонение, и выйду где-то возле водопада. Высокие, неприступные утесы будут видны задолго до того, как я достигну их, и я был уверен, что найду эти скалы, а там уж найду и лагерь. Я твердил себе, что теперь я в безопасности; Ходсону уже не найти меня.

На полпути к вершине я остановился перевести дыхание и обнаружил, что все еще несу ботинки в руке. Усевшись, я натянул их и, завязывая шнурки, оглянулся на дом. Темно и тихо. Возможно, Анна все еще ждет и удивляется в тесной каморке, или, возможно, Ходсон понял, что преследование бесполезно. Ночь безлунная — и как ему отыскать меня? Даже немыслимому индейцу не выследить человека в этой каменистой местности во мраке. У Ходсона нет собаки, которая шла бы по запаху, и нет способа узнать, куда я направился, нет способа...

Пальцы мои так дернули шнурок, что разорвали его.

Способ есть.

Ибо есть одно существо, обладающее чутьем и инстинктами хищника, существо, способное бесшумно выследить меня непроглядной ночью, существо, чьи зоркие глаза горят ненавистью...

Я побежал, обезумев от страха.

Я бежал. Разорванный шнурок хлопал меня по лодыжке, камни выкатывались из-под ног; неожиданно впереди выросли силуэты деревьев, и я с разгону вломился в чащу. Я спотыкался и падал, вскакивал и падал опять, натыкался на уступы и стволы, срывал ногти, цепляясь за корни, переваливался через валуны, сбивал колени и локти, не чувствуя боли. Разум покинул мое тело, витая где-то неподалеку; я видел со стороны, как продираюсь сквозь черные заросли; видел, как мой лоб вошел в соприкосновение с каменным выступом, видел струйку крови на собственном виске; видел, как теряю равновесие на узком гребне и как качусь вниз, болтая ногами, — и все это время отделенный от тела разум кричал, что Ходсон никогда не сдается, что Ходсон не уважает человеческую жизнь, что Ходсон выпустил существо...

А потом разум вернулся в мою гудящую голову; я стоял, в изнеможении прислонившись к корявому стволу дерева на вершине горы. Я бежал часы и мили — или минуты и ярды, не все ли равно? Моя грудь вздымалась так, что дерево, казалось, тряслось и земля убегала из-под ног. Я оглянулся. Дрожал весь лес. Острый хребет приподнялся по центру и раздробился по краям, земляной вал покатился прямо ко мне, вырывая с корнями кусты и деревья, и сама земля мучительно застонала. Где-то далеко раздался короткий рокот, а потом смолк. Вибрация прекратилась, стон оборвался. Местность выглядела по-другому, контуры изменились, но все тот же ветер рыдал над головой, и та же кровь пульсировала в моих обожженных венах.

XV

Грегорио нашел меня утром.

Я все еще шел, ведомый каким-то природным инстинктом, по направлению к лагерю, оставив позади долгую ночь и смутные воспоминания, переплетение вспышек и теней и обостренную бдительность. С рассветом паника покинула меня, я шагал спокойно и мерно, аккуратно и внимательно ставя одну ногу перед другой. Время от времени я смотрел вверх, но утесов не видел; тогда я опускал голову и разглядывал ноги, отмечая, что рваный шнурок все еще болтается у щиколотки, но не думая о том, что надо бы завязать его. Когда я в очередной раз поднял голову, то увидел Грегорио. Он сидел на своем сером мерине и глядел на меня, открыв рот, а мои ввалившиеся глаза смотрели на него сквозь красную пелену усталости.

Он подстегнул коня, и я привалился к колену своего проводника.

— Слава богу, — сказал он.

И соскочил с мерина.

— Как ты нашел меня? — спросил я.

— Я ехал сюда. Я не знал. Я думал, что убил тебя.

Это не имело смысла, но я в нем и не нуждался. Я рухнул рядом с проводником.

Я лежал в палатке Грегорио. Моя собственная палатка все еще валялась на земле. Грегорио протянул мне жестяную кружку с водой, и я глотнул, чувствуя, как холодная струйка потекла у меня по подбородку.

— Теперь ты в порядке?

— Да.

— Я думал, что убил тебя.

— Не понимаю. Как...

— Когда ты не вернулся утром — когда стало светло, — я пошел по твоим следам. И по следам того существа. Я пришел к водопаду и увидел, где ты вошел в пещеру. Следов, ведущих оттуда, не было. Я звал тебя, но ответа не слышал. Я не решился войти внутрь и вернулся в лагерь. Но чувствовал себя очень плохо. Я ждал весь день, и мне становилось все хуже, потому что я не пошел в пещеру. Я пил писко и ждал, а потом снова настала ночь, и писко кончилось, и я уже не так боялся. Я вернулся к водопаду, говоря себе, что я храбрый, что стыдно не войти в пещеру. Я позвал снова, и прошел мимо воды, и встал в туннеле. Я стоял у входа, но дальше идти боялся. Я не видел неба, и у меня не было ни фонаря, ни факела. Я крикнул, но ответило мне только эхо. Я подумал, ты мертв. Потом я подумал, что ты, может, ранен и слишком далеко, чтобы слышать меня, и я выстрелил из винтовки три раза, чтобы ты услышал.

Он помолчал, выразительно взмахнув руками, и нахмурился, словно подыскивая слова.

— Грохот выстрелов и эхо — они что-то вызвали. Шум внутри горы. Шум заставил гору зашевелиться. Я побежал как раз вовремя. Я увидел, как пещера закрылась, скалы сомкнулись, утесы подались назад, а вершина соскользнула вниз. Но она соскользнула на другую сторону, не на меня. Я думал, ты внутри, может, ранен, а я похоронил тебя под камнями. Слава богу, что это не так.

Я кивнул:

— Вибрации. Все эти трещины в горе... Я почувствовал ночью, что гора задвигалась, но решил, что это лишь мое воображение. Далеко пошел оползень?

— Думаю, далеко. Не могу сказать, он двинулся на ту сторону. К югу.

— Возможно, это и к лучшему, — заметил я.

— Если то существо было внутри... — начал Грегорио.

— Думаю, есть вещи, о которых не стоит знать человеку, — сказал я ему. И внезапно понял весь смысл собственных слов, полную меру того, чего я не знаю. Фраза Ходсона звенела в моем мозгу...

«Необходимо только обработать мужчину...»

Грегорио озабоченно смотрел на меня. Он решил, что я снова заболел, — так я вдруг побледнел.

Два дня спустя я был в порядке — в порядке относительном, в котором пребываю до сих пор. Рано утром мы поехали туда, откуда я прибежал. Моя лошадь, как всегда, вела себя спокойно, несмотря на страшную рану в боку. Это была добрая кобыла, и я радовался, что она осталась жива. Грегорио изнывал от любопытства, недоумевая, отчего я настоял на этом путешествии, но я не мог ему ничего объяснить. Я никому не мог ничего объяснить, и, когда мы достигли вершины холма, моя последняя надежда исчезла. Именно этого я и ожидал, именно это с ужасом предчувствовал.

Узкой лощины больше не было. Верхушка горы действительно соскользнула назад, образовав Тарпейскую скалу[1], с которой и сорвались, разбившись насмерть, мои надежды; у подножия, там, где недавно стоял дом, громоздились расколотые камни и вывернутые комья земли. От жилища Ходсона и туннеля под горой не осталось и следа. Я смотрел вниз с холма, но спуститься так и не рискнул. Да и зачем? Я не найду среди этих развалин ничего, что помогло бы мне выяснить, какая из историй Ходсона была обманом. В конце концов, это ведь могла быть и обезьяна...

Да, могла быть. Могло быть и так, что он ничего не сделал со мной в своей лаборатории. Могло быть.

Оставался лишь один способ проверить, но способ этот был слишком ужасен, чтобы рассматривать его всерьез; он граничил с безумием.

— Спустимся? — спросил Грегорио.

Я мимолетно подумал об Анне, невинной и беспомощной, заключенной в рамках, которыми Ходсон ограничил ее жизнь, об Анне, погребенной где-то под этими тоннами камня. Ждала ли она меня в момент гибели в моей постели? Впрочем, не важно. У меня не было сил, чтобы горевать о ком-то еще, кроме себя.

---

[1] *Тарпейская скала* — в Древнем Риме отвесный утес с западной стороны Капитолийского холма, с которого сбрасывали осужденных на смерть государственных преступников.

— Спустимся? — повторил Грегорио.
— Незачем.
— Это все, что ты искал?
— Это вообще все, друг мой.

Грегорио моргнул. Он не понял. Мы двинулись обратно к лагерю, и проводник нервно поглядывал на меня, удивляясь, отчего я не смотрю на него. Но он был тут ни при чем.

Шел дождь, но из-за туч выбивалось солнце. Ровный гусиный клин пролетел над нашими головами. Он направлялся к горизонту, подчиняясь невнятному зову. На деревьях пели птицы, мелкие зверьки убегали с нашей дороги. Мир вертелся сам по себе, неумолимо и независимо; отстраненная природа не обращала на нас внимания. Возможно, в те несколько секунд, когда земля задрожала, природа рассердилась и действовала, защищая себя, но теперь она вновь притихла; теперь она будет жить.

Мы сложили палатки и направились обратно в Ушуаю.

В гостинице меня ждало письмо от Сьюзен, говорящее о том, как она любит меня, и Джонс сообщил мне, как выглядит мыс Горн с высоты птичьего полета...

Ресторан закрывался.

Припозднившиеся клиенты разошлись, официанты топтались в углу, дожидаясь одного меня. Сьюзен тоже давно ушла. Мой стакан был пуст, и я был один. Я кивнул официанту, и он быстро принес счет. Он думал, я пьян. Я расплатился, дал щедрые чаевые и вышел на улицу. Было поздно; случайные прохожие торопливо шагали мимо. Они были посторонние, и я был посторонний. Я побрел домой, медленно и задумчиво, в сопровождении того ужаса, который я могу носить — а могу и не носить — в своих чреслах. Этого я никогда не узнаю.

Некоторые вещи лучше не знать.

ДЖО ФЛЕТЧЕР

Франкенштейн

Джо Флетчер — вольный литератор и критик, работала редактором-консультантом в нескольких крупных издательствах Великобритании. Флетчер регулярно публикуется в «Science Fiction Chronicle» и различных изданиях «Британского общества фэнтези» (British Fantasy Society). Совместно со Стивеном Джонсом выступала в качестве составителя антологии «Газовый свет и призраки» («Gaslight and Ghosts»). Стихи Флетчер выходили в антологиях «Мы больны» («Now We Are Sick») и «Оборотни» («The Mammoth Book of Werewolves»), а документальные произведения печатались в таких книгах, как «Власть страха» («Reign of Fear»), «Пир страха» («Feast of Fear»), «Джеймс Герберт. Преследуемый хоррором» («James Herbert: by Horror Haunted») и «Величайшие тайны мира» («The world's greatest mysteries»). Кроме того, Флетчер выпустила мозаичный роман ужасов для подростков.

Стол стоит.
Труп лежит.
Над ним доктор ворожит.
«Только б получилось все», —
Франкенштейн твердит.
Как он розов, бел и ал,
Человечий матерьял,
Доктор Ф. его кроит,
Сам с собою говорит.
«Хорошо бы вышел прок,
Это будет всем урок,
Ахнут Запад и Восток», —
Франкенштейн бубнит.
«Ну-ка, ну-ка, шей смелей,
Ниток разных не жалей,
Иглы выбирай острей», —
Франкенштейн ворчит.
«Если что, сажай на клей,
Клок удержится верней.
Главное — ты не робей», —
Франкенштейн бурчит.
Вот он косточки сложил,
Вот и мясо нарастил,

Вот и кожей все обшил —
Очень грозный вид!
Только мозги дать не смог —
Утомился, изнемог.
«Я уже не чую ног», —
Франкенштейн хрипит.

Буря! Вдруг как грянет гром!
Полетело все вверх дном,
Провода как задымят,
Циферблаты — заискрят.
В сшитый труп ударил ток,
И свершился страшный рок.
Горе! Чудище встает,
Зубы щерит и ревет,
Страшным голосом рычит.
Доктор в ужасе вопит.

Ростом вставший труп высок:
Подпирает потолок.
Но при этом туп как дуб
И неуправляем труп.
Бедный доктор, ты пропал!
Видишь жуткий сей оскал?
Убегай скорее прочь,
Пусть снаружи дождь и ночь.

...Чем же кончился сюжет?
Чудища, конечно, нет:
Удалось остановить
И оживший труп убить.
А в округе той опять
Воцарилась тишь да гладь.
Доктору же благодать
Более не знать.
Доктор, доктор, ты в Аду!
Сам накликал ты беду:
«Господа я превзойду», —
Ты дудел в дуду.
В чем истории мораль?
Хоть ученым очень жаль,
Но спокойнее порой,
Чтоб теорией сырой
Оставались те идеи,
Что опасностями веют!

"Introduction: It's Alive!" copyright © 1994 by Stephen Jones.

Frankenstein; or, The Modern Prometheus by Mary W. Shelley. Originally published in 1818, revised in 1831.

"A New Life" copyright © 1987 by Ramsey Campbell. Originally published in *Winter Chills 1.* Reprinted by permission of the author.

"The Creator" copyright © 1978 by R. Chetwynd-Hayes. Originally published in *The Cradle Demon.* Reprinted by permission of the author.

"Better Dead" copyright © 1994 by Basil Copper.

"Creature Comforts" copyright © 1994 by Nancy Kilpatrick.

"Mannikins of Horror" copyright © 1939 by *Weird Tales,* copyright © renewed 1967 by Robert Bloch. Originally published in *Weird Tales,* December 1939. Reprinted by permission of the author and the author's agent, Ralph M. Vicinanza Ltd.

"El Sueño de la Razón" copyright © 1994 by Daniel Fox.

"Pithecanthropus Rejectus" copyright © 1937 by Street & Smith Publications, Inc. Originally published in *Astounding Stories,* January, 1938. Reprinted by permission of the author's executor, Karl Edward Wagner.

"Tantamount to Murder" copyright © 1994 by Brunner Fact & Fiction Ltd.

"Last Train" copyright © 1994 by Guy N. Smith.

"The Hound of Frankenstein" copyright © 1977 by Peter Tremayne. Originally published in *The Hound of Frankenstein.* Reprinted by permission of the author and the author's agent, A. M. Heath & Company, Ltd.

"Mother of Invention" copyright © 1994 by Graham Masterton.

"The Frankenstein Legacy" copyright © 1994 by Adrian Cole.

"The Dead Line" copyright © 1979 by Stuart David Schiff. Copyright © 1982 by Dennis Etchison. Originally published in *Whispers* Number 13-14, October 1979. Reprinted by permission of the author.

"Poppi's Monster" copyright © 1994 by Lisa Morton.

"Undertow" copyright © 1977 by Stuart David Schiff. Originally published in *Whispers* Number 10, August 1977. Reprinted by permission of the author.

"A Complete Woman" copyright © 1994 by Roberta Lannes.

"Last Call for the Sons of Shock" copyright © 1991 by David J. Schow. Originally published in *The Ultimate Frankenstein.* Reprinted by permission of the author.

"Chandira" copyright © 1994 by Brian Mooney.

"Completist Heaven" copyright © 1994 by Kim Newman.

"The Temptation of Dr Stein" copyright © 1994 by Paul J. McAuley.

"To Receive is Better" copyright © 1994 by Michael Marshall Smith.

"The Dead End" copyright © 1969 by David Case. Originally published in *The Cell and Other Tales of Horror.* Reprinted by permission of the author.

"Frankenstein" copyright © 1994 by Jo Fletcher.

Содержание

ОН ЖИВОЙ! Стивен Джонс 5

Мэри Шелли. ФРАНКЕНШТЕЙН,
ИЛИ СОВРЕМЕННЫЙ ПРОМЕТЕЙ. *Пер. З. Александровой* . 7

Рэмси Кэмпбелл. ИНАЯ ЖИЗНЬ. *Пер. М. Савиной-Баблоян* . 159

Рональд Четвинд-Хейс. ТВОРЕЦ. *Пер. В. Двининой* 166

Бэзил Коппер. ЛУЧШЕ УМЕРЕТЬ. *Пер. Г. Соловьевой* 181

Нэнси Килпатрик. В МИРЕ ЧУДОВИЩ. *Пер. Т. Кухта* . . . 191

Роберт Блох. ГЛИНЯНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ. *Пер. Е. Королевой* . 202

Дэниел Фокс. EL SUEÑO DE LA RAZÓN.
Пер. Г. Соловьевой 215

Мэнли Уэйд Веллман. PITHECANTHROPUS REJECTUS.
Пер. Г. Соловьевой 230

Джон Браннер. РАВНОСИЛЬНО УБИЙСТВУ.
Пер. Н. Кудрявцева 240

Гай Смит. ПОСЛЕДНИЙ ПОЕЗД. *Пер. Т. Кухта* 248

Питер Тримейн. СОБАКА ФРАНКЕНШТЕЙНА.
Пер. Г. Соловьевой 257

Грэм Мастертон. ВОССОЗДАННАЯ МАТЬ.
Пер. Ю. Никифоровой 307

Адриан Коул. НАСЛЕДСТВО ФРАНКЕНШТЕЙНА.
Пер. И. Сергиенко 321

Деннис Этчисон. ПРЕДЕЛ. *Пер. В. Двининой* 342

Лиза Мортон. ПАПУЛИН МОНСТР.
Пер. М. Савиной-Баблоян 353

Карл Эдвард Вагнер. ГЛУБИННОЕ ТЕЧЕНИЕ.
Пер. Г. Любавина 362

Роберта Лэннес. СОВЕРШЕННАЯ ЖЕНЩИНА.
Пер. И. Гордеевой 392

Дэвид Шоу. ПОСЛЕДНИЙ ВЫХОД СЫНОВЕЙ ШОКА.
Пер. Н. Гордеевой 413

Брайан Муни. ЧАНДИРА. *Пер. Т. Кухта* 430

Ким Ньюмен. РАЙ ДЛЯ КОМПЛЕТИСТА. *Пер. А. Гузмана* . 451

Пол Макоули. ИСКУШЕНИЕ ДОКТОРА ШТЕЙНА.
Пер. Е. Королевой 463

Майкл Маршалл Смит. ПОЛУЧАТЬ ЛУЧШЕ.
Пер. Н. Кудрявцева 483

Дэвид Кейс. ТУПИК. *Пер. В. Двининой* 490

Джо Флетчер. ФРАНКЕНШТЕЙН. *Пер. В. Полищук* 602

Ф 83 **Франкенштейн**: Антология / Пер. с англ. З. Александровой, Н. Гордеевой, А. Гузмана и др. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. — 608 с.

ISBN 978-5-389-01559-3

Во все времена человек стремился разгадать тайну жизни и смерти, почувствовать себя творцом — создать себе подобных искусственным путем, реанимировать бездыханную плоть, собрать по частям новое тело. Одно из самых знаменитых воплощений этой идеи принадлежит перу Мэри Шелли, подарившей миру уникального персонажа, чье имя давно уже стало нарицательным. История о Франкенштейне, талантливом ученом, сотворившем злую силу, с которой он сам не сумел справиться, спустя почти двести лет остается классикой научной фантастики и хоррора. Роман был многократно экранизирован и вдохновил других писателей на создание собственных оригинальных сюжетов, затрагивающих эту поистине неисчерпаемую и неустаревающую тему. В данной антологии представлены работы таких мастеров, как Роберт Блох, Рэмси Кэмпбелл, Пол Макоули, Ким Ньюмен и многих других. А открывает сборник бессмертное произведение Мэри Шелли, чтобы напомнить читателю, с чего все началось...

УДК 82/89
ББК 84.7 США

Литературно-художественное издание

ФРАНКЕНШТЕЙН

Руководитель проекта Денис Лобанов
Ответственный редактор Марина Смелкова
Редакторы Александра Банченко, Валентин Бобрецов,
Татьяна Бурмыкина, Анна Никитина
Художественный редактор Александр Золотухин
Технический редактор Мария Антипова
Корректоры Валерий Камендо, Светлана Федорова,
Анастасия Келле-Пелле, Анна Быстрова,
Елена Орлова, Елена Терскова
Верстка Алексея Соколова

Подписано в печать 15.12.2011.
Формат издания 84×108 $^{1}/_{32}$. Печать офсетная. Гарнитура «TimesDL».
Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 31,92. Заказ № 4207.

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
119991, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
196105, г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д. 15

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в ОАО «Тульская типография»
300600, г. Тула, пр. Ленина, 109

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве:
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел. (495) 933-76-00, факс (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел: (812) 324-61-49, 388-94-38, 327-04-56, 321-66-58, факс: (812) 321-66-60
E-mail: trade@azbooka.spb.ru; atticus@azbooka.spb.ru

В Киеве:
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01
E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Сайты в интернете:
www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

IFLU688001R

Во все времена человек стремился разгадать тайну жизни и смерти, почувствовать себя творцом — создать себе подобных искусственным путем, реанимировать бездыханную плоть, собрать по частям новое тело. Одно из самых знаменитых воплощений этой идеи принадлежит перу Мэри Шелли, подарившей миру уникального персонажа, чье имя давно уже стало нарицательным. История о Франкенштейне, талантливом ученом, сотворившем злую силу, с которой он сам не сумел справиться, спустя почти двести лет остается классикой научной фантастики и хоррора. Роман был многократно экранизирован и вдохновил других писателей на создание собственных оригинальных сюжетов, затрагивающих эту поистине неисчерпаемую и неустаревающую тему. В данной антологии представлены работы таких мастеров, как Роберт Блох, Рэмси Кэмпбелл, Пол Макоули, Ким Ньюмен и многих других. А открывает сборник бессмертное произведение Мэри Шелли, чтобы напомнить читателю, с чего все началось...

ISBN 978-5-389-01559-3 01
9 785389 015593
www.azbooka.ru